



ВС. СОЛОВЬЕВ

СЕМЬЯ ГОРБАТОВЫХ



Всеволод Сергеевич Соловьев

Сергей Горбатов. Волтерьянец. Часть первая

В настоящее издание вошли два романа из пятитомной исторической эпопеи "Хроника четырех поколений" Вс. Соловьева (1849-1903). Романы о Горбатовых охватывают большую эпоху - от Екатерины II до Александра I. Автор показывает, как от поколения к поколению разоряется русское дворянство, как на смену дворянству вельможному приходят люди другого склада.

В первый том включены романы "Сергей Горбатов" и "Волтерьянец" (часть первая).

Содержание:

Сергей Горбатов

Волтерьянец. Часть первая

Содержание

Сергей Горбатов	0006
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0006
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0389
Волтерьянец. Часть первая	0832
I. ДОМА	0832
II. ЧТО БЫЛО	0844
III. ПЕРВЫЕ ВЕСТИ	0864
IV. «ДНЕЙ ГРАЖДАНИН ЗОЛОТЫХ»	0885
V. ПРИЕМ	0901
VI. ФИЛОСОФ-ПРАКТИК	0909
VII. ЕГО СВЕТОСТЬ В ДУХЕ	0928
VIII. СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ	0937
IX. ЗАГАДКА	0949
X. ОЖИДАНИЕ	0957
XI. РАЗГАДКА	0966
XII. ОПЯТЬ ИЗ ПРОШЛОГО	0977
XIII. ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК	0987
XIV. СБУДЕТСЯ ЛИ?	0999
XV. ИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ	1014
XVI. СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ	1025
XVII. ЯСНЫЕ ДНИ	1038
XVIII. ПЕРВОЕ ОБЛАКО	1049
XIX. ЗА СЛЕПКАМИ КАМЕЙ	1059
XX. ОБВИНИТЕЛЬ	1073
XXI. ТЯЖЕЛЫЕ ВОПРОСЫ	1089

XXII. У ПОРОГА	1106
XXIII. ЛОВУШКА	1112
XXIV. НЕОЖИДАННОСТЬ	1120
XXV. ТОНКИЙ ДИПЛОМАТ	1133
XXVI. ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК	1149
XXVII. РЕГЕНТ ДЕЙСТВУЕТ	1165
XXVIII. ГРЕЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ	1179
XXIX. ГДЕ ТОНКО — ТАМ И РВЕТСЯ	1195
XXX. БЕДА	1212
XXXI. ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ	1229
XXXII. БОГ НАКАЗАЛ	1242

**Всеволод Соловьев
Семья Горбатовых. Том 1**

Сергей Горбатов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раннее летнее утро. День, наверно, будет жаркий, такой же, как и вчера, как и всю неделю. Бледно-бирюзовое небо уже становится чем выше, тем синее, и кое-где скользят по нему и незаметно тают, переливаясь мелкой перламутровой волной, далекие перистые облака. Солнце кладет длинные тени. Разгораются и сверкают крупные капли росы на траве, густой и несмятой. Старые широковетвистые липы не шелохнутся и только беззвучно роняют вянущие лепестки своего душистого цвета.

Я иду по заросшим дорожкам давно всеми позабытого сада и чудится мне, будто передо мной снова разверзлись двери потерянного мира юных снов и юной душевной свежести. Это деревенское утро своей душистой, невозмутимой тишиною и прохладой пахнуло на меня теми могучими чарами, которые в миг один способны смыть и унести неведомо куда

всю житейскую пыль, навеванную многими годами. Я иду — возрожденный и духом, и телом, жадно впивая в себя живительный воздух; я слышу и чувствую, как бьется мое сердце, но не болезненно и тревожно, а мерно и спокойно, заодно с этой здоровой и светлой природой.

Вот уже больше часа брожу я по заросшему саду, и меня тянет все дальше и дальше; передо мною открываются аллея за аллеей, лужайка за лужайкой. Кое-где через быстрый ручей перекинут ветхий, едва выдерживающий мою тяжесть мостик. Кое-где в древесных кущах, переплетшихся между собой, белеют античные формы старых статуй. Вот из-за непроходимых ветвей виднеется купол разрушенной беседки. Вот обломок колонны, неведомо откуда упавший, почти совсем закрытый высокой травой, увитый вьющимся горошком...

Все чаще и чаще вековые дубы и липы, все гуще и ниже сплетаются над головою их могучие ветви. Даже жутко в этом неведомо куда влекущем сумраке. Но сумрак мало-помалу редет, впереди яркий просвет, весь залитый

солнцем. Я спешу туда — передо мною разрушенная каменная ограда. Здесь конец этому сказочному, забытому миру, здесь начало другой жизни, от которой я так рад был забыться. На большом выгоне пасется стадо, справа расположено село, дальше — шоссе, перерезанное полотном железной дороги, огромное кирпичное здание с высокими трубами, из которых валит густой черный дым, — это фабрика...

Я спешу назад, опять в сумрак заглохшей аллеи, спешу скорей снова забыться, уйти в мир тишины и покоя, в мир старых лиц, беседок и статуй. И снова брожу я, не замечая времени, не чувствуя усталости. И чары старого сада вызывают передо мной самые милые воспоминания; воскресают давно покинувшие землю давно позабытые лица, и я с изумлением нахожу в себе всю прежнюю мою любовь к ним, всю силу тоски по их утрате. Прошлое, одно прошлое во мне и передо мною — будто время вдруг повернуло назад и мчится чем дальше, тем быстрее...

А между тем солнце поднимается выше и выше, отвесные лучи его проникают всюду.

Зной, усталость и жажда начинают меня тревожить. Старинный, длинный одноэтажный дом с лабиринтом высоких прохладных комнат принимает меня в новую тишину, в которой все другое, в которой новые чары. И время, остановясь лишь на мгновение, снова мчится еще быстрее и еще дальше в глубину прошедшего. Я прохожу длинной залой с кое-где облупившимися глянцевитыми колоннами, с теряющимся в полумраке расписным потолком и ветхими хорами, откуда даже и при дневном свете слышится таинственный шорох. Я вступаю в анфиладу парадных гостиных, обтянутых выцветшим шелком, уставленных зеркалами в почернелых бронзовых рамах, запыленной, старинной мебелью. В конце анфилады я останавливаюсь в высокой полутемной комнате со спущенными зелеными шелковыми шторами. По полу разостлан мягкий ковер, весь изъеденный молью, по стенам резные черного дуба шкафы со стеклянными дверцами. Длинными рядами стоят там переплетенные в крепкую кожу книги. Покойные кресла, обтянутые старым темно-зеленым сафьяном, тяжелый вы-

чурный стол-бюро в углу; над столом и между книжными шкапами портреты. Чья-то заботливая рука, наверно, много-много лет тому назад прикрыла их полотном. Полотно совсем уже почернело от пыли, и пауки уже сотни раз расстилали на нем свою паутину. Я поднимаю зеленые шторы, но яркий полдневный свет все же медлит, все же боится проникнуть в полутьму этой прохладной, сырой комнаты. Густо разрослись деревья у самых окон, и льнут их зеленые ветки к запыленным стеклам и мешают солнцу. Забыв о паутине и пыли, я сдергиваю полотно с самого большого портрета — и отступаю с невольной дрожью: я не один — прямо мне в глаза, насмешливо и пытливо, глядят живые глаза из глубины почерневшей золотой рамы; передо мною живое лицо молодого красавца в изящном и богатом костюме конца XVIII века. Я отступаю и опять приближаюсь, и начинаю уже видеть, как тихо колышутся атлас и кружева на его мерно дышащей груди; вот шевелит пальцами бледная рука, на которой горит бриллиантовый перстень; медленно сдвигаются густые черные брови; дрожат полуза-

крытые, будто утомленные, веки, а резко очерченные характерные губы складываются в тонкую усмешку. И долго не проходит очарование, и долго я жду, что он выйдет из рамы и заговорит со мною.

Но яркий луч, прорвавшийся, наконец, в окно, скользит вдоль по расписанному полотну и разрушает впечатление. Я снова спускаю шторы и не могу оторваться от портрета. Я стираю с него пыль, и, наконец, в углу, у самой рамы, разбираю буквы. Очарование становится понятным — оно создано слабой женской рукою, в которую когда-то была вложена крепкая сила таланта: портрет принадлежит кисти знаменитой Лебрен.

Проходят часы, проходят дни — и запыленная мрачная комната превращается в мое постоянное убежище. И все, что казалось мне таинственным и непонятным, становится близко и знакомо во всех мельчайших подробностях. Меня уже не смущает полусмешливый, полугрустный взгляд напудренного и разодетого в атлас и кружева красавца. Между нами уже нет тайны — он сам открывает мне свою душу и рассказывает жизнь

свою. В старинном бюро, в одном из бесчисленных ящиков, я нахожу маленькие, переплетенные в сафьян тетрадки, мелко исписанные на французском языке твердым и красивым почерком. Это его заметки, отрывки воспоминаний разнообразно и интересно проведенной молодости... Они нередко будут служить мне важным материалом для рассказа, который я озаглавливаю именем их автора...

I. СТО ЛЕТ НАЗАД

Около ста лет тому назад, а именно, в начале осени 1788 года, местность эта представляла совсем иной вид, чем теперь. Ни о каких заводах, фабриках, шоссе не было и помину. Вместо всего этого между селом Горбатовским, искони принадлежащим богатому и знатному роду Горбатовых, и Знаменским, находившимся тогда во владении вдовы княгини Пересветовой, верст за семь в квадрат тянулся густой лес, через который пролегла очень живописная дорога.

По дороге этой солнечным душистым утром ехал молодой всадник, совсем еще юноша, лет двадцати двух, не больше. Бога-

тый атласный камзол, изящные ботфорты на стройных ногах, маленькая треугольная шляпа, из-под которой спускались букли напудренного парика с косичкой, статный вымуштрованный конь указывали на общественное положение юноши. Красивое и милое лицо сразу говорило в его пользу. Он, видимо, никуда не спешил, то пускал своего послушного коня рысцой, то ехал некоторое время шагом, то, наконец, останавливался, осматривался кругом, любовался картиной желтевшего и красневшего леса, всю грудью вдыхал в себя бальзамический воздух. Изредка встречавшиеся в лесу крестьяне и крестьянки, увидев всадника, почтительно останавливались с низкими поклонами. Он приветливо кивал им головой и ехал дальше с довольным выражением в молодом, несколько загоревшем лице.

Лес редел. Скоро из-за небольшого пригорка показались обширные хоромы княгини Пересветовой. Юноша дал шпоры коню и помчался, но не прямо, не к усадьбе, а завернул в сторону, туда, где снова начиналась древесная тень и где только высокий частокол да

малоезженная, почти совсем поросшая травой дорога отделяли лес от барского Знаменского парка. Вот старые ворота и возле — избушка сторожа. Запахло дымком, две курицы перебежали дорогу, чуть не попав под копыта быстро остановившегося коня. Собачонка выскочила из избушки и отчаянно залаяла, а за нею показался старый лысый старик в лаптях и нагольном тулупе.

— Отвори-ка, Степушка, ворота! — крикнул всадник ласковым звонким голосом, какой только и мог быть у такого здорового и веселого юноши. Семидесятилетний Степушка, отвесив низкий поклон, бросился старческой рысцою к воротам и стал отпирать их.

— Милости просим, батюшка Сергей Борисыч, погуляй, золотой... Ишь ведь, денек какой выдался — солнышко словно по-летнему греет...

— А вот что, Степушка, не покараулишь ли моего Красавчика? Пускай он себе отдохнет, а я поразомну ноги.

— Изволь, батюшка, изволь, государь Сергей Борисыч!..

Сергей Борисыч быстро соскочил с Красав-

чика, передал поводья Степушке, привычным хозяйским глазом оглядел любимого коня, потрепал его по гладкой, горячей шее и легкими шагами направился в глубь парка.

Солнце так и горело, так и переливалось на разноцветных осенних деревьях, превращало в чистое золото опавшие листья, которые густо покрывали дорожку и разлетались во все стороны под быстрыми шагами юноши. В вершинах старых деревьев усиленно, будто на прощанье, перекликались птицы, и с ветки на ветку, споря в легкости с птичьим полетом, перескакивали пугливые векши.

Но вдруг солнце зашло за облако, и мгновенно изменилась вся картина: потускнели радужные цвета, тоскливая нотка словно прозвучала в птичьей перекличке, откуда-то пахнуло прохладной сыростью. Затуманилось солнце от наплывшего облака — и, будто от такого же облака, затуманилось и красивое лицо веселого юноши; не то тоска неясная, не то скука изобразилась на нем. Но это было лишь на мгновение. Облако пронеслось, солнце заблестело снова, быстро меняя печальные краски, обливая их горячей жизнью, и снова

молодая, здоровая радость засветилась в лице юноши. Ускоряя шаг, он спустился к небольшому озеру, на берегу которого была выстроена беседка.

Отсюда виднелась только боковая ее сторона, только колонка, окрашенная в ярко-голубой цвет, да глухая стена, едва заметная за густо насаженными кустами. Нельзя было разглядеть, есть ли кто в той беседке, или никого там нету. Но юноша остановился как вкопанный и не мог отвести своих зорких глаз от ярко-голубой колонки. За этой колонкой мелькнуло что-то и исчезло. И вот опять показалось. Да, это не птица и не векша, это чернеется узенький башмачок маленькой ножки. Вот и кончик розового платья выглянул и скрылся. Юноша отступил назад, осторожно, стараясь не шуршать опавшими листьями, и начал пробираться между деревьями к беседке.

«Ах, как странно! — думал он, — ведь это Таня...»

Он чувствовал, что это она, да и кому там быть другому — ее и платье розовое. Странно! Будто нарочно он поехал этой дорогой, сюда,

к озеру, к беседке, точно зная, что тут Таня и что она его дожидается!..

Да, он знал, наверное знал еще утром, когда уговаривал monsieur Рено отправиться вместе с матерью и сестрой смотреть только что приведенных лошадей, а сам отказался им сопутствовать и велел оседлать себе Красавчика. Он знал, наверное знал, но почему знал? Кто сказал ему и зачем ему сегодня так ужасно надо видеть Таню?..

II. В БЕСЕДКЕ

Остановившаяся на каждом шагу и боясь ступить на сухую ветку, которая могла бы затрещать под его ногами, почти неслышно подкрался юноша к беседке и заглянул между колонкой и боковой стеною.

На деревянном диване, окрашенном такой же яркой голубой краской, как и вся беседка, сидела хорошенькая белокурая девушка с высоко, по моде, взбитыми волосами, в розовом платье. Дорогой шелковый платок покрывал ее плечи и был грациозно завязан сзади. Рукава платья, обшитые пышными кружевами, доходили до локтей, выказывая полные руки. Темные глаза, казавшиеся то синими, то се-

рыми, были очень хороши, и одних этих глаз было бы достаточно, чтобы скрасить и не особенно хорошенькое личико, но на этот раз глаза совершенно гармонировали с остальными чертами.

Подкравшемуся юноше было чем полюбоваться. Вся крепкая, довольно крупная, но в то же время грациозная фигура девушки так и манила к себе своей красотой и свежестью. Но только это была еще далеко не женщина, это был быстро выросший и сформировавшийся ребенок. Несмотря на пышные формы, в лице оставалось еще слишком много детского. Ею можно было любоваться вдвойне — и в настоящем и в будущем, так как она серьезно обещала сделаться прелестнейшей женщиной.

Но мечты о ее будущей красоте были далеки от Сергея Борисыча, с него было за глаза довольно и настоящего. Он долго любовался ею, затаив дыхание, с разрумившимися щеками и радостной улыбкой, а она не замечала его присутствия, погруженная в полузабытье. Она сидела неподвижно, глядя на мелкую зыбь озера, отражавшего легкие, плывущие

по небу облака и пестрые деревья противоположного берега.

О чем она думала? Конечно, думала о многом, только вряд ли могла бы рассказать свои думы. Они сливались все вместе и превращались во что-то призрачное, радужное, неопределенное и милое, что наполняло ее всю, заставляло сидеть неподвижно, совсем забывшись, завораживало... убаюкивало...

Юноша хотел было ее окликнуть, но сообразил, что она, пожалуй, чересчур испугается и, сделав несколько шагов назад, зашуршал хворостом.

Она очнулась, быстро поднялась с дивана и взглянула за колонку. Темные глаза ее загорелись, румянец вспыхнул и побежал по всему лицу.

— Сережа! — радостно крикнула она, плохо выговаривая букву «р», что выходило у нее особенно мило. Ах! И как же вы напугали меня!.. Я тут давно... гуляла, да зашла в беседку... так тихо... хорошо... лень взяла...

— Так тихо, хорошо, что сидела, сидела и заснула! — перебил ее Сережа.

— Ан и совсем не спала! А знаешь, бывает

такое — не знаю как с другими, а со мною часто бывает... дома-то редко, а вот в лесу или где-нибудь, летом... впрочем, осенью еще чаще, в такие чудные дни... Так тихо вдруг, тихо и грустно... и хорош, что боишься шевельнуться... кажется — плывешь куда-то и расплываешься все шире и шире... небо...

Он смотрел на нее и лукаво улыбался... Она остановилась на полуслове и сердито топнула ножкой.

— Насмешник! Сколько раз обещала себе ни о чем таком с вами не говорить... за каждое-то слово насмех поднимает!.. Известно, философ!.. Маменька так прежде m-г Рено называла, а теперь уж он стал у нее m-г Рено tout court, а в философы произведен Сергей Борисыч — другого и имени тебе нету...

— Ну, этого можно было бы мне и не говорить, Таня. Я ведь знаю, что у княгини философ — чуть не бранное слово.

Таня вспыхнула и на этот раз взаправду рассердилась, только уж не на него, а на себя.

«Ах, этот глупый, длинный язык! Вечно зря болтает...»

Но Сережа не стал злоупотреблять нелов-

ким положением Тани, он вовсе не хотел смущать ее. Он улыбался по-прежнему, только уж другой улыбкой, в которой не было ничего насмешливого.

— Философ! — сказал он, — а ведь опять-таки выходит, что философ не я, а вы же, милая Таня. Конечно, не в том разумении, какое угодно княгине придавать сему слову, а вот эти ваши беседы с природой — это и есть философия настоящая, по крайней мере, прямой путь к ней. И вижу я, что Рено был прав, когда недавно сказал мне про кого-то: «О, это особенная головка — в ней много вместить можно, и она многое выдержит». Видишь, какого мнения о тебе умные люди! Я, может быть, не должен был бы говорить этого, только ведь я и сам так о тебе думаю — ты особенная, Таня!

Его глаза так нежно и ласково остановились на ней, что она не могла долго выдержать этого взгляда и смущенно отвернулась.

Со ступенек беседки, где они стояли, она опять подошла к голубому дивану и уселась в уголок. Он поместился рядом с нею, все продолжая глядеть на нее так смутившим ее

взглядом.

— Только как это странно, говорил он, давно ли Таня была маленькой девочкой, в куклы играла с Леной — и вот теперь какая! А Лена и до сей поры в куклы играет — намерднии застал ее.

— Что же, и я играю в куклы, и у меня они целы, — хотите, сегодня же покажу, когда придем домой. Мне еще недавно в девичьей целый гардероб для них сшили.

— Верю, верю, только думы-то не о куклах.

— Не о куклах, — повторила она, вдруг вся притихнув.

Замолчал и он, снова дивясь тому, что случилось сегодня. Глядя на Таню, подмечая выражение лица ее, ее глаз, следя за ее то потухавшим, то разгоравшимся румянцем, он был теперь совершенно уверен, что она тоже не так, не случайно забрела в этот час в голубую беседку.

О, конечно, наверное, и она знала, что он непременно придет сюда. И она ждала его, и ей было так же точно нужно его видеть, именно сегодня, именно теперь, на этом месте. Тот же непонятный, тайный голос, кото-

рый звал его сюда, звал и ее. Вот сейчас, стоит только спросить ее, и она подтвердит все это, потому что она лгать не умеет, да и не нужно.

Почти до боли забилося его сердце, и прерывающимся голосом он шепнул:

— Таня!!!

Она вздрогнула. Она сразу почувствовала особенное в его слове. Он никогда еще, ни разу в жизни, так не произносил ее имени.

— Что?! — почти беззвучно, одними губами спросила она.

— Таня! Отчего ты здесь, не где-нибудь в другом месте, а именно тут, в голубой беседке?

Это был странный и смешной вопрос. Но она не изумилась и не смеялась; она поняла, зачем он ее спрашивает и какое важное значение имеет вопрос этот.

— Я сама не знаю, — тихо ответила она.

— Таня... милая!.. ради Бога, скажи всю правду!..

Он взял ее руку. И горячая рука девушки сразу охладела и вздрогнула в его руке.

Она подняла на него большие, широко раскрытые глаза, и он прочел в них изумление,

страх, нежность, счастье — все вместе.

— Не знаю... странное что-то, — шептала она, — как будто сон... да, право... я весь день как во сне... и встала во сне... и сюда пришла... Сережа, я знала, что ты, наверное, здесь будешь... Я ждала тебя...

Она отняла у него свою руку, быстро поднялась с дивана и схватилась за голову.

— Что же это?! Я с ума схожу, что ли?

Он привлек ее опять к себе и уже не выпускал ее рук. Он засматривал ей в глаза совсем сияющий.

— И я знал, что ты здесь... я изумлялся; но когда увидел тебя, то понял, что и ты ждала меня. Если сон, так он тот же и со мною, и не след просыпаться... Таня! Милая Таня!.. Как я люблю тебя...

Он обнял ее, осыпал поцелуями, и она не сопротивлялась, она сама возвращала ему его поцелуи.

Их сон продолжался, и с каждой новой переживаемой минутой становился все лучезарнее и волшебнее. Они видели, как долгожданное, долго манившее блаженство жизни раскрывается перед ними. Они чувствовали

оба одними чувствами, что все, что было до сих пор, имело одну только цель — довести их до этой минуты, они жили только для того, чтобы дожить до нее.

Они молча, блаженно глядели друг на друга. Только уж теперь в них не было никакого изумления, никаких вопросов. Все свершилось, все стало ясно, говорить им было не о чем, потому что они и без слов все понимали.

Наконец Таня вспомнила, что ее уже давно ждут дома. Но она не позвала с собой Сергея, и он не пошел за ней. Теперь они не хотели вместе показаться на глаза людям. Они расстались, каждый глубоко про себя спрятал свое счастье.

III. «ВОТ И СЛУЧИЛОСЬ!..»

Не видя, не сознавая окружавшего, он спешил по знакомым дорожкам парка. Вот и избушка сторожа, и Степушка с Красавчиком.

Степушка что-то говорит ему, но он не слышит, впопад отвечает, нет ли — ему все равно.

Он вскочил на Красавчика и помчался. Только выехав на большую лесную дорогу, он несколько пришел в себя и оглянулся.

Боже, как хорошо!

Еще лучезарнее, еще краше и ближе к сердцу показалась ему осенняя природа. Никогда еще не было такого дня.

Застоявшийся Красавчик мчал его, едва касаясь земли и только изредка чуть шевеля сухие листья легким копытом.

Щеки Сергея горели, сладкая дрожь пробежала по его жилам, и все ему казалось, что он обвеян еще присутствием Тани, что она незримо здесь, около него, в нем самом, в его радостно бьющемся сердце...

Но вдруг в конце аллеи раздался конский топот. Сергей невольно остановился и прислушался. Уже явственно было слышно, что кто-то мчался к нему навстречу. Вот уже и виден на взмыленном коне всадник.

Сергей узнал его.

«Но зачем он? И так спешит!.. Что такое?.. Уж не случилось ли чего!»

Однако эта первая невольная мысль не оставила в нем никаких следов, никакого опасения.

Он был слишком счастлив, чтобы остановиться на чем-нибудь тревожном. Что теперь

может случиться? Да и что бы ни случилось, ему какое дело!

Между тем мчавшийся к нему навстречу всадник оказался уже в двух шагах от него.

Это был небольшого роста сухощавый человек лет сорока с приятным подвижным лицом, быстрыми глазами. Он неловко держался на лошади, чулки его висели складками на худых ногах, шляпа слезла на затылок, парик плохо причесан.

Сергей взгляделся в лицо его и нервным движением сразу остановил Красавчика. Его поразило в этом лице совсем необыкновенное, странное и пугающее выражение.

— Рено, что такое? *Au nom du Ciel!*..

Француз-воспитатель заговорил спешно, едва переводя дух от быстрой езды, и, видимо, избегая глядеть на Сергея:

— *Tranquillisez vous...* не пугайтесь... поедemте скорей... *monsieur vore pere...* он болен... с ним вдруг сделалось дурно... Я так и знал, что вы отправились в Знаменское... поспешил за вами... хорошо, что нашел скоро...

Сергей еще не понимал, но уже яркий румянец сошел со щек его и заменился бледно-

стью, уже мгновенно исчезло без следа счастливое чувство, владевшее им еще за минуту.

Ничего не могло случиться, ни до чего нет дела! А вот и случилось!.. Что... что... такое?.. Отец... да как же это... как?

Он засыпал француза вопросами, но тот ничего не договаривал, только просил успокоиться — и это заставляло Сергея еще больше волноваться.

Наконец он узнал, что отец его, Борис Григорьевич Горбатов, всегда такой сильный, бодрый и здоровый, и сегодня, как обыкновенно, в урочный час вышел из своих покоев. За завтраком его встретили жена и дочь. Тут был и Рено. Борис Григорьевич ласково со всеми поздоровался, говорил спокойно, мило, стиво обращался со своим постоянным домашним штатом, даже пошутил с Моськой-карликом, принялся кушать — и вдруг захрипел и упал навзничь. Его снесли в опочивальню: домашний доктор, живший у Горбатовых, объявил, что дело серьезно, что у Бориса Григорьевича удар, которого он давно опасался.

— Господи!.. Да жив ли он... жив ли? —

спрашивал Сергей.

Ему все казалось, что Рено скрывает от него, не все договаривает; он чувствовал новое мучительное ощущение, которое тисками сжимало и томило его сердце.

Отец!.. Он так мало вообще думал о нем; он никогда не отдавал себе отчета в том, любит ли его или нет, а просто его боялся с самого детства и до последнего времени; привык многое скрывать от него; привык от него таиться, сдерживаться в его присутствии, иногда просто даже тяготиться этим присутствием. Отец казался ему силой, с которой нельзя было бороться, нужно было подчиняться без рассуждений, права или не права эта сила.

Но тут все забылось, осталось одно чувство жалости, бесконечной жалости к этому отцу, к этому сильному человеку, действовавшему только своей силой и так часто несправедливому вследствие этого, как, по крайней мере, казалось молодому сыну.

— Жив ли он... жив ли?.. — повторял Сергей. Рено отвечал ему, что жив, чтобы он не отчаивался, что еще нет ничего безнадежно-го.

И оба они пришпорили своих лошадей и мчались в Горбатовское.

Они въехали на широкий двор, в глубине которого тянулись обширные барские хоромы — длинное, одноэтажное, построенное покоем здание, к которому примыкали всякие службы. Посреди обширного двора красовался роскошный цветник, устроенный трудами года два тому назад выписанного из Петербурга ученого немца-садовника. Пышные георгины и астры были в полном цвету. Белый дом, недавно выкрашенный, с яркой зеленой крышей, с новыми зелеными ставнями окон так и сверкал на солнце. Вся эта яркость бросилась в глаза Сергею, и от нее стало ему еще тяжелее, еще мучительнее. Он подметил, оглябая цветник и останавливаясь у главного крыльца, суетню, он подметил странное выражение на всех лицах. Ему хотелось спросить у первого встречного: что? как? что с отцом? И в то же время он боялся ответа на этот вопрос и ничего не спрашивал.

Он молча соскочил с Красавчика, не замечая кто взял у него из рук повод, и кинулся на крыльцо. В комнатах было еще больше

необычного, беспорядочного движения, на лицах еще более странного, смущающего выражения.

Сергей бежал дальше к дверям, за которыми начинались покои отца, куда он обыкновенно не очень часто заглядывал.

— Сережа!

Мучительное, измученное и страшное слышалось ему в этом голосе.

Это была его мать. Она кинулась к нему, он увидел ее беспорядочно сбившиеся букли, с которых осыпалась почти вся пудра, ее полное, добродушное лицо, совсем раскрасневшееся, заплаканное, в котором ежесекундно менялось выражение испуга, изумления и горя.

— Отец... пойдём... не узнает... Боже мой!.. Вот несчастье... и неожиданно так... чужло ли мое сердце?! Пойдем, Сережа!..

Она взяла его за руку. Он следовал за нею, опять почти теряя сознание, ничего не видя, не понимая.

Они в опочивальне. Яркий свет озаренных солнцем комнат сменился полутьмою; ставни в опочивальне почти наглухо заперты, толь-

ко в небольшую щелку прокрадывается полоска света и расплывается по комнате. На широкой, высоко взбитой кровати Сергей разглядел тучную фигуру отца.

Весь дрожа, с подкашивавшимися ногами, подошел он и замер. Обрывки мыслей бесвязных, не имевших никакого отношения к этой нежданной минуте, роились в голове его. Он вглядывался в полусумрак и вот начал ясно распознавать предметы. Две лампы, висевшие перед иконами у изголовья кровати, озаряли лицо отца особенным светом, и это освещение поразило Сергея — ему показалось в нем что-то злое, священное и страшное, говорившее о смерти.

Долго не решался он взглянуть на знакомые черты; ему казалось, что он увидит в них такое, чего не будет в силах перенести. Но он, наконец, взглянул и действительно чуть не вскрикнул, хотя, по-видимому, ничего страшного не было в лице Бориса Григорьевича. Это был тот же красивый старческий облик: высокий лоб, над которым серебрилась седина коротко подстриженных волос, орлиный нос с широко раскрытыми ноздрями. Таким Сер-

гей видал отца часто по утрам, без парика, в теплом атласном, отороченном соболем халате. Вот и теперь этот халат на нем. Но разве это отец? Это будто совсем другой человек — жалкий, беспомощный. Никогда еще в жизни и ни к кому Сергей не чувствовал такой невыносимой жалости.

Борис Григорьевич лежал с закрытыми глазами; нижняя губа его вздрагивала, и вдруг один глаз открылся, а другой так и остался закрытым.

Сергей бросился вперед, схватил отца за руку, стараясь уловить взгляд его, но открытый глаз глядел прямо на него и, очевидно, его не видел. Холодная, тяжелая рука оставалась неподвижной и только время от времени слабо вздрагивала. Тихий стон, скоро перешедший в хрипенье, послышался из груди Бориса Григорьевича. Его рот бессильно раскрылся. Видно было, как ворочался язык, но между тем он не произносил ни слова.

Жена с громким рыданьем, которого не в силах была уже сдерживать, метнулась сначала к мужу, а затем к тут же, в двух шагах, стоявшему врачу.

— Богдан Карлыч, что это с ним?.. Ужели?

Богдан Карлыч, сухой, длинный старик, в коричневом суконном кафтане, смятом жабо, черных чулках и башмаках с огромными стальными пряжками, с совершенно неподвижным, ничего не выражавшим лицом, только мотнул головою.

В опочивальню, трусливо пробираясь, всхлипывая и то и дело тихонько сморкаясь, прокралась тринадцатилетняя сестра Сергея, Елена. За нею показались еще две-три фигуры, знаками подзывая к себе хозяйку. Марья Никитишна Горбатова кинулась к дверям, и Сергей расслышал:

— Все готово!

— Что же, зовите! — упавшим голосом отвечала Марья Никитишна.

Через минуту в опочивальню уже входил священник.

IV. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Все, что было потом, оставило в Сергее смутное воспоминание, как подробности кошмара, которые забываются немедленно вслед за пробуждением, — остается в памяти только общее впечатление, давящее и невыносимое.

мое.

Недолга была глухая исповедь. Через несколько минут после принятия святых Тайн Борис Григорьевич скончался.

Громкие вопли огласили большие хоромы горбатовского дома. Вопили и те, которые действительно жалели покойника, вопили и те, которые в глубине души были очень рады его смерти, вопили по принятому обычаю, по неизбежной, всеми признаваемой необходимости. Затем поднималась таинственная суэта, постоянно сменявшаяся унылой тишиною. Многочисленная прислуга, приживальщички и приживалки, испокон века уютившиеся в богатом барском доме, даже карлик Моська — все ходили на цыпочках, шептались, появлялись и исчезали как тени. Марья Никитишна, отчаяние которой было трогательно, потому что со смертью мужа она теряла свою важнейшую опору жизни, человека, умом которого и волей она жила с пятнадцатилетнего возраста, — Марья Никитишна бессильно сидела в старом любимом мужнином кресле; обнимала и не отпускала от себя дочь, каждую минуту подзывала к себе Сергея, обливалась

тихими слезами. Но вот ее слезы вдруг остановились, она с изумлением глядела туда, в соседнюю комнату, где теперь лежало тело Бориса Григорьевича, и хриплым, страшным голосом говорила:

— Да что же это?.. Неужели его нет?.. Не может быть того... как же это?.. Что же теперь будет?..

И умолкала.

Сергей не отходил от матери. Он чувствовал такую усталость, что ему тяжело было подняться с места. Он не плакал, не испытывал теперь ни жалости, ни ужаса, ему только казалось, что несносная тяжесть навалилась на него и так вот и давит и грудь и голову, так что дышать становится трудно; хочется вырваться, уйти на чистый воздух, и между тем является сознание, что уйти нельзя, что всюду будет преследовать эта тяжесть. По временам он взглядывал на мать, видел ее жалкое, недоумевающее и сразу постаревшее лицо и поскорей отводил от нее глаза, потому что невыносимо было глядеть на нее.

Уже давно прошло время обеда, но обеда не было. Марья Никитишна, Сергей и Елена

только рукой махнули на доклад дворецкого. Без хозяев никто не решился сесть за стол, и все в этот день обедали где попало, по большей части в кухне. Там была толкотня и беспорядок. Богдан Карлыч сидел в буфетной перед открытым шкафом, где хранились любимые настойки Бориса Григорьевича. Немец то и дело наполнял маленький серебряный стаканчик и что-то бормотал себе под нос. Карлик Моська, человек в полтора аршина, разряженный в кружева, яркий бархат и позументы, в хитро завитом парике с косичкой в кошельке, забился за колонну в темном углу длинной залы. Его крохотное лицо, напоминавшее печеное яблоко, представляло то столетнего старика, то новорожденного ребенка. Он горько плакал, по временам вынимал из кармана маленький детский платочек, утирал им слезы, потом свертывал его клубочком и опять прятал в кармашек. Он очень любил Бориса Григорьевича и всегда пользовался его особою милостью. До следующего утра никто из домашних не видал Моськи — он так и заснул в темном уголку залы, выплакав все свои слезы...

Начало смеркаться. У главного подъезда слышался стук подъехавшего экипажа, и в комнату, где находились Горбатовы, поспешно вошла княгиня Пересветова, полная, еще далеко не старая и красивая, но сильно набеленная и нарумяненная женщина. За нею, робко и смущенно поглядывая своими темными глазами, показалась Таня.

Княгиня кинулась на шею Марьи Никитишны, крепко зажмуривая глаза, выжимая из них слезы, и заговорила медленным, ноющим голосом:

— Сестрица, ах Боже мой! Я просто не поверила, как мне сказали, голубушка моя... Какое горе... и вдруг... ну, кто бы мог подумать!.. Ляночка, Сережа... бедные мои!..

Она обняла их и опять обратилась к Марии Никитишне, держа ее руки в своих руках и говоря без передышки, выпуская фразу за фразой все тем же тягучим, будто заунывно поющим голосом:

— Как узнала — в тот же миг к вам, сестрица; успокойся, мой голубчик, нужно, мать моя, и себя пожалеть... не убивайся, со мною ведь не лучше этого было... хоть и не так вне-

запно покинул меня мой покойник, а сама знаешь, каково мне тогда было оставаться одной-то, с малолеткой Таней... У вас-то сестрица, по крайности, Сережа, он уже мужчина, всем и распорядиться может, а мне-то каково — вот уж воистину горькая вдовья доля!..

— Княгинюшка, сестрица! — проговорила Марья Никитишна, снова пугливо посматривая на соседнюю комнату. — Да может ли это быть!.. Нет, не верю... Как же это его нет!.. Пойдем, взглянем, родная!..

Она приподнялась с кресла и, шатаясь, повлекла за собой княгиню.

Таня кинулась к Сергею и Елене.

Елена как сумасшедшая зарыдала, обнимая подругу. Сергей стоял молча, его глаза встретились с глазами Тани, но оба теперь глядели друг на друга совсем не так, как в это утро.

Таня протянула ему руку, он крепко сжал ее, и долго они так стояли, между тем как Елена все рыдала, прижавшись к тихо плакавшей Тане.

Они молчали. Таня не пробовала их утешать. Она хорошо чувствовала, что никаких

утешений теперь быть не может, что самое лучшее ей молчать и только крепче жать руку Сергея. Таня никогда особенно не любила Бориса Григорьевича. Постоянно, с первых лет детства, бывая у Горбатовых в качестве близкой соседки и родственницы, она могла только, как и все домашние, побаиваться нелюдимого, старого хозяина и смущаться его присутствием. Но его смерть, во всяком случае, поразила ее как неожиданность, и именно сегодня эта неожиданность была ужасна. Она ехала к Горбатовым совсем перепуганная и ошеломленная, а теперь, глядя на Сергея и Елену, она страдала почти так же, как и они, и ей бесконечно хотелось успокоить их хотя немного и этим самой успокоиться. Скоро она достигла отчасти своей цели. Ее тихие слезы, смешивавшиеся со слезами Елены, ее тихий голос, едва слышно повторявший: «Милая! милая!», произвел на Елену благотворное действие. Она приободрилась, приподняла голову, лицо ее стало почти спокойно. А от крепкого пожатия дорогой руки и Сергею показалось, что тяжесть, давившая на грудь и голову, вдруг как будто немного отлегла, вдруг

как будто стало легче дышать. Он заплакал. Это были первые слезы, и по мере того как сильнее и сильнее подступало чувство жалости и сознание только что понесенной утраты, его голова начинала светлеть, он выходил из невыносимого кошмара, начинал понимать действительность, которая, несмотря на весь свой ужас, была все-таки лучше мрака, до сих пор им в себе и вокруг себя ощущаемого. Вот его тихие слезы, наконец, перешли в рыдание.

Таня оставила Елену, усадила его в кресло, и теперь уже он слышал над собою ее ласковый голос, повторявший: «Милый, милый!»

Его рыдания утихали мало-помалу, и прежняя тяжесть не возвращалась...

Весь вечер Пересветовы оставались в доме. Болтливая княгиня покинула, наконец, Марию Никитишну, сообразив, что утешить ее не может, и занялась другим, более полезным делом.

— Вы так все расстроены, и ты, сестрица, и Сережа, уж позвольте мне, по родству да и по любви моей и почтению к покойнику, помочь вам разными распоряжками. Ведь хоть и

много людей, а известно, что за люди, на них в такое время ни в чем положиться нельзя, все невесть как да зря сделают!

— Ах, княгинюшка, ради Бога, коли не в тягость, — проговорила Марья Никитишна, — а у меня ни одной мысли в голове, ноги дрожат, руки опускаются... век буду благодарна, золотая моя...

И княгиня принялась распоряжаться. Мало ли что нужно было! Нужно было прежде всего оповестить в городе всех и каждого, начиная с городских властей, о скоропостижной кончине такого именитого богача, как Борис Григорьевич Горбатов. И в город, и к некоторым соседним помещикам были тотчас же разосланы гонцы.

Княгиня успела переговорить и со священником относительно похорон. Хотя у каждого из семейства Горбатовых было заранее приготовлено свое место в фамильном склепе, но все-таки кое-чем надо было распорядиться. Призывая подначальных людей, княгиня уже не пела и не тянула фразы. Ее голос становился повелительным, строгим. Ее выслушивали все, начиная с прислуги и кончая отцом Пав-

лом, горбатовским священником, не только что внимательно, но даже и не без страха, ибо крутой нрав княгини был хорошо всем известен.

Таня весь вечер сидела, обнявшись с Еленой, в опочивальне Марьи Никитишны, и кончилось тем, что истомившаяся и заплакавшая за весь день девочка крепко заснула на плече ее.

Сергей пробовал читать псалтырь над покойником, но скоро убедился, что это для него невозможно: слезы то и дело совсем застилали глаза, голос дрожал и обрывался, ноги подкашивались. Потом он попробовал выйти на крыльцо подышать воздухом, но здесь, на просторе, под темным звездным небом ему стало еще тоскливее, и он вернулся опять назад в дом, и бродил как потерянный по комнатам, нигде не находя себе места, садясь и через секунду опять вставая.

Француз Рено, хотя и не имел никакого дела и совсем даже не понимал, что такое теперь надо делать, все же в этот день ног под собой не слышал от усталости и истомился, как и все почти в доме. В сумерки он ушел в

свою комнату и заперся в ней. Он оставил Сергея с родными и хорошо понимал, что теперь лучше с ним не заговаривать, что надо обождать немного. Однако был уже поздний вечерний час — Рено не утерпел и отыскал Сергея.

«Ах, бедный мальчик, я не предполагал, что это так поразит его!» — думал он, глядя на осунувшееся, заплаканное лицо своего воспитанника. Он обнял его и увел его на балкон, а оттуда в сад.

Ночь была тихая, теплая. В это время вышла луна, кладя причудливые пятна на усыпанные желтыми листьями дорожки.

— *Marchons, mon enfant!* — сказал француз, вам непременно нужно пройтись на свежем воздухе, а то совсем сегодня не заснете.

— Ах нет, Рено, тяжело!.. Лучше вернемся!

Но француз настоял и, взяв под руку Сергея, повел его дальше от дому. Он начал говорить о том, о другом, о третьем, меняя беспрестанно тему разговора, перебегая с предмета на предмет; он говорил, всячески стараясь хоть немного заинтересовать юношу, заставить его хоть на несколько мгновений отой-

ти от печальной мысли. В конце концов это удалось ему. Недаром же он был воспитателем, недаром изучил характер и склад мыслей своего питомца; а главное — недаром был французом, умеющим влагать в живые звуки не только ясные, определенные мысли, но и все, что угодно...

Рено мало-помалу очень ловко овладевал вниманием Сергея, и когда, наконец, убедился, что ему удалось развлечь его и что можно говорить не только о сегодняшнем ужасе, он повернул разговор на предмет, о котором они часто беседовали в последнее время.

— Я получил письмо из Парижа, — сказал он, — очень интересное письмо. Мы накануне великих мировых событий; то, что я давно предчувствовал, начинает сбываться, все умы в движении; вопль попранных прав, униженного человечества дошел до неба! Наступит конец произволу. Правда скоро найдет себе защиту; король выходит из власти окружающих его недобросовестных людей, он внемлет голосу благоразумных...

И все в этом же роде, с возрастающим пафосом говорил Рено, но, наконец, заметил,

что Сергей его не слушает, что он еще не может сегодня долго останавливаться на каком-нибудь предмете.

Воспитатель понял свою ошибку.

— *Vouyons, mon ami,* — сказал он, — вы опять опустили голову... ободритесь!.. Я понимаю, как должно быть тяжело для вас неожиданное горе, но помните, что вы уже не ребенок, а мужчина. Женской слабости прости-тельно так растеряться и упасть духом под ударом грома, но вы должны быть крепки. Рано или поздно вы должны были лишиться вашего отца, ибо это закон природы, но именно вы-то, вы обязаны напрягать все усилия, чтобы быть теперь бодрым, потому что сегодня для вас начинается совсем новая жизнь. До сих пор, несмотря на ваши двадцать два года, у вас не было никакой самостоятельности, и вы сами так часто на это жаловались; отныне вы полноправный, самостоятельный человек, вы будете действовать за свой страх и теперь же, не отлагая этого, должны решить, хорошо ли вы подготовлены к вашим новым правам и обязанностям. Теперь мы вернемся домой, мы сделали хорошую прогулку, и я надеюсь,

что она поможет вам уснуть, вы должны заснуть непременно, чтобы завтра быть бодрее... Помните, что завтра проснетесь совсем новым человеком, завтра со всех сторон начнут съезжаться гости и к вам будут обращаться как к хозяину. Из уважения к памяти вашего отца вы обязаны достойно заменить его — помните это. До сих пор на вас мало обращали внимания, теперь на вас только и будут смотреть. Завоюйте же себе общее уважение. Думайте обо всем этом, больше думайте и не поддавайтесь горю...

Сергей ничего не отвечал, но наблюдательный, быстрый взгляд Рено, несмотря на ночную полутьму, успел подметить в лице юноши новое, быстро мелькавшее выражение.

«Я затронул настоящую струну, — подумал он, и эта струна зазвучит скоро!..»

Они вернулись в дом.

Сергей зашел помолиться у тела отца, и когда добрался до своей спальни, разделся и лег в постель, то почувствовал себя крайне усталым и измученным. Но эта усталость оказала свое благодетельное действие — он заснул крепким сном.

Рено тихонько вошел в комнату со свечой, взглянул на своего питомца, прислушался к его дыханию и одобрительно кивнул головой:

«Спит, крепко спит, еще бы! Такое здоровье и молодость! О, наверное, он завтра молодцом будет... Жизнь встряхнула — это не мешает, это даже полезно... А какой сегодня счастливый день для него! Это самый счастливый день в его жизни! Птица вылетает на волю... только крепки ли крылья?..»

V. БОРИС ГОРБАТОВ

Весть о внезапной смерти Бориса Григорьевича Горбатова всполошила не только окрестных помещиков, но и весь Тамбов, откуда тотчас же было дано знать в Москву об этом событии.

Борис Григорьевич не только по своему родовому богатству и знатному, старинному имени считался большим человеком. Он давно обращал на себя внимание, и его не забывали, несмотря на то, что он более четверти века безвыездно прожил в Горбатовском.

В молодости Борис Григорьевич занимал видное положение при дворе императрицы Елизаветы. Красивый, богатый и щедрый,

умевший со всеми ужиться и никому не становиться поперек дороги, он находился в дружеских отношениях и в родстве со многими из выдающихся в то время сановников. Он пользовался расположением императрицы, которая любила его веселые шутки и его молодые проказы.

Затем он тесно примкнул к кружку великого князя Петра Федоровича. Он был лично привязан к великому князю и даже какой-то странной, совсем слепой привязанностью — он никогда не хотел видеть его недостатков. Всякое желание Петра Федоровича было для него законом, он не допускал в себе никакой критики относительно великого князя, и когда старались его убедить, что вот так-то не следовало поступать, того-то не следовало делать, он только отвечал:

— Эх, ничего-то вы не понимаете, вы видите человека с одного только боку, а с другого к нему и подойти не хотите. А что повеселиться мы любим, да разные шуточки придумываем, так в том худого еще нету. Жизнь-то ведь коротка, а старость придет — тогда не до шуток будет.

И придумывались такие забавы, на которые Горбатов вместе со своим закадычным другом и родственником, Львом Александровичем Нарышкиным, был великий мастер. Эти забавы, всегда новые, совсем неожиданные и всегда оказывавшиеся во вкусе Петра Федоровича, все больше сближали их и все больше отдаляли Горбатова от великой княгини, которая, как и ко всем почти друзьям своего мужа, не чувствовала к нему никакого расположения.

Из всего кружка один только Лев Нарышкин оставался у нее в постоянной милости. Он владел тайной угождать обоим враждовавшим супругам, он был одновременно предан и великому князю, и великой княгине. Ну, а Борис Горбатов любил только Петра Федоровича, враги которого были и его врагами.

При дворе поговаривали об интригах против великой княгини, в которых будто бы принимал участие и Горбатов. Однако знавшие характер Бориса Григорьевича, не могли верить этим слухам, — он был слишком прямодушен, резок и бесхитростен для интриги, и на уме у него тогда были только забавы.

По смерти императрицы Елизаветы многие полагали, что теперь начнется для Бориса Горбатова большая блестящая карьера. Вероятно, так бы оно и случилось, но Петр III в несколько месяцев своего царствования не успел достаточно выдвинуть своего веселого друга, хотя уже произвел его в генерал-поручики и пожаловал ему ордена Анны 1-й степени и Александра Невского.

Горбатов участвовал в июньском событии 1762 года; он был с Петром III, в числе его веселых собеседников и собеседниц, в Ораниенбауме.

Он всю жизнь потом помнил тот жаркий солнечный день, когда все они, ничего не предчувствуя, отправились с императором в Петергоф. Дамы были так нарядны, оживлены, смеялись. Даже некрасивая графиня Елизавета Романовна Воронцова, любимица Петра, показалась Борису Григорьевичу на этот раз привлекательной, — а то он всегда изумлялся, чем это она так заворожила его высокого друга. Ехали в двух больших фаэтонах и громко перекликались. Два раза останавливались и менялись местами. Лев Нарышкин

кричал, что он ни за что не хочет сидеть в одном экипаже со своей молодой женой, Мариной Осиповной, потому что она тихонько, но очень больно щиплет его каждый раз, как он взглянет на которую-нибудь из дам.

Нарышкина пересадили, при общем смехе, в другой фаэтон. Он молча уселся, сделал важную физиономию и вдруг закудахтал курицей, да так искусно, что все снова покатались со смеху.

Мчатся фаэтоны, подымая облака пыли; с одной стороны дороги тихо плещутся о пологий берег мелкие волны залива, с другой дышат смолистым зноем старые сосны. Оживленный говор, перекличка и шутки не прекращаются между веселой компанией. Вот уже и Петергоф близко.

Но что это? К фаэтону императора подлетает на взмыленном коне Гудович. Вид у него такой встревоженный.

— Ваше величество, прикажите остановиться, я должен сообщить вам нечто важное! — смущенным голосом говорит он.

Экипажи останавливаются. Петр выходит из фаэтона, Гудович отъезжает в сторону. Они

говорят тихо, не слышно слов их, видно только, как быстро багровеет и потом бледнеет лицо императора. В экипажах все стихли, смотрят друг на друга вопросительно, тревожно... И вдруг... кто это сказал? кто расслышал?., но все почему-то сразу узнали, в чем дело, с каким известием Гудович... Несмотря на приготовления к празднику царского тезоименитства, несмотря на ожидаемый с минуты на минуту приезд императора, императрица внезапно уехала из Петергофа.

Дошутились, довеселились!

Петр садится в экипаж и нервно-дрожащим голосом приказывает все же ехать в Петергоф. Теперь уже не кудахчет Нарышкин, не смеются веселые дамы. Все притихли...

Страшный день. Каждый час приносил новые тревожные вести. Посланные Петром в Петербург и на Нарвскую дорогу адъютанты не возвратились. Он совсем растерялся, не слушался благоразумных советов. К вечеру он всем объявил, что нужно немедленно ехать в Кронштадт.

Напуганная компания отправилась на галеру и около 11 часов вечера была уже в

Кронштадте. Светлая, теплая ночь. Огоньки у пристани. В крепости все тихо. Вот сейчас причалит галера, выйдут, может, спасение, может, удастся!.. И вдруг оклик: «Кто такие»? Император громко себя называет, стараясь придать твердость своему голосу. «Какой император? Не знаем императора... Наша императрица Екатерина Вторая Алексеевна!.. И коли вы тотчас отсюда не отъедете, то по галере из пушек стрелять будем»... Петр стоял пораженный, трепещущий; потом схватился за голову и кинулся в нижнюю часть галеры, повторяя: «В Ораниенбаум, в Ораниенбаум!» За ним поспешила плачущая Елизавета Воронцова. Галера отъехала от крепости.

И тоска и злоба душили Горбатова.

— И всего-то часами двумя, тремя нас упредили! — отчаянно повторял он, — да и мы все хороши тоже! Еще утром, только что приехали в Петергоф, его следовало везти сюда, хоть силой... Тогда бы все еще могло быть спасено, а теперь... теперь гибель!..

Помнил Борис Григорьевич еще одну минуту.

После двух смиренных писем к Екатерине

с отречением от престола, Петр, по ее желанию, отправился к ней в Петергоф с Гудовичем, Измайловым и Воронцовой. Он совсем уж упал духом, пугливо озирался и не выпускал руку своей «Романовны». Казалось, что он даже не узнает друзей. Горбатов бросился к нему, чуть не плача. Петр взглянул на него тусклыми глазами и слабо улыбнулся:

— Что ты, Борис, я не навеки... может, еще увидимся.

Но они уже не увиделись.

Оставшихся в Ораниенбауме арестовали, перевезли в Петербург. Они должны были присягать императрице.

— Как же я стану присягать ей, когда жив мой император, коему я уже присягал в верности? — объявил Борис Григорьевич и так и не пошел к присяге.

Екатерине тотчас же было доложено о таком поступке.

— Что же, он прав! — сказала она, — и кабы много было таких слуг у Петра Третьего, то я не называлась бы теперь Екатериною Второю...

Она приказала оставить Горбатова на сво-

боде.

Не теряя минуты, он выехал из Петербурга в свою тамбовскую вотчину — Горбатовское.

Скоро пришло к нему письмо от веселого друга его Льва Нарышкина. В письме говорилось, что император скончался, советовалось ехать в Петербург, обещалось, что дело обойдется благополучно, и в то же время объявлялось, что в случае продолжения такой незаконной и самовольной отлучки может быть очень плохо.

На это письмо Борис Григорьевич ответил, что до самой смерти его ноги не будет больше в Петербурге.

Как раненый зверь, свирепый, на себя не похожий, бродил он по хоромам горбатовского дома, в котором был единственным и полным хозяином, так как родители его в то время уже умерли, родных братьев и сестер у него не было. Домашние, и в том числе его старая мамка, особенно им любимая, старались на глаза ему не попадаться. Мамка целые дни молилась и плакала, и всем говорила, что, видно, в головушке помутилось у боярина: он и будто не он. Уж не бес ли, прости

Господи, в него вселился!

Бесов в Борисе Григорьевиче сидело теперь много, и долго не мог он от них избавиться, не мог их из себя выгнать. Все страсти бушевали в нем. Он был человек, который, раз убедившись в чем-нибудь, никак не мог отвернуться и взглянуть в другую сторону. Он был верноподданным и в то же время верным, любящим другом императора, а потому никакие рассуждения, ничьи убеждения не могли его заставить спокойно взглянуть на совершившееся. Он знал только великую неправду и не хотел иметь ничего общего с этой неправдой. Достоинств Екатерины, теперь самодержавной императрицы русской, для него не существовало. Недостатков Петра III он не видел, и прежде, а уж теперь дорогой покойник представлялся ему просто святым человеком.

«Никогда нога моя не будет в Петербурге», — писал он своему другу и родственнику, эту великую клятву дал он себе сам торжественно перед Богом и до конца жизни оставался ей верен. Никогда больше не видел он не только Петербурга, но даже Москвы, даже

и Тамбова, отстоявшего от Горбатовского всего в сорока верстах. Дальше границы своих владений никогда и ни при каких обстоятельствах не отъезжал он.

Он и женился, но так, что ему не надо было ездить за невестой. Марья Никитишна была рожденная княжна Пересветова; приехала она погостить к своему двоюродному брату, покойному отцу Тани, в Знаменское. В это время Борис Григорьевич давно уже успел успокоиться, давно уже успел соскучиться в одиночестве и серьезно подумывал о женитьбе. Марья Никитишна была ему совсем подходящей невестой. И роду знатного, издавна близкого и даже родственного Горбатовым, и чтобы видеться с ней, не нужно было изменять клятве, не нужно было переламывать своего упрямства, выезжать из вотчины. Усадьба Пересветовых была как раз у самого Горбатовского леса.

Немного времени употребил Борис Григорьевич на свое сватанье. Меньше чем в месяц сладилось дело, и Марья Никитишна, богатая сирота, вошла пятнадцатилетней хозяйкой в пустые, мрачные хоромы Горбатова.

Борису Григорьевичу в это время было лет тридцать пять, он оставался все тем же сильным красавцем, каким блистал на вечерах императрицы Елизаветы, но и тени прежнего веселого характера не замечалось в нем. За несколько лет уединенной жизни, разбитых надежд, горьких воспоминаний и пережитых мучений страстной и гордой природы, он совсем переродился. Никто уже теперь не слышал его смеха; а о шутках и проказах давно не было помину.

Его называли нелюдимым медведем. Он очень недолюбливал тамбовское общество и соседних помещиков, потому что считал себя оскорбленным ими: в первое время все побаивались опального богача, думали, что близким знакомством с ним можно себе повредить, а потому никто не навещал его.

Потом, когда оказалось, что Горбатов сам на себя наложил опалу и что никто не думал его преследовать, и соседи, и тамбовские власти нахлынули к нему в Горбатовское.

Он встречал всех ласково, кормил и поил, тешил охотой, но в то же время никто не замечал в нем того радушия, каким славились

его предки и сам он в первой молодости.

Все чувствовали, что из Горбатовского не гонят гостей, но и не особенно радуются их приезду. Хозяин очень часто вставал и уходил к себе и возвращался не ранее, как через несколько часов.

Но, конечно, это не мешало гостям навещаться в Горбатовское. Богатый дом, изобилующий питиями и яствами, никогда пустым не будет.

Жена Борису Григорьевичу досталась хорошая: она сразу подчинилась его влиянию, стала на него молиться, его слово было для нее законом, его спокойствие, исполнение его желаний — целью ее жизни.

Из милостивой пятнадцатилетней девушки вышла здоровая и простая русская женщина, воспитанная хоть и в богатстве, но без особенной заботливости, не успевшая ознакомиться с лоском столичной жизни. По натуре своей тихая и серьезная, Мария Никитишна полюбила деревню и оказалась прекрасной хозяйкой своего обширного хозяйства. Порадовала она Бориса Григорьевича рождением сына, а потом, через несколько лет, дочери.

Годы проходили, Горбатовы старились, дети их подрастали, а жизнь день за днем шла в Горбатовском однообразная, скучная. Тишина дома только изредка нарушалась приездом гостей, да обязательными, несколько раз в год, пирами и охотами.

Иногда приезжали из Москвы, из Петербурга родные, но столичные гости бывали ненадолго, бежали от скуки и дикости хозяина.

Сколько раз и Лев Нарышкин и другие родичи уговаривали и убеждали Бориса Григорьевича вернуться в Петербург: императрица давно уже позабыла все старое.

Но упрямец не сдавался, да при этом еще говорил такие слова, которые не особенно было приятно слушать.

Императрица для него не существовала. Ее величия, ее славных дел, ее блестящего царствования он не видел — обо всем этом невозможно было и говорить с ним, потому что вообще рассудительный и благоразумный человек, тут он оказывался просто полупомешанным.

— Странный ты, право, — говорили друзья

и родные, — ведь вот у тебя сын подрастает, ты хоть об его будущности подумал бы!

— Это чтоб я сына в Петербург!.. Ну уж, пока жив, он отсюда не уедет! Нечего ему там делать, ничему путному не научится!..

— А тут чему научится? Где у тебя для этого здесь в деревне средства? Как ты его воспитываешь? Хоть бы француза хорошего, что ли, взял к нему.

— Вот это дело совсем другое, — отвечал Горбатов. — Сыщите, братцы, хорошего человека, знающего да и вам ведомого, не прощелыгу какого-нибудь, а серьезного человека. Сыщите — великую услугу окажете, великое спасибо скажу вам!

Друзья и родные постарались. Один из них, бывший при посольстве во Франции, вывез из Парижа Рено для воспитания своего сына, но через два года мальчик умер, и Рено остался без занятий. В доме были им довольны и, снабдив его самыми лучшими рекомендациями, отправили в Горбатовское.

Таких людей, как Рено, Борис Григорьевич еще никогда не видал, хотя в его время в Петербурге было очень много гувернеров-ино-

странцев: и немцев, и французов, и швейцарцев. Императрица Елизавета любила французский язык, при дворе на нем говорили, и дети всех богатых и знатных людей начинали сызмальства к нему приучаться. Но эти французы и француженки, швейцарцы и швейцарки, бравшиеся за воспитание русского юношества, были люди самых сомнительных достоинств и по большей части темного прошлого. Много вреда наделали они своим невежеством, грубостью и безнравственностью подраставшему русскому поколению.

Боялся Борис Григорьевич, что и этот француз, присланный ему из Петербурга, — человек такого же сорта.

Когда ему доложили о приезде француза и принесли привезенные им рекомендательные письма, он письма прочел, не придавая особенной веры рассыпанным в них похвалам, и принял Рено совсем нелюбезно, отнесся к нему с высоты своего величия. Но он сразу увидел, что перед ним не совсем то, чего он ждал. В небольшой фигуре француза не было ничего: ни заискивающего, ни кичливого. Лицо его было приятно, и сказывалось в нем

нечто серьезное.

Несмотря на неласковый прием, встреченный им у одичавшего барина, Рено сумел сразу поставить себя в надлежащее положение. После получасового разговора Борис Григорьевич уже спустил тон и кончил тем, что не только посадил Рено рядом с собою, но даже, окончательного стоворившись с ним, протянул ему руку — а своим рукопожатием он редко удостаивал и соседей, зажиточных дворян-помещиков.

Такое же хорошее впечатление произвел Рено и на всех домашних и скоро освоился в Горбатовском.

VI. РЕНО

Сближение между Рено и семнадцатилетним воспитанником произошло быстро.

До сих пор у Сергея, собственно говоря, совсем не было воспитателя; правда, в доме прожила года три «мадама», швейцарка, приехавшая в Петербург со своим возлюбленным, который ее скоро бросил. Она вздумала было открыть модный магазин, но дела у нее не пошли, и она решилась заняться воспитанием русских детей, не имея к этому ни при-

звания, ни должной подготовки. Она с грехом пополам читала несколько привезенных ею из Женевы романов, и дальше этого ее образованность не шла. Кончила она тем, что стала пить, попала в не совсем приличном виде на глаза Борису Григорьевичу и немедленно была выслана из дома.

Борис Григорьевич, в свое время не получивший хорошего образования, но впоследствии, с переселением в деревню, очень много читавший и занимавшийся, принялся сам учить сына. Он проходил с ним математику и военные науки. Только эти занятия не приводили почти ни к чему.

Горбатов был раздражителен, не смог примениться к детской натуре, требовал от Сергея постоянно одинакового прилежания и понятливости и этим только смущал его, запускивал, одним словом — портил дело.

Славянским языком и Законом Божиим занимался с Сергеем горбатовский священник, отец Павел, человек от природы неглупый, любознательный, но робкий, боявшийся в горбатовском доме не только хозяина, а даже всех и каждого. С таким характером он не мог

получить влияния над мальчиком, но он все же принес ему другого рода пользу. Он познакомил его с нарождавшейся русской литературой, с Ломоносовым.

Изучение российской словесности не входило в круг занятий отца Павла, тот круг, который был начертан самим Борисом Григорьевичем. Это были, так сказать, контрабандные занятия, но они интересовали Сергея более, чем остальные уроки. С приездом Рено дело пошло совсем иначе.

Борис Григорьевич после нескольких разговоров с французом убедился, что петербургские друзья рекомендовали ему действительно подходящего воспитателя. Рено забросал его такую массой разнообразных сведений, что поневоле заставил уверовать в свою фундаментальную ученость. Ввиду этого, Борис Григорьевич решился отказаться от занятий с сыном, передать его всецело на руки французу. От прежних занятий остались нетронутыми на первое время только уроки с отцом Павлом.

Но что такое был этот Рено? Какого руководителя приобретал в нем единственный мо-

лодой представитель старинного и знатного рода Горбатовых?

Рено был сыном зажиточного парижского торговца и детство провел в обеспеченной буржуазной среде.

Отец хотел его приучить к торговле, но это занятие было ему не по вкусу. Он стал учиться, быстро схватывал все предметы и в то же время по свойствам своего живого, непоседливого характера заводил всевозможные уличные знакомства, попадал во всевозможные кружки. Наэлектризованный идеями Руссо и Вольтера, он ораторствовал по кофейням и клубам. Если бы он остался в Париже, из него вышел бы, вероятно, очень деятельный и видный говорун-агитатор, но вдруг несчастья, одно за другим, начали на него обрушиваться. Его отец умер, оставив после себя расстроенные дела, которых Рено не умел, да и не хотел устраивать. Он пробовал заняться адвокатурой и даже начал было мало-помалу приобретать успех, но тут в его жизнь замесалась сильная страсть, поглотившая его всецело.

Он влюбился в девушку не своего круга, в

дочь старой, разорившейся графини, делами которой занимался.

Сближение с молодой графиней было для Рено нетрудно. В это время французская аристократия уже начинала мало-помалу допускать в свои салоны образованных и хорошо воспитанных буржуа. Традиционная чопорность и скука салонов тяготили молодых светских женщин. Виконты и маркизы в хитро завитых париках и галунах умели, по большей части, говорить только заученные комплименты, которые от постоянного повторения давно потеряли всякий смысл в глазах виконтесс и маркиз. Молодые буржуа были гораздо занятнее: они оказывались очень образованны, занимались наукой, литературой, искусством — с ними можно было и весело и полезно провести время.

Рено прошел через все перипетии мучительной драмы: сначала боролся со своей любовью, потом скрывал ее, потом высказался.

Его не сразу прогнали, хотя, конечно, были очень оскорблены признанием маленького адвоката.

Но этот адвокат был крайне нужен, его лю-

бовь можно было с большою пользою эксплуатировать. Это поняли и мать, и дочь.

Девушка кокетничала с ним, водила его за нос, играла с ним, как кошка с мышью, и в то же время заставляла его делать невероятные усилия, чтобы поправить их расстроенное состояние, выиграть безнадежные процессы.

И он делал все, что от него требовали, и в угоду своим мучительницам он портил свою адвокатскую репутацию. Перед ними он лгал и изворачивался, принося им свои собственные деньги и уверяя, что эти деньги получены с их должников. Такое положение продолжалось целых два года.

Когда он заговаривал о любви, ему отвечали и «да» и «нет». Ему толковали о том, что он может всего ожидать от благодарного за такие огромные услуги сердца, но что награда придет только тогда, когда услуга будет окончательно оказана, то есть когда вернутся во владение графини ее проданные за долги имения, одним словом — совершится невозможное. Но он был так увлечен, что и самому ему это невозможное начинало представляться возможным. Он бился, работал как каторж-

ный, изыскивая всякие хитрости, надоедая всем и каждому, превращаясь в посмешище своих сотоварищей.

Наконец, через два года, дела графини были всё до одного проиграны, и в то же время у Рено не оставалось уже никаких денежных средств, которые он мог бы предложить ей.

Два года роскошной жизни матери и дочери лишили его последней копейки.

Он еще раз заговорил о любви своей, он надеялся, что его усилия, хотя и не приведшие к желанному результату, все-таки заслуживают награды — ведь он два года был собственностью этих женщин, рабом их. И он предлагал им всю свою жизнь, предлагал и впредь, не покладая рук, на них работать. Ведь все равно и со знатным именем, но без средств к жизни они не могут занимать в высшем парижском обществе места, принадлежащего им по праву рождения, все равно должны удовольствоваться жалким существованием. Так не лучше ли совсем уехать из Парижа, принять его в семью свою, и там, где-нибудь в провинции, он устроит им безбедную обстановку. Его способности, его адво-

катский навык ручаются за это.

На его горячие речи ему теперь прямо отвели презрительным смехом.

«Как, он все еще продолжает свои безумные притязания? Может быть, это он нарочно довел их до такого положения, думая этим вернее достигнуть своей цели?! Может быть, более способный и честный адвокат иначе повел бы дела и успел бы их выиграть. Конечно, он нарочно разорил их!..»

Бедный Рено не верил ушам своим. Он не стал ничего говорить, не унизился до оправданий и дальнейших объяснений. Он ушел от графини и ее дочери с тем, чтобы никогда к ним не вернуться.

В первое время он думал, что сойдет с ума, хотел покончить с собой, но все же удержался. Через два-три месяца, на посторонний взгляд, он казался даже спокойным человеком, только его трудно было узнать — так изменилась его наружность.

Он покончил с прежней жизнью и начал с того, что совершенно бросил адвокатуру — да и нельзя было иначе — он получил слишком шутовскую репутацию, благодаря процессам

графини.

Теперь он жил, день за днем, в комнатке верхнего этажа того дома, который прежде принадлежал его отцу и где он в полном довольствии, почти в роскоши, провел свое детство и первую молодость.

Кой-какие литературные работы, сотрудничество в газете были достаточны для удовлетворения его нужд, о большем же он теперь не заботился. Еще недавно блестящий, франтоватый молодой человек (тогда ему было не более тридцати лет), теперь он совсем опустился. Он ходил в потертом, часто нечищеном платье, стараясь не встречаться с прежними знакомыми. Если же встреча была неизбежная, то он употреблял все усилия сократить ее. Он избегал всякого серьезного разговора, о себе и своих делах никогда не говорил ни слова. Общественные явления и политика — все, чем так он интересовался прежде, теперь для него почти не существовали.

Прежний блестящий клубный оратор будто наложил на себя обет молчания.

Так прошло года три. Рено успокоился,

примирился со своим новым существованием. Он много работал, много учился, за это время усвоил себе не один новый предмет. Но жизнь в Париже все же была ему тяжела, и, по мере того как он успокаивался душевно, ему все больше и больше хотелось решиться на что-нибудь необычайное, встряхнуть себя хорошенько, окунуться в новую, неизвестную еще среду.

Через редакцию газеты, в которой он работал, он завел сношения с русским посольством и кончил тем, что уехал в Россию с родственником Горбатова.

В Петербург он явился совсем возрожденным. Путешествие, новая обстановка, целая масса самых разнообразных и неожиданных впечатлений сильно на него подействовали, оживили его, сделали снова совсем здоровым человеком. Ему было сначала трудновато ладить со своей, чересчур уж скромной, ролью воспитателя, но он попал к порядочным людям, которые не стали оскорблять его самолюбие.

Воспитанник его нежданно умер, явилось предложение Горбатова. Рено был чрезвычай-

но доволен, когда узнал, что ему будет поручено воспитание очень богатого и знатного молодого человека, на которого до сих пор обращали мало внимания. Создать человека по тому идеалу, какой сложился уже в голове пылкого француза — это была увлекательная цель, и Рено энергично приступил к ее достижению.

VII. ВОСПИТАНИЕ

Сергею было тогда семнадцать лет, и, несмотря на то, что в нем еще оставалось много детского, он уже умел задумываться и интересоваться многими серьезными вопросами.

Кругом, в помещичьих богатых домах, велась безобразная, развратная жизнь. Многочисленная челядь, десятки молодых девушек — бессловесных рабынь господской воли, примеры старших, которые не находили нужным от кого-либо скрывать свои поступки и не видели в них ничего зазорного — все это действовало растлевающим образом на подраставшее поколение. Трудно было найти семнадцатилетнего барчонка, у которого не было бы всяких интрижек в девичьей, при-

крываемых и направляемых каким-нибудь бессовестным папенькиным приживальщиком.

Но в доме Бориса Григорьевича заведен был иной порядок. Со времени его женитьбы что-то не слышать было о его слабости к женщинам, а если даже и случалось с ним что-нибудь в этом роде, то, по крайней мере, домашние про то ничего не знали. В девичьи комнаты он никогда не заглядывал и глаз никогда не поднимал на красивых кружевниц, ткачих, сенных девушек и всяких прислужниц, которых немало было в Горбатовском под верховным началом Марьи Никитишны.

Сама Марья Никитишна была женщина строгой нравственности и пуще глаза берегла чистоту детей своих. Приживалки и приживальщички, наполнявшие дом, очень хорошо знали, что, несмотря на свою доброту, она ничего такого не потерпит и немедленно же обратится к мужу. Ну, а с тем разговор короток. Если он находил кого себе не по нраву в доме или узнавал какую-нибудь историю, казавшуюся ему непристойной, он не дрался и не бранился как многие, а только отдавал своему

управителю приказание в двадцать четыре часа убрать из Горбатовского такого-то или такую-то, и это приказание, конечно, всегда с точностью исполнялось. О просьбах прощения, о возможности изменения раз данного хозяином приказания не могло быть и речи. Дом Горбатовых слыл монастырем, и если в этом монастыре водились какие грешки, то они очень ловко прятались, так что Сергей дожил до семнадцати лет если и не в полном неведении некоторых сторон жизни, то, во всяком случае, в чистоте совершенной.

Рено в Петербурге поражен был легкостью нравов русского общества. Его первый воспитанник даже и умер-то от того, что чересчур рано и неудержимо стал предаваться всем удовольствиям жизни. Потому, сразу разглядев Сергея, он радовался как ребенок, что ему выпадает на долю развить и направить не тронутую еще никаким пороком детскую натуру.

Он сумел с первого же дня приворожить к себе Сергея. Он начал с того, что отнесся к нему не как к ученику-мальчику, а как ко взрослому человеку, с которым ему нужно

было подружиться ввиду будущей совместной жизни. Между воспитателем и воспитанником скоро установились самые искренние отношения. Сергей полюбил Рено от всего сердца, уважал его безгранично, открывал ему свою душу.

Более пяти лет прожил Рено у Горбатовых. В это время Сергей из милого, но все же довольно грубоватого и дикого мальчика, превратился в серьезного, благовоспитанного юношу. Рено передал ему все свои познания, которые были хотя не особенно глубоки, но довольно разнообразны. Он составил ему интересную библиотеку, благо Борис Григорьевич никогда не отказывал ему выписывать книги. Все тогдашние светила науки — Лейбниц, Декарт, Ньютон, Полле, Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо, д'Аламбер, Дидро — были прочтены Сергеем, и эти чтения сопровождались долгими беседами и объяснениями воспитателя. Кто не видал Сергея в эти годы, тому трудно было бы узнать его. Он резко отличался не только от своих сверстников-соседей, но даже от большинства столичной молодежи того времени. Страстно занявшийся его вос-

питанием и нежно полюбивший его Рено все меры употреблял для того, чтобы вылить его не только внутренне, но и наружно в ту форму, которая казалась ему идеальной — и он почти достиг своей цели.

Сергей производил, по крайней мере на первых порах, впечатление благовоспитанного и просвещенного француза. Французский язык сделался ему более родным, чем русский. Франция, Париж казались ему далекой родиной, мечты о которой временами стали его преследовать.

Рено был француз, истый француз со всеми недостатками и качествами этого народа, и потому он редко мог дойти до беспристрастия, до объективности. Несмотря на то, что он добровольно порвал связи и с прежней своей жизнью, и с Парижем, что ему приходилось жить в России и воспитывать русского человека, он решительно не хотел близко ознакомиться с окружающим. Он очень мало интересовался новой страной, в которую кинула его судьба, новым народом, с которым он приходил в соприкосновение. Он уехал в Россию с ненавистью к Парижу, а очутив-

шись в России, вдруг влюбился в этот покинутый Париж. Он выучил Сергея верить, что Париж — все, что только там истинная жизнь и что не знать Парижа — значит не жить.

Несмотря на всю любовь свою к воспитаннику, он забывал, что воспитывая его французом, он оказывает ему плохую услугу; но он не мог иначе. Стремясь к созданию «хорошего человека», он мало-помалу отрывал Сергея от родной почвы, от прежних верований, навсегда уничтожил его связь с окружающим. Скоро уроки и христианские наставления отца Павла потеряли для Сергея всякое значение. Запуганному, хотя далеко не глупому и искренно и православно веровавшему священнику трудно было бороться с влиянием красноречивого француза... Борьба даже и не начиналась, потому что Сергей не вступал в споры со своим законоучителем. Да и сами занятия с ним скоро прекратились. Сергей по-прежнему посещал церковь, говел и приобщался; но делал это только из жалости к матери, а главное, из страха и почтения к отцу, которых не мог и не хотел в нем уничтожить Рено. Он понимал, что, коснувшись отноше-

ний между отцом и сыном, он только причинит много горя своему милому Serg'у, а сам должен будет покинуть Горбатовское.

Он толковал ему:

«Молодой человек должен готовиться к жизни, к той жизни, которую он будет проходить самостоятельно, на своих ногах. Но пока он еще находится в зависимости от других, то благоразумие заставляет его идти на некоторые уступки, впрочем, чисто внешние. Вез этих уступок никогда не было бы спокойной семейной жизни, а одна только борьба старых, укоренившихся ошибок с новыми, более правильными взглядами. И, во всяком случае, для такой борьбы нужно укрепиться, чтобы не быть побежденным. Вся жизнь впереди, впереди и плодотворная борьба, а пока нужно только хорошенько работать над собою...»

Рено скрепя сердце вдавался в такие рассуждения. Он чувствовал, что портит ими прямую натуру Сергея, приучает его к скрытности, к слишком большому благоразумию. Но делать было нечего. И скоро всякие смущения забывались, являлось наслаждение успе-

хами воспитанника. Рено слишком долго чувствовал себя одиноким во всем мире, теперь же у него оказалось второе «я», только в прекрасной оболочке свежести и молодости. Отрывая Сергея от всего прежнего, он этим самым связывал его неразрывно с собою, и кончилось тем, что они стали неразлучны, понимали только друг друга. Они вместе, во время уединенных прогулок по окрестностям Горбатовского, мечтали о правах свободного человечества, развивали идеи деизма, возмущались грубостью окружавших их нравов. Хотя горбатовский дом и представлял почти исключение для того времени, но все же и в нем случались резкие сцены. Высечет управитель провинившегося лакея, отшлепает старая экономка заленившуюся горничную — и Сергей уже чувствует себя возмущенным до глубины души и спешит к Рено. А тот возмущается с ним вместе и начинает толковать о правах человечества, изливает потоки адвокатского красноречия на тему о рабстве. А между тем во все эти пять лет воспитателю не пришло на мысль и самому взглядеться в жизнь русского раба и заинтересовать ею воспитанни-

ка. Тысячи душ крестьян, эта живая собственность Сергея Горбатова, как бы совсем не существовали для Рено. Деревня, избы — это было такое, что совсем не входило в его миро-созерцание.

При редких и случайных столкновениях с русским крестьянином и его бытом, Рено как-то смешно смущался, начинал чувствовать брезгливость и спешил скорее прочь. Он уважал бедность, он сам даже одно время испытывал ее, он понимал нищету, но тут было нечто совсем другое, не нищета, не бедность. Эти странные фигуры, говорившие на непонятном для него языке, представлялись ему совсем особенными существами.

«Mais ce ne sont pas des gens, — c'est une étrange espèce d'animaux!» — нечаянно выразился он как-то после встречи с двумя добродушными и несколько подгулявшими ради праздника мужиками.

Так русский мужик и остался «странной породой животных» для молодого русского барина, уже наизусть изучившего корифеев французской философии.

VIII. ГОРЕ ТАНИ

Княгиня Софья Семеновна Пересветова, вдова двоюродного брата Марьи Никитишны, и по родству и по близости соседства была издавна своим человеком в доме Горбатовых. Она овдовела довольно рано, сначала проживала то в Москве, то в Петербурге, но в последние годы перебралась в Знаменское и почти из него не выезжала.

Княгиню все знали за чересчур жестокую для того времени помещицу, что, впрочем, не мешало ей пользоваться почетом не только в Тамбове, но и в столичном обществе.

В первое время после смерти князя являлось немало претендентов на руку Софьи Семеновны: однако она всем отказывала: она любила свободу и пользовалась ею неограниченно, наверстывая то время, когда покойный муж ее, человек суровый и не особенно ее любивший, держал ее почти взаперти.

Теперь в Знаменском проживал привезенный княгинею из Петербурга какой-то Петр Фомич, еще молодой и красивый, по слухам, бывший архиерейский певчий.

Этот Петр Фомич заведовал всеми делами княгини и пользовался ее полным доверием.

Всем посещавшим Знаменское сразу становилось ясно, что он не простой управитель, а имеет очень серьезные права на княгиню. Правда, в присутствии единственной своей дочери, Тани, она несколько следила за собою, но вообще стеснять себя находила излишним. Об ее отношении к Петру Фомичу толковали все. Кое-кто жалел Таню: боялись, как бы красавец-певчий в конце концов не пустил ее по миру. Впрочем, при более близком знакомстве с характером княгини этого ожидать было трудно, Она вряд ли была способна всецело подчиняться. Она хорошо помнила свою молодость и жизнь с суровым мужем, любила власть, любила деньги и, несмотря на всю свою слабость к Петру Фомичу, в тех случаях, когда он заходил слишком далеко, умела его осаживать.

Он катался как сыр в масле у нее в доме, конечно, немало денег упрятывал в заветную укладку, привинченную к полу под его кроватью, но княгиня всегда оставалась полноправной хозяйкой и собственницей своих богатых вотчин.

Таню она любила по-своему. Отличаясь

жестокостью с крепостными, к ней относилась всегда снисходительно и предоставляла ей большую свободу. Когда Таня, случалось, захворает, что бывало, впрочем, очень редко, княгиня ни на шаг не отходила от ее постели, преувеличивала опасность, плакала и молилась. А когда Таня выздоравливала, она иногда начинала тяготиться ее присутствием. Поэтому можно себе представить, как она рада была близкому соседству Горбатовых и детской дружбе, завязавшейся между Таней и Еленой.

Марья Никитишна, хорошо знавшая семейную жизнь своей родственницы, очень любившая и жалевшая Таню, не раз обращалась к княгине с просьбой совсем оставить у них дочь.

«Пускай себе растут вместе, пускай вместе учатся, так-то им обеим будет веселее!»

Княгиня сознавала, что во всех отношениях для Тани было бы лучше жить у Горбатовых, но из материнской ревности и самолюбия никак не решалась на это.

Впрочем, семь верст невелико расстояние, и Таня почти ежедневно бывала у Горбато-

вых. Иногда оставалась там на несколько дней, а когда мать уезжала в Москву или в Петербург, то и совсем поселялась у них месяца на два, на три.

Елена была на два года моложе Тани и далеко уступала своей подруге во всех отношениях. Это была самая обыкновенная, послушная, добрая девочка — и только. Таня же развивалась быстро, обнаруживала таланты, превосходно пела, недурно рисовала самоучкой, была жива, всем интересовалась.

У Горбатовых ее любили все без исключения, но, кажется, больше всех любил ее Рено. Он называл ее «*ma petite fee*», — заботился об ее образовании, старался занимать ее, так что возбуждал ревность в Сергее.

«*Mais vous l'aimez plus que moi!*» — жаловался юноша, еще очень мало думавший о маленькой Тане.

Рено смеялся и отшучивался.

«Дурачок, он не понимает, что и люблю-то я ее ради него, я чувствую, что из них выйдет хорошая парочка», — думал мечтатель, но никогда не поверял своих планов воспитаннику.

А Таня между тем быстро выростала и не по летам развивалась; ей еще не минуло и пятнадцати лет, а она была уже совсем сформировавшейся девушкой.

В последние годы в ее характере стала замечаться большая перемена. Она часто являлась в Горбатовское задумчивая и печальная. Ее спрашивали, что с ней, не случилось ли чего неприятного, но она никогда ни в чем не признавалась, старалась развеселиться, что ей почти всегда и удавалось очень скоро. В Горбатовском все было так хорошо, ее все так любили!

Никому не признавалась в своем горе Таня, а горе у нее было немалое.

То, что в детские годы казалось ей странным и непонятным, теперь открылось перед нею. Не будь Горбатовых, доброй и безобидной Марьи Никитишны, строгого, но всегда сдержанного Бориса Григорьевича, пламенного оратора за права человека Рено, может быть, у Тани не было бы горя, может быть, она не разглядела бы так рано очень многого. Но теперь вот разглядела.

Видя Таню смущенной и печальной и от-

части понимая причину этого, ее нередко упрасивали остаться на несколько дней в Горбатовском, но в таких случаях она никогда не соглашалась и скорее возвращалась домой: там у нее было дело, там ждала ее многочисленная дворня, которая находила в ней единственную свою заступницу.

Княгиня иногда вставала в дурном расположении духа, и тогда ей никто не мог угодить, и с раннего утра до позднего вечера происходила ее собственноручная расправа с провинившимися.

В такие дни ей будто доставляло особенное наслаждение исколотить, оттрепать за косу какое-нибудь беззащитное создание, приказать выпороть на конюшне верного слугу.

Без Тани ее истязаниям и конца бы не было, но Таня всегда умела сдерживать бешеные порывы своей матери. На дочь у княгини рука не поднималась. Она смущалась и смирялась перед взглядом и тихим голосом Тани. Несмотря на свою порочность, она сохранила в себе все же некоторое чувство и некоторую совесть. Она понимала доброту и благородство Тани, считала ее почти святою и сознава-

ла свою вину перед нею.

Благодаря заступничеству княжны, очень часто дворовые избавлялись от жестоких наказаний. Княгиня мало-помалу утихала и делалась особенно нежной с Таней, не отпускала ее от себя, ходила за нею как тень, а если являлся Петр Фомич, то относилась к нему очень холодно и просила его удалиться.

Он молча уходил, бросая исподтишка злой взгляд на Таню, которую почему-то называл «Лисой Патрикеевной» и издавна ненавидел.

Таня же всегда глядела на него даже и тогда, когда еще совсем не понимала его настоящего значения в доме, с чувством гадливого ужаса...

Он с первых дней своего появления представлялся ей противным чудовищем, его присутствие всегда отравляло ей жизнь; но, странное дело, она никогда и ни с кем, начиная с матери, не говорила о нем. Она молча раз и навсегда признала неизбежность существования этого зла и молча его переносила.

В последнее время, когда мысли ее прояснились, когда она отгадала, что такое Петр Фомич — никто, конечно, не говорил ей об

этом — она часто плакала втихомолку, иногда невольно избегала матери, была не в состоянии глядеть ей в глаза.

В дни бешенства, нападавшего на княгиню, Тане приходилось высказывать матери много неприятной для нее правды, а та ее почти всегда выслушивала, но ни разу не было между ними разговора о Петре Фомиче, ни разу Таня не произнесла даже его имени.

Страдая от его присутствия больше, чем когда-либо, Таня делала вид, что не замечает его, что он совсем для нее не существует, и княгиня видела это и понимала, и молчала.

Как-то Петр Фомич вздумал неодобрительно заговорить с ней о дочери, но сейчас же должен был убедиться, что начал это совсем напрасно.

Княгиня вспыхнула, вскочила и подбежала к нему с сжатыми кулаками.

— Молчать! — закричала она, — раз и навсегда знай, что нам с тобою говорить о ней негоже!

Петр Фомич замолчал и еще больше стал ненавидеть Таню.

По счастью, его ненависть была совсем

бессильна, а то зло, которое мог он ей сделать, он уже давно сделал...

Предсказания Рено стали сбываться, и он первый, конечно, заметил новое чувство, возникшее в Сергее и Тане.

Едва сдерживая добродушную улыбку, Рено следил за румянцем, быстро вспыхивавшем на щеках Сергея при каждом разговоре о молодой соседке, за новым выражением в глазах Тани при каждом свидании с Сергеем.

Дети выросли, и так все обстоятельства сложились, что они должны были полюбить друг друга. У них не было иного выбора.

«Будет хорошая парочка, — повторял себе Рено. — Только чересчур рано. Боже избави, если они теперь же вздумают вить себе гнездо!.. Это было бы большим несчастьем для Serge'a, да и для нее тоже, они должны еще много пожить, прежде чем сойтись окончательно, должны увидеть, узнать свет».

Теперь Рено все меры начал употреблять, чтобы отдалить сближение между молодыми людьми. Он старался осторожно, незаметно отвлекать Сергея от Тани, расстраивать их продолжительные разговоры, устремлять в

другую сторону мысли Сергея. Он заинтересовал его общественными и политическими вопросами, тревожными событиями, происходившими во Франции, откуда он получал время от времени письма.

Сергей интересовался всем, но это несколько не мешало ему в то же самое время интересоваться и Таней, хотя он еще и не понимал своего нового чувства. Однако скоро кончилось тем, что молодые люди, не сговариваясь, сошлись в беседке у Знаменского озера и обнаружили друг перед другом свою тайну.

IX. ПИСЬМО

Бориса Григорьевича похоронили. Сергей, возбуждаемый словами Рено и постоянно им ободряемый, сумел сдержать свое горе и ужас: на похоронах он вел себя с большим достоинством, так что оставил очень хорошее впечатление во всех съехавшихся знакомых.

Потом мало-помалу все стало успокаиваться в Горбатовском; даже Марья Никитишна не предавалась уже порывам отчаяния, ее горе выражалось теперь тихими слезами и ежедневными долгими молитвами на могиле му-

жа.

Елена, тринадцатилетняя девочка, совсем уже возвратилась к своей прежней жизни.

У Сергея было много занятий; он стал ездить с Рено в Тамбов, устраивать дела по отцовскому наследству, вел переписку с управляющими дальних деревень, писал письма к многочисленным московским и петербургским родственникам.

Таня по-прежнему часто бывала у Горбатовых, но ей все не удавалось говорить наедине с Сергеем, и они оба даже избегали подобного разговора. Им казалось страшным вернуться к минутам в голубой беседке, будто это почему-то было запрещено в первое время семейного горя. Проходили дни, недели, а они все встречались только при посторонних. Вот уже и снег повалил, зима настала, время идет так быстро. На имя Сергея Горбатова пришло письмо из Петербурга.

Старый приятель и родственник Бориса Григорьевича, Лев Александрович Нарышкин, писал Сергею:

«Любезный племянник. Письмо ваше с горькою вестью о внезапной кончине дорого-

го моего друга, а твоего отца, Бориса Григорьевича, я получил и о чем вы писали мне, о ваших пензенских вотчинах, велел навести справку и на сих днях отвечу вам в точности. Также и матушке вашей, Марье Никитишне, со следующей почтой письмо посылаю. Теперь спешу отписать тебе, любезный племянник, о некоем обстоятельстве, до тебя касающемся: вчерашнего числа вечером был я у Государыни на эрмитажном собрании, и Ее Императорское Величество подошла ко мне, спросить изволила: „Правда ли, что Борис Григорьевич скончался?“ И когда я отвечивал, что правда, то Государыня поинтересовалась узнать, какова его фамилия, справилась, сколько тебе лет и, узнав, изволила покачать головою и улыбнуться: „Странно молодому Горбатову сидеть в деревне — ничего там не высидит. Отпишите ему с предложением приехать в Петербург и представьте его мне — я желаю с ним познакомиться“. Таковы подлинныя слова Монархини, и из тона их видно все оной к тебе доброжелательство. Еще в бытность мою у вас в Горбатовском, четыре года тому назад, упрашивал я покойного отца

твоего и о том же писал ему многократно, чтобы он прислал тебя в Петербург, где ты можешь и на службе Ее Императорского Величества и в обществе занять подобающее твоему происхождению и состоянию место, но покойник имел на сию материю свой взгляд. Ныне ты уже в таком возрасте и по обстоятельствам можешь располагать сам собою. Вряд ли твоя почтенная матушка захочет тебя отговаривать. Если есть какие дела в деревне, то обделай их скорее и отпиши мне немедленно. Пребываю в полной благонадежности, что благоразумие твое не дозволит тебе отказаться от милостей государыни, которая есть истинная мать всем нам.

Ожидая скорого вашего ответа, остаюсь тебя любящий Лев Нарышкин».

Сергей внимательно прочел и перечел это письмо; кровь бросилась ему в голову, сердце шибко забилося.

Часто в это последнее время новые мысли рожались в голове его. И без доказательств Рено, который время от времени обращался к этому предмету, Сергей и сам чувствовал, что для него начинается теперь совсем иная

жизнь, что он свободен, что явилась возможность познакомиться, наконец, с настоящей жизнью. О Петербурге, о Дворе он не думал, но он думал о Париже, он неудержимо стремился туда, подзадориваемый красноречием Рено.

Но ведь и Петербург, и Двор — все это может быть по дороге к Парижу! И вот это письмо!.. Новая, широкая, прекрасная будущность сама спешит к нему навстречу...

Он отыскал Рено, перевел ему письмо, так как француз упорно продолжал не понимать ни одного слова по-русски. Рено заволновался.

— Ах, как это кстати, как это хорошо складывается!.. Конечно, друг мой, сейчас же садитесь и отвечайте!.. Постойте, сообразим все ваши дела... сколько еще времени будет требоваться ваше присутствие в Тамбове и здесь?..

При обсуждении настоящего положения оказалось, что недели в три можно будет окончательно освободиться.

Состояние Горбатовых было громадное: более чем в пятнадцати местах России у них бы-

ли вотчины с тысячами душ крестьян.

Борис Григорьевич оставил после себя богатейшую коллекцию драгоценных камней, до которых был охотник и которые скупал в течение всей своей жизни через посредство родных и знакомых. Крупные суммы хранились в Горбатовском.

Ни тяжб особенных, ни других запутанных дел не было...

Приказчики и управители, по большей части из своих же крепостных, высылали из дальних вотчин доходы, высылали аккуратно, и если при управлении себя не обижали, то это было уже их дело.

Хозяйство в Горбатовском велось Марьей Никитишной и велось превосходно, так что молодой Горбатов не был ничем связан, мог жить, где ему угодно, и не заботиться о деньгах. Разве что вздумает он за окошко бросить их, а то, как бы роскошно ни стал жить, богатства его и девать будет некуда.

В тот же вечер Сергей говорил с матерью.

Она внимательно выслушала чтение письма Нарышкина, перекрестилась и тихонько вздохнула.

— Ну что же, Сережечка? Что же, голубчик? Я так ведь это и знала, к тому теперь и готовилась... одна останусь... что же! Кабы и в моей было воле, так не стала бы тебя удерживать, я и покойнику не раз говаривала, что негоже тебе долго в деревне оставаться... только он приказал мне молчать об этом — сам ведь знаешь, голубчик-то наш хоть и большого ума был человек, а как заговоришь с ним о Петербурге да об государыне, так на него ровно что находило: «Никакой нет, говорит, государыни, государь был Петр Федорович!», а Петербург он Вавилоном величал: «Не пуцу, говорит, сына в Вавилон на погибель, сам больше двадцати пяти лет живу в Горбатовском, пусть и он здесь всю жизнь проживет!..» Ну, а теперь у тебя самого воля, делай как знаешь, может, там тебя и счастье ожидает... Ох, горька мне будет разлука с тобою, Сереженька!..

— Да ведь я не навсегда, — перебил Сергей, — я, матушка, буду сюда возвращаться, да и сама-то, может, с сестрою в Петербург приедешь.

Марья Никитишна покачала головою и

пригорюнилась.

— Нет, Сереженька, мне этого не говори, сам поезжай, куда знаешь, а я-то уж тут, в Горбатовском, останусь до самой смерти, я-то уж не тронусь... Всю ведь жизнь тут прожила — другой-то жизни, почитай, и не помню, — а главное: он так хотел!.. да он бы не простил мне одной мысли уехать из Горбатовского!.. Я против его воли никогда не пойду... Тут и могилка его — около нее теперь и вся жизнь моя...

Сергей взглянул на добродушное, жалкое лицо матери, увидел тихие слезы, стоявшие в глазах ее, у него защемило сердце — он кинулся к ней, крепко ее обнял, целовал ее руки.

— Бог с тобою, мой голубчик, — тихо говорила она, — живи, будь счастлив, не забывай мать... Коли сама государыня о тебе справлялась да пожелала тебя видеть, само собою, можно ли тебе не ехать!.. ну, и поезжай с Рено. Отвечай Льву-то Александрычу немедля, и сама я ему писать буду, поблагодарю его за ласку да за родственную память...

Х. ВИНОВАТ ЛИ?

Проходя от матери в свою комнату, где Рено с нетерпением дожидался результата объяснений с Марьей Никитишной, Сергей остановился в длинной, парадной зале.

Был вечерний час; обширная комната слабо освещалась несколькими зажженными кенкетами, а из окон полосами ложился лунный свет; тишина невозмутимая стояла вокруг Сергея.

Со стен глядели на него портреты Горбатовых, начиная с темного иконописного лика его знаменитого прапрадеда и кончая недавно еще списанным изображением Бориса Григорьевича.

Вдруг жутко стало Сергею, но он не пошел к Рено, а стал в глубокой задумчивости бродить по зале. Он давно уже был недоволен собою, а теперь, после разговора с матерью, после неизменно принятого решения переселиться в Петербург, после волнения и радости, которые вызывала в нем мысль о предстоящей поездке, он уже ясно понимал, почему недоволен собою.

«Таня! Что же это такое? Ведь не сон было утро!..» Вот как сейчас перед ним ярко-го-

лубая беседа, и Таня в розовом платье, и разговор их, поцелуи, то счастье, которое тогда его охватило. Где же теперь это счастье? Ведь ничего не изменилось. Таня все та же, он видел ее не дальше как сегодня утром. Она так ему улыбнулась, так крепко сжала ему руку, и он сам ответил ей на пожатие... Он ее любит, любит, может быть, больше всего на свете, но все же это уже как-будто не та любовь, она не приносит такого блаженства... Да и любит ли?.. Если бы любил, так только о ней бы и думал и не хотел бы уезжать отсюда, не радовался бы предстоящей разлуке с нею... А если не любит, так, значит, он обманул ее, значит, низко насмеялся над ее чистым, детским чувством... Нет, он ее любит, но только они так еще молоды, перед ними вся жизнь, да теперь вряд ли бы и отдали ее за него замуж... и во всяком случае надо ждать год после кончины отца. Он имеет право теперь ехать, не огорчая этим Таню. Им будет грустно друг без друга, но тем счастливее будет свидание!

Этим он себя успокаивал и все же никак не мог успокоить, потому что чувствовал, что если бы ждал сильной грусти в разлуке с Таней,

то не уехал бы.

Вот он вызвал перед собой в мельчайших подробностях ее прелестный образ, он возобновил в своих ощущениях обаяние ее близости, ее откровенной полудетской ласки.

«О! Как она мила, как я люблю ее!» — чуть громко не крикнул он, и в то же время ему вдруг неудержимо захотелось скорее отсюда, дальше, дальше, туда, в новый город, в новую жизнь, которая казалась заманчивой и волшебной.

Он не заметил как вошел Рено и как долго и внимательно в него вглядывался.

— Мой друг, что с вами? — изумленно спросил француз. — *Vous me faites l'effet d'un somnambule... Madame votre mère...* или она не согласна?! Я, признаться, не ждал этого...

Сергей очнулся.

— Нет, она согласна, и мне даже не нужно было ее уговаривать. Она находит, что и речи быть не может, что я должен ехать...

Рено с удовольствием потер себе руки, но затем еще с большим изумлением взглянул на Сергея.

— Так что же, я не понимаю... значит, дру-

гое вас смущает?!. Милый Serge, говорите со мной откровенно.

— Да, я должен поговорить с вами, Рено! Мне нечего от вас таиться, вы знаете, с какой радостью я еду, а между тем... я совсем не должен был бы радоваться, не должен был бы уезжать отсюда, потому что здесь я слишком многое покидаю...

— Что такое?

— Рено, я покидаю Таню... — едва слышно выговорил Сергей, опуская глаза перед своим воспитателем.

— Comment... ma petite fee!..

Он широко раскрыл глаза, расставил руки и представил из себя такую смешную фигуру, что если бы Сергей глядел на него, то и он, несмотря на все свое волнение, едва ли бы удержался от улыбки.

Затем Рено, наконец, сообразил в чем дело и тихонько назвал себя «imbécile».

«О! У них, наверно, уже что-нибудь было, а я ничего не видел, я проглядел... где были глаза мои!..»

Он обнял Сергея за талию и мерными шагами стал ходить с ним по зале.

— La petite fee... la petite princesse! Так мы ее любим... Отчего же вы до сих пор мне ничего не сказали? И она-то, она знает про это?

— Знает.

— И, конечно, любит вас?

— Да.

Сергей рассказал Рено все подробности того утра, когда невидимая сила в один и тот же час привлекла и его, и Таню в голубую беседку.

Рено внимательно слушал, и ему очень понравилась эта наивная и поэтическая страничка из молодой жизни. С ним самим никогда не бывало ничего подобного, а он так любил, так безумно любил!.. О! Он с ума бы сошел от счастья, если бы тогда, в те страшные годы, ему удалось пережить подобную минуту!

— И вас смущает, что вы радуетесь поездке? Вам кажется, что вы обманули маленькую фею, что отрекаетесь от любви к ней? Пустое все это, милый Serge, вы ее истинно любите — ручаюсь вам головою, — но вы очень молоды, вот в чем дело; вы еще слишком молоды для такой страсти, в которую ушла бы вся жизнь,

в которой бы все забылось, да и хорошо, что еще молоды и что не испытали этой страсти. Дай Бег, чтобы и впредь она вас миновала. Я уверен, что вы нисколько не обманули княжну, но вы сами еще не знаете хорошенько своих чувств, и именно для того, чтобы потом не раскаиваться, чтобы не обмануть ее впоследствии, вы и должны убедиться в ваших чувствах, а для этого наша предполагаемая поездка — самое лучшее средство. Вы слишком часто видаетесь, при этом старинная привычка друг к другу... Имея всегда друг друга на глазах, действительно, можно ошибиться. В разлуке и вы, и она гораздо лучше уясните себе взаимное ваше чувство, узнаете всю его силу. Видите сами, что все обстоятельства так сложились, что вам нужно ехать; но если бы этого даже и не было, то, любя вас, любя ее, я непременно бы настаивал на вашей временной разлуке. Ваши отношения к маленькой фее не могут быть мимолетными, вы ведь должны будете сойтись с нею на всю жизнь, а для того, чтобы решиться на такой шаг без страха за будущее, необходимо вам испытать друг друга. Не смущайтесь, я душевно раду-

юсь за вас: все складывается самым лучшим образом, судьба вам благоприятствует...

О, этот волшебник Рено — он всегда отлично умел все разъяснить и успокоить.

Тяжесть, преследовавшая Сергея, чувство виновности перед Таней исчезли, и теперь, когда, убежденный Рено, он уже не считал себя обманщиком и изменником, он почувствовал страстную нежность к Тане.

— Я поеду в Знаменское, — сказал он, — ведь она еще ничего не знает.

— Хорошо, поедем вместе, — отозвался Рено, — ночь превосходная, и я могу оказать услугу, я постараюсь занять злую княгиню в то время, как вы будете объясняться с маленькой феей. Только смотрите, будьте благоразумны!

Сергей велел заложить сани, и менее чем через час они были в Знаменском.

XI. ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

— Вот так неожиданные гости! — своим певучим голосом, которому она резко изменяла, встретила княгиня Сергея и Рено, — ты совсем позабыл меня, голубчик Сережа, а я все дни собираюсь проведать сестрицу, да все

что-то неможется, а на дворе мороз. Впрочем, Таня сказала мне, что сегодня у сестрицы вид хороший... Ну, Бог даст, успокоится... Что делать-то, всем горе!.. Да где это Таня?.. Сейчас была тут... Поди, Марфушка, позови княжну.

Марфушка, безобразная и злая карлица, так называемая невеста горбатовского карлика Моськи, пискнула совсем даже нечеловеческим голосом: «слушаю-с» и выкатилась, как кубарь, исполнять приказание княгини.

— Ну что, голубчик, скоро ли все дела-то устроишь? — продолжала княгиня. — Ничего, хорошо, приучайся быть хозяином, я вот женщина слабая — при муже-то ни о чем не имела понятия, а как осталась одна, так поневоле ко всем мужским делам приучилась. Теперь провести меня трудно, подавай мне каких хочешь законников — не испугаюсь... Что же, батюшка, из Петербурга-то тебе пишет кто, что ли?

— Пишут, тетенька...

В это время вошла Таня, такая обрадованная и сияющая.

— Как это мило, Сережа, что заехали, а у меня кстати для Лены маленький подарочек

есть, вышила ей новым узором платочек; в утру-то не поспела кончить, завтра чуть свет послать думала, а теперь вот вы ей и свезете. Что, хорошо на дворе?

— Чудо какая ночь! — сказал Рено. — Холодно немножко, нос пощипывает; я прежде боялся такого мороза, а теперь привык и люблю, и если мне придется покинуть Россию, я буду очень грустить о русских зимних ночах... Мы в маленьких санках, Serge сам правил, а дорога у вас какая — не качнет!.. Скажите ему, княжна, чтобы он прокатил вас; лошадь смирная, а мчит как стрела.

— Вы на какой... на Орлике? — живо спросила Таня.

— Да, на Орлике, — отвечал Сергей, благодарно взглядывая на Рено.

— Ну так, конечно, прокатимся... маменька?

— Да катайся, коли охота, мне-то что, не с чужим ведь человеком.

— Я сейчас!.. И велю подать сани! — говорила Таня, подбегая к окну и видя, что Орлика уже нет у подъезда.

— Вот вы спрашивали, тетушка, — сказал

Сергей, когда Таня выбежала, — получаю ли я из Петербурга письма... Сегодня еще получил от Дьва Александровича, да письмо-то какое! Пока мы с Таней будем кататься, вам Рено многое расскажет.

— Хорошо, буду слушать, только с условием, чтобы он не трещал, а то ведь я французский-то язык знаю не по-вашему... Ну, как тихо говорит человек, так все понимаю, а начнет трещать — и ни слова.

Сергей с улыбкой передал Рено слова княгини.

— *Soyez tranquille, princesse*, я буду говорить тихо, тише вашего... когда я захочу, так меня понимает даже Петр Фомич.

Из двух слов «Петр Фомич» Рено нарочно сделал что-то совсем невообразимое. Он выговорил их так, что Сергей, не удержавшись, громко засмеялся. А княгиня закусила губы и не особенно дружелюбно взглянула на француза.

Таня появилась в собольей шубке, только что выписанной из Москвы, в собольей красивой шапочке.

Хорошенькое лицо ее горело от предвку-

шения удовольствия этой прогулки в морозную лунную ночь, вдвоем с Сергеем, на быстром Орлике...

Крепко захлопнулась медвежья полость санок, Таня прижалась плечом к своему спутнику, и они помчались по гладкой, сверкающей дороге, с одной стороны которой расстилались снежные поля, а с другой — стояли заледеневшие хрустальные деревья.

И вот опять, после трех месяцев, они вдвоем, и опять то горячее, молодое чувство наполняет их.

— Таня, милая Таня!..

— Ты меня любишь?.. А мне казалось... я боялась... ты будто избегал меня... Впрочем, нет, не слушай, что я говорю, я понимаю, какое это было время, но вот теперь легче... и ты опять со мною.

— Да, Таня, и я люблю тебя и верю, что придет время, когда я всегда буду с тобою; но теперь, знаешь ли, ведь нам нужно скоро проститься...

— Как? Что ты говоришь? — испуганно спросила она, наклоняясь и засматривая ему в лицо. — Проститься? Зачем? Куда ты едешь?

— В Петербург, Таня.

Он рассказал ей о полученном письме и о том, что невозможно отказываться от милостей императрицы.

— Да, я это понимаю, повторяла она и сидела задумчивая и грустная. — Я понимаю.

Она давно знала, как неудержимо рвался Сергей из деревни, и много раз они говорили об этом, и она всегда жалела его, изумлялась упрямству Бориса Григорьевича. Но вот Бориса Григорьевича нет на свете, Сергей свободен, конечно, он должен ехать, иначе и быть не может. Ах, как тоскливо вдруг стало у ней на сердце!

И она слушала о том, что разлука ненадолго, что летом он, наверное, приедет в Горбатовское, о том, что все равно им теперь еще нельзя думать о свадьбе. Он обещал часто писать и просил от нее длинных, подробных писем. Да и, наконец, княгиня же жила по целым зимам в Петербурге, ведь она не давала обета всю жизнь оставаться в Знаменском.

— Только как я буду тосковать там без тебя, Таня!

Говоря это, Сергей был уверен в истине

слов своих — он теперь так ужасно любил Таню.

— Тосковать! Да у тебя там не будет времени, там не деревня. Я хоть и маленькая была, а помню Петербург, толкотня вечная, все новые люди, а ты вон к самой императрице... Не тосковать, а забудешь меня, вот что!

— Таня!

— Ну прости, не буду... пошутила... если бы я думала, что ты меня забудешь, то что же мне тогда, умирать бы только и осталось. По-езжай, веселись, а я...

Она отвернулась, чтобы он не заметил, как из глаз ее закапали слезы.

— Таня, не мучь меня, я знаю, что тебе будет скучно без меня, знаю что и вообще невестелая жизнь твоя...

— Нет, ты многого не знаешь, Сережа, и ты не знаешь, конечно, что мне будет грустно, но скучно не будет. У меня есть дело, большое дело, и им-то я займусь без тебя, а теперь крепче, крепче поцелуй меня и пожелай мне успеха.

Он горячо обнял ее и, целуя, спрашивал:

— Какое дело, Таня? Скажи мне! Но она ка-

чала головой.

— Не скажу теперь... потом... потом все узнаешь, не стану от тебя таиться, а теперь лучше и не спрашивай — ни за что не скажу... Мое дело тебя не касается.

Орлик уже мчал их обратно, скоро они въехали в ворота.

Входя в сени, они столкнулись с Петром Фомичем. Он почтительно поклонился Сергею и еще почтительнее отступил, чтобы пропустить Таню.

— Если бы я был суеверен, то ничего хорошего не ожидал бы после этой встречи, — сказал по-французски Сергей.

Таня не отвечала, и ему стало досадно за слова свои, у него в первый раз еще при ней вырвался намек, которого он никак не должен был себе позволить...

Они застали Рено в беседе с княгиней, окруженных карлицей, двумя собачками и полудюжиной приживалок, которые составляли постоянный штат Софьи Семеновны.

— Что же, тетюшка, вы его поняли? — спросил Сергей, указывая на Рено.

— Поняла, батюшка, поняла, в Петербург

уезжаешь! И дело, друг мой! Давно пора, нечего Горбатову засиживаться в деревне, благо государыня наша милостива — старых счетов не помнит. Только ух как тебе там ухо остро держать нужно, я вот и говорю об этом с Рено. Заезжай, дружок, на днях, я кое-что порасскажу тебе о петербургской жизни, сама уже четыре года не была там, а знаю многое, какие там люди в силе и к кому за каким делом обращаться нужно — обо всем этом я поговорю с тобой.

— Спасибо, тетушка.

— А теперь нам и домой пора, — сказал Рено, — уехали, никому не сказавши, и на сегодняшний вечер еще дела много...

На обратном пути Рено спросил Сергея:

— Ну что, милый Serge, что сказала маленькая фея? Поплакала?

— Нет, она была почти спокойна, и точно так же, как и матушка, нашла, что так и надо.

— Конечно, так и надо, о, умная маленькая фея!.. Какой вы счастливый человек, Serge! Смотрите только — будьте благоразумны и не упускайте счастья, оно бывает капризно...

XII. В ДОРОГУ

Сергей не стал откладывать своего отъезда. Вместе с благодарственным письмом к Льву Александровичу были отправлены из Горбатовского в Петербург всякие мастеровые люди, повара и во главе их старик Иван Иванович.

Этот Иван Иванович, бедный беспоместный тамбовский дворянин, издавна жил у Бориса Григорьевича и вошел к нему в милость. Он был человек смышленный, расторопный; его обыкновенно Горбатов посылал и в Москву, и в Петербург, когда в том случалась необходимость.

В Петербурге у Бориса Григорьевича был свой дом на Мойке, каменный и довольно обширный. В этом доме не раз происходили в конце Елизаветинского царствования веселые пирования, на которых присутствовал великий князь Петр Федорович.

Наложив на себя добровольную опалу и навсегда запершись в деревне Борис Григорьевич не продал, однако, своего петербургского дома. При доме оставались сторожами две семьи дворовых горбатовских людей, которым посылались кормы и которые два раза

В год должны были извещать о состоянии вверенного им дома. В течение двадцати пяти лет несколько раз даже назначались изрядные суммы для ремонта.

Иван Иваныч, возвращаясь из своих посылок в Петербург, постоянно докладывал Борису Григорьевичу, что дом следует продать; что на него находятся покупщики и предлагают очень выгодную цену. Эти покупщики всячески задабривали Ивана Иваныча и обещали ему немало на устройство дела. Но Борис Григорьевич каждый раз неизменно отвечивал:

«С какой стати я продавать буду — пускай себе стоит. Видно, кому ни на есть, а мозолят глаза хоромы Бориса Горбатова! — ну и пусть мозолят. Никто не может у меня отнять мою собственность... еще покойный родитель тот дом построил. И лучше ты, Иваныч, и не говори мне об этом деле...» Иван Иваныч умолкал, грустно вздыхая, и отписывал в Петербург, что никакими мерами хозяина уговорить невозможно.

Вот теперь дом и пригодился. Иван Иваныч ехал с тем, чтобы приготовить его для

нового молодого владельца.

Сергей, решил отправиться в путь на святках. Он ездил в Тамбов, простился там со знакомыми, объездил соседей. Все провожали его любезными пожеланиями, сулили ему всякие почести, более или менее искусно скрывая свою зависть. Впрочем, завистников было не особенно много, большинство хорошо понимало, что такому богачу и вельможе, как Горбатов, завидовать нечего — все равно с ним не тягаться. А коли войдет он в силу да в чины большие, то, может, не забудет старых знакомых и им еще пригодится.

Княгиня Пересветова исполнила свое обещанье посвятить Сергея в тайны петербургской придворной жизни. Она передала ему все, что знала о влиятельных лицах, окружавших государыню: насаждала кучу анекдотов, ходивших по городу в последнее ее пребывание в Петербурге. Она в первый раз взглянула на Сергея как на взрослого человека и говорила с ним не стесняясь.

Из ее рассказов перед ним открылся новый мир интриг и любовных приключений, героями которых являлись самые важные сановни-

ки государства. Сергей не раз краснел во время этого разговора. Он не совсем доверял княгине; но, во всяком случае, она его очень заинтересовала, и ему хотелось скорей, как можно скорей, увидеть самому всю эту жизнь, самому в ней разобраться.

Он едва мог дождаться дня отъезда, а пока метался от матери к Тане, и наоборот.

Хотя ни он, ни Таня никому не поверяли того, что произошло с ними, и хотя единственный поверенный, Рено, молчал, конечно, но в эти последние дни все же у многих, начиная с Марьи Никитишны, открылись глаза на отношения молодых людей. Марья Никитишна во время одного разговора с сыном даже прямо заговорила про Таню.

— Сереженька, ты смотри, не пленись там... кто их знает какие они — петербургские-то!.. А тут, дома, тебя настоящая невеста будет дожидаться... Да не красней, дружок, ведь сердце матери вещун... и доброе то дело! Танюша наша молода еще, а через годик, другой — ух какая станет... И по всему она тебе пара — родство между нами не близкое — греха нету... А покойник любил Таню, не раз

мне говаривал: «Славная девка вырастет, вот и жена Сергею готова, искать не надо»...

Сергей молчал, не то изумленный, не то обрадованный словами матери; все лицо его рдело румянцем.

Марья Никитишна ласково улыбнулась, что с нею редко случалось в это время. Она нагнула к себе голову сына, поцеловала его.

— Да, не красней ты, говорю! Ну, ну, хорошо, больше я ни слова... как придет время, тогда и поговорим, а теперь и взаправду нечего.

За два дня до отъезда Сергей поздно вечером вошел в свою опочивальню и очень изумился, увидев на одном из сундуков, в которых были уложены его вещи, маленькую фигуру карлика Моськи.

Сергей с Моськой был в большой дружбе и не только любил, но и уважал его, несмотря на то, что, подобно всем домашним, забавлялся им как игрушкой. Он знал, что Моисей Степаныч (таково было действительное имя карлика) и добр, и умен, и искренне предан их семейству. Он помнил его в Горбатовском с первых лет своего детства, помнил его за все это время ничуть не изменившегося, будто

время не существовало для Моськи. Сколько ему было лет — это невозможно было определить. По лицу он всегда был тем же новорожденным ребенком и старым старичком. Между горбатовской прислугой ходили толки о том, что Моське уже двести лет и что он проживет по крайней мере еще столько же. Двести не двести, однако, ему было около пятидесяти, хотя он и отличался крепким здоровьем и замечательной бодростью и подвижностью.

Первоначально, еще маленьким мальчиком, он был куплен у кого-то Иваном Ивановичем Шуваловым и подарен им императрице Елизавете. Во дворце Моська прожил недолго: каким-то неловким ответом навлек он на себя немилость императрицы, которая была в тот день не в духе. Великий князь Петр Федорович выпросил Моську себе и сейчас же подарил его своему приятелю, Борису Горбатову. С тех пор карлик не разлучался с Борисом Григорьевичем. И в первое время, когда бывший веселый царедворец, запершись в Горбатовском, метался в горе и злобе по пустым хоромам своего обширного дома, один только Моська умел угождать ему.

К Сергею карлик был трогательно привязан; он измышлял всевозможные способы забавлять его; мастерил ему всякие диковинные игрушки, рассказывал интересные сказки. Когда Сергей подрос, Моське уже нечем было развлекать его, Сергей уже в нем не нуждался, как прежде. Но воспоминания детства, Моськиных игрушек и сказок не изгладились из памяти Сергея, и он всегда относился к карлику ласково и деликатно, делал ему подарки и никогда не называл его «Моськой», как почти все в доме, а называл его «Степанычем». В последние годы явилось, однако, одно обстоятельство, которое чуть не встало между Сергеем и карликом — это был приезд Рено.

Француз и карлик скоро сделались врагами. Оба они горячо любили Сергея и ревновали его друг к другу. Рено относился к этому «отклонению от законов природы» с большим презрением, говорил, что все эти монстры бывают всегда монстрами и в нравственном отношении и не признавал в Моське никаких достоинств.

Моська в разговорах с Сергеем сначала на-

зывал Рено «французской трещоткой и басурманской крысой», но потом, скоро убедясь, что француз совсем заполонил барчонка, он перестал в глаза Сергею бранить его. Он только зорко следил за ним, будто шпионил. Рено часто подмечал на себе его быстрые, недружелюбные взгляды, но отделаться от него и совершенно удалить от него Сергея он все же не мог. Моська был хитер и терпелив и кончил тем, что победил француза, изменил его дурное о себе мнение.

Часто, забравшись в уголок классной комнаты, он присутствовал при уроках Рено, постоянно вслушивался в его разговоры с Сергеем, Еленой и Таней и кончил тем, что усвоил себе много французских слов, начал понимать французскую речь. Достигнув этого, он уже прямо обратился к Рено на французском языке, чем крайне поразил воспитателя, и просил поучить его.

Рено долго хохотал как сумасшедший, но был польщен, заинтересован и согласился на эти смешные уроки. Новый ученик оказал большое прилежание и понятливость, и хотя не мог выучиться правильному французско-

му произношению, но все же с языком совсем освоился. Этого только ему и было надо. Теперь уже от него не могло быть тайн, теперь он мог не выпускать из виду Сергея, следил за «французской трещоткой»; теперь, может быть, ему удастся кое в чем подставить ногу «басурманской крысе».

— Что ты здесь делаешь, Степаныч? — спросил Сергей, увидев Моську на сундуке в опочивальне.

Карлик, как и всегда, расфранченный, напудренный и сияющий позументами, слез с сундука на пол, подошел к Сергею, взял его руку своими крошечными детскими руками и запищал:

— Сергей Борисович, золотой мой соколик, не откажи мне в великой милости. Давно я собираюсь просить тебя, да все оторопь брала, потому знаю, коли откажешь, мне горе такое будет — не расхлебать того горя... Батюшка ты мой, возьми меня с собой в Питер!

Сергей задумался. Марья Никитишна отпускала с ним и так уж самых надежных и верных слуг отца его. Она так привыкла к Моське, он иной раз и теперь, после кончины

Бориса Григорьевича, умел развлекать и забавлять ее. Среди волнений последнего времени Сергей совсем забыл про Моську, но теперь почувствовал свою неизменную к нему привязанность.

— И рад бы взять тебя, Степаныч, не хочется расставаться с тобой. Да как же матушка?!

— Думал я и об этом, — тихо и серьезно проговорил карлик, — и первым делом о всем доложил барыне. Она-то меня отпускает — даже порадовалась, что я вызвался. Где же тебе одному-то там — мусье Рено не углядит за всем. Человек он несведущий, по-нашему ни слова не смыслит, а у меня-то весь Питер как на ладони. Уж что другое, а Питер я знаю и порядки все тамошние, и во дворце как и что. Нет, Сереженька, без меня не обойтись тебе, то же и матушка говорит — сам спроси. Ну, дело другое, коли сам меня не хочешь — я в твоей воле!..

— А если так, то о чем же и толковать тут! — весело перебил его Сергей. — Едем, старина! Покажи мне твой Питер, поучи там меня уму-разуму.

Карлик взвизгнул и так и прильнул губа-

ми к руке Сергея.

— Голубчик мой, Сереженька, кормилец — уж как обрадовал!..

Через два дня огромная, неуклюжая, но удобная и покойная дорожная карета на полозьях, запряженная шестериком, стояла перед крыльцом горбатовского дома. Несколько экипажей, саней и кибиток с прислугою и всякой поклажей уже мчались в это время к Тамбову.

Сергей в богатой шубе, в высокой собольей шапке вышел на крыльцо, сопровождаемый всеми домашними. Марья Никитишна еще раз обняла сына и долго крестила его, сиюсь сдерживать свои слезы. Потом он расцеловался с сестрою, потом подошел к руке княгини Пересветовой.

— Дай тебе Бог всего лучшего, Сереженька, смотри пиши — не забывай, — говорила княгиня.

Но он не слушал. Перед ним было побледневшее лицо Тани. Он припал к нежной дрожавшей руке. Ему неудержимо захотелось еще раз крепко, крепко поцеловать дорогую девушку, но он не смел этого при посторон-

них.

— До свиданья, Таня, — пишите, ради Бога!

Он снял шапку, еще раз поклонился всем столпившимся на крыльце, еще раз бросил быстрый взгляд на Таню, на мать и поспешил к дверцам кареты. Следом за ним веселый и довольный, раскланиваясь со всеми, вскочил Рено, а потом взобрался и Моська.

Дверцы захлопнулись. Карета тронулась.

Сергей взглянул на крыльцо, откуда махали ему платками, смигнул набежавшие на глаза слезы и вздохнул всею грудью.

Карлик набожно крестился, недружелюбно поглядывая на своего соседа, Рено.

— О, господи! — думал он. — В первый-то раз дитя из дому в такой путь отправляется, а и лба не перекрестит... И все ты, проклятая крыса!.. О, Господи, избави нас от бед и напастей!..

Он зажмурил глаза и опять стал креститься: лишь бы не замерзнуть на дороге, а то все хорошо — лучше и быть не может!..

XIII. ЗАБОТА КАРЛИКА

В первых числах января рано утром, когда солнце только что выглянуло, прорезая мо-

розный туман, у подъезда известного всему Петербургу дома обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина остановилась крохотная фигурка, закутанная в детскую шубку.

Кругом было все тихо. Тяжелые двери наглухо заперты.

Фигурка взобралась на ступени крыльца, приподнялась на цыпочки, силясь достать дверную ручку, но это оказалось невозможно. Фигурка распахнула свою шубенку, выказывая озабоченное, сморщенное личико. Это был горбатовский карлик, Моська.

— Ну что ты тут поделаешь?! Видно, спят, — пискнул он.

Он начал подпрыгивать, но все никак не мог достать дверной ручки — шубенка мешала. И кончилось тем, что Моська запутался в ней, упал и скатился с обледенелых ступеней.

— Ох! Да тут все кости переломашь! Ишь ведь, спят черти, прости Господи! — ворчал он, потирая ушибленную ногу. — Обойти разве со двора, — да нет, там людишки разные, кто их знает какие... насмех подымут — разобидят... да, пожалуй, и до самого не допу-

стят! Постучаться, что ли? Авось тут еще Перфильич, старый знакомец, со своей булавою...

Моська снова взобрался на крыльцо и что есть силы стал колотить кулачками в дверь. Поколотит, поколотит — да и прислушивается.

Долго его усилия оставались тщетными, так что даже, несмотря на мороз, пот начал прошибать карлика. Но он не унимался и все продолжал стучаться.

— Оглохли, проклятые! — наконец крикнул он во весь голос. — Ну так авось вот этак услышат!

Он приложился губами к самой двери и отчаянно замяукал по-кошачьему, на все лады, с неподражаемым искусством.

Этот неожиданно придуманный им фокус оказался действительно сильнее стука его кулачком. Замок двери щелкнул, так что Моська едва успел отскочить.

— Что такое? Что за пропасть! — раздался густой бас над головой карлика.

— Ну, слава тебе, Господи! Он, он, Перфильич! Пропусти, голубчик! Аль не узнал? Так взглядишь хорошенько, протри буркалы-то, за-

спался, видно!? Пора, солнце давно светит...

— Моська, ты ли это? Какими судьбами?! Ах, дурень, дурень, кошкой вздумал мяукать!.. А я слушаю — что такое творится за дверьми, даже оторопь взяла. Коты не коты, уж не ребеночка ли подкинули — так и подумал — вот те Христос!

— Да не болтай ты, Перфильич, апусти, ради Бога!

Перфильич, огромный, тучный швейцар, нагнулся, подхватил Моську под мышку и внес его в сени, запирая за собою дверь.

— Пусти, черт! — пищал Моська. — И так с крыльца вашего свалился — ногу повредил, а тут ты еще все кости ломаешь... Пусти, медведь!

Громадный Перфильич осторожно поставил на пол карлика, присел пред ним на корточки и, ухмыляясь, глядел на него.

— Ну, шутка сказать — лет с пятнадцать не видались. И ничего-то ты с той поры не вырос!..

— И ты ничего не умалился, — перебил его Моська. — Да, полно, чего тут... Скажи-ка лучше — сам-то дома ли, встал ли?

— Нет; тут вчерашнего числа, вишь ты, было пированье; оно и то, пируем каждый день, с утра до вечера толчая в доме, ну, а вчерась просто дым коромыслом, далеко за полночь разъехались... Так он-то, полагать надо, еще не просыпался. А о тебе доложить, что ли? Это можно, я скажу камердинеру — он тебя примет. Слыхал я, куманек, про дела ваши. Хозяин-то помер! Царствие ему небесное! А ты это, верно, с молодым к нам пожаловал? Еще на сих днях мне дворецкий сказывал: за обедом, вишь ты, разговор был про вашего молодого барина, Лев-то Александрыч поджидает его...

— Так, так, голубчик! — повторял Моська, скидывая с себя шубенку и охорашиваясь перед большим трюмо. — Вчера вечером позденько-таки приехали и очень мне нужно самого видеть — не упустить бы. Доложи-ка, куманек, да так чтобы и сказал камердинер, что, мол, горбатовский Моська, — и большая-де надобность до его высокопревосходительства.

— Ладно, ладно! — отвечал Перфильич и пошел наверх по широкой лестнице.

Карлик вскарабкался на стул, оглядел па-

радные сени, устланные дорогим ковром, заставленные мраморными вазами и статуями. А потом вдруг подпер рукою свою маленькую головку, глубоко вздохнул и пригорюнился.

Между тем Перфильич уже спускался с лестницы.

— Ну, куманек, обожди малость, — встали и в уборной теперь. И приказано, как только брадобрей выйдет, так и провести тебя.

— Спасибо, спасибо! Да слушай-ка, подь сюда, Перфильич!

Перфильич подошел, и Моська, становясь на стул и все же подымая голову, чтобы глядеть в лицо кума, зашептал ему:

— Да, вот что еще. Может, как я буду у Льва Александрыча, молодой мой господин, Сергей Борисыч, приедет, так ты ему про меня ни слова, что я здесь. Я не сказался, и не должен он знать, что допрежь него виделся с вашим... Не выдашь, кум? А? Не выдашь?

Перфильич качал головою.

— Ах, ты проказник! Видно, шутку какую выдумал? Ведь совсем старик уж, чай, а в головенке и до сей поры шутовства разные. Да ну, дури! Мне-то что за дело. Уж коли его вы-

сокопревосходительство ни одного дня без проказ проводить не может, так тебе и Бог велел.

«Проказы! Не проказы у меня на уме, — подумал карлик. — Ну, а коли он так это обернул, то тем и лучше».

В это время чопорный, напудренный лакей остановился на площадке лестницы и важно произнес:

— Их высокопревосходительство приказать изволили привести к себе посланного от господина Горбатова...

— Перфильич! — пискнул Моська на ухо швейцару, все стоя на стуле и держа его за пуговицу, — ты и этому важному барину скажи, чтобы молчать, неравно Сергей Борисыч придут. Для вас же, о вас забочусь, коли проболтаетесь, так как бы худо вам не вышло, Лев Александрыч очень за то сердиться будет.

— Ладно, ладно! Дурачьтесь вы там с Львом Александрычем, — не наше, говорю, дело, — проворчал Перфильич.

Моська слез со стула и стал взбираться по лестнице, спеша и подскакивая боком одной ногой со ступеньки на ступеньку, как это де-

лают маленькие дети.

Важный лакей провел его через целый ряд роскошно убранных покоев, по которым суе-тилась прислуга, приводя в порядок мебель и обметая пыль после вчерашнего пиршества.

Наконец лакей остановился перед запертой дверью и тихонько стукнул.

— Входи! — раздался звучный, знакомый карлику голос.

Он вошел в небольшую уборную. В мягких креслах перед туалетным столом сидел уже совсем одетый, в парике, в шитом золотом кафтане и с андреевской звездой крепкий здоровый человек, лет за пятьдесят. Он стирал со своего веселого, моложавого и несколько женственного лица пудру.

Моська отвесил почтительный поклон.

— Честь имею кланяться вашему высокопревосходительству! В добром ли здравии, батюшка Лев Александрыч?

— Здравствуй, великий человек! — приветливо улыбаясь, отвечал Нарышкин.

Моська бросился к креслу и громко чмокнул красивую, выхоленную руку Льва Александровича.

— Давненько не видались! — продолжал тот. — Ну что, приехали? Что твой барин, здоров?

— Здоров, батюшка, Бог милует! Должно полагать, к вам сейчас будут. А я вперед, да тихонько — кое о чем поговорить надо.

— Что такое, что такое? Послушаем. Присядь вот тут.

Нарышкин отодвинул от себя ногою скамейку и указал на нее Моське.

Взволнованный карлик уселся и запищал:

— Я так теперь полагаю, что после кончины Бориса Григорьича...

Он перекрестился.

Перекрестился и Нарышкин; веселая улыбка, не покидавшая все время его лицо, вдруг исчезла.

— Да, — перебил он карлика, — грустно мне это было! Ты знаешь. Моська, любил я твоего барина, жили мы с ним душа в душу, — чай, помнишь то время?

У Моськи запершило в горле, все лицо зараснелось, и на глазах показались слезы. Он вынул из кармана платок и быстро отер их.

— Ох! Как не помнить золотого времечка,

каждый денек помню, благодетель! Все веселости ваши с покойничком, шутки разные — все помню!..

— Ну, так что, что же? Что хотел сказать? — перебил Нарышкин.

— Да, батюшка, так вот я и говорю, что после кончины-то Бориса Григорьевича я не иначе полагаю, что вы, ваше высокопревосходительство, заместо отца Сергею Борисычу... Вот и вызвали вы их сюда, и своим покровом не оставите...

— Конечно, в память покойника все готов для его сына. Да и Сережу люблю, не раз ведь бывал в Горбатовском, знаю его — славный мальчик.

— Ох! Золотое дитя, золотое! Да боязно мне, совсем ничего не знает, как жить-то надо. И опять-таки француз...

— Какой француз?

— А Рено, воспитатель ихний!

— Ах, да, Рено, помню... Ну, что же француз?

— Много попортил, — таинственным шепотом произнес карлик, качая головою. — Только вы, благодетель, не сумлевайтесь, ко-

ли что вам в дите не так покажется. Затем я и прибежал упредить. Дитя золотое, а это все француз...

— Да говори толком, Моська, ничего не понимаю! Что ты мне загадки загадываешь?!

Моська приподнялся со скамейки, пугливо огляделся, встал на цыпочки и под самое ухо шепнул Нарышкину:

— В Бога учит не верить! Я с первых же дней, как завелась в Горбатовском эта басурманская крыса, понял, что неладное начинается. Чтобы не попустить чего да разузнать про все ихние разговоры да ученье, я и по-французкому выучился.

— Ты! По-французскому?! Ах, ты сморчок старый!..

Нарышкин весело засмеялся. Моська немножко засмеялся.

— Да, что же, благодетель, отчего же мне и не выучиться?! Же парль франсе, вотр екселансе, же пе ву ле пруже тут-т-а ллерь...

Услышав эту правильную французскую фразу, хоть и произнесенную совсем на русский лад, и взглянув на смешную фигуру карлика, Нарышкин так и покатился со смеху.

— Ох! Перестань, шут ты гороховый, не то камзол лопнет!

— Не до смеху мне, сударь, Лев Александрыч, — с достоинством и грустно проговорил карлик.

Нарышкин перестал смеяться.

— Так ты говоришь, в Бога учит не верить?

— Да, и всякое такое несуразное толкует. Он все из Франции книжки выписывал. По целым часам толкуют: Вольтер, Вольтер, Руссо, опять Дидерот... Я, признаться, и книжки эти тихонько переглядывал.

— Ну, что же — и понял?

— Понял-то я не понял — прямо скажу. Мудреное что-то, а все же увидел, что в книжках тех толку мало. Нехорошо там написано... А то опять: француз болтает, будто люди все равны, вишь, — и господа, и слуги...

— Ну, а по-твоему как? — лукаво прищурился, спросил Нарышкин.

— Да, что же, батюшка, известно: перед Богом мы все равны, — наставительным тоном и несколько не смущаясь отвечал Моська. — Да, на земле-то, коли я слуга, так не равняю

себя с господином. И что же бы такое было, кабы, для примера, хоть бы ваши слуги да почли себя равными с вашим высокопревосходительством, — что бы такое было? Ведь понимаю же я это!

Моська замолчал, внимательно глядя на Льва Александровича и следя за выражением его лица.

Нарышкин стал совсем серьезным и медленно произнес:

— Француз в Бога учит не веровать, и книжки... и люди равны... Ну, старый сморчок, спасибо тебе... хорошо ты сделал, что прибежал ко мне... Это все очень важно...

— Да как же не важно-то, милостивец, — ведь, коли дитя по молодости, где не надо слова того француза повторять начнет, — ведь это что же будет? Навеки погубить себя может... и неповинно, видит Бог, неповинно, потому Сергей Борисыч сущее золото, а это все француз...

— Так, так, — повторил Нарышкин и ласково потрепал по плечу Моську.

В это время у двери раздался легкий стук.

— Кто там?

— Сергей Борисыч Горбатов приехали и спрашивают, можете ли вы их принять, ваше превосходительство? — произнес за дверью камердинер.

— Просить!

— Батюшка, а я как же? — запищал Моська. — Вы уж не извольте говорить, что был у вас, а то они на меня разгневаются. Да и француз, хитер он больно, неравно догадается. Ведь он приворожил, как есть приворожил себе Сергея Борисыча.

— А ты здесь оставайся, — сказал Нарышкин, — жди меня. Только может, там людишки мои выболтали?!

— Вряд ли! Я кума Перфильича просил не сказывать.

— Ну, так и сиди тут, не шевелись, я и запру тебя, чтобы никто не видел.

Лев Александрович запер на ключ дверь, ведущую из уборной в опочивальню, и ключ положил к себе в карман.

— Сиди! Да, вот тебе и занятие — приберика мне туалетный стол.

Он еще раз похлопал по плечу карлика и совсем молодым шагом поспешно вышел из

уборной в другую дверь. И Моська слышал, как он запер за собою на ключ и эту дверь и вынул ключ из замка.

— Ну, слава Богу, как гора с плеч подумал Моська. — Лев Александрыч хоть и озорник и смехотвор, а царь у него в голове есть и другом был истинным Борису Григорьичу... Не выдаст он дитя, — не погубит...

XIV. ЛЕВУШКА

Двадцать шесть лет прошло с тех пор, как Лев Александрович Нарышкин кудахтал курицей по дороге из Ораниенбаума в Петергоф. Произошли громадные перемены: прежние деятели один за другим сошли в могилу, великие события совершались в политическом мире, новые светила, быстро заменяя друг друга, появлялись и исчезали на горизонте придворной жизни. В далеком своем Горбатовском, измученный кипучими и упрямыми страстями, до времени состарился и умер Борис Горбатов.

А Лев Александрович между тем все оставался неизменным, время пощадило даже его наружность. Он рано развил в себе ту житейскую мудрость, которая избавила его от стра-

стей и мучений, превратила его жизнь в непрерывный ряд удовольствий.

Его дружба с Петром III, его близкие отношения ко всем его приверженцам нисколько не повредили ему во мнении Екатерины. Ведь он всегда был и ей близким человеком. Их связывали воспоминания юности, той юности, которая была тяжелою школой для Екатерины. Почти только один Лев Александрович доставлял ей развлечение и веселость в самые печальные годы жизни, и она была не в состоянии забыть этого. Нарышкин навсегда остался для нее близким другом, забавником, чем-то вроде милого любимого брата.

Ей приятно было во все продолжение своего славного царствования после глубокой умственной работы, на какую только и была способна исключительно созданная светлая голова ее, после мучительных забот и волнений честолюбивой и страстной души — ей приятно было отдохнуть в живой, шутливой беседе с другом юности.

В ее сердце, часто изменчивом, навсегда сохранилось для Левушки (как она называла Нарышкина) особое и никому, кроме него, не

принадлежавшее место.

Они хорошо знали и понимали друг друга, и это понимание приносило им обоим большую пользу. Они не ждали друг от друга того, чего не могли бы дать, а потому никогда не ошибались друг в друге.

Нарышкин понял свою роль и остался ей верен до конца жизни. Он был неизменным обер-шталмейстером, не вмешивался в дела государственные, не совался в кабинет императрицы. Его место было в ее уборной, где сыпались остроумные шутки, где раздавался веселый смех, где рассуждалось о вечерних удовольствиях Эрмитажа, где задумывались и исполнялись литературные шалости.

Екатерина иногда отрывалась от своих ученых и законодательных работ, и перо ее, заканчивая главу ее знаменитого Наказа, начинало веселый рассказ, героем которого был Левушка: «Dits et faits de sir Leon Grand Ecuier, recueillis par ses amis» и потом: «Relation veridique d'un voyage d'outre mer que sir Leon Grand Ecuier pourrait entreprendre par L'avis de ses amis».

Даже в последнее время, год тому назад,

Екатерина написала комедию «L'insouciant», в которой целиком был изображен Нарышкин.

Комедию эту играли в Эрмитаже при маленьком собрании, и она имела успех. Сам Лев Александрович радовался и смеялся более всех. Старый друг не мог же обидеть его своими литературными шалостями; напротив — эти шалости доказывали всем и каждому искреннее расположение автора к вечно забавному, остроумному и милому Sir Leony...

Дом Льва Александровича был настоящим клубом; туда ежедневно, с утра до вечера, собирались все, как знакомые, так почти и не знакомые хозяину. Там задавались обеды, ужины, балы, маскарады, которые нередко удаивала своим посещением и императрица...

Сергей Горбатов хорошо знал историю старинной дружбы, связывавшей его отца с Нарышкиным. К тому же, года четыре назад Лев Александрович, проездом на юг России, прожил несколько дней в Горбатовском, оживил мрачного хозяина, пленил всех наехавших гостей-соседей. Сергей в эти дни ни на шаг не отходил от него, ловя каждое его слово и по-

том, по его отъезде, долго оставался под обаянием этого милого человека.

Теперь он с волнением ожидал в одной из обширных гостиных Льва Александровича. Но юноша был уже не тот, каким его помнил Нарышкин.

Завидев входившего хозяина, он не кинулся к нему на шею, как сделал бы это прежде, а только быстро, с радостно заблестевшими глазами и сдержанной улыбкой подошел к нему.

Лев Александрович крепко его обнял.

— Ну, вот и хорошо, что не заставил ждать, скоро приехал, — сказал он, усаживая его рядом с собою. — Э, да каким же ты молодцом и красавцем вышел!

Он быстрым привычным глазом окинул молодого человека и остался доволен первым впечатлением:

«Он хорош собою, прекрасно одет, хоть и из деревни, умеет подойти, знает, как держать руки, — посмотрим, что будет дальше...»

Сергей передал поклон матери, благодарил за участие, одним словом, исполнил все то, чего требовали приличия. Лев Александрович

сделал несколько вопросов относительно кончины своего друга, вздохнул, крепко пожал руку Сергея, но сейчас же переменял разговор. Он не хотел расстраивать ни себя, ни своего молодого родственника печальными воспоминаниями.

— А помнишь, любезный друг, как ты чуть не со слезами уверял меня в Горбатовском, что мы никогда не увидимся с тобою в Петербурге? Увиделись вот, и не долее как через час я доложу о твоём приезде императрице. Легко может статься, что на сих же днях она пожелает тебя видеть.

Он заметил быстро мелькнувшее волнение на лице Сергея.

— Что, любезнейший, аль жутко? Ну, тут нужно взять храбрость в руки, всю деревенскую дикость, как зуб больной, надо зараз с корнем вон! Страшновата операция, да ведь миг один — и потом ничего не осталось. Так и с тобою будет. Императрица может страх нагонять только на тех, кто не видел ее. Но все же тебе следует наблюсти за собою, нужно ей понравиться.

— Понравиться? — слабо улыбувшись,

сказал Сергей, — об этом уж лучше я и думать не стану, ибо чувствую, что если стану думать, то кроме худого для меня ничего не выйдет. Я роли играть не умею... уж вот, каков есть, а гожусь ли во дворец — того не знаю!

— Увидим, дружок, и, конечно, никакой роли брать на себя тебе не след. Ты или сам поймешь, как надо держать себя или... никто тебя не научит. Умение жить — это такая наука, которую проходят самоучкой... Ну, а что твой Рено? Так ведь, кажется?.. Он с тобой?

— Да, мы приехали вместе.

— Помнится, ведь он философ?.. Ах, эти французы-философы! Дофилософствовались-таки до революции... чай, слышал... знаешь, что у них там происходит?! Вот и мы когда-то изучали Руссо да Вольтера, только теперь это давно бросили!..

— Дядюшка, — живо перебил Сергей, — ведь всему свету известно, что государыня в переписке со многими знаменитыми учеными Европы... ее дружба с Вольтером, Дидро...

— Тише, стой, дружок! — улыбаясь остановил его Нарышкин. — Я тебе советую при

представлении государыне заговорить с нею об ее дружбе с Вольтером и Дидро, ты увидишь, как приятно ей вспомнить об этой дружбе!.. Нет, Сережа, то были, так сказать, грехи молодости, в которых пришлось покаяться. То были мечтания, а жизнь показала другое. Философы привели Францию на край гибели, и наша мудрая монархиня не может желать того же для России. Философы забыты — да и Бог с ними. Мы должны думать о благе нашего отечества, о его величии. Государыня так высоко поставила русскую державу, перед которой трепещет вся Европа! Ныне снова вострубила слава русского оружия — пал Очаков...

— Да, дядюшка, и я, подобно каждому русскому, возликовал душевно, узнав о сей победе. Но военная слава, внешнее могущество государства — достаточно ли сего для народного блага?

— Ты полагаешь, любезнейший, что монархиня не заботится о благе своих подданных? Спроси меня, я, почитай, каждый день ее видаю, и я могу сказать тебе, что изыскивает она все способы, дабы разоблачить злоупо-

требления, изгонять неправду. Как бы ни был силен человек, какой бы важный государственный пост ни занимал он, если государыня узнает, что он покривил душою, то без всякого колебания всегда возьмет сторону слабого. Она ищет только правды, хочет знать истину, как бы она ни была ей неприятна. Не раз мне случалось преподносить ей сию горькую пилюлю, плохо подслащивая ее шуткой, — и кроме благодарности я ничего не видел...

— И я знаю много примеров правосудия государыни, но есть такое зло, которое требует особенных мер для своего уничтожения.

Лев Александрович начинал находить этот разговор скучным, а главное, он сказал все, что ему было нужно. Он вынул из кармашка камзола часы, усыпанные бриллиантами, — подарок императрицы, и, взглянув на них, перебил Сергея:

— Извини меня, мой милый, когда-нибудь на досуге я о многом поговорю с тобою, а теперь дам тебе совет, а ты меня внимательно выслушай: высшая политика, дела государственные — все это заключено в кабинете им-

ператрицы и там всему этому настоящее место. Я никогда не суюсь туда, а тебя пока туда и не пустят. Ты слишком скучал в деревне, не видел общества, много учился, вам было достаточно времени толковать о всяких важных материях с Рено. Сюда же ты приехал не для ученья — ты должен увидеть людей, развлечься, повеселиться, отдохнуть от деревенской науки... Так ты и сделай: будь веселым, любезным молодым человеком и не думай ни о философии, ни о политике. В жизни есть много и другого, много интересного и забавного, и ты на сих же днях увидишь, что я прав. О, да я по твоему лицу уже вижу, что твоя философия скоро с тебя соскочит... Посмотри, как мы весело живем, ведь ты ничего не видел в деревне, а тут театры, балы, хорошенькие женщины...

Театры, балы, хорошенькие женщины!

Сергей танцевал контрдансы и менуэты в Горбатовском и Тамбове, но это случалось раза два-три в год. Домашние спектакли они тоже устраивали — это было весело, забавно, но он уже слышал от Рено о настоящем театре, о знаменитых артистах, а все европейские зна-

менитости стекались теперь в Петербург. Хорошенькие женщины — они ему теперь не нужны, для него существует одна только хорошенькая женщина в мире, и тут ее нету...

Но вот он невольно, с некоторым замиранием сердца, повторил про себя слова Нарышкина:

«Театры, балы, хорошенькие женщины».

Лев Александрович опять взглянул на часы:

— Пора к государыне, а тебе, Сережа, надо познакомиться с моим семейством. Ведь ты не знаешь еще ни тетку, ни кузин. Но теперь они спят — вчера поздно заснули, и тебе их долго придется дожидаться. Советую сделать утренние визиты к тем, кто встает рано, и к тем, кого в этот час можешь застать дома, ко мне же милости прошу нынче к обеду. Выйдем вместе.

У крыльца Лев Александрович послал воздушный поцелуй Сергею и так быстро вскочил в карету, что ливрейные лакеи не успели подбежать к нему.

Новый нарядный экипаж дожидался и Сергея.

«Ничего, милый мальчик... обойдется... И все же этот философ-воспитатель оказал услугу. Он, кажется, умеет держать себя. А как красив!.. Какая стройная фигура! О! Он должен понравиться со своим девическим румянцем... Авось обойдется...»

И вдруг Лев Александрович громко расхохотался.

Он вспомнил, что в уборной остался запертым карлик Моська, а ключи от обеих дверей у него в кармане.

«И ведь раньше обеда дома не буду! За что же Моське наказание такое — за доброе чувство... Ничего, пускай — не вредно...»

Карета остановилась у дворцового подъезда, лакеи распахнули дверцы, веселый обершталмейстер, встречаемый низкими поклонами, поспешил через знакомые ему покои в уборную императрицы.

XV. УТРО ЦАРИЦЫ

Все это утро, как и всегда, ровно в шесть часов раздался звонок из спальни императрицы.

Прошло минут десять, и Марья Савишна Перекусихина — толстая старуха с умным и в

то же время добродушным лицом вошла в спальню, наскоро застегивая лиф своего платья.

Возле кровати, на маленьком столике, была зажжена свечка. Английская собачонка выползла из-под атласного одеяльца, спрыгнула с маленькой собачьей кровати, стоявшей у самой постели императрицы, и, ласково виляя хвостом, побежала к Марье Савишне.

Екатерина не шевелилась.

Марья Савишна прислушалась.

— Заснула! — прошептала она. — Свечку-то зажгла, да и опять заснула... а и я позамешкалась...

Она подошла к спящей, уже тронула было ее за руку, чтобы разбудить, но остановилась, ласково на нее глядя.

— Будить-то жаль, ишь ведь, как сладко заснула, голубушка! А и то опять: не разбудишь — гневаться станут... Матушка! — проговорила она вполголоса.

Екатерина открыла глаза, потом снова закрыла их, но, сделав над собою усилие, приподнялась с подушки. Она потеряла себе лоб,

отгоняя сон, и взглянула на часы с будильником, стоявшие возле свечки.

— Двадцать минут седьмого! — поздно... я тебе ровно в шесть позвонила, Марья Савишна!

— Замешкалась я нынче, государыня-матушка, уж простите. Да и сами вы подремали бы еще с полчасика, ведь вон вижу: глазки-то слипаются.

— Подремала бы... Ох, с каким бы удовольствием подремала, — проговорила Екатерина, потянулась и зевнула. — Подремала бы, только баловать себя нечего!

— Да когда здоровы, так оно хорошо, а ведь, почитай, две недели, матушка, прохворали — силить себя и не след. Нынче-то как здоровьице? — спрашивала Марья Савишна, подавая императрице чулки.

— Не совсем, Марья Савишна, не то уж мое здоровье. Вон ноги опять как будто припухли. Голова тяжела что-то...

Марья Савишна тихонько вздохнула.

Между тем императрица встала с постели, набросила на себя капот и бодро прошлась по комнате. Теперь уж все четыре собачки вы-

лезли из-под шелковых с разноцветными кистями одеялец и радостно прыгали вокруг нее, виляя хвостами, отрывисто взвизгивая и силясь поймать и лизнуть ее руки.

Она собственноручно растопила камин, прошла в уборную, вытерла себе льдом лицо и руки.

— Вот и голова посвежела! Нет, Марья Савишна, ты, пожалуйста, никогда не слушай меня, не соблазняй валяться в постели. Коли неможется, тот тем паче надо себя переламывать, а то совсем расхвораться можно... Причеши-ка уж меня, и нынче сама я еще денек на правах больной останусь.

Екатерина села в небольшое, низенькое кресло перед зеркалом, вынула из головы гребень, и густые, местами уже седеющие волосы ее рассыпались почти до самого полу. Марья Савишна принялась за немудреную и во все не модную прическу императрицы.

В зеркале отражалось все еще молодое и свежее лицо, с быстрыми, прекрасными глазами, несколько выступившим вперед подбородком и складкой между бровей, часто придававшей этому красивому лицу серьез-

ное и даже сердитое выражение. Эта досадная складка появилась в последние годы и очень смущала Екатерину.

— Что нового, Марья Савишна? Вчера-то мне и двух слов не удалось сказать с тобою. Не слышать ли чего? О чем говорят в городе?

— А все о том же матушка, у всех на языке и на уме приезд светлейшего, многие голову повесили.

— Голову повесили, — тихо повторила Екатерина. — И с чего это так его не любят, кому он стал поперек дороги?! Все зависть, мелкая зависть... Да, никто не любит его, только Бог да я его любим... Вот и я тоже целые дни думаю о его приезде!.. Ох, как мне нужен светлейший!.. А и боюсь: бранить меня будет... уж так и знаю — большие у нас выйдут споры!.. пожалуй, от некоторых планов придется отступить. Ведь вот, Марья Савишна, человек! Вот голова! Иной раз со всех сторон обдумаешь дело, решишь, что так-то вот нужно поступить непременно, все ясно, яснее и быть не может, а он придет, заговорит и найдет ошибку — и поневоле приходится по его делать...

— Уж что и говорить, что и говорить, — повторяла Марья Савишна. — Золотая голова у светлейшего! Одну только еще такую головку знала: покойник Григорий Григорьевич...

— Да, — раздумчиво произнесла Екатерина, — правда твоя — эти два человека были мне судьбою посланы, без них я бы пропала. Только молоды мы были с Григорием Григорьевичем, во многом тогда ошибались. Теперь уже не то время, не те годы. А вот светлейший не ошибается!

Екатерина задумалась. В одну минуту многое мелькнуло из ее прошлого: молодая, полная сил, кипучая умственная деятельность с даровитым помощником, Григорием Орловым, мечты о благе человечества, дружба с философами... Теперь из этого осталось очень мало. Бюст Вольтера, перед которым чуть не молилась императрица, брошен; бюст Фокса тоже. Вашингтон, от геройства которого трепетало сердце, который представлялся великим освободителем своей родины, теперь уже в ее глазах мятежник. Мечты о народном благе являются все реже и реже, их заменили другие мечты и планы. Величие России — вот

о чем грезит Екатерина. Восстановление Греческой империи на берегах Босфора — вот заветный план ее и Потемкина. Славные победы, военная сила, крепость правительства — вот единственные оплоты против той бури, которая начинается на Западе и так тревожит Екатерину.

Она вздохнула. И вдруг ее мысли от этих тревожных предметов, денно и ночью занимавших ум ее, перешли к другому предмету, не менее тревожному, наполнявшему ее женское сердце, несмотря на годы, не успевшее еще состариться.

— А что граф?.. Что Александр Матвеевич?.. — с волнением в голосе спросила она Марью Савишну. — Ведь я просила тебя пораньше послать вниз узнать, как он провел ночь — вчера он мне совсем больным показался.

— И узнала, — ответила Перекусихина. — Лег часов в одиннадцать, не позже, и по сие время почивает. Да не тревожьтесь, матушка, какая там болезнь — человек молодой, здоровый... ну, прихворнул немножко, что за беда. А то и так, просто капризен он у нас стал... из-

баловали мы его больно.

— Ну что за баловство! — перебила Екатерина. — Я стараюсь награждать по заслугам, а заслуги Александра Матвеича немалы, и уж особенно теперь, в отсутствии светлейшего, я без его помощи ни в чем обойтись не могу.

— Так-то так, а все же не мешало бы построже, чтобы не капризничать.

Прическа Екатерины была готова. Она отпустила Марью Савишну, перешла в кабинет, выпила уже принесенную камердинером чашку крепкого кофе с несколькими маленькими гренками. Ее собачки выбежали за нею, нетерпеливо визжали, пока она не раздала им кусочки сахара и гренков, тогда собачки успокоились. Она присела к небольшому столу, на котором разложены были бумаги. Резче выступила суровая складка между бровями императрицы, губы ее сжались. Она углубилась в чтение бумаг и забыла все свои заботы, быстро проникая в сущность лежавших перед нею дел и уясняя себе все их подробности. Время от времени она отрывалась от работы, открывала табакерку с изображением Петра Великого и нюхала свой любимый

«рульный» табак.

Так проработала она почти до девяти часов, и окончив чтение последней лежавшей на столе бумаги, взялась за колокольчик.

Дверь тихо отворилась, и показалась почтенная фигура старого камердинера Зотова.

— Что Александр Васильевич, пришел уже? — спросила императрица.

— С четверть часа как дожидаются, ваше величество.

— Так попроси его.

— Пожалуйста, батюшка Александр Васильевич, — сказал Зотов, пропуская секретаря императрицы, Храповицкого, и запирая за ним дверь.

Храповицкий, человек средних лет, очень тучный, с красным и потным лицом, отвесил почтительный поклон императрице и проворно подошел к письменному столу. Екатерина кивнула ему головой, улыбнулась и указала на кресло.

— Садись, Александр Васильевич. Что это, батюшка, вы так раскраснелись, будто из бани?!

— Жарко, ваше величество, — с приятной

улыбкой ответил Храповицкий.

Из этих слов, из подтруниваний над его тучностью, он заметил, что императрица на этот раз в духе.

«Слава тебе, Господи — подумал он, — а то все последнее время такая сердитая, не знаешь как и подступиться».

— Жарко! — повторил он.

— Да, около двадцати градусов мороза, да и здесь не более тринадцати — так оно, конечно, жарко! — улыбаясь сказала Екатерина. — Право, завидно смотреть на вас — как у юноши кровь горячая!.. — Ну, задали же наши господа мне сегодня работу, вот возьмите — это записка Салтыкова, тут о рекрутах и укомплектовании армии...

Она протянула ему бумагу, широкие поля которой были только что ею во многих местах исписаны.

— Взгляни, пришлось-таки посидеть... А и за то спасибо, он все же умнее Пушкина... Да, трудно с полученными и глупыми иметь дело — их всякая мелочь останавливает. Вот отдохну скоро — придет князь... Avec l'homme d'esprit et de génie on peut tirer partie de tout,

всегда найдешь средства...

Бумага сменялась бумагой. Императрица высказывала свои мнения и замечания по самым разнообразным делам со всегдашней своей точностью и логичностью. Только Храповицкий скоро начал подмечать, что голос ее с каждой минутой становится резче, лицо суровее.

«Неспокойны, — подумал он, — тревожатся, хоть бы скорее уж приехал Потемкин, авось успокоит».

— Ну, кажется, все теперь! — наконец сказала императрица, потянувшись в кресле, понюхала табаку и кивнула Храповицкому.

— До свиданья, Александр Васильевич! Коли нужно что будет — пришлю.

Храповицкий раскланялся.

Вслед за его уходом в кабинет прошел оберполицмейстер, а затем и другие должностные лица со своими докладами.

На этот раз Екатерина никого долго не задерживала. Она казалась несколько утомленной, молча выслушивала доклады, только изредка прерывая их немногосложными замечаниями.

Покончив со своими докладчиками, она снова перешла в уборную.

В этот час утра здесь обыкновенно собирались самые приближенные к ней лица, и пока парикмахер убирал ей голову, велась оживленная беседа. Но вот уже две недели, как Екатерина хворала и не принимала почти никого утром; на сегодня даже и парикмахеру нечего было делать.

В уборной императрица застала только свою приятельницу, Анну Никитишну Нарышкину, невестку Льва Александровича, и лейб-медика Роджерсона, несколько чопорного с виду англичанина, которому в его долгое пребывание во дворце пришлось много крови выпустить из императрицы.

Роджерсон сейчас же приступил к исполнению своих обязанностей: подробно осведомился о состоянии здоровья императрицы, прислушался к ее пульсу и своим тихим, спокойным голосом заметил:

— Все еще некоторое волнение, но все же сегодня совсем здоровый вид, государыня, и никакой диеты больше не нужно; желательно бы поменьше занятий, побольше развле-

чений; но тут я бессилён изменить ваше упрямство и по долгому опыту знаю, что мои советы будут оставлены без внимания.

— Да я и без ваших советов, любезный Роджерсон, плохо работала!

Затем императрица обратилась к Нарышкиной и дружески протянула ей руку.

— Здравствуй, Анна Никитишна, спасибо, что навестила, я ещё с вечера никого кроме тебя просила не пускать. Потолкуем немного, да вот с детками повожусь — на нынешнее утро мне и довольно развлечений.

В это время в соседней комнате раздались детские голоса. Это были внучата императрицы, которых в обычный час вели здороваться с бабушкой.

Дети цесаревича жили и воспитывались при Екатерине. Она пожелала сама о них заботиться. Цесаревич с супругою проживали почти всегда в Гатчине. Он приезжал в Петербург не особенно часто, зато великая княгиня Марья Федоровна наизусть знала дорогу из Гатчины в Петербург. Она почти ежедневно, несмотря ни на какую погоду, приезжала поглядеть на своих любимых деток и поласкать

их.

Милые детские лица окружили Екатерину. Двенадцатилетний великий князь Александр, стройный красавец-мальчик с великолепными голубыми глазами, почтительно целовал руку бабушки. За ним подошел и брат его, Константин, живой, несколько порывистый, с маленьким вздернутым носиком. Он твердо, как давно заученный урок, сказал свое утреннее приветствие и в то же время с легкой насмешливой улыбкой поглядывал на Роджерсона, который всегда казался ему смешным.

Три маленькие девочки, из которых старшей было шесть лет, а младшей всего три года, уже без всякого этикета что-то лепетали, перебивая друг дружку и обступая кресло бабушки.

Екатерина крепко всех их перецеловала, взяла к себе на колени свою любимицу, младшую внучку, и с новой улыбкой, улыбкой баловницы-бабушки, перебирала ее шелковистые локоны. Девочка делала уморительные минки и жаловалась, что ей дали очень маленькую булочку.

— Ах ты моя смешная, моя умница!.. —

улыбаясь, говорила Екатерина. — Александр, друг мой, что это ты как будто немного бледен сегодня, здоров ли? — обратилась она к старшему внуку.

— Здоров, государыня. Я рано проснулся, урок надо было выучить, только что кончил.

— Увижу, хорошо ли будешь знать его. — Пока я довольна тобою, дай Бог, чтобы и вперед было также. Et vous, petit polisson?

Она притянула к себе Константина и держала его руку.

— По глазам вижу, что вместо урока шалил. Смотри, смотри, не доведут до добра шалости... тобою я не совсем довольна... лениться стал — стыдно!

Но она не могла вызвать на своем лице строгого выражения. Она начинала в последнее время чувствовать большую слабость к этому шаловливому мальчику. Она часто о нем думала, и в ее мыслях он представлялся ей не иначе, как будущим греческим императором.

— Защитите, государыня, меня не пускают в уборную! — вдруг у самой двери раздался громкий голос.

— Ах, Бог мой, даже испугал! — сказала императрица. — Входи уж, Лев Александрович, коли до дверей добрался.

Нарышкин, веселый, сияющий свежестью, подошел к руке императрицы. Дети весело окружили его.

— С чем пожаловал? — спросила Екатерина.

— Да что это, матушка-государыня, все нездорова да нездорова! Пора и поздороветь. Солнце, мороз, так хорошо, что чуть не замерз в карете, а тут вдруг в уборную не пускают, хоть бы обогреться немного.

— Грейся, Левушка, сколько душе угодно. Так ты, значит, совсем без дела?

— Когда же с делом?! — изумленно спросил Нарышкин. — До старости дожил, каждый день ищу дела и все же до сей поры не могу найти его — все дела разобрали, про меня и не осталось... Да Бог с ним, с делом. А вот, чтобы не забыть, государыня, прилетел из Тамбова птенчик, о котором спрашивать изволили.

— Какой там еще птенчик? Про кого спрашивала?

— Покойника Горбатова сынок.

— Ах да, помню! — проговорила императрица. — Это хорошо, что он приехал, и я желала бы его видеть. Помнится, вы его хвалили. Что он, не в отца?

— Нет, сходства большого не заметно... да вот сами взгляните, государыня.

— Непременно, и прошу вас, Левушка, завтра же в шесть часов в Эрмитаже мне его представить.

XVI. ПЕРВЫЙ ШАГ

Вернувшись из дворца, Нарышкин, по обыкновению, застал у себя много народу и в том числе Сергея, который успел и без его помощи отрекомендоваться тетушке и кузинам. Он встретил с их стороны самый радушный прием. Между ним и молодыми девушками скоро завязалась оживленная беседа, и через какой-нибудь час они совершенно ознакомились друг с другом. Сергею начинало казаться, что в Петербурге все такие милые, добрые люди, да и с красотой он уже успел столкнуться. Одна из дочерей Нарышкина, Марья Львовна, была очень хороша и при этом умна и кокетлива. Сергей, незаметно для самого се-

бя, слишком часто и восторженно начинал на нее поглядывать. Быстро собиравшиеся гости тоже еще усилили хорошее настроение его духа. Все были так рады с ним познакомиться, так ласкали его, оказывали всевозможное внимание.

Красивый молодой человек, знатной фамилии и с огромным состоянием для отцов и матерей, имевших взрослых дочек, представлялся завидным женихом; девицы сразу обратили внимание на его красоту и свежесть; молодые люди сообразили, что дружба с ним может быть и приятна, и полезна. Он получил столько приглашений, что не успевал благодарить и откланиваться.

Подоспело и новое обстоятельство, которое еще более подняло ему цену перед собравшимся обществом: Лев Александрович громко, так что все слышали, объявил ему о назначенной на завтра аудиенции в Эрмитаже.

Между тем домашние обступили Льва Александровича и спрашивали, отчего заперта уборная и что там такое? Это была загадка, которая вот уже несколько часов их занимала. Обе двери на запоре, и все слышали, как

что-то там шевелится:

Лев Александрович громко рассмеялся.

— Да, да, там у меня безвинный узник. И знаешь ли, Сергей Борисыч, кто? Твой Моська.

— Моська?! — изумленно спросил Сергей. — Так вот он где! А я заехал домой, спрашиваю Степаныча, но он не является, и мне говорят, что он с утра пропал...

— Да, видишь ли, мы с ним старые приятели, ну он и не утерпел, прибежал ко мне утром, а как ты приехал, он и испугался, что ты бранить его будешь, и просил меня его спрятать... я его запер да и позабыл совсем, а ключи от дверей увез с собою.

Узника освободили, и несмотря на все его возражения, Лев Александрович представил его обществу. Мода на шутов и карликов, благодаря трезвым взглядам императрицы и примеру, ею подаваемому, в эти годы уже прошла, но русское общество все же чувствовало к ним невольное влечение. Моську окружили, забавлялись его крошечной, нарядной фигуркой, его детским голоском, смешными манерами. Его забрасывали различными во-

просами. Но на этот раз он был мрачен, чувствовал себя неловко, старался не смотреть на своего господина, который, однако, видимо, на него не сердился и ограничился только спокойным замечанием:

— Вот, Степаыыч, убежал не сказавшись — и просидел с утра голодный...

— И в самом деле, чего ты, дурень! — шепнул ему Нарышкин, — нашел кого бояться — Сергей Борисыча!

— Да не его я боюсь, — тоже шепотом отвечал карлик, — тут не он, а француз, и уж знаю я, зачем просил не выдавать меня... А вы, батюшка, ваше высокопревосходительство, не могли, чтоб не подшутить над стариком... и не грех вам?!

— И не думал, любезный, просто позабыл, не взыщи уж!

Но Моська продолжал оставаться мрачным и смущенным...

На следующий день, напутствуемый наставлениями Рено, Сергей отправился представляться государыне.

Вот и дворец. Мелькнули огни ярко освещенного подъезда.

Была минута, когда Сергею захотелось крикнуть кучеру, чтобы он ехал назад — такое смущение, такая детская робость вдруг его охватили, но он, конечно, ничего не крикнул.

С лихорадочной торопливостью он вошел в сени. Дежурные камер-лакеи вежливо, но без особенной почтительности ему поклонились; один из них подошел и спросил, что ему угодно.

Он, как и было условлено, попросил вызвать Нарышкина.

— Знаю-с, — ответил камер-лакей, — пожалуйста!

Сергей оправился перед зеркалом и пошел за ним, не замечая, куда идет. Он чувствовал дрожь в ногах, кровь то прилиwała к его щекам, то отлиwała.

«Да что же это такое? — отчаянно подумал он, — ведь этак нельзя, ведь этак я и слова сказать не сумею... Ну, не понравлюсь, так что ж за беда!.. Ведь ничего из этого не выйдет... дадут понять... тот же вот Лев Александрович откровенно скажет — и отправлюсь я опять в Горбатовское или куда хочу... Отправ-

люсь прямо с Рено за границу... во Францию... в Париж!.. Еще гораздо лучше... зачем же мне робеть!»..

Такие мысли сразу его успокоили. Он огляделся, увидел себя в высокой и обширной зале, увешанной картинами, заставленной вазами, статуями, статуэтками, всевозможными произведениями искусства.

— Извольте обождать здесь, сейчас доложу, — произнес его проводник и скрылся за портьерой.

Через минуту вышел Нарышкин, как и всегда, улыбающийся и довольный. Он быстро оглядел Сергея.

«Одет безукоризненно, к лицу причесан... заметно небольшое волнение, глаза блестят... прелестный мальчик!»

— Ну, это хорошо, ни на минуту не опоздал, а у нас аккуратность прежде всего — государыня в этом сама пример подает, — сказал он, взял Сергея под руку и ввел в соседнюю комнату, в глубине которой, за двумя карточными столами, сидело небольшое общество.

Сергей успел заметить полную женскую

фигуру, лица которой не было видно, так как она наклонилась в это время над столиком и записывала мелком, заметил рядом с нею толстого, неуклюжего человека; мелькнуло перед ним и третье лицо — худощавого молодого франта, небрежно развалившегося в кресле.

Франт поднял на вошедших свои темные, усталые глаза; как будто легкая усмешка промелькнула по мелким чертам лица его, а затем он тотчас же опустил глаза, тихонько зевнул и потянулся в кресле.

Нарышкин оставил Сергея, подошел к склонившейся над столиком даме, что-то шепнул ей. Сергей услышал ее приятный голос.

— Сейчас... сейчас!.. двадцать... пятьдесят... Лев Александрыч, садитесь, докончите за меня партию.

Дама бросила мелок, встала с кресла и сделала несколько шагов к Сергею.

Он увидел величественное, красивое и несколько строгое лицо императрицы. Складка между бровями особенно резко выделялась.

Он наклонил голову и сделал почтительный, глубокий поклон.

— Здравствуйте, рада вас видеть, — произнесла императрица, внимательно и ласково оглядывая стройную красивую фигуру юноши.

Он поднял на нее глаза.

Она приветливо улыбнулась. Эта улыбка мгновенно преобразила ее. Все лицо помолодело сразу на несколько лет, и от этой улыбки тотчас же исчезла робость, опять было явившаяся в Сергее.

— Поговорим, — сказала Екатерина, и так просто, так ласково, что ему стали понятны все восторженные о ней отзывы, которых он слышался.

Одной мимолетной улыбкой, одним словом она приворожила его к себе, как делала это почти со всеми.

Она подошла к широкому окну, куда он последовал за нею, присела на мраморный подоконник и, играя тяжелою кистью занавеса, стала его расспрашивать — благополучно ли он приехал, не случилось ли с ним чего дорогой, в добром ли здоровье оставил свою мать

и домашних.

Он начал отвечать ей, немного заикаясь и путаясь в словах, но скоро оправился. Ее улыбка вызывала улыбку и на его лице. Он совсем даже забыл, что перед ним императрица, он видел только в ней новую знакомую — любезную и милую. Он едва спохватился, что чересчур редко называл ее «ваше величество»...

А она все расспрашивала, да так, что поневоле приходилось отвечать не отрывистыми фразами, а распространяться, рассказывать.

Незаметно с русского языка разговор перешел на французский, коснулся литературы, наук.

Сергей не замечал, что это был ловкий и строгий экзамен, он понимал только, что надо воздерживаться от критики философских мнений и был на этот счет очень осторожен.

— И вы дальше Тамбова никуда из деревни не выезжали? — переспросила Екатерина.

— Это первая моя поездка, ваше величество, я до сих пор не могу прийти в себя, все кажется, будто сплю и во сне вижу.

Она весело рассмеялась.

— Вы очень счастливы, если видите наяву хорошие сны — это только и можно в ваши годы. Вы много учились и, как я вижу, учились под руководством хорошего наставника, faites lui mes compliments. Хорошие наставники в наше время большая редкость!.. Имея серьезную подготовку, я надеюсь, вы и впредь не будете пренебрегать полезными занятиями; учиться надо всю жизнь, я вот до сих пор учусь и все еще мало знаю. Но теперь вам пора уже приступить и к практической деятельности. Я подумаю об этом и у меня даже есть на ваш счет план... До свидания, веселитесь в Петербурге, мы скоро опять увидимся!..

Императрица милостиво кивнула головою и протянула Сергею свою маленькую, полную руку.

С чувством благодарности он поцеловал эту руку, откланялся и начал отступать к двери.

Ему было так легко, весело, он уносил с собою восторженное молодое почитание государыни.

А Екатерина снова подошла к своему креслу у карточного стола, и Нарышкин поднялся,

уступая ей место.

— Как мой птенчик? — спросил он.

— Как нельзя лучше, — улыбаясь ответила она, — и я даже охотно прощаю его покойному отцу, что он безвыездно держал его в деревне и там воспитывал. У него был, по-видимому, хороший учитель, и вообще, недоучкой нельзя его назвать, как многих его здешних сверстников... Послушайте, граф, — обратилась она к сидевшему рядом неуклюжему толстяку, — мне хотелось бы отдать молодого Горбатова в вашу школу; у него, насколько я могла заметить, есть наблюдательность, проблески живого ума, он говорит по-французски, как природный француз. Я пришлю его к вам, потолкуйте с ним и затем сообщите мне ваше о нем заключение.

— С особенною радостью исполню приказание ваше, государыня, — отвечал граф Безбородко, — у меня большая нужда в смышленных молодых людях, и я заранее знаю, что он мне пригодится.

— Ну, заранее, это зачем же, — перебила императрица, — может, я в нем и ошиблась.

— Не ошибаетесь, матушка, — с малорос-

сийским акцентом, лукаво и в то же время добродушно улыбаясь, сказал Безбородко, — не в первый ведь раз у того окошечка людей разглядываете, в полчаса каждого разглядите, немало тому примеров бывало — все мы знаем.

— А коли так, то тем и лучше, я и буду считать, что у меня в распоряжении новый дипломат Горбатов... Что же, выиграл ты, что ли, мою игру, Левушка? — обратилась она к Нарышкину.

— Проиграл, матушка, хоть казните на семь мест, проиграл и вконец осрамился.

— На сей раз казнить не стану, Бог с тобою, авось отыграюсь.

Екатерина взяла карты, взглянула на сидевшего против Безбородко, по другую ее сторону, молодого франта.

Он будто дремал, только время от времени взмахивая своими усталыми глазами и снова почти закрывая их.

— Что так рассеян, Александр Матвеевич? — спросила она, и тревога послышалась в ее голосе. — Или нездоровится?

Мамонов взглянул на нее, вышел из своего

полузабытья и тихим голосом произнес:

— Нездоровится, государыня, с утра что-то грудь давит; но это пустое — плохо ночь спал, вчера с вечера зачитался, высплюсь — и пройдет все.

Екатерина покачала головою, улыбка сбежала с лица ее, сильнее выступила складка между бровей. Она подавила в себе вздох.

— Начнемте же! — сказала она, обращаясь к партнерам.

XVII. У БЕЗБОРОДКО

На следующий день Сергей получил от гофмейстера и министра иностранных дел, графа Безбородко, официальное извещение. По желанию государыни он должен был к нему явиться в 10 часов утра.

— Serge, я положительно начинаю думать, что вы носите при себе какой-нибудь восточный талисман, — весело сказал Рено, узнав об этом, — я очень задумался, когда вы передали мне слова государыни, что у нее есть насчет вас планы... теперь эти планы ясны, вы, вероятно, будете служить в министерстве иностранных дел... понимаете ли, ведь все теперь от вас зависит, быть может, мы и Париж уви-

дим скоро!

Сергей радовался не менее своего воспитателя. Уже без тревоги и робости, навсегда его покинувших после свидания с императрицей, он отправился к Безбородко, роскошный дом которого помещался на Почтамтской, где и до сих пор существует.

В то время граф пользовался большою силою и влиянием на дела. Состояние его увеличивалось с каждым годом, и он употреблял его для доставления себе всех радостей жизни. Его дом спорил в роскоши с царским жилищем. Любитель искусств, он украсил его замечательными картинами, наполнил всевозможными редкостями, так что пространные приемные залы имели вид богатейшего музея.

Когда Сергей проведен был в приемную, он увидел в ней множество народу. Несколько должностных лиц, в звездах и лентах, составляли нарядную группу, вели между собою вполголоса оживленную беседу и, очевидно, старались держаться в стороне от просителей, разместившихся по всем углам.

Тут были люди различных состояний и

возрастов, старики и старухи, женщины с детьми, отставные военные, чиновники, но больше всех было приезжих в Петербург малороссов. Они ежедневно надоедали просьбами и делами своему знаменитому соотечественнику-графу, в котором почти всегда находили защитника и благодетеля. Множество прислуги бегало по комнатам; из канцелярии то и дело показывались и опять удалялись секретари Безбородки. К секретарям подходили некоторые посетители и посетительницы, униженно им кланялись, рассказывали о своих делах, давали почти на глазах у всех взятки.

Из внутренних комнат выходили разные графские жильцы. Вообще в доме не существовало, по-видимому, никакого этикета, и, несмотря на необыкновенную роскошь, не замечалось особенного порядка.

Прием в кабинете графа уже начался. Туда входили один за другим важные чиновники, и лица их у двери кабинета, как заметил Сергей, внезапно менялись: еще за минуту перед тем они держали гордо и высоко голову, глядели на толпу просителей с нескрываемым

презрением, едва отвечали на обращенные к ним поклоны, — входя же в кабинет, они сразу теряли всю свою важность, лица их принимали более или менее озабоченное выражение. Сергей с любопытством делал свои наблюдения; он никогда еще не видал такого разнообразного сборища. Он не замечал, как шло время. Но вот дежурный чиновник подошел к нему с неизменным и любезным «пожалуйста!»

Сергей очутился в большом кабинете, заставленном разнообразной мебелью, увешанном картинами не особенно скромного содержания, но зато принадлежавшими кисти более или менее знаменитых художников. Мягкая, удобная мебель показывала, что хозяин любит понежиться.

Он и теперь лежал у пылавшего камина в огромном бархатном кресле. Его прическа была помята, осыпавшаяся пудра покрывала воротник камзола, плохо натянутые чулки лежали складками на жирных ногах, на одном башмаке недоставало пряжки. Вообще, Безбородко производил впечатление заспанного и плохо умытого неряхи. Однако в некрасивом,

заплывшем жиром лице его Сергей подметил добродушную улыбку; живые глаза хитро глядели. Войдя, Сергей почтительно поклонился графу, а тот, не вставая, протянул ему руку и указал на кресло.

— Очень рад познакомиться, — сказал он, — присядьте; извините, что я вот так лежу... да что делать, не спалось, расклеился совсем. Вы вон какой свеженький, видно, ночь-то проспали хорошо, хотя это вам не много чести делает — молодым людям ночью вовсе не спать надо... ну, а я плохо спал... плохо!

Он потянулся, зевнул, зажмурил глаза и слабо улыбнулся какому-то своему собственному приятному воспоминанию.

Сергей сел в указанное ему кресло.

— Я получил извещение вашего сиятельства и поспешил явиться, — сказал он.

— Да, я вас потревожил по приказанию государыни; она довольна своим разговором с вами и поручила мне узнать, не желаете ли вы поступить на службу?

— Мне кажется, что мое желание в таком деле мало значит, — отвечал Сергей, — я могу очень желать служить; но вопрос в том, годен

ли я для службы, могу ли принести какую-нибудь пользу — сам я решить этот вопрос не в состоянии.

Безбородко улыбнулся и пристально поглядел на Сергея.

— Все это прекрасно! Так вы бы хотели так служить, чтобы приносить пользу?

Сергей поднял на него изумленные глаза.

— А то как же? Иначе я не понимаю службы, мне кажется, что ни один порядочный человек иначе и понимать ее не может.

— Казалось бы, что так, но большинство смотрит на службу государству только со стороны тех выгод, какие она приносит. Я очень рад, что вы держитесь иного взгляда. Стоит только хотеть, молодой человек, и пользу вы, конечно, принесете. Желаете служить у меня по иностранным делам?

— Я почти себя крайне счастливым, ваше сиятельство, и мне кажется, что это именно то дело, которое может увлечь меня.

— Так, стало быть, по рукам и пока об этом довольно; я сделаю нужные распоряжения, познакомлю вас с моей канцелярией, там в канцелярии я буду вашим начальником, но

здесь прошу вас считать меня только хозяином... Не забывайте меня, мой дом открыт для вас... Завтра вечером тут у меня пляс будет, пожалуйста!

Безбородко протянул Сергею свою жирную руку и вдруг совсем оживился.

— Вы, я слышал, еще и Петербурга не видали, так на первых порах веселитесь, молодой человек...

Сергей благодарил графа за его любезное приглашение и в то же время про себя удивлялся, как это все только и знают что советуют ему веселиться.

А Безбородко между тем спрашивал:

— Были в театре? Как понравились наши актеры, а главное, актрисы как понравились? В Петербурге столько хорошеньких женщин, ну, а где скажите, где можно встретить вот хоть такую?..

Он схватил с маленького столика, стоявшего у его кресла, миниатюрный портрет и передал его Сергею. Это была, действительно, замечательно хорошенькая головка очень молоденькой девушки.

— Что, хороша?.. Хороша?.. — спрашивал

Безбородко.

— Очень хороша, — отвечал Сергей, — если только художник не постарался прикрасить ее на портрете...

— Какое прикрасить!.. Она здесь хуже... Хуже, чем в натуре... О, эти глаза!.. Этот ротик!.. Нет, это такая девочка, какой я еще не видел!..

— Кто же она?

И, сказав это, Сергей смутился — может быть, не следовало спрашивать!

— Кто она?.. Да весь Петербург ее знает, и вы, конечно, скоро ее узнаете. Это актриса Каратыгина!.. Только что появилась на сцене и какой талант! Это чудо!.. Волшебница!

Куда девалась заспанность и обрюзглость Безбородки. Он вскочил с кресла, глаза его горели, он жестикулировал. Сергей с изумлением на него поглядывал. Видно, была права княгиня Пересветова, когда рассказывала свои анекдоты про графа Безбородку...

В это время у двери, ведущей в приемную, где дожидались просители, вдруг раздалось громкое зевание, потом топанье ног.

— Это еще что такое? — прислушиваясь,

сказал Безбородко. — Вы не заметили, много там народу?

— Очень много.

— И вот так каждый день, замучили меня совсем.

Опять раздалось топанье и даже ручка дверей зашевелилась.

— Нет, это любопытно! — воскликнул Безбородко, тихонько подошел до двери и неслышно приотворил ее.

Через минуту он обернулся и поманил к себе Сергея.

— А загляните-ка, — шепнул он, — вот так потеха!

Сергей взглянул в щелку. Некоторые из просителей уже ушли, очевидно, ограничившись объяснениями с секретарями, другие терпеливо дожидались, сидя у окон на стульях. Один только хохол в огромных сапожищах, с длинными усами и необыкновенно добродушным лицом ходил по комнате.

Сергей, дожидаясь в приемной, уже заметил этого хохла, который тогда с большим любопытством разглядывал картины, покрывавшие стены; теперь же он, видимо, пере-

смотрел все интересное и потерял всякое терпение дожидаться своей очереди. Его стала одолевать зевота, и он нисколько не стеснялся. Вот он еще раз подошел к двери, а потом вдруг остановился и сделал рукой по воздуху быстрое движение — он заметил муху. Раскрыл ладонь — муха вылетела.

— А от же поймаю! — сказал он и погнался за мухой.

Безбородко дернул Сергея за рукав.

— Ну, не потеха ли?

Он закрыл рот платком, чтобы громко не рассмеяться и продолжал глядеть в щелку. Между тем хохол все гонялся за мухой по всей комнате. Наконец муха села на огромную китайскую вазу.

Хохол, стараясь не стучать своими сапогами, подкрался — хлоп!

Ваза пошатнулась, с грохотом упала и разбилась вдребезги. Хохол выпустил пойманную муху, раскрыл рот, расставил руки и остался неподвижным. Просители вскочили в ужасе со своих мест, двое детей заплакали, некоторые поспешно убегали из приемной.

Безбородко распахнул двери и своей тяже-

лой походкой подошел к несчастному хохлу, но тот ничего не замечал и глядел как полумный на валявшиеся вокруг него куски дорогой вазы. Граф хлопнул его по плечу и, улыбаясь, ласковым голосом спросил:

— Чи поймав?

Хохол очнулся, понял, кто перед ним, и упал на колени перед графом.

— Да вставай, дурень, муху-то выпустил — вот обида! — уже громко смеясь, сказал граф. — Вставай, кто ты? чего тебе от меня треба?

Ободренный ласковым голосом и смехом вельможи, хохол поднялся на ноги и начал быстро излагать дело, приведшее его к графу.

— Постой минуту, — перебил его Безбородко, — да стой смирно, мух уже не лови — не поймаешь!

Он вернулся в кабинет, где дожидался его Сергей и сказал ему:

— Мой секретарь проводит вас в канцелярию, и через полчаса я сам там буду, а теперь этими надо заняться, ведь все равно не уйдут.

Сергей поклонился, все еще продолжая улыбаться от только что виденной сцены.

На звон колокольчика явился секретарь, а граф начал обходить просителей. Но он на этот раз был особенно рассеян; выслушивая разнообразные дела, слушал и не слышал и сейчас же забывал слышанное. Перед ним все мелькало хорошенькое лицо актрисы Каратыгиной.

— Не оставьте, не забудьте, — говорила ему просительница, — пристройте, ваше сиятельство, моих деточек!

— Не оставьте... не забудьте... пристройте моих деточек... — рассеянно твердил граф ее последние слова.

— Ваше сиятельство, да вы неравно забудете! — со слезами в голосе говорила озадаченная мать.

— Забуду, забуду!.. Будьте покойны! — ласково повторял он и шел дальше.

XVIII. СЛУЖБА

Прошло несколько недель, но Сергей не замечал времени. Опытность Ивана Ивановича, а главное, конечно, деньги превратили старый петербургский дом Горбатовых в роскошное жилище.

В обширных светлых сенях с утра и до

позднего вечера толпилась прислуга, широкая лестница покрылась дорогим ковром, парадные залы были отделаны заново, потолки украшены лепной работой, всюду наставлена золоченая мебель, обитая заграничным штофом. Скоро у подъезда начали останавливаться всевозможные экипажи. Сергею приходилось восстанавливать старые связи отца, выйти снова в сношения с близкими и дальними родственниками, принимать новых знакомых, которые нахлынули со всех сторон. И кроме этих приемов у себя, надо было посещать лучшие дома Петербурга.

У Сергея не было решительно ни минуты свободной. Сначала еще он задавал себе вопрос: как же тут служить, как найти время для занятий, если такая жизнь будет продолжаться? Но скоро этот вопрос перестал занимать его. Он видел, что все окружавшие его живут так же, как он, и что иначе и жить невозможно в Петербурге. По утрам он выбирал час-другой, чтобы побывать в канцелярии Безбородки, познакомиться с делами, со службой. Это знакомство оказалось очень легким, то есть, собственно говоря, его совсем и

не требовалось.

Сергею в первое время никак не удавалось понять, в чем же состоит его служба, какими делами он должен заниматься. Дела, очевидно, было много, потому что несколько десятков чиновников сидели за работой, спешно составляя и переписывая бумаги. Секретари то и дело отпраплялись с полными портфелями в кабинет Безбородки. Но когда Сергей обращался к кому-нибудь из чиновников с предложением помочь, с просьбой дать ему какое-нибудь занятие, — чиновники изумленно на него поглядывали и отвечали:

— Да вы не извольте беспокоиться, дел таких спешных нет — мы поспеем...

Сергей обращался к Безбородке, жалуясь ему на свое бездействие и прося у него работы. Граф с ласковой улыбкой его выслушивал, заводил с ним иногда живую, интересную беседу об отношениях России к иностранным державам, иногда давал ему составить на французском языке какую-нибудь незначительную бумагу. Такая работа не могла затруднять Сергея. Он очень легко излагал свои мысли и в особенности на французском языке.

ке.

Наконец, он начал понимать мало-помалу, что такое служба вообще и в чем должна заключаться в особенности его служба.

Нельзя было сказать, чтобы дело, во главе которого стоял граф Безбородко, шло плохо. Екатерина не делала ошибочных назначений и недаром вывела киевского семинариста Безбородку в государственные люди. Узнав его еще в 1775 году по рекомендации его прежнего начальника, Румянцева, и назначив его кабинет-секретарем для принятия челобитен, она была необыкновенно поражена его способностями и его феноменальной памятью. Он не только наизусть знал все законы, но знал даже на какой странице какой из них напечатан. Он умел налету схватывать мысли императрицы, разрабатывать их и облекать в надлежащую форму. И все это делалось у него живо, без всякого труда, без всякого усилия.

За такого человека надо было ухватиться обеими руками, и Екатерина, конечно, это сделала.

Бедный незначительный малоросс в ско-

ром времени был назначен сенатором, гофмейстером, министром иностранных дел. Но этого было мало. Екатерина любила широко награждать полезных ей людей. Богатые поместья с тысячами душ крестьян жаловались Безбородке. Вместе с важными чинами и графским титулом к нему пришло и огромное богатство. Он нисколько не изменился на высоте своего счастья. Он остался тем же самым добродушным, сластолюбивым, талантливым и ленивым человеком, каким был и прежде. Он работал, потому что работа давалась ему легко, но при первой же возможности переходил от горячей умственной деятельности к ничегонеделанию и ко всевозможным наслаждениям, которые он ловил жадно и ненасытно.

Разработав блестящий план, наложив на кипу бумаг, составленных в его канцелярии, свою талантливую руку мастера, он спешил успокоить глаза на какой-нибудь хорошей, только что купленной им картине или статуе, потом его ждал обильный, изысканный обед с тонкими винами, а вечер он обыкновенно проводил, если только не был зван к госуда-

рыне, в театре. Его ухаживания за хорошенькими актрисами, его закулисные шашни были известны всему городу. Говорили, и не без основания, что у него целый гарем, персонал которого часто меняется вследствие непостоянства графа. Наконец, иногда поздно вечером или чересчур рано утром, в то время, как можно было предполагать, что он предается спокойному сну, его встречали в самом простом и скромном костюме, с толстой палкой в руке, в таких местах, где важному сорокалетнему сановнику бывать совсем не подобало. Нередко граф даже слишком далеко заходил в своих любовных шалостях. На него являлись жалобы, достигавшие до слуха императрицы. Она не раз ему строго выговаривала, заступалась за обиженных им, но он оставался неисправим, и она поневоле должна была забывать слабости своего талантливого сподвижника.

Но далеко не на одни удовольствия и любовные похождения тратил Безбородко свои большие денежные средства. Всем было известно, как много добра он делал. Немало бедных и несчастных семей было обязано ему

своим благодеянием.

В обществе он являлся всегда живым, веселым собеседником, умел обращаться с людьми, щадить их слабости, не выставляться, не гордиться своим умственным превосходством. Таким образом, он достиг того, что на его месте достигается весьма редко — у него было не много врагов и завистников. Почти все его любили, и даже самые строгие судьи отдавали должное его талантам и познаниям и порицали только его лень да слабость, с которой он окружал себя самыми недостойными лицами. Эти лица, бесполезные и ровно ничего не делавшие, только ели и пили в его доме, но он никогда не мог от них избавиться и смотрел на них как на привычную мебель.

Служившие под его начальством делились на два разряда. Первый разряд составляла собственно его канцелярия и секретари. По большей части это были дельцы-работники, исполнявшие всю черновую работу, к которой граф не любил сам прикасаться. Почти всегда без всяких связей, без имени, часто не получившие никакого образования, эти люди

под руководством графа иногда вырабатывались в очень дельных и знающих чиновников, достигали мало-помалу довольно видного служебного положения. Большинство же, конечно, навсегда оставалось в черной работе, высоко не метило и понемногу устраивало свои делишки посредством взяток.

К другому разряду служивших у Безбородко принадлежали люди хороших фамилий, со связями и средствами, в число которых попал и Сергей Горбатов. Все это были будущие дипломаты-сановники. Они по самому происхождению своему и связям предназначались к блестящей карьере. Им не нужно было трудиться, проходить шаг за шагом ступеньки служебных лестниц, не нужно было пачкать своих изнеженных рук в черной работе. Если они обладали хорошими способностями и ясным умом, то школа Безбородки, конечно, приносила им пользу, и он без труда поднимал их на высоту, на которой они могли держаться с достоинством. Если же у них не было ни ума, ни способностей, они все же устраивали себе почетное, блестящее положение, стремились к различным синекурам и легко

получали их. Очень немногие и то вследствие каких-нибудь особенно неблагоприятных обстоятельств видели себя вынужденными покинуть государственную службу, но для этого нужна была феноменальная глупость или редкая незадача.

И вот Сергей скоро понял, или вернее, почувствовал все это. Он все реже и реже надал чиновникам-труженикам своими просьбами о работе. Он только старался вслушаться в разговоры Безбородки, вглядываться в его действия, яснее и красноречивее излагать те французские письма, составление которых поручал ему начальник.

В канцелярии он встречался и сближался с людьми, служившими на равных с ним условиях, с блестящими молодыми людьми, заранее предназначенными к занятию высоких должностей. Один из этих счастливцев, граф Сомонов, приходился Сергею кузенком, и между ними скоро завязалась дружба. Они стали почти неразлучны.

Граф Сомонов был на несколько лет старше Сергея и уже обладал достаточной опытностью и знанием света; к тому же он путе-

шествовал по Западной Европе, прожил более года в Париже. Сергей познакомил его с Рено, и Рено пришел в восторг от этого знакомства. Он увидел в молодом русском графе своего compatriote'a, плененного Парижем во всех отношениях. Сомонов с одинаковым энтузиазмом говорил и об удовольствиях Трианона, о любезности Марии-Антуанетты, и о веселой бульварной жизни, о шумных клубах, где подготавливалась революция, где воспитывались и вырабатывались самые видные ее деятели.

На Рено пахнуло родным воздухом, и он радовался, что Сергей сблизился с таким человеком, который не станет отвлекать его от их заветной мечты — попасть скорее в Париж.

Впрочем, теперь эта мечта на время почти позабылась. Сергею некогда было ни о чем думать — он только отдавался впечатлениям минуты, жил как в чаду, иногда по целым дням не виделся со своим воспитателем, переносясь из канцелярии Безбородки и его кабинета на званый обед, потом на вечер или в театр.

Молодое самолюбие Сергея било радостно тревогу. Его ведь встречали с распростертыми объятиями. Сколько милой душистой лести слышался он в эти несколько недель; сколько хорошеньких ручек пришлось ему держать в своей руке на балах, во время танцев, сколько милых глазок глядело на него с нескрываемой лаской. Иногда у него голова кружилась.

Он постоянно слышал от своих новых приятелей о различных любовных историях. Он подмечал на собраниях и балах их ухаживание за красивыми девушками. Ухаживание это тогда называлось почему-то «маханьем». Это была целая забавная наука, выработавшая свой собственный безмолвный и в то же время красноречивый язык цветов, бантиков, вееров и наклеивавшихся на лицо мушек...

Вот в ярко освещенной, наполненной нарядными гостями зале бродит молодой человек. Он едва скрывает свое волнение, очевидно, ждет кого-то. Наконец в дверях появляется молодая девушка в роскошном «панье», с целой башней, устроенной из напудренных волос на голове, с маленькой черной мушкой у

правого глаза.

Плохо скрываемая радость изображается на лице юноши. Он еще не успел обменяться поклоном с девушкой, не успел сказать ей ни одного слова, но ему этого пока и не надо, он издали видит маленькую черную мушку. И эта мушка говорит ему, чтобы он надеялся и что в контрдансе будет объяснение. Если же мушка оказалась бы под левым глазом, то это означало бы отказ от всякого объяснения и нежелание танцевать.

Маленькие милые комедии, начинавшиеся и кончавшиеся в течение нескольких дней, даже любовные драмы, так же скоро разыгрывавшиеся, проходили перед Сергеем. Он хорошо понимал, что и сам может быть в числе актеров. Его сердце вдруг начинало шибко стучать от какого-нибудь быстрого горячего взгляда. Он иногда чувствовал, как хорошенькая ручка, затянутая в перчатку, крепче, чем бы следовало, пожимает ему руку. Он и сам невольно отвечал на пожатие, но танец кончался, и он отходил в сторону, подавляя в себе вздох.

Ему делалось скучно, даже грустно; он

вспоминал свою Таню. Зачем ее нет здесь?! Вот было бы счастье!.. Было бы веселье!.. А теперь все же недостает чего-то... Даже многого... Недостает настоящей жизни...

Часто, возвращаясь домой, он находил у себя на столе письмо Тани. Она была верна своему обещанию — писала ему изо дня в день. Жадно читал и перечитывал Сергей эти письма. В них не было ничего особенного, не было ни страстных признаний, ни сентиментальных вздохов. Таня писала о своих занятиях, передавала ему содержание только что прочитанной ею книги, говорила ему о его матери и сестре, о его любимых лошадях, даже о погоде... Но о чем бы она ни писала, в каждом ее слове Сергей чувствовал всю ее нежность к нему, всю ее любовь. Он целовал эти письма и отдавался полузабытью, которое переносило его в присутствие милой девушки, рисовало ее в самых обаятельных красках. Это были сладкие грезы, но все же они скоро уходили. Оставалось чувство неудовлетворенности, тоски и скуки. А на следующий день наступали новые соблазны, били в глаза красота и молодость, горячие взгляды,

многообещающие улыбки...

Голова кружилась все больше и больше.

XIX. НОВОСЕЛЬЕ

Перед масленицей дом Сергея Горбатова был окончательно отделан; и он пригласил к себе на новоселье всех своих новых и старых знакомых. К этому времени из Горбатовского привезли в огромном количестве великолепную серебряную посуду. Марья Никитишна позаботилась также отправить сынку лучшие произведения своего домашнего хозяйства — удивительно откормленную живность всякого рода. Пир готовился на славу. Сергей видел, до какой роскоши дошла жизнь высшего петербургского общества, и не хотел ударить лицом в грязь. На его столе ничего не должно было красоваться, кроме чистого серебра и золота. Очень крупную сумму ассигновал он на самые дорогие иностранные вина.

Иван Иваныч всем распорядился и выказал большое понимание дела. Вообще он теперь был в самом лучшем настроении. Обстоятельства изменились. Молодой хозяин начинает жить по-модному — на большую ногу,

денег не жалеет и не знает им счету. И уж если при покойном Борисе Григорьевиче кое-когда удавалось нагреть руки, то теперь и по-давно немало прилипнет к рукам Ивана Иваныча и очутится в его кармане.

Моська тоже оживился и с большим интересом следил за приготовлением к пиршеству. Он помнил другие пирования в этом же доме и с жаром про них рассказывал своим приятелям из прислуги. Он то и дело входил в столовую, оглядывал огромный стол, устроенный «покоем», пересматривал каждый куверт, каждую тяжеловесную серебряную тарелку, украшенную гербом Горбатовых. Потом он взбирался на хоры, где уже музыканты настраивали свои инструменты. Он спрашивал, какие они будут играть пьесы, похваливал те, которые прежде игрывались во время больших обедов и подсмеивался над незнанием музыкантов, когда они говорили ему, что про его пьесы они никогда даже не слыхивали.

Вот и гости стали съезжаться — вся петербургская блестящая молодежь, военные и статские франты. Никто не отказался от при-

глашения любезного хозяина. Этого мало — граф Сомонов, заботясь о том, чтобы новоселье его нового друга было шумно и весело, просил у него разрешения привезти нескольких приличных молодых людей, по большей части гвардейских офицеров, которые еще не имели удовольствия познакомиться с Сергеем Борисовичем, но очень желали как можно скорее получить это удовольствие. Конечно, Сергей охотно дал свое согласие. Он встречал всех крайне любезно и в то же время с тем изящным достоинством, которое было у него врожденным.

Между представленными ему Сомоновым молодыми людьми один поразил его своею красотою. Это был офицер, совсем почти еще мальчик, стройный, ловкий во всех движениях, с тонкими чертами лица, с нежным румянцем и великолепными глазами. Но, несмотря на свою редкую красоту, этот юноша с первой же минуты, произвел на Сергея довольно неприятное впечатление. Он чересчур уже приторно, почти подобострастно сказал ему что-то «о счастье удостоиться подобного знакомства».

Сергей не расслышал его имени и, улучив удобную минуту, спросил о нем у Сомонова.

— *Pas grande chose*, — отвечал тот с полупрезрительной, но в то же время и снисходительной улыбкой, — бедный офицерик, счастливый тем, что попал в гвардию, его зовут Платон Зубов. *Il n'a pas beaucoup d'esprit, mais au fond c'est un bon diable...* Иногда бывает забавен... Мы ему часто даем кой-какие поручения, и он всегда охотно их исполняет... А что? Ты, может быть, недоволен тем, что я привез его, в таком случае прости, пожалуйста!.. Но он так просил, так умолял, что я не в силах был отказать ему.

— Ах, Бог с тобой! — отвечал Сергей, — напротив, я очень рад, и твоя рекомендация для каждого достаточна, чтобы быть у меня дорогим гостем. Я спрашиваю о нем просто, чтобы знать, кто он, он, такой красавец.

— Да, красавец! — повторил Сомонов с легкой усмешкой, — и, кажется, на красоту-то свою он, главным образом, и надеется...

Широкие двери столовой распахнулись; с хор грянула музыка; многочисленные веселые гости стали размещаться к столу без чи-

нов — какие чины могли быть между молодежью?

Хорошенький Зубов, даже покраснев от волнения, употребил все старания, чтобы оказаться за столом рядом с хозяином, но это все же не удалось ему — его оттерли. Тогда он поспешно обошел и захватил себе место как раз напротив Сергея. Он внимательным и жадным взором оглядел обширную комнату, стены которой были заставлены шкафами с дорогой серебряной и фарфоровой саксонской посудой. Он с удовольствием поглядывал на нарядную прислугу, разносившую кушанья.

Но скоро он почти позабыл даже о вкусных кушаньях и винах, найдя себе другую заботу. Он почти не спускал глаз с Сергея, заговаривал с ним при первой возможности ласковым и вкрадчивым голосом, старался передавать ему то бутылку, то тарелку, одним словом, ухаживал за ним, как за хорошенькой женщиной. И он достиг своей цели. Излишняя его предупредительность и заискивающий тон перестали смущать Сергея: он увидел в нем только любезного и милого мальчика.

Обед шел своим чередом. Гости кушали с аппетитом. Молодое общество, сначала несколько сдержанное, под влиянием вина стало все более и более оживляться, послышался смех, веселые шутки и, наконец, что совершенно неизбежно в холостой компании, не особенно скромные анекдоты и разговоры. Говорили, по большей части, по-французски, и Рено мог делать свои наблюдения. Хорошо изучив лицо Сергея, он мог читать на нем его мысли; он видел, как его воспитанник краснеет при некоторых словах, как какой-нибудь чересчур нескромный рассказ возбуждает в нем неловкость и чувство гадливости.

«Ведь вот, — думал он, всматриваясь в то же время в другое, еще более молодое, почти детское лицо Зубова, — вот этот мальчик совсем иначе ко всему относится, хотя сам и не говорит ничего, но зато внимательно и с видимым удовольствием слушает. Все эти рассказы в его вкусе, он понимает соль их, он, верно, сам уже прошел через многое... Да и все они так еще молоды, а между тем такая ранняя опытность! Нет, прав был старик Горбатов, что выдержал его в деревне; тут нельзя

было бы избежать товарищества, а при таком товариществе вряд ли я, несмотря на все мои старания, что-нибудь сделал бы, я бы не уберег его... А теперь вот уберег до двадцати трех лет. Теперь он на ногах и не споткнется... Хорошая натура! Но любопытно — измена нашей милой фее? А уж будет измена, и ничего, пусть узнает жизнь... И ведь, конечно, сам же придет и мне все расскажет, а это главное...»

Веселый говор все усиливался. Различные вина производили свое действие. Красивый широкоплечий молодой офицер, князь Бабищев, сидевший рядом с Сомоновым, вдруг обратился к Сергею:

— Любезный хозяин, вы подумали решительно обо всем, что может усладить желудок ваших гостей, но позвольте сказать вам, что самой важной вещи все же недостает на нашем пиршестве...

— Сделайте одолжение, скажите, что такое? — быстро спросил Сергей, несколько смущенный таким замечанием и не понимая, о чем он не позаботился. — Скажите, и если только в моей власти исправить ошибку, я тотчас же это сделаю.

— Увы, Сергей Борисыч, ошибка неисправима. Для нашего полного благополучия недостает веселых соседок, и чем вкуснее ваш обед, чем превосходнее вина, тем этот недостаток ощущается все больше и больше, и я уверен, что все со мной согласны.

— Да, да, конечно! Самый лучший обед теряют без хорошеньких женщин, — разом отвечали многие.

— Ну господа, в этом вините меня главным образом, — сказал Сомонов, — мой кузен новичок и в Петербурге, и в жизни, я должен был подать ему мысль пригласить всех нас с нашими приятельницами, тогда, действительно, было бы очень весело...

Губы Сергея нервно вздрогнули, и на мгновение блеснули глаза его.

Рено под столом потер себе руки, не отрываясь глядя на своего воспитанника.

— С вашими приятельницами? — сказал Сергей. — У каждого из вас, конечно, могут быть приятельницы среди хорошеньких женщин, но дело в том, что ни одна благовоспитанная и порядочная женщина не приняла бы приглашения незнакомого ей молодого

человека, у которого нет в доме хозяйки. Если же вы говорите о таких приятельницах, которые бы не затруднились присутствовать на моем обеде, то как бы они ни были красивы, милы и любезны, я не хотел бы их видеть там, где когда-нибудь будет хозяйкой будущая жена моя, где и теперь, хоть и отсутствующая, хозяйка — моя мать, и где, может быть, мне суждено, при другой обстановке, принимать ваших жен и сестер, господа!

Рено продолжал под столом потирать руки.

Веселое общество смолкло. Некоторые почувствовали себя неловко.

Рено услышал несколько таких фраз:

«Dieu, qu'il est naïf!.. Да это сущий ребенок — и такой же гордец, каким был, говорят, и старик его...»

Некоторые даже вздумали немного обидеться. Но Сергей так добродушно глядел на всех, что неприятное впечатление было скоро забыто. Один только князь Бабищев, поднявший вопрос, сидел молча, как бы что-то обдумывая. Потом он наклонился к своему соседу, Сомонову, и шепнул ему:

— Однако, mon cher, твоему кузену нужно отплатить за его урок и тон проповедника. И если правда, что он прожил до сих пор в монашеской келье, то ему непременно нужно показать что-нибудь другое.

— Я и сам об этом давно подумывал, — также шепотом ответил ему Сомонов. — А уж сегодня, после того, как он вздумал нас сконфузить, конечно, я постараюсь проучить его. Он милый малый, и из него должен выйти прок. Я тебя уверяю, что завтра мы хорошо посмеемся над его благочестием и что не позже как через неделю он будет нас угощать здесь в веселом женском обществе...

Они еще пошептались немного, и затем Сомонов встал со своего места, подошел к Зубову и сказал ему:

— Поменяемся, братец, местами.

Тот изумленно взглянул на него; но Сомонов тихонько толкнул его ногой, делая глазами едва заметный знак. Зубов понял и поспешно встал. Сомонов уселся против Сергея.

— Cher cousin! — сказал он, — мне кажется, ты на меня рассердился?

— Нисколько! — ответил Сергей.

— Нет, право, я уж по глазам твоим вижу.

— Да, уверяю тебя, что нет... и мне решительно не за что быть на тебя в претензии. Напротив, может быть, кто-нибудь нашел мои слова резкими, и в таком случае я прошу извинения, хотя иначе говорить не мог...

— А коли так, то и довольно! — весело вскричал Сомонов. И да будет все забыто! Чокнемся! Только смотри, до дна выпьем за нашу дружбу.

Он налил Сергею полный стакан крепкого вина и чокнулся с ним, повторяя:

— Да смотри, разом и до дна!..

Сергей выпил.

Он не привык к вину, а теперь, с самого начала обеда, должен был попробовать то то, то другое. Этот стакан разом на него подействовал. В голове приятно зашумело, беспричинная радость вдруг охватила его, и он почувствовал ко всем такое искреннее душевное расположение. А тут и веселый князь Бабищев вдруг очутился с ним рядом и подставил ему свой стакан, прося и с ним чокнуться, чтобы не оставлять никаких недоразумений. Сомонов опять налил Сергею и опять заста-

вил его до дна выпить.

Весь конец обеда прошел как в тумане. Разговор начал сливаться, Сергей сам говорил много, но что, для чего — уже не соображал. А тосты следовали за тостами, он пил не разбирая, без всякого вкуса.

Рено еще мог бы остановить его, но и он не воздержался. И молодые люди сумели заставить его столько выпить, что он теперь совсем сонный, положив локти на стол и подперев руками голову, бормотал что-то и глядел на всех странными глазами. Наконец, голова его совсем покачнулась, — он захрапел.

— Ну, этого уложили!.. Это самое важное! — перешепнулись заговорщики. — Он бы еще помешал, пожалуй. Теперь не нужно только терять времени.

Обед был наконец кончен. Музыка продолжала играть на хорах, но никто уже ее не слушал. Велись беспорядочные речи, многие хотели встать со своих мест и не могли. Обед продолжался часов около пяти, и последствия этого должны же были сказаться.

Сомонов и князь Бабищев, обняв едва державшегося на ногах Сергея, уговаривали его

проехаться.

— Посмотри, какой славный вечер... у тебя сразу голова освежится, и потом мы покажем тебе такое чудо, какого ты еще в жизни не видывал.

— Прокатиться?! Да едемте, едемте хоть на край света, — радостно говорил Сергей. — Здесь так душно... на воздух!.. И... да, покажите мне что-нибудь необыкновенное... что-нибудь чудесное!..

В это время к ним подошел Зубов. Он совсем не был пьян. Вообще он немного пил за обедом, да и вино на него мало действовало.

— Голубчик, граф, — шепнул он Сомонову, — возьмите меня с собой.

— Да ты знаешь ли, Платошка, куда мы едем?

— Знаю, знаю, все слышал...

— Дурень, ну куда тебе, только лопнешь от зависти — не по твоему карману...

— Да мне хоть одним глазком взглянуть!.. Возьмите, сделайте милость!!! Ну, может, там понадобится, неравно Сергею Борисычу не совсем хорошо будет, так ведь я, знаете, граф, я очень сильный, я один могу снести его! Бла-

годетель, возьмите!..

— Ах ты, вечная попрошайка!.. Ну, пожалуй, только знаешь, в санях-то и нам троим едва-едва места будет, так тебе разве на облучке?

— Я и на облучке доеду.

— Ладно...

Через несколько минут Сергей, поддерживаемый приятелями и в сопровождении хорошенького Зубова, почти ничего не видя, сходил со своей парадной лестницы.

У подъезда дожидалась лихая тройка.

Молодые люди уселись в сани. Зубов пригнулся рядом с кучером на облучке. Сомонов крикнул «в Коломну!»

Тройка помчалась как стрела по смолкающим улицам.

XX. ФАРАОНКА

Куда он едет? Об этом Сергей не думал, да и вообще в нем не было никакой мысли — было одно только странное, новое ощущение, какого он до сих пор никогда не испытывал.

Морозный воздух несколько освежил его, то есть выбил из его похмелья все неприятное и тяжелое, оставил легкий туман и широ-

кое чувство веселья, радости, порывания вперед.

Сани мчались. Ему казалось, что он скользит в пропасть. Дома, улицы, слабо мигавшие фонари — все это спускалось ниже и ниже, вертелось и прыгало, наступало одно на другое. Сердце то замирало, то начинало шибко биться. По членам пробегал огонь. Хотелось движенья, но не обычного движенья, а полета.

И вот Сергею казалось, что ему стоит приподняться на воздух, и он полетит в сверкающую холодную мглу, расстилавшуюся перед его глазами.

Он, действительно, приподнялся в санях и хотел было лететь, но товарищи вовремя его удержали.

Между тем сани уже скользили по пустым, темным улицам тогдашней Коломны. Мимо тянулись пустыри, полуразвалившиеся заборы, сады, остатки еще не высохших болот. Только местами возвышались и мигали призывными огоньками домики, по большей части деревянные и одноэтажные.

Сани остановились у запертых наглухо во-

рот.

— Ну, Платоша! — крикнул Сомонов, — ступай на разведку.

Зубов как резиновый мячик слетел с облучка, подпрыгнул и побежал к воротам.

— Заперты! — крикнул он.

— Известное дело — заперты! А ты вот силой хвалился — выбей калитку, чего тут, не дожидаться же!

Зубов попробовал. Но сила его оказалась недостаточной.

— Эх ты, хвастунишка! — презрительно проговорил князь Бабищев, вышел из саней, хватил раз, другой, а на третий уж не пришлось — калитка с треском и визгом распахнулась и повисла на одной петле.

Сомонов вывел Сергея, который, может быть, хорошо бы полетел, потому что ходить почти разучился — его так и покачивало во все стороны.

Разогнав собак, с громким лаем кинувшихся из глубины двора, молодые люди направились к домику, выглядывавшему из-за обледневших деревьев.

Все ставни были заперты. За исключени-

ем собачьего лая, тишина кругом стояла невозмутимая.

— А что если, как на смех, ее дома нету? — проговорил Сомонов.

— Нет, дома, граф, дома, наверно! — забегая вперед уверял Зубов. — Вон взгляните — с той стороны, там щелка у ставни и вон свет виден. Наверное, дома, а коли и нету, то не беда — я на сей случай придумал.

— Да много ты придумал! Уж молчи лучше да постучись-ка в двери.

Зубов взбежал по скользким ступенькам крыльца и стал стучать.

— Где мы? Что это такое? — несколько приходя в себя, спросил Сергей.

— А чудо-то обещали показать — забыл, что ли? Тут вот самое это чудо и заперто.

И с замиранием сердца он начал ждать чего-нибудь, действительно чудесного.

Двери приотворились, выглянула чья-то голова, которую трудно было разглядеть во тьме.

— Дома? — спросил Зубов.

— А вы кто такие? Чего вам? — вместо ответа послышался довольно грубый женский

ГОЛОС.

Сомонов поднялся на крыльцо.

— Али не узнала, Матрена Кузминишна? Свои, не бойся...

Наклонившись к ней, он шепнул:

— Такого золотого фазанчика привезли, что останешься довольна... Дома, что ли? Да впускай поскорее.

— Дома-то, дома, а уж не знаю как и сказать вам, впустить ли. Вишь ты, с утра головка болит, весь день в постели, да и теперь тоже... Не вы первые — уж раза три наведывались после вечерни, да как приехали, так и отъехали.

— Впускай, впускай, Божья старушка, там сами уговаривать будем.

Он что-то вынул из кармана и сунул в руку женщины. Та сняла крепкую цепь и отворила дверь.

Этот домик, насколько позволяла его различать вечерняя мгла, был очень неказист с виду. Но, пройдя маленькие сени, где молодые люди сбросили с себя шубы, они очутились в просторной, причудливо и роскошно убранной комнате, освещенной бледно-голу-

бым, висевшим посреди потолка, фонариком.

Пол и все стены были покрыты мягкими и пушистыми коврами самых ярких узоров. Восточные диваны с бесчисленным количеством разноцветных подушек, расставлены вдоль стен. Окна скрывались за тяжелыми шелковыми занавесками. По комнатам носился аромат какого-то пряного, раздражающего куренья. Двери были так закрыты коврами и задрапированы, что их совсем не было видно.

— Где мы? — изумленно спрашивал Сергей своих спутников, спускаясь на мягкие подушки шелкового дивана.

— Во сне! — улыбаясь отвечал Сомонов.

— Во сне? — повторил Сергей.

Ему вспомнились те чудесные сказки, которые бывало, в годы детства, рассказывал ему карлик. Тогда горячая детская фантазия превращала каждую фразу в роскошную картину, заставляла переноситься всецело в фантастический мир и забывать о действительности.

Точно так же и теперь действительность была забыта. Причудливая, странная комна-

та, озаряемая голубоватым, как бы лунным светом, мало-помалу теряла в глазах Сергея всю свою осязательность.

Разноцветные узоры ковров мелькали, то и дело изменяясь. Он недвижно сидел, то открывая, то закрывая глаза, вдыхая в себя теплый ароматный воздух и ожидая чего-то более чудесного.

Он не заметил, как Сомонов скрылся, как Бабищев и Зубов развалились на подушках в глубине комнаты и тихонько шептались, пересмеиваясь и по временам на него взглядывая.

Вот где-то вблизи послышались тихие музыкальные звуки. Какой-то голос, неземной голос, примешался скоро к этим звукам, то поднимаясь и перехватывая одну за другою чистые серебристые нотки, то вдруг падая и почти замирая.

Что это за музыка? Что это за пение?

Он ждал — вдруг тихо-тихо колыхнулась шелковая занавеска, и перед ним предстало видение.

Такой обольстительной, такой совершенной красоты он никогда еще не видывал. В

первую минуту он даже зажмурил глаза, будто ослепленный. И когда он открыл их, то увидел, что видение не исчезло. Чудная красавица стояла перед ним, в двух шагах от него, и глядела прямо в глаза ему своими огненными прекрасными глазами.

Это была настоящая красавица, такая, какую можно встретить только раз в жизни. И при этом в ее красоте, во всей ее фигуре, в ее странном наряде не было ничего обычного и знакомого. В ней все поражало, начиная с блестящих черных волос, заплетенных в длинные косы и перевитых жемчужными нитями. Нежное и молодое лицо с самым мягким овалом было бледно, но не болезненной бледностью — матовой белизной мрамора. Большие глубокие глаза так и горели из-за длинных ресниц, изливая потоки странного света. Тонкие ноздри небольшого правильного носа были несколько раскрыты, точно так же, как и полные горячие губы, из-за которых виднелся ряд ослепительных своей белизною и ровностью зубов. Она была высока и стройна, и вся прелесть ее роскошных форм не могла скрыться от пораженного глаза: на ней бы-

ло надето что-то вроде древнегреческой тунки из легкой шерстяной материи. Полная шея, высокий бюст, плечи и руки были открыты. Из-под мягких складок не достигавшей до полу тунки виднелись маленькие ножки в атласных узких туфлях.

Чем больше глядел на нее Сергей, тем больше убеждался, что все это во сне или что перед ним совершается самая волшебная сказка.

А она подошла к нему еще ближе, нагнулась, звеня подвесками длинных серег, сверкая золотом и разноцветными камнями браслетов, обхватывавших у кисти и выше локтя ее полные руки. Его обожгло ее горячее дыхание. С замирающим сердцем он приподнялся с дивана и кинулся было к ней, но она его отстранила, и он опять упал на подушки, не отрываясь на нее глядя.

Она прилегла на диван в грациозной и кокетливой позе, еще более выказывавшей всю красоту ее, и взяла из рук Сомонова какой-то инструмент вроде гитары.

Снова раздались тихие звуки, которые слышались несколько минут тому назад. Она

медленно перебирала струны тонкими пальцами и вдруг запела.

Сергей жадно слушал. Голова его опять начинала кружиться, сердце безумно стучало, он весь, всей душой ушел в эти странные, могучие звуки.

Это была страстная, безумная песня, говорившая о какой-то безумной любви, требовавшая огненных поцелуев, томленья и муки.

И новая любовь, про которую она пела, загоралась в Сергее и жгла его, принося мучительную отраду, блаженное мученье. Это была не та нежная, светлая любовь, какую он чувствовал наяву, в другие волшебные минуты, на берегу Знаменского озера. Эта новая любовь доводила до бешенства, до отчаяния, до сумасшествия...

Но он оставался недвижим и все слушал. А песня лилась, и слышался в ней то безумный хохот, то горькие слезы, то мольбы, то проклятия. Голос певицы, причудливый и капризный, как и эта мелодия, быстро доходя до самых чистых и высоких ноток, вдруг будто надрывался и падал. И она уже не пела: это был хохот, это был звон колокольчиков ли-

хой тройки, взвизгивание удалого ямщика, скрип полозьев по крепкому снегу... И потом вдруг опять откуда-то доносящаяся тихая мольба о пощаде, и опять поднимались все выше и выше серебристые звуки, и опять закипали горячие слезы...

Сергей уже не мог больше выдержать. Он бросился к ней, к этой волшебнице, упал перед ней на колени. Рыдания, долго собиравшиеся в груди его, вырвались наконец наружу, и он как сумасшедший рыдал, захлебываясь на ее коленях.

Его товарищи даже испугались, засуетились, подняли его почти бесчувственного, намочили его горящую голову и виски водою, дали ему нюхать спирту.

Он очнулся, открыл глаза, изумленно глядя кругом, и мало-помалу начал приходить в себя. Теперь опьянение прошло, сознание вернулось, он чувствовал, что не спит и не грезит. Он вспомнил все, вспомнил, что веселые товарищи увезли его и обещали показать ему чудо.

Так вот это чудо!

Но жарко натопленная и надушенная ку-

ренъем комната уже не казалась ему волшебным жилищем сказочной царевны. Да и сама эта царевна перестала быть видением, хотя красота ее от этого ничего не утратила. Сергей и теперь не мог оторваться от этой соблазнительной женщины, но только он уже начал подмечать в ней такие черты, которые уменьшили силу ее соблазна. Она уже не пела, она громким и резким голосом разговаривала с Сомоновым и Бабищевым, смеялась. Они ловили ее руки, старались поцеловать ее. Она отбивалась; но Сергей сразу видел, что это была только игра и что она привыкла к поцелуям.

Он огляделся и заметил Зубова, который сидел поодаль и жадно смотрел на красавицу. Он подошел к нему и тихонько спросил:

— Кто она такая? Полно же морочить... Скажите всю правду...

Зубов боязливо взглянул на товарищев, но видя, что они очень заняты красавицей и мало обращают на него внимания, зашептал:

— Кто?! А вы разве не знаете?! Ведь это фараонка...

— Какая фараонка?!

— А цыганка, Маша-цыганка! Ее все знают... красавицы такой во всем Петербурге нету. А поет как — ну да вы сами слышали... Ее вот уж больше году граф Безбородко из Москвы вывез: только, видно, скоро надоели ее песни, а то и сама она вырвалась — ведь он их за замками держит, никому не показывается...

Сергей узнал голос Зубова.

— Где моя шуба? Помогите отыскать, дайте уйти мне...

— И вы взаправду? От такой-то красавицы?.. Вот, человеку счастье, а он бежит! Да кабы у меня было рублей хоть пятьсот в кармане, так я бы почел себя в магометовом раю!..

Зубов чуть не плакал.

Сергей вынул из кармана туго набитый кошелек.

— Вот... тут больше чем пятьсот рублей... возьмите, когда-нибудь сочтемся, только, ради Бога, помогите мне отсюда выбраться.

Прошло несколько мгновений. Зубов стоял неподвижно; потом вздохнул всей грудью, поймал руку Сергея и схватил кошелек.

— Спасибо... При первой же возможности

верну вам и вовек не забуду вашу доброту и эту услугу; ах, Сергей Борисыч, ах, как я вам благодарен!

Он засуетился в темноте.

— Вот, вот ваша шуба... а тут и дверь, позвольте, я вам открою...

Но в это мгновение Сомонов и Бабищев показались в сенях со свечой. Сергей уже держал нараспашку наружные двери.

— Это что? — в один голос закричали приятели. — Бежать! Да ты с ума сошел?! Зубов, дурень, как же это ты смел его выпустить!

Они кинулись к Сергею; но тот уже сбежал со ступенек крыльца.

— Прошу оставить меня, все равно не вернусь, а вы без шуб только себя простудите! — крикнул он.

— Да Бог с тобой, коли так! Силой держать не будем... Только ты тройку-то не забудь прислать обратно!

— Не забуду.

Он выбежал за ворота, сел в сани. Застоявшаяся тройка помчала его вихрем.

Дома было все тихо. Гости давно разъехались, а тех, кто не в силах был ехать, Иван

Иваныч уложил в заранее предусмотрительно приготовленные постели. Рено тоже спал как убитый.

Сергей прошел к себе, разделся, затушил свечи. Но заснуть он долго не мог. Он грезил о Тане, он рвался к ней. В эту бессонную ночь он был безумно влюблен в нее.

XXI. МАСКАРАД

Карьера Сергея начинала устраиваться. Императрица сказала ему при первом представлении: «До свидания, мы скоро увидимся!» И эти слова были многозначительны. Она не забывала своих обещаний, не любила возбуждать надежд, которым не суждено было осуществиться. Сергей скоро был пожалован в камер-юнкеры и, таким образом, получил возможность часто бывать во дворце и попадаться на глаза императрице.

Петербург был в большом оживлении по случаю возвращения очаковского победителя, Потемкина. Балы сменялись балами. Екатерина, здоровье которой поправилось, находилась в самом лучшем настроении духа и не только являлась любезной и веселой хозяйкой в своем Эрмитаже, но и посещала собра-

ния у некоторых из близких ей лиц. Между прочим, она обещала быть и на великолепном маскараде, который устраивал Лев Александрович Нарышкин.

Маскарад этот был назначен именно в тот день, когда Сергей узнал о пожаловании ему придворного звания. Он с особенным удовольствием и оживлением готовился к маскараду. С помощью Рено он придумал себе костюм, который чрезвычайно шел к нему и в то же время отличался крайней простотой. Грациозный черный берет на голове, волосы по плечам, широкий кружевной воротник, бархатный короткий камзол, весь в атласных прорезах и подпоясанный широким поясом, обтянутые в черное трико ноги, башмаки с длинными, несколько загибающимися носками, небольшая красивая шпага и поверх всего черный плащ, грациозно драпирующий стройную фигуру. Одним словом, что-то вроде средневекового художника или ученого.

Сергей знал, что к маскараду Льва Александровича готовятся самые роскошные костюмы, знал, что его сверстники будут сиять не только настоящими, но и поддельными

бриллиантами, и потому он не сомневался, что в пестрой сверкающей толпе его черный, изящный костюм непременно обратит на себя внимание. Выставлять же напоказ свои бриллианты ему не было необходимости — пусть это делают те, у кого их мало, кто должен целый день бегать, чтобы добыть их напрокат у разных тетушек и кузин, даже у родственников. Ему этого не нужно, потому что его богатство всем известно, и известно также, какую редкую коллекцию драгоценностей наследовал он от отца.

И он был прав. Его появление было тотчас же замечено в залах Нарышкина, наполненных разнообразно, причудливо костюмированными гостями. Музыка уже играла с хоров. Живая, веселая толпа масок двигалась из залы в залу, пересмеиваясь, переговариваясь, стараясь узнать друг друга. Прелестные женские фигуры, лица которых под маленькими масками казались еще заманчивее, мелькали мимо Сергея, порою обжигая его своими таинственными взглядами. То там, то здесь появлялся на мгновение и исчезал веселый хозяин, не утерпевший, чтобы для начала маска-

рада не закостюмироваться волшебником Мерлином, но только без маски.

Однако полного оживления еще не было: никто еще не решался вполне отдаться веселью, все то и дело останавливались и посматривали на двери, в которые должны были войти высокие гости.

Императрица не заставила себя ждать. Там, где не требовалось обязательного этикета, она не любила церемоний, к тому же она привыкла рано ложиться спать и для того, чтобы воспользоваться приятным вечером, раньше его начинала.

Она появилась в сопровождении Анны Никитишны Нарышкиной, сияющая величием, и прошла через залы, отвечая милостивым наклонением головы и легкими улыбками на почтительные поклоны столпившихся гостей.

Когда-то, в молодые годы, Екатерина страстно любила маскарады; уже будучи императрицей, она появлялась на них никем не узнаваемая, не только в маске, но часто и в мужском костюме. Никто как она не умел придумать смешную мистификацию, и нема-

ло забавных приключений хранила ее память. И теперь еще любила она причудливую, веселую атмосферу маскарада, но годы были уже не те, не шли на ум мистификации — привлекал к себе зеленый столик с картами, кружок обычных любимых партнеров. Только между игрою выходила она на несколько минут в залу, с удовольствием глядела на оживление и веселость танцующей молодежи, на ходу раздавала свои приветливые улыбки, ласковые слова, остроумные замечания.

Ее присутствие никого не смущало, она обладала редким талантом — ничего не утрачивая из своего величия, не только не нарушать всеобщей веселости и свободы, но даже увеличивать их своим присутствием.

Вслед за императрицей между замаскированными оказалась новая высокая мужская фигура, появление которой было встречено заметным шепотом.

Новый гость был замаскирован средневековым миннезингером, с какою-то лютней через плечо. Костюм его, в общем, походил на костюм Сергея, только был совсем не выдер-

жан: черный бархатный камзол, которого не скрывал на одно плечо накинутый плащ, был весь в ярких атласных прорезах; пряжка пояса сверкала крупными бриллиантами; такие же бриллианты чистейшей воды и высокого достоинства красовались на руках, на груди и на башмаках.

«Мамонов!..» — послышалось Сергею.

Но ему уже некогда было дальше вслушиваться. К тому же все вдруг присмирели и смолкли.

У дверей залы показалась грузная и величественная фигура светлейшего князя Потемкина. Целая свита важных сановников и приближенных к нему лиц сопровождала его. Он медленной, ленивой походкой подвигался, едва замечая обращенные к нему поклоны, едва отвечая на них легким движением головы. Полное равнодушие, почти апатия, изображалось на его красивом, уже значительно обрюзгшем лице, на котором трудно было заметить отсутствие одного глаза — так он был хорошо подделан. Было очевидно, что ему нет ни до кого дела, что нет ровно ничего общего между ним и этой пестрой толпой. А между

тем его появление сразу останавливало молодой смех, сразу налагало печать принужденности и боязливой оглядки всюду, где проходил он.

Сергей уже два раза видел мельком очковского героя, но еще не был ему представлен. Он уже успел освободиться от своей юношеской робости и чувствовал себя теперь везде и со всеми свободно и непринужденно. И тем с большим изумлением он заметил, что появление Потемкина и его заставило почти вздрогнуть, быстро попятиться и оглядеться.

Но вот светлейший прошел в гостиную, где находилась императрица.

Маски снова оживились, слышался смех, шутки, веселые разговоры. Примолкнувшие было звуки музыки опять полились с хоров. Разноцветная толпа начала разделяться на пары, приготавлиаясь к танцам.

На этот раз, как это часто делалось в маскарадах, было объявлено, что для первого танца дамы выбирают себе кавалеров.

К Сергею грациозно подбежала прелестная пастушка и взяла его за руку.

— Хотя ты поэт или художник, — сказала

она, видимо, изменяя свой голос, — и, может быть, думаешь теперь об Италии или слагаешь чудные стансы в честь дамы твоего сердца, но все же позволь оторвать тебя от твоих мечтаний — не откажи протанцевать контрданс с бедной пастушкой!..

— Благодарю тебя, прелестная пастушка, — живо отвечал Сергей, — я вовсе не думал об Италии и не слагал стансов, а думал о том, как досадно, что я не могу сам себе выбрать дамы для контрданса...

— Кого же ты хотел выбрать? — с легким смехом перебила она. — Я очень добра и простодушна и сейчас докажу тебе это — назови мне твою избранницу, и, если только она еще свободна, то я уговорю ее танцевать с тобою...

— Зачем ты меня перебила, милая пастушка? Я досадовал именно на то, что не могу пригласить тебя...

Пастушка сверкнула глазками и опять засмеялась.

— Будто? Не верю. Да разве ты меня знаешь?

— Узнал, только что увидел.

— Неправда, ошибаешься...

— Как бы ты ни оделась, каким бы голосом не заговорила — я всегда узнаю тебя, *belle cousine!* — сказал Сергей, невольно и нежно пожимая маленькую ручку.

Он не ошибался. Это, действительно, была его кузина, прелестная Марья Львовна Нарышкина, на которую он слишком часто заглядывался и которая нередко, помимо его воли, становилась в его мечтаниях между ним и далекой Таней.

— *O, cousin!* Вот вы уже совсем превратились в петербургского любезника!.. И знаешь, это нехорошо, потому что я уже давно не придаю никакой цены этим любезностям... я им не верю.

И в то же время из-под легкого кружева маски она ласково и самодовольно улыбалась своим хорошеньким ротиком.

— *Vite, vite a vos places!* — раздался голос дирижера.

Пастушка совсем почти склонилась на плечо своего кавалера, обдавая его запахом тонких духов, ослепляя горячей белизной прелестных плеч.

Оторвавшись на мгновение от шутливого

разговора с милой пастушкой, Сергей оглядел сверкавшую огнями залу, и его взгляд приковался к той двери, в которую вошли императрица и Потемкин. Теперь на пороге этой двери, шагах в десяти от Сергея, стоял небольшого роста худощавый человек в военном мундире — и, взглянув на него, Сергей уже не мог от него оторваться. Он забыл свою пастушку, спутался в фигуре контрданса.

Между тем стоявший у двери не трогался с места. Он, очевидно, только что приехал и выжидал окончания танца, чтобы пройти через залу. Он стоял неподвижно, опершись одной рукой на шпагу, а другой перебирая пуговицы своего мундира. Он был далеко еще не стар, лет тридцати пяти, не больше; но на его выпуклом высоком лбу уже легли преждевременные морщины. Лицо его было поразительно: он был дурен, с маленьким, очень вздернутым носом, далеко отстоявшим от верхней губы; большой рот его то и дело принимал неприятное, презрительное выражение. Одни только глаза, большие, синие и глубокие, скрашивали это некрасивое лицо. Эти глаза были чрезвычайно выразительны, про-

ницательны, и в то же время что-то мечтательное, задумчивое и грустное в них светилось.

Вот он переменял позу, скрестил на груди руки, будто утомленный, опустил голову. Мимо него одна за другою мелькали пары танцующих, не обращая на него почти никакого внимания. Но Сергей, проходя у двери со своей пастушкой, на мгновение остановился и, не задумываясь над тем, хорошо ли то, что он делает, следует ли так, отдал ему глубокий, почтительный поклон и затем продолжал свой танец.

Тот, кому он поклонился, слегка вздрогнул, будто приходя в себя и отрываясь от своих мыслей, привычным, любезным движением наклонил голову и проводил Сергея долгим, внимательным взглядом. И вдруг краска залила его бледные щеки, он выпрямился, опустив руки по швам, причем на его груди блеснули две звезды — Андреевская и Анненская, и скрылся за дверью.

— Ты представлялся цесаревичу? — спросила Сергея пастушка.

— Нет еще, я в первый раз в жизни сейчас

его увидел.

— Ну так теперь трудно будет тебе снискать его милость.

— Отчего? Чем я провинился?! — изумленно спросил Сергей.

— Да разве ты не заметил, как ты смутил его своим поклоном? Вовсе не следовало кланяться во время танца и когда он так стоял, что, видимо, не хотел обращать на себя внимания. Это очень неловко вышло, cher cousin, а главное — цесаревич обидчив...

Сергею стало тяжело и неловко.

— Да, конечно, — смущенно проговорил он, — я понимаю, что не должен был ему кланяться, но я сделал это совсем бессознательно, не рассуждая, да и рассуждать было некогда; я просто не мог не поклониться цесаревичу и особенно увидя его в первый раз в жизни.

— А еще дипломат! — пожав прелестными плечами и тихонько хлопнув Сергея веером по руке, заметила Марья Львовна. — Ну, да авось обойдется! И потом, в сущности, что же? — Невелика беда, если и посердится, слава Богу, его гнев не может иметь больших по-

следствий...

Контрданс кончился. Хорошенькая пастушка упорхнула.

— Великая княгиня!.. Цесаревич! — слышал Сергей.

Снова показалась небольшая, чересчур прямо державшаяся фигура Павла Петровича. Он вел под руку молодую, стройную красавицу, вовсе не роскошно, но чрезвычайно со вкусом одетую. Ее милое, розовое лицо приятно улыбалось, грациозная головка то и дело наклонялась, отвечая на поклоны. Цесаревич тоже откланивался, но ни на кого не глядел и по временам морщил брови. Только проходя мимо Сергея, он вдруг на мгновение даже остановился, судорожная, нервная полуусмешка скривила его губы, его глаза прямо, холодно и пристально взглянули на изящного средневекового художника.

Сергей опять почтительно поклонился вслед за окружавшими его и опять вспыхнули быстрым румянцем щеки Павла Петровича. Он отвернулся, и Сергей слышал как он довольно громко сказал великой княгине:

— Je voudrais bien savoir qui est cet individu?

Этот... в черном!..

В звуке его голоса заметно было сдержанное раздражение.

Мария Федоровна подняла свои голубые глаза на Сергея и потом изумленно взглянула на цесаревича.

Они прошли мимо.

Танец следовал за танцем. В залах становилось жарко, многие уже сняли маски. На пороге большой танцевальной залы появилась императрица, а вслед за нею и веселый хозяин, преобразившийся из волшебника Мерлина в обер-шталмейстера.

Екатерина приветливо улыбалась знакомым лицам, снявшим маски, подозвала к себе Марью Львовну Нарышкину.

— А ты, плутовка, всегда знаешь, как наряжаться, — сказала она, дотронувшись веером до ее подбородка, — знаешь, что этот простенький костюм самый опасный!.. Подойди, растормоши светлейшего, а то он сидит в углу и дуется!.. Приведи его сюда.

Марья Львовна улыбнулась и побежала, едва касаясь пола своими маленькими ножками, исполнять приказание императрицы.

— Вот и еще очень изящный по своей простоте костюм. Ты не знаешь, Левушка, кто это? — сказала Екатерина, останавливая свой взгляд на Сергее.

— Это... это... да если не ошибаюсь — это Горбатов! — ответил Нарышкин.

— А! Позови его...

Сергей, снимая на ходу маску, подошел к императрице и поспешил выразить ей свою благодарность за пожалование, которого он удостоился.

— Очень рада, — милостиво сказала она, — граф Безбородко доволен вами, в чем я, впрочем, нисколько и не сомневалась, — я читала составленную вами бумагу — вы хорошо пишете...

— Но, кажется, он танцует еще лучше, — заметил Нарышкин.

— Что же, и это не мешает, — ласково проговорила Екатерина, — но еще лучше то, что я о вас узнала, господин камер-юнкер...

Она замолчала и одарила Сергея своей самой милой улыбкой. Он растерянно взглянул на нее.

— Что вы узнали, ваше величество?

— Ну... этого я вам не скажу.

В это время подошел Потемкин. На его лице не было уже скучающего, апатичного выражения; он улыбался, бережно держа под руку хорошенькую пастушку — Марью Львовну.

— Я знала кого послать, чтобы развеселить князя, — сказала императрица.- *Votre petite bergère fait des prodiges, monsieur le Grandecuyer!*

— *Ca ne me regarde pas* — я давно на нее махнул рукою! — ответил Нарышкин и шепнул Сергею:

— Что, братец, задали загадку?! Да ты не ломай себе голову... Каким путем — не знаю, а сделалась известной твоя поездка в Коломну, также и то, что ты бежал мужественно от чар соблазна...

Сергей покраснел и смутился, как ребенок. Он только думал о том, как бы отойти незаметно и вдруг встретился с зорким взглядом Потемкина, внимательно на него смотревшего. Смущение его еще усилилось от этого взгляда, и в то же время он услышал голос императрицы:

— Это вот, князь, рекомендую — молодой

дипломат и мой новый камер-юнкер, господин Горбатов.

Потемкин еще раз взглянул на Сергея, отвечая полунебрежным кивком на его поклон.

— Нам теперь дипломаты очень нужны, — рассеянно проговорил он, — но только истинные, серьезные дипломаты...

— Такие, надеюсь, и выйдут из школы графа Безбородки, — спокойно сказала императрица.

— Конечно.

И Потемкин, отвернувшись, наклоняя голову и заглядывая в глаза Марьи Львовны, стал нашептывать ей какие-то любезности.

Она, улыбаясь, отшучивалась.

Сергей незаметно смешался с толпой.

XXII. НЕЖДАННЫЙ ДРУГ

Танцы возобновились. Сергей принял в них участие, но был очень рассеян и едва мог заставить себя занимать танцевавших с ним дам неизбежными разговорами. Он не замечал, что начинает с каждой минутой возбуждать к себе больше и больше внимания, а между тем на него тихомолком указывали, о нем шептались. Иначе и быть не могло: едва

появился — и уже попал в придворные! Императрица так милостива к нему, беседует, сама представляет его Потемкину...

— Быстро пойдет в гору!.. — говорили про него в один голос.

Молодые люди с завистью на него поглядывали и в то же время не могли не сознаться, что он хорош собою, отлично себя держит, со всеми любезен, внимателен и скромнен.

Между молодыми девушками и женщинами тоже немало было разговоров про Сергея. Они объявили его красавцем.

«И он так богат, у него говорят, такие бриллианты, каких пожалуй не найдешь и у Потемкина!..» — шептали невесты.

А молодые замужние дамы говорили другое:

«Он так молод, так свеж! У него иногда среди разговора делается вдруг такое наивное лицо, будто у ребенка... и как хорош, ах, как хорош! Только чересчур застенчив, он совсем почти не смотрит на женщин, никому не оказывает предпочтения, со всеми одинаково вежлив и холоден... Это неестественно в его годы... Или тут расчет? Очень может быть,

что расчет, и даже верный. О, он, конечно, быстро пойдет в гору!..»

Но сам Сергей был крайне недоволен собою. Он не забыл своей неловкости относительно цесаревича, его тревожила мысль о дурном впечатлении, которое он, очевидно, произвел на него. Он давно уже привык время от времени думать о цесаревиче и им интересоваться. Он даже не раз решался спрашивать покойного отца своего о нем. Но отец не любил подобных вопросов.

— Что же я могу знать?! — резко отвечал он. — Когда я видел его, он был еще совсем маленький мальчик, резвый и бойкий и в то же время трусишка — темной комнаты боялся... Иной раз придет и лепечет невесть про что, про какие-то страсти, которые якобы ему чудятся... Бабы старые запугали!.. У государыни Елисаветы Петровны этих баб было видимо-невидимо. Они его нянчили — ну и запугали своими глупыми сказками... да что!..

И Борис Григорьевич, недоговорив, бывало, махнет рукой. Все лицо его вдруг вспыхнет, встанет он с места и начнет большими шагами ходить по комнате. Сергей уже боит-

ся дальше расспрашивать. Он видит, что отец рассержен и понимает, что нельзя больше касаться его старых ран, тяжелых воспоминаний.

Но он все же время от времени старался осторожно возвращаться к этому разговору.

И до Горбатовского доходили различные слухи, и в деревенской глуши передавались всякие вести о петербургской придворной жизни.

Сергей узнавал, что цесаревич, уже давным-давно совершеннолетний, не принимает почти никакого участия в делах государственных, что он совсем удален от правления. А между тем ведь он же законнейший наследник императора Петра III!.. Правление Екатерины славно, она великая женщина, но ведь все права на его стороне! Зачем же он удален, будто его совсем и нету? Или он человек без воли, без способностей?! Но нет, приезжие из Петербурга рассказывают много прекрасных черт его характера, рассказывают про его благородство, его находчивость и остроумие. Говорят, он много работает, всегда занят. А вот Рено рассказывает, что в Париже, в то время,

когда цесаревич приезжал туда со своею супругою под именем Comte du Nord, он совсем пленил парижан, и его называли не иначе, как самым умным, самым милым и любезным из европейских принцев. Все говорят, что императрица его не любит, но в то же время прибавляют, что сам он относится к ней с величайшим почтением. Как же выносит он свое странное, неестественное положение, как он с ним примиряется?

Из всего того, что Сергей слышал о Павле Петровиче в течение всей своей жизни, в его воображении вырос прекрасный и вместе с тем загадочный образ, этот человек с такой странной судьбою возбуждал в нем большую симпатию, восхищение и жалость. И он крайне удивлялся тому, что все эти господа, которые рассказывают о цесаревиче, о его прекрасных качествах, решительно не придают никакого значения этим качествам, не сожалеют его. Его, очевидно, никто не любит. Да за что же? Что все это значит?

По приезде в Петербург Сергей очень желал увидеть цесаревича, но до сих пор ему этого никак не удавалось — Павел Петрович

был почти невидимкой, редко показывался из своей таинственной Гатчины. И опять, спрашивая о нем, Сергей замечал, что вывод, сделанный им еще в Горбатовском, оказывается верным: цесаревича не любят, не жалеют, и главное — о нем совсем не думают, им не интересуются.

Наконец Сергею удалось его увидеть, и едва взглянув на него, он почувствовал к нему неодолимое сердечное влечение. Его некрасивость, неприятное, язвительное выражение его рта мгновенно забылись при грустном мечтательном свете синих, устало опущенных глаз. Что-то совсем особенное, необычное и вполне соответствующее тому образу, который уже создало его юное воображение, подметил Сергей в цесаревиче.

«О, это, наверно, великая, страдающая и непонятная душа!» — подумал он, чувствуя как сильнее и сильнее начинает биться его сердце.

Тут он и отвесил свой почтительный и неловкий поклон. И вот прелестная Марья Львовна пугает его немилостью, да и сам он уже подметил явные признаки раздражения,

ИМ ВЫЗВАННОГО.

Сергей забывался на несколько мгновений, охватываемый оживлением бала, но снова все вспоминал и едва удерживал свое волнение.

«Фу, какую глупость я сделал! — с отчаянием думал он. — До сих пор все шло так хорошо, все так удавалось — и нужно же было, чтобы я именно повредил себе в его глазах!..»

Он положительно страдал; он полюбил цесаревича юной восторженной любовью, полюбил, совсем его не зная, по какому-то предчувствию. Танцевать больше не хотелось и, снова надев свою маску, он бродил по залам и гостиным. Дом Нарышкина был так обширен, гостей набралось так много, что в этой быстро двигавшейся и жужжавшей, подобно пчелиному рою, толпе легко было замешаться, заблудиться, совсем затеряться, как в лесу. Среди этой толпы, где все были заняты по преимуществу собою, своими делами и своим весельем, где почти у каждого были свои маленькие или большие цели, теперь с каждым часом становилось все свободнее и привольнее. Тут можно было сколько угодно мечтать

и забываться, ибо чем гуще и оживленнее толпа, тем больше в ней уединения. И многие пользовались этим заманчивым уединением среди тысячной толпы, уединением среди несмолкаемого говора, под звуки музыки, несшейся из танцевальной залы.

Для того, чтобы хоть сколько-нибудь развлечь себя и уйти от своих тревожных мыслей и недовольства собою, Сергей начинал присматриваться и прислушиваться к тому, что вокруг него делалось. И он ясно видел, как уже многие воспользовались своим уединением. Мимо него мелькали счастливые пары. Все укромные уголки, где было побольше тяжелых драпировок, широких листьев тропических растений, были заняты этими счастливыми парами. Но встречались и странные пары.

Сергей видел почтенных с виду сановников, взявшихся под руку и шепчущихся между собою горячо и страстно, подобно нежным любовникам или заговорщикам. Но, прислушиваясь к их шепоту, оказывалось, что вся любовь, весь заговор состоят только из сплетен да пересудов, из жалоб оскорбленного чи-

новничьего самолюбия или толков об ожидаемой служебной награде.

А вот и еще странная пара: в полном самого изящного комфорта уголке пышной гостиной, на покойном, раззолоченном кресле красуется великолепная фигура Потемкина. Рядом с ним милая пастушка, Марья Львовна. Между ними ведется оживленная беседа, они улыбаются друг другу. Князь забывает, очевидно, и свое величие, и свои годы, и свою лень; он в роли любовника, в роли влюбленного юноши. На его монументальном лице сладкая улыбка, которая делает это замечательное, величественное лицо таким странным, смешным даже. Вот он быстро склонился к соседке, ловко поймал ее ручку, прижал ее к губам своим. Пастушка замахивается на него веером, а сама смеется, сама шутит, сама от него не отходит... Странная пара!..

Идет Сергей дальше и видит, что стройный миннезингер, сверкавший бриллиантами, ведет под руку венецианку шестнадцатого века. Они оба, видимо, не замечают никого и ничего кругом себя. Эта пара проходит как раз мимо Сергея, и он слышит, явственно слышит

страстный шепот миннезингера Мамонова:

— Дорогая, да скажи же... Повтори еще раз сегодня, что меня любишь... Ведь только в этом слове все мое счастье... Ведь только чтобы услышать его, я выношу терпеливо мои мучительные дни, мои бессонные ночи...

— Люблю!.. — тихо и как-то грустно отвечает венецианка.

Пара исчезает. А через несколько минут сверкающий бриллиантами миннезингер появляется в толпе уже один и бесцельно, рассеянно бродит, опустив голову.

Толпа неустанно движется, ежеминутно меняясь, мелькая своею пестротой. Становится душно, даже туман стоит в высоких залах, заволакивая легкой мглой сверкание бесчисленных люстр и кенкетов.

Сам не зная как, Сергей очутился в тихом уголке, за раскидистой пальмой. Он устал и с радостью заметил низенький диванчик. Здесь так хорошо можно отдохнуть несколько минут, отдохнуть невидимкой, под жужжанье толпы, под далекие звуки веселого мотива...

И он забылся. Но вот близкие и явствен-

ные голоса, раздавшиеся где-то почти у самого его уха, за широкими листьями пальмы, заставили его очнуться.

— Дуришь, брат Сашура, дуришь! — говорил один голос. — И нехорошо дуришь — опомнишься, да поздно будет... Так лучше вовремя подумай, что затеваешь, глупый человек!..

— Я не понимаю, князь, о чем вы? — отвечал другой голос, и смущение, и тоска слышались в словах этих.

— Не понимаешь?! Прикидываешься... Так я скажу и прямо. Ну, к чему это «маханье» с Щербатовой?.. Коли я заметил, то и другие могут заметить. Да ты, по видимости, даже и скрываться-то не намерен... Опомнись!

Ответа не было, и голос продолжал:

— А ведь я считал тебя благоразумным, я на тебя полагался... А ты словно малый ребенок... Да коли тебя уж так бес смущает, так ты бы это умненько... Мало ли как... Ну, нашел бы что-нибудь подходящее... Не на глазах у всех...

— Ах, да чего вы меня мучаете!.. Тошно мне — вот что!..

— Тошно!.. Кислятина ты, брат Сашура, и ничего больше!.. Ну и пропадай, коли охота, я предостерег, а там уж не мое дело... Другие найдутся поумнее тебя... Дурить-то не станут. Одного такого я, кажется, сегодня уж видел.

— Кого?!

— Кого! Сам приглядишь, может и узнаешь. Мне представлен и даже открытие сделано: умен, образован и душа чистая...

Яркая краска залила щеки Сергея. Но голос уже смолк... Потемкин с миннезингером проходили в следующую гостиную и встречные почтительно давали им дорогу.

— А я тебя повсюду ищу!.. Пойдем, цесаревич желает тебя видеть...

Это говорил Нарышкин.

«Цесаревич!» Сергей сразу позабыл странный разговор, сейчас слышанный, позабыл все и почти с остановившимся сердцем поспешил за Львом Александровичем, который провел его в одну из дальних внутренних комнат.

Это был небольшой кабинет. В покойном кресле у стола, на котором горели две свечки, слабо озарявшие комнату, и стояла ваза с

фруктами, сидел Павел, облокотясь одной рукой на стол и поддерживая ею свою голову, а другою отрывая ягоды от крупной кисти винограда; он медленно клал их в рот, высасывал и бросал на серебряное блюдечко.

В комнате больше никого не было.

Когда Нарышкин представил Сергея, Павел остановил на нем свои внимательные глаза, но, будто забывшись, несколько мгновений не говорил ни слова и продолжал высасывать виноград.

Сергей стоял совсем смущенный, не зная, чем все это кончится.

Наконец Павел слабо улыбнулся и кивнул Нарышкину.

— Благодарю вас, Лев Александрыч, не стесняйтесь, пожалуйста... я вас не задерживаю — ведь у вас сегодня хлопот немало.

— Да, уж извините, ваше высочество, одно дело сделал, а сотни других ждут.

С этими словами Нарышкин скрылся.

Сергей остался наедине с цесаревичем, а тот все еще не говорил ни слова и все внимательно и загадочно смотрел на него. Сергей не мог дольше выносить этого взгляда, он

чувствовал себя как во время пытки.

«Зачем он меня мучает? Зачем казнит?»

Еще несколько мгновений — и он заговорил бы первый и опять не как дипломат, а как милый и искренний мальчик. Конечно, он насказал бы много лишнего, он объяснился бы в любви перед строгим мучителем.

Но Павел предупредил его. Он вдруг взял его руку.

— Садитесь, сударь, — сказал он, указывая ему на стул рядом с собою. — Знаете ли, сударь, что вы успели, еще не познакомясь со мною, рассердить меня своим неуместным поклоном во время танца?..

— Знаю, ваше высочество, — ответил Сергей дрогнувшим от волнения голосом, — и понял всю вину мою, но тогда уже было поздно ее исправить. Я сам не знаю, как дозволил себе такую бестактность, но я не мог тогда рассуждать, я так давно ждал счастья увидеть ваше высочество... моя голова сама собою склонилась перед вами...

Павел закусил губы, ноздри его раздулись.

— Так недавно здесь и уже научился льстить!.. Слишком рано и стыдно, сударь!..

— Льстить! — отчаянно повторил Сергей, внезапно бледнея.

Слезы показались на глазах его.

Павел взглянул, и вдруг все лицо его мгновенно преобразилось. Глаза засветились добротой, на губах мелькнула улыбка. Он опять взял Сергея за руку.

— Простите... ошибся... спасибо!

— Ваше высочество, вы простите меня и забудьте мою неловкость!

— Я даже рад тому! Вы заставили вас заметить, я пожелал узнать кто вы, а узнав, захотел с вами познакомиться... Знаете ли, сударь, что вы мне не чужой?

Сергей изумленно и в тоже время радостно глядел на цесаревича.

— Да, не чужой... сын Бориса Григорьевича Горбатова не может мне быть чужим. Я хорошо помню вашего отца, хотя и был тогда ребенком... и мне ли его не помнить, одного из немногих и самых верных друзей и слуг отца моего! Я всех помню, всех... и все! Я не раз хотел написать Борису Григорьевичу, и только многие серьезные причины лишали меня этого удовольствия. Но я постоянно справлял-

ся и узнавал о нем... Мне горько было услышать весть об его кончине. Я сказал вам все это для того, чтобы вы поняли, что всегда и во всем можете на меня рассчитывать... Я вам не чужой, слышите!.. Я не забываю...

Голос Павла оборвался, глаза подернулись слезами, он провел рукою по лбу, будто отгоняя тяжелые мысли.

Сергей вскочил в невольном горячем порыве, склонился к ногам его, поймал его руку и жарко прижал к ней свои губы. Цесаревич его поднял, и, обняв, усадил опять рядом с собою.

Он стал расспрашивать его об отце, о нем самом, о его воспитании. Минуты проходили. Слушая Сергея, Павел сидел, задумчиво опустив голову.

— Жаль, что ты приехал сюда, мой друг! — наконец, сказал он, оставляя «вы» и «сударь» и начиная говорить ему «ты». — Поверь, что там, в деревне, ты был бы здоровее и телом, и духом... Здесь воздух скверный, здесь отравы! Но делать нечего... да избавит тебя Бог от здешней отравы — может, и не заразишься. Хотел бы я побольше поговорить с тобою, по-

ближе познакомиться... Приезжай ко мне в Гатчину, только не говори о том никому, выбери день свободный и приезжай тихонько... Не изумляйся, я знаю, что говорю — и говорю для твоей же пользы. Тихонько приезжай, но приезжай непременно... когда хочешь, всегда рад тебя видеть... до свиданья!..

Сергей вышел из кабинета будто окрыленный; широкое счастливое чувство наполняло его. Не обмануло его воображение, оно рисовало ему цесаревича таким, каким он оказался в действительности. Да, он всегда знал и чувствовал, что он именно такой... другим он и быть не мог.

Но все же прежняя загадка оставалась нерешенной. Все та же таинственность и непонятность окружали благородный образ цесаревича, и та же мучительная жалость к нему, только еще с большей силой, сжала сердце Сергея.

Полный мыслей о нем, об этом новом нежданном друге, он вышел в залы и почти столкнулся с императрицей. Она собиралась уезжать. Заметив Сергея, она приветствовала его улыбкой.

— О, как раскраснелся! Совсем затанцевался... А много любезностей наговорил? Я, чаю, и счесть невозможно.

Она глядела на его пылавшее лицо и сиявшие глаза внимательно и с видимым удовольствием. Он невольно опустил веки перед этим взглядом.

Императрица прошла, любезно кланяясь на все стороны.

Кругом пронесся едва слышный шепот. Сергей чувствовал себя предметом всеобщего внимания. Он пробрался к выходу из танцевальной залы и поспешил домой, полный новых ощущений.

XXIII. ЗАТИШЬЕ

В эти последние годы Петербург уже совсем превратился в красивый европейский город. На широких его улицах, еще недавно обнесенных пустырями, садами и огородами, теперь возвышались высокие обширные дома разбогатевших русских и иностранных торговцев. Рядом с этими домами высились дворцы вельмож, поражавшие своим великолепием.

Народонаселение возрастало с каждым го-

дом. Кипела разнообразная, живая торговля, множество иностранцев прибывало постоянно. В центральных улицах весь день и большую часть ночи кипела жизнь.

Был другой город, в котором народу насчитывалось несравненно больше, чем в Петербурге, в котором движение было непрестанно, неостановочно в течение нескольких столетий. Но уроженцы этого города — Москвы, приезжая в Петербург, сразу замечали, что здесь совсем иной характер движения. Москва — муравейник, там кипит трудовая жизнь, там черный люд работает всю черную работу. И из-за этой работы не видно бесцельного движения праздного, развлекающегося, веселящегося люда. Роскошные экипажи богачей-бар, проезжая по бесчисленным переулкам и закоулкам, поднимаясь с горки на горку, исчезают среди обозов, нагруженных всевозможными припасами; нарядные фигуры пропадают среди черной толпы. Только в праздничные дни изменяется вид города: народ отдыхает и празднует, по-своему веселится. И опять-таки в этом народном веселье и праздновании поглощается барское веселье.

Москва — город русского народа, и народ здесь является во всей своей черноте и в своей красоте, и в своем безобразии, со всеми особенностями своих нравов и своего быта.

Петербург совсем не то. Москвичи чувствуют себя здесь иностранцами. Образ русского народа, образ крестьянина, торговца, мастерового сливается с образом другого крестьянина, другого торговца и мастерового — немца, чухонца и, сливаясь с ним, теряет мало-помалу свои коренные особенности. Но и человек из русского народа, и немец, и чухонец — все они здесь мелькают только время от времени, робко и прячась, и скрываясь за другим образом. Петербург — придворный город, город чиновной знати, праздных богачей, приезжих иностранцев. Это город веселья и роскоши. Веселье и роскошь водились в нем и прежде, почти с самого его основания, но в предыдущие царствования это все же была не та роскошь, не то веселье, которые завела великая Екатерина.

Теперь Петербург превратился в настоящую столицу. Когда ни выйти на Невский проспект и прилегающие к нему улицы, все-

гда там шумно илюдно. Только по утрам за тишье, но едва настанет полдень — и уж со всех сторон одна за другою мчатся нарядные кареты. Чиновные лица, весело прошедшие добрую половину ночи, поздно проснувшись, позавтракав и неспешно одевшись, отправляются к должностям своим. Исключение составляют только те, кто обязан явиться с ранним докладом к государыне, эти поневоле должны проснуться в восемь часов, хоть иногда пришлось поспать каких-нибудь часа три-четыре после веселого бала или иной пирушки.

Прошли и проехали чиновники и сановники, и опять одна за другою мчатся кареты. В пух и прах разряженные модницы, со всевозможными кораблями и башнями на головах, с форейторами и ливрейными лакеями спешат делать визиты. А то и так разъезжают по самым людным улицам, выглядывая из окон карет или красуясь в колясках, выставляя себя на удивление и восторг толпе блестящей молодежи, которая в экипажах и пешком снует взад и вперед по улицам. Светские франты в самых изящных кафтанах, зачастую выпи-

санных прямо из Парижа, гвардейские офицеры в разнообразных, невероятно дорогостоящих мундирах; по целым часам они прогуливаются по тротуарам, то катаются тоже с визитами, то заседают в ресторанах.

И ведь все они служат государству, у каждого, судя по должностям их, должны же быть дела. Наивные провинциалы только изумляются: когда это они все успевают!

Приходит вечер, и у Петербурга новые удовольствия: балы, всевозможные вечера, маскарады, пикники, театр. Ночь превращается в день, только с той разницей, что жизнь среди ночи еще деятельнее, еще разнообразнее.

Весело и привольно живется Петербургу; императрица никого не стесняет и, ежедневно катаясь по улицам, с удовольствием замечает, как обстраивается ее столица, как все богато, весело, оживленно. Большая разница между тем временем, когда она только что приехала в Россию: тогда еще Петербургом и жизнью его общества трудно было похвастаться перед европейцами. Ну, а теперь пусть приезжает кто угодно, русское общество в грязь себя не уронит, русский двор и

русская знать выдержит сравнение с самыми роскошными дворами Европы и с европейской знатью.

Мнение о России быстро возрастает, хотя Россию почти не знает никто, хотя ее не совсем знает и сама императрица, несмотря на то, что еще так недавно сделала по ней огромное путешествие. Она хотела все увидеть, во всем убедиться собственными глазами. Но это оказалось невозможным. Она могла увидеть вещи, которые ее сильно бы опечалили. А близкие ей люди, конечно, не могли допустить, чтобы государыня была опечалена.

Ее путешествие было нескончаемым рядом удовольствий и разнообразных сюрпризов. Все города и местечки, через которые она проезжала, вдруг изменили вид свой, нарядились, обчистились, даже как будто обстроились, хотя это были только временные, декоративные постройки. Народ русский, радостно встречавший царицу, имел такой сытый, здоровый вид. Мужики и бабы, парни и девки, и ребяташки были одеты не только что в крепкие, но даже и живописные костюмы. И чем дальше двигался веселый, торжествен-

ный проезд Фелицы, тем больше и больше встречалось чудес.

Государыня ожидала видеть пустые печальные пространства, но при ее приближении эти пространства превращались в живописные оазисы. С обеих сторон дороги, то здесь, то там, являлись прелестные картинки, и невозможно было издали заметить, что это опять-таки только декорации, что их вчера еще не было и завтра опять не будет.

Из всех приближенных только один Лев Александрович Нарышкин иногда расстраивал остроумно придуманные сюрпризы и открывал императрице глаза на действительно существующее, на некоторые печальные стороны русской жизни. Но и он не заходил далеко, и он боялся ее чересчур тревожить, да и не хотел, вероятно, уж слишком сердить сильных людей.

Так и вернулась Екатерина в свой милый Петербург, составив себе не совсем верное понятие о виденной ею России.

Да, весело, пышно и привольно жилось в Петербурге, и многие из посещавших его не знали, что недалеко от него есть такое ме-

стечко, где, по-видимому, должно было так же весело, привольно и пышно житья, но где между тем было совсем иное. Это местечко называлось Гатчина, это была резиденция великого князя-цесаревича. Небольшая мыза с дворцом, прежде принадлежавшая Григорию Орлову, Гатчина после его смерти снова была куплена Екатериной и подарена ею Павлу Петровичу. Мыза теперь превратилась в городок, но городок совсем особенный, со своею собственной и оригинальною жизнью...

Уже начавшее по-весеннему греть солнце только что взошло, освещая своими косыми лучами гатчинскую дорогу. В морозном утреннем воздухе стоял туман; но он рассеивался мало-помалу, и то там, то здесь по сторонам дороги обрисовывались деревушки, полосы лесов, то уходившие почти к самому горизонту, то приближавшиеся, вырастая, почти к самой дороге.

По направлению к Гатчине быстро мчалась карета на полозьях, запряженная целым шестериком добрых коней. Серей Горбатов, по желанию цесаревича, спешил представиться ему в его резиденции. Он выбрал для

этого первый свободный день и выехал еще до света, никому не сказавшись, приказав прислуге всем объявлять, что он нездоров и никого не принимает.

Удобная и прочная карета то и дело подсакивала на сугробах и ухабах. Уже почти половина пути была окончена, а между тем никто не встретился. На ямском дворе, где пришлось остановиться, было все чисто, опрятно, но бедно. Сергей тут оставил своих лошадей до вечера, и уж ямщицкие лошади должны были довести его в Гатчину; свои чересчур устали — ведь более восьмидесяти верст туда и обратно.

— Ну уж и дорожка же у вас! — говорил Сергей старому ямщику-хозяину, почтительно, без шапки, стоявшему у окна его кареты. — Разбирать-то пути некогда — спешу, ну, а ухабы такие, что ажно колотья сделались.

— Да что дорожка, ваше сиятельство, — отвечал ямщик, — такие ли бывают! Оно точно — поправлять некому, иными местами и сугробы, ноне зима была снежная, метели тоже, только дорожку нашу за что же хаять — это вам, сударь, с непривычки после Питера

показалось. Вон великая княгиня-голубушка, та никои не жалуется, да и великий князь тоже... а уж езда-то их, езда!.. Коня, как доедут до двора, смотреть жаль...

— Ну, до разорения-то великий князь, чай, не допустили?

— Да и мало ли их и совсем пропало! — вмешался другой ямщик, стоявший в стороне. — Просто разорение с этой ездой!

Старый ямщик почесал затылок и улыбнулся.

— Оно точно, ваше сиятельство, — проговорил он. — Да кабы и так, по недостатку, в долгу он у меня остался, так я это за честь себе почту, последнюю лошадь отдам и не пожалею. А это он зря болтает, — прибавил он, показывая на другого ямщика, — его нечего слушать. Кому же и угодить, как не нашему великому князю. Одно его ласковое да простое слово коня стоит...

Лошади были готовы. Сергей щедро заплатил ямщикам. И опять началась безумно скорая езда по ухабам, от которых Сергея бросало из угла в угол кареты.

Вот и Гатчина. Кони на всем ходу вдруг

остановились у шлагбаума.

— Кто такие? За каким делом?

Сергей отвечал, что к великому князю, которому известно о его приезде.

Шлагбаум поднялся, карета въехала в городок, но уже на козлах рядом с ямщиком сидел гатчинский солдат. У плаца карета остановилась снова. Солдат слез с козел и опрометью кинулся к небольшому домику, перед дверью которого стоял часовой.

— Ну что же ты? Пошел! — крикнул Сергей ямщику. — Я чаю, ведь знаешь, куда тут!

— А вот, что солдат скажет, — тихонько проговорил ямщик. — Тут, ваше сиятельство, своя поведенция, тут строго... ухо остро держать надо, не то как раз в солдатские лапы попадешься и не разделаешься.

Сергей выглянул из окна кареты. Перед ним обширный плац, в глубине которого полукругом возвышается здание дворца. На плацу большое движение. Солдаты в полной форме, офицеры командуют; производится обычное утреннее ученье.

Наконец, к карете подошел молодой офицер и, подробно расспросив Сергея, сказал

ему:

— В таком случае, сударь, попрошу вас выйти, дальше карете никак нельзя проехать. Потрудитесь следовать за мною, я провожу вас.

Сергей вышел. Огибая плац вдоль стены дворца, они добрались до среднего подъезда, у которого опять стояли часовые, тотчас же скрестившие штыки перед ними. Но по слову офицера солдаты разомкнули штыки, вытянулись в струну, пропуская входивших.

Сергей огляделся. Он был в небольшой, довольно низенькой комнате в два окна. Убранство этой приемной было самое простое. В углу большая голландская печка; на выкрашенных желтой краской стенах три темные картины с мифологическим сюжетом; между окон зеркальце, овальный стол красного дерева; простые, такого же дерева, стулья вдоль стен; посреди комнаты с потолка спускался большой стеклянный фонарь, на окнах белые гладкие шторы.

Эта комнатка напомнила Сергею столовые в деревенских домах помещиков средней руки и никак не была похожа на дворцовую

приемную.

Но едва Сергей успел заметить эту непривычную для него простоту, как внутренняя дверь приемной отворилась и вошел человек уже не первой молодости, с красивым лицом и блестящими черными глазами. Он был одет очень просто; но его темный суконный кафтан был тщательно вычищен; манишка и манжеты сверкали белизною, парик был особенно искусно причесан. Он ловко и любезно поклонился Сергею и приятным голосом спросил:

— С господином Сергеем Борисычем Горбатовым имею честь говорить?

Сергей в свою очередь поклонился.

— Цесаревичу доложено. Они теперь заняты, но очень скоро освободятся. Хорошо сделали, сударь, что пожаловали: цесаревич все дожидается вас и не далее как вчера изволил мне говорить о том, что вы долго не едете.

— С кем имею удовольствие? — спросил Сергей, замечая по тону слов этого господина и вообще по некоторым, хотя неуловимым, но все же ясным признакам, что он имеет дело с одним из самых приближенных к цесаре-

вичу лиц.

— Иван Павлов Кутайсов, — улыбаясь ответил черноглазый господин. — Прошу любить да жаловать. А коли желаете знать, какова моя должность и что я есть за птица, то уж не умею как и сказать вам, сударь. Я и побрить великого князя, и посудить с ним о том, о другом, я и сложить голову за него, коли пришлось бы, ибо всем, как есть всем, ему обязан.

Он замолчал и пытливо своими черными блестящими глазами глядел на Сергея.

Но Сергей был приготовлен. Странные слова господина Кутайсова и определение им его обязанности при великом князе были ему не новостью. Он уже слышал в Петербурге об этом пленном турчонке, об этом ловком брадобрее Павла Петровича, который с помощью бритвы, приятных манер и большого такта умел, оставаясь цирюльником, превратиться в одно из самых влиятельных лиц в Гатчине.

— Очень рад познакомиться с вами! — добродушно и искренне сказал Сергей, крепко пожимая Кутайсову руку.

У того все лицо просветлело, он улыбнулся.

ся, показывая свои прекрасные зубы и заговорил:

— Хорошо сделали, сударь, что пожаловали, и смею надеяться, что дурного от нас не увидите; веселость у нас после Питера встретить трудно; но доброму гостю рады душою, а на простоте нашей не взыщите... Да что мы тут... пожалуйте-ка, сударь, я вас проведу поближе к цесаревичу, как он освободится, так сейчас к вам и выйдет — пожалуйте.

Он предупредительно отворил дверь и ввел Сергея в следующую комнату, несколько обширнее первой, но так же просто меблированную.

— Это вот у нас неприятная комната, — смеясь, сказал он, — ее наши господа офицеры не очень-то долюбивают, тут их цесаревич иногда ух как распекает!.. Вот и дверцы в коридорчик, а за ним и гауптвахта. Из этой комнаты туда как есть самый прямой путь... Так-то, сударь, вот как у нас. Но комнатка сия не для вас... сюда теперь пожалуйте.

Он опять отворил дверь, и они вошли в третью, совсем уже маленькую комнатку, уставленную белыми стульями, крытыми

красным с пестрыми разводами штофом.

— Здесь вы обождите малость, Сергей Борисыч, присядьте. В этой комнатке мы уже с большим разбором кого принимаем. Дверь-то эта в спальню да в кабинет цесаревича. Не обширно у нас, да зато тепленько... Вот тут взгляните — эта витая лесенка прямо вверх, в спальню великой княгини... ну да как освоитесь у нас, так цесаревич сам все покажет, все гатчинское устройство. А пока извините, я вас одного оставлю, самому мне бежать нужно — уж больно много приказаний дано мне на сегодня... Да вы, сударь, как бы вам сказать, с цесаревичем нынче поосторожнее, они с самого утра не в духе — еще вчера их больно рассердили...

Он вздохнул, поклонился Сергею и вышел.

Сергей присел на белый, довольно жесткий стул и ждал. Сквозь двойные рамы низенького окна глухо доносились окрики команды с плаца. Где-то пробили часы, и опять все смолкло.

Прошло еще несколько минут. И вот в соседней комнате, дверь которой была не совсем плотно притворена и на которую Кутай-

сов указал Сергею, говоря, что тут спальня и кабинет цесаревича, послышались голоса. Кто-то вошел туда, громко хлопнув за собою дверью, отчего дверь маленькой приемной, где сидел Сергей, уже совсем отскочила, образовав щелку, в которую даже можно было все видеть.

Но, конечно, Сергей не воспользовался этим. Он сидел неподвижно, даже сожалея о том, что Кутайсов провел его сюда.

«Мало ли что может говориться за этой дверью, а выйдет цесаревич, поймет, что он, сидя здесь, все слышал и, конечно, может остаться крайне недоволен. Гораздо бы лучше туда, в первую приемную».

Сергей уже и хотел это сделать, но между тем не шелохнулся. Его поразил крикливый, раздраженный голос великого князя. С первых слов он даже не узнал этот голос; но скоро не могло оставаться никакого сомнения. Да, это говорил цесаревич, быстро шагая из угла в угол по небольшой комнате.

— Уж моих сил нет... слышите, сил нет!.. И никто не уверит, чтобы это случайно. Все это нарочно делается для того, чтобы раздра-

жать... бесить меня... Разве они когда-нибудь подумают обо мне... разве пожалеют, что я нездоров... устал, не в духе!..

— Нет, дорогой друг, — перебил его тихий и в то же время чрезвычайно звучный женский голос, — вы несправедливы, и слова ваши мне крайне прискорбно слушать... Я не узнаю вас — вы клеветеете на верных слуг ваших. Я уверена, что во всей Гатчине не найдется человека, который бы захотел вам причинить малейшую неприятность. Но я сама вижу: в иные минуты угодить вам становится невозможно. И чем это вы нынче так раздражены? Расскажите — посмотрим, может быть, совсем не так серьезно... будьте откровенны!..

— Чем раздражен! — опять закричал цесаревич и какой-то предмет с треском упал на пол. — Чем раздражен? — кричал он. — Все тем же! Хорошо вам говорить о смирении, о терпении... Вы знаете терплю ли я... смирюсь ли... Но, наконец, ведь сил не хватает... Я вчера поздно вернулся из Петербурга... Какой день!.. Что я там вынес!.. Поехал к нему... Сколько раз обещал себе больше не унижать-

ся, не ездить, а все же поехал, не для себя, конечно... Но ведь он Бог знает до чего доходит!.. Теперь ему мало преследовать друзей моих, он до всех лучших русских людей добирается... Он запугивает... всюду видит политические замыслы. Образованные, ученые, добродетельные люди собираются рассуждать о нравственных вопросах, о Боге, работают над собственным очищением, стараются распространить по России свет просвещения... издаются полезные книги, а он объявляет их заговорщиками, преступниками... их преследуют... Я не мог молчать, я обязан был за них заступиться, попробовать его усовестить. Ну и поехал, и жестоко раскaiиваюсь... Должен был знать давно уж, что мое заступничество никому, кроме вреда, ничего не может принести, а мне только унижение... Заставил ждать... а как принял!.. Роскошь кругом такая, как только в волшебных сказках, а сам валяется на подушках нечесаный, невытый, в каком-то халате, босиком, грызет морковь и тут же раскрытое Евангелие!

«Извините, — говорит, — что так принимаю: болен, душа скорбит... тоскую...»

— И сам подносит Евангелие к своему единственному глазу, читает. Ведь это кощунство!.. И уж лучше бы не извинялся — только новая обида... Что я вынес, на него глядя!.. Но сдержался и виду не подал. Заговорил мягко, стал доказывать всю невинность и не только не опасность, а прямую пользу тех ученых кружков, на коих он накинулся. И слышать ничего не хочет, говорит: «Я знаю, что делаю, это волки в овечьей шкуре...»

— Да вы спокойно спросили бы у него доказательства, — перебил женский голос.

— Я сие и сделал и в ответ слышу: «Кабы не имел точного понятия о сих людях и не знал их козней, то не стал бы и говорить о них; других доказательств кроме собственного моего убеждения мне и не надо. И напрасно, — говорит, — вы являетесь их заступником, только себя компрометируете...» Слышите, компрометирую! Теперь он в их список и меня включит, и меня сделает заговорщиком! Уж не помню как я от него и уехал. Ведь это что же такое?! Ведь это прямое насилие... и я должен молчать, терпеть... Да и для себя теперь не знаю, чего ожидать должен...

— Вы увлекаетесь, ваше высочество. Конечно, все это может и должно возмущать вашу душу; но опасения на счет себя крайне неосновательны. Как бы человек ни зазнавался, на какое зло он ни был бы способен, он все же сохранит настолько рассудок, чтобы понять, где ему следует остановиться. Затем, несмотря на всю его силу, это могущество имеет предел, вам нечего бояться; вы говорите пустое...

— И этими словами меня не успокоите; для этого человека не существует никаких пределов: он окончательно забылся. Он перечитывает Евангелие, вздыхает и молится и в то же время помышляет о короне... Ему не удалось сделаться польским королем, и он теперь хочет наверстать потерянное. Вот он уезжает опять в армию, и знаете ли, что его имя будет упоминаться в церквях и на выносе. Мы с вами это услышим и здесь, в нашей церкви. Я тоже кое-что знаю, да он и не скрывается, он кой-кому передает свои планы. Все эти войны, которые поглощают государственные средства, ведутся только ради его возвышения. Посмотрите, пройдет год, и если сча-

стве будет ему благоприятствовать, если он станет побеждать, то мы увидим на карте Европы новое королевство, в котором он будет королем. И, наконец, вот смотрите, эта газета, только что полученная из заграницы и дождавшаяся нынче моего пробуждения! Прочтите вот тут, — это продажное перо, им подкупленное... Панегирик!..

— Что это такое? ! — изумленно спросил женский голос.

— Да — I после его имени и значит это: Imperator. А вы мне говорите о каких-то пределах, говорите о безопасности. Я должен ожидать всего... Так как же мне быть спокойным?! Знаете ли, какую ночь я провел — глаз не мог сомкнуть... думал, что сердце разорвется. А тут утром еще эта газета и потом вдруг узнаю — приказания мои не исполняются; выглядываю в окно — вижу, путаница... солдаты ступить не умеют... офицер самых первых правил не понимает. И ведь знают, что я гляжу... знают, что я вижу... Нет, это нарочно, чтобы окончательно меня замучить... Но я не допущу, я покажу этому негодяю, что такие шутки неуместны!

И он в волнении, почти задыхаясь, быстрыми шагами подошел к двери и уже хотел отворить ее.

— Au nom du ciel arrêtez vous, venez... écoutez moi!

Павел отошел от двери.

— Что вы мне скажете? Что можете мне сказать? Зачем вы меня удерживаете... Это только послабление и ничего больше. Если бы я всегда слушал, что вы мне говорите, то мне пришлось бы совсем распустить моих солдат... сделать Гатчину всеобщим посмешищем. Пусть другие распускают, пусть другие заводят в армии и гвардии всякие нелепые порядки, пусть губят военный дух... дисциплину. Я слышал немало насмешек над русским войском, я хочу доказать, что и русское войско может быть примерным, что оно не уступит никакому другому... И, наконец, хоть в Гатчине я должен быть хозяином, меня должны слушаться и исполнять мои приказания...

— Господи! Да прежде всего успокойтесь, разве в таком состоянии вы можете справедливо разобрать дело?!

— Разобрать нечего, довольно и того, что я видел.

Он опять бросился к двери, но его не пускали.

— Я не могу выпустить вас — такого, вы Бог знает что такое сделаете и потом жестоко будете раскаиваться и меня же винить будете, что я вас не удержала. Одумайтесь, ради Бога! Сядьте, друг мой, переждите! Или вы хотите, чтобы великая княгиня и я проплакали весь день, или хотите, чтобы всюду толковали о вашей жестокости?

— Я ничего не хочу. Я знаю, что делаю... пустите меня!

— Да не могу, не могу, я чувствую, что придется краснеть за вас... я не...

Тут Сергей услышал прорвавшиеся рыдания. Дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался Павел.

Он был совсем не тот, каким видел его Сергей в маленьком кабинете Нарышкина. Теперь все лицо его было искажено бешенством, глаза налились кровью — он был страшен... Он не заметил Сергея, ничего не видел. Но вдруг остановился, схватил себя за голову,

закрыв глаза и остался несколько мгновений неподвижным.

Из соседней комнаты явственно слышалось женское рыдание.

Вдруг он повернулся назад.

— Успокойтесь! — проговорил он прерывающимся голосом. — Успокойтесь, я сдержу себя уж хоть ради того, чтобы избавиться от ваших пилений. Но совсем оставить этого дела я не имею никакого права; я должен выслушать, что он мне скажет, как он объяснит свое поведение. Да успокойтесь же... даю вам слово, что ничего не будет.

Рыдания смолкли. Павел опять вышел в приемную все такой же красный, но уже на лице его не было заметно прежнего раздражения. Он увидел Сергея, который стоял ни жив, ни мертв.

— А, Горбатов! Я забыл совсем... прошу извинить, сейчас возвращусь.

Он оглядел комнату, взглянул еще раз на смущенное, побледневшее лицо Сергея, вздрогнул и прошел в «неприятную для гатчинцев комнату», не запирая за собой двери.

Сергей продолжал стоять и не сразу заме-

тил, что на него глядели тихие и покрасневшие от слез глаза показавшейся у порога женщины. Это была небольшая, стройная и грациозная фигура; миниатюрное, еще совсем молодое и замечательно нежное лицо никак нельзя было назвать красивым. Мелкие черты были неправильны. Но это лицо поражало какой-то внутренней красотой; такие лица производят несомненно сильнейшее впечатление, чем лица самых замечательных красавиц.

Сергею показалось, что святая Цецилия вышла из рамы прелестной картины и смотрит на него своими грустными, светлыми глазами. Он поклонился, не имея сил оторваться от этого милого лица и этих заплаканных глаз.

Ему ласково ответили на поклон — и грациозное видение исчезло.

XXIV. СРЕДИ СВОИХ

Видение исчезло... А с другой стороны, из растворенной двери, слышался опять голос великого князя.

С того места, где стоял Сергей, ему видна была почти половина комнаты. Он не знал, был ли кто там дальше, но в нескольких ша-

гах от него, почти у самой двери в первую приемную, где он познакомился с Кутайсовым, стоял, вытянувшись в струнку, молодой офицер, очень еще молодой, с приятным лицом. Он был страшно бледен, как бы сильно утомлен; но в то же время казался и спокойным: волнения и страха не было заметно.

Павел, подойдя к нему почти в упор, уже не кричал; напротив, его голос то и дело понижался почти до шепота, но отчетливого, ясного, в котором звучало едва подавляемое раздражение.

— Вы мне, сударь, ответьте одно, — говорил он, — знали вы мое приказание о том, что к сегодняшнему дню солдаты должны быть выучены новому приему?..

— Знал, ваше высочество, — спокойно ответил офицер.

— Так как же вы, сударь, не только что не выучили порядком вверенных вам солдат, но и сами выказали полнейшее непонимание. Ведь я сам видел: все вправо, вы влево! Солдаты не знают, что делать... кого слушаться... С них я не могу взыскивать; но вы... вы причиной общего расстройств; вы показали самый

возмутительный пример, расстроили весь план. Знаете ли вы, сударь (и голос его поднялся до крикливой ноты), знаете ли, что уважение солдата к офицеру — это первое дело! Солдат должен знать, что офицер не может ошибиться. А тут что же — какое к вам будет уважение, какой пример вы подаете! Тут было только учение... проба... маневры, но ведь это не простая игра. А представьте действительное сражение, и такой ваш поступок — ведь из-за вас сражение было бы проиграно, ведь русское оружие было бы покрыто позором!.. Что же, я ошибаюсь, я говорю неправду? Как вы о том думаете... отвечайте, прав я или нет?..

— Правы, ваше высочество, — опять спокойно проговорил офицер.

— Господин Семенов, вы насмехаетесь надо мною! — вдруг переставая владеть собой, крикнул Павел. — Как вы это говорите, каким тоном?.. Я вижу, вы нисколько не чувствуете вины своей, не понимаете, что такая вина в военном деле заслуживает самого строгого наказания!

Офицер побледнел еще больше и пошат-

нулся.

— Ваше высочество, — с трудом заговорил он, — если я виноват, то наказывайте меня, но я не знаю, что говорю... у меня мысли путаются.

— Отчего же это, со страху что ли? Так и в сем случае вам мало чести.

— Не со страху, ваше высочество, — едва ворочая языком, едва держась на ногах, сказал офицер. — Мои солдаты обучены изрядно, и если б я не ошибся, так они доказали бы это. Но я вчера получил письмо из Петербурга... Моя мать умирает... в бедности, почти в нищете, за лечение платить нечем... я у нее один... все, что могу, конечно, посылал ей, но мы сильно задолжали, еще с самой смерти отца, так все почти и шло на уплату долгов... Ее может теперь на свете нет, а я уж и проститься не мог с ней... не пустили, говорят: наутро ученье... сам знаю. Хотел было умолять ваше высочество, да вы изволили быть в Петербурге, поздно вернулись... всю ночь глаз не смыкал. Боже мой!.. Ваше высочество, если б вы знали, как добра моя мать, как всю жизнь мучилась, билась, чтобы только поставить меня

на ноги... Я не понимаю, как это случилось... знаю, что нужно вправо, а беру влево... вижу, что путаю, а все же продолжаю...

Голос офицера оборвался, из глаз закапали слезы. Он крепко стиснул зубы, чтобы удерживать рыдания.

Цесаревич несколько мгновений стоял перед ним молча и вдруг схватил его за плечо.

— Так что же ты, сумасшедший человек, — закричал он, — чего ты стоишь передо мною, чего время теряешь!.. Сейчас, сейчас отправляйся в Петербург... Живо, чтобы в минуту!.. Да вот, погоди...

Он повернулся и бегом мимо Сергея бросился в свой кабинетик. Через минуту он уже возвращался — в руке его были деньги.

— Возьми... многого не могу... да на первое время, может, и хватит... потом, если будет нужно, скажи... скажи прямо, слышишь! А теперь спеши...

Офицер, взволнованный и растроганный, уже не в силах был сдерживать рыданий; он целовал руку великого князя.

А тот, сам смигнув набежавшие слезы, тихим, ласковым голосом, говорил ему:

— И главное успокойся, может, все еще благополучно обойдется... может, и жива еще твоя старушка и выздоровеет... Бог не без милости... Ну, с Богом, голубчик, с Богом, не теряй времени!

Офицер, шатаясь, вышел, а Павел Петрович несколько раз в волнении прошелся по комнате. Когда он подошел к Сергею, ласково протягивая ему руку, в нем уже ничего не было общего с тем гневным, раскрасневшимся, с налитыми кровью глазами человеком, каким он был еще за несколько минут. Взглянув на его бледное лицо, озаренное ясными, ласково светящимися глазами, Сергей невольно подумал:

«Если б он всегда был такой, кто бы мог назвать его некрасивым?!»

Сергей глубоко был потрясен всем невольным им виденным и слышанным. И это виденное и слышанное не только не уменьшило его восторженного поклонения цесаревичу, но, напротив, еще усиливало.

— Рад, что ты приехал, — сказал великий князь, — хоть очутился здесь не вовремя. Ведь ты тут давно, я сам велел Кутайсову про-

вести тебя в эту комнату, да и забыл. Ты прямо попал в свидетели всех моих семейных дрызг...

— Ваше высочество! — начал, было, Сергей, — я не желал быть нескромным...

— Да нечего оправдываться, сударь, — улыбаясь перебил его цесаревич, — это уж такова судьба твоя, и оно, пожалуй, так и лучше... Я тебе доверяю... Я уверен, что ты не станешь болтать направо и налево. А после того, что привелось тебе видеть и слышать, мне уж нечего с тобою чиниться... Да, я крикун, я иногда совсем не умею владеть собою... Каюсь во грехе этом! Но что же делать?!.. Только вот жена да друг наш, Катерина Ивановна Нелидова, меня удерживают, не будь их, я совсем пропал бы... Скажи, ты видел Катерину Ивановну?

— Видел, ваше высочество, если только она — то чудное существо, которое выглянуло в эти двери.

— Конечно, она, кто же больше. Так она тебе понравилась? Впрочем, иначе и быть не может, она всем нравится. И нужно иметь слишком черное сердце, чтобы решиться кле-

ветать на нее!.. А клеветники все же находят-ся...

На мгновенье краска разлилась по лицу цесаревича, губы его нервно вздрогнули. Но вот он улыбнулся и шутливо продолжал:

— Только ты, пожалуйста, не подумай, что она ангел в образе человеческом! Нет, и в ней подчас бесенок сидит. Я по слабости своей даю ей слишком большую волю и иной раз такую выношу брань от нее, что упаси Боже... Думаю, когда-нибудь мы даже с ней передеремся... Ну, любезный друг, теперь мне надо кое-чем заняться, так я тебя проведу к жене и ей представлю; там с Катериной Ивановной поближе познакомишься, а часа через полтора и обед поспеет.

Цесаревич просто и дружески взял Сергея под руку и повел его к великой княгине.

Час времени в обществе любезных и образованных женщин прошел для Сергея незаметно. Великая княгиня обворожила его своей ласковой простотою, а об Екатерине Ивановне Нелидовой им уже было составлено самое высокое мнение, которое только с каждой минутой все укреплялось.

Раздался звонок, сзывавший к обеду. К столу собралось небольшое интимное общество и несколько офицеров. Павел Петрович, в котором было незаметно и следа утреннего раздражения, сам разливал водку по небольшим рюмкам и подносил из своих рук офицерам.

— А тебе, сударь, поднести? — спросил он, обращаясь к Сергею. — Водка у меня старая, с трех рюмок языка лишает и с ног валит, но я больше одной рюмки никому не даю.

— Я и одной не выпью, ваше высочество, — отвечал Сергей.

— Как, совсем не пьешь?

— Не пью!

— И прекрасно делаешь, мой друг, я тоже от всех напитков давно отказался, кроме вреда — ничего. Да, а попробуй завести в Гатчине общество трезвости и принимать в него членами господ офицеров — ведь от меня все разбегутся.

— Нет, ваше высочество, — сказал кто-то из офицеров, — гатчинцам нетрудно было бы освоиться с уставом сего общества. Вы нас и так исподволь готовите в его члены. Ведь рюмки-то год от году все меньше становятся!

— Меньше? Будто? — смеясь сказал Павел. — Может и так, только я тут не причinen, приказаний на сей счет никаких не давал, и это дело хозяйки — с нее вы и взыскивайте!..

В таком непринужденном тоне велась беседа почти во все продолжение стола. Обед был простой, но сытный и хорошо приготовленный.

Сергей снова увиделся с Кутайсовым. Хотя он и не был в числе обедавших — он стоял за креслом цесаревича, прислуживал ему, исполнял его приказания, но в то же время вмешивался и в общую беседу, совершенно свободно шутил и смеялся. Все, не исключая даже великой княгини и самого Павла, обращались с ним как с равным, а иные так даже выказывали ему особое почтение.

К концу обеда как-то незаметно он окончил свою роль камердинера и уж сидел рядом с гостями, поддерживая беседу шутками и юмором, который, как оказывалось, всегда попадал в тон великого князя.

Сергей чувствовал себя свободно и весело. Он заранее ожидал увидеть особый, своеобраз-

разный мирок; но никогда не мог подумать, что гатчинский дворец был таков, каким теперь оказался. Тут не существовало ровно никакого этикета, и если бы не произносились по временам слова «ваше высочество», то можно было бы подумать, что находишься в кругу нечиновных, веселых офицеров. Впрочем, в подобном кругу редко можно было встретить такого образованного, остроумного и изящного человека, каким казался совсем развеселившийся Павел. Его шутки были всегда так неожиданны, тонки и остроумны; он умел-таки посмеяться над маленькими слабостями окружавших его, нисколько при этом их не обижая, умел так хорошо рассказывать...

Заговорили, между прочим, о Франции, о последних событиях в Париже, о страшной революции, с каждым днем развивавшейся.

Павел нахмурил брови и грустно покачал головою.

— Да, это ужасно! — сказал он. — И кто бы мог подумать несколько лет тому назад...

— Помнишь, Marie, — обратился он к великой княгине, — помнишь, как во время наше-

го пребывания в Париже все было там счастливо, тихо, лучезарно! Да, господа, тогда казалось королевское семейство счастливейшим семейством в мире. И какие чудные люди! Король Людовик — это воплощенная доброта и благородство; королева — грация, ум, таланты... Но, видно, одного ума мало, мало доброты и благородства. Королева погубила себя своим умом, король — своей добротой. И пусть говорят мне что угодно, но я утверждаю, и в скором времени вы увидите, правли я, что оба они погибли и погубили Францию. Я жду всевозможных ужасов... Их ничто теперь не спасет. Зверь, страшный зверь выпущен из клетки. Король вообразил, что он может действовать на зверя своей кротостью, своим благородством, но ведь зверь бессмыслен, высоких чувств не понимает... Королева вообразила, что она может укротить зверя своей смелостью, энергией; вошла в клетку безоружная, полагаясь только на силу своего гордого, самоуверенного взгляда, вошла как убежденный в своем влиянии укротитель; но зверь чересчур голоден, он растерзает ее на части, как часто растерзывает самоуверен-

ных укротителей... Европа будет свидетельницей ужасов, и хорошо, если сумеют вовремя поставить преграду вырвавшемуся зверю... Я полюбил короля Людовика и прекрасную Марию-Антуанетту. Они оба оказывали нам такое внимание, такое радушие, и мне теперь тяжело о них думать. Я еще недавно видел страшный сон, о какой страшный!..

Цесаревич побледнел, вздрогнул и продолжал с горящими глазами:

— Я видел окровавленную голову Людовика!..

Он оглядел присутствовавших, но некоторые офицеры уже удалились сейчас же после обеда, остались только самые близкие к цесаревичу и великой княгине лица.

— Господа, — мрачно сказал он, — все, что я говорю, конечно, останется между нами, о таких вещах нельзя рассказывать, мало ли что снится... Но этот сон был так ярок, я не могу забыть его... Эта окровавленная голова!.. Мне чувствуется, что сон мой может сбыться...

Его мрачное настроение, его вдохновенный, убежденный голос начали производить

тяжелое на всех впечатление.

— Ах, эти сны! — проговорила великая княгиня. — Мой друг, ты всегда придаешь им слишком много значения и напрасно волнуешься. Было бы слишком страшно жить на свете, если бы пришлось верить всем страшным снам...

— А между тем я не могу не верить, — как-то таинственно прошептал цесаревич. — Не только во сне, но и наяву я видел такие вещи, которые способны навек потрясти человеческую душу...

Он вздрогнул, побледнел еще больше и замолчал.

Разговор мало-помалу принял другое направление.

Цесаревич приказал заложить сани и предложил Сергею с ним прокатиться.

Во время прогулки они много и оживленно говорили. Разговор Павла переходил с предмета на предмет, показывая как он глубоко всем интересуется. Он расспрашивал Сергея о деревенской жизни, о провинциальном обществе, о помещичьих нравах.

— Все это так интересно, — говорил он, —

и все это так необходимо надо знать. Если бы была малейшая возможность, я бы на несколько лет, скрывая свое имя, отправился один путешествовать по России, чтобы проникнуть во все слои общества, чтобы во всем убедиться, а главное, узнать все нужды русской жизни. Я почти с детства мечтал об этом, но, конечно, это неосуществимая мечта. А между тем сколько неизбежных ошибок, сколько заблуждений — потому, что эта мечта неосуществимая. Я всегда громко говорил и говорю, хоть меня и не слушают, что эти господа жестоко ошибаются, думая будто они все знают и все понимают. Петербургская жизнь, доступная нам, совсем иная, чем вся русская жизнь. Иной раз думаешь обо всем этом, и слишком тяжело становится... О чем задумался, друг мой? — вдруг спросил Павел, пристально всматриваясь в лицо Сергея.

— Прикажете правду сказать, ваше высочество?

— Конечно, и без всяких рассуждений... Если хочешь лгать и кривить душою, так лучше ничего не отвечай.

— Нет, я не солгу. Я задумался вот о чем:

слушая слова вашего высочества, соображая все ныне виденное мною и слышанное, мне все больше и больше хочется обратиться к вам с большою просьбой...

— Что такое, говори скорее!

— Ваше высочество, найдите мне местечко в Гатчине, возьмите меня к себе, я вам верно служить буду.

Павел Петрович ласково улыбнулся.

— Спасибо, голубчик, но просьбы этой все же не исполню. И поверь, этим сам себя лишаю большого удовольствия. Если ты расположен ко мне, то здесь ли, там ли — теперь это все равно, но я-то, желая тебе добра и боясь быть причиной многих для тебя неприятностей, я не могу в настоящее время, когда обстоятельства твои уже сложились известным образом, переманить тебя в Гатчину... Поверь, ни тебе, ни мне никогда не простят этого! Живи там, служи, успевай, но в душе оставайся гатчинцем — вот служба, которую я жду от тебя.

Сергею стало грустно, но в то же время он понимал, что цесаревич прав, этого мало, что он о нем заботится и выказывает ему такое

расположение, какого пока он еще ничем не успел заслужить.

Он уехал, когда стемнело, и вернулся в Петербург истым гатчинцем.

XXV. ЧЕМ КОНЧИТСЯ?

Поездка в Гатчину произвела на Сергея такое впечатление, что Рено даже испугался.

Сергей до сих пор нисколько не изменился в своих отношениях к воспитателю и с прежней, привычной откровенностью всегда передавал ему каждую мелочь, рассказывал о каждой своей встрече, обо всем, что с ним за день случалось. Рено уже давно понял, что обстоятельства складываются не совсем благоприятно для его планов — Петербург оказывается не станцией по дороге в Париж. Со всех сторон начинают появляться препятствия к достижению заветной цели.

Прошло всего два-три месяца, как они здесь, а вот Сергей уже далеко не тот, каким был в Горбатовском. Новая жизнь охватила его и увлекает за собою. Юноша сразу встретил большой успех, его ожидает карьера. Рено старательно вслушивается в каждый рас-

сказ Сергея, взвешивает каждое слово; но, кроме того, до его слуха достигают и другие рассказы об успехах его воспитанника, он уже знает про городские толки, соображения, ожидания. Он не может не смущаться. О такой быстрой и опасной карьере для Сергея он никогда не думал и он вовсе ее для него не желал. Он видел теперь, что не следовало допускать этой поездки в Петербург, а ведь он мог бы ее не допустить, его влияние было бы тогда достаточным.

«Да, следовало бы совсем сюда не ехать. Мало ли под каким предлогом можно было отказаться. Нужно было ехать прямо за границу, прямо во Францию. Но кто же мог все это предвидеть!..»

И повторяя себе: «кто это мог предвидеть!..», он все же сознавал, что непременно должен был это предвидеть. Молодой человек, красивый, милый, благовоспитанный, с огромным состоянием и большими связями! Конечно, легко было понять, что петербургское общество, раз заручив в свою среду такого человека, постарается его не выпустить. Бедный Рено ясно видел, что теперь, то есть в

скором времени, нечего и думать о заграничном путешествии.

А дальше что будет?

Сергей изменился, он с видимым удовольствием позволяет увлекать себя этой новой жизнью, но ведь все же до известного предела. Товарищи мало имеют на него влияние, он до сих пор остается все тем же чистым, невинным ребенком, каким был в Горбатовском; вряд ли и честолюбие в состоянии завлечь его. Нет, он ничем не пожертвует этому честолюбию; как избегнул соблазна фараонки, точно так же избегнет и других соблазнов...

«Испортить и развратить его трудно, но ведь его погубить можно в этом омуте интриг и честолюбия... Он может оказаться жертвою интриганов, вся его жизнь может быть испорчена!» — с тревогой думал Рено и жадно следил за каждым шагом своего воспитанника.

А вот и новое влияние!

Рено тотчас же увидел, что Сергей вернулся с нарышкинского бала совсем влюбленным, очарованным. Он в первую минуту даже подумал, что его предсказание исполняется, и

вот уже, действительно, наконец, нашлась соперница Тане, что юноша не на шутку пленился какой-нибудь красавицей.

Но признание не замедлило со стороны Сергея. Он оказался влюбленным в цесаревича, и это восторженное поклонение еще выросло после поездки в Гатчину.

Сергей только и мог говорить с Рено что о Павле. Рено понимал, что иначе не могло и быть, что воспитанник остается верным самому себе, и все это ничто иное, как выражение благородной и чистой природы Сергея, выражение его юной души. Он не поддался обычным соблазнам, на которые обыкновенно легко ловятся юноши его лет, его пока еще не ослепили даже успехи. Но таинственный образ цесаревича, бедная тихая Гатчина и прием, оказанный в ней Сергею, — вот настоящий подводный камень, о который очень легко разбиться всем мечтам Рено, всем его планам.

— О, Рено! — говорил Сергей воспитателю в одну из редких теперь минут их дружеской беседы с глазу на глаз, — каждый день убеждает меня в том, что внезапная мысль, мельк-

нувшая у меня в Гатчине, была светлой мыслью!.. Мое место там, возле цесаревича, и только там я могу быть счастлив и спокоен. Он этого не хочет, он думает о моей карьере — но что такое карьера? Зачем мне она?..

— Так ведь об этом нужно было заранее подумать, любезный друг! — перебил его Рено, по-видимому, спокойным голосом, но в душе сильно волнуясь. — Что же, вы полагаете, что отказавшись теперь от своей службы по иностранным делам, уйдя от графа Безбородки, вы не навлечете на себя гнев государыни? Она сама позаботилась о вас, устроила все, она дала вам придворное звание, и вдруг вы все это бросаете и удаляетесь в Гатчину!.. Как вы полагаете, можно будет равнодушно встретить такой ваш поступок?.. Это будет оскорбительно для всех, кто принял в вас участие, это будет такая плохая благодарность за внимание государыни и ее милости, что, вероятно, многие порядочные люди изменят о вас доброе мнение. И они будут правы... Так не поступают...

Сергей стал было доказывать, что можно все это сделать не вдруг, не резко, а испод-

воль, устроить так, что все это выйдет как бы само собою...

— Я могу оказаться неспособным к тому делу, которым теперь занят. Граф Безбородко не захочет терпеть неспособного, бесполезного ему человека...

— Фу, какой вздор вы говорите, Serge!

И почти всегда спокойный, Рено начал кричать в негодовании и волнении.

— Я никогда не думал, что вы можете дойти до подобных рассуждений! Да нет, вы ведь сами хорошо понимаете, что все это вздор, что ничего подобного не сделаете и не можете сделать!..

Сергей должен был замолчать, потому что он, конечно, понимал, что действительно говорит вздор, что в настоящее время переселение в Гатчину — мечта не исполнимая.

— И этого мало, — говорил Рено, — вы можете как вам угодно восхищаться великим князем и любить его, но вы будете настолько благоразумны, чтобы не носиться с этой любовью и восхищением перед всеми. Со мной хоть только об этом и говорите. Пишите про ваши чувства княжне Тане, но только осто-

рожнее, чтобы она не узнала правду...

— Что такое? Какую правду я должен от нее скрывать?!

— А то, что вы великого князя любите больше, чем ее.

Сергей тихонько улыбнулся.

— Нет, Таня-то меня ревновать не станет, а вот вы, Рено, так, кажется, и вправду ревнуете!

Рено совсем покраснел.

— Вы сегодня такие вообще говорите глупости... Вам возражать на них я нахожу невозможным... Лучше не перебивайте, а выслушайте до конца. Я хотел вам сказать, просить вас — послушайтесь моего совета, который, как я вижу из ваших слов, согласуется и с желанием великого князя — не ищите встреч с ним, не ездите часто в Гатчину... Одним словом, надо серьезно постараться о том, чтобы ваши с ним отношения никому не были известны.

— К несчастью, поневоле приходится следовать вашему совету, — грустно проговорил Сергей, — вот уж больше двух недель я не видел его и не далее как сегодня получил от

него уведомление, чтобы без его приказа не ехать в Гатчину...

Рено несколько успокоился.

Сергей продолжал свою веселую жизнь и нетрудную службу. Он часто получал приглашения в Эрмитаж, где государыня была к нему неизменно милостива и иногда подолгу с ним беседовала. Эти беседы бывали интересны и серьезны. Сергей изумлялся всесторонности и глубине познаний императрицы, той легкости, с которой она переходит от одного предмета к другому, сейчас же овладевая новым предметом, как будто он-то именно и был ее специальностью и исключительно всецело занимал ее мысли.

Иногда суждения, высказываемые императрицей, были не совсем по вкусу Сергею, шли вразрез с его любимыми мыслями и взглядами. Он не мог, конечно, позволить себе спорить с нею, но все же не мог удержаться от некоторых замечаний и вопросов. Екатерина любила замечания и вопросы.

Они показывали ей, что говоривший с нею, действительно, интересуется предметом и давали ей возможность развивать свои

мысли.

Она никогда почти не увлекалась, редко волновалась и возвышала голос, вполне владела своей мыслью и отчеканивала ее в ясной и сжатой фразе. Иногда она успевала кое в чем и убедить Сергея, как и прочих слушателей...

Сергей очень любил подобные беседы с государыней.

Но вот в последнее время все чаще и чаще заводились другие беседы, доказывавшие, что государыня уже совсем освоилась с новым молодым придворным и смотрела на него как на члена своего интимного кружка.

Он был уже посвящен в ее литературные, эрмитажные забавы, присутствовал при представлении ее комедий. Она являлась перед ним любезной хозяйкой, остроумной женщиной, он мало-помалу узнал все ее отношения, ее симпатии и антипатии. Но и тут, в этой интимной, скрытой от посторонних глаз жизни, Екатерина-женщина часто уступала место Екатерине-императрице. Он знал, что она расположена к такому-то и такому-то, что напротив, такой-то и такой-то ей решительно

неприятны, а между тем эти неприятные люди занимают высокие влиятельные места, императрица осыпает их щедротами, и в то же время милых, симпатичных ей людей, которым она во всех мельчайших случаях высказывает истинное расположение, она не выдвигает слишком далеко вперед, не дает им важных назначений, милости свои ограничивает личным вниманием, богатыми подарками.

Приглядываясь, Сергей ясно видел причину этого: неприятные люди обладают большими талантами, приносят пользу тому делу, к которому приставлены; милые и симпатичные люди, несмотря на все свои достоинства, не имеют этих талантов.

Сергею начинало сильно хотеться узнать, к какому же разряду причисляет его императрица, видит ли она в нем задатки каких-нибудь способностей, думает ли она, что он может на что-нибудь пригодиться, если не теперь, так впоследствии.

Он никак не мог решить этого вопроса, но видел одно, что императрица уже привыкла к его присутствию и смотрит на него как на

своего человека. Этого мало. Она часто с ним шутит; но он не любит этих шуток. Ему в такие минуты кажется, что она принимает его совсем за ребенка, а он еще настолько молод, что обижается, когда его считают ребенком...

На эрмитажных собраниях иногда появляется цесаревич. Но он редко долго остается. Он держит себя в стороне от всех, он почти не обращает внимания на Сергея и заговаривает с ним только тогда, когда видит, что этого никто не заметит. И в то же время Сергей чувствует, что цесаревич всегда следит за ним, не выпускает его из виду. Он уже не раз подмечал на себе его быстрые взгляды во время своих разговоров с кем-либо из влиятельных лиц, с самой государыней.

Сергей по-прежнему остается почти в стороне от молодого женского общества. Он даже перестал ухаживать за прелестной кухиной Марьей Львовной, которая после отъезда Потемкина успела найти себе немало новых развлечений. Ее красота, к которой Сергей уже пригляделся, не производит на него прежнего впечатления. Он не одобряет ее легкомысленного кокетства. Встречаясь с ее го-

рячим, заманчивым взором, прежде бросавшим его и в жар, и в холод, теперь он остается равнодушным. Ведь многие, и не только молодые люди, но и старики, удостаиваются подобных взглядов с ее стороны, и эти заманчивые взгляды ровно ничего не значат.

Теперь петербургские красавицы объявляют маленькую войну Сергею, пускают на его счет насмешки. Но он не обижается, ему даже весело, потому что он хорошо понимает, что стоит ему только захотеть — и эта война превратится в самый сладостный мир, а язвительные стрелы — в стрелы амура.

Государыне его поведение очень нравится; она уже не раз называла его монахом — и с такой ласковой улыбкой.

Ему хорошо, привольно, он не замечает, как идет время. Но вот в его настроении происходит внезапная перемена, что-то случилось, чего он определить хорошенько не может. С некоторого времени он отчего-то уж без прежней радости отправляется во дворец, смущается при каждом приближении к нему Екатерины, ему иногда становится как-то неловко, грустно...

Что же случилось? Да ровно ничего не случилось. Или у него явились какие-нибудь новые планы, цели, стремления? Или он, подобно другим, уже успел сделаться интриганом?

Нет, он такой же искренний и добродушный юноша, как и прежде, и ему не в чем упрекать себя.

А между тем тяжесть не проходит, неловкость увеличивается.

Конечно, эти неясные ощущения, неясные мысли приходят только временами, а когда уходят, то опять поднимается молодая радость жизни, жажда веселья, и дни мелькают в нескончаемых праздниках, не в гостях, так у себя.

Дом молодого Горбатова посещается лучшей петербургской молодежью. Граф Сомонов и Бабищев давно с ним помирились, признали себя совсем побежденными и только иногда, и то с большой оглядкой, немного подтрунивают над его скромностью и ребячеством. Он, конечно, им не поминает старого и нисколько на них не в претензии за их маленький заговор, который вдобавок и окончился-то к их посрамлению.

— Но только ты берегись, Сергей, — говорят ему приятели, — ты нажил себе такого врага, от которого можно ожидать чего угодно. Фараонка наша тебя ненавидит... И так вся и побледнеет даже, как услышит твое имя. «Никто, говорит, ни разу в жизни не оскорбил меня так, как этот человек, и уж отплачу же я ему, не умру спокойно, пока не отомщу». А теперь знаешь, ведь она страшная и хитрая, и злобы в ней не меньше, чем у любой пантеры...

Сергей смеялся и уверял приятелей, что нисколько не боится коломенской пантеры.

И уж, конечно, не признался он им, что она не раз ему снилась во всем обаянии своей красоты и страсти.

Эти яркие и горячие сны были ведь тоже своего рода отмщением. Но Сергей призывал на помощь нежные и светлые воспоминания о Тане и искал успокоения в ее милых письмах...

Рено скучал и хандрил. Он успел познакомиться со многими своими соотечественниками, жившими в Петербурге, но, за малыми исключениями, все это были люди, с которыми

ми он не имел почти ничего общего. Письма к нему из Парижа давно не приходили. Забыли ли его тамошние друзья, или писем просто не пропускали — он не знал.

Из иностранных газет, получаемых Сергеем, он узнавал, что революция развивается с каждым днем, что в Париже теперь кипит самая горячая, деятельная жизнь, что там много дела, к которому и он мог бы приложить руки. Он уехал из Парижа совсем в другое время, и все теперешние обстоятельства представлялись ему совсем не в том виде, в каком они действительно были. Он видел только одну светлую сторону революции, ждал от этого могучего движения самых благих последствий, не верил в возможность ужасов, несправедливостей. Для него революция была благородная борьба за самые дорогие права человечества, и горячий мечтатель, он страстно и наивно мечтал на эту тему. А тут приходилось жить день за днем, однообразно, скучно, и он тоскливый, мрачный, слонялся по роскошным, заново отделанным комнатам обширного дома своего воспитанника.

Рено часто сталкивался с карликом Моськой, но среди мечтаний не замечал его пристальных взглядов, его злорадных усмешек.

Между тем Моська торжествовал и злорадствовал. Он давно знал замыслы француза увезти Сергея в Париж и боялся этой поездки пуще всего на свете. Ему так хотелось видеть своего Сергея Борисовича близким ко двору, окруженным почетом, в больших чинах, увешанным орденами.

«Отец поупрямился, отец, ничего не видя, прожил весь век свой в деревне, так по крайности сынок наверстать должен, за себя и за родителя отличиться...»

Моська каждый вечер приходил в спальню Сергея и выпросил у него позволения раздевать его.

Во время этого раздевания, когда Сергей не был очень утомлен и не объявлял ему, чтобы он уходил, что спать хочется, Моська хитро расспрашивал его о том, о другом и почти всегда успевал узнавать все, что ему было нужно.

Он знал, как хорошо принят Сергей Борисыч во дворце, как к нему милостива госуда-

рыня, знал также и о том, что он был в Гатчине у цесаревича.

«И это хорошо, — думал он, — даже очень хорошо, это большая заручка. Люди-то ох как глупы... О завтрашнем дне не думают, кто нынче в силе, тому и кланяются...»

Он помнил Павла Петровича маленьким мальчиком и тоже, по-своему, принадлежал к числу его горячих приверженцев и даже иногда, только с большою осторожностью, называл его «государем».

— Ну, так как же мы теперь, батюшка Сереженька? — говорил он, засматривая в глаза Сергея. — Ведь этак, пожалуй, из Питера совсем и не выберемся и Горбатовское не скоро увидим?

— Да где тут выбраться! — печально отвечал Сергей. — Дай Бог, летом недели на три, на месяц получить отпуск, а о большем и думать нечего.

— Ну, что же, вестимо, служба-то не свой брат, и грустить тут нечего. Оно, конечно, Марья Никитишна, чай, ждет не дождется, ведь ей хоть глазком взглянуть на сыночка, денька три, и того довольно. А главное — знать бы

ей да ведать, что сынок в добром здоровье и все идет как по маслу. Я вот, батюшка, кажиную неделку ей про твою милость отписываю...

— Что же ты такое пишешь? Хоть бы показал мне.

— Чего показывать, интересу мало. Вот, мол, встали Сергей Борисыч в такому-то часу, кушали то-то, тот-то был у нас, туда-то, мол, отправились, в котором часу вернулись... ну и все такое... а материнскому сердцу оно и приятно...

Под эту болтовню карлика Сергей засыпал, и Моська тихонько отправлялся в свою комнату, довольный и веселый.

«Вот ты и гриб съел, басурманская крыса! — радостно думал он. — Вот и на нашей улице праздник, кончилось твое царство! Что там ни говори теперь, как ни болтай своей трещоткой, а Парижа своего не увидишь... И здесь хорошо Сергею Борисычу, чего ему на заморскую невидаль смотреть! А то, коли тебе так уж тошно, и отправляйся восвояси, отправляйся себе один туда, откуда взялся... Не бойся, плакать о тебе не станем...»

XXVI. В ЦАРСКОМ

Между тем среди придворных развлечений и веселий, среди больших и маленьких забот и тревог, слухов, толков, пересудов и ожиданий незаметно подкралась весна. К концу апреля из Царского Села пришло известие, что там уже снег давно стаял, парк высох и необходимый ремонт дворца окончен. Погода стояла чудесная, и 28 апреля императрица переехала в свою летнюю резиденцию. Накануне этого переезда она подошла в Эрмитаже к Сергею и сказала:

— Не правда ли, здесь уже так душно и нехорошо стало, мне кажется, что я замечаю на всех лицах усталость. Вот и ты как будто побледнел, а вам это вовсе не к лицу, нужно вернуть румянец, и, я надеюсь, мы его вернем в Царском. Я уже распорядилась, чтобы вам там был маленький pied-arterre, знаю, что тесно, неудобно, да что делать! Впрочем, это незаметно — там мы весь день все вместе... Люблю я мое Царское Село — хорошие бывали там времена, что-то это лето скажет!..

Сергей откланялся, благодаря императрицу за ее внимание, и в то же время смутно и

тоскливо было на душе у него. Она верно заметила — он побледнел, он в первый раз в жизни чувствовал себя как будто утомленным. Ему было душно, казалось, не хватает воздуха, хотелось вырваться из затуманившей его городской атмосферы, хотелось полей, лесов.

Это была первая весна, которую он встречал среди душного города. Ему некогда было и заметить ее — он чувствовал ее приближение только временами, когда поднималось особенное томительное и сладкое ощущение, неясная, тихая грусть, тоска, когда все чаще и чаще вспоминалась Таня. Теперь он написал ей одно за другим длинные письма, вознаграждая ее за долгое зимнее молчание, он обещал ей и матери отпроситься непременно летом в деревню. Но посылая им эти обещания, он почти наверное знал, что не придется их исполнить — где уж тут вырваться! Вот и в Царском Селе pied-a-terre приготовлен! Но хоть в Царское, только бы скорей из города!..

И вот опять перед ним маленький городок с дворцом и густым парком. Но как этот городок не похож на Гатчину! Это действительно

царская резиденция: роскошный дворец ничем не уступает петербургскому. Всяких затей дорогих, «капризов», как их называет Екатерина, видимо-невидимо! С утра и до вечера в городе шум, движение. Ко дворцу и от дворца катятся нарядные экипажи, проходят шеренги гвардейцев в своих красивых мундирах, с музыкой и барабанным боем. По петербургской дороге мчатся курьеры, кареты, коляски сановников. В живописных рощах мелькают веселые кавалькады...

Вечер был такой ясный, теплый и тихий, когда Сергей в первый раз спустился из дворца к царскосельскому озеру. Это озеро, все покрытое маленькими, красивыми лодками, казалось будто нарисованным: его обрамляли живописные группы только что распустившихся или распускавшихся деревьев, между которыми мелькали павильоны и статуи. Веселая шумная жизнь кипела повсюду. На ярко-зеленой траве то там, то здесь мелькали гуляющие нарядные дамы и девушки, нарядные кавалеры; слышался веселый говор, смех, плескались весла лодок. Еще вчера тихий парк вдруг совсем оживился: испуганные,

изумленные, в ветках прятались векши; одни только птицы, не смущаясь человеческими голосами, заливались по-весеннему и где-то далеко-далеко куковала кукушка, предвещающая Сергею долгие, счастливые годы.

Но он не был теперь счастлив — все тоскливее и тоскливее становилось на душе его, да и кругом, с первого же дня переселения двора в Царское, замечалось что-то странное. Все хорошо видели и сознавали, что это лето не может так весело и мирно кончиться, как кончались прежние.

Императрица принимала участие во всяких *parties de plaisir*, в прогулках, она, как и всегда, вставая рано утром, бродила по своим любимым дорожкам, опираясь на тонкую палочку, сопровождаемая своими любимыми собачками. Она, как и всегда, милостиво разговаривала со встречными, шутила, смеялась, но иногда вдруг шутка у нее оборвется, смех замрет. Все чаще и чаще она вздыхает — и между придворными проносится шепот.

Несколько раз на прогулках она подзывала Сергея и опиралась на его руку. Она несколько раз спрашивала его об его семей-

стве, о матери; он пользовался этими случаями, чтобы намекнуть на свое желание съездить в деревню; но императрица будто не понимала и переменяла разговор.

С каждым днем все тяжелее и тяжелее становились для него эти прогулки. Он Бог знает что бы дал, чтобы только уехать из Царского, даже хоть и не в Горбатовское, а просто куда-нибудь уехать. А между тем его положение при дворе, очевидно, начинало упрочиваться: его решительно все ласкали, мало того, к нему уже начинали относиться с большим почтением, в нем, видимо, заискивали люди, положение которых было несравненно значительнее его положения. Его уже несколько раз просили упомянуть о том, о другом в разговорах с императрицей. Он всеми силами старался отвечать любезностями на любезности, но ему так не нравилось все это, он уже не верил почти ничьей искренности. Ему пришлось в короткое время изменить свое мнение о многих людях, которые так ему понравились сначала.

Но теперь, в Царском Селе, завязались у него и новые отношения: он вдруг сблизился

с человеком, с которым никак не воображал сблизиться, — с графом Мамоновым.

Мамонов в первое время появления Сергея при дворе не обращал на него никакого внимания, относился к нему очень свысока, но вскоре, после маскарада у Нарышкина, это изменилось. Граф как-то на одном из собраний в Эрмитаже подошел к Сергею, любезно заговорил с ним, пригласил его к себе. Это приглашение было не особенно приятно Сергею — Мамонов ему не нравился, его что-то от него отталкивало, но было крайне неприлично и даже опасно отказаться от приглашения всеильного вельможи. Сергей отправился к нему в его роскошное помещение, которое он занимал во дворце.

Он застал хозяина среди самой изящной обстановки. Мамонов радушно его встретил, а ведь он видел, с каким высокомерием и презрением он относится ко многим сановникам. Но, очевидно, он умел быть простым и милым, когда этого хотел. Это было свидание двух молодых людей, равных по своему общественному положению.

Мамонов сейчас же постарался доказать

Сергею, что он интересуется и литературой, и наукой, показал ему новые, только что полученные из-за границы издания, даже решился высказать несколько суждений политического свойства. Теперь он показался Сергею неглупым, даже способным, но неглубоким человеком. Показался он ему также и очень грустным, действительно страдающим.

Затем Мамонов в скором времени отдал визит Сергею, и они до переезда в Царское еще несколько раз виделись. Их сближение, конечно, было замечено многими, и это несколько не повредило Сергею, напротив того, за ним стали еще больше ухаживать.

В Царском им пришлось чаще видаться: Мамонов, очевидно, искал встреч, и Сергей уже не избегал их. Он начинал понимать этого человека, который сначала казался ему таким антипатичным, он начинал жалеть его, потому что видел теперь всю силу его страданий. Две-три случайные прогулки вдвоем в глубине парка окончательно их сблизили. В последнюю из этих прогулок Мамонов много говорил Сергею о себе, о своих обстоятельствах, наконец, он кончил тем, что стал уве-

рять его в своей дружбе.

— Знаете ли, Сергей Борисыч, — сказал он, беря его под руку и заглядывая ему в глаза своими грустными, красивыми глазами, — знаете, что мне сегодня так тяжело, как никогда. Меня всю ночь не покидала мысль... ужасная мысль... меня так вот и тянет покончить с собою...

Сергей вздрогнул и испуганно взглянул на него.

— Разве такими вещами можно шутить, граф?

— Я не шучу нисколько.

И говоря это, он был так бледен, глаза его так странно блестели, рука его так дрожала, что Сергею стало и страшно, и очень жалко его.

— Неужели вы так несчастны... вы, которому все завидуют?

— Завидуют... — как-то страдальчески улыбнулся Мамонов. — Есть чему завидовать! Завидуют и ненавидят! А спросите — за что? Кому я зло сделал? Напротив, я помогал очень многим... Я знаю, что говорят про меня... меня обвиняют в гордости, в заносчиво-

сти, в презрении к людям... Мне кажется, я никогда не был гордым, но я в последние годы научился понимать людей, я узнал им настоящую цену, и если я обращаюсь с кем пренебрежительно, так потому, что знаю, что эти люди ничего другого не заслуживают. Да, я многих презираю, но презираю и себя не меньше других...

Он опять вздрогнул и закашлялся.

— Кто знает, как я живу?! — продолжал он прерывающимся голосом, отдаваясь порыву волнения. — Мне не с кем душу иногда ответить, и вот я рад, что встретил хорошего человека... я чувствую, что теперь многое могу рассказать вам. У меня много накопилось — надо высказаться. Но вам я могу говорить все — я знаю, что ничего дурного из этого не выйдет... Я вам верю — вы не такой, как они все... У вас есть сердце, вы молоды и не развращены. Я был бы счастлив, если бы мы с вами стали настоящими друзьями.

Сергей искренне протянул ему руку.

— Вы во всяком случае можете рассчитывать, граф, что ваша откровенность высоко ценится мною и что я был бы очень рад, если

бы мог чем-нибудь вас успокоить.

Скоро, сами не замечая как это сделалось, удаляясь все больше и больше в глубину парка, они говорили как старые друзья, откровенно и искренне.

Сергей увидел в Мамонове совсем нового человека — это был уже не блестящий, честолюбивый и, как о нем почти все говорили, зазнавшийся вельможа, это был молодой человек с сердцем и совестью, слишком дорого платящий за свое легкомыслие.

— Ах, если б я мог все вам сказать! — говорил Мамонов.

— Да и говорите, лучше высказаться разом — легче станет, — перебил его Сергей. — Я вам помогу, я сам назову ваше несчастье — вы любите!

Мамонов остановился в изумлении.

— А! Это уже вам известно — значит, об этом говорят все, все знают...

— Я не могу вам сказать знают ли все — я всегда стараюсь не слушать о чем говорят, — но я-то давно знаю тайну и совершенно случайно.

И он рассказал ему, как на маскараде у На-

рышкина случайно услышал его разговор с «венецианкой».

Мамонов шел несколько минут, опустив голову и тяжело дыша.

— Так, значит, мне нечего перед вами скрывать?! Да, я люблю ее, и это целый год длится... Но понимаете ли — ведь это не каприз, не такая любовь, которая может завтра кончиться, это дело всей жизни. Понимаете... понимаете, в каком я положении?!

— Что же вы намерены предпринять? Чем все это кончится?

— Вы это скоро увидите... Я решился.

— Решились?.. На что?

— Я не могу дольше тянуть этого... На днях же я буду просить у государыни разрешить мне жениться на княжне Щербатовой.

— Вы?.. У государыни будете просить?..

— Да, если до тех пор не покончу с собою...

— Дай Бог вам всякого счастья!

— Счастья... я не думаю, чтобы у меня было счастье — мне в него не верится... Но, во всяком случае, хуже, чем теперь, не будет. Ах, Боже мой, чем... чем все кончится, я не могу себе и представить!..

— Я вам предсказываю, что вы будете счастливы, — сказал Сергей твердым, уверенным голосом и крепко сжал руку Мамонова.

Но рука его была холодна, как лед, лицо бледно; он был подавлен и крайне грустен. Теперь он казался Сергею таким благородным, таким прекрасным человеком: он сразу вырос в глазах его. Но, конечно, Сергею и в голову никогда не могло прийти, чего стоило Мамонову только что высказанное им решение. Это решение было им принято еще около года тому назад, и между тем вот до сих пор он не мог привести его в исполнение. Он мучился, лгал себе и другим, доходил до отчаяния, готов был действительно наложить на себя руки и все не мог решиться, и все тянул...

Даже и теперь-то ему казалось, что никогда не наступит этот день, что он никогда не решится сам на себя наложить руки. Он все заглядывал в будущее, все хотелось ему так или иначе предотвратить беды, которые он уже предчувствовал, удержать за собою то, к чему он привык и чего, раз достигнув, ему трудно было лишиться. Да вот и теперь, хоть он и угадал в Сергее хорошего и благородного

юношу, хотя он и говорил с ним искренне, но это сделалось случайно, а до этой прогулки он искал с ним сближения, тоже задумываясь о будущем...

XXVII. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Проходили дни, недели, по-видимому, не принося никаких изменений в обычном ходе придворной жизни. Государыня, по-прежнему, в определенные часы занималась делами, выслушивала доклады, много гуляла, принимала участие в различных увеселениях, а между тем все замечали в ней с каждым днем усиливавшуюся перемену. Сергей уже раза два заставал ее с покрасневшими глазами: она, видимо, чем-то тревожилась. Ее грустное настроение не могло не отражаться и на всех окружавших, и все временами как-то притихали, озабоченно поглядывая друг на друга и перешептываясь.

Сергей иногда уезжал из Петербурга по делам службы и часто возвращался в Царское вместе с графом Безбородко и его молодым красивым племянником, Милорадовичем, которого граф недавно представил государыне и который теперь часто появлялся во дворце.

Мамонов оставался все таким ж сумрачным, видимо, избегал общества и, наконец, стал избегать даже Сергея. Они уже не возвращались более к откровенному и дружескому разговору.

Мамонову нелегко было глядеть на Сергея — он понимал, что слишком долго тянет, и все же никак не мог решиться.

Однажды Сергей его встретил утром в одной из дальних аллей парка вместе с княжной Щербатовой. Он издали им поклонился и свернул в сторону на первую попавшуюся дорожку. Он не мог не подивиться одному — каким образом эта девушка возбудила такую страсть в Мамонове. Она была недурна, но не особенно красива и, главное, в ней не замечалось ничего привлекательного, приятного.

Глядя на нее, Сергей всегда думал, что она не может быть добра, а, напротив, верно, она даже и злая; ума ее также никто не замечал, и вообще она была довольно бесцветна.

В это же утро Сергею предстояла и другая еще встреча. Во дворце, у покоев императрицы, он увидел караульного секунд-ротмистра, который вдруг кинулся к нему с протянутой

рукой и радостно заговорил:

— Ах, Сергей Борисыч, давненько мы не виделись! Как я рад вас встретить.

Это был хорошенький Платон Зубов, в новом с иголки нарядном мундире, такой свеженький и розовый, такой стройный и изящный. Но Сергей не особенно радостно отвечал на его приветствие.

— А! Вы в караульных? Давно ли?

— Недавно, Сергей Борисыч.

— Довольны?

— Помилуйте, как же не быть довольным... А уж как боялся, когда в первый раз должен был войти и доложить государыне. Ведь, знаете, это такая великая женщина... это просто богиня какая-то... Я понимаю, что даже посланники, привыкшие к разговорам с государями, немеют при ее виде... Когда я видал ее в торжественные минуты, она меня совсем ослепляла, я не мог глаз поднять на нее, но здесь, у себя — она другая. Тут она уже не богиня, не царица — это ангел доброты! Она всегда так милостиво меня выслушивает, так кротко глядит... Мне хотелось бы упасть перед ней на колени и прикоснуться губами

хоть к кончику ее платья...

— Похвальные чувства, — улыбаясь не особенно ласково, заметил Сергей. — Государыня, действительно, очень милостива.

— Ах, как милостива! — с напускной восторженностью подхватил Зубов. — Я, право, поклоняюсь как божеству — и тут нет греха!

— Конечно, — сказал Сергей и хотел было пройти, но Зубов удержал его.

— Сергей Борисыч, вы на меня не сердитесь?

— Сердиться... помилуйте, да за что же?

— Да что я до сей поры вам должок не вернул...

— Ах, что вы, я и забыл совсем.

— Нет, как же можно, я очень хорошо помню и при первой возможности возвращу, только потерпите, благодетель — совсем денег нет. Прошу отца, прошу, чтобы выслать из деревни, а он отмалчивается... ужасный скряга у меня отец...

— Забудьте об этом должке и никогда мне о нем не поминайте больше, если не хотите, чтобы я и взаправду рассердился, — сказал Сергей и, слегка пожав руку Зубова, прошел

дальше.

Это хорошенький мальчик решительно ему не понравился.

Прошло еще несколько дней. 18 июня рано утром, едва Сергей проснулся в своей маленькой комнатке в одном из дворцовых флигелей, как к нему явился посланный от графа Мамонова, который просил его немедленно к себе пожаловать.

Сергей наскоро оделся и отправился в большой двухэтажный флигель, весь отведенный под помещение Мамонова.

Он застал графа уже совсем одетым и в волнении ходившем взад и вперед по большому роскошному кабинету. Лицо его было бледно, большие глаза совсем красны от слез и бессонной ночи.

— Простите, что я вас побеспокоил, — сказал Мамонов, — я сам хотел идти к вам, но это обратило бы всеобщее внимание. И тут все за мной шпионят, подсматривают, но вам все же безопаснее и легче незамеченным пройти ко мне... Вы, я думаю, Бог знает что обо мне думали в это последнее время... Да, я сам понимаю, как я жалок с моей нерешительно-

стью, но что ж мне делать?.. Наконец, сегодня я окончательно решился и иду... Но прежде мне хотелось пожать вашу руку, мне хотелось вашего дружеского напутствия. Теперь все на меня обрушится, Сергей Борисыч... В меня грязью бросать будут, но я уверен, что вы не откажетесь в числе моих врагов...

— Еще бы, — сказал Сергей, — за кого вы меня принимаете? Если вам нужна моя дружба, то вы можете смело на нее рассчитывать и именно теперь я ваш всем сердцем.

Несмотря на все свое волнение, Мамонов вдруг искоса и как-то странно взглянул на него, но Сергей не заметил этого взгляда.

— Не оставляйте меня, пойдемте вместе... Будьте неподалеку — знаете, мне как-то страшно: мне кажется, что я схожу с ума.

— Да успокойтесь же, вы, действительно, нездоровы, — сказал Сергей, беря его горячую, сухую руку и замечая лихорадочный румянец, быстро появлявшийся и исчезающий на лице его.

— Пойдемте, — запинаясь, упавшим голосом говорил Мамонов. — Пойдемте, но только, пожалуйста, не уходите оттуда — дожди-

тесь меня.

Они вышли. Сергей проводил графа до покоев императрицы, а сам стал бродить по залам. Он сам уже не хотел уходить далеко, его самого уже интересовало положение Мамонова. За все это время он ко многому присмотрелся, многое узнал, многое стал понимать по-новому: то, что казалось ему прежде так просто, естественно, представлялось теперь очень сложным, очень запутанным. Мамонова же в эту минуту он любил искренне и понимал, что в его решимости, несмотря даже на то, что она пришла так мучительно и медленно, все же много истинного геройства.

Прошел час, другой, и вот, наконец, Мамонов вышел из покоев императрицы. Он шел, спотыкаясь, бледный, как полотно, с еще более опухшими, покрасневшими глазами.

Сергей подошел к нему. Он молча сжал его руку своей холодной, как лед, рукою.

— Пойдемте ко мне, — тихо проговорил он. Сергей за ним последовал.

Запершись в кабинете, Мамонов упал в кресло и вдруг неудержимо зарыдал.

Долго не мог Сергей его успокоить.

Наконец, он мало-помалу остановил свои слезы и все только хватался за грудь и часто кашлял.

— Ну что же, — робко спросил Сергей, — надеюсь, все благополучно? Конечно, государыня дала вам согласие на брак с княжной и вас можно поздравить? Авось счастливая семейная жизнь поможет вам вылечиться, вы должны серьезно о себе подумать!

— Да, поздравьте меня, Сергей Борисыч, — мне разрешено жениться. Государыня очень милостива, она только пеняла мне, что я давно ей во всем не признался. На сих же днях будет свадьба, послезавтра сама государыня обручит нас, и немедленно после свадьбы я уеду для поправления своего здоровья. Позвольте вы мне надеяться, что наше краткое знакомство не изгладится из вашей памяти?! Я ведь здесь оставлю так мало друзей... почти никого, могу ли рассчитывать, что вы меня не забудете?

— Напрасно вы так говорите, граф, как будто все еще сомневаетесь. Если чем я могу быть вам полезным, смело на меня рассчитывайте, но вряд ли я мог что-нибудь — вы сами

знаете, какое у меня влияние! Да я так полагаю, что недолго мне и быть тут. Мне тоже начинает что-то нездоровиться, я подумываю, как бы уехать подальше.

Мамонов с изумлением взглянул на него.

— Вы... уехать! Куда же? Зачем же?.. Нет, вы теперь не уедете!..

— Не знаю, только во всяком случае пожелайте мне скорого отъезда, потому что я сам себе всего больше этого желаю.

Мамонов еще раз взглянул на него и ничего не понял:

«Что же это он — смеется, что ли?.. Ролю играет?!» Но Сергей смотрел очень серьезно, даже грустно.

XXVIII. NOTTURNO

Прошел день. Говорили, что императрица нездорова. Она не показывалась из своих покоев, и при ней находилась только одна Анна Никитишна Нарышкина — других не допускали.

Во дворце с каждым часом замечалось все больше и больше волнения; но это волнение было не шумно, а, напротив, развивалось почти неслышно, таинственно. Никто не гово-

рил громко, все шептались, ходили на цыпочках. Когда из двери апартаментов государыни показывалась почтенная, несколько мрачная фигура камердинера Захара, некоторые саванники и придворные дамы спешили к нему и робко, как-то даже почтительно спрашивали:

— Ну что, Захар Константинович, каково?!

Камердинер на мгновение останавливался, уныло качал головой и говорил:

— Известно, нездоровы... растревожили их шибко... ну, да авось Бог даст — уладится... Анна Никитишна успокоит...

И он медленной своей походкой шел дальше.

Едва показывался Сергей — все поспешно давали ему дорогу, иные заговаривали с ним предупредительно и любезно. Безбородко был тут же вместе со своим красивым племянником, Милорадовичем, от которого теперь почти не отходил. Но и он нашел время подойти к Сергею и сказать ему несколько любезных фраз; однако в его улыбке, в его взглядах на этот раз не было прежнего добродушия. Сергей чувствовал какую-то перемену в обхожде-

нии с ним его начальника, как будто он был им недоволен и в то же время всячески скрывал это неудовольствие под видом любезности.

Мамонова не было видно. Сергей зашел было к нему, но ему объявили, что граф нездоров и никого не может принять.

И так продолжался весь день. Очевидно, никто не мог заняться своим делом, все слонялись, будто чего-то ожидая, не то со страхом, не то с надеждой.

Наконец, Сергею сделалось так тяжело и скучно, что он ушел к себе в свою маленькую, низенькую комнатку, заперся, открыл окошко и опустил штору. День был жаркий, в комнатке душно. Он лег на кровать, помещавшуюся за маленькими красного дерева ширмочками, пробовал заснуть, но это долго ему не удавалось — и духота, и комары, и всякие нерадостные мысли мешали.

Наконец, совсем утомленный и обессиленный, он задремал и проснулся только вечером. Освежившись умыванием, он вышел в парк и долго бродил, пока, наконец, усталость не заставила его очнуться. Солнце уже зашло,

наступила прозрачная полумгла короткой июньской ночи.

Сергей увидел, что он забрался слишком далеко и, осматриваясь и вспоминая местность, стал искать ближнюю дорогу к озеру.

Никто не попадался ему навстречу. Он долго плутал по извилистым дорожкам. Но вот, наконец, остановился перед небольшой пирамидой: это было знакомое место — собачье кладбище, где под мраморными плитами покоились любимые собачки императрицы. На плитах были вырезаны французские надписи — эпитафии, из которых одну, очень милую и остроумную, сочинила сама Екатерина в память своего старого любимца Тома Андерсона. Возле пирамиды стояла низенькая скамейка. Утомленный долгой прогулкой, Сергей с удовольствием на нее опустился. Кругом было тихо, прохладно, душисто. Сзади едва слышно плескались водяные струйки, перебегая с камня на камень. Прямо — серебрилось озеро, и вдали, на фоне бледного неба, белелись очертания павильонов.

Где-то близко, почти над самой головой, из глубины дубовых ветвей, раздались звуки со-

ловьиной песни. У озера, в кустах осыпавшейся сирени, им завторило новое щелканье, отозвалось чуть не на каждом дереве — и пошли звонкие переливы, с каждой минутой перебивая друг друга, подхватывая последние нотки и заливаясь звончее и звончее, будто все соловьи со всего царскосельского сада слетелись в этот тихий угол и давали свои прощальные серенады перед скорой разлукой.

Сергей заслушался этого пения, и вспомнились ему такие же тихие, соловьиные ночи в глуши Горбатовского или Знаменского парка, такие же ночи, только еще волшебнее, темнее, горячее, душистее... Далеко уносил его соловьиный рокот и сильнее поднимал в нем тоску и мучительную жажду счастья.

Ему думалось — как хорошо теперь там, на берегу Знаменского озера, в голубой беседке! Может быть, там теперь белеется платье Тани, она сидит на шатких ступеньках и тоже слушает соловьиные песни, и думает о нем. И ей так же тоскливо, и в ней такая же жажда, поднятая этой душистой, горячей ночью. И ему уже виделось, как призывно и нежно бле-

стят ее глазки, как простираются к нему ее крепкие, полные руки...

Зачем же все это? Зачем эта разлука? Зачем этак неволя?..

Но ведь он сам захотел этой неволи, этой разлуки. Он сам бежал от Тани за призраком новой жизни, нового счастья!..

Ну и что же — прошло немного времени, куда девалась эта новая жизнь?.. Где же счастье? Оно опять-таки осталось там, в голубой беседке...

«Таня! Таня!!» — почти громко, с замирающим сердцем звал он к себе милую, далекую девушку.

И ему уже начинало казаться, что она его слышит, что она спешит к нему. Вот между кустов мелькает ее белое платье.

Что это, не сон ли?.. Его чуткий слух ясно различает шорох шагов. Белая фигура все ближе и ближе.

Весь в волнении, почти готовый поверить в невозможное, он вскочил со скамейки, кинулся к приближавшемуся призраку. Вот он уже в нескольких шагах от него. Он остановился и вздрогнул — перед ним императри-

ца...

Да, это ее полная, величественная фигура в белом кашемировом капоте, в маленьком чепце на голове, из-под которого спускается несколько мелких локонов.

Она тоже остановилась и вздрогнула, но, внимательно всмотревшись в Сергея, ласково протянула ему руку.

— Ах, это ты?! Ты меня испугал... Я не думала кого-нибудь встретить... Я желала пройти одна и даже сказала, чтобы никого не пускали на эту дорожку... Как вы сюда попали?..

— Ваше величество, простите меня, — совсем смущенный и будто упавший с облаков выговорил Сергей. — Я шел не со стороны дворца... давно гуляю... заблудился...

— Беда невелика, — тихо сказала Екатерина, — и если вы заблудились, то это даже кстати — я выведу вас на дорогу... Да и сама устала... помогите мне... пойдём...

Она оперлась на руку Сергея и тихо пошла с ним вдоль озера по береговой дорожке.

Он с болью оторвался от своих мечтаний, от мыслей о Тане. Он уже не слышал соловьи-

ных песен, не чувствовал душистой свежести, несшейся ему навстречу. В нем было теперь только одно смущение, одна забота идти мерно и плавно, в ногу с императрицей, и крепче держать руку, на которую она опиралась. Он боялся взглянуть ей в лицо, это лицо было не то грустно, не то чересчур серьезно...

— Я что-то совсем устала сегодня, — сказала она таким слабым и кротким голосом, какого он еще никогда не слышал от нее. — Я нездорова, голова тяжела... думала освежиться... но эти светлые ночи, эти соловьи на меня иногда дурно действуют... тоску нагоняют... Не желаю тебе тоски такой, друг мой!

— Как тяжело слышать от вас подобные слова, ваше величество! — нашел в себе силы ответить Сергей. — Когда вам весело — и всем весело, ваша тоска производит всеобщую тоску. Мы все чувствуем заодно с вами.

Она слабо улыбнулась.

— Если б это было так, тогда все бы должны были стараться, чтобы я не тосковала, а между тем многие об этом не думают. Я встречаю немало неблагодарности, beaucoup de duplicité... и именно в тех, от кого всего менее

могла ожидать этого. Такие ошибки в людях в мои годы очень тяжелы... Ах, и вечно-то ложь и обман! И зачем, зачем — когда я так люблю искренность и только ее и желаю?! Но, конечно, я не стану, обманувшись в ком-нибудь, найдя в одном дурные качества, — подозревать те же качества в других... Вот я уверена, мой юный друг, что вы и искренни, и не двуличны.

— Благодарю, ваше величество, за такое лестное обо мне мнение. Но смею надеяться, что я заслужил его: я ненавижу фальшивость и нахожу всего лучше быть искренним.

— Да, ты молод и неиспорчен, слава Богу, — ласково сказала Екатерина, — оставайтесь таким, хотя это и очень трудно в жизни. Ну, и докажите мне, что ни я, ни вы в вас не ошибаемся; скажите, о чем вы думали, там, у пирамиды, окруженные тенями моих верных собачек, про что вам пели соловьи?

Вспыхнули щеки Сергея, опустились глаза его, и в то же время он заботливо соразмерял свой шаг с шагом императрицы и старался крепче поддерживать ее руку.

— О чем я думал?.. — прошептал он. — Да и

сам хорошенько не знаю, ваше величество.

— Как не знаете?.. Вы, наверное, думали о ней?!

Он изумленно поднял глаза. Екатерина пытливо в него всматривалась. Ее светлые, блестящие глаза были так близко-близко, ему становилось даже страшно.

— О ком о ней? — запинаясь, прошептал он.

— Dieu, que sais-je? Да, наверное, у тебя есть «она», celle, que vous aimez!.. Eh bien, moi franchement, mon ami — ведь ты ее любишь?

Сергей вдруг замедлил шаг, почти остановился и, прямо взглянув на императрицу, в каком-то порыве, почти отчаянно выговорил:

— Oui, je l'aime, votre majesté!

И он опять стал соразмерять свой шаг с шагом императрицы.

Прошло несколько мгновений. Далеко-далеко раздавалась соловьиная переключка, какая-то большая рыба плеснулась в озере; в древесных ветках раздался шорох, спросонья встрепенулась птица — и опять все смолкло.

— Где она, близко или далеко?

— Далеко...

— И она вас любит, или вы еще не знаете чувств ее?

— Я верю ей, что она меня любит, ваше величество...

Еще прошло несколько мгновений молчания. До дворца было уже недалеко.

— Ну, и спасибо вам за вашу откровенность, — тихо и медленно произнося слова, сказала Екатерина, — я в вас не обманулась... Желаю вам полного счастья, которого вы заслуживаете. Я отдохнула и теперь пойду одна. Прощайте... *mersi, mon ami!*

Она оставила его руку, кивнула головой и повернула на дорожку ко дворцу.

Он остановился и долго стоял неподвижно, почти без мысли, почти в полузабытье. Но вот он очнулся, огляделся, прислушался — легкие шаги императрицы давно смолкли. Кругом было пусто и тихо. Он поспешил другой дорожкой. Его сердце шибко стучало, кровь то прилиwała к лицу, то опять отлиwała. Неясное смущение не покидало его, но тоска, давившая все это последнее время, вдруг улеглась, почти совсем пропала — было легче дышать, мало-помалу явилась бодрость.

«Таня!! Таня!!» — страстно шептал он...

XXIX. СУДЬБА

Вернувшись к себе, Сергей с изумлением увидел, что его дожидается Моська.

— Степаныч, что такое? — спросил он. — Что это ты так поздно приехал, все ли благополучно?

— Не тревожься, сударь-батюшка, успокоительно пропищал карлик, — все у нас как след быть, разве вот только мусье Рено на голову жалуется, ну да старуха Маланья ему горчичники приставила, завтра будет как встрепанный...

— Так чего же ты так поздно приехал?

— Так чего же мне и не приехать, — обиженно отвечал карлик, — запрета от тебя, сударь, кажись, еще не было. Стосковался по тебе — ну вот и приехал!.. Ведь шутка ли: пятый день нонче как ты домой не наведывался. Так и не стерпел я, чтобы не проведать. Да вот еще и писулька к тебе есть...

И он изменил обиженное выражение своего лица на лукавую улыбку.

— Письмо? От кого? Давай, Степаныч!

— От кого письмецо-то?! Да так полагать

надо, от княжны нашей, от Татьяны Владимировны... И где ж это оно, куда я его?! В кармашек его сюда положил, ан и нету... уж не затерял ли как дорогой?

Карлик уморительно засуетился, выворачивал карманы своего кафтанчика, делал испуганное лицо.

— Степаныч, да ты шутишь, что ли, или серьезно?! — начиная волноваться, крикнул Сергей. — Разве можно терять письма, этого еще не доставало!..

Карлик тихонько засмеялся.

— Ну, ну, не кипятись... и впрямь шучу. Да и ты тоже хорош, Сергей Борисыч, как погляжу на тебя. Ну, слыханное ли дело, чтобы Моська потерял что, а особенно письмецо такое? Да ведь знаю же я, коли Моська один — так его встречают — «зачем мол приехал?» Дескать «и не надо бы тебе вовсе!» Ну, а письмецу этому не скажут небось — «зачем ты, мол, появился?» Может, ради письмеца и Моська прощение получит...

— Степаныч, это ты никак обижаться вздумал, а не то с жары ошалел? Я тебя спрашивал со страху, не случилось ли чего, а приезду

твоему и без письма рад.

— Ну, говори теперь, говори, вывертывайся, — ворчал Моська. — А вот не дам писульку, так и увидим, кому это ты рад!

Сергею вдруг стало весело, привольно как-то, он схватил карлика на руки, высоко его приподнял, потом взял под мышку, а другой рукой стал щекотать его.

— Защекочу, Степаныч! Подавай письмо!

— Ой, батюшки! — пищал Моська. — Да отпусти ты, непутевый, не то так визжать начну, что со всего двора сбегутся... Отпусти, дам я тебе письмецо...

Сергей поставил его на пол. Моська вдруг принял степенный вид, вынул из заднего кармана кафтанчика письмо и почтительно подал его Сергею.

Сергей быстро распечатал, притворил окно, зажег свечку и стал читать.

Да, это писала Таня, но уже с первых же строк он увидел, что это письмо не похоже на прежние ее письма.

Что там у них случилось? Что-то особенное! Так и есть. Таня писала о внезапной и опасной болезни своей матери. Писала урыв-

ками, отходя от ее кровати.

Из Тамбова три доктора приехали и живут в Знаменском. Горбатовский Богдан Карлыч стал, было, лечить княгиню, да ей от его леченья только хуже сделалось, и тамбовские доктора объявили, что Богдан Карлыч совсем не понял болезни и своими лекарствами много вреда наделал...

«А чем кончится — неизвестно. У нас теперь добрая твоя матушка и Елена, помогают мне — спасибо им, голубушкам... Нынче вот как будто легче немного, да бывали уже дни такие, что полегчает, а потом и опять хуже... Доктора уверяют, что Бог милостив, надеются — а кто же ведь знает! Но не одно это горе у меня, друг мой Сережа! Коли Бог даст и поправится матушка, так другое есть горе и с ним не знаю, как справиться... Понадеялась вот было на свои силы!.. Жду не дождусь твоего приезда... Кабы знал ты, как ты мне теперь нужен! Скоро ли свидимся? Обещал, что скоро, а все тебя нету... Когда же? Ради Создателя, голубчик мой, ответь ты мне, скоро ли едешь и не откладывай, говорю тебе, за большим делом зову тебя...»

Сергей опустил голову и сильно задумался.

Таня ли писала это? Никогда ведь еще не говорила она таким тоном.

И вот он вспомнил многое, вспомнил иногда, изредка прорывавшиеся у нее слова. Он почти уже знал за каким делом зовет она его, в чем нужна ей его помощь. Да, и вот какое время! Княгиня больна тяжело, умрет, пожалуй... Ему необходимо быть возле Тани. И, вообще-то, пора отсюда, пора!

«Завтра же отпрошусь у государыни, — думал он, — неужто она меня теперь не отпустит?..»

Но на следующий день Сергею не удалось увидаться и переговорить с императрицей. Она опять не выходила из своих комнат. Во дворце волновались еще больше, шептались о том, что, по словам Захара, в этот день будет обручение графа Мамонова и княжны Щербатовой.

Этот слух оправдался. Перед вечерним выходом всем было известно, что государыня в сопровождении Нарышкиной и Салтыкова прошла в помещение, занимаемое графом Мамоновым и что там происходит теперь об-

ручение.

Придворные по всем углам толковали о неожиданном и знаменательном событии. Изумлялись прежде всего на Мамонова.

— И кто бы мог ожидать такого?! — толковали одни. — Вот уж доподлинно, коли Господь наказать захочет, то разум отнимет. Ну, чего он, чего ему было мало?.. И кого он отыскал — каку-таку царь-девицу! Ровно насмешка. Чем она могла ему полюбиться: ни красоты, ни приданого, сирота почти без роду, без племени... Одна и родня, что Рибопьеры, нечего сказать — хороша родня! И смотрели за ней хорошо тоже — с англичанином-то история ведь всем известна...

— Да уж точно, диво дивное! — говорили другие. — Ну, взбесился парень с жиру, захотел убежать от своего счастья, так зачем тут ему Щербатова понадобилась? Ведь вот доподлинно это известно: государыня, видя на какой конец дело идет, сама ему предложила женить его на дочке графа Брюсса, тут, по крайности, и богатство и знатность, а главное — желание императрицы. Так ведь нет — Щербатову подай ему!.. Истинно — разума ли-

шился.

— На государыню только дивиться нужно, на ее к нему милости. Стоит он того, чтобы наказать его примерно за все его продерзости и кривляния. Шутка ли — на глазах у всех он около года ведь эту роль играл. Болен, вишь ты, скучно, тяжело... А вон Захар сказывал: три тысячи душ жалуется, в Москве дом ему будут строить.

— Ах, что-то теперь будет? Что-то и там происходит? — говорили, мигая по направлению роскошного дворцового флигеля, занимаемого Мамоновым.

Но никто не мог знать подробностей обручения графа: кроме государыни, Нарышкиной и Салтыкова никого там не было. Однако на другой день говорили, что государыня была чрезвычайно милостива к жениху и невесте. Они стали перед ней на колени, просили у нее прощения, и она их простила...

Сергей все ждал возможности увидеть Екатерину и лично передать ей просьбу об отпуске.

На следующий день после обручения Мамонова он присутствовал на вечернем выхо-

де. Императрица появилась спокойная и величавая, но все ясно заметили ее бледность, признаки утомления. Она по своему обычаю милостиво подходила то к тому, то к другому, несколько минут разговаривала с графом Безбородко. Все жадно прислушивались к каждому ее слову.

Сергей стоял в нескольких шагах и, вовсе даже не прислушиваясь, слушал, что говорила императрица графу.

— Я уж изготовила письмо, — сказала она, — нужно принять решительные меры, я не хочу, чтобы на меня возлагали такие надежды, которых осуществить я не в силах. Симолин должен объясниться ясно и прямо, высказать, что я не могу одобрить ни одну из принимаемых мер... Страшная, фатальная слабость, чрезмерные уступки, которым конца не будет!.. Приговор этому несчастному правительству подписан... Приготовь, граф, все бумаги, завтра доложи мне, и мы отправим надежного человека...

Безбородко молча поклонился.

Екатерина, проходя мимо Сергея, почти не остановившись, сказала ему:

— Господин Горбатов, прошу вас ко мне через час — у меня до вас дело.

Сергей вспыхнул, а затем побледнел. Он ждал случая говорить с нею, и вот она сама зовет его. Но это дело, какое дело? Чего ему ждать? Что будет? А ждать целый час.

Этот час оказался для него еще мучительнее, чем он ожидал.

Придворные решительно не дали ему покоя. Он наслушался столько любезностей, увидел столько утонченного внимания к себе, выслушал столько выражений преданности и сердечного к нему влечения, которое все эти господа почувствовали, как только его увидели, что, несмотря на привычную свою сдержанность, он едва воздержался от резких ответов. Ему было невыносимо среди этих людей, он спешил уйти, хотел пробраться в сад и скоротать там остающееся время ожидания, но его не пускали. К нему то и дело подходили новые лица.

Он был предметом всеобщего внимания. Все слышали слова, сказанные ему императрицей, и выводили из этих слов свои заключения.

Конечно, он получит какое-нибудь новое назначение.

Наконец час прошел. С замирающим сердцем, с холодеющими руками Сергей направился в покои государыни. Он опять столкнулся с дежурным офицером Зубовым. Хорошенький мальчик и на этот раз предупредительно с ним поздоровался. Но Сергей, даже несмотря на все свои волнения, заметил в нем какую-то перемену. Лицо его так и сияло, великолепные глаза так и искрились.

— Пожалуйте, пожалуйста, Сергей Борисыч! — сказал он. — Государыня ждет вас, мне нечего й докладывать.

Сергей молча кивнул ему головой и прошел.

Войдя в кабинет императрицы, он увидел ее перед письменным столом; она что-то писала и, по-видимому, была погружена в свою работу, так что не слышала скрипа двери, не заметила его появления. Он остановился в недоумении и кашлянул.

Императрица продолжала писать.

Он сделал несколько шагов к письменному столу.

Наконец Екатерина обернулась, кивнула ему головой и, указывая на кресло рядом с собою, проговорила:

— Присядьте здесь, я сейчас кончу.

Он исполнил ее приказание и сидел, рассеянно глядя на быстрое движение ее пера по бумаге, на ее строгий профиль с выдающимся подбородком и резкой чертой между бровями.

Он чувствовал, что чем ближе минута объяснения и выхода из неизвестности, тем сильнее и сильнее его волнение. Да и кроме того, у него вдруг явилось совсем иное, неожиданное ощущение. Он по чему-то, по чему-то совсем неуловимому, но для него достаточному и ясному, теперь уже знал наверное, что должно совершиться что-то особенное. Императрица так же, как и всегда, милостиво кивнула и улыбнулась; она пригласила его сесть и подождать своим обычным и ласковым голосом. Но ведь она не та, совсем не та, он не узнает ее, она производит на него новое впечатление, не имеющее ничего общего ни с тем, когда он только что узнал ее, ни с тем, когда она, допустив его в свой интимный кружок,

оказывала ему знаки своего внимания... Она не та... не та!.. Но что же случилось, что теперь будет?..

Екатерина положила перо, открыла табакерку, понюхала и обратилась к Сергею. Он встретился со взглядом ее светлых глаз, но ничего не прочел в этом взгляде, к тому же это было одно лишь мгновение.

Она опустила глаза, будто рассматривая крышку табакерки.

— Сергей Борисыч, — сказала она, — назначив вас на службу к графу Безбородко, я не ошиблась в ваших способностях: вы доказали их и вашему начальнику, и мне. В короткое время вы сумели заслужить мое доверие, сейчас я представлю доказательства в этом.

Что значило это вступление? Сергей хотел что-то сказать и не мог. Он только слушал, и сердце его то замирало, то принималось ожесточенно биться.

— Я намерена возложить на вас такое поручение, какое могу дать только человеку, в способностях которого, скромности и разумности я вполне уверена. Я получила очень серьезные депеши и письма Симолина, и мой

ответ должен заключать в себе подробную программу дальнейшего способа наших действий относительно Франции. Мне нужен верный человек, который передал бы Симолину письмо и некоторые документы, и который бы, кроме того, знал мои взгляды, мог бы быть ему полезным помощником в такое трудное время. Готовы ли вы служить мне?

Сергей начал теряться. Он не совсем даже понимал, что ему говорили и, почти машинально встав и отдавая глубокий поклон, проговорил, что служить императрице и исполнять ее приказания — его прямая и священная обязанность.

Екатерина подняла на него свои спокойные, блестящие глаза и сказала:

— В таком случае, мой друг, отправляйтесь сейчас же в Петербург, соберитесь в дорогу; на это, сударь, я могу вам дать только сутки времени. Завтра к вечеру в этот же час я буду ждать вас... Ты найдешь у меня и графа, мы передадим тебе, что нужно, а послезавтра утром и в дорогу — нельзя ни одного дня терять, дело спешное и крайней важности...

Сергей побледнел и все сразу понял. От та-

кого поручения, выраженного в крайне лестной для него форме, отказаться немыслимо. Послезавтра он будет на дороге к Парижу. Мечта долгих лет так неожиданно осуществляется; но ведь обстоятельства изменились. Он жадно ухватился бы за поездку во Францию, но теперь ему нужно быть в Горбатовском, там ждет не дождется его Таня. Да и с матерью хотелось бы увидаться перед долгой разлукой. Он побледнел еще больше. На выразительном его лице ясно изобразились его чувства. Императрица внимательно на него взглянула.

— Вы смущены поручением, мною на вас возложенным, вам оно не нравится? Скажите прямо!

— Я горжусь доверием вашего величества, — смущенно выговорил Сергей. — Но есть одно обстоятельство, которое смущает меня — семейные дела зовут меня теперь в деревню!..

— Что такое, не больна ли ваша матушка?

— Нет, она здорова, ваше величество.

— В таком случае, друг мой, я намерена поступить тиранически — вы должны ехать в

Париж. Я извинюсь перед вашей матушкой за то, что лишаю ее удовольствия видеть вас... Но служба прежде всего. Поезжайте же в Петербург, готовьтесь к отъезду и прошу до завтрашнего вечера никому не говорить об этом деле.

Она протянула ему руку. Он наклонился, молча поцеловал эту руку и взглянул на Екатерину.

Но она на него не глядела, она озабоченно пересматривала бумаги на письменном столе.

«Другая, совсем другая!..» — невольно подумал Сергей.

Он вышел. У двери Платон Зубов с улыбкой ему поклонился.

— Сергей Борисыч, верно, можно поздравить с какой-нибудь новой милостью государыни? — шепнул он ему, все продолжая улыбаться.

«И этот вот совсем другой, — подумалось Сергею, — и чего ему нужно? Зачем он пристает ко мне?»

Он прошел дальше, ни слова не ответив на вопрос Зубова. К нему подходили, его спра-

шивали, стараясь всячески добиться от него хоть намека относительно того, что происходило в кабинете государыни.

Но он не мог и не хотел ни с кем говорить, он спешил скорее из дворца, ему надо было пользоваться временем.

XXX. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Моська все еще находился в Царском. Он отлично знал все обстоятельства своего господина и теперь с нетерпением дожидался Сергея в маленькой комнатке надворного дворцового флигеля.

«Эх, дитя неразумное! — думал он. — Так ведь и рвется в Горбатовское, а о том не думает, что может, вернувшись, уж не наверстает потерянного времени! Ведь так оно во всем мире водится... Помню, на моих глазах бывало еще и при Елизавете Петровне: уедет человек из Питера на короткое время, уедет себе в силе, в почете, а вернется — ничего прежнего нету... Добрые люди не упустили времени — наговорили... Государыня и глядеть не хочет, и приходится опять уезжать из Питера, только уж не по своей доброй воле, а неволею: делать-то здесь уже нечего... Ох, боюсь — того

вот и жди, что и с нашим то же будет!..»

Но эти неясные опасения скоро уступили место другому чувству. Моське самому неудержимо, хоть на несколько деньков, хотелось теперь в Горбатовское, хотелось ему повидать и Марью Никитишну, и всех своих старинных приятелей; хотелось повидать княжну Татьяну Владимировну Пересветову, которую он в своих мыслях считал суженой «батюшки Сереженьки» и которую любил горячей отцовской любовью.

Хотелось ему и помолиться на могиле Бориса Григорьевича, хотелось подышать воздухом горбатовского дома, горбатовского парка... Совсем ему здесь не нравилось, в этом Царском Селе, где знойной летней порою так людно, и шумно, и пыльно...

И вот он мечтал о милом Горбатовском, когда в комнату поспешно вошел Сергей. Едва взглянув на взволнованное и смущенное лицо Сереженьки, карлик понял, что это неспроста, что решение принято, но какое? Здесь ли оставаться или ехать в Горбатовское?

— Собирайся, Степаныч, мигом собирайся... Уложи все вещи... Сейчас едем! — взвол-

нованно сказал Сергей.

— Уж и сейчас! Что так скоро? Куда мы на ночь глядя поедем?! — изумленно запищал карлик. — Раньше двух ден никак нам, ба-тюшка, в Горбатовское не выбраться, ведь ка-бы знать заранее, ну так оно, конечно, все бы подготовить можно было, а теперь и то, и дру-гое, и третье надобно...

— Да не в Горбатовское! Не в Горбатовское, Степаныч — совсем другое!.. — перебил его Сергей. — Не отпускают меня в Горбатовское. А вишь ты, в один день я должен собраться и послезавтра утром за границу еду... В Париж!..

Карлик всплеснул руками, вытаращил гла-за да так и остался.

— Что же это?! — наконец, завопил он. — Что за напасти?! Зачем такое — за границу?! Зачем к басурманам?! И как же теперь ма-тушка?! И опять, княжна наша? Что же это, Сереженька, али ты путаешь меня, голуб-чик?.. Не томи, скажи правду!..

— Правду и говорю, Степаныч, сам не рад, да что же делать... Дорогою расскажу, а те-перь ступай скорее, распорядись лошадьми да призови камер-лакея, чтобы вещи уклады-

вал!

Но карлик не слышал приказа господина. Он все еще стоял, состроив самую жалкую, испуганную мину, и никак не мог примириться с этим неожиданным и возмутительным для него известием.

«В Париж! В Париж-таки! Басурманская трещотка, французишка треклятый торжествовать будет! В Париж, это на погибель-то! Господи не попусти! Господи помилуй!..»

— Да очнись, Степаныч, что с тобой?! — говорил Сергей. — Слышишь, нечего терять времени, мне еще столько дела... Не знаю, как и справлюсь. Да уж и ты не ленись — отдохнешь в Горбатовском, когда меня проводишь.

— Что?! — завизжал карлик, — в Горбатовском?! — Это чтобы я отпустил тебя к басурманам одного-то? Нет, уж это как твоей милости угодно, а такого дела не будет. Да и Марья Никитишна как собаку меня из Горбатовского выгонит, коли узнает, что я отпустил тебя!..

— Неужто ты и за границу со мной? — улыбаясь сказал Сергей. — Я так думал, сам не поедешь... И ты хорошенько об этом подумай, ведь это не то, что в Питере: и жизни не рад

будешь!..

— Нечего мне тут и думать! Коли ты в пекло лезешь, так и я за тобою! — проворчал карлик и, наконец, пошел распоряжаться лошадьми.

Дорогой были решены все вопросы.

Из откровенного рассказа Сергея карлик убедился, что Сerezеньку винить нечего, что эта ужасная поездка решилась не по его воле, а сама судьба подшутила. Но хотя и понимал карлик, что винить некого, а все ж таки винил одного человека.

«Добился своего, анафемская трещотка, — шептал он про себя, съезжившись как маленькая обезьянка в углу кареты. — Добился-таки, понадобилась, видно, тебе погибель дитяти... Ну, да посмотрим еще... Глаз с него теперь спускать не буду... Ох, тяжкие времена!..»

И он то и дело ерзал на своем месте, не в силах будучи подавить волнения и злобного чувства, которое поднимала в нем мысль о том, что вот теперь Рено торжествовать будет.

По приезде в Петербург он поскорее прошел в свою комнатку, чтобы не быть свидетелем

лем радости и торжества француза.

И он был прав.

Рено, узнав от Сергея о внезапном решении и их предстоящей скорой поездке в Париж, чуть с ума не сошел от радости, даже забыл свою сильную головную боль, которая его мучила в последние дни. Он бросился обнимать Сергея, смеялся, хлопал в ладоши. Ведь он уже совсем отказался от своих заветных планов и томился в тоске и бездействии, с каждым днем убеждаясь, что Сергея ожидает непредвиденная им и опасная карьера, что он надолго связан с Петербургом. И вдруг такое счастье!..

Он внимательно выслушал рассказ Сергея, понял все и с невольными слезами на глазах крепко обнял своего воспитанника. Он был им очень доволен. Но, придя несколько в себя, после первых минут восторга он заметил, что Сергей сумрачен и печален.

— Ах, дорогой Serge, — сказал он, — не время сегодня печалиться и смущаться чем-либо. Конечно, очень жаль, что мы не можем захватить в Горбатовское, но было бы уж чересчур требовать от судьбы полнейшего исполнения

наших желаний. Поймите, лучше того, что случилось с вами, не могло случиться... И как хорошо, что эту зиму вы прожили здесь, она принесла вам большую пользу. Теперь вы явитесь на великой арене европейской деятельности уже человеком с некоторым опытом, с некоторым знанием... О! Как хорошо! Когда же мы едем — завтра?!

— Послезавтра утром, — отвечал Сергей. — И я прошу вас, Рено, вместе с Иваном Ивановичем все здесь приготовить к отъезду. У меня не будет времени ни о чем думать... Я должен еще съездить в Гатчину, проститься с цесаревичем.

— О да, конечно! — согласился Рено.

— Если сейчас выеду, — продолжал Сергей, — то все равно, пока доеду до Гатчины, уже будет поздно — великий князь рано ложится. Я выеду ночью, с тем чтобы застать его при его пробуждении — это самое удобное время...

Сергей так и сделал. Но как он ни торопился, а все же раньше шести часов утра не успел добраться до гатчинского дворца.

Зная теперь более или менее ходы и выхо-

ды, он обратился к Кутайсову и узнал от него, что Павел Петрович уже с час как встал и гуляет в парке.

— Не могу терять ни минуты времени, — сказал Сергей, — и мне остается только одно: отправиться сейчас же в парк и постараться найти там его высочество.

Кутайсов задумался.

— Да у вас какое-такое спешное дело? — спросил он. — Я боюсь, как бы вы не растревожили великого князя. Я ваших дел, сударь, не знаю; но по двум-трем словам великого князя должен был заключить, что он будто бы вами не совсем доволен.

— Мною недоволен?! — изумленно воскликнул Сергей. — Нет, Иван Павлыч, вы ошибаетесь... Этого быть не может... По крайней мере, вины за собой я никакой не знаю.

— Да вы за каким делом? — подозрительно взглянув на Сергея, вдруг переспросил Кутайсов. — Что за спешка? Повремените, сударь, вернется с прогулки великий князь, доложу я о вас — и примет...

— Ах, не могу я ждать! Каждая минута мне дорога. По поручению государыни я еду зав-

тра за границу... Я должен проститься с цесаревичем.

— Завтра за границу... Государыня посылает!.. — изумленно повторял Кутайсов. — Ну, в таком случае, сударь, конечно, спешите. Пойдемте-ка, я проведу вас в парк и укажу, где вы можете встретить великого князя.

Он как-то лукаво улыбнулся. И в этой улыбке уже не было той странной подозрительности, с которою он встретил Сергея. Он провел его в парк к озеру и остановился у того места, где сделан небольшой грот, в глубине которого начинается подземный ход, достигающий внутренних комнат нижнего этажа дворца.

— Вот ступайте, сударь, по этой дорожке, они, наверно, здесь прохаживаются. Только предупреждаю — с первых слов не растеряйтесь, коли сурово вас встретят.

— Спасибо, Иван Павлыч, за то, что проводили, а растеряться я не растеряюсь, я не умею бояться великого князя.

— Да вам и нечего его бояться, как я теперь вижу, сударь...

Сергей не стал доискиваться смысла этих

слов. Он пожал Кутайсову руку и поспешно пошел по указанной им дорожке.

Это раннее утро было прелестно. Солнце стояло высоко, но жара еще не наступала. В тени деревьев было прохладно, на траве еще сверкали крупные росинки. Каждый листок, казалось, испускал особенное благоухание, которое так и стояло в воздухе. Кругом все сверкало самыми яркими, горячими красками, птицы заливались в гущине древесных веток. Этот уголок гатчинского парка казался таким заманчивым у тихого, прозрачного озера, обрамленного живописными группами деревьев, не вычищенных, не распланированных, как в царскосельском парке, и тем еще более красивых.

Тут было тихо, так привольно дышалось, что Сергей совершенно не замечал утомления бессонной ночи, проведенной в дороге, и жадно вдыхал в себя чистый, бальзамический воздух. Он шел все вперед, по временам останавливаясь и осматриваясь во все стороны, не заметит ли где цесаревича.

И вот он его заметил. Павел Петрович шел прямо к нему навстречу, но, очевидно, не об-

растал внимания на его приближение. Он был погружен в свои мысли и даже временами жестикулировал, как бы говоря сам с собою. Только поравнявшись с Сергеем, он вздрогнул и поднял глаза на него, но несколько мгновений будто не узнал, и только когда Сергей сказал свою приветственную фразу, он очнулся от своих мыслей. Он нахмурил брови, сделал губами обычное презрительное движение и, не протягивая Сергею руки, продолжая идти скорым, мерным шагом, отрывисто спросил:

— Зачем пожаловал, сударь?.. По какому делу?

Сергей хотел было отвечать, но цесаревич, не дождавшись его ответа, проговорил еще раздражительнее:

— И что за время?! Я всегда один гуляю!

— Простите, ваше высочество, — уже неволью начиная смущаться, сказал Сергей, — я никогда не взял бы на себя дерзость тревожить вас, если бы не принудили к тому обстоятельства. Я приехал в Гатчину на полчаса, на час — самое большее, и не могу терять времени.

— Какие же новости вы мне привезли, сударь?.. Я все новости и так знаю, — презрительно улыбаясь и краснея, сказал Павел. — Может, поспешили с известием о каком-нибудь новом и важном назначении, полученном вами? Может, желаете, чтобы я первый вас поздравил?..

Сергей вспыхнул, но вдруг глаза его блеснули, тонкие ноздри его расширились, мгновенно делая его похожим на его покойного отца. Он гордо выпрямился и звучным, твердым голосом заговорил:

— Точно так, ваше высочество, я поспешил известить вас о новом почетном назначении, которого удостоила меня императрица — я завтра отправляюсь в Париж и, вероятно, на очень долгое время. По крайней мере, так я должен заключить из слов государыни и из свойства того поручения, которое она изволила мне дать.

Павел Петрович остановился, смерил Сергея с головы до ног быстрым взглядом, покраснел еще больше и тихо проговорил:

— Пойдем. Расскажи мне подробно.

Сергей, конечно, не замедлил исполнить

это приказание. И по мере того как он рассказывал, лицо великого князя светлело все больше и больше. Вот его синие глаза, за минуту еще блестевшие гневом и потерявшие всю красоту свою, снова приняли обычное ласковое и мечтательное выражение и обдали Сергея тихим светом. Он взял своего спутника под руку и, продолжая идти таким образом, задал ему несколько вопросов.

— Да, так вот что! — сказал он, когда рассказ Сергея был окончен. — Ты уезжаешь. Ну, спасибо, друг мой, что не забыл заехать попрощаться со мною. Мне жаль, что ты уезжаешь, что я не буду тебя больше видеть. Я любил тебя, и мне больно было думать, что я в тебе обманулся... Но я ошибся — прости мои сомнения, впредь их не будет. Поезжай с Богом, только не думай, что поручение тебе дано легкое; ты едешь в Париж в ужасное время, и я невольно боюсь за тебя. Будь осторожен, следи за каждым своим шагом и Боже тебя сохрани увлечься какой-нибудь сумасбродной, преступной идеей, каких теперь так много во Франции. Помни, что благо человечества не в насильственных действиях, не

в разрушении существующего порядка, а единственно во внутренней борьбе каждого человека с самим собою, со своими дурными наклонностями, дурными страстями. Правда и счастье не могут быть достигнуты преступными средствами, всякая капля пролитой крови влечет за собой только неправду и горе...

Сергей внимательно вслушивался в слова цесаревича. Он говорил совсем не то, что обыкновенно проповедовал Рено и с чем Сергей привык соглашаться. Но то, что теперь говорил цесаревич громким вдохновенным голосом, западало в душу Сергея еще глубже, чем пламенные речи француза-воспитателя.

«Правда и счастье не покупаются преступными средствами, никакая высокая цель не оправдывает преступного средства...» — невольно повторял Сергей и всем существом своим понимал и чувствовал, что это великая истина, перед которой должны замолкнуть всякие другие рассуждения.

Незаметно прошло около часу в горячей беседе. Сергей должен был торопиться. Цесаревич провел его в покои великой княгини,

которая встретила молодого гостя самым приветливым образом.

Она сидела перед чайным столом, сама разливала чай и с простотою внимательной и любезной хозяйки угощала Сергея прекрасными молочными продуктами Гатчины.

Тут же присутствовала и Екатерина Ивановна Нелидова, прозрачная, нежная красота которой, еще более выделявшаяся белым утренним платьем, делала ее в глазах Сергея существом иного, воздушного мира.

При разлуке Сергей выслушал самые милые, искренние пожелания счастливого пути и всякого благополучия. Цесаревич был, видимо, растроган. Он обнял Сергея, перекрестил его и говорил:

— Будь счастлив, оставайся таким, каков ты теперь... Я надеюсь, что мы увидимся. Не забывай, что мы все друзья твои.

Волнение, испытанное Сергеем при этой разлуке, было не последним для него в тот день. Вечером в Царском его ожидало новое волнение, к которому он совсем не был приготовлен и на которое до сих пор считал себя неспособным.

Явившись во дворец несколько раньше назначенного ему времени, он должен был дожидаться в залах, где, по обычаю, толпились придворные, те самые люди, которые вчера осыпали его утонченной любезностью, выказывали ему такое расположение и почтение. Он ждал, что и сегодня они будут надоедать ему и был очень поражен, сразу увидев большую перемену в их обращении. Теперь уж никто не спешил к нему навстречу. Правда, иной подходил и здоровался с ним, но уже совсем не так, как прежде. Это была холодная вежливость, обязательная любезность — и только.

Что же такое случилось? Ровно ничего. Только уже известие о том, что он уезжает в Париж, было у всех на языке. Его даже прямо спросили — правда ли это? Он отвечал уклончиво и удивлялся, откуда знают. Но он вспоминал, что во дворце не могло быть тайн. Он припоминал несколько случаев, когда обстоятельства, по-видимому, только известные одному или двум лицам и державшиеся в большом секрете, через каких-нибудь несколько часов делались известными всем и каждому.

Он уже, несмотря на свое короткое пребывание при дворе, понял многие свойства придворной жизни, и теперь ему сразу стало ясно, в чем дело, — рассчитывали на его влияние, были убеждены в его быстрой карьере. А вот он едет за границу, вероятно, надолго, теперь нечего в нем заискивать. Всякий рассуждал так же, как и карлик Моська, — и был прав.

Ну и что же, ведь Сергею были так противны это лицемерное внимание, эта лесть и ложь. Он не знал, куда деваться от навязчивости этих господ. Теперь его оставили в покое, он может спокойно дожидаться аудиенции и, наконец, вздохнуть свободно, оставив далеко за собою всю эту затуманившую его жизнь. Он должен радоваться, а между тем, странное дело, у него вдруг опять стало так тяжело, так тоскливо на сердце, ему сделалось обидно, досадно, его самолюбие страдало, в нем закипало негодование, но не то, что кипело в нем вчера, — это было совсем другое негодование.

Ему досадно становилось за свои чувства, и все же он никак не мог их побороть в себе. Его оставили в покое, но в то же время он все

же чувствовал, что за ним наблюдают, — и невольная краска вспыхивала на щеках его. Ему хотелось гордо поднять голову, прямо и презрительно взглянуть на эту нарядную толпу. Он имел право это сделать и в то же время не имел достаточно для этого сил. На него уже пахло ядом той жизни, которая его окружала, он уже испытывал на себе признаки петербургской заразы, о которой говорил ему цесаревич в первое их свидание.

Взволнованный и смущенный, вошел он в кабинет императрицы, где уже находился и граф Безбородко. Граф был, видимо, не в духе, хотя и скрывал это. Екатерина была спокойна, но все же не прежняя, а новая, какую Сергей увидал ее накануне.

— Граф одобряет мой выбор, — сказала она Сергею. — Мы передадим вам сейчас все нужное, и завтра же утром, как я вам говорила, отправляйтесь. Надеюсь, вы готовы к отъезду?

— Готов, ваше величество, хоть сию минуту!

— Вот это я люблю, — улыбаясь, заметила императрица и протянула ему руку.

Но улыбка ее быстро исчезла. Екатерина-женщина превратилась в императрицу, которая с обычной ясностью и отчетливостью стала высказывать перед молодым дипломатом свои политические взгляды.

Сергей напрягал все внимание, чтобы не проронить ни одного ее слова, ни одного слова Безбородки.

Через минуту он уже забыл все, кроме того дела, о котором они говорили.

Около часа продолжалось совещание, и он должен был убедиться, что посылается не простым курьером, что ему оказывается действительное доверие.

— Итак, вы теперь все знаете, — сказал Безбородко. — Вот бумаги, вы их немедленно передадите нашему послу и будете действовать, как решено. Я жду от вас подробных и обстоятельных писем и буду передавать их государыне.

Екатерина поднялась со своего кресла. Императрица снова превращалась в женщину.

— С Богом и доброго пути, мой друг! — сказала она, протягивая Сергею руку. — Вам придется, может быть, попасть в водоворот очень

прискорбных событий, но я рассчитываю, что вы будете осторожно и достойно держать себя и не уподобитесь легкомысленным русским молодым людям, проживающим теперь в Париже. Я еще недавно получила известие о том, как ведет себя один из таких юношей. Он носит известное русское имя и позорит его по различным кофейням, ведет дружбу с отъявленными мятежниками, принимает участие в самых возмутительных демонстрациях... С вами ничего подобного быть не может. Только вернешься ли ты, мой друг, таким добродетельным, каким уезжаешь?.. — ласково прибавила она, лукаво улыбнувшись. — Перед француженками, говорят, устоять трудно...

Сергей взглянул на нее, и на мгновение она опять стала прежняя. Он прошептал, что надеется вернуться неизменным.

Екатерина кивнула головой. Он откланялся. Ему показалось, что она тихонько вздохнула и проводила его грустным и ласковым взглядом. Он вышел, и опять было перед ним красивое, торжествующее лицо Платона Зубова.

— Позвольте пожелать вам счастливого

пути, Сергей Борисыч. — Остановитесь же на минутку, куда так спешите, поспеете, позвольте, у меня до вас дело! — говорил Зубов, как-то неприятно, как-то невыносимо дерзко улыбаясь и почти силой останавливая Сергея.

— Да что вы ко мне пристаёте, господин Зубов? Мне, право, некогда! — уже не владея собой, проговорил Сергей.

Но резкий тон его несколько не смутил молодого офицера.

— А должок-то забыли? Вот-с, получите с превеликой моей благодарностью! — суетливо проговорил он, вынимая туго набитый портфель и собираясь отсчитывать деньги.

— Вы ничего не должны мне, господин Зубов, и денег я от вас не приму! — сказал Сергей, смерив офицера презрительным взглядом и быстро пошел дальше.

Зубов стоял несколько мгновений совсем растерявшись, но потом положил портфель обратно в карман, злобно посмотрел на удалявшегося Сергея и прошептал сквозь зубы:

— Этого я тебе, голубчик, не забуду.

А Сергей поспешно раскланивался со знакомыми, которые провожали его холодной

любезностью.

Тоска, злоба, почти отчаяние душили его.

Скорее, скорее вон отсюда, из этой духоты на чистый воздух!.. Дальше, дальше, в ту обетованную страну, которая так часто грезилась в дни первой юности. В новую жизнь... В великий город, где кипит самая горячая человеческая деятельность! Но что там?.. Что ожидает?.. Быть может, и этот заманчивый мир тоже обманет...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. НАД КРАТЕРОМ

Стоял теплый, ясный осенний день. Солнце светило так радостно, так радостно щебетали птицы на пожелтевших ветках садилов, едва выглядывавших из-за каменных стен домов, что невозможно было поверить никаким ужасам, никаким волнениям. Торжественная ясность природы должна была отразиться и в людской жизни. С первого раза так оно и казалось. Париж, переживший уже страшные дни и готовившийся переживать еще более страшные, как будто отдыхал, будто заснул мирно и безмятежно, позабыв все свои трево-

ги, свои возбуждения и кипевшие страсти. На улицах было все мирно. Оживленная толпа спешила по своим делам, все лица были спокойны, даже веселы. Мальчишки-разносчики привычным голосом выкрикивали названия газет, в кофейных из-за спущенных от солнца маркиз виднелись мирные группы за маленькими столиками.

Глядя в это ясное осеннее утро на красивый, оживленный город, на веселую, но спокойную толпу, на чистоту и порядок на всех улицах, невозможно было представить, что этот город, эта толпа — совсем не то, чем они казались. Все тихо, но стоит откуда-нибудь донестись нежданному и необычному резкому звуку — и эта спокойная, веселая толпа разом дрогнет и превратится в дикого зверя...

Именно так думал молодой человек, оставивший свой нарядный, с английской упряжкой экипаж при въезде в Сен-Жерменское предместье и пешком спешивший по довольно узкой, стариной улице, обставленной роскошными, уже начинавшими темнеть от времени отелями. Но он недолго думал о том, что его окружало: о толпе, о затишьи Парижа. Но-

вые мысли, или, вернее, чувства, скоро наполнили его...

Молодой человек был строен, красив, несмотря даже на костюм, будто нарочно придуманный для того, чтобы уничтожить человеческую красоту, чтобы делать смешною мужскую фигуру.

А между тем этот костюм считался в то время самым модным и входил во всеобщее употребление. Его выдумали англичане, объявив верхом изящной простоты, и он быстро распространялся по всему миру. Безобразная, высокая цилиндрическая шляпа заменила грациозную треугольную шляпу с перьями, вместо длинного камзола и яркого, расшитого позументами кафтана явился короткий вычурный жилет и неуклюжий фрак с длиннейшими, хвостобразными фалдами.

В этом комичном, будто маскарадном костюме трудно было узнать Сергея Горбатова; но все же это он спешил по старинной улице Сен-Жерменского предместья. И не один только костюм изменил его, и в лице его замечалась перемена.

Свежие краски здоровой юности уже по-

меркли, щеки его были бледны, глаза будто впали, обвелись темною тенью. Он казался несколько утомленным. Но этот вид утомления, эта бледность так шли к нему. Он уже не был больше хорошеньким мальчиком — он казался вполне развившимся человеком с интересной и осмысленной наружностью.

Он взглянул на большие круглые часы, вставленные в фронтон одного из отелей, стрелки которых ярко сверкали на солнце.

— Одиннадцать! Уже одиннадцать!.. — озабоченно, почти громко проговорил он и прибавил шагу, всматриваясь в величественное темное здание, выделявшееся своей внушительной наружностью даже среди окружающих его великолепных домов.

Почти все отели на этой улице, принадлежавшие представителям знаменитейших французских фамилий, имели теперь очень печальную наружность. Окна были наглухо заперты, местами совсем заколочены. Владельцы редко сюда заглядывали, некоторые из них не выезжали из Версаля, а другие и совсем начинали покидать не только Париж, но и Францию, спасаясь от ужасов наступившей

и с каждым днем развивавшейся революции.

Одно только темное здание, на которое так внимательно глядел Сергей, выказывало некоторые признаки жизни: два-три окна, выходящие на улицу, были открыты, калитка высоких чугунных резных ворот с красовавшимся на них гербом герцогов д'Ориньи была тоже приотворена, и возле нее стоял привратник.

Сергей почти подбежал к этой калитке.

— Герцог вернулся? — спросил он привратника, едва переводя дух.

— Нет, герцог не возвращался, — ответил тот, слегка кланяясь, — но герцогиня уже часа три как изволила приехать из Версаля...

— Она у себя? Могу я ее видеть?..

— Надо думать, что можете, если только герцогиня вас примет, но об этом я ничего не могу сказать вам... Так есть другие, которые, может быть, и знают больше меня... Да вы куда?! Большой подъезд заперт, у нас нынче на улице не найдете ни одного незаколоченного подъезда... Сюда, во двор пройдите... Вон налево, к этой двери — тут вам и скажут, принимает ли герцогиня...

Сергей поспешил по указанному направлению, а привратник глядел ему вслед с презрением и ворчал себе под нос:

«Ишь ведь, каким чертом нынче одеваться начали!.. Как есть черт — и хвост сзади!.. Ну, да там, брат, хоть самим сатаной прикинься — хвостом-то уж никого не надуешь — знаем мы вас, видна птица по полету!..»

Сергей тихонько стукнул у небольшой двери, и она тотчас же отворилась. Показался старый, почтенный лакей, одетый еще в напудренный парик и кафтан. Он почтительно поклонился Сергею, которого, очевидно, уже знал, и тихим, печальным голосом проговорил:

— Пожалуйста, сударь, я проведу вас к герцогине, она ждет вас.

Он пошел перед Сергеем, немного прихрамывая и волоча свои старые ноги.

Долго им пришлось идти по длинным коридорам и переходам. Наконец они поднялись на небольшую мраморную лестницу. Старик неслышно отворил дубовую дверь. Прошли еще две-три комнаты...

— Обождите минуточку, сударь, сейчас я

доложу герцогине...

Сергей увидел себя в небольшой, изящной гостиной, заставленной бледно-голубой атласной мебелью, с такими же бледно-голубыми спущенными на окна шторами, с расписанным амурами и гирляндами потолком, с многочисленными узкими и длинными зеркалами, со всех сторон вделанными в стены и бесконечно отражавшими все предметы.

Тишина стояла полная. Звуки шагов замирали в мягком, пушистом ковре, которым была обита комната. Только с улицы через приотворенное за спущенной бледно-голубой шторой окно доносились по временам отзвуки городского шума.

Сергей стоял неподвижно, рассеянно выронив из рук свою безобразную цилиндрическую шляпу. Лицо его среди этого голубоватого отблеска казалось еще бледнее. В его полузакрытых глазах, в уголках резко очерченного красивого рта виднелось страдание.

Но вот едва скрипнула дверь, и в голубой гостиной появилась женская фигура.

Она была молода, эта женщина, и чрезвычайно красива. Высокая, стройная,

несколько худощавая и бледная, но с такой грациозной, изящной манерой, с такими чудными и мягкими черными глазами. Черты ее лица были неправильны: маленький нос совсем неопределенной, почти неуловимой формы, рот, может быть, несколько велик; но все вместе было прелестно. И на всей ее фигуре в темном простом платье из какой-то полупрозрачной материи, сквозь которую просвечивали очертания прекрасно округленных плеч и тонких, почти детских рук лежала печать сознательной женской силы, могучего соблазна, с которыми нельзя бороться.

Почти неслышно войдя в комнату и затворив за собою дверь, она тихо улыбнулась Сергею, тихо подняла на него свои темные глаза и протянула ему обе руки.

— Enfin, vous voilà! А я думала, что вы не покажетесь и на мою записку, что вы навсегда исчезли...

Сергей взглянул на нее совсем бледный, совсем страдающий, и вдруг схватил ее протянутые руки и покрыл их безумными, несчетными поцелуями.

— Разве я мог не прийти, когда вы меня по-

звали?! — страстно прошептал он.

— Зачем же было бежать из Версаля? Разве я гнала вас?!

— Нет, от вас никуда не убежишь! — шептал он как в горячке, пожирая ее страстным взглядом, не в силах будучи выпустить из своих рук ее маленькие, тоненькие руки.

Она повела его за собою к низенькому мягкому диванчику, и он почти упал рядом с нею.

Она тихо улыбалась.

Прошло несколько минут молчания. Они только глядели друг на друга, но он страдал, а на ее лице играла все та же тихая, ласковая улыбка.

Наконец она заговорила:

— Зачем же была вся эта странная сцена, эти безумные признания — и потом вдруг побег?.. Я слушала так внимательно, ваша импровизированная поэма была, действительно, прекрасна...

— Зачем? Зачем?! — задыхаясь, перебил он ее. — Оттого, что я очень несчастлив, оттого, что я люблю вас до сумасшествия!

— В этом еще я не вижу несчастья, мой

друг, — сказала она. — Разве я когда-нибудь была жестокой с вами? Разве вы не видели в это последнее время, что я тоже люблю вас?!

Он вздрогнул всем телом, блаженное чувство на мгновение мелькнуло в глазах его, но вдруг он отшатнулся и даже выпустил ее руки.

— Боже мой! Вы меня любите... Вы сами, наконец, сказали мне это? О, я прежде знал, Мари, что вы меня любите... Боже мой, как мы несчастны!!!

Она с изумлением взглянула на него и тихонько пожалала плечами. Но он не заметил этого движения.

— Вы меня любите, — говорил он, — и вот, вместо того чтобы считать себя самым счастливым человеком, я готов наложить на себя руки... Зачем мы встретились? Зачем встретились так поздно? Вы принадлежите другому, он имеет права на вас, и мне нельзя с ним бороться... О, Мари, для чего вы приехали из Версаля, для чего вы меня позвали? Ведь вы же знали, что я прибегу, а мы не должны видеться....

— И он еще спрашивает, зачем я это сдела-

ла?! Вы меня просто оскорбляете! Вы, в самом деле, сумасшедший человек и сами не знаете чего хотите... Не будьте же ребенком! С какой стати это была любовь?! Пришло время, я уже два года как вышла из монастыря, отказала нескольким женихам, явился герцог — сделал предложение... Он был хорошей партией и такой приличный человек... Отказывать ему было бы глупо... Вот я и вышла замуж. Я никогда и не воображала, что люблю его, да и он, я полагаю, не ждал от меня вечной любви... Мы провели с ним веселое время, все было так ново. Ну, а потом увидели, что мало подходим друг к другу... Спросите его: любит ли он меня?.. Как будто я не знаю, что не далее как в прошлом году он купил великолепные бриллианты для одной актрисы...

— Но ведь вы носите его имя, вы навсегда с ним связаны... У вас могут быть дети!..

— *Et vous dites encore que vous m'aimez, monsieur!* — совсем оскорбленная вскричала герцогиня. — Разве это любовь?! Вы рассуждаете как лавочник пред счетной книгой... Вы подводите итоги... Какая же это любовь?! Я вижу, что напрасно приехала в этот ужасный

Париж, рискуя, может быть, большой неприятностью, только для того, чтобы вас увидеть...

Но в лице его было столько страдания, столько страсти, что она успокоилась и продолжала уже другим тоном.

— Дети! Однако вот у меня детей нет, да, конечно, и не будет... В это ужасное время, которое мы переживаем, разве можно иметь детей, разве можно теперь думать о детях? Посмотрите, что кругом делается, ведь не сегодня, так завтра все это взлетит на воздух, ведь мы живем над кратером, который вот-вот поглотит всех нас! И странно, право, разве мне нужно все это говорить вам?! Стыдитесь, я женщина — и я ободряю вас, учу быть мужчиной... Слышите, я люблю вас, вы достигли своей цели... Вы два месяца, с первой минуты как появились в Версале, изо дня в день меня преследовали...

— Я не преследовал вас, Мари! — прошептал Сергей.

— Не преследовали?! Так, может быть, это бессознательно у вас делалось, но где бы я ни была, я видела ваш устремленный на меня

взгляд. И вы умели говорить этим взглядом!.. Я сначала не обращала на вас внимания, но вы были терпеливы, вы поступали по-женски, как самая опытная кокетка... Вы тянули, заинтересовывали... Ну и, говорю, добились своей цели! Что же вам еще больше! Вы заставили меня ободрять вас... Вы довели меня до того, что я делаю глупости, я забываю свое достоинство женщины, я сама иду вам навстречу... Я жду вас, зову — а вы рассуждаете, вы сводите какие-то итоги... Вы безумствуете! Вы заставляете меня думать, что вы обманули меня... что вы не любите меня, что это только игра... Оскорбительная игра — и ничего больше!

Он все молчал, не отрываясь глядя на взволнованное, прелестное лицо ее, ежесекундно менявшее выражение, ежесекундно становившееся все соблазнительнее и прелестнее.

— Serge, что вы со мной сделали?! — проговорила она вдруг упавшим голосом, и на глазах ее показались слезы.

С криком страсти и обожания, вырвавшимся из груди его, он упал перед нею, обхва-

тил ее гибкий тонкий стан жадными руками, покрывая поцелуями ее руки и колени.

Он позабыл все прошлое, всю тоску и мучения этих двух последних месяцев, когда он тщетно боролся с собою, чтобы вырвать из себя ее сладостный образ, наполнявший его мучительным блаженством. Он позабыл все, о чем помнил даже теперь, несколько минут перед тем, в ее присутствии, все, что казалось ему несчастьем и приговором, что заставляло его гнать мысли о счастье, что стояло неразрушимой преградой между ним и ею.

Теперь уже не было преграды — она рухнула от одного сладостного прикосновения.

Она права: зачем мучиться? О чем думать? Надо жить, надо любить... Надо ловить счастье!..

Не сопротивляясь, она принимала его горячие ласки. Она приподняла со своих колен его голову.

Долгий и сладкий поцелуй тихо прозвучал в голубой гостинной...

— Повтори... Скажи, что ты меня любишь! — шептал он, страстно прижимаясь к ней и засматривая в ее отуманившиеся гла-

за, — скажи, что меня любишь, что никогда до меня не любила...

— Je t'aime... — расслышал он ее слабый вздох. Но ему уже нечего было спрашивать — она принадлежала ему.

Ему казалось, что он взял ее по праву, по самому священному праву — по праву любви, которой нет конца, нет пределов.

II. СЕМЬЯ

Кто же она — эта женщина, одержавшая такую решительную победу над целомудренным Сергеем, заставившая его так скоро забыть далекую Таню, его, до сих пор успешно побеждавшего все соблазны?

Герцогиню д'Ориньи знал весь Париж того времени. Она признавалась одною из самых привлекательных звезд Версаля. Она была дочерью графа де Марси, который еще в царствование Людовика XV был известен в Париже блестящими балами и празднествами, на которые в его роскошный отель собиралось все высшее общество.

Предки де Марси владели огромными поместьями в Бретани. Сам граф получил очень большое состояние: по местному закону он

как старший в семье наследовал от отца две трети всего имущества. Его богатства могло хватить на очень роскошную жизнь, но только в том случае, если бы он умел считать свои доходы и расходы — а он совсем не умел этого. Он тратил ровно вдвое более того, что получал, и вовсе не был намерен заботиться о том, чем все это кончится. К тому же и обстоятельства помогали. В довольно критическую минуту он успел поправить свои дела выгодной женитьбой.

Но это было не надолго: если он до женитьбы бросал деньги направо и налево, то, сделавшись семьянином, он стал тратить, конечно, гораздо больше. Вся жизнь проходила нескончаемым праздником, в придумывании новых увеселений, в светских и придворных успехах.

Граф де Марси, обладавший красивой внешностью, имевший большие связи, умевший жить и держать себя с тактом, пользовавшийся репутацией превосходного и изящного человека. Жена попалась ему под стать, и, по видимому, их супружество было самым счастливым. Да, они оба — и граф, и графиня —

действительно считали себя счастливыми и были довольны друг другом. Они оба были прекрасно воспитаны и нисколько друг другу не мешали, уважая взаимную свободу. А ведь только этого и было нужно. В течение долгой семейной жизни между ними не произошло ни одной ссоры, ни одного недоразумения.

Но была ли это семейная жизнь? Муж и жена виделись очень редко. Они обыкновенно встречались на балах и праздниках или в парадных комнатах своего отеля, или в Версале. Встречаясь, любезно улыбались, обменивались двумя-тремя светскими Фразами и расходились.

Граф любил женщин и нисколько не смущался своим положением женатого человека. Все отлично знали о его многочисленных интригах, о его постоянно счастливых любовных приключениях. Конечно, этому никто не придавал большого значения — о подобных историях говорилось с благосклонной улыбкой, вскользь, между прочим.

Графиня любила мужчин и нисколько не смущалась своим положением замужней женщины. И о ее приключениях знали мно-

гие, и о них тоже говорила с благосклонной улыбкой. Она ничем себя не скандализировала, она всегда так безукоризненно держалась, никто не знал за нею ни одного бестактного поступка, ни одного лишнего слова — ее уважали.

Времена «варварства», когда воспевались семейные добродетели, когда неверность супругов считалась преступлением, прошли в Париже давным-давно. При дворе и в обществе уже окончательно выработались новые взгляды, новые понятия, новые нравы. Умение жить с тактом, никому не мешая и доставляя самому себе как можно более удовольствий, — вот была высшая и единственная добродетель, которая требовалась от светского человека и от светской женщины. Несколько поколений потрудились над развитием этой добродетели, и она, наконец, доведена была до совершенства. Французское дворянство вступало в золотой век, жизнь превратилась в сплошное удовольствие.

Среди этого блестящего общества можно было прожить многие годы, не услышав ни одного резкого, грубого слова, не подметив ни

одной неприятной сцены. Все были безукоризненно вежливы друг с другом. Даже враги, решившиеся кровью покончить вражду свою, вышедшие на дуэль, перед началом поединка раскланивались друг с другом и в самых изысканных выражениях осведомлялись о здоровье друг друга.

И это была уже не жизнь, а просто роскошный апофеоз волшебного балета. Страсти изгонялись потому, что они были бы безобразным диссонансом. Страсти портят жизнь, отравляют каждое удовольствие, старят человека. А всем хотелось как можно дольше пользоваться красотой и молодостью, как можно полнее упиваться всеми житейскими благами, которые доставались так легко, без всяких усилий, приходили неведомо откуда и, по-видимому, никогда не должны были исчезнуть.

Так зачем же при таких взглядах было стеснять друг друга и в семейной жизни, к чему тут была ревность, любовь?! Ревность не должна была существовать вовсе, потому что это одна из самых мучительных страстей.

А любовь? Любовь, конечно, процветала,

но только как одно из бесчисленных удовольствий, которому должно быть отведено свое место и которое не должно портить других. Любовь была так же нужна, как новый наряд, как остроумный веселый разговор в избранном обществе, как прелестный праздник, как изысканный обед или ужин. Но одни и те же остроты, одни и те же кушанья, праздники с одной и той же программой, конечно, скоро бы надоели, все это нужно было менять постоянно. Точно так же нужно было постоянно менять и любовь. Она являлась неожиданно, по вдохновению, по капризу. Каприз проходил, вдохновение охладевало — и любовь испарялась, чтобы заместиться новою, такой же неожиданной, капризной и мгновенной.

Страстные поцелуи и клятвы звучали в роскошной тишине алькова. Но проходило несколько дней — и нежные любовники встречались в гостиной... Поцелуи и клятвы были забыты, от них не оставалось и следа; не забывалась только взаимная любезность, первым правилом которой было никогда не поминать старого...

Так жили все. Точно так же жили граф и

графиня де Марси. Они были примерными супругами. Графиня знала, что ее состояние испаряется с каждым годом, знала, что муж не ограничивается своими светскими победами, мимолетными интригами с ее приятельницами, что он тратит большие деньги на модных актрис, но ни разу не попрекнула его этим. Граф тоже не вмешивался в ее дела, и если ему случалось встречать в ее гостиной молодого человека, который чересчур часто туда являлся, он делал вид, что не замечает этого и только удваивал любезность к молодому человеку, стараясь этим показать особенное свое внимание графине. Он был убежден в ее такте, он знал, как она хорошо воспитана, и был уверен, что она никогда не доведет до скандала, не поставит его в неловкое положение перед обществом. С него было довольно этого сознания.

Один только раз во время их семейной жизни чуть было не вышла неприятность. Как-то, войдя в будуар графини без доклада, граф оказался свидетелем слишком нежной сцены между женою и одним из их общих знакомых. На одно мгновение его красивое,

спокойное лицо изменило свое обычное выражение, легкая краска появилась на щеках. Но он тотчас же и сдержал себя. Он грациозно раскланялся, вежливо извинился и вышел. А потом, встретясь с графиней и замечая, что она избегает его взгляда, шепнул ей:

— Какая неосторожность! Ну, хорошо еще, что вошел я, а то ведь мог войти и кто-нибудь другой!..

Графиня ничего не ответила. Она сознавала вину свою и твердо решила, что впредь будет осмотрительнее. С этого времени подобные сцены более никогда не повторялись; впрочем, и граф уже ни разу не входил к жене без доклада.

У графини были дети — сын и дочь. Граф называл их «mon fils» и «ma fille» и считал их продолжателями своего рода. Дети были прелестны. Граф и графиня позаботились, чтобы воспитать их нисколько не хуже, чем как воспитывались дети всех лучших фамилий Франции. Устроить это было легко, для этого не требовалось никаких жертв со стороны родителей. Дети нисколько не стеснялись. В отеле Марси было так много комнат, что детские

крики никогда не достигали ни до половины графа, ни до половины графини. Дети являлись каждое утро, разряженные и раздушенные, поздороваться с «рара» и «маман». Папа протягивал им дья поцелуя свою руку, гладил их по голове, и этим все кончалось. Маман, если бывала в духе и никуда не спешила, решалась на полчаса заняться ими. Она сажала их перед собою, оглядывала их туалет, с удовольствием подмечала, что они хорошеют, кормила их конфетами, учила их декламировать хорошенькие куплеты. Но полчаса проходило, дети, сначала сдержанные, начинали шалить, графиня приказывала их увести и возвращалась к своей собственной, веселой, беззаботной жизни.

Где они, как живут, что они делают, под чьим влиянием находятся, нужно ли им что-нибудь, и что именно нужно — она не знала. Дети были красивы и нарядны, но слишком малы, а потому еще не требовали особого попечения. И она не знала, что эти бедные дети живут совсем не так, как жить им бы следовало. Они жили, окруженные грубой прислугой, деревенскими няньками, взятыми из глуби-

ны Бретани; они мылись и наряжались только тогда, когда их надо было вести здороваться с «рара» и «татап», а возвращаясь к себе, они тотчас же становились маленькими грязнушками. Иногда они Бог знает что ели и Бог знает как спали — на грязном белье, часто в холодной комнате.

Но время шло, и графиня, раз как-то внимательно взглядевшись в детей, заметила, что они сильно выросли, и оба необыкновенно милы. Жоржу уже девять лет, Мари — восемь: пора серьезно заняться их воспитанием. К ним приставили гувернантку, учителя; танцмейстер ежедневно давал им уроки. Дети проявляли большие способности, и вот, наконец, графиня решилась показать их своему обществу.

Жорж и Мари появились в салоне и были встречены шумными выражениями восторга.

«Боже, какие прелестные дети! Впрочем, как же и могло быть иначе, ведь они — де Марси!..»

Эти нарядные куколочки, действительно, были прелестны.

Правда, на свежего человека они произве-

ли бы несколько печальное впечатление — они были очень мало похожи на детей. Но свежего человека не нашлось в салоне графини. Дети всем казались именно такими, какими должны быть благовоспитанные дети, принадлежащие к одной из самых знаменитых фамилий Франции.

Маленький Жорж в напудренном парике с кошельком, в великолепном кафтанчике и даже при крошечной шпаге, с ловкостью светского человека расшаркивался перед дамами, целовал у них руки, говорил комплименты и проделывал все это очень серьезно, с полным сознанием своего достоинства.

Маленькая Мари, перетянутая в корсет, в роскошном «панье» с гирляндами, с целой башней напудренных волос на голове, была еще милее. Она грациозно обмахивалась веером, кокетливо опускала и подымала глаза, улыбалась, выслушивая любезности, которые сыпались на нее со всех сторон, нисколько не смущаясь и отвечая бойко, не задумываясь. Ее попросили спеть — и она пропела тоненьким детским голоском страстный романс, и умела оттенить некоторые фразы, вложить в

них чувство. Это было так забавно, так мило...

«Какие чудные дети! Какое счастье иметь таких малюток!..»

Целую зиму забавляла графиня свое общество «прелестными малютками», но к концу зимы нашла, что это становится слишком однообразно, что дети начинают надоедать и ей, и гостям.

— Mon ami! — сказала она графу. — Мне кажется, пора подумать о детях, *il est temps de placer Marie dans un couvent!*.. Она делается уже совсем большой девочкой... А о Жорже вы сами подумайте, я в мужское воспитание не вмешиваюсь.

— Вы правы, *chère amie*, — отвечал с грациозным поклоном граф, — действительно, пора отдать Мари в монастырь... и о дальнейшем воспитании Жоржа я тоже подумаю.

И вот Мари в монастыре. Она несколько не грустит — ей не жаль расстаться с домом. Положим, было очень весело, когда ее наряжали и выводили к гостям, но ведь это бывало нечасто. А там, в детских комнатах, жилось иногда довольно плохо. Разлука с отцом и с матерью? Но Мари так мало знала их, она

вовсе не привыкла к ним, вовсе не любила их. Правда, в первые дни было скучно без брата Жоржа, но новые впечатления скоро заставили ее забыть о нем. Явились подруги, много подруг. В монастыре гораздо веселее, чем в отеле Марси... Ученье не Бог знает какое, разными науками вовсе не отягощают детей, все направлено, главным образом, только к тому, чтобы девочки хорошо умели держать себя, чтобы хорошо и грациозно умели танцевать, умели бойко сыграть модную пьесу на клавесине, с чувством спеть романс, легко и красноречиво излагать свои мысли в форме сентиментальных писем.

В монастыре заведена строгая дисциплина, но она исполняется только в присутствии настоятельницы. А настоятельница стара, болезненна, часто по целым неделям не выходит из своих комнат. Есть две-три злые монахини, но остальные такие добрые, такие милые, красивые, молодые...

Мари скоро привыкла к монастырской жизни. Графиня посещала ее редко, граф совсем не посещал.

Проходили годы, и маленькая девочка

быстро превращалась в девушку. То, что в детстве интересовало: невинные забавы и игры, маленькие шалости, проказы над старыми монахинями — теперь все это уже не казалось забавным. Хотелось других забав, других интересов. И эти интересы понемногу находились: между пансионерками из рук в руки переходили чудесные книжки, запретные книжки, составлявшие любимое чтение многих из молодых монахинь. В этих книжках, написанных иногда очень талантливо и тонко, даже с соблюдением полного приличия в слоге и манере рассказа, были собраны самые соблазнительные истории, самые циничные приключения. Эти книжки развращали воображение пансионерок до последней крайности.

Но были и не одни книжки. Тихие стены монастыря время от времени оглашались звуками веселья. К монахиням наезжали гости, и мужчины и женщины, под сурдинку шло веселое пируваньё. Положим, пансионерки почти никогда не допускались на эти веселые, слишком веселые вечера, но ведь они знали все подробности, передавали о них друг дру-

гу, судили, рядили, делали свои выводы...

Графиня де Марси вернулась в родительский дом грациозной, хорошенькой девушкой, образованной и прекрасно воспитанной, немножко бледной и нервной, составившей себе уже определенное понятие о жизни и страстно рвавшейся в эту жизнь, где все было так заманчиво и весело, где ожидалось столько радостей, уже заранее и давно предвкушаемых. Графиня де Марси была представлена королеве Марии-Антуанетте и понравилась ей. Понравиться королеве — значило понравиться всему Версалю. Толпа поклонников окружила молодую графиню, но она была скромна, сдержанна, от нее веяло холодом. Она никому не оказывала предпочтения, она рассчитывала, ждала удобного во всех отношениях мужа. Она знала, что муж — не цель жизни, а только средство.

И вот она вышла замуж за герцога д'Ориньи — блестящего, богатого человека уже не первой молодости, но еще очень представительного, на руку которого приятно было опираться при входе в большое собрание.

Граф де Марси был доволен выбором доче-

ри. Герцогу не нужно было ее приданого — а в этом заключалось единственное условие, которого Марси требовал от своего зятя.

В это время, несмотря на то, что жизнь графа велась обычным чередом, что он тратил на свой отель, на свою придворную жизнь громадные суммы, состояние его давно уже исчезло, и по-настоящему ему давно следовало уехать в один из своих старых замков в Бретани, ликвидировать дела и постараться спасти хоть что-нибудь из прежнего богатства для детей. Но он далек был от подобной мысли. Он нашел новый выход из затруднительных обстоятельств, нашел возможность продолжать роскошную жизнь и даже время от времени платить часть долгов, с каждым днем возраставших. Он устроил себе одну из самых выгодных придворных синекур с баснословным жалованьем, с различными косвенными доходами от дворцовых подрядов и тому подобного.

Высматривая для дочери выгодного мужа, который не требовал бы приданого, он одновременно с этим присматривал выгодное местечко для сына, который еще не окончил

своего образования, но должен был скоро окончить. Он рассуждал, что если молодой де Марси окажется благоразумным, то сумеет найти себе богатую невесту, поступить так же, как сестра, и все тогда обойдется благополучно, слава старинного рода не померкнет, влияние сохранится. Устраивая и рассуждая таким образом, граф был спокоен и доволен собою. Графиня была тоже довольна. Она старилась очень медленно и находила себе еще развлечения, пользовалась жизнью...

Выбор Мари оказался удачным: муж достался ей именно такой, какого она желала. В объяснении с Сергеем она ясно высказала свой взгляд на семейные отношения и на этого мужа. Она вышла замуж точно так же, как вышла ее мать, и устроила свою жизнь тоже по примеру матери. Иначе она и не понимала семейной жизни, она не знала других взглядов, ничего иного не видала вокруг себя. Все так жили. Она знала заранее, что брак широко распахнет перед нею двери в водоворот всевозможных удовольствий, — и так оно и случилось.

За хорошенькой графиней де Марси уха-

живали все, кому она нужна была как дочь графа де Марси, кто соображал, что, женясь на ней, получит вполне приличную, красивую, прекрасно умеющую держать себя и дом хозяйку, которая может быть полезна многочисленными связями своего отца, влиятельной роднёю. За герцогиней д'Ориньи ухаживали все, кому она нравилась как красивая и ловкая женщина, с которой можно провести несколько счастливых часов, еще более заманчивых потому, что они ни к чему не обязывали.

Герцогиня д'Ориньи блистала в Версале. Королева с каждым днем становилась к ней благосклоннее, самолюбие торжествовало, жизнь была полна всяких удовольствий. Мечты и планы монастыря осуществились.

Отуманенный порывом безумной страсти, в бреду восторга, Сергей просил Мари, чтобы она повторила, что она его любит, чтобы она сказала ему, что никого до него не любила. «Je t'aime» — расслышал он ее шепот, и она его не обманула, она действительно любила его, то есть он был ее капризом. И этот каприз, к ее изумлению, оказывался довольно сильным.

Но она не сказала Сергею, что до него никого не любила. И хорошо сделала, что не сказала, — она солгала бы.

У нее уже было много капризов, и если бы Сергей подробно знал ее жизнь, она, может быть, не произвела бы на него такого рокового впечатления. Но он не мог ничего знать, он увидел ее во всем обаянии ее капризной красоты и женственной грации, во всем блеске ее живого ума, остроумия и тонкого кокетства. Он увидел ее среди блестящей толпы, которая относилась к ней с уважением. Ее репутация была безупречна.

— «C'est une femme adorable, pleine d'esprit et de grâce... et très distinguée!»

Таково было о ней мнение в парижском обществе. В ее присутствии никто никогда не позволял себе ни одного лишнего слова, ни одного двусмысленного намека. Если графиня-мать отличалась тактом и приличием, то дочь все же превзошла ее, доведя свой такт и приличие до высшего предела.

Бывали минуты, когда, глядя на ее молодое лицо, которому она умела придавать какие угодно выражения, слушая ее красноречи-

вую, но сдержанную речь, можно было ругаться головою, что это самая чистая и глубоко нравственная женщина. Ничто пошлое, ничто безнравственное не могло, не должно было ее касаться. Она была выше всяких подозрений. И именно такую она предстала перед Сергеем, а потом, когда он мог бы разглядеть ее, было уже поздно — он был в ее руках. Он любил ее со всем безумством молодой, в первый раз прорвавшейся страсти. И все это совершилось так быстро, так неожиданно и так бесповоротно! Он видел в этом что-то роковое, видел судьбу свою.

III. ПРОВИНЦИЯ

Бывают в жизни человека периоды, когда незаметно проходят целые годы, не принося с собою никакой внутренней перемены; человек остается все тот же и почти не замечает протекшего времени. Оно, конечно, берет свое, оно медленно, но неизменно приближается к концу, к могиле, аккуратно и не спеша разрисовывает морщинами молодое лицо, серебрит сединою голову; оставляет следы свои и в мыслях, и в чувствах человека, многое изменяет вокруг него. Но все это делается тихо,

неслышно, а потому и не производит сильного впечатления — не изумляет. Пройдет несколько лет — и только в случайную минуту, подойдя к зеркалу или вспомнив что-нибудь давно позабытое, человек с изумлением видит, сколько прошло времени...

Но бывают и другие периоды в жизни человека, когда один месяц, один день, наконец — минута значат больше, чем целые тихие годы. В месяц, в неделю человек переживает так много, так все изменяется вокруг него и в нем самом, что и поверить не может он, что прошла одна неделя, один месяц: кажется, целая жизнь прошла!

То же случилось и с Сергеем. Давно ли уехал он из Петербурга? Только около двух месяцев как он в Париже, а ему кажется, что прежняя, недавняя жизнь его далеко-далеко, что долгие невозвратные годы легли между ним и ею. Много новых впечатлений быстро пережил он, перенесясь из деревни ко двору Екатерины, много пережил он в полгода своей петербургской жизни. Но все же это было совсем не то, что теперь...

Там, в Петербурге, все же оставалась тес-

ная связь и с детством, и с юностью. Теперь же он совсем оторван от старого; в нем все новое, он среди совсем новой жизни и живет заодно с нею.

Он выехал из Петербурга в тяжелом, мрачном состоянии духа, долго не мог побороть в себе мучительных чувств, вызванных последними днями в Царском. Но петербургский яд терял свою силу по мере отдаления от России. Молодость взяла свое. Путешествие было интересно. Столько новых впечатлений! Хотелось бы остановиться, оглядеться... И жалел Сергей, что не было времени, что он должен торопиться, не терять ни одного часа...

Чужие страны, незнакомая жизнь, новый народ, великолепные старинные города, обрывки незнакомых нравов и обычаев, разнообразные картины чудесной природы — все это мелькало перед ним как в панораме, постоянно меняясь и очаровывая все больше и больше.

Как ни спешил он, все же самый способ передвижения — на лошадях — позволял ему ясно различать каждую новую картину волшебной панорамы. Он не чувствовал утомле-

ния, ему хотелось только не пропустить ничего, все разглядеть, всякую мелочь поместить в запас своей памяти. Он сожалел, что нужно спать, и то и дело в дороге просил Моську не давать ему спать долго, будить его. Просил — а сам, утомленный дневными впечатлениями, засыпал как убитый, и Моське жаль было его тревожить.

«Ишь, чего выдумал: будить! Ну что там за невидаль... все те же немцы, деревня как деревня, город как город... Да и чем дальше, тем хуже — все не по нашему; и не глядел бы — а он, вишь, буди!..»

И Моська не будил, пока Сергей сам не проснется.

А проснется Сергей, выглянет в окошко своей огромной дорожной кареты, увидит чудесную панораму, увидит вдали, в голубоватой мгле раннего летнего утра очертания оставленного позади городка — и начинает бранить карлика:

— Опять не разбудил, Степаныч, ведь я же тебе приказывал?!

— Прости, сударь батюшка, уж больно сладко дремал ты, да и смотреть тоже было

нечего.

— Как нечего?! Много ты понимаешь!

— Понимаю либо нет, а говорю: смотреть нечего... Городишко, что мы проехали, самый плохенький; улицы словно коридорчики — встретятся два рыдвана и не разъедутся. Люди такие противные, рожи такие красные да глупые, в куртках... Много мы их видели, один как другой — все на одно лицо. Говорю — смотреть нечего. Спи себе с Богом, ба-тюшка, возьми хоть пример с мусье Рено: ишь ведь, храп какой запускает — видно, это он своим храпом тебя и разбудил-то!

Сергей взглядывал на Рено. Тот, действительно, спал, поместясь на подушках кареты самым удобным образом.

Рено, как и Моська, мало интересовался окружающим; к тому же с самого выезда на него напала спячка, он оживлялся только когда останавливались. Он уже проезжал этой дорогой и ничего достойного внимания не нашел для себя в землях немецких. Он был поглощен теперь одной мыслью о родине и как школьник высчитывал дни и часы.

Время тянулось для него невыносимо, и он

решился коротать его сном; мерная тряска кареты помогала ему в этом, убаюкивала.

Но вот они, наконец, и во Франции. Рено уже не спит! Он превратился в интересного собеседника, в путеводителя. Теперь они подвигаются несколько медленнее, потому что Рено то и дело уговаривает остановиться на часок, оглядеться.

— Да глядеть-то нечего! — ворчит Моська свою вечную песню, — в Немечине, по крайности, люди живут без нужды, в свое удовольствие, всего-то у них вдоволь, а тут что? Вот те и хваленая Франция — беднота, голь!..

И обращаясь к Рено, сделав самую серьезную мину, он спрашивал его на своем ломаном французском языке:

— Вы такой ученый, мусье Рено, и все знаете — скажите, сколько каждый год французов по деревням с голода умирает?..

Если б не Сергей, то карлику досталось бы очень плохо. Рено, пожалуй, несмотря на свои гуманные взгляды, и поколотил бы его — так раздражали его эти ехидные вопросы и замечания: Моська всегда попадал в самое больное место.

Действительно, Францией пока трудно было похвастаться. Ни одна страна не находилась в то время в таком бедственном положении.

Сергей проезжал через города, где сразу замечались признаки волнения. Всюду встречались мрачные лица, оборванные мужчины и женщины из народа злобно поглядывали на богатого иностранца, за каретой которого ехало еще несколько экипажей с его прислугой и вещами. По сторонам пустынной дороги, то там, то здесь показывались деревни, будто покинутые — такая тишина стояла.

Дворянские жилища, замки богачей и высших сановников церкви были тоже совсем пусты: почти все, что имело средства жить — жило в Париже, в Версале. Только бедные дворяне, младшие члены младших ветвей знаменитых титулованных родов — виконты, бароны и шевалье, наследие которых состояло кроме знаменитого герба в голубе, зайце, утке и охотничьей собаке, жили в своих бедных маленьких домиках. Это были большей частью грубые и невежественные люди, собственноручно возделывавшие свой кусок зем-

ли, знавшие только землю и мало-помалу во всем уподоблявшиеся крестьянам.

Большая проезжая дорога, ведущая к Парижу, была пустынна. Вся страна казалась погруженной в спячку. Один только дилижанс ходил в это время из главных городов в Париже раз в неделю, и если он бывал полон, то этому все удивлялись, это бывало не более нескольких раз в год.

По Франции расходилась всего одна газета «Gazette de France», выходящая два раза в неделю...

— Я никогда и не выставлял нашу провинцию в радужных красках, — объяснил Рено Сергею. — Вся Франция в Париже, и в этом-то громадное значение этого города, но все же в прежние времена было несравненно лучше. Очевидно бедность усиливается с каждым годом. Но постойте, мы завтра же обо всем подробно узнаем. Все равно, нам нужно же где-нибудь ночевать столько ночей в дороге!.. Так мы завернем к одному моему приятелю. Это дворянин по фамилии де Сент-Альмэ — старый холостяк, неглупый малый... Его именье будет как раз по дороге... Я полагаю, что он не

в Париже — это почти наверное. Он живет в деревне уже несколько лет, и я имел недавно о нем известие. Он примет нас с большою радостью, и, прежде чем попасть в Париж, мы от него узнаем в подробности все, что делается с Францией! Надеюсь, Serge, вы ничего не имеете против этого плана?

Сергей был сговорчив, и они решили переночевать у приятеля Рено, если только найдут его...

Де Сент-Альмэ очень изумился, когда увидел с террасы своего старинного дома подъезжавшие экипажи. Рено выпрыгнул из кареты, объяснился со старым приятелем, с которым иногда переписывался из России, и скоро вернулся к Сергею, который его дожидался.

— Мой друг очень рад принять вас. Он знает вас по моим письмам и считает за честь познакомиться с вами. Да вот он и сам, пусть он и повторит все это...

Сент-Альмэ — сухой, длинный человек лет за сорок, в черном кафтане и в черных же чулках, не спеша и с достоинством подходил к карете. Сергей поспешил выйти к нему навстречу. Бледное, задумчивое и выразитель-

ное лицо этого человека ему понравилось. Понравилась ему и его манера. Он просто и любезно пригласил Сергея в свой дом.

— Я не ждал гостей, — сказал он, — и вряд ли вам будет у меня удобно. Но я рад старому другу Рено, которого не видал так долго, и рад случаю познакомиться с вами. Вы прекрасно сделали, что решились ко мне заехать. Тут, видите, у нас место плохое, неподалеку большой лес, через него вам пришлось бы ехать ночью, а в лесу беспокойно... Вот уже два месяца, как бродят голодные шайки и грабят проезжих...

— Какие вы ужасы рассказываете! — заметил Сергей.

— Мы привыкли к этим ужасам, — ответил хозяин.

Дом был старый, и не видно было в нем никакой роскоши, никакого даже стремления к комфорту. Но провести ночь в постели было во всяком случае приятнее, чем трястись в душной карете, а до ночи еще было далеко, предстояла, значит, интересная беседа.

Вечер был чудесный. В небольшом садике, куда Сент-Альмэ провел Сергея и Рено, было

так свежо, пахло недавно скошенным сеном. На зеленой лужайке появились стол, стулья, несколько бутылок старого вина, деревянный ужин, состоявший из окорока, молока и сыра. Хозяин и гости уселись. Сергей с аппетитом ужинал и добродушно вслушивался в беседу приятелей, которым было о чем поговорить после долгой разлуки.

Сент-Альмэ заинтересовывал его больше и больше. Он говорил так спокойно, разумно, и через час какой-нибудь Сергей относился к нему с полным доверием, как к старому знакомому.

Он охотно отвечал на все вопросы, удовлетворял его любопытство относительно России, о которой француз имел, конечно, самое смутное и наивное представление.

Незаметно бледнели краски заката, в темнеющей синеве загорались звезды. Беседа все оживлялась и оживлялась за стаканами старого вина.

— Нет, я вижу мой друг, ты совсем ничего не понимаешь в настоящих событиях, — говорил Сент-Альмэ обращаясь к Рено. — Ты фантазируешь на прежние темы, не имеешь по-

нения о действительном положении дел во Франции и Париже.

— А ты давно был в Париже? — спросил Рено.

— Недавно, я ездил по одному делу и не знал как оттуда вырваться.

— Вот этого я не понимаю! — в волнении закричал Рено. — Как можно теперь, в такие дни, бежать из Парижа, как можно жить так, как ты живешь, запереться в деревенском доме?!

Сент-Альмэ пожал плечами и обратился к Сергею:

— Ваш ментор неисправим, — сказал он, — он все ищет бури, борьбы; но ему, вот увидите, предстоит много разочарований. Буря уже началась, и я наблюдаю ее издали: издали ведь всегда лучше видно. Я, видите ли, человек совсем одинокий... Тоже увлекался тем и другим, но затем понял, что уединение в наши дни — самая лучшая вещь. Вот и живу я в этом старом доме с моими милыми книгами, вдали от всего и ото всех, и буду жить пока не придут, не разрушат моего старого дома и самого меня не убьют...

— Боже, какие мрачные мысли! — с улыбкой заметил Сергей.

— Все это может случиться, — продолжал Сент-Альмэ, — в этом нет ничего невероятного. Теперь недостаточно уйти в свою скорлупу и ни во что не вмешиваться. Крутом бушует стихийная сила, а такая сила разрушает все, что ей попадает под руку, не рассуждает, не наводит справок...

— Неужели действительно дела так плохи и неужели вы не видите возможности утишить волнение, поднявшееся во Франции? — спросил Сергей.

А сам думал о том, что говорила Екатерина перед его отъездом. Значит, она верно поняла положение — все, что он видел, и вот теперь каждое слово Сент-Альмэ его убеждают в этом.

— Судите сами, — между тем говорил Сент-Альмэ, — ведь Франция вот уже второй год умирает с голоду, и этому голоду конца не предвидится, он растет с каждым днем.

— Однако же нам известно, что употребляют все меры, чтобы остановить это бедствие и помочь населению... Не могут же быть веч-

ные неурожаи?!

— Да, правительство принимает меры, но что оно может сделать?! Оно затратило сорок миллионов, чтобы добыть хлеба для Франции, а хлеба все же нет! И не одно правительство — многие частные лица, богатые люди, дворяне и высшее духовенство жертвуют и деньгами, и хлебом, раздают деньги и кормят сколько могут народу, по монастырям, в городах, в больших поместьях — вы всюду увидите... И все же мало толку. Нужда растет, народ питается Бог знает каким хлебом. Я видел этот хлеб: это ужасно, поверить трудно, в этом хлебе все, что угодно, кроме хлеба. Сначала умирали дети, теперь уже многие деревни в разных местах Франции почти вымерли; в городах на рынках нет ни зерна, ни муки. У каждой булочной с утра и до вечера толпа. Работники иногда целые дни дожидаются, чтобы получить хлеб для своей семьи за баснословную цену; рабочий день потерян — а вы знаете, что значит рабочий день для народа! Голод — вот первая причина волнений, но есть и другие. Прислушайтесь, что говорит народ: «Король добр, но зачем же его сборщи-

ки отбирают у нас последнее? Наши господа тоже добры, но зачем же они заставляют нас вместо себя платить деньги?»

— Все это самые естественные и логичные вопросы, — заметил Рено, — что же отвечают на них народу? Ответить надо!

— Конечно, надо ответить, — сказал Сент-Альмэ, — это хорошо понимают, и вот уже скоро два года как всюду разъезжают королевские чиновники, призывают крестьян, собирают от них сведения о их положении, о их нуждах. И народ думает: о нас начинают заботиться, на нас, наконец, обращают внимание — значит, близится наше избавление от голода и нищеты! А между тем время проходит: избавления нет, голод все тот же... Терпение истощается. И теперь на сцену уже являются женщины. А если женщина из города доведена до отчаяния и начинает кричать — она становится мегерой. Всюду требуют понижения цены на хлеб и повышения поденной платы. Каждый день приносит известия о новых беспорядках. Принимать крутые меры не решаются — король слишком добр, королю жалко этих бедных детей Франции. Военную

силу решились употребить только в немногих местах, а в большинстве случаев требования народа исполняются. По городам понижают цены на хлеб, города вследствие этого входят в неоплатные долги, а народ не унимается: «Нас слушают — значит, нас боятся!» И всюду волнения, разбой. Двойное представительство третьего сословия понимается как желание короля даровать всем равенство. Народ чувствует и объявляет себя всемогущим, отказывается платить подати, восстает на представителей фиска... Что началось только вследствие голода, то идет теперь гораздо дальше. Всюду неповиновение властям — и все это творится «по воле короля». Разъяренная толпа кричит: «Vive le roi!..» Судите же сами, можно ли ожидать скорого и благополучного конца этим волнениям?!

«Зверь вырвался из клетки» — вспомнилось Сергею выражение цесаревича.

Вспомнились ему вместе с этим и долгие, горячие беседы с Рено в Горбатовском. Как все было тогда гладко, логично! Как легко казалось устроить счастье человечества! А вот жизнь выставляет совсем другое... Этих ли

ужасов желали мечтатели-философы?!

— Ну что же, Рено? — в волнении спрашивает Сергей воспитателя, — что же вы молчите? Этого ли вы ожидали?

Но Рено не слышит его вопроса. Глаза его горят, нервная дрожь пробегает по его членам.

— В Париж! В Париж! — шепчет он.

Только после полуночи Сент-Альмэ проводил своих гостей в назначенное им помещение, а рано утром Сергей и Рено уже простились с любезным хозяином и мчались в Париж.

Оба они были задумчивы. Но Сергей все же был благодарен Рено за то, что он познакомил его со своим приятелем. Ему есть о чем написать графу Безбородке, есть что сообщить императрице.

IV. ДВОР

Русский полномочный министр в Париже Иван Матвеевич Симолин встретил Сергея очень радушно.

Это был человек старый, но еще бодрый вследствие неизменно правильного образа жизни. Сын бедного шведского священника

из Ревеля, он, благодаря способностям, прилежанию и знанию иностранных языков, был определен в иностранную коллегию и всю свою долгую жизнь посвятил дипломатии.

Сменив в 1781 году в Париже князя Барятинского, он казался многим не на своем месте. Скромный, любивший уединенную жизнь, он не имел ни средств, ни охоты для представительства, а потому не мог получить влияния при версальском дворе, где такую роль играли внешний блеск и роскошь. Екатерина, конечно, знала все это, а между тем не отзывала Симолина. Она находила, что посланник, не играющий видной роли, подходит к ее политике относительно Франции. Исправить ничего невозможно, а потому самое лучшее быть в стороне. Симолин был осторожен, обладал дипломатическим тактом — этого было достаточно.

Однако в последнее время при ежедневно запутывавшихся обстоятельствах старик иногда очень тяготился своим положением. Присылка ему в помощь молодого дипломата, хорошо воспитанного, располагающего огромным богатством, красивого и любезного, была

ему очень по душе. Из сообщений Безбородки, из двух-трех фраз в письме императрицы, он понял, что Горбатовым очень интересуются, что его, вероятно, хотят выдвинуть. Он обрадовался и этому. Зависти к молодому дипломату у него не могло быть. При версальском дворе нужна ловкость, красота, богатство — ну вот им подходящий человек, его там полюбят, а старик между тем получит возможным греться у камина в своем кабинете и тихонько заниматься делами.

Обласкав Сергея и любезно предоставив ему все свои парижские связи и знакомства, Симолин направил его в Версаль, объяснив, кому следовало, действительное значение этого молодого человека, представителя одной из богатейших и знатнейших фамилий России.

Сергей был представлен королю и королеве и успел произвести на них приятное впечатление. Его обласкали, он сделался постоянным гостем Версаля, появляясь в Париже только изредка.

Моська был неотлучно при нем, грустный и сумрачный, недовольный решительно

всем. А Рено с первых же дней совсем исчез. Ехать в Версаль он не хотел — остался в Париже и просил Сергея не заботиться о нем.

— Очень много дел, нужно повидать всех старых знакомых, разобраться в обстоятельствах. Вы, Serge, можете делать наблюдения над двором, над высшими слоями общества — я стану делать наблюдения над низшими. Таким образом, мы скоро со всех сторон ознакомимся с Парижем. Не ищите меня, а я при первой же возможности буду к вам являться.

Рено исчез, а Сергей принялся за свои наблюдения. Наблюдать было можно многое. Версаль доживал свои последние дни. Роскошное, волшебное представление, доведенное до апофеоза, должно было завершиться нежданной катастрофой, полным разрушением. Но разрушение еще медлило, занавес спускался тихо, блестящие декорации еще не успели рухнуть — роскошный, ослепительный, сверкающий апофеоз виднелся еще в глубине сцены.

В первое мгновение Сергей был совсем поражен этим величием, обилием света и ярко-

стью красок. Двор Екатерины казался очень бедным в сравнении с французским двором; того, что главным образом поражало в Версале иностранца, нельзя было добыть одним золотом: это блеск изящества, утонченности и остроумия.

Версаль представлял из себя громадный салон, где хозяева — король и королева — подавали пример любезности, предупредительности, уменяя жить в обществе. Несмотря на строгий этикет, принужденности не было и следа, все чувствовали себя свободно и весело, все отлично знали роль свою и разыгрывали ее артистически. Лучшей артисткой была бесспорно королева. Это уж была не шаловливая, беспечная красавица первых годов царствования; очень мало утратив из красоты своей, которая с годами стала только величественнее и осмысленнее, Мария-Антуанетта, умудренная и сладким, и горьким опытом своей жизни, владела теперь чарующим обаянием. Видеть ее, знать ее хоть немного и не преклоняться перед нею — было невозможно.

На первом же выходе Сергей был ослеплен ею. Она вступала в несметную толпу придвор-

ных, проходила своей медленной грациозной походкой — и исчезала. Но всякий оставался доволен. Она успела взглянуть на всех, и каждый читал в ее взгляде, в ее бледной улыбке, в ее чуть заметном наклонении головы привет себе, знаки ее внимания. Она никого не обходила, никого не обижала — каждый получал то, на что он имел право рассчитывать, — получал должное. В этом заключалось ее истинно царственное искусство.

Но, к несчастью для себя и для Франции, Мария-Антуанетта не захотела ограничиваться величественной ролью, к которой она была предназначена от рождения, — ей показалось мало быть королевой, она пожелала вместе с тем быть и пастушкой, и философом. Но, будучи истинной королевой, она не могла превратиться ни в пастушку, ни в философа. Она только способствовала распространению всевозможных утопий. Версаль и Трианон преклонились перед Руссо, Вольтером и пошли гораздо дальше. Народ явился героем трогательных идиллий, олицетворением кроткой простоты и невинности — и кончилось тем, что вместо того чтобы накормить

этот народ, когда он голодал, а накормив его, твердой рукою управлять им для его блага, неловкими мерами, с помощью философствующих чиновников и демагогов, обуреваемых только собственным честолюбием, деморализовали этот народ, превратили его в дикого, бессмысленного зверя. И очнулись только тогда, когда было поздно, когда идиллия превратилась в кровавую трагедию.

В гигантском, доживавшем свои последние дни салоне Версаля хозяин-король был так же привлекателен, как и королева. Его доброта, благородство, детская чистота души его светились в его взгляде, в каждом его движении, в каждом слове. Во времена крайней распущенности нравов, извращенности нравственных понятий, почти всеобщего падения высоких качеств души человеческой Людовик XVI бесспорно был самым лучшим человеком Франции. Скромный, чистосердечный, только и мечтавший, что о благе народа, способный забывать о себе и ограничиваться очень малым — он мог быть признан образцом доброго человека, семьянина и даже короля, но только не в такое время, когда от ко-

роля требовалось много энергии, силы воли и предусмотрительности...

Король, глядевший почти на все глазами талантливой жены, тоже мечтал об идиллиях. Он пуще всего боялся решительных, строгих мер. Он любил всех, почитал себя добрым отцом Франции и до последней минуты не хотел верить в неблагодарность детей своих — своего народа. Он полагал, что народ знает его таким, каким он был в действительности, — это была очень трогательная, но самая ужасная ошибка.

Гроза близилась, но пока она еще не разразилась, пока слышались только первые раскаты грома, в Версале изо всех сил старались не думать об опасности. Только немногим приходило в голову, что прежнее счастье должно скоро окончиться, остальные же все еще надеялись, что черная туча пройдет мимо и снова заблестит солнце.

Придворная жизнь шла прежним порядком. Прежде всего в глаза бросалась несметная толпа придворных, которые, конечно, составляли прекрасный фон блестящего апофеоза — но и только. Эти придворные, принад-

лежавшие к дворянскому сословию и являвшиеся из всех углов Франции, ничего не делали — они или проедали окончательно свое состояние, или стоили двору огромных денег. Цель всех этих господ заключалась в том, чтобы добиться какого-нибудь назначения; для этого они должны были вечно быть на глазах у короля, «rendre leurs levours au roi» — как тогда говорилось.

Таким образом, вся жизнь проходила сначала в растрате своего состояния, а потом в расстраивании состояния короля. Изобретательность в придумывании новых придворных должностей и всевозможных синекур была необыкновенна. Встречались должности, занимая которые, нужно было только раза два в год подписывать свое имя, и за этот труд получалось жалованье в восемнадцать — двадцать тысяч ливров. Сотни должностных лиц находились при каждом принце и принцессе; на личной службе у короля и принцев было пятнадцать тысяч человек с сорочка пятью миллионами жалованья. Это составляло десятую часть государственных доходов.

Но жалованьями не ограничивались, различные господа и госпожи выхлопывали себе громадные пенсии, которые иногда давались только ради того, чтобы избавиться от присутствия при дворе неприятного лица. Государственные заслуги и заслуги таланта не принимались при этом в расчете. Для получения пенсии нужно было только иметь связи, протекцию и состояние — чем больше было состояние, тем на большую пенсию можно было рассчитывать.

Наконец, все, начиная с королевских родственников и кончая последним придворным, то и дело выпрашивали себе у короля большие денежные подарки. Воровство достигало необыкновенных размеров. Короля заставляли утверждать счета, из которых он узнавал, что он один выпивает в год на две тысячи франков лимонаду, что его карета, за которую частный человек заплатил бы не более четырех тысяч ливров, стоит тридцать тысяч ливров. Король, наконец, узнавал, что он должен всем поставщикам и что решительно нет возможности расплатиться с этими долгами.

Он приходил в ужас, он видел, что так не может продолжаться; но вместо того, чтобы принять энергичные меры, чтобы решительно покончить с этой бессовестной эксплуатацией, он горько вздыхал и подписывал невероятные счета, и раздавал жадной толпе последние деньги.

Должал не один король — все были в долгу, все считали необходимостью жить на широкую ногу и тратить, по меньшей мере, вдвое более того, что получалось. Счета деньгам не знали. И немудрено: эти деньги доставались таким легким способом.

Но все же ведь далеко не все из мелких дворян и офицеров добивались своей цели, то есть синекур, возможности ничего не делать и безнаказанно грабить короля. Для этого требовались связи, родство или, по меньшей мере, случай. Таким образом, многие офицеры, небогатые дворяне и низшее духовенство, истратившись в Версале и видя, что без придворной протекции им невозможно сделать карьеру, выходили в отставку, уезжали обратно в свои имения. Эти люди более или менее основательно считали себя обиженными, их

самолюбие было оскорблено. И вот они становились демократами.

Таким образом, развивалась с каждым годом вражда мелкого дворянства к дворянству крупному, к сановникам и придворным, которые составляли правительство, вражда низшего духовенства к высшему. Результаты этой вражды обнаружались при первом удобном случае: мелкое дворянство и низшее духовенство во время созывания государственных чинов подали свои голоса только за людей из своей же среды; учреждение верхней палаты было отвергнуто, потому что мелкое дворянство не хотело допустить господства знатных фамилий...

Конечно, находились здравомыслящие люди, которым было ясно, что такая жизнь, такой порядок вещей не могут продолжаться и должны привести к гибели. Понимал это и король; но одного сознания было мало: надо было действовать, действовать не полумерами, а решительно и бесповоротно. Нужны были сильные люди, нужны были гениальные способности; а таких людей не было в распоряжении короля Франции, он не мог их найти

среди окружающих.

Обстоятельства запутывались с каждым днем, приходили отовсюду, а главное из Парижа, самые тревожные известия. Страшным громовым ударом разразилось взятие Бастилии. Революция выказывала всю свою силу. Король делал уступку за уступкой по требованию Национального Собрания...

В Версале, чего прежде никогда не бывало, время от времени наступало затишье; веселые лица бледнели; но, во всяком случае, это недолго продолжалось — французский характер брал свое. Из общественного бедствия, из неудачи государственной меры остроумцы извлекали материал для ловкой игры слов, для *bons mots*. *Bons mots*, вызванные печальным событием, повторялись повсюду, все смеялись, становилось весело, и опять ликование начиналось в садах Версаля, в роскошных залах королевского замка, где собраны были со всего мира лучшие произведения таланта и вкуса.

Прелесть придворной жизни была так велика, что самые благоразумные головы затуманивались, и под звуки ласкающих слух мо-

тивов, под обаяние женской красоты и ласки забывались надвигавшиеся беды. Жизнь была слишком хороша! Прежде думалось, что она никогда не кончится, теперь невольно и настойчиво является мысль о возможности ее окончания; но ведь она пока еще существует, и нужно всецело отдаться ей, насладиться ею... нужно жить, нужно жадно, до последней капли выпить эту сладкую чашу. Жизнь Трианона и Версаля была так хороша, что те, которые ее пережили и спаслись во время грозы, потом уже не жили, а прозябали. На склоне дней своих, при новом порядке и, по-видимому, окончательно сжившись с этим порядком, такие люди повторяли: «Кто не жил до 1789 года, тот и понятия не имеет о сладости жизни!»

Но как бы то ни было, в этом благоухающем воздухе уже все больше и больше чувствовалось приближение грозы, и особенно это было заметно для постороннего человека, для Сергея. Это предчувствие надвигавшихся бед с первых же дней его пребывания в Версале нагнало на него грусть. Но скоро другое чувство, еще более мучительное, овладело

им — он встретил герцогиню д'Ориньи.

Он был ей представлен в одну из тех минут, когда она вся была оживление, остроумие, веселость. Она взглянула на него своими искрящимися, черными глазами, улыбнулась ему тихой, полудетской улыбкой, протянула руку. И это мгновенное пожатие, этот взгляд, эта улыбка сразу решили все — с первой же минуты он был во власти этой женщины, он безумно любил ее. Встречи были постоянны, и в первое время он даже сам не замечал, как ищет этих встреч, как все усилия направляет к одной цели: видеть ее, говорить с нею.

Он правду сказал ей, что и не думал ее преследовать — это делалось бессознательно. Целый месяц провел он как в чаду, в лихорадке, не замечал своих бессонных ночей, своих мучений — он жил только в ее присутствии... Это было какое-то сумасшествие.

Он очнулся только тогда, когда увидел, что из-за нее пренебрегает своими обязанностями. Он вспомнил о Тане только тогда, когда получил от нее длинное и нежное письмо, где она рассказывала, что ее мать поправилась,

что Бог помог ей в одном очень важном деле, ради которого она звала Сергея. Она не обвиняла его в том, что их разлука становится слишком продолжительной, она понимала, что сократить эту разлуку было не в его власти. Но в письме Тани были ужасные строки: эти строки говорили Сергею о том, что она его любит, что она уверена в неизменности его чувства.

Что же это такое? Что он сделал?! Зачем он обманул ее?!

Но он уже не мучился над этими вопросами, он уже знал, что виноват не он, что виновата судьба, потому что увидеть герцогиню и не полюбить ее — он не мог.

Что теперь делать? Написать Тане, что между ними все кончено, просить ее забыть его, рассказать ей всю правду? Конечно, это было бы всего лучше, но она одна из тех натур, с чувством которых играть невозможно. Он убьет ее своим письмом... Но ведь рано или поздно надо же ей будет узнать истину!.. Если б он мог увидаться с нею, он, может быть, сумел бы мало-помалу ее успокоить — но ее нет. Он даже написал ей письмо, в кото-

ром во всем признался и все же не решался послать этого письма. Она одна, ее жизнь нерадостна, в нем ее единственная отрада — отнять эту отраду чересчур жестоко!..

Но вот перед ним являлась герцогиня, он снова слышал ее голос, ее смех. Она на него взглянула — и Таня была позабыта. Явилось новое мученье:

«Если я буду причиной несчастья Тани, — думал он, — то она отомщена — несчастнее меня она не будет!..»

Любить без взаимности, любить, не смея даже высказать своего чувства!.. Сойти с ума от любви, совсем погибнуть — вот какая будущность представлялась Сергею.

Но вдруг он стал замечать столько ласки во взгляде герцогини, что в первые минуты, действительно, чуть с ума не сошел от блаженства.

«Она меня любит! Боже мой! Но ведь она никогда не может быть моею!..» — думал наивный юноша.

Герцогиня скоро доказала ему, что он ошибался. Она дала ему нежданное счастье, которое его совсем отуманило.

V. ЗА ХЛЕБОМ

Было около десяти часов утра. Сергей крепко спал в своей обширной спальне в доме, нанятом им на бульваре близ величественного и тогда еще не вполне оконченного здания церкви святой Магдалины. Толстые драпировки окон спальни были спущены, и в комнате царила полутьма. С улицы по временам доносились глухие крики.

Но эти крики не нарушали сна Сергея. Он провел бессонную ночь, сначала за спешной работой — за письмами в Петербург, потом же он никак не мог заснуть от волнения. Эта ночь была первой ночью после его свидания с герцогиней в отеле д'Ориньи. Простясь с Сергеем, герцогиня уехала в Версаль, но он еще не мог следовать за нею. Он должен был до следующего дня остаться в Париже, должен был увидеться с Симолиным, который простудился и несколько дней не выходил из дому. Сергей обещал герцогине быть в Версале на следующий день непременно, а пока напрягал все усилие воли, чтобы забыть себя и свое новое, внезапное счастье и заняться делом.

Ему это удалось. Возвратясь вечером от Симолина, он приготовил письма в Петербург. Но, окончив эти занятия, всецело предался своим ощущениям и заснул только на заре.

В первый раз после двух месяцев тревоги и тоски счастливая улыбка мелькала на его сонном лице, щеки его горели, губы шептали что-то — видно, и во сне он переживал свое счастье.

Дверь спальни тихонько скрипнула, приотворилась, и в полумраке обрисовалась крошечная фигурка Моськи. Карлик подошел к окну, вскарабкался на кресло и стал раздвигать занавес.

— Ишь ты, как заспался, — шептал он, — это его, видно, к погоде... Вишь, дождик-то так и поливает!.. Все небо обложило... Да уж денек! Чем-то кончится?.. Нет, встать пора — неладно, совсем неладно нынче, надо ему доложить про все...

Открыв занавес, карлик подошел к высокой кровати Сергея, взобрался на табуретку, а оттуда уже на мягкую перину и стал тихонько щекотать Сергея, как всегда это делал, когда нужно было будить его.

— Вставай, батюшка, вставай, дитятко! — нежно и ласково говорил карлик.

Сергей открыл глаза.

— А? Что, Степаныч? Разве поздно?

— Поздно, батюшка, десять часов уже скоро.

Сергей лениво потянулся, потом вдруг схватил себя за голову. Он вспомнил все, сердце его безумно застучало, глаза загорелись счастьем. Он обнял карлика и стал целовать его крохотное сморщенное личико.

Моська был ему теперь самым близким, самым родным человеком, и хотелось ему крикнуть этому старому другу:

«Степаныч я счастлив, я счастлив, как никогда не был!..»

Но он удержался и только целовал карлика. У Моськи даже радостные слезы на глазах показались от этой ласки.

— Батюшка, Сереженька!..

Он стал ловить его руки, покрывая их поцелуями. Но вдруг ему стало тяжело, грустно и страшно.

— Сереженька, золотой, вставай, — сказал он, соскальзывая с высокой кровати и пода-

вая Сергею чулки и башмаки, — ведь недаром же я тебя бужу-то! Не стал бы тревожить твою милость, видя, что спишь так сладко, а вот побоялся, что серчать будешь, коли не разбужу. Дело-то, видишь ты, сегодня совсем неладно!..

— Что неладно? Что такое?

— Да ведь чужало мое сердце, что не на радость мы сюда едем... Недаром, как въехали в этот проклятый Париж, так меня тоска охватила... И давно уж я вижу, что дело совсем дрянь — вот и стряслась беда...

— Степаныч, говори прямо, что такое? Когда ты эту манеру бросишь тянуть да пугать?!

— Что такое?! — мрачно пропищал карлик. — А то, что народ ихний нынче по улицам бунтует.

Сергей поспешно подошел к окну.

Сквозь серую мглу окладного осеннего дождя он увидел по улицам толпу, беспорядочно спешившую куда-то по одному направлению. И это уж не был тот спокойный, веселый народ, которым он любовался вчера при ласковом блеске солнца. Сразу было заметно что-то необычайное в этом движении — люди бежали будто на пожар; то и дело доносились

дикие крики.

— Куда же это они? Не слышал ли, Степаныч, что такое?

— Говорю, бунтуют. А бегут они в Пале-Рояль, там с раннего утра народу видимо-невидимо. Одевайся, батюшка, я тебе сию минуту шоколаду принесу — давно уж готов, а как будешь ты одеваться да кушать, так я и расскажу тебе, что знаю.

Моська поспешно вышел из спальни и через минуту вернулся, таща маленький серебряный поднос с шоколадом и печеньем.

— Я, сударь-батюшка, все это доподлинно знаю, — запищал он. — Что мне тут сидеть дома-то одному, когда из Версаля приезжаем? Как тебя нет, я по улицам и шляюсь... не даром ведь их басурманскому языку научился — все ведь понимаю, с кем хочешь говорить могу. Потаскался-таки по этому Парижу, теперича, почитай, не хуже Питера его знаю. Нечего сказать — народец! Город, что и говорить, важный — ровно в сказке какой!.. Только и бедноты же здесь, срамоты всякой!.. Боже ты мой милостивый! Кабы не своими глазами видел, то и в жизнь не поверил бы, родному

отцу бы не поверил — такое тут творится... Прости Господи, такого наслышался, что как и вспомнишь, так все нутро воротит... Я с ними хитрю, беру грех на душу, дурачка разыгрываю — не раз надо мною потешались, а все же худа мне до сей поры от них не бывало... Нынче чем свет поднялся я, вышел на улицу, народ бежит, и я за народом. Куда, мол? — в Пале-Рояль... И я туда же, да дорогой все и разведаль. Слышь ты, нонче в Версаль к королю народ кинется хлеба просить... хлеба, мол, нету, с голоду помираем. А какой тут хлеб, какой с голоду?! Просто бунтуют, подбили их злодеи.

Сергей с ужасом взглянул на Моську.

— В Версаль? К королю?!

Он понял все — клубные ораторы и демагоги, авторы зажигательных статей в ежедневно появлявшихся листках добились своего. Сергей получал эти постоянно нарождавшиеся газеты и листки, читал их. Он окончательно простился со своими прежними иллюзиями и увидел, что во имя священных принципов справедливости и братства творилось величайшее, отвратительнейшее зло, эксплуа-

тировались народные страсти и невежество. Сначала эти газетки, эти листки казались ему неопасными. Это был народ трескучих фраз, в которых не замечалось ни искреннего убеждения, ни таланта. Но, видно, листки возыме-ли свое действие, видно, авторы их знали, что делают... «Народ, такой народ — опьяненный, бессмысленный — в Версаль! — думалось Сергею. — Где же это новая Национальная гвардия? Что все это, наконец, значит, к чему все это клонится?!»

Сергею почти не удавалось среди той жизни, в которую он был вовлечен, наблюдать народное настроение. Рено почти не являлся в последнее время, а если и являлся, то на самый короткий срок, чтобы проведать своего бывшего воспитанника. И с каждым таким свиданием Сергею казалось, что Рено все более и более изменяется, что он не тот, каким был прежде. Он будто в лихорадке, будто заговаривается... Начнет Сергей спрашивать — он вдруг замолчит, не договаривает, что-то скрывает.

А то вдруг схватится за голову, жмет Сергею руку, странно на него смотрит.

— Да что, — в волнении говорит он, — жизнь кипит, жизнь всесильна и поневоле нужно уступать ей... Гроза страшна пока бушует, но она неизбежна и очищает воздух...

— Рено, вы говорите загадками... Где вы? Что делаете? Зачем вы это от меня скрываете? — тревожно спрашивал его Сергей.

Француз тихо качал головой.

— Я делаю то, что мне должно делать, но я убедился, мой друг, что дороги наши расходятся. Я прежде об этом не думал, не предполагал возможности этого, а между тем это так, и я не зову вас за собою. С меня довольно сознания, что на том пути, по которому вы идете, вы всегда останетесь незапятнанны. Теперь мое дело будет вовремя предостеречь вас, вовремя сказать вам, когда нужно удалиться отсюда. Не изумляйтесь словам моим, не изумляйтесь, что в них так мало общего с прежним, с тем, что я говорил когда-то. Что делать — тогда я не понимал многого. А вот теперь пришлось понять... не спрашивайте меня больше!..

И Рено, задумчивый, мечтательный и рассеянный, уходил от Сергея.

В другое время, при других обстоятельствах Сергей, конечно, его так не оставил бы, но в эти дни, когда он был почти всецело поглощен новой жизнью своего сердца, безумным, страстным чувством, наполнившим его, он отпускал Рено и сейчас же переставал думать о его загадочных словах.

Однако, как он ни был поглощен своею сердечною жизнью, известие, принесенное карликом в это утро, на него сильно подействовало. Народная толпа стремится в Версаль. Мало ли чем это может кончиться, а ведь там Мари, ей, может быть, грозит опасность... Нужно узнать в чем дело, нужно самому убедиться, предупредить опасность.

Он поспешно оделся и объявил Моське, что сейчас уходит.

— Куда же, батюшка? Ведь ты не приказывал закладывать карету — неужто пешком, в такую погоду, в такую-то сумятицу?! Мало ли что случиться может, ведь это разве теперь люди — это звери!..

— Оттого-то я и иду пешком, — по-видимому, спокойно ответил Сергей, — карету-то, пожалуй, остановят, а так кто же меня знает.

— Так постой, постой, коли уж надо тебе идти непременно, я вот принесу твоей милости старый плащ и старую шляпу — все-таки оно будет спокойнее...

— Вот это дело, — проговорил Сергей и задумчиво стал дожидаться Моську.

Скоро карлик явился с плащом и со шляпой. Сергей надел высокие ботфорты, взял в карман пистолет, надвинул на брови безобразную цилиндрическую шляпу, закутался в длинный плащ — в таком виде ему легко было смешаться с толпою. Он поспешно вышел из дома и кинулся по направлению к Пале-Роялю.

Погода была отвратительная, дождь лил как из ведра, на улицах образовались лужи. По мере приближения к Пале-Роялю толпа прибывала с каждой минутой. Сергей должен был все более и более убеждаться, что дело не шуточное. Вся эта бегущая толпа поражала его, он сразу заметил, что находится посреди всевозможного отребья Парижа, которое выползло теперь из своих нор и почувствовало силу. Оборванные мужчины и женщины с отвратительными лицами на бегу кричали, по-

трясая кулаками. Брань, проклятья раздавались со всех сторон. Но к кому относится эта брань, кому эти проклятия — понять было сразу трудно, да вряд ли и сами кричавшие понимали это.

Мимо Сергея проходили и пробегали наглого вида женщины, нищие в лохмотьях, какие-то страшные люди — не то солдаты, не то ремесленники. Попадались и хорошо одетые, в таких же плащах и шляпах, как у Сергея. Одним словом, это была та толпа, которая развилась в Париже в последние годы, толпа людей без всякого дела, потерявших свои прежние занятия вследствие тревожных обстоятельств.

Париж — город роскоши и моды, средоточие блестящего дворянства, обетованная земля богатых иностранцев, съезжавшихся сюда со всех стран света — Париж развил в себе многочисленные классы ремесленников, производителей не только предметов необходимости, но главным образом предметов роскоши. Со времени первых успехов революции, при первых же сильных беспорядках большая часть иностранцев поспешила вон из Па-

рижа. Вслед за богатыми иностранцами начали уезжать и дворянские семейства Франции; некоторые из них удалялись в свои поместья, другие же, более трусливые, или вернее, дальновидные, совсем покидали Францию — эмигрировали.

Париж пустел с каждым днем, и огромное число ремесленников, до сих пор живших в полном довольствии, осталось без всякого дела, а потому и без куска хлеба. К ним присоединились беглые солдаты из всех полков. Таких дезертиров насчитывалось теперь в Париже около шестнадцати тысяч.

Весь этот голодный, озлобленный люд питался чем попало, начинал воровать и грабить и в то же самое время жадно повторял каждое зажигательное слово, читал и перечитывал листки и газетки демагогов. Весь этот люд составил толпы внимательных и шумных слушателей ораторов Пале-Рояля.

Пале-Рояль был любимым местом сборищ этой разнокалиберной толпы, куда собирались, не боясь никаких неприятностей. Там был, хотя невидимый, но любезный хозяин — Филипп, герцог Орлеанский. Он не мешал на-

роду, он готов был брататься с этим пьяным народом. Там можно было получить даровой стакан вина, там можно было встретить в великом множестве женщин, иногда молодых и красивых, цветочниц, торговок, которые не отличались суровостью, которые умели кричать и браниться не хуже мужчин, не хуже мужчин умели аплодировать зажигательно-му слову оратора.

Уже не в первый раз эта толпа собиралась и кричала, уже не в первый раз она наводила ужас на мирных жителей Парижа. Полная безнаказанность доказывала ее силу.

Сергей замечал, как мирные жители спешат скорее спрятаться в своих жилищах. Дома все на запоре, окна закрыты — открыты только одни кабаки. И по пути мужчины и женщины заходят в эти кабаки и выходят оттуда полупьяные, с признаками еще большей необузданности и раздражения. Проклятия раздаются все громче.

Вот коренастая высокая женщина, очевидно, какая-нибудь торговка с высоко подобранной юбкой, в разорванных башмаках, в маленьком чепчике, съехавшем на затылок, с

растрепанными волосами наткнулась на Сергея. Он извинился. Она взглянула на него своими налитыми кровью глазами и хлопнула его по плечу.

— Ну, чего ты, мальчишка! — с диким хохотом прокричала она, — не время тут любезничать, вот уж как наедемся, тогда и потолковать можно будет...

Сергей понял, что его извинение она приняла за любезничанье. Он невольно поморщился и прибавил шагу. Но эта женщина шла рядом с ним, размахивая руками и обращаясь к нему, кричала:

— Слышишь ты, хлеба в Париже нету!.. Так где же он? Значит, в Версале... Вот и пойдём за ним. Раз король, королева и дофин будут с нами — так уж не станем мы сидеть без хлеба, ведь будут же они есть, ну, а коли сами будут есть, так и нас поневоле кормить будут... Тогда, небось, уж не скажут, что хлеба нету!

— В Версаль! — закричала она пронзительным голосом. — В Версаль, и во что бы то ни стало вернемся с булочником, с булочницей и их мальчишкой!..

— В Версаль! В Версаль! — подхватила сот-

ня толосов.

Толпа была уже у Пале-Рояля.

VI. В ПАЛЕ-РОЯЛЕ

Пале-Рояль, этот своеобразный и красивейший уголок Парижа, отделенный от города крытыми пассажами, примыкавший ко дворцу герцогов Орлеанских и заключающий в себе множество магазинов, лавок, кофейных, а также превосходный сад, представлял теперь довольно странное зрелище. Все магазины были закрыты; отпертыми оказались только двери кофейных. Тысячи народу наполняли пассажи, крытые галереи, дорожки сада.

В воздухе стояли несмолкаемые крики; дождь лил как из ведра; но никто, очевидно, не обращал на это внимания. В толпе там и здесь шныряли мальчишки с газетами, выкрикивая их названия. Печатные листки расходились по рукам. Образовывались небольшие группы; кто-нибудь громко читал; но при первом же зажигательном слове слушатели прерывали чтение и поднимали крик, размахивая руками.

Вокруг кофейных и в саду были расставле-

ны столики. За этими столиками сидели люди всех званий и женщины, бесцеремонно обнимавшие своих соседей, деливших с ними стаканом вина.

Вот возле одного из таких столиков собирается два-три десятка людей. Один кто-нибудь начинает говорить, но его трудно слышать.

— Громче, громче! — кричат ему.

Он взбирается на стол и уже оттуда, отчаянно жестикулируя, обращается к слушателям.

Пробираясь то к одной, то к другой кучке, которые собирались вокруг ораторов, Сергей внимательно вслушивался, желая, наконец, узнать, чем эти ораторы поднимают народ, что ему обещают и чего от него требуют. Но сколько ни вслушивался, он никак не мог уловить ясного смысла в этих речах, которые, очевидно, производили такое сильное впечатление, которые заглушались громом рукоплесканий и криков. Он слышал только фразы, отдельные фразы — в них заключалась вся сила этих речей. Это были проклятия, отвратительные, бессмысленные угрозы, но

ими достигалась цель. Полупьяная, полуголодная, обливаемая дождем толпа теряла последние признаки своего человеческого достоинства — окончательно свирепела.

— Неужели мы будем еще ждать, еще терпеть, еще просить, когда имеем полное право требовать! — кричал оратор. — Пора нам показать, что мы не стадо, которым можно распоряжаться как угодно — мы должны распоряжаться!..

Оглушительный крик, подобный звериному реву, был ответом на слова эти.

Расталкивая здоровыми кулаками народ, протискивалась огромная грязная торговка. Она с трудом вскарабкалась на столик, затрепавший и зашатавшийся под ее тяжестью, и охрипшим, почти мужским голосом закричала:

— Слушайте, граждане, нечего тут переливать из пустого в порожнее, покажем-ка себя, чтобы долго нас помнили!

Она засучила рукава и, грозя кулаками в пространство, совсем почти задыхаясь от бешенства, душившего ее, хрипела:

— А-а, австриячка! Принимай гостей... Тан-

девала ты для своего удовольствия, потанцуй теперь для нашего... Из кожи твоей мы себе лент понаделаем, кровь твою мы выльем в чернильницы, а вот и мой фартук для твоих внутренностей!..

И она отвратительно захохотала, пошатываясь на столике, который, наконец, не выдержал — подломился. Торговка с проклятиями полетела на землю, но окружавшие ее поддержали, громкими криками выражая ей свое сочувствие.

А с другой стороны в нескольких шагах кто-то выкрикивал: «Les aristocrats a la lanterne!»

Сергею нечего было больше дожидаться — он и так уже видел и слышал слишком много.

Он спешил скорей из этой отвратительной толпы и вдруг столкнулся с Рено. В первую секунду он даже не узнал его — куда девался сдержанный, приличный вид воспитателя. Рено, совсем промоченный дождем, в какой-то безобразной шляпе на затылке, в смятом платье, небритый, похудевший, с блестящим растерянным взглядом, быстро подошел к этой ужасной толпе.

Сергей схватил его за руку. Рено вздрогнул и, ни слова не говоря, стал выбираться с Сергеем, ища в саду уединенной дорожки.

— Зачем вы здесь? — сказал он, наконец, когда вокруг них никого не было. — Вам вовсе здесь не место... уходите скорее!..

— Это правда, Рено, я и ухожу, но уйдем вместе. И я тоже вас спрашиваю: зачем вы здесь, здесь не ваше место... Очнитесь, что с вами? Вы неузнаваемы — вы, верно, больны... Рено, дорогой мой, идем скорее!..

Рено опустил голову и несколько секунд стоял неподвижно. Но вдруг он выпрямился, взглянул на Сергея странным, незнакомым ему, чужим совсем взглядом. Его ноздри нервно раздулись, губы задрожали, и он проговорил глухим голосом:

— Оставьте меня, я уже сказал вам, что дороги наши расходятся. Мое место именно здесь: я у себя, среди народа, из которого вышел и с которым у меня общая судьба и общие цели.

Сергей отшатнулся, его сердце больно сжалось. Он так любил этого человека, он давно привык уважать его, слушать его как ораку-

ла.

— Рено, опомнитесь! — сказал он опять, схватывая и не выпуская его руку, — ведь это бред, это сумасшествие! Боже мой! Так вот что вы от меня скрывали, вот ваша деятельность! Рено, слушайте, вы знаете, чем вы для меня всегда были, вы знаете, как многим я вам обязан, и потому-то вы должны теперь объясниться, вы должны оправдаться передо мной... я не могу вас оставить. Я не должен, я не смею думать, что вы составляете одно с этими подстрекателями бессмысленной, кровавой толпы, готовой не только на всякую несправедливость, но и на всякое преступление... У меня мысли путаются — говорите же, говорите сейчас, что вы не имеете ничего общего с ними, что вам это все так же отвратительно, как и мне!..

Рено стоял бледный, пораженный, собираясь с силами. Наконец он заговорил, едва переводя дух, задыхаясь, останавливаясь и сжимая руку Сергея своей горячей, дрожавшей рукой:

— Вы требуете, чтобы я оправдался. О, у меня много оправданий! Если бы можно было

достигнуть цели спокойно, без борьбы и волнений — это, конечно, было бы большим счастьем. Но дело в том, что борьба неизбежна, и только эта борьба поможет достигнуть серьезных результатов.

— Каких результатов? Что вы называете борьбою? Говорите слепому и глухому, но ведь я еще вижу и слышу! — вскричал Сергей. — Я вижу, что это не борьба, а отвратительное, зверское насилие. Я вижу, что результат этого насилия — преступление. Вы будете говорить мне, что народ находится в жалком состоянии, что народ невежествен и беден, что он голодает. Все это я знаю. Может быть, прежде и действительно мало заботились о нуждах народа, но ведь теперь призваны представители от всех сословий... что они делают, над чем работают?! Ведь именно над тем, чтобы решать самые жгучие, самые неотложные вопросы, чтобы помочь народу. Так, значит, нужно дать им спокойно выработать необходимые меры. Если вы хотите помочь народу, если вы знаете его нужды — идите туда, в Национальное Собрание!.. Не говорите же о народе — тут дело вовсе не в нем; разве

эта зверская, отвратительная толпа — народ?! Это даже не люди, это ядовитая грязь, которую подбирают и пропитывают ядом вот эти ваши ораторы! Я их слышал, я читал их листки, и настолько-то я ведь понимаю... Они не думают о народе, они думают только о себе, тешат только свою злобу...

Язвительная усмешка скривила губы Рено.

— Вы ошибаетесь, — сказал он, — есть зло, для искоренения которого необходимы особенные средства, а обыкновенными средствами его не вырвешь с корнем. Положение народа никогда не улучшится, какие бы меры ни принимали, не улучшится, пока существует это гнилое общество, стоящее сверху. Отчего народ груб, невежествен и беден? Оттого, что эти господа, это высшее сословие в течение столетий высасывали из него всю кровь, все силы. Они разделили род человеческий на две половины и воображают, что большая его половина должна существовать ради меньшей, должна вечно страдать, работать и голодать для того, чтобы добывать этой меньшей половине радости жизни. Так неужели вы думаете, что какими-нибудь спокойными

мерами можно пересоздать такой порядок? Нет, он изменится только тогда, когда будет поглощено и уничтожено это общество, заклеймившее себя веками несправедливости.

«Les aristocrates a la lanterne!» — донесся в тихую аллею дикий крик толпы.

— Вы этого хотите? — мрачно спросил Сергей.

— Хоть бы и этого, если ничего другого не остается!..

— Рено, вы говорите как сумасшедший, и при этом вы забываете еще одно — ведь я, ваш воспитанник, ваш старый, верный друг, принадлежу к тому обществу, которое вы проклинали, которому вы грозите. Вы много лет провели в этом обществе и, кажется, кроме расположения, кроме внимания к себе ничего не видели!..

Рено тихо и печально усмехнулся.

— Вы ничего не можете принимать на свой счет, — сказал он, — мы во Франции, и дело только во французских аристократах. У нас совсем другие условия, у нас все совсем другое!.. Вы удивляетесь моей ненависти. О, она законна! Я имею право ненавидеть, я схо-

ронил глубоко в себе эту ненависть и таил ее долгие годы. Но время пришло, терпение истощилось... Вы вот эту толпу называете дикими зверями, а те разве лучше?! Без чувства, без совести, без чести, с одной только гордостью, с одним презрением ко всему, что не окружено блеском! Я слишком дорого заплатил, чтобы знать это и чтобы говорить так, как я говорю теперь, — мне всю жизнь испортили, мне душу отравили!..

Последняя краска сбежала с лица Рено. Бледный как полотно, с сверкающими глазами, он схватился за сердце.

— Я знаю, о чем вы говорите, — сказал Сергей, — я помню печальную историю вашей любви, которую вы мне поверили два года тому назад. Я потом много об этом думал, ужасно жалел вас и ужасно негодовал на ту женщину, которая так вас оскорбляла. Но неужели потому, что она была виновата перед вами, виноват целый класс, к которому она принадлежала. Вы встретились с существом испорченным, бездушным и грубым; оно не оценило любовь вашу, не полюбило вас истинной любовью. И ведь это совсем случайно,

что вы встретили ее в высшем обществе, вы могли встретить такое же существо всюду — и во дворце, и в избе. Как не хотите вы понять, что если бы женщина вас действительно полюбила, полюбила бы настоящею любовью, то будь она хоть герцогиня, а вы простой рабочий — она не стала бы задумываться над разницей общественного положения, она была бы ваша. Эта графиня, я хорошо помню ваш рассказ, была несравненно ниже вас в умственном и нравственном отношении, она не могла подняться до вас, и если вы до нее унизились, то это скорей вина ваша — а вы вот вините целое общество!..

— Все они такие, все! — с ненавистью в голосе закричал Рено, — и каждый, кто не принадлежит к этой касте и соприкасается с нею, уходит оскорбленный униженный, оплеванный... Но зачем мы говорим все это, вы меня не убедите, а я вас и не хочу убеждать. Я вам говорил, я вам говорил, что разошлись наши дороги! Оставьте же меня!.. Вы знаете, что я люблю вас. Если вам нужна моя помощь, призовите, и я буду защищать вас до последней капли крови, но пока вам не грозит опас-

ность, пока я вам не нужен — оставьте меня!..

— Рено, еще одно слово. Из такой ненависти ничего доброго никогда не выйдет. Вся неправда, все зло теперешней жизни должны мало-помалу сами уничтожиться с помощью просвещения; оно сблизит, сроднит людей всех классов, и сами собой рухнут предрассудки. Стараться о том, чтобы это счастливое время пришло как можно скорее, работать для этого — вот задача, достойная истинно просвещенного и благородного человека! Вспомните, ведь мы так ее с вами и понимали, ведь я повторяю теперь ваши же уроки... Рено, вы исполнили эту задачу, вы сделали для меня многое, вы уничтожили во мне столько предрассудков, вы знаете, есть ли во мне презрение к людям не моего общества... Если я встречаю образованного и нравственного развитого человека, будь он хоть ремесленник, будь он кто угодно, я считаю его себе равным. Я вижу только одну разницу между мною и этим человеком: я знаю своих предков, а он своих не знает. Тут, действительно, есть разница — мое происхождение заставляет меня любить доблести моих предков и сты-

даться их пороков, потому я обязан всячески подражать этим доблестям и загладить в лице своем эти родовые пороки. Вот к чему обязывает меня мое происхождение — и в этом, надеюсь, нет ни для кого обиды. Вы же сами научили меня таким взглядам, эти взгляды должны сделаться общими, но только не путем насилия...

Он не договорил. Он ясно увидел, что Рено его не слушает и не понимает слов его.

Снова поблизости раздались неистовые крики.

— Пустите меня, пустите и уходите поскорее отсюда! — прошептал Рено и исчез между кустами.

Сергей кинулся к выходу из сада Пале-Рояля, но вдруг кто-то положил ему на плечо руку. Он оглянулся и узнал Сент-Альмэ.

— И вы здесь?! — проговорил Сергей, все еще полный впечатлений беседы с Рено, взволнованный и негодующий. — И вы тоже находите, что чаша народных бедствий переполнена и что поэтому нужно превратить народ в палачей?!

Сент-Альмэ улыбнулся.

— Я сейчас встретил вашего ментора, — сказал он, — он имеет вид сумасшедшего — пробежал мимо меня, крикнул, что вы здесь, в этой аллее и чтобы я вас вывел из Пале-Рояля. Пойдемте, я понимаю слова ваши и насколько на них не обижаюсь. Теперь у нас такие времена, что люди то и дело теряют рассудок. Отчего же бы вам было и меня не почесть сумасшедшим; но только вы ошиблись — я здесь затем же, зачем, вероятно, и вы. Я пришел взглянуть на это зрелище, которое ничто иное, как первый акт мировой трагедии. Может быть, помните — я хвастался перед вами, что засел в свою берлогу и не выйду из нее, пока не вытащат силой, — так ведь и положил себе, а вот и не стерпел, приехал в этот проклятый Париж посмотреть, что здесь делается, узнать, скоро ли мне ждать гостей, которые придут за моею рухлядью и за моею головою... Теперь, должно быть, скоро! — совершенно серьезно и с видимым убеждением прибавил он.

Они спешно вышли из сада и подходили к одному из пассажей. Сергей заметил, что народу гораздо меньше, крики тоже почти утих-

ли. Мужчины и женщины, обгоняя друг друга, спешили к выходу из пассажа.

— Притихли немного, — прошептал Сент-Альмэ, — да ведь это на несколько минут только, теперь их настроили в «Hotel de Ville». Сегодня, видите ли, у них торжество женщин, решено, что в этих беспорядках будут действовать женщины; расчет верный — в мужчин скорее бы стрелять стали, а в этих не решатся. Теперь вот несколько сотен мегер ворвутся в «Hotel de Ville», и можно себе представить, что там будет. Я так полагаю, что сегодняшней день кончится чем-нибудь решительным — эти господа знают, что делают.

В это время с ними поравнялся худощавый, довольно высокого роста молодой человек. Он пристально взглянул на них своими блестящими, впалыми глазами, насмешливо и горделиво усмехнулся и прошел дальше. Обгонявшие его мужчины и женщины почти-тельно ему кланялись.

— Вы не знаете, кто это? — спросил Сергей Сент-Альмэ.

— Как не знать, это именно один из «этих господ», да еще самый влиятельный. Он знает

два-три театральных приема и всегда успешно действует ими на толпу — это Дэмулен.

— И вы говорите, что этот человек имеет большое влияние?

— Еще бы, конечно. Я знаю, что он хвалится, и не без основания, что французская революция и новая эра, как они ее называют, обязана ему всем. Этот Дэмулен, Лустало, Бриссо и Марат — вот властители Парижа, распоряжающиеся судьбами Франции, и в этом заключается злая ирония судьбы. Я имел случай знать всех этих лиц до того времени, как они начали свою блистательную карьеру. Я смотрю на все это со стороны, хладнокровно — вы можете поверить словам моим. Я сейчас скажу вам, кто эти люди, эти вожди народа. Несколько месяцев тому назад Дэмулен был адвокатом без всякой практики — он доказал свою неспособность, незнание законов и тщетно искал себе дела. Он жил в крошечной комнатке весь в долгу. Вот он теперь не узнает меня, а ведь он и мне должен, впрочем, когда я давал ему двести франков, я и не рассчитывал их получить когда-нибудь обратно. Он жил только на те незначительные

суммы, которые изредка высылал ему старик-отец. Лустало был совершенно оборванцем; я помню, что он тщетно искал какого-нибудь служебного местечка и потом его пристроили куда-то с несколькими сотнями франков жалованья. Бриссо старался пристроиться к какой-нибудь газетке, которая помещала бы тот вздор, какой он кропал, но ему постоянно возвращали его рукописи. Знаменитее всех их был Марат — он считал себя писателем, ученым, философом. Но как писатель он жестоко освистан, как ученый он был уличен в шарлатанстве — физик Шарль доказал это. В качестве философа он нес такую ахинею, что совестно было слушать. И знаете ли, чем он завершил свою карьеру? Он поступил помощником младшего ветеринара конюшен графа д'Артуа. Ну, а теперь все они всемогущи, все они гении...

— Я не знал этих подробностей, — печально сказал Сергей, — но с меня достаточно утренних листков, газеток — ведь в них ни одного талантливового и искреннего слова!

— Еще бы, — перебил Сент-Альмэ, — что же такие люди могут сказать?! Но дело в том,

что от них и не требуется ни ума, ни таланта, ни убеждений. Им не нужно ничего доказывать, они всходят на свою трибуну и кричат: «Народ!..»

— Народ! — перебил Сергей. — Ведь тут фальшь в самом начале!

— Еще бы, но эта пьяная толпа, окружающая трибуну, считает себя народом и ораторы кричат: «Народ! Ваши враги — двор и аристократы! Ваше послушное орудие — городской совет и Национальное собрание! Вы должны не церемониться с врагами, уничтожить их, перевешать! Вы должны заставить Национальное собрание и городской совет беспрекословно вас слушаться! — вот их программа и они, конечно, проведут ее! И какое торжество для этих помощников младшего ветеринара, для освистанных писаек, бездарных адвокатов, оборвышей! Они теперь выместят все обиды своего самолюбия на том обществе, которое их не оценило. О, оскорбленное самолюбие — это самая страшная вещь! Человек простит все, кроме обиды своему самолюбию. Бездарность, оскорбленная в своем самолюбии, — это именно то ядовитое существо, ко-

торое высылает ад в подобные времена, какие мы переживаем. Так было всегда, так всегда и будет... Нет, я довольно навидался, я начинаю волноваться — пора мне в свою берлогу, сегодня же уеду»..

— Вот мы и вышли из омута, — прибавил он, оглядываясь, — и теперь я прощусь с вами.

Сергей молча, крепко сжал его руку и поспешил к себе, на бульвар Магдалины, чтобы захватить Моську и ехать в Версаль.

Пораженный виденным и слышанным, глубоко опечаленный встречей с Рено, он даже почти забыл о себе, о своей герцогине, о том, что пропустил много времени.

Скорее же теперь в Версаль, скорей!

В его воображении мелькал соблазнительный образ Марии. Страстное мучительное чувство закипало в нем. Но и среди этого чувства, рядом с милым образом то и дело вставал другой образ, вспоминалось бледное, искаженное злобой лицо Рено.

«Бездарности, оскорбленные в своем самолюбии! — шептал он, — и, может быть, море крови... И это Рено, Рено!»

Прежний Рено, прежняя жизнь, Горбатовское, Таня — все вдруг представилось далеким сном. Но теперь — разве это жизнь? Это опять новый сон, томительный и ужасный.

VII. КОРОЛЕВА

Сплошная серая мгла покрывала небо, нигде не замечалось светлой полоски, которая обещала бы скорый конец ненастью. Сильный дождик, шедший всю ночь и утро, несколько утих; моросило мелкими, частыми, едва видными каплями, тонкой сероватой дымкой заволакивавшими все предметы. Ни малейшего дуновения ветра; в воздухе духота. Недвижно, уныло стоят пожелтевшие деревья и только время от времени роняют сухие листья.

Небольшое озеро дремлет — не шелохнет, будто замерли на его поверхности белые лебеди, так что издали и не разобрать — лебеди ли то, или их изваяния. По берегам озера сквозь поредевшие ветви деревьев, виднеются во мгле маленький швейцарский домик, башенка самой капризной постройки, дальше — небольшое двухэтажное здание с террасой, спускающейся к широкой лужайке, по-

среди которой расположены красивые цветники и фонтан, ряд стриженных померанцевых деревьев в огромных зеленых кадках.

Это небольшое двухэтажное здание — Малый Трианон. Эти цветники, это озеро, швейцарская хижинка, башенка — любимый уголок королевы Марии-Антуанетты. Все здесь так просто, так непохоже на величественную роскошь королевского замка и парка. Здесь веет тихой интимной жизнью, деревенским уединением. Еще не очень давно здесь радостно и приветливо сияло солнце, и под его лучами кипела радостная жизнь, под каждым деревом, под каждым кустиком слышался веселый смех, беззаботные шутки.

В каждую свободную минуту стремилась сюда королева с самыми близкими ей людьми. Этикет двора, скука и чопорность сюда не смели появляться. При входе в Малый Трианон мгновенно, как по волшебству, забывались все заботы и работы. В миг один происходила всеобщая метаморфоза: королева и ее дамы превращались в пастушек, чопорные франты Версаля превращались в артистов. Здесь царил один только закон, и ему

все должны были строго подчиняться. Закон этот гласил: «Отдыхать, забавляться, быть как можно ближе к природе».

Попасть в заколдованный круг Малого Трианона было заветной мечтою всякого придворного; но эта мечта осуществлялась довольно трудно.

Там, в королевском замке, Мария-Антуанетта была любезной хозяйкой со всеми, там она умела подавлять в себе нерасположение к тем или другим людям, но здесь, в своем заветном уголке, она хотела быть окруженной только истинными друзьями, людьми близкими и дорогими ее сердцу.

И много быстрых, веселых часов протекло под тенью этих деревьев. Все это было еще так недавно. Но вот уже больше года опустел Малый Трианон, и только изредка показывается в нем Мария-Антуанетта, и все короче ее посещения. Трианон потерял для нее прежнюю прелесть. Трианон казался ей прежде живым, милым существом, с радостной светлой душою, которая всегда готова была пригреть и озарить ее тихим счастьем. Но эта душа теперь отлетела. Трианон мертв и сумра-

чен, будто злобная рука волшебника легла на него и превратила его в труп, будто чары старой сказки пронесли над ним, и он потерял всю свою прежнюю прелесть. Тоскою, невыносимой, давящей, бесконечной тоскою дышит от этого серого неба, от этих мелких морозящих капель, застилающих предметы своей дымкой, от этих вянущих деревьев!.. Все неподвижно, все туманно, все холодно. Кругом ни звука; мокрые, желтые листья покрывают извилистые дорожки, ни птица не встрепенется, ни сонный лебедь не шевельнет крылом.

Но вот в тихой аллее раздается далекий шорох. По направлению к швейцарскому домику медленно движется будто привидение какая-то фигура — это высокая, стройная женщина, вся окутанная длинным черным плащом. Вот она вышла из аллеи, остановилась у берега озера и смотрит неподвижным взглядом перед собою. Из-под мягких складок накинутого на голову черного капюшона обрисовывается прекрасное, будто высеченное из мрамора еще молодое лицо: чудные, небесного цвета глаза, тонкий орлиный нос, несколь-

ко удлинённый подбородок. Это лицо поражает своей величавой прелестью, оно почти безукоризненно красиво. Есть в нем только одна черта, которая нарушает общую гармонию — нижняя губа прелестного рта немного выступает вперед. Но этот недостаток мгновенно забывается, к тому же он придает особенный характер лицу, придает нечто горделивое, царственное. Это родовая черта, переходящая от поколения к поколению в цесарском австрийском доме Габсбургов.

Эта величественная женщина, неподвижно стоящая у озера, — дочь Марии-Терезии, королева Мария-Антуанетта.

Да, это она, но кто бы мог узнать ее теперь в это осеннее ненастное утро! Кажется, это только тень ее, призрак. Да и сама она не узнает себя, не узнает окружающего... Полная тоски и горя, полная невыносимой муки и предчувствия, после бессонной страшной ночи королева не в силах была больше владеть собою, незаметно покинула роскошные залы Версальского замка и еще раз навестила свой Трианон, чтобы здесь, в тишине и уединении, выплакать все свои слезы, передумать все

свои думы. Она ждала, она надеялась найти в этом милом ее сердцу уголке хоть одну только, последнюю каплю прежней сладости. Ей хотелось, безумно хотелось хоть на миг один уйти от страшной, измучившей ее жизни в мир милых воспоминаний, пережить их снова, отдохнуть, забыться. Ей хотелось взглянуть еще раз на милое озеро, на швейцарский домик, на любимые деревья, на белых лебедей...

Все это перед нею — но, Боже, какая мука!.. Разве это то, что было? Сама она — призрак прошлого, и все, что ее окружает, тоже призрак прошлого. И эти бледные призраки только еще яснее, еще томительнее говорят ей о ее горе, о том, что прежняя жизнь прошла и никогда уже больше не вернется.

Как все холодно, серо и туманно, как неприветно! Слезы душат королеву — хоть бы заплакать, но слезы душат — и не выливаются...

И вдруг ей начинает казаться, что вся эта счастливая жизнь, которая изжилась здесь, была тоже призраком, что все эти светлые дни только пригрезились. Ведь если б они бы-

ли действительностью, то вот теперь, когда она не спит, не грезит, они показались бы ей возможными, ведь хоть что-нибудь здесь указало бы на то, что они были. Но она знает, знает всем существом своим, что эти дни никогда не вернутся, от них и следов не осталось. Были ли же они — или их совсем не было? Как прошла вся эта жизнь, куда все делось, за что, зачем такие муки, такие терзания, за что наказание, за какие грехи, за какое преступление?!

Королева подняла свои голубые глаза к небу, но небо было беспросветно, безучастно, и она снова опустила глаза, опустила голову и пошла по тихому берегу. И за нею двинулись, обступая ее со всех сторон, давя ей сердце, темные призраки, тени прошлого, предчувствие грядущих бед и мучений. И мучительнее, и страшнее, невыносимее всех этих призраков стояла над нею страшная, гигантская тень и охватывала ее своими невидимыми руками. Эта тень была таинственная, непонятная судьба ее, которая склонилась над ее младенческой колыбелью и с тех пор не покидала ее никогда и в самые светлые минуты

ее жизни грозила ей и пророчила несчастье.

И тем страннее была эта судьба, что представляла, по-видимому, такую противоположность с тем, что должно было встретить в жизни эту женщину. Ведь жизнь осыпала ее всеми своими дарами. Она родилась любимым ребенком императорского австрийского семейства. Но судьба подстерегла даже и минуту ее рождения — она родилась 2 ноября 1755 года, в печальный день «повиновения мертвых». Страшным годом был год ее рождения — земля колебалась, ужасные землетрясения разрушили почти целые города в Европе, Америке и Африке.

Непреодолимое предчувствие относительно роковой судьбы дочери постоянно преследовало ее отца. С обожанием глядя на красавицу-девочку, он часто задумывался и едва удерживал слезы. Он не раз говорил, что почему-то боится за ее будущее. Ей было десять лет, когда он должен был уехать из Вены в Инсбрук, где в это время торжественно совершалось бракосочетание эрцгерцога Иосифа с испанской инфантой Марией-Луизой. Император уже значительно отъехал от Шенбру-

на — своей резиденции, как вдруг велел остановить карету:

— Скорее вернитесь в замок и привезите эрцгерцогиню Антуанетту, — сказал он лицам своей свиты, — я должен еще раз ее увидеть.

Девочку привезли. Отец бросился к ней, схватил ее на руки, обнимал, целовал, прижимал к своему сердцу, благословлял ее, глядел на нее с выражением глубокой тоски и грусти и едва нашел в себе силы передать ее гувернантке и расстаться с нею. Это было их последнее свидание — император внезапно умер через несколько недель.

Мария-Антуанетта во всю жизнь не могла забыть этой минуты. Она страстно любила отца, и часто вспоминалось ей его лицо, такое нежное, такое грустное. Вспоминалось, как он благословлял ее, как целовал, как не мог расстаться с нею. Вспомнилось ей все это и теперь... голова ее склонилась еще ниже...

«Он предчувствовал весь ужас судьбы моей!» — прошептали ее бледные губы.

Это печальное воспоминание невольно увлекало ее мысли в далекие годы, и так ярко,

ярко все вспоминалось и проходило перед нею. Мелькали одна за другою картины ее детства. Это детство — ведь это было единственно счастливое время ее жизни! Доброго отца не стало, но осталась мать, примерная мать, справедливая и любящая, разумная женщина. Как все было хорошо там, на родине, в милой Вене, в милом Шенбруне. Царственная мать, могущественная императрица Мария-Терезия, была не только императрицей, но и хорошей семьянинкой, она не любила роскоши, и ее простота привлекала к ней всех.

«О, какой добрый наш народ!» — прошептала Мария-Антуанетта, с содроганием вспоминая о другом народе, о котором теперь приходилось думать... «Наш народ действительно любил нас! Как нас всюду встречали. Ведь мы в толпе чувствовали себя окруженными близкими, родными людьми, ведь тысячи крепких рук были всякую минуту готовы защитить нас от всякой опасности; но опасности тогда не предвиделось... Какая тогда могла быть опасность?!»

И вспомнила бедная королева свои прогул-

ки с матерью и сестрами по окрестностям Шенбруна и Лаксенбурга. Уставшие от долгой ходьбы, проголодавшиеся, они нередко заходили в крестьянскую избушку, чтобы выпить по стакану молока, съесть по куску простого деревенского хлеба, одарить и обласкать хозяев. Вспоминались ей далекие, давно почти забытые друзья, к которым она отправлялась запросто — это были семейства князей Эстергази, Канских, графов Пальфи. В праздничные дни императрица с дочерьми отправлялась на народные гулянья, и ее кучер никогда не смел ехать вперед и заставлять останавливаться извозчиков. Карета императрицы скромно подвигалась в ряду других экипажей. Императрица и эрцгерцогиня раскланивались и улыбались на все стороны, отвечая на восторженные народные приветствия. Мария-Антуанетта приучилась жить заодно с народом, радоваться его радостями, веселиться его весельем. Возвращались они во дворец, и если не было официальных приемов, то их встречала тихая, семейная обстановка, скромный обед в приятном и умном обществе. К столу императрицы приглашались не только

высокопоставленные лица, но и скромные труженики науки и искусства; талант был при дворе лучшей рекомендацией...

В такой обстановке развивались и ум, и способности маленькой Марии-Антуанетты, и незаметно шло время, незаметно превращалась она из ребенка в девушку. И в какую девушку! Она рано привыкла видеть устремленные на нее восторженные и изумленные взгляды. Она выростала высокая и стройная, грациозная, с воздушной поступью. Ее ясные, темно-голубые глаза в минуты материнской нежности Мария-Терезия любила сравнивать с водами Дуная. Каждое утро, когда она расчесывала свои длинные, густые, бледно-пепельного цвета волосы, зеркало улыбалось ей и показывало чудное, овальное личико с высоким горделивым лбом, с орлиным и в то же время нежным профилем, с трогательным и добрым выражением в каждой черте, в каждой мине.

Да, она действительно была добра, и сердце ее было открыто для каждого высокого и хорошего чувства. О, как искренне и глубоко страдала она, слыша о чьем-либо несчастье,

как мечтала она делать добро насколько только хватит сил и осуществляла эти мечты. Ей вспомнилась одна печальная зима: долгие морозы, снега... голод начался в Вене, народ начинал бедствовать... Как-то утром императрице принесли ведомость, в которой подробно было описано жалкое положение жителей некоторых предместий. Мария-Антуанетта была рядом с матерью. Слушая ужасающие подробности, она горько рыдала, потом выбежала из кабинета императрицы, побежала к себе и вернулась со своей шкатулочкой.

— Здесь пятьдесят пять дукатов, — сквозь рыдания проговорила она, ставя шкатулочку на колени матери, — у меня больше ничего нет... позволь мне раздать это бедным людям!..

Мать позволила и пополнила эти пятьдесят дукатов значительной суммой.

С тех пор узнавать о нуждах венских жителей и помогать им сделалось любимым занятием маленькой эрцгерцогини. Но были и другие любимые занятия — занятия музыкой, поэзией. А учителями впечатлительной и талантливой девушки были поэт Метастазιο и

Моцарт.

Как она помнила эти уроки! Они так и звучат после стольких лет. Перед нею и вдохновенный голос поэта, и чудные звуки бессмертного Моцарта. Какие чувства, какие порывы души поднимали в ней эти звуки! Но не к веселью влекли они, не радостью заставляли биться ее сердце. Ее охватывала сначала тихая сладостная истома, потом какой-то священный ужас. Иногда эти дивные звуки наполняли ее невыразимой тоскою, тени предчувствий поднимались в ее сердце, сразу начинали душить ее. И вся трепетная, испуганная невидимыми призраками, она с рыданиями убегала и пряталась в объятиях матери, будто желая скрыться в этом безопасном убежище от гнавшихся за нею, наступавших на нее призраков, и долго не могла успокоиться.

Ее все любили, она всем нравилась. Но, едва выйдя из отроческого возраста, она была уже несчастна — судьба, все та же непонятная, страшная судьба стояла над нею и отравляла ее счастье, ее веселье. Прошло детство, наступила юность, эрцгерцогине исполнилось пятнадцать лет. Она невеста дофина

Франции, ей предназначено сиять своей красотой, своими талантами на самом блестящем кресле Европы. На нее обращены все взоры, ее приветствуют всеобщие пожелания долгого и безоблачного счастья. А в глубине ее сердца копошится тоска, нередко приходят минуты томления и долго не уходят. Тяжело расстаться ей с родными местами, с дорогими близкими людьми, с любимой матерью.

Юную эрцгерцогиню провожает вся Вена, расставаясь с нею, многие плачут. Она отгоняет от себя мрачные мысли, старается думать о новой жизни и представляет ее себе лучезарной. Светлые девические грезы, наконец, приходят, на лице ее расцветает улыбка, доверчиво вступает она в свое новое отечество. Она на мгновение даже забывает тоску разлуки, слезы матери, родных, милого народа... Но вот опять тоска, опять предчувствия — и улыбка заменяется слезами...

А в это время грустная Мария-Терезия, показывает портрет дочери известному предсказателю, доктору Гаснеру, и спрашивает его:

— Будет ли счастлива моя Антуанетта?

Гаснер бледнеет и молчит. Императрица повторяет свой вопрос. Предсказатель склоняет голову и грустно отвечает:

— Ваше величество, каждый несет крест свой!..

Мария-Антуанетта во Франции. Ей приготовлена блестящая встреча.

Недалеко от Страсбурга, на Рейне, между двумя мостами воздвигнут великолепный павильон, где должна произойти церемония «передачи». Эрцгерцогиня будет торжественно передана Франции.

Вся огромная зала павильона увешана коврами-гобеленами чудной работы. Но каковы же сюжеты вытканых картин? На них изображены история Язона, Медеи и Креза. Печальные истории, печальные пророчества! Невеста входит в павильон. С французского берега Рейна доносятся звуки стройного пения — это сотни молодых девушек приветствуют ее. Кругом глухо шумят воды Рейна, гудят колокола, раздаются громкие и радостные крики народа, гремят пушечные выстрелы. За нею ее приближенные, ее соотечественники едва сдерживают свои слезы. Она

забывает о требованиях этикета и вся в слезах кидается в объятия графини де Ноайль...

И вдруг страшная черная туча заволакивает небо, раздаются удары грома, сверкает молния, Рейн кипит, целые потоки дождя обливают павильон. Все в смятении. Светлая картина изменилась — мрак и ужас, само небо грозит и пророчит беды! Но судьба неумолима — Мария-Антуанетта на земле Франции, и нет ей возврата на тихую родину, к берегам милого Дуная.

Гроза прошла, невеста дофина вступает в Страсбургский собор. Ее встречает духовенство в полном облачении, и впереди всех стоит перед нею молодой прелат, весь залитый золотом и пурпуром.

Она взглянула на его красивое молодое лицо и тотчас же опустила глаза, сердце ее сжалось больно и тревожно — и это опять предчувствие — молодой, блестящий прелат никто иной, как кардинал принц Роган, тот самый Роган, который впоследствии принес ей столько горя, которому суждено было нанести такие жестокие раны ее самолюбию, ее чувству собственного достоинства, Роган, ге-

рой печального и всем известного «дела ожерелья королевы».

Все это невольно через два десятка лет вспоминается теперь Марии-Антуанетте, и она с ужасом видит, как страшная судьба ее постоянно грозила, вещала ей недоброе различными знаменьями. И мысли несчастной королевы несутся дальше.

Вот она и в Версале. Никогда невиданный ею блеск ее встречает. Толпа народа наполняет роскошные сады, готовится великолепная иллюминация, громадный замок принимает ее под свою величественную сень. Сердце пятнадцатилетней красавицы трепещет ожиданием — сейчас она увидит его, человека, который предназначен ей судьбою, с которым через несколько дней она будет связана на всю жизнь. Юный дофин спешит ей навстречу. Она робко вглядывается в его милое добродушное лицо и доверчиво протягивает ему руку. И в ту же минуту опять страшная гроза разражается над самым замком, молнии так и сверкают, оглушительные раскаты грома не прекращаются, дождь льет ливнем, завывает буря, ломает деревья. Толпа народа

спешит скорее прочь из садов, приготовления к иллюминации поневоле прекращаются...

Но и эта гроза, и эти печальные предзнаменования ничто перед тем, что ожидает ее через несколько дней при въезде в Париж. Столица Франции дает в честь невесты дофина блестящий праздник. Мария-Антуанетта должна въехать в город вечером. Народ, в количестве четырехсот тысяч, собрался для ее встречи. Эту величественную картину озаряют мириады зажженных факелов и костров. Воздух оглашается радостными криками, ночь безоблачна, прекрасна. Горделивая статуя короля на площади Людовика XV озарена ослепительным светом.

Появляется Мария-Антуанетта. О, как она хороша, какое счастье изображается на нежном лице ее! Забыты все сомнения, все предчувствия. Она видит, наконец, эту великолепную столицу, про которую твердили ей с детства, она видит эти сотни тысяч французского народа, который отныне будет ее народом. И этот народ встречает ее, избранницу своего дофина, свою будущую королеву. И она его тоже любит, и она обещает себе посвятить всю

жизнь благу этого народа. Она мечтает о том добре, которое она может для него сделать и, конечно, сделает.

Тихое вечернее небо, усеянное бесчисленными звездами, будто с тихой лаской склоняется над нею, будто слышит ее мечты, надежды и желания и приветствует их своим кротким мерцанием. Прекрасна и счастлива Мария-Антуанетта в своем драгоценном уборе, сверкающем бриллиантами, во всем обаянии свежей, ничем незапятнанной юности. Королевский поезд приближается к Елисейским полям... И вдруг — что это такое? Это уже не крики радости, это совсем другие крики!.. Да, слух не обманывает ее, ей ясно-ясно слышится ужас, отчаяние в этих народных криках. Поезд останавливается, краска сбегает со щек Марии-Антуанетты, и она испуганным голосом спрашивает:

— Ради Бога, что же это такое? Что случилось, какое несчастье?

— Успокойтесь, ваше высочество, — отвечают ей окружающие, — успокойтесь!

Но у тех, кто говорит это, лица бледны, голос дрожит.

— Господи! Да что же такое?! Не скрывайте от меня!..

И в невольном порыве она хочет выйти из экипажа и бежать туда, откуда раздаются эти страшные крики. Но ее удерживают — ей, наконец, говорят правду.

Каждому из этих четырехсот тысяч народа хотелось поскорее ее видеть; произошла отчаянная давка, толпа бросилась вперед, наступая друг на друга... И в этом неудержимом порыве все смешалось, костры стали потухать под горами людских тел... Никакие усилия не могли сдержать натиска... Костры потухали, и вместе с ними потухали сотни, тысячи человеческих жизней... Стоны раненых, умирающих, обезображенных ожогами, раздавленных толпою стоят над площадью Людовика XV.

Поезд Марии-Антуанетты поневоле возвращается в Версаль. А что же сама она? Где это мелькнувшее счастье, эта тихая радость? Она заливается горькими слезами, и никто не в силах ее утешить. Опять гигантская тень непонятной судьбы стоит над нею и шепчет ей, что на этой же площади Людовика XV бу-

дут еще и другие жертвы, будет еще и другая, более страшная катастрофа...

Дальше, дальше летят грезы королевы... Вспоминается ей еще другое время.

Она — королева Франции, девятнадцатилетняя королева! Рядом с нею двадцатилетний король, добрый, благородный и любящий... Это почти дети. И в руках этих детей судьбы Франции. Поклонение, тонкая лесть окружают королеву, но она остается все та же. Наконец, она начинает верить в счастье, забывает свои мрачные предчувствия — жизнь дарит ее улыбкой. Светлым праздником проходят годы, незаметно исчезает юность, являются новые радости: королева — мать. Она долго ждала этого счастья и вот дождалась его. Ей нечего желать, не о чем просить судьбу — настоящее светло, будущее кажется еще светлее.

А между тем беды уже надвигаются, и дальновидные люди уже их предвидят. Иосиф II, добрый и любящий брат, пишет Марии-Антуанетте:

«Ты создана, чтобы быть счастливой, добродетельной и совершенной, но пришло уже

время, да, пришло уже время серьезно подумать о благоразумной и твердой системе, которую необходимо провести решительно. Ты уже не ребенок — для ребенка могло быть оправданье, для тебя его нет... И что с тобой станется, если ты будешь продолжать медлить? — В таком случае тебя ждет несчастье и как женщину, и как королеву. И ты принесешь глубокое горе тому, кто любит тебя больше всего на свете... Я никогда не примирюсь с мыслью о твоём несчастье. Добудь же себе репутацию, которой достойны твой характер, твои таланты, твои добродетели!..»

Мария-Антуанетта читала и перечитывала искренние и горячие строки любимого брата и видела и чувствовала, что он прав. Но что она могла сделать?! Он требовал невозможного. К несчастью, в ней было мало сходства с её знаменитой матерью — что было под силу австрийской императрице, то оказалось не по силам королеве Франции. Мария-Антуанетта как супруга твердого и сильного короля была бы безупречной королевой; но добрый её король, её милый муж, при всех нравственных достоинствах, был слаб и требовал её помо-

щи. Тяжелое бремя управления расшатанным государством должно было сосредоточиться в ее руках — и она тщетно пробовала сдерживать своими прекрасными, нежными руками эту тяжелую ношу.

И вот она чувствует теперь, мучительно, всем существом своим чувствует, что эта ноша совсем выпала из рук ее и готова раздавить и ее, и все, что ей дорого... И неоткуда ждать помощи. Мудрой матери нет на свете, она умерла именно в то время, когда ее любовь, ее советы могли бы удержать ее несчастную дочь на краю гибели. Умирая, Мария-Терезия даже не имела возможности проститься со своей любимой дочерью; на смертном одре она заглазно благословила ее и содрогнулась, произнося ее имя...

Но тут, среди этих страшных, томительных воспоминаний, среди этих печальных мыслей ярко, живо мелькнула перед королевой светлая картина. Она вышла из аллеи на свою любимую лужайку, к цветникам Малого Трианона и уже не замечает сырости, ее пронизывающей, не замечает мелких, частых капель дождя, насквозь смочивших плащ ее, не

видит унылого серого неба, помятых цветов, облетевших деревьев...

Ей чудится: над нею раскинулась звездная, летняя ночь; эта милая лужайка, эти цветники озарены бесчисленными огоньками иллюминации, белое здание Трианона сверкает, все залитое светом, разноцветные бенгальские огни вспыхивают в глубине деревьев и превращают эту теплую душистую ночь в волшебную сказку. Тихие звуки музыки плывут неведомо откуда, веселая, беззаботная толпа милых, близких королеве людей окружает ее со всех сторон...

Но вдруг откуда-то издалека, с озера, несутся не то жалобные стоны, не то невыносимо раздирающая душу мелодия. Королева очнулась. Над нею серое небо, увядший цветник, внезапный порыв ветра прошумел над деревьями, и понеслись, закружились желтые листья. А жалобные звуки не умолкают... И ей кажется, что на озере лебеди поют свою странную песню.

Лебеди поют!!! Ведь они поют перед смертью. Королева схватилась за сердце. Ей показалось, что вот сейчас разорвется это бедное

сердце, но оно только мучительно, тягостно замирает... А слез все нет!..

— Ваше величество! — раздается над нею испуганный голос.

Кто говорит это, что это такое?

Она подняла глаза — перед ней одна из любимых ее придворных дам герцогиня д'Ориньи, а за нею молодой русский дипломат Сергей Горбатов.

— Что случилось? Ради Бога? — едва находит в себе силы прошептать королева.

— Вот... Он сейчас приехал из Парижа, — говорит герцогиня д'Ориньи, указывая на молодого человека, — приехал, чтобы предупредить вас — толпы черни идут в Версаль.

Королева оставалась неподвижна, с широко раскрытыми глазами.

— Чернь!.. Что ей еще нужно?! — почти беззвучно шептали ее побелевшие губы.

— Да она, конечно, и сама не знает, что ей нужно, — печально сказал Сергей. — Это фанатизированная дикая толпа, состоящая по большей части из полупьяных, озлобленных женщин... Терять времени невозможно, ваше величество, необходимо тотчас же принять

все меры для безопасности замка...

— О, Боже мой, да, конечно... Король... Его нет в Версале, он охотится в Медонском лесу! — проговорила Мария-Антуанетта, внезапно оживляясь.

Ее испуга и слабости как не бывало. Она думала о муже, детях, а при мысли о них она становилась сильной.

— Поспешите... — прибавила она, обращаясь к Сергею.

— Уже несколько человек отправились в Медонский лес, ваше величество, — ответил Сергей, — но у меня тут верховая лошадь, и я сейчас же еду... Может быть, мне удастся скорее встретить его величество.

— Благодарю вас! — со всей своей величественной королевской грацией сказала Мария-Антуанетта и протянула ему руку.

Он склонился к этой прекрасной руке и поспешил к тому месту, где осталась его лошадь.

А королева быстрыми шагами, опираясь на руку герцогини д'Ориньи, направилась к выходу из Малого Трианона. Но на дороге, у озера, ее остановил посланный от министра

внутренних дел, графа Сен-При.

Записка министра не сказала ей ничего нового: он подтверждал известие, привезенное Горбатовым, и просил королеву немедленно вернуться в замок.

Она остановилась на мгновение, окинула быстрым, невыносимо грустным взглядом свое милое озеро, свой швейцарский домик, башенку — все, что она так любила. Она знала, наверное уже знала, что никогда больше сюда не вернется...

И снова все тихо. Беспросветное небо, не унимается осенний дождик, жалобно шелестит по дорожкам, будто поднимаемые невидимыми руками призраков, желтые листья. И чудится — с озера доносятся заунывные, странные звуки лебединой песни.

VIII. КОРОЛЬ

Сквозь дождь и туман, стущавшийся под древесными ветвями, мчался Сергей по широкой просеке Медонского леса. По временам он останавливал своего лихого скакуна и чутко прислушивался. Но в лесу было тихо — и он снова мчался.

Наконец, недалеко в стороне раздался вы-

стрел; Сергей повернул по направлению этого выстрела и скоро различил вдали человеческую фигуру. Он всмотрелся — слава Богу!

Через минуту он подскакал к охотнику. Перед ним был человек еще молодой, но значительно тучный, в охотничьем костюме, в высоких сапогах, в небольшой, украшенной серым пером шляпе на Голове. Он клал в свой ягдташ только что убитую птицу. Прекрасная охотничья собака стояла возле него, обнюхивая ягдташ, тихо виляя хвостом и глядела в лицо хозяина умными ласковыми глазами.

Сергей остановил своего коня и почтительно снял шляпу. Охотник поднял голову. Сомнений уже не было — это знакомые, добродушные черты короля Франции: бледные, несколько обвисшие щеки, двойной подбородок, большой горбатый нос, милая тихая улыбка красивого рта с пухлыми губами. Во всей этой немного сутуловатой фигуре не было ничего величественного, ничего гордого и решительного, но от нее так и веяло доброю и искренностью. В простом охотничьем костюме, в утреннем пудер-мантеле, в роскошной церемониальной одежде, сверкаю-

щей золотом и бриллиантами, король Людовик был всегда один и тот же. Смущаться в его присутствии, трепетать перед ним — не было никакой возможности, но надо было иметь разве уж совсем черствое сердце, чтобы сразу не почувствовать к нему невольного влечения.

Немного переваливаясь, король сделал несколько шагов к Сергею и изумленно всматривался в него своими бледными, выпуклыми глазами. Наконец, он узнал его.

— Ah, c'est vous, monsieur Gorbatoff!.. D'où venez vous?..

При виде этого милого лица, этой доверчивой улыбки, Сергею стало вдруг тяжело и тоскливо, ему бесконечно жалко сделалось нарушить своей страшной вестью спокойствие этого человека. Он придумывал, как бы начать осторожнее, но король не дождался его ответа, заговорил, похлопывая своей пухлой рукой по ягдташу.

— А я отлично провел утро, славный денек для охоты — настролял довольно... Вот посмотрите!..

Но ведь нельзя было терять ни секунды, и

Сергей проговорил:

— Ваше величество, я послан королевой, вас уже около часа ищут в лесу...

Он соскочил с лошади и рассказал в чем дело. Король опустил глаза и задумался.

— Ах, Боже мой, — тихо произнес он, — как все это горько!.. Опять недоразумения, я уверен, что это только недоразумения, но когда же будет конец этому?!

Вдали раздался лошадиный топот.

— Нет, ваше величество, здесь больше чем недоразумение! — сказал Сергей.

Невольная досада звучала в его голосе: он видел, что даже его известие принято королем с обычным спокойствием, с обычной апатией. Он ясно понимал, что это спокойствие, эта апатия — самое ужасное, что только может быть в такие минуты.

Лошадиный топот приближался, какой-то всадник во весь опор мчался им навстречу.

— Ваше величество, спешите в замок, ради Бога, я обскакал весь лес, ища вас!.. Бунтующие толпы народа наводняют Версаль...

Лицо всадника было испуганно, бледно и покрыто потом, он задыхался от усталости и

волнения.

— Благодарю вас, любезный де Кюбьер, — по-прежнему спокойным голосом сказал король, — только вы ошибаетесь, говоря, что народ наводняет Версаль — какой это народ?! Это парижская чернь... Не смешивайте ее с моим народом!

— Государь, каждая минута дорога, берите мою лошадь... Спешите...

— Успокойтесь, — с ласковой улыбкой сказал король, — Бог даст и на своей поспею.

Он поднес к губам охотничий рожок и протрубил.

— Тут неподалеку мой конюх... Услышит, — прибавил он.

Конюх, действительно, услышал. Минут через пять, показавшихся очень долгими и Сергею и де Кюбьеру, он подскакал с королевской лошастью.

Король своей неспешной, развалистой походкой подошел к лошади и занес ногу в стремя. Никто не заметил, как в это время подъехал еще один всадник — это был офицер королевской стражи.

— Государь, — заговорил он, — тут ошиб-

ка... Вас обманывают, никакого бунта, ничего подобного нет... В Версале собрались только бедные, отрепанные женщины с парижских улиц. Они говорят, что пришли просить хлеба... Умоляю ваше величество не пугаться!..

Король выпустил ногу из стремени, обернулся и смерил офицера изумленным и строгим взглядом. Он вдруг будто вырос, никогда еще не виданная Сергеем, черта мелькнула на лице его.

— Милостивый государь, — сказал он, — вы просите меня не пугаться!.. Но я не боялся еще ни разу в жизни!

Затем он медленно, с помощью конюха сел на лошадь и выехал галопом на широкую просеку, ведущую из Медонского леса к Версальскому замку. Сергей, де Кюбьер и конюхи следовали за ним в некотором отдалении; позади всех ехал офицер, желавший успокоить короля и невольно его оскорбивший. Он был очень смущен.

Сам же король продолжал казаться совсем спокойным, даже несколько раз ласково обращался к бежавшей рядом с его лошадью своей любимой собаке. Он имел вид человека,

возвращающегося с удачной охоты...

Между тем в замке уже собрались министры и совещались относительно мер, которые необходимо принять, не теряя времени. Они с нетерпением ожидали короля. И король, все в том же охотничьем костюме, в высоких загрязненных сапогах, вошел к ним, любезно протянул каждому руку и с видимым удовольствием опустился в покойное кресло. Он устал после нескольких часов охоты в лесу, после верховой езды в это ненастное утро, а здесь было так тепло и уютно.

Он вытянул на пушистом ковре свои усталые ноги, поднял бледные тихие глаза на присутствовавших и, тяжело переводя дыхание, но спокойным голосом, спросил:

— Какие же новости, господа? Что там делается и что вы полагаете предпринять?

Все были сильно взволнованны, появление короля только что прекратило горячий спор. Больше всех горячился министр внутренних дел, граф де Сен-При, спокойнее всех казался старик Неккер. Но и на его почтенном, несколько холодном лице лежал отпечаток грусти.

— Плохие новости, — живо заговорил де Сен-При, — несметные толпы женщин, предводительствуемые этим мошенником Мальяром, который был одним из главных заводчиков при взятии Бастилии, наводнили l'avenue de Paris. Все это рыночные торговки, ремесленницы, наконец, женщины дурного поведения... И притом тут самый возмутительный маскарад — много мужчин, переодетых в женское платье, вымазанных румянами и белилами... Вся эта безобразная толпа кинулась к Национальному Собранию. Мальяр и пятнадцать женщин ворвались в залу заседаний. В первые минуты они вели себя очень прилично, женщины молчали, Мальяр объявил, что в Париже крайний недостаток хлеба и что этому необходимо пособить во что бы то ни стало... Но его слова были прерваны отчаянным шумом, двери были почти сломаны, дикая толпа ворвалась в залу, на трибунах, на скамьях депутатов, всюду разместились грязные, оборванные женщины. Скоро поднялись крики, ругательства, депутаты не могли вымолвить ни слова, их прерывали бранью, угрозами; депутатам «левой» аплодировали.

Теперь сам Бог знает что происходит, и, вдобавок, эта первая толпа ничто иное, как авангард... Из Парижа прибывает все больше и больше народу...

Король опустил голову и задумался.

— Что же теперь делать? Что вы решили?

— Я нахожу необходимым, — горячо заговорил де Сен-При, — укрепить Севрский мост, а затем надо сейчас же собрать все имеющееся у нас войско, на верность которого можно рассчитывать; во главе этого войска, ваше величество, выступите против парижан и сдержите их. По моему мнению, вот единственное, что можно теперь сделать...

Король тихо качнул головой и взглянул на Неккера.

— Вы того же мнения? — спросил он.

— Нет, я никаким образом не могу согласиться с таким планом, — ответил Неккер. — Обнажать теперь шпагу, открыть военные действия, — это, и я совершенно в том убежден, значит, начать междоусобную войну.

— Боже мой, — вскричал в волнении де Сен-При, — но ведь если правительство не покажет твердости и вступит в объяснения с мя-

тежниками, то они сейчас же поймут, что их боятся, что они могут безнаказанно делать что им угодно, и тогда конца не будет их притязаниям!..

В это время дверь залы отворилась, и быстро вошел принц Люксембург — капитан королевской стражи.

— Ваше величество, — сказал он, — нет никакой возможности унять эту расходившуюся пьяную толпу — это не женщины, это мегеры! Беспорядок полный, они не выходят из Национального Собрания и кричат, что ворвутся в замок. Прикажете употребить военную силу!..

Король поднялся с места и пожал плечами.

— Ах, Боже мой! — сказал он. — Вы хотите, чтобы я приказал начать военные действия против женщин?! Война с женщинами! Перестаньте шутить, пожалуйста!..

Принц Люксембург, смущенный, вышел из залы; но, несмотря на ответ короля, он отдал необходимые приказания, чтобы защищать все входы в замок и никого не пропускать...

А в это время толпа прибывает с каждой минутой и наполняет l'avenue de Paris.

Пьяные крики, отвратительные ругательства стоят в воздухе, облака сгустились, все небо приняло темно-свинцовый оттенок, и снова полил дождь, еще более раздражая голодную, плохо одетую толпу. На площади d'Armes, перед замком выстроился Фландрский полк. Из толпы парижанок выделяются самые красивые, молодые; они снуют между солдатами, заигрывают с ними, любезничают...

Между этими женщинами особенно обращает на себя внимание одна — высокая, стройная, красивая, с вызывающим нахальным лицом. Она закутана в ярко-красный плащ. Это известная всему Парижу куртизанка Терауан де Мерикур. Ее плащ мелькает то там, то здесь. Она раздает солдатам деньги...

— Берите, берите, голубчики! — смеясь, говорит солдатам эта красавица. — Деньги хорошая вещь... всегда пригодятся... Ну, чего вы тут спите, чего ждете? То ли дело у нас, в Пале-Рояле? — Милости просим, будете дорогими гостями, попируем на славу... и вина у нас вдоволь, и денег сколько угодно... а у вашего короля денег давно и в помине нету!..

Солдаты, сначала не очень-то обращавшие внимание на этих женщин и даже выталкивавшие их из рядов своих, мало-помалу начинают отвечать на их шутки и, в свою очередь, заигрывают с ними. Они принимают деньги, тот там, то здесь раздается смех. И вслед за этим смехом, за нескромными шутками все чаще и чаще повторяется почему-то одно имя — имя герцога Филиппа Орлеанского...

Пройдет еще час, другой, и Фландрский полк будет плохой защитой королю Франции — на него знали, чем подействовать, чем развратить его...

Между тем президент Мунье выходит из Национального Собрания, окруженный женщинами.

— *Laissez passer la deputation des parisiennes!*.. Депутация к королю! — кричит он своим звонким голосом.

Их пропускают, они подходят к замку, но за ними рвется толпа. Мунье объясняется у ворот с офицером стражи и требует пропуска. Неистовые крики оглашают воздух. Сотни женщин, а затем уже и мужчины, подоспевшие из Парижа, стремятся взобраться на высо-

кую чугунную решетку и хоть этим путем ворваться в замок. Но это невозможно, решетка чересчур высока, а за нею то там, то здесь вооруженные королевские стражники.

Мунье, подавляя в себе бешенство и стараясь казаться спокойным, тщетно старается успокоить толпу и просит, чтобы королю доложили о депутации парижанок.

Принц Люксембург снова входит в залу, где заседают министры и где идет горячий спор между Неккером и де Сен-При, мнение которого теперь уже разделяют почти все остальные министры. Но король поддерживает Неккера...

Люксембург доложил о депутации.

— А! Депутация, — вдруг оживляясь, произнес король, — они хотят говорить со мною... Что ж, я готов их выслушать — и увидите, господа, что все это хорошо кончится, тут недоразумение, очевидно, недоразумение, и я разъясню его... Впустите депутацию, любезный Люксембург, и проведите ко мне этих женщин...

Из залы заседания все переходят в соседнюю комнату — это спальня короля. Но здесь

нет ничего интимного, спокойного, укромного, одним словом, того, что бывает в спальне всякого человека. Королевская спальня — это самая официальная комната во дворце. Правда, здесь стоит роскошная кровать под пышным балдахинном с затканными на нем лилиями Бурбонов, правда, ночью, когда король покоится на этой кровати, он один. Но едва наступает утро, в назначенный час, в назначенную минуту, эту кровать уже окружают придворные, которым разрешено присутствовать при королевском одевании. Эта великая честь принадлежит только самым высокопоставленным лицам, принцам и герцогам королевской крови. В этой же комнате часто происходят приемы, в ней круглый день движение, и прекращается оно только тогда, когда с обычной, строго исполняемой церемонией короля разденут и пожелают ему спокойной ночи...

Король вошел в свою спальню, окруженный министрами, и стал спокойно, хотя несколько задумчиво, дожидаться странной депутации.

Дождаться пришлось недолго; через

несколько минут двери отворились, и пять женщин показались на пороге. В первый раз с самого основания Версаля подобные странные фигуры появились в этой комнате. Пять парижанок, пять уличных женщин, растрепанных, в беспорядочной одежде, загрязненных и насквозь промоченных дождем, стояли на том самом месте, на котором остановиться представлялось недостижимой мечтою для сотен и тысяч блестящих придворных. Среди этих женщин была одна только некрасивая и пожилая — остальные обращали на себя внимание своей молодостью и даже красотой. Но теперь эти молодые красивые лица потеряли свою привлекательность, их черты были искажены волнением, почти бешенством, и большой усталостью.

Войдя в великолепную, сверкавшую роскошью королевскую опочивальню и увидя перед собою тучную, добродушную фигуру короля, которая была хорошо известна каждому парижанину и каждой парижанке, женщины остановились как вкопанные. Все они еще сейчас, проходя по коридорам Версальского замка, хорохорились и кричали, они готови-

лись «потолковать с королем по-своему», а тут вдруг почувствовали, что язык не слушается, зубы стучат, только уже не от холода, колени так и подгибаются.

Министры стояли молча и печально глядели на эту странную сцену. Они, видимо, страдали за короля; но сам король вовсе не страдал. Он сделал несколько шагов вперед и, обращаясь к женщинам, ласково спросил их:

— Чего вам нужно, мои милые, чем я могу помочь вам?

Гробовое молчание было ответом на этот вопрос.

Эти женщины, самые бойкие из уличных женщин Парижа, известные, уже прославившиеся крикуньи и зачинщицы всяких беспорядков, не смущавшиеся ни перед чем, на всякий крик, на всякую брань отвечавшие удесятенным криком и бранью, теперь, при добродушном вопросе короля, молчали... А ведь они еще за несколько минут перед тем грозили этому королю, издевались...

— Что же вы молчите? — повторил Людовик еще ласковее, еще спокойнее. — Пожалуйста, не бойтесь, говорите откровенно, если

я могу помочь вам — я сделаю это с большим удовольствием...

Женщины все молчали, они переминались с ноги на ногу, не зная куда девать руки. Лица их горели краской стыда и смущения, глаза у всех были опущены: они не смели взглянуть на короля.

Наконец, одна из них выступила вперед. Это была еще совсем молоденькая девушка, лет семнадцати, красивая, свежая, задорная — ее имя было Магдалина Шабри, но все ее почему-то звали Lousion.

Она занималась продажей букетов в Пале-Рояле и уже научилась продавать вместе с этими букетами и свои улыбки, свои ласки.

Lousion пользовалась большою известностью между постоянными посетителями Пале-Рояля. Она была так молода, так красива и в то же время так весела, остроумна; у нее всегда готова была смелая шутка, ее звонкий смех звучал так зажигательно...

С самого детства привыкнув к беспорядочной, уличной жизни, она не знала, что такое значит стыд и смущение, она никогда ни над чем не задумывалась, жила день за днем, ста-

раясь только как можно больше веселиться. В детстве она прошла тяжелую школу нищеты, выносила немало колотушек от какой-то старой тетки, в конуре которой жила, исполняя самую черную работу.

Не раз голодная и холодная, она ночевала на парижских улицах. Она рано была продана отворотительной пьяной теткой и теперь даже не помнила, каким образом это случилось. Она никогда не слыхала ни о грехе, ни о Боге...

Грязь, нищета, голод, холод и разврат с детства рано подкосили и убили многих, подобных ей, жалких созданий, с которыми она встречалась среди уличной жизни, но Lousion обладала выносливой, могучей натурой. Несмотря на все ужасы своего детства и отрочества, она выросла и развилась в сильную и красивую женщину, и теперь, в два-три последние года, совсем позабыла о своем бедственном детстве...

Она считала себя счастливой: жилось привольно, за нею гонялась толпа мужчин, охотно исполнявших ее незатейливые прихоти — большого ей было не нужно. Она никого не

любила, она составила себе о всех людях самое дурное мнение. С тех пор как начались беспорядки и волнения на парижских улицах, она нашла для себя подходящую арену; ей нравился шум, крики, угрозы и проклятия.

Все эти роскошные дамы, эти гордые франты, которым теперь можно грозить, которых можно проклинать, не стесняясь, — разве они заслуживают чего-нибудь другого, разве они всю жизнь не обрызгивали ее грязью, мчась мимо нее в своих блестящих экипажах?! Разве, покачиваясь на эластичных, атласных подушках, они не глядели на нее с презрением, на нее — несчастную, оборванную, голодную девчонку?! А чем же она хуже их, этих нарядных дам! Она красивее, гораздо красивее многих из них! Ну, и вот она сама имеет право презирать их и грозить им.

Louison выступила вперед, гордо подняла голову и впилась в короля блестящими, вызывающими глазами.

«Король! — подумала она. — Ну что ж такое, что король?! Вот он спит на золоте, а я спала на грязных камнях... пускай же он мне теперь ответит!.. Только зачем он так

глядит, что становится неловко?!»

Но она поборолa эту неловкость.

— В Париже хлеба нет, вот что! — почти закричала она своим звонким голосом. — Бедные люди скоро умирать будут с голода, много детей уже и умерло... Дайте нам хлеба, дайте нам хлеба!!! — повторяла она почти задыхаясь от внезапного прилива бешенства.

Король сделал к ней несколько шагов, тихо положил ей на плечо руку и, глубоко вздохнув, проговорил:

— Боже мой, неужели это правда?! Я никак не предполагал... благодарю вас, что вы пришли мне сказать об этом... Но вы должны знать мое сердце... Я немедленно же прикажу собрать и доставить в Париж весь хлеб, который можно получить.

Король замолчал, на глазах его показались слезы. Он продолжал держать руку на плече Lousion и вдруг почувствовал, что Lousion начинает дрожать всем телом. Эта красивая, смелая девушка, говорившая с ним так резко, глядевшая на него таким дерзким вызывающим взглядом, и теперь смотрела на него не отрываясь. Но в одно мгновение все лицо ее

преобразилось, ее раскрасневшиеся щеки побледнели, что-то жалкое, детское изумленно, страшно изумленно мелькнуло в глазах ее, и вдруг она слабо вскрикнула и без чувств упала на пол.

Остальные женщины кинулись к ней, но никак не могли привести ее в чувство. Король поспешил к своему туалетному столу, схватил флакон с английской солью, сам склонился над бесчувственной девушкой.

— Вина, скорее вина! — приказывал он в волнении.

Через несколько минут с помощью английской соли и глотка вина Lousion пришла в себя. Ее подняли, она дико озиралась по сторонам и, увидя короля, горько зарыдала.

Людовик поднял ее голову и нежно поцеловал ее.

Но эта новая доброта, эта новая ласка короля заставила еще обильнее литься ее слезы. Она упала перед королем на колени, ловила и целовала его руку. Остальные женщины последовали ее примеру.

— Встаньте, успокойтесь, — говорил Людовик, — пойдите и скажите всем пришедшим с

вами из Парижа, что я немедленно же распоряжусь и что хлеб у вас будет.

Женщины вышли из королевской спальни с громкими криками:

«Да здравствует король!!»

И этот крик слышался еще долго.

Когда их вывели из замка на площадь, их обступили со всех сторон.

— Ну что вы ему говорили, как он отвечал вам?

— Мы получили все, что желали! — крикнула Lousion.

— Да, да, это правда! — подтвердили ее подруги, — король обещал доставить в Париж хлеба, сколько только можно будет достать, и теперь мы должны вернуться восвояси. Нам незачем тут мерзнуть!..

Несколько секунд продолжалось молчание: толпа присмирела, все были изумлены. Ведь это совсем не то, чего ожидали, это совсем не то, что нужно!

Но вдруг раздались десятки голосов, перебывая друг друга:

— Они продались, двор купил их! Каждая из них получила по двадцати пяти луидо-

ров!.. Повесим этих негодниц!.. На фонари!..
На фонари!..

Разъяренная толпа кинулась на Lousion и ее подруг, стала бить их и, несмотря на их раздирающие крики, не оставляла до тех пор, пока солдаты не отняли несчастных женщин и не скрыли за собою.

Вся площадь волновалась и кричала. Барабаны забили тревогу — и между толкавшейся, остервеневшей толпой показались мундиры национальной версальской гвардии.

IX. МРАЧНЫЙ ВЕЧЕР

Наступили ненастные, осенние сумерки, а за ними начала надвигаться и ночь — темная, серая, холодная.

Беспорядки и шум на улицах Версаля и на площади d'Armes не прекращались. Последние опасения бунтующей толпы исчезли, теперь уже нечего бояться военных действий — национальная версальская гвардия совсем передалась на сторону черни, Фландрский полк побежден женщинами. Толпа кричит, бранится, угрожает всем и больше всего королеве... На площади разводят костры и начинают жарить убитую лошадь.

В городе наглухо закрыты все лавки, за исключением булочных и кабаков; жители заперлись по домам и притаились в темноте, не смея зажечь огня, не смея выказать малейшего признака жизни. И так уже в запертые двери каждого дома стучатся пьяные, вооруженные палками и пиками, оборванцы и требуют еды и вина.

Национальное Собрание по-прежнему наполнено женщинами; они притащили хлеба, говядины, вина и ужинают, разместясь на скамьях депутатов. Президента Мунье нет, он остался в замке, и его кресло занято епископом де Ландр. Тщетно епископ хочет установить хоть какой-нибудь порядок, тщетно обращается к непрошеным посетительницам с ласковой, спокойной речью — его не слушают, его кресло окружено согрешившими, опьяневшими женщинами. Они то и дело обнимают епископа — и он должен выносить все это...

В королевском замке все в волнении — не знают чего ожидать, не знают придет ли избавление, откуда и каким образом придет оно. Король и королева с детьми в своих апар-

таментах. Но ведь мало ли что может случиться, нужно подумать об их безопасности, нужно спасти королеву, во что бы то ни стало скрыть ее. Ведь именно против нее обращены все угрозы черни, до нее добирается эта остервеневшая толпа. Королева с детьми должна покинуть замок. Приказывают скорее все готовить к отъезду. Уже кареты выезжают из королевских конюшен и останавливаются у решетки замка. Но это движение замечено пикетами национальной гвардии; солдаты окружают экипажи и требуют, чтобы кучера немедленно же вернулись в конюшни и отложили лошадей.

Фландрский полк покидает площадь d'Armes, за ним отправляется королевская стража в свои казармы. Таким образом, замок охраняется только небольшим отрядом.

Роскошные анфилады зал и галерей освещены кое-где наскоро зажженными кенкетами и лампами. И в этом полумраке как призраки мелькают фигуры царедворцев, придворных женщин. Число их не особенно велико, многие скрылись из замка по своим домам, другие под шумок успели уехать в Па-

риж окольными путями.

По крайней мере, в замке теперь остались надежные люди, верные слуги и друзья королевского семейства, готовые защищать короля и королеву до последней капли крови, погибнуть вместе с ними. Да, погибнуть, потому что многим невольно приходит мысль о гибели.

В числе этих людей находятся герцогиня д'Ориньи и Сергей Горбатов.

Герцогиня возвратившись с Марией-Антуанеттой из Малого Трианона, оставила ее только тогда, когда королева пожелала быть наедине со своим семейством. Но герцогиня и не думала о том, чтобы покинуть замок.

Ее мужа не было в Версале, он уже несколько дней как отправился в одно из своих поместий; но, конечно, о муже она не думала ни минуты. Она только знала одно, выходя из апартаментов королевы, что здесь в какой-нибудь галерее, в какой-нибудь зале ее, наверно, дожидается Сергей. Он не покинет ее теперь ни на минуту!

И она не ошиблась. Сергей поджидал ее. Ведь он являлся ее единственным защитни-

ком в этот тревожный вечер, ведь он для нее, для нее одной спешил из Парижа. Но теперь к мысли о Мари, о ее безопасности присоединились и другие мысли: он не ради ее одной оставался в Версальском замке, он здесь потому, что королевскому семейству грозит опасность, потому, что чувствует, что его настоящее место среди защитников и верных слуг Людовика и Марии-Антуанетты. Увлечь за собою Мари — его дорогое сокровище и скрыться с нею — ведь это невозможно. Она не станет сопротивляться, она последует за ним при первом его слове, он это чувствует — иначе и быть не может.

Ему даже ясно представляется, как легко незаметным образом им выйти из замка, добраться до дому, в котором он помещался в Версале и оттуда, при помощи Моськи, уехать в Париж. Но он и минуты не думал об исполнении этого плана. Моська по дороге в Версаль говорил ему:

— Голубчик ты мой, Сергей Борисыч, ради Создателя, не лезь ты в этот омут! — Ну извести там кого следует о бунте, да и скорее обратно, чего нам в чужую беду мешаться — в

чужом пиру похмелье, сам знаешь, горько...

Сергей почти соглашался тогда с Моськой, помышлял только о спасении Марии, об избавлении ее от опасности. Но теперь он далек от подобных мыслей, он здесь и не выйдет отсюда, пока не окончится эта томительная неизвестность, пока все не разъяснится. Это уже не чужой для него пир, его охватывает общая тревога, общее страдание.

В полумраке огромной, великолепной «зеркальной галереи», этого чуда роскоши и величия, бродит Сергей. Здесь, в этой самой галерее, среди нарядной блестящей толпы он в первый раз увидел свою герцогиню. Это было так недавно, а между тем ему кажется, что целая жизнь прошла с тех пор, как это было. Тогда она представлялась ему чудным, недосягаемым видением, теперь она — его собственность, его счастье, его мука...

И вот она перед ним, она сейчас же нашла его, какой-то инстинкт привел ее именно в эту галерею. Она оперлась на его руку, почти совсем склонила на его плечо усталую голову, и они медленно пошли вдоль пустынной галереи. Над ним во мраке терялись высокие

своды потолка, поддерживаемые величественными кариатидами, расписанные прекрасными картинами. Бесчисленные зеркала отражали их бледные тени. Их легкий шаг гулко отдавался, пробуждая вечернюю тишину бесконечной галереи.

Мари была утомлена, измучена. На ее живом, подвижном, но теперь бледном и будто застывшем лице выражалось страдание. Губы были полуоткрыты, черные, горячие глаза испуганно и в то же время страстно глядели на Сергея. Она прижималась к нему своей трепещущей, глубоко дышавшей грудью, и счастье любви наполняло его. Но не о своем счастье говорили они в эти минуты — они передавали друг другу свои опасения, сомнения и надежды относительно того, чем разрешится этот ужасный день, что скажет завтрашнее утро.

Они вышли из «зеркальной галереи» и сами не заметили, как очутились в другой, в «галерее статуй». Здесь было еще мрачнее, еще таинственнее. Из каждой ниши глядели на них изваяния королей Франции, и при бледном мерцании двух-трех ламп Сергею ка-

залось, что эти изваяния внезапно оживляются и глядят на них, и простирают к ним свои белые, мраморные руки, будто прося и требуя от них исполнения какого-то долга.

«Старые короли Франции требуют от нас охраны своего преемника!» — невольно подумалось Сергею, и он сам не заметил, как громко высказал эту мелькнувшую мысль свою.

— Да, это правда! — прошептала герцогиня. — Пойдем же скорее туда! Что там делается?! Нет ли новых известий?

Они поспешили к апартаментам королевы и смешались с толпою придворных и обитателей замка...

И вот между ними появилась королева. Только страшная бледность лица ее выказывала все волнение, которое она испытывала; но голос ее был спокоен. Она говорила с таким достоинством, с такой, по-видимому, самоуверенностью; она всех успокаивала, всех старалась ободрить своим примером.

И в то же время до ее слуха, как и до слуха всех присутствующих, доносился глухой, далекий рев толпы, окружавшей замок.

— Вот уже полночь, — говорила Мария-Ан-

туанетта, — а еще в десять часов получено известие от маркиза Ла-Файета, что он спешит в Версаль во главе парижской национальной гвардии. Он просит нас успокоиться и на него положиться. Если он еще не в Версале, то будет здесь через несколько минут.

При этих словах королевы почти все невольно подавляют в себе вздох. Положиться на Ла-Файета — да, конечно, он умеет обращаться с толпою; но еще неизвестно, на чью сторону он станет — этот любимый герой Америки и Франции?! Ведь нет пределов его честолюбию, его жажде популярности. А разве на подобного человека можно положиться в такие минуты?..

— Маркиз Ла-Файет в Версале! Около двадцати тысяч национальной гвардии, которою он предводительствует, на площади d'Armes! — объявляет, появляясь у дверей, офицер королевской стражи.

— Ваше величество! — возглашает, быстро входя, другой офицер, — маркиз Ла-Файет в замке и просит позволения говорить с вашим величеством!

— Скажи маркизу, что мы ждем его, — спо-

койно отвечал король Людовик.

На пороге показывается всем известная фигура знаменитого генерала. Он весь в грязи, усталый, но энергичные черты лица его выражают бодрость духа, глаза сверкают.

Толпа расступается перед ним, и он твердой походкой приближается к королю. Но в это время кто-то из придворных невольно вскрикивает:

— Вот Кромвель!

Генерал останавливается, обертывается по направлению раздавшегося голоса.

— Милостивый государь, — произносит он, — Кромвель не вошел бы один и безоружный!

И он идет дальше.

На него обращены все взгляды, все замерли, боятся дохнуть: кто же он в самом деле — враг или избавитель?

Ла-Файет почтительно склоняется перед королем и королевой.

— Государь, — говорит он, и грусть и глубокое уважение к королю слышатся в его голосе, — государь, я принес вам мою голову, чтобы спасти голову вашего величества!..

Это громкая фраза, одна из тех фраз, к которым иногда любил прибегать блестящий герой борьбы за свободу. Но на этот раз он так искренне и горячо произносит эту фразу, что почти все чувствуют некоторое облегчение.

Король протягивает ему руку.

— Государь, — продолжает Ла-Файет, — я ручаюсь вам за чувства национальной гвардии.

— Я вам верю, маркиз, и благодарю вас! — произносит король.

На этот раз Ла-Файету верит и королева. Она забывает все сомнения, которые давно уже легли между нею и славолюбивым героем. Да что же ей и делать, как не верить?! Ведь эта вера — единственное, что ей осталось. Она верит не для себя, не за себя боится, о себе она забыла, она верит ради своего мужа, ради детей своих.

Ла-Файет предлагает, чтобы внутренние посты во дворце были заняты королевской стражей, а наружные были поручены национальной гвардии. Король соглашается на это.

— В таком случае, — говорит Ла-Файет, — я беру на себя наблюдение над тем, чтобы этот

приказ вашего величества был в точности исполнен. Я обойду все посты и затем успокою Национальное Собрание... Успокойтесь и вы, ваше величество, — обращается он к королеве, — я головой ручаюсь вам, что порядок не будет нарушен. Завтра утром толпы разойдутся, спокойствие восстановится...

И, откланявшись королю и королеве, Ла-Файет спешит к выходу из замка...

Он говорил искренне, он успел всех успокоить; но это вряд ли бы удалось ему, если бы он рассказал откровенно, каким образом появился в Версале во главе двадцати тысяч национальной гвардии. Не он вел свое войско — оно вело его против воли. Когда он отказался идти в Версаль, солдаты кричали:

«Если маркиз Ла-Файет не хочет идти с нами — мы передадим начальство какому-нибудь старому гренадеру!» Другие, уже прямо к нему обращаясь, говорили:

— Генерал! Мы не считаем вас изменником, но мы думаем, что правительство нас обманывает... Мы пойдем в Версаль, чтобы выгнать королевскую стражу и Фландрский полк, которые отказываются носить нацио-

нальную кокарду... Если для короля Франции слишком тяжела его корона, пусть он ее снимет — мы наденем ее на его сына, и все пойдет как нельзя лучше!..

Тщетно Ла-Файет употреблял всю силу своего красноречия, которое так часто помогало ему действовать на толпу. На этот раз толпа была сильнее его и увлекла его за собою.

И вот он обещал королю и королеве спокойствие, он поручился головою, что все приведет в порядок! Но в силах ли он будет это исполнить? Он надеется, он снова уверен в себе — а между тем чувствует, как страшно утомлен волнением и усталостью этого тяжелого дня. Его ноги едва слушаются, в голове туман... Уснуть бы! Один час крепкого сна снова оживил бы его!.. Но разве возможно теперь думать о сне?! Надо действовать...

X. ВО ТЬМЕ

Мало-помалу тишина начинала водворяться в Версале. Сказывалось всеобщее утомление. Ночной холод, не перестававший дождь заставляли всех искать убежища, какого-нибудь крова, где бы можно было хоть немного отдохнуть, согреться.

Солдаты национальной парижской гвардии разместились в казармах, в церквях и в частных домах, куда впустили их с большим страхом, а не впускать не смели, именно вследствие этого страха. Парижская чернь, все эти женщины и мужчины, вооруженные пиками и дубинками, приютились на скамьях Национального Собрания и в кабаках. Кто же не мог найти себе нигде места — а таких было очень много, — те так и остались на площади d'Armes, валяясь в грязи и согреваясь у костра.

Ла-Файет распорядился и обходил посты, но он уже чувствовал, что не может больше бороться с одолевшей его усталостью. Он хотел убедить себя, и это ему скоро удалось, что теперь все успокоилось, опасности, по крайней мере, до утра не предвидится. Он решил еще раз обойти замок со всех сторон и затем отправиться на улицу de-la-Petite и там немного отдохнуть у родных своей жены, графов Ноайль, в их отеле.

Королева отпустила своих приближенных, простилась с королем и удалилась в спальню. Король тоже решил заснуть. Придворные,

жившие в самом замке, мало-помалу разошлись по своим помещениям. Герцогиня д'Ориньи, утомленная, как и все, и чувствовавшая большую слабость, просила Сергея проводить ее в комнату, в которой она иногда ночевала, оставаясь в замке. Она едва дошла и в изнеможении опустилась на кушетку.

— Ах, какой день! — проговорила она слабым голосом.

Сергей опустился перед нею на колени и целовал ее руки.

— Усни, моя дорогая! — шептал он, — ты слишком потрясена, но сон освежит тебя... усни спокойно...

— Боюсь, что не засну... Где уж спать, разве мы знаем, что там делается, разве можно положиться на слова Ла-Файета? Мне даже странно, что все вдруг так успокоились, я убеждена, что опасность нисколько не миновала и она даже еще страшнее в этой темноте, в этом мраке... страшнее, потому что ее не видно...

— Ради Бога, не мучь себя такими мыслями и постарайся заснуть, — упрашивал ее Сергей, — я чувствую себя очень бодро и, ко-

нечно, спать не стану. Я сейчас отправлюсь, обойду весь замок, узнаю все и буду здесь, неподалеку от тебя, так что ты, во всяком случае, знай, что я сторожу сон твой, что если бы, не дай Бог, случилось что-нибудь — я с тобою...

Она благодарно сжала его руку, взглянула на него нежно и ласково... Но вот глаза ее сомкнулись, и через несколько мгновений она задремала...

Было уже около пяти часов ночи; тишина стояла невозмутимая, всюду потушили огни и только в коридорах и на лестницах кое-где горели лампы. Везде было пусто, все спали.

Выйдя из комнаты герцогини, пройдя длинный коридор и очутившись в анфиладе парадных гостиных, Сергей надеялся кого-нибудь встретить, кто бы мог рассказать ему о том, что делается. Но он проходил, комнату за комнатой, едва различая в темноте предметы — и никого не встретил. Наконец, он совершенно запутался и не мог ясно представить себе, где находится. Он пошел снова назад, вышел опять в коридор и сообразил что ему легко будет пробраться к так называемой

«мраморной лестнице», которая вела, с одной стороны, в комнаты королевы, а с другой — в комнаты короля.

«Там, наверно, есть люди, и я что-нибудь узнаю», — подумал он.

Действительно, «мраморная лестница» была освещена. На верхней ее площадке он заметил двух людей — это были офицеры Швейцарской сотни. Сергей уже знал, что Швейцарская сотня была единственная стража короля, на верность которой и храбрость всегда можно было рассчитывать. Но зачем же их так мало? Конечно, если наружные входы и двор хорошо защищены, тогда трудно сюда проникнуть; но все же двух караульных недостаточно. Видно, Ла-Файет уж очень уверен в полном спокойствии...

Сергей поднялся по лестнице и увидел знакомые лица; он давно обратил внимание на этих офицеров, а с одним из них, который ему особенно нравился, даже не раз беседовал. Это был молодой человек его лет, красивый, сильного сложения, с открытым, мужественным лицом и ясными светлыми глазами. Его звали Миомандр де Сент-Мари. Имя другого

было Варикур.

Офицеры с изумлением на него глядели, но, узнав его, любезно поклонились ему.

— Вы давно занимаете этот пост? — спросил их Сергей.

— Больше часу, — отвечал Миомандр.

— В таком случае вы можете сообщить мне о распоряжениях генерала Ла-Файета. Достаточно ли защищен дворец?

Миомандр усмехнулся.

— По-настоящему, стоя на часах, мы не имеем права совсем даже говорить, мы должны попросить вас удалиться отсюда... Но сегодня особенный день и особенные законы, только, пожалуйста, говорите тише. Знаете ли, князь (Сергея все называли князем, никаким образом не понимая, что молодой русский вельможа мог не иметь этого титула), знаете ли, князь, что вот мы с товарищем совсем беспокойны. Мало ли что генерал Ла-Файет наобещал! Вряд ли эта ночь благополучно окончится... А насчет защиты замка так лучше и не говорить — какая это защита?! Как шли мы сюда, так видели: у Двора министров поставлено двое солдат нацио-

нальной гвардии — и только. Куда девалась вся стража — солдаты и офицеры — ничего не знаем. Тут вот, за этой дверью, в первой приемной королевы, два человека наших товарищей — это мы знаем... и вот как защищен замок... Через час нас должны сменить, тогда нужно будет найти всех наших и привести сюда...

— Да уж, ночь — нечего сказать! — зевая, проговорил другой швейцарец, Варикур. — Пусть король на Господа Бога надеется, а на людей надежда плохая. Ведь весь день сегодня все как сумасшедшие, а этот генерал безумнее всех! Где же это видно — с утра бунтовщики окружают королевский замок, бранятся, издеваются, а перед ними и пикнуть никто не смеет?! Вот еще до того, как эти глупые женщины к королю приходили, мы просили, чтобы нам было разрешено разогнать толпу с площади d'Armes... Поверьте, тогда стоило бы только сделать несколько холостых выстрелов — и все эти крикуньи показали бы пятки. Ведь все дело в том, чтобы захватить вначале, а это что же такое? Эти негодяйки увидели, что их боятся, и теперь, ко-

нечно, всего ожидать можно... Но что это, что?.. Слышите?

Сергей прислушался — и у него замерло сердце. Со двора, и не очень далеко раздался пронзительный крик многих голосов.

— Где это, ведь это, кажется, близко, неужели с площади так слышно?!

— Нет, это не с площади, это уже во дворе, — мрачно произнес Миомандр, — вот и спокойствие, обещанное Ла-Файетом!.. И где же он сам?..

Сергей бросился вниз по мраморной лестнице. Крики раздавались все ближе и ближе.

Что же это такое, что же это случилось? Случилось то, что можно было предвидеть. Неужели эта уличная разнузданная толпа, пришедшая из Парижа, могла воротиться обратно, не достигнув своей цели; неужели это могли допустить те, которые ее подстрекали?! Ведь целый день был употреблен на то, чтобы обезоружить Версаль, сделать его беззащитным, беспомощным. Недаром красивые женщины раздавали солдатам золото и сулили им всякие блага в Пале-Рояле! К середине ночи все поддались усталости, притихли и за-

дремали. Эта тишина обманула Ла-Файета, обманула королевское семейство и некоторых придворных — все заснуло, заснул и Ла-Файет. Но подстрекатели не спали — они вовремя разбудили мужчин и женщин, дремавших в Национальном Собрании; вовремя растолкали толпу, приютившуюся бивуаком на площади d'Armes.

В сумраке медленно приближавшегося осеннего рассвета перед дворцом снова закопошилась многочисленная толпа; женщины и вооруженные дубинами, пиками и топорами мужчины ворвались в первый двор замка. Этот двор охранялся только двумя солдатами национальной гвардии. Что они могли сделать? Да еще вопрос — стали ли бы они противиться, если бы и могли. Они молча впустили толпу и смешались с нею...

Скоро весь двор, так называемый «двор министров», был занят, ворота во «дворе принцев» отворены. Толпа бросается в эти ворота и проникает в парк через небольшую дверь у «лестницы принцев».

Мало-помалу королевский замок окружают со всех сторон, под окнами королевы слы-

шатся голоса.

Страшно утомленная и измученная Мария-Антуанетта крепко, было, заснула, но крики и брань ее будят; она прислушивается, зовет свою дежурную даму и спрашивает ее, что значит этот шум? Та отвечает, что это, вероятно, парижские женщины, не нашедшие себе нигде ночлега, собрались на террасе.

Ее спокойный голос действует на королеву. Если б ей сказали теперь: «Вставайте, пришла опасность, толпа уже проникла в парк, значит, она была пропущена стражей, значит, замок плохо охраняется» — она отогнала бы свой тяжелый сон, победила усталость, она очнулась бы и поняла свое положение. Но ей ответили спокойным голосом, и она не вслушалась в слова, ее голова снова бессильно опустилась на подушку, и она опять крепко заснула.

А между тем опасность все ближе и ближе. Вот уже толпа перед колоннадой, отделяющей «двор принцев» от «королевского двора». Этот проход защищают несколько человек королевской стражи, но толпа напирает на них, сбивает их с ног. Один из солдат прицелива-

ется, собираясь выстрелить, но в ту же секунду он обезоружен десятками рук, его повалили, избили и тащат во «двор министров». Огромного роста и зверского вида тряпичник Журран, который весь день кричал больше всех и разражался самыми отвратительными проклятиями, кидается к этому полумертвому солдату, наступает ему ногой на грудь и своим топором с маху отрубает ему голову.

Первая кровь пролита, толпа хмелеет, кругом раздаётся неистовый рев, рев зверя, почувшего запах крови. Окровавленную голову несчастного вздевают на пику и торжественно выносят ее на площадь d'Armes как первый трофей начавшейся победы.

Сергей еще не успел добежать до последних ступеней лестницы, как понял весь ужас положения. В одно мгновение толпа наводнила «мраморный двор», а между этой толпой и лестницей оставалась только тонкая, резная чугунная дверь. Дверь на крепком запоре; но вот уже сотни могучих рук ее расшатывают, еще минута, другая — и она слетит с петель.

— Здесь она, здесь австриячка!.. Спит! Так мы ее разбудим! — раздаются дикие голоса.

И это уже не пустые угрозы.

Сергей остановился на мгновение, схватился за голову и бросился назад, вверх по лестнице.

«Может быть, она не знает, может, еще минута — и спасение будет невозможно! Ведь все угрозы против нее направлены, ведь они знают, где искать ее... Тут, сейчас, за три комнаты ее спальня!» — быстро-быстро мелькало в голове Сергея.

Нужно спасти ее, нужно вывести ее из спальни, верные швейцарцы хоть на несколько минут задержат толпу... А потом он побежит к герцогине.

Он вспоминал ясно, отчетливо, живо, в мельчайших подробностях все выходы, все пути к спасению. Но не успел он добежать и до половины лестницы, как за ним чугунная дверь с громом рухнула, и с криком торжества и дикой радости толпа ворвалась, наступая его. И вот он уже окружен грязными обрванцами, он со всех сторон слышит вокруг себя жаркое дыхание. Страшный, гигантский зверь наваливается на него... Вот уже несколько человек его опередило...

Кровь бросилась ему в голову, в ушах звенит, какой-то туман расстилается перед глазами... Он оступился, он чувствует удар в спину, но снова поднялся и опять бежит, из всех сил стараясь опередить страшного зверя...

Перед ним красивая, мужественная фигура молодого Миомандра. Миомандр говорит, обращаясь к толпе:

— Друзья мои, вы любите вашего короля, так зачем же вы беспокоите его во дворце и ночью, зачем не дадите ему отдохнуть?!

Дикий рев раздался на слова, и мгновенно перед отуманившимися глазами Сергея что-то происходит. Миомандра уже нет, какая-то масса барахтается на ступенях лестницы... Гигантский зверь снова наступает.

Но Сергей уже наверху, у дверей первой приемной. Дверь на запоре, и с ужасом он понимает, что проникнуть в эту дверь — значит, пропустить с собою толпу. У этой двери только один товарищ Миомандра, Варикур. Он стоит с бледным лицом, с сверкающими глазами, готовый дорого продать свою жизнь. Сергей становится рядом с ним, но ведь он безоружен...

Еще миг — куча людей у дверей, все перепуталось, смешалось. Лампа, задевая чьей-то пикой, слетела со стены, полилось горящее масло. На мгновение яркий свет его озарил разъяренные, искаженные лица. Потом вдруг все потемнело, только слабый отблеск занимающейся зари глянул в широкие окна. Толпа, на несколько времени остановленная падением лампы и тушившая горящее масло, снова стала напирать на дверь, раздался выстрел, это выстрелил Варикур. Он сделал все, что мог, он предупредил своим выстрелом находившихся в апартаментах королевы, а сам в ту же минуту пал перед защищаемой им дверью, оглушенный десятками ударов, обливаясь кровью.

На Сергея не обращали внимания. По его костюму его трудно было принять за одного из защитников замка, да и откуда бы он мог взяться, этот безоружный защитник?.. К тому же в этом полусумраке трудно было разобраться...

Почти не помня себя, Сергей кого-то ударил изо всех сил, потом кто-то вдруг схватил его руку и так рванул, что затрещали кости.

Но внезапная боль заставила его очнуться, вывела его из того тумана, который кружился в голове его. Он понял, что королева теперь должна быть предупреждена, а если она ничего не знает, то, во всяком случае, уже поздно; он понял, что драться ему одному и безоружному бесполезно — его сейчас же убьют и кого и что спасет он этой смертью?! Нужно опять спуститься с лестницы и бежать через коридор, знакомой дорогой, туда, где он покинул Мари... Ведь он обещал охранять ее сон... Ее спасти он еще может...

XI. 6 ОКТЯБРЯ

С большим трудом пробрался Сергей по лестнице. Будь эта толпа несколько спокойнее и будь больше света — конечно, на него скоро обратили бы внимание, и уж одно то показалось бы странным, что он бежит вниз, назад, когда все стремятся вперед, к дверям королевских комнат.

Но толпа была в сильнейшем возбуждении, все рвались выше и выше по лестнице, все взгляды были устремлены наверх, к той двери, которая вот-вот должна распахнуться. Освирепевшие разбойники наступали друг на

друга, толкались и бессмысленно расточали направо и налево удары кулаками. На каждом шагу Сергея стискивали, отталкивали его и, таким образом, часто заставляли останавливаться; он должен был завоевывать каждую ступеньку. Он пустил в ход всю свою силу, но скоро увидел, что может владеть только правой рукой; левая страшно болела, отекала и была почти парализована.

Наконец, кое-как он добрался до нижних ступеней лестницы и проник в коридор. Он вздохнул свободнее, увидев, что здесь никого нет, что ворвавшиеся в замок имели одну цель — мраморную лестницу и искали одну королеву. Он бросился бегом по длинному коридору и, задыхаясь от усталости и волнения, отворил дверь той комнаты, где оставил герцогиню.

Здесь было уже достаточно светло... Слава Богу! Он увидел Мари все на той же кушетке, она, очевидно, и не просыпалась. Он приблизился к ней, склонился над нею, расслышал ее ровное дыхание. На мгновение он позабыл все: и страшную минуту, которая привела его сюда, и с каждой секундой усиливавшуюся

боль в руке и во всех членах. Он глядел, очарованный, на милое лицо герцогини, на ее закрытые глаза, опущенные длинными черными ресницами и обведенные легкой тенью, на ее полуоткрытые, влажные губы, на которых снова играла яркая краска; на маленькую черную мушку, которая в последнее время ежедневно появлялась на этом милом, капризном лице и своим условным смыслом говорила о постоянстве.

Сергей взял маленькую тонкую руку герцогини и сжал ее.

Мари открыла глаза широко, изумленно, ничего еще не понимая, потом приподнялась, взглянула на Сергея и с криком к нему кинулась:

— Serge! Ради Бога! Что случилось? Ты в крови?!

И она схватила его голову, а потом дрожащими руками отыскала свой платок и приложила к его лбу — на платке была кровь.

Сергей взглянул в зеркало. Это пустое, это царапина, которую он и не заметил! Он поспешно стал передавать герцогине все дело.

Она слушала его с ужасом, отчаяние изоб-

разилось на лице ее. В волнении она схватила его левую руку, и он невольно вскрикнул от невыносимой боли. Она увидела, что вся рука его посинела и как-то вывернута.

— Боже мой, да ведь ты вывихнул себе руку!

Он взглянул и только тут понял, что его рука действительно была вывихнута и от этого он не мог согнуть ее. Герцогиня совсем растерялась, она уже не думала о том, что бунтовщики в замке, о том, что королева в опасности и неизвестно, что с нею, она видела только эту вывихнутую руку.

— Боже мой, что теперь делать, что теперь делать?! — отчаянно повторяла она.

— Помоги мне, — сказал Сергей, стискивая зубы от боли, — дай платок... Крепче привяжи... Вот здесь, может быть, нам удастся вправить... Я видел... Я помню, как это делается...

Мари мгновенно осушила слезы; на ее взволнованном лице вдруг появилось сосредоточенное, даже почти спокойное выражение, и уже не дрожащими, а твердыми руками она искусно стала завязывать платок по указаниям Сергея. Откуда взялись у нее и си-

ла, и ловкость! Она действовала как опытный хирург и через две-три минуты Сергею удалось с ее помощью вправить локоть. Сильная боль продолжалась, но он чувствовал, что рука его на месте.

— Благодарю тебя, моя дорогая! — говорил он герцогине, прижимая ее к груди своей. — Теперь забудь об этой несчастной руке, тут нет ничего опасного... Решай же, что нам делать?!

Герцогиня стояла молча, собираясь с мыслями.

— Ты сам говоришь, — наконец, прошептала она, — что если мы будем стараться проникнуть туда, никого не спасем и только сами можем погибнуть. Бежать из замка теперь тоже опасно, да я и не хочу этого... Я не тронусь с места, я не уйду отсюда — будем ждать...

— Постой, смотри сюда!.. — вдруг воскликнула она, подбегая к окну.

Он последовал за нею. Перед ним был двор, быстро наполнявшийся народом. Но это была уже не та безобразная толпа, которая рвалась по мраморной лестнице, это были

солдаты национальной парижской гвардии. И впереди всех Сергей заметил высокую фигуру человека с растрепанными, развевавшимися длинными волосами — знакомую ему фигуру маркиза Ла-Файета.

— А, вот и он, наконец! — проговорил Сергей. — Вот и он со своими солдатами. Дай только Бог, чтобы не было уже поздно!..

И она побежала из комнаты, увлекая за собою Сергея.

Через минуту они были уже в небольшой гостиной. Герцогиня приподняла шелковую занавеску окна и указала Сергею.

Он увидел с одной стороны в серой утренней мгле очертания деревьев парка, бассейны и фонтаны, с другой — ряд блестящих окон замка, внизу широкую террасу, заставленную огромными мраморными вазами с цветами, во втором этаже несколько легких балконов. На террасе и кругом под окнами волновалось море человеческих голов, раздавались оглушительные крики.

— Королева! Подавайте нам королеву! Пусть она к нам выйдет, мы хотим ее видеть... Да, пусть-ка выйдет — мы встретим ее

как следует!!

Сергей и Мари прильнули к стеклу.

— Вот, вот ее окна, а тот вон балкон — спальня королевы...

Они стали смотреть не отрываясь, но окна были заперты, в замке с этой стороны все, по видимому, было тихо.

И на эти запертые окна пристально смотрели тысячи мужчин и женщин. Дикая злоба, ненависть изображались на этих грязных, искаженных, по большей части пьяных, лицах. Оборванные торговки, потаскушки, тряпичники, выгнанные лакеи, засучивая рукава, будто приготавливаясь к драке, грозили кулаками. Охрипшие голоса выкрикивали проклятия, угрозы... «Королеву, подавайте нам королеву!» — редела толпа.

И вдруг стеклянная дверь одного из балконов отворилась.

«Боже мой, что же это будет?!» — в один голос с замирающим сердцем прошептали Сергей и Мари. Но больше они ничего не сказали и, прижавшись друг к другу, замерли в ожидании и тревоге.

На балконе показался король. Он был

непричесан, лицо его было бледно и грустно, но все же никакого страха не выразалось в этом лице. Он облокотился на перила, остановил свои усталые глаза на толпе... Он хотел говорить, но толпа не дала ему вымолвить ни слова.

— Королеву, королеву, пусть выйдет королева!

Все бесновались, над головами мелькали пики, дубины, топоры. Король постоял еще несколько мгновений, но, убедившись, что его не будут слушать, что его присутствие только еще больше разъяряет эту обезумевшую толпу, он слабо махнул рукой и скрылся за стеклянной дверью.

— Королеву! — изо всех сил ревела толпа...

— Да ведь если она выйдет, она погибла, — шепнула герцогиня, — эти звери...

Но она не договорила и в ужасе всплеснула руками. На балконе перед разъяренной толпой стояла Мария-Антуанетта, держа за руки детей своих. Королева была в утреннем белом пеньюаре — спасаясь из своей спальни, куда уже врывались, ища ее, она не имела даже времени одеться, — ее длинные блед-

но-пепельные волосы рассыпались по плечам, в лице не было ни кровинки, ни признака жизни. Это прекрасное, горделивое лицо представлялось мраморным изваянием; ни одна черта не дрогнула, все застыло, все превратилось в камень, только глаза горели. И в этих светлых, лучезарных глазах, красотой которых еще недавно восхищалась и гордилась Франция, выражалась теперь вся мука заболевшего, разбитого сердца, ужас, негодование, тоска и сознание невыносимого, незаслуженного позора.

Королева только сжимала своими холодными руками руки детей своих, силясь в этом пожатии почерпнуть для себя новые силы. Дети прижимались к ней. Ее дочь, красавица-девочка, будущее подобие матери, глядела на бунтующую толпу большими, изумленными, испуганными глазами, на которых блестяли слезы. Она уже понимала опасность, она уже многое понимала. Но маленький дофин, которого разбудили на рассвете и принесли в спальню короля, где собрались все родные, где отец глядел так печально, где мать, полуодетая, растрепанная, в отчаянии

ломала руки и плакала, совсем не понимал, что все это значит: зачем так много людей, зачем они так кричат и зачем вот теперь мать с ними вышла на балкон?

Маленькому дофину было холодно, сырая свежесть раннего утра охватила его, а главное — он был голоден. Он давно уже просил есть, но на его слова не обращали внимания, и теперь его даже начинало тошнить от голода. Он схватил обеими ручонками руку матери и, прижимаясь к ней, шептал:

— Мама, да право же, я очень голоден; хотя бы кусочек хлеба мне дали!.. Тут холодно... Пойдем скорее назад и накорми меня!..

— Подожди, подожди, сейчас все это кончится! — едва слышно вымолвила Мария-Антуанетта.

— Не надо детей, прочь детей! Пусть королева выйдет к нам одна! — вдруг заревела толпа.

Королева скрылась за дверью и через несколько мгновений появилась снова в сопровождении Ла-Файета. Ее лицо было все так же страшно бледно и неподвижно, глаза все так же блестели, но теперь в них уже не

выражалась душевная мука, теперь перед бунтующей толпой стояла не измученная, оскорбленная женщина, не жена и мать, трепещущая за участь мужа и детей — это была величественная королева, сознающая свои права, свою силу, свое призвание. Она твердым шагом подошла к решетке балкона и обвела толпу сверкающим взглядом.

Все эти тысячи народа мгновенно затихли и не спускали с нее глаз, затаив дыхание. Этот гигантский тысячеголовый зверь чувствовал, что перед ним не беззащитная женщина, на которую можно кинуться, которую можно растерзать, он чувствовал, что перед ним какое-то особенное существо, владеющее высшей, непонятной силой.

Ла-Файет — старый любимец Парижа, идол и герой черни — подошел к королеве, склонился перед нею и почтительно поцеловал у нее руку.

Неподвижная толпа дрогнула и разом тысячами своих голосов грянула:

— Да здравствует королева!

Послышались рыдания женщин; многие становились на колени.

И в это же мгновение из-за деревьев парка выглянуло утреннее солнце. Яркие лучи его озарили белую, неподвижную фигуру королевы. Она стояла все такая же величественная и глядела все таким же могучим взглядом. Ни она, ни Ла-Файет не проронили ни слова, а между тем в толпе, начинавшей мало-помалу приходить в себя, начинавшей снова волноваться, но не прежними чувствами, а восторгом, то там, то здесь шел говор.

— Слышали, что сказал Ла-Файет?! Он обещает, что королева будет любить нас, как Христос любит церковь...

— Да, да, он сказал это, он обещал это от имени королевы!..

— Она святая — видите, кругом нее сияние! — говорили другие.

Рыдания женщин раздавались все громче и громче.

— Да здравствует королева! — повторялось то там, то здесь, подхватывалось толпою и стояло в утреннем воздухе.

Обрывки ночных туч быстро уносились, разгоняемые свежим ветром. Солнце сияло, отливаясь и горя на мокрой траве, сверкая на

зеркале бассейна...

Королева величественно поклонилась народу и исчезла за стеклянной дверью...

— Слава Богу, слава Богу! — восторженно повторяла герцогиня.

Радостные слезы текли по ее щекам, она сжимала руку Сергея.

— Право, можно поверить в чудо, разве не чудо совершилось на наших глазах?!

— Да, — задумчиво отвечал Сергей, — но я боюсь, что это только мгновение. Королевы нет — и ее обаяние исчезнет...

И будто в ответ на слова эти, крики: «Да здравствует королева!» замолкли и раздались новые возгласы: «Король в Париж! Король в Париж!»

В этом новом гуле опять звучала прежняя нота бешенства и раздражения. Опять слышались угрозы... Снова дверь балкона отворяется, выходит Ла-Файет, за ним виднеется фигура офицера королевской стражи. Ла-Файет жестом показывает, что хочет говорить. Толпа прекращает свои крики и слушает.

— Король согласен ехать в Париж, — говорит Ла-Файет, — король выедет сегодня же в

сопровождении королевы и всего своего семейства.

Крики торжества служат ответом на слова эти. Но толпа заметила офицера королевской стражи.

— Долой королевскую стражу! Это изменники... Не надо их!..

Ла-Файет это предвидел, он показывает шляпу офицера, на которой красуется трехцветная национальная кокарда. Офицер торжественно клянется в верности нации.

— Да здравствует королевская стража! Король в Париж! Да здравствует король! Да здравствует королева! — проносится над толпою.

Но вот чей-то громкий, могучий голос, покрывая все эти крики, ревет:

— Да здравствует нация!

— Да здравствует нация! — как один человек подхватывает вся толпа.

— Да здравствует нация! — доносится с другой стороны замка, со всех дворов, с площади d'Armes...

В замке движение. Все эти придворные кавалеры и дамы, бесчисленная прислуга, все

притаившиеся по своим помещениям и не подававшие голоса в ожидании смерти, теперь снуют по всем комнатам, коридорам, галереям, мечутся взад и вперед, собираясь к внезапному отъезду.

Ла-Файет уверил короля и королеву, что нельзя медлить ни часа. Король согласен, он поедет в Париж, поедет куда угодно, лишь бы только не разлучали его с женой и детьми.

В королевских конюшнях запрягают экипажи. В Версале все в волнении, тысячи пришедшего люда беснуются от восторга, площадь d'Armes по-прежнему наполнена народом, и то там, то здесь, высоко над живыми головами появляются вздернутые на пиках две мертвые, окровавленные головы — солдата королевской стражи Дехюта и швейцарца Ворикура. Их тела свезены в казармы, и туда же принесены тяжело раненные при защите мраморной лестницы и комнат королевы Миомандр и его товарищи.

Сергей дожидался герцогиню, которая отправилась в апартаменты королевы. Вот она вернулась, вся обливаясь слезами.

— Через час едем, — заговорила она, — я

ни минуты здесь не останусь после королевы. Пойдем сейчас ко мне, в мой отель, я велю приготовить карету, только, ради Бога, не покидай меня, будь со мною, поедем вместе — в карете может поместиться и твой карлик...

— Но что же король? Что королева? — спрашивает Сергей.

— Короля я не видела, говорят он, как всегда, спокоен. Из Национального Собрания явился Мирабо и объявил, что Собрание единогласно решило вместе с королем переехать в Париж, объявило себя неразделенным с королем. Он отвечал, что с сердечной признательностью принимает это новое доказательство привязанности Собрания... Да, он спокоен, даже странно спокоен, он будто не понимает или, вернее, не хочет понять, что значит этот переезд, что значит сегодняшний день!.. Зато королева отлично все это понимает и не скрывает этого... Друг мой, на нее смотреть страшно, я едва там не разрыдалась... А она, о, что это за женщина, она изо всех сил старается казаться бодрой, ко всем относится с такой добротой, вниманием. Обняла меня, поцеловала, крепко сжала мне руку... Знаешь ли,

там носят головы убитых, и ей об этом сказали! Если бы ты видел ее в эту минуту, я этого лица никогда не забуду... она вздрогнула и проговорила: «Нас заставляют ехать в Париж, но перед нами понесут головы наших верных защитников»... О, как она сказала это!..

Но им нельзя было терять времени, и они поспешили из замка через парк, избегая толпы, которая радостно бушевала на площади.

Около полудня огромная карета с королевским семейством и кареты придворных выезжали из Версаля. С герцогиней д'Ориньи ехал Сергей, на переднем сидении помещался Моська.

Бедный карлик даже как-то весь позеленел от ужаса и опасения за вывихнутую руку своего Сереженьки. Он успел уже добыть хирурга, рука Сергея была как следует перевязана, хирург уверял, что опасаться нечего и при благоразумном лечении все пройдет в две-три недели. Но Моська все же никак не мог успокоиться, он не доверял басурманскому хирургу, да и вообще он слишком много пережил за вчерашний вечер, за эту долгую, бессонную ночь, когда он не знал даже, жив ли

его барин, увидит ли он его. Он уже думал, что придется везти в Россию только одни косточки...

И потом — эта герцогиня! Он в первый раз ее сегодня видел, но уже давно о ней знал; ведь он всегда все знал, что касалось до Сереженьки, от него ничего не могло скрыться... И вот они вместе едут.

Так вот она какая! Ну что в ней?! Господи, и неужто он променял на нее княжну нашу, ведь она ей и в подметки не годится, ведь эта что? Так себе, вертлявая бабенка, а княжна как есть, как есть красавица!..

— Ох, попадись ты мне теперь, дьявол Рено! — задыхаясь от злости, думал Моська, — задушу я тебя, как есть задушу, и за грех считать не буду, и Бог простит! — всему ты причина... Да и что же это, наконец, такое?! Нынче же отпишу Льву Александрычу... Разве можно тут жить! За какие это провинности дитя в тартарары эти проклятые кинули? Напишу, чтобы немедля приказ был от государыни ехать восвояси. Все отпишу... и про бабенку эту... все...

«Ишь ты, проклятая, вертится! — продол-

жал он свои думы, с ненавистью поглядывая на герцогиню, — ей, видно, и ничего, что он из-за нее искалечен — улыбается... А глазищами-то, глазищами что выкидывает! А еще мужняя жена... Фу ты, срамота какая! Ну, да и ты, батюшка, тоже хорош, погляжу я на тебя, — начинал он мысленно распекать Сергея, — не ждал я от тебя таких делов... А это-то черти, эти изверги!»

Он выглянул в окошко кареты.

Гудящая толпа заняла его внимание. Зрелище, действительно, было самое необыкновенное.

Шествие, как верно угадала несчастная королева, открывалось оборванной, кричавшей, прыгавшей и бесновавшейся толпой мужчин и женщин, с возвышавшимися на пиках окровавленными головами. Затем следовала карета с королевским семейством, кареты придворных, депутатов, затем батальоны национальной гвардии, королевская стража, артиллерия. На пушках поместились верхом женщины, размахивая платками и горланя песни. Наконец, двигались возы с мукой, добытою в Версале. Время от времени проноси-

лись крики...

ХИ. ВДАЛИ

Вечный шум и волнение. Расходились на-
родные страсти, давно приготавливавшаяся
гроза, наконец, разразилась, и все страшнее
и страшнее были ее удары. Мщенье, слепое,
бесмысленное мщенье добирается до своих
жертв и сознает, что близок час стонов, кро-
ви, смерти. Что-то давящее, мрачное, раздра-
жающее носится в воздухе, стоит над огром-
ным, прекрасным городом, в котором еще так
недавно широко и привольно жилось челове-
ческому веселью, в котором нужда, горе, забо-
ты прятались по темным углам, так прята-
лись, что со стороны нельзя даже было подо-
зревать их существование. Разнообразная
жизнь, катившаяся полной волною, внезапно
остановилась. Эта жизнь превратилась те-
перь в больное и невыносимое существова-
ние; никто не живет, все прежние интересы
позабыты, все прежние планы, расчеты раз-
рушены. Час проходит за часом, день за днем.
Прошел час, прошел день — и слава Богу, а
что завтрашний день скажет и придется ли
его увидеть — об этом страшно и подумать!

Все глядят испуганно и вопросительно прислушиваются, ждут какой-нибудь новости — и непременно страшной...

Среди этого ада, среди этой муки трудно, почти невозможно себе представить, что где-нибудь жизнь идет по-прежнему — тихо и спокойно, что где-нибудь люди без страха и тревоги думают о завтрашнем утре, что есть такие счастливые люди, которым все эта ужасы представляются далекой, непонятной сказкой.

А между тем ведь есть же такие благословенные, тихие уголки и есть такие счастливые люди... Счастливые! Как будто забота и горе не проникают в самый мирный угол! Ведь если и нет заботы и горя — так уже, наверное, они были или будут.

Стоят последние морозные дни глубокой осени. Давно бы уже пора выпасть снегу; давно бы пора стать зиме; уже ноябрь в половине, но снегу еще нет. С деревьев свалились последние желтые листья. Весь Знаменский парк поредел и сквозит; недавно грязные, размытые осенним дождем дорожки высохли, будто камень. По отлогим берегам озера по-

жолкляя трава покрыта морозным инеем, вода уже застывать стала... Уныло, окруженная сухими кустами и черными деревьями, стоит голубая беседка. Холодное солнце, пробравшись из-за деревьев, вытянуло свои косые лучи, и один из них озарил внутренность беседки и в ней неподвижную, грустно склонившуюся над раскрытой книгой княжну Таню.

Так все кругом тихо, спокойно, так безопасно. Мир и покой и в Знаменском парке, и на расстоянии тысяч верст в окружении: раскаты чужой грозы сюда не доносятся. Непонятна эта гроза мирным людям, занятым интересами своей жизни...

Но чего не знают, о чем не заботятся и не думают обитатели этого спокойно дремлющего края, о том уже давно знает и мучительно заботится Таня. И не только забота — глубокая сердечная мука изображается в ее лице. Вот она уронила с колен своих позабытую книгу и в невольном порыве сжала руками голову.

«Боже мой, что же мне делать?» — прошептала она и бессильно почти в отчаянии, опустила руки...

Немногим более года прошло с тех пор, как Таня в этой же беседке слышала признание Сергея, как чары первой юной любви опутали их своей сетью. Год прошел, только год, но что значит этот год для Тани, и как изменил он ее! Тогда она была еще почти ребенок, теперь она женщина. Она всегда обещала вырасти и развиться в замечательную красавицу, только чудилось, что это будет крепкая, здоровая, румяная красота, какую так любит русский народ, которую он так картинно изображает в своих старых песнях. Но не сбылись эти ожидания, красота Тани вышла совсем другая: правда, она еще выросла за этот последний год, правда, ее стройная крепкая фигура говорит о здоровье и силе, но не заметно в ней излишней полноты, пышности, не блестит она излишними яркими красками, побледнел горячий румянец ее щек; но зато в этом милом, всегда таком открытом и светлом лице явилась новая прелесть. Это прелесть грусти, прелесть мысли, серьезной и мучительной, которая не дает покоя, заставляет много и упорно работать и светится в ее задумчивых глазах, в тихо и слабо, все реже и

реже приходящей улыбке.

Что же такое случилось с Таней? Что пережила она?

Она писала Сергею о своей тоске, о тягости разлуки, она все ждала с ним свидания, потом писала о серьезной болезни матери, о каком-то большом, очень важном и трудном для нее деле. Сергей догадывался, какое это дело, но как оно разрешилось, чем все кончилось — этого он не знал. В последних письмах в Париж она почти совсем не писала ему о себе, она писала только о нем, расспрашивала его, тревожилась за него...

Дело, которое так заботило Таню и приняться за которое она решилась по отъезде Сергея, было мучительное, тайное дело. Об этом деле Таня стала думать уже давно, с той самой поры, как начала понимать окружающее; думала день и ночь — и наконец додумалась.

Она решила: вот она так горячо, так нежно любит Сергея, она может быть с ним так счастлива всю жизнь, но она примет это счастье и будет им наслаждаться только тогда, когда благополучно окончит свое тяжкое де-

ло, а до тех пор ей и счастье не в счастье и радость не в радость. Она должна вырвать мать свою из-под позорной, унижительной власти Петра Фомича, должна заставить этого низкого человека навсегда покинуть их дом, должна, одним словом, снова найти мать, иметь возможность любить ее как бы ей хотелось.

Думая о том, что может прийти такое счастливое время, она замирала от восторга. Она представляла себе, как все тогда будет хорошо и не для нее одной, а, именно, прежде всего для матери. Ведь она тогда совсем другая станет! Разве она теперь счастлива, разве ей хорошо живется, разве она теперь покойна?

Ведь Таня, как она ни молода, как ни неопытна, отлично подмечает волнение княгини, ее неловкость... Даже это бешенство, эта злоба, обращенная на несчастную прислугу, ни что иное как следствие душевной муки, душевного раздражения. Таня еще почти ребенок, но именно эта мучительная семейная история, над которой так много перечувствовала и передумала в уединении Знаменского, что всякого пожилого человека могла бы по-

разить ясностью своих мыслей.

И вот Таня думала и решила:

«Ведь не может же, не может она любить его, разве такого человека полюбить можно? Ведь в нем нет совсем ничего, что привлекает, что нравится в мужчине! Разве это мужчина? Это какое-то ползучее, гадкое животное, это ябедник, сплетник, мелкий воришка и трус, страшный трус! У него нет никакого самолюбия, нет чувства собственного достоинства... Такого человека полюбить невозможно... Но если бы даже это и было — на свете, говорят, случаются странные вещи, говорят, любовь приходит как буря, затуманивает глаза и представляет человека совсем в ином виде, чем он на самом деле, — если бы мать любила его, несмотря на все его отвратительные недостатки, и если бы это была настоящая любовь, ведь тогда она выразилась бы совсем иначе. Нельзя любить человека и держать его в таком положении, нельзя зачастую публично унижать его, как она это делает. Ведь вот бывают дни, бывают целые недели, когда она не может его видеть, когда ей просто противно его появление... Так, значит, тут нет ника-

кой сильной привязанности, это просто слабость, это какое-то отвратительное колдовство, и я должна, должна все это уничтожить!..»

Так думала Таня, и с отъезда Сергея каждый шаг ее был направлен к достижению этой цели. Прежде она невольно отдалялась от матери, не могла уважать ее, она подавляла в себе даже свою любовь к ней, она должна была даже бороться с презрением, с отвращением, которые не раз закрадывались в ее сердце. Теперь она уже не избегала матери, напротив, она почти все время проводила с нею, она выказывала ей такую почтительность, такую ласку, что княгиня не могла этого не заметить. И это новое обхождение дочери действовало на нее мучительно. Иногда она совсем таяла под нежным взглядом Тани, чувствовала себя перед ней раздавленной, приниженной, и в то же время благоговение к этой дочери, благодарность за ее ласки наполняли ее сердце. Дошло до того, что один раз княгиня вдруг зарыдала, крепко, крепко обняла Таню и стала целовать ее руки. Но этот порыв скоро прошел, злоба и какое-то

оскорбленное, невыносимое чувство заговорило в княгине, ей стало так стыдно за свое унижение, за нравственную высоту дочери, что она готова была ее ненавидеть.

Когда Таня была мала, ни о чем этом княгине совсем не думалось; теперь Таня выросла, все понимает, теперь поневоле приходится думать.

И эта Таня вон какая стала! Зачем же она мучает? Чего же она ласкает? Ведь не может же она ласкать от сердца! Ведь вот прежде бегала, отвертывалась — с чего же вдруг так переменялась, чего хочет?!

Дальше этих вопросов княгиня не шла, ее мысль плохо работала. Она только с каждым днем все больше и больше ее раздражала. Таня неотлучно стояла перед нею даже и тогда, когда уходила из дому и целые часы бродила в парке, даже тогда, когда уезжала к Горбатовым.

Нет Тани, но ведь вот она тут, она слышит каждое слово, слышит каждую мысль, всякий шаг ей известен. И княгиня волнуется, княгиня нигде не находит себе места.

Что же это за жизнь — это каторга! Чем это

кончится? Что делать?

Тоска и бешенство поднимаются в княгине, и она вымещает свою злобу на прислуге, вымещает ее и на Петре Фомиче. А между тем Петр Фомич все тут, и его положение не изменяется.

Проходят недели, месяцы, княгиня сама на себя не похожа, ее даже спрашивают, что с ней, не больна ли она?

Она отвечает, что здорова, а между тем сама чувствует, что неладное что-то творится с нею, что тяжело больна она...

И вот, наконец, болезнь разразилась. В мучительном душевном состоянии княгине достаточно было малейшего толчка, легкой простуды — открылась жесточайшая горячка с воспалением мозга.

Таня ни на минуту не отходила от постели матери и при первой же возможности удаляла всех, чтобы остаться наедине с больною, которая металась в забытьи и громко бредила. Тане невыносимо было, что посторонние слышат этот бред, в котором беспорядочно и безобразно, но все же с ужасающей, отвратительной ясностью высказывалась тайна кня-

гини, позор и муки ее больной души. По целым часам слушала Таня этот страшный бред, боролась с бешеными порывами матери, вскакивающей с кровати и все хотевшей бежать, бежать от преследовавшего ее мстителя, который ее затуманенному воображению представлялся Таней. Дочери, склоненной над нею день и ночь, она не узнавала, но перед нею постоянно была другая дочь, грозящая, негодующая, убивающая ее взглядом, рвущая на клочки ее сердце.

— Оставь меня, уйди! — задыхаясь, стонала и умоляла княгиня. — Отвернись, не смотри на меня своими острыми глазами!.. Зачем ты сверлишь ими мое сердце?! Посмотри, что ты со мной сделала!..

Она хваталась за сердце, из груди ее вырывался стон.

— Смотри, смотри, — раздирающим голосом кричала она, — ведь ты меня погубила!.. Что я теперь буду делать, когда во мне нет сердца?! Куда ты его девала? Зачем его вынула?.. Отдай мне его... Я не могу дышать... Что ты положила на его место?.. Ведь это камень, холодный, огромный камень!.. Он давит меня,

леденит...

И она в изнеможении падала на подушки.

Таня глядела на нее без слез, неподвижная, бледная. А когда княгиня засыпала, она тихонько отходила от ее кровати, в угол спальни, озаренный тихим светом лампадки, и склонялась перед киотом.

Она всегда была набожна, и несколько раз, когда Сергей, уже оторвавшийся от прежних верований и проникнутый новыми взглядами, внушенными воспитателем, пробовал в разговорах с нею касаться ее веры, он встречал с ее стороны решительный отпор и строгое запрещение говорить об этом предмете. Но никогда еще в жизни Таня так не молилась, как в эти тяжелые дни болезни матери. Она сознавала, что теперь наступает решительный кризис, что мать должна быть спасена или совсем погибнуть.

И не о смерти телесной, не о телесном спасении думала Таня. Она начинала верить, что Бог ей поможет, что если княгиня выздоровеет, то встанет с одра болезни обновленная духом... Но выздоровеет ли она? Было несколько дней, когда это казалось крайне сомни-

гельным...

Наконец опасность миновала, больная становилась спокойнее, бред стихал, вместо резких движений, метаний по кровати, порываний встать и бежать появилась слабость, значительный упадок сил. Княгиня часами лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Таня всматривалась в это осунувшееся, постаревшее, бледное лицо матери и к чувству жалости невольно примешивалось новое, отрадное чувство. Она замечала в этом истомленном лице совсем иное выражение, чем то, которое не покидало его во все время забытья и бреда, чем то, которое было в нем и до болезни. Теперь в этом лице не было ни злобы, ни волнения, ни страха; оно сделалось таким тихим, спокойным, и Таня замечала даже, как иногда, на мгновение, слабая, добрая улыбка скользнет по бледным губам и исчезнет.

«Только зачем она лежит с закрытыми глазами, зачем не хочет взглянуть на меня, ведь она знает, что я здесь, слышит мой голос?!» — думала Таня.

— Матушка, ты спишь? — тихо спрашивала она.

— Не сплю, Танюша! — шептала ей в ответ каким-то странным, новым голосом княгиня.

А сама все лежит, не шевелится и глаз не открывает, а откроет их на мгновение — так все же не взглянет на Таню.

Прошло еще три дня. Измученная бессонными ночами, Таня теперь поневоле должна была иногда отходить от кровати и ложиться спать, но она все же не позволяла себе долго отдыхать. Поспит часа три, четыре — и опять вскочит, и опять уже на своем неизменном месте и смотрит на мать, смотрит, не отрываясь, силится прочесть в этом бледном лице с закрытыми глазами все, что происходит там, глубоко, в самом сердце...

XIII. ВОЗРОЖДЕНИЕ

Тихий и теплый летний вечер. Таня одна у изголовья матери. Из дальнего окна обширной спальни, которое теперь уже открыто, в комнату врываются широкой полосой лучи заходящего солнца. И в этом горячем живом столбе лучей кружатся, играют и сверкают мириады пылинок. Едва слышное дуновение доносит благоухание роскошных цветов: махровых роз, резеды и левкоев, во мно-

жестве распустившихся в цветниках под самыми окнами. С далеких деревьев сада слышится тихое птичье щебетание — отзвуки той дорогой, волшебной и могучей летней жизни, которую всегда так любила Таня, в созерцании которой находила такое блаженство.

Благоухание цветов и мириады пылинок, движущихся в ярком солнечном столбе, и птичье щебетанье вызывают Таню из душевной комнаты туда, на волю, в глубину любимого, родного парка. Но не слышит она этого манящего знакомого зова, утомилась она от своих тяжелых мыслей, от своих ожиданий. Она наклонилась к матери, прислушивается... дыхание больной спокойно, ровно — видно, заснула. И Танины глаза начинают мало-помалу слипаться, и на нее находит дремота...

Неясные, но понятные сердцу картины проходят перед нею. Раздвигаются стены комнаты, сверкает необозримое пространство, и в этом безграничном пространстве мелькает милый образ. Вот он снова с нею, этот далекий друг, которого она тщетно призывает. Он говорит ей:

«Таня! Таня! Ты достигла цели, забудь же тревоги, забудь свое горе, подумай обо мне, ведь ты одного меня любишь, ведь во мне одном твое счастье, и ты можешь, ты имеешь право теперь любить меня, любить без упреков — ты купила это право хорошей и дорогой ценою...»

И простирает к этому милому образу руки счастливая Таня.

«Да, ты мой, теперь ты мой! — восторженно отвечает она на его нежный шепот, — ты мой и никакая сила тебя у меня не отнимет... Ты мой, но зачем же так долго нет тебя?!»

Дорогой призрак исчез, испарился в светлом тумане. Таня медленно открыла глаза.

Что это? Мать не спит, глаза ее не закрыты? Вот она приподняла с подушки голову, глядит на Таню. Как глядит, какой любовью, каким счастьем горят глаза ее! Она потянулась к ней, крепко-крепко обхватила ее своими исхудавшими руками и, склонившись к ней на грудь, громко зарыдала.

— Матушка, дорогая, что с тобой? — прошептала Таня испуганно и радостно.

Но княгиня ничего не могла ответить, ры-

дания ее душили, ей надо было выплакаться.

Проходили минуты, и вот, наконец, Таня расслышала тихий голос:

— Моя дорогая Танюша, моя ненаглядная! Прости ты меня, окаянную грешницу, прости меня, мой ангел хранитель!..

— Матушка! — в счастливом горячем порыве крикнула Таня.

Слезы брызнули из глаз ее. Она покрывала горячими, дочерними поцелуями лицо матери, ее руки. Она первый раз в жизни так целовала княгиню, она, наконец, нашла мать свою.

А княгиня между тем говорила:

— Таня, кабы знала ты, какие страшные сны мне снились, кабы знала, какие муки адские я испытывала!.. Смерть моя приходила, страшная смерть, лютая, без покаяния... Да, видно, ты душа святая, за меня Господа Бога умолила — помиловал он меня, окаянную, не допустил умереть в скверне моей греховной... Танюша, дочка моя, сокровище... Дни здесь и ночи лежала я — и все думала, думала... и дано мне было узреть весь грех мой. Молись же за меня, молись! Видно, твоя чистая молитва

угодна Богу, молись чтобы Он простил и сама прости меня. Знаю я, как виновата пред тобою, но только впредь моей вины не будет... Танюша моя, выходила ты меня, вымолила, и отныне вся жизнь моя — в одной тебе, ты мое сокровище, ты моя радость! Учи же меня, Танюша, — во всем тебе буду послушна, что прикажешь, то и исполню...

И долго говорила княгиня, пока позволяли ей ее еще не окрепшие силы. Все было решено, все было понятно. Таня знала, что заветная мечта ее превратилась в действительность, что теперь новая жизнь начинается, а старое горе, старый позор ушли навеки.

Когда утомленная чрезмерным волнением княгиня заснула, Таня выбежала в сад. Солнце только что зашло, и в небе еще не побледнели яркие краски заката. И чудилось Тане, что в этой душистой вечерней тишине немолчно раздаются тысячи голосов — звонких, ласковых, призывных. И все эти голоса только отвечали на счастливый крик ее сердца, радостно и весело трепетавшего в груди ее.

XIV. СМЕЛЫЙ ШАГ

Княгиня еще не выходила из спальни после своей долгой и тяжелой болезни, ее еще никто не видел кроме двух старых, прислуживающих ей горничных и часто навещавшей ее Марьи Никитишны Горбатовой, а уже по Знаменскому разнеслась неожиданная, негаданная весть. Петр Фомич, всесильный Петр Фомич, столько времени корчивший из себя важного барина, только и знавший, что доносить на прислугу и всех домашних, ябедничать, сплетничать и быть главной причиной жестоких наказаний, которым то и дело безвинно подвергались знаменские обитатели, Петр Фомич, ненавидимый всеми, уезжает из Знаменского, совсем уезжает, получает расчет от княгини. Между ними и княгиней не было даже никакого объяснения, она даже не захотела его видеть, не впустила его к себе.

С ним объяснилась Таня. Он уже и сам замечал в последнее время, что началось что-то неладное, что дела его принимают неожиданный, дурной оборот. Но того, что все это случится так скоро, решительно и бесповоротно — он никак не ожидал. Таня, это Таня, на которую он сначала не обращал внимания,

как на ничего не значащую девчонку, которую он потом возненавидел и помышлял каким-нибудь способом удалить из дома, вдруг объявила ему, что он сам удален и что должен немедленно же собрать все свои пожитки и как можно скорее уезжать из Знаменского. И она говорила ему все это таким спокойным и в то же время властным тоном, что он вдруг совсем растерялся перед нею и струсил. Однако, несколько придя в себя, он пробовал, было, потребовать объяснения с княгиней. Таня все так же спокойно ответила ему, что об этом нечего и думать, что ее мать его никогда не примет, что самое лучшее удалиться ему скорее и без историй, потому что иначе он наживет себе больших неприятностей.

Таня ушла, а он стоял как пораженный громом, потом поспешил к себе и начал укладываться. Он ясно видел, что теперь уже ничего нельзя исправить, что как ни тяжело это и ни невыносимо, а нужно исполнить приказание княжны. Он сосчитал свои деньги — их было достаточно для того, чтобы где угодно всю жизнь прожить припеваючи.

На следующий день он выехал из Знамен-

ского, и вслед за его отъездом во владениях княгини началось великое ликование.

«Помог Господь нашей княжне, авось теперь лучше житье настанет!..» — говорили в Знаменском.

Между тем княгиня совсем поправилась и, наконец, решила выйти из спальни. В большой зале собралась вся дворня, все приживалки и приживальщички для того, чтобы приветствовать хозяйку и выразить ей свою радость по случаю ее выздоровления. Несмотря на надежды, возбужденные в этих людях отъездом Петра Фомича, все-таки все с большим трепетом ожидали появления грозной и жестокой княгини.

«Кто же знает, — думалось многим, — а вдруг теперь не то что легче, а еще и тяжелее станет?! Перед дочкой не выдержала — прогнала управителя, а на нас сердце и выместит!..»

У всех дух захватило, когда на пороге залы появилась княгиня.

«Создатель, она ли это? Совсем, как есть совсем на себя не похожа!»

И точно, княгиню трудно было узнать: от

прежней горделивой, властной, молодящейся женщины ничего не осталось; теперь это была почти старуха, с задумчивым и тихим лицом. Она вошла, опустив глаза и опираясь на руку дочери. Таня чувствовала, как мать слабо вздрагивала и прижималась к плечу ее.

Зала огласилась приветствиями. Княгиня подняла глаза, низко всем поклонилась и стала здороваться, ласково подходя к каждому и каждой, обнимая и целуя старых и верных слуг, которые, несмотря на все ее жестокости, много лет безропотно ей повиновались. Никто не мог прийти в себя от изумления.

Да полно, уж наяву ли это? Когда такое бывало?!

А княгиня, обойдя всех, села в кресло — она еще слабо держалась на ногах — и, не выпуская руку Тани, заговорила тихим, но внят-ным, совсем новым и до глубины души проникающим голосом:

— Вот... выздоровела, не захотел Господь моей смерти, вымолила и выходила меня дочка... Радуюсь, что вижу вас всех в добром здравии...

Она замолчала, ее щеки покрылись мерт-

венной бледностью, грудь ее высоко поднималась. Она, очевидно, боролась с сильным волнением. Все, начиная с Тани, глядели на нее, не спуская глаз и инстинктивно понимая, что перед ними творится что-то необычайное, что-то торжественное и умилительное.

И вдруг княгиня поднялась со своего кресла, из глаз ее полились слезы, но она удержала их, и низко, почти земно кланяясь всему этому собравшемуся люду, твердым голосом проговорила;

— Простите меня, грешную! Много несправедливостей, много зла я вам сделала, враг-искуситель сидел во мне и толкал на гибель мою душу, но Господь помог мне... Простите меня, добрые люди...

Она замолкла и без сил упала в кресло. Почти все рыдали, но пуще всех рыдала Таня, бросившаяся на колени перед матерью, целовавшая ее руки, обливавшая их слезами.

И долго потом в Знаменском только и было разговоров, что об этом «чуде». Всенародное покаяние княгини, которого никто не мог ожидать, на которое никто не считал ее спо-

собной, произвело на всех самое глубокое впечатление. О «чуде с княгиней Пересветовой» говорилось далеко за пределами Знаменского, весть о нем быстро разнеслась по всей губернии. Давно уже укоренилась ее репутация жестокой мучительницы, но теперь от этой репутации и следа не осталось. Все вдруг стали считать ее чуть не святою; Таня же единогласно была причтена к лику ангельскому...

Теперь уже в барском знаменском доме не слышалось ни криков, ни стонов: тишь да гладь, да Божья благодать воцарились в нем. Княгиню мало кто видел, она все больше сидела в своих комнатах и молилась. Зато Таня была у всех на глазах. Таня являлась теперь деятельной, заботливой и справедливой хозяйкой, и тут же все заметили, что, несмотря на всю свою доброту и ласковость, княжна не позволяет водить себя за нос, что ее трудно обмануть, что она вовсе не станет потакать беспорядкам. До сих пор Таню любили и жалели. Любовь к ней осталась, но жалость перешла в уважение.

Так проходили месяцы, прошло лето, на-

ступила осень. У Тани было много дела по хозяйству, все почти свободное время она посвящала матери, которая теперь только и жила ею, думала ее мыслями, чувствовала ее сердцем. Но все же у Тани оставалось в день часа два-три, когда она бродила по своему любимому парку, у нее оставалась ночь, и в это время ей приходилось беседовать с собою и отвечать на вопросы души своей. Таня очень ценила это новое счастье, которое посетило дом их и которого она так долго и так страстно желала; но теперь она должна была мучительно убедиться, что этого счастья ей все же мало, что жизнь ее не полна, что если ушла одна тоска, то осталась другая и растет с каждым днем и не дает ей спать спокойно, мешает ее работе, самовластно врывается в ее душу.

Таня все яснее и яснее и все сознательнее любила Сергея и тосковала в разлуке с ним. К этой любви и тоске примешивалось еще мучительное за него опасение. Она жадно узнавала все, что только можно было узнать о новостях Франции; она, конечно, много не знала, не понимала, но и того, что ей станови-

лось известно, было достаточно.

А тут вдруг, в конце осени, она неожиданно получила письмо от карлика Моськи. Он прислал это письмо через посольского курьера в Петербург, а из Петербурга в Знаменское оно было доставлено вместе с письмами и посылками Марье Никитишне Горбатовой. От Сергея давно не было писем, и это письмо Моськи так напугало бедную Таню, что она даже долго не решалась его распечатать. Наконец она дрожащими руками сломала печать...

Ее старый друг Степаныч своими красивыми, тщательно выведенными, будто печатными, буквами писал ей:

«Княжна наша золотая, Татьяна Владимировна! Не прогневайся на меня старого, что осмеливаюсь утруждать твои глазки моим письмом. Нужда великая и долг верной рабской службы внушают мне обратиться к твоей милости. Совсем нам здесь у басурманов плохо живется, в городе сем Париже от народу беспорядки большие завелись, да и по всему прочему совсем тут не место для Сергея Борисыча. Того и жди, великая беда может случиться, да такая беда, что и не расхлебашь.

Упроси ты матушку Марью Никитишну, чтобы она, не медля ни часу, отписала Льву Александровичу Нарышкину и просила дабы указано было Сергею Борисычу ради всяких неотложных дел хозяйственных и семейных и па-че того ради Марьи Никитишны болестей и краткого веку (пошли ей Господь, нашей матушке, доброго здоровья на долгие годы) отбыть из Парижа в Горбатовское. Отписал я и сам Льву Александровичу, а Марье Никитиш-не писать о том опасаюсь, чтобы сильно не испужалась и не растревожилась. А ты это де-ло, разумная наша, золотая боярышня, ум-ненько сделаешь. За сим низжайше кланяюсь и целую твои княжеские ручки. Верный твой раб Моисей Степанов».

Убежала Таня с этим письмом в глубину Знаменского парка и долго над ним думала. Вот она сидит в голубой беседке, озаренная холодными лучами ноябрьского солнца, уронила бессильно книгу, в которую и не заглядывала, и все думает, вынула из кармашка Моськино письмо, опять его перечитала.

«Коли он пишет, значит, дело нешуточное, значит, и впрямь большая опасность Сереже!»

Степаныч старик разумный, пугать не любит...»

Таня ни одной минуты не сомневалась в истинном значении этого послания. Она хорошо знала Моську, она знала, что это самый верный, самый преданный человек Сергею, что если он так пишет — значит, немедленно ей нужно действовать. Он не указывает, какие именно опасности, но тем это и серьезнее.

«Сейчас же, сейчас к Марье Никитишне!»

Она бегом добежала до дому, велела заложить лошадей и поехала в Горбатовское. Она искусно навела разговор с Марьей Никитишной на Сергея, спросила, знает ли она, что во Франции происходят различные беспорядки?

— Ах, Танюша, уж лучше и не говори, — грустно ответила ей Марья Никитишна, — как не знать! Знаю, слышала... Редкую ночь сплю спокойно, все о Сереженьке думается — как-то он там, голубчик? Совсем, совсем ему там не место, давно бы пора вернуться. Больно мы все стосковались, не одна я — вот ведь и ты, голубка... Ну чего краснеть, ведь по глазам вижу!..

Она обняла Таню и нежно гладила ее по головке, как маленького ребенка.

— Я не отпираюсь, тетенька, — сказала вспыхнувшая Таня, — конечно, стосковалась. Легко ли, ведь вот уже год целый, как он уехал!.. Давно пора вернуться, а особенно в такое время...

— Что ты мне говоришь, будто я сама дни и ночи о том же не думаю! Давно думаю, Танюша. С нарочным письмецо послала Льву Александрычу Нарышкину, всячески умоляла его, чтобы упросил государыню вернуть Сереженьку.

Таня встрепенулась. Моська опоздал — материнское сердце само вовремя забило тревогу!..

— Ну и что же... что ответил вам Нарышкин?

— А вот, читай сама, что он мне ответил, — грустно произнесла Марья Никитишна, порылась в своем ридикюле, вынула письмо и подала его Тане.

Таня жадно принялась за чтение.

Нарышкин писал, что, несмотря на все свое желание, ничего не может сделать. И

просил государыню — да ничего из этого не вышло... Это было загадочное письмо хитрого вельможи, который не мог сказать истины, а между тем все же намекал между строк на то, что какие-то важные обстоятельства мешают Сергею вернуться в Петербург и что даже теперь для него лучше быть подальше. Он успокаивал Марью Никитишну, уверял ее, что никакая опасность не грозит ее сыну, а в конце концов выходило все-таки, что неизвестно сколько еще времени придется молодому дипломату пробывать вдали от родины.

Таня опустила руки. Марья Никитишна по простоте своей многое не поняла из этого письма, но Таня поняла все. Она увидела, что какая-то беда стряслась над Сергеем еще в Петербурге, что его пребывание в Париже — что-то вроде ссылки. Но что это могло быть, что все это значило? — Она не в силах была придумать, она только с каждой минутой все яснее понимала, что такое положение невыносимо, невозможно. Нужно все это узнать, распутать... нельзя жить с этой таинственностью, с этими странными, пугающими намеками, которые вот и в письме Нарышкина, и

в письме Моськи, и в письмах Сергея...

Ведь что это — его последнее письмо?! Будто и не он пишет... в них столько недоговоренного и, опять-таки, таинственного и страшного.

Таня сидела бледная, почти в забытьи. Ее сердце больно и сильно стучало. Вот она вздрогнула, подняла голову, взяла Марью Никитишну за руку и сказала:

— Тетенька, знаете что? Я с матушкой поеду в Париж.

Марья Никитишна всплеснула руками.

— Танюша, Бог с тобой! Очнись, родная! Что ты задумала... Статочное ли дело, как вы поедете?

— Так вот и поедем, тетенька! И лучше вы мне ничего не говорите — я уже решила... Матушка уже давно совсем оправилась, и все доктора в один голос сказывают, что она вдвое еще стала бы здоровее, если бы подальше проехала, прожила несколько месяцев в другом климате...

— Слышала я это! — задумчиво шептала Марья Никитишна. — да что твой доктора! Врут все... Чего это по свету-то таскаться...

Живут люди на одном месте сидючи, а ведь живут же... и болеют, и выздоравливают, и до глубокой старости доживают. А тут, вишь ты, климат! Какой тут климат?! — Будто не хорошо у нас... Оно бы, конечно, проведала бы Сереженьку, узнала, как он, что голубчик... Да нет, где же там! Все это пустое, Танюша...

— А вот и увидите, что не пустое!

Таня простилась с Марьей Никитишной и, даже не зайдя к своей приятельнице, Елене, поспешила домой.

— Ехать, ехать, скорее ехать! — думала она. — Ведь так жить невозможно, ведь нужно же, наконец, узнать, что все это значит!..

Княгиня сначала даже не поняла, чего хочет от нее дочь, а как поняла, ужаснулась:

— Танюша, да мы живы не вернемся! Ведь убьют нас, зарежут на дороге!

Но Таня через силу смеялась, ласкала мать, упрашивала ее и, конечно, скоро победила все ее опасения. Княгиня была теперь как воск в руках ее — не только за границу, а и в самый ад пошла бы она по слову дочери.

— Делай, как знаешь, Танюша, — сказала она спокойным и покорным голосом. — Ехать

так ехать... оно и правда — чего бояться... везде люди, не звери же!..

Таня ожила и принялась за всевозможные хлопоты, торопя отъезд, с которым нечего было мешкать.

XV. ДНИ И ЧАСЫ

События шли своим путем, постепенно расширяя его и уже не имея перед собою никакой преграды. Королевское семейство, по воле толпы покинувшее Версаль и переселившееся в Тюильри, в самый центр волнующегося Парижа, уже хорошо сознавало свое настоящее положение. Иллюзии, которыми еще недавно некоторые себя успокаивали, теперь окончательно исчезли — надеяться было не на что, оставалось только смиренно ждать своей участи.

Представители лучших домов Франции наскоро собирали свои деньги и драгоценности и убегали в Германию, Англию, Италию и даже Россию, покидая свои громадные, но уже почти разоренные родовые поместья, свои роскошные отели, покидая своего короля в самое страшное для него время. Почти каждый день Людовику XVI и Марии-Антуанетте при-

ходило́сь проща́ться с лю́дьми, к кото́рым они привы́кли, кото́рых е́ще неда́вно счита́ли преда́нными и ве́рными слуга́ми. Почти́ ка́ждый де́нь приноси́л но́вое разоча́рование вме́сте с ужа́сным созна́нием, что все их поки́дают, все забыва́ют и не от ко́го жда́ть помо́щи, не на ко́го положи́ться.

Короле́ва уже́ выпла́кала все свои́ слезы́; тепе́рь ее глаза́ были́ сухи́, на губа́х ее мелька́ла тиха́я и ско́рбная усме́шка, ко́гда она проща́лась с э́тими лю́дьми, кото́рых посто́янно осы́пала ми́лостя́ми не по заслу́гам, для кото́рых ниче́го не жа́лела. Э́то была́ невыно́симая усме́шка, спосо́бная сму́тить са́мого хо́лодного че́ловека — и мно́гие сму́щались, мно́гие бледне́ли и опу́скали глаза́ пе́ред короле́вой, у мно́гих явля́лось созна́ние сво́его тя́жкого и по́зорного гре́ха — неблагода́рности. Но э́то созна́ние ско́ро засы́пало, убаю́киваемое чу́вством са́мосохране́ния. Эми́грация с ка́ждым дне́м усили́валась.

Соверша́лось не́что возму́тительное по сво́ей жесто́кости и ро́ковое: че́стного и до́броду́шного коро́ля, пре́красную короле́ву поки́нул весь ми́р. Вряд ли Людо́вик и Ма-

рия-Антуанетта сделали кому-либо сознательное зло в свою жизнь. Когда они были окружены блеском и могуществом, когда они являлись на самом прославленном и высоком престоле Европы, перед ними все преклонялись, ими восхищались, они не могли внушать к себе ненависти и вражды, в соседних государствах у них не могло быть врагов: они старались поддерживать дружественные отношения со всеми... Но вот блестящий престол рухнул, добрый король и прекрасная королева в несчастьи, в унижении, на краю гибели — и ни одна дружественная рука не приходит к ним на помощь!..

Все бегут от них, как от зачумленных, предоставляют их самой страшной участи, которая начинает уже всем становиться ясной...

Убедившись в неблагодарности, низости и жестокости своих близких друзей и слуг, облагодетельствованных ими, они обращаются за помощью к соседям; но соседи молчат, совсем отвертываются или глядят безучастно, будто не видят этого невероятного, ужасного положения, будто не слышат голоса, зовущего

их на помощь. Европа желает присутствовать спокойной и холодной зрительницей при гибели короля и королевы Франции.

Что должна была почувствовать в вынужденном уединении Тюильрийского дворца несчастная Мария-Антуанетта?! Она уже убедилась в жестокой действительности, уже поняла, что никто и ничего не придет к ним на помощь, уже перестала верить в людей, ждать от них какого-нибудь чувства. Она только изумлялась, что не все еще разбежались, что они все же не совсем одиноки, что у них остался десяток-другой старых друзей, которые не хотят их покинуть и решились погибнуть вместе с ними.

«Да уходите же, уходите, скорее!» — говорила она в минуты отчаяния этим друзьям. — Оставьте нам хоть одно утешение — знать, что мы никого не увлекали в бездну вместе с собою!..

Но друзья не уходили.

В числе их была и герцогиня д'Ориньи. Ее отец и мать уже выехали из Франции. Граф де Марси выпросил у короля последние подачки, покинул свою упраздненную синекуру и

решился в Лондоне, где у него были друзья и связи, выждать тяжелое время. Он рассчитывал, что все же в конце концов дело обойдется благополучно и что еще настанут лучшие времена, когда можно будет вернуться на родину и снова позаботиться об устройстве своих денежных и иных обстоятельств.

Графиня согласилась ему сопутствовать не из страха — она не понимала ясно того, что делается крутом, не понимала революции. Она видела только, что Версаль не существует, что в Париже крайне скучно: прежняя жизнь разрушена, общества почти нет. А жить без двора, без общества, без вечного шума она не могла, и поэтому естественно стремилась туда, где предполагала найти ту жизнь, с которой сроднилась. Она надеялась еще поблистать в английском обществе.

Она звала с собой и дочь; но та наотрез отказала ей. Графиня не стала настаивать, тем более, что Мари подарила ей довольно значительную сумму денег.

Герцог д'Ориньи уехал в Вену — король и королева дали ему поручение к императору. Он не торопился с возвращением. Мари зани-

мала одна громадный, великолепный отель д'Ориньи; но она не знала уединения — половину своего времени она проводила в Тюильрийском дворце, а когда возвращалась к себе, то ее уже дожидался Сергей Горбатов. С ним она переживала безумные дни страсти.

Сергей давно уже свободно владел своей вывихнутой рукой. Ночь на 6 октября, все эти неожиданные события, которых он был свидетелем и участником, представлялись ему теперь тяжелым сновидением. Но в этом ужасном и мрачном сновидении, в этом кошмаре для него заключалось все же много счастья. Вместе со всеми ужасами он пережил в эту ночь такие блаженные минуты, каких у него еще не было в жизни.

Уединение вдвоем с Мари среди немых, полутемных галерей Версальского замка, ее нежные заботы о его вывихнутой руке и потом этот час напряженного, тревожного ожидания и волнения перед окном, из которого они, прижавшись друг к другу, были свидетелями величия и мужества королевы!.. Все это сблизило их более, нежели могло бы сблизить долгое время общей жизни. Среди тревог

и волнений наступившего хаоса, любовь для них являлась еще прекраснее — она удаляла их от этой искаженной, невыносимой жизни, переносила в иной лучезарный мир.

В первые дни, вглядываясь долгим, горячим взором в глаза Сергея, герцогиня часто повторяла:

— Что бы мы стали теперь делать, если бы у нас не было друг друга?! Какой-то добрый гений, верно, сжалился над нами!.. Забудем же все — пусть там кипит эта проклятая жизнь, пусть эти безумные люди беснуются — какое нам до них дело! Сюда не проникнут их крики... Смотри, как все здесь тихо, уютно... Смотри — я не узнаю эту обстановку, это не то, что было прежде, к чему я привыкла!.. Здесь все новое и волшебное.

И она оглядывалась в изумлении, в экстазе.

Бледный свет голубой лампы тихо разливался по кокетливо и грациозно убранному будуару. Сергей видел, что Мари права, что, действительно, вокруг них все волшебное и новое. Все, прежде неподвижное и холодное, теперь вдруг ожило. Разве это не живые аму-

ры и нимфы глядят на них с высокого потолка, готовясь осыпать их душистыми цветами? В каждом зеркале отражается какая-то невидимая, чудесная перспектива, среди которой, поминутно меняясь, являются и исчезают обольстительные образы.

— И мы одни, — говорит герцогиня, — нас видят только эти нимфы и амуры, но они не нарушат нашей тайны, они нас охраняют...

В первые дни Сергей всецело отдавался вдруг нахлынувшему на него счастью; он спешил в этот тихий приют, как в рай, и забывал здесь все, что прежде его так томило, тревожило, мучило. Неделя, другая прошла в таком сладком забытии. Нимфы и амуры по-прежнему стерегли их тайну, по-прежнему готовились осыпать их цветами. Сергей чувствовал, что с каждым днем только растет и крепнет его страсть к Мари.

А между тем к блаженству, охватившему его и доведшему его до самозабвения, вдруг стало примешиваться новое мучительно чувство — это была тоска, это было что-то даже хуже тоски, что-то похожее на упрек совести.

Мари как-то в разговоре упомянула про

своего мужа. Сергей вздохнул и побледнел. Она заметила это.

— Неужели я тебя смутила? — изумленно спросила она. — Впредь я буду осторожнее, действительно, нам нечего говорить о нем и думать, он дальше от нас, чем кто-либо.

— Ах, как ты заблуждаешься! — в волнении перебил ее Сергей. — Напротив, он ближе всех, и эта-то близость так ужасна для меня! Большое благополучие, что он уехал, я не имел бы силы с ним встретиться... Я ненавижу этого человека и в то же время чувствую себя перед ним виновным, и понимаю, что моя ненависть бессмысленна... Его здесь нет; но ведь со дня на день он может вернуться — что же тогда будет?! Я все это время старался об этом не думать, но вот ты сама назвала его, мы говорим о нем, так делать нечего — нужно же договориться!.. Мари, неужели ты не понимаешь, что такое положение ужасно, что оно тяжело, позорно. Мы любим друг друга, наша любовь прекрасна, мы созданы для того, чтобы принести счастье один другому... Мы не виноваты, что встретились, что полюбили — иначе не могло быть... Это судьба на-

ша... А между тем все же, хотя и невольные, мы воры и преступники!..

Мари сидела, задумчиво опустив руки; но при последних словах его она вдруг подняла голову и взглянула на него с улыбкой. Ее оживленное, капризное лицо, ее сверкающие черные глаза были прелестнее, чем когда-либо. Сергей глядел на нее с восторгом. Когда она была такая, когда она так смотрела — она доводила его до безумия. Но зачем же на этом прелестном, соблазнительном лице, на этих горячих губах, ждущих поцелуя, такая странная усмешка?! Не то чтобы злое, но нехорошее что-то в этой усмешке.

— Ты опять принимаешься за свои старые фантазии, Serge! — проговорила, все продолжая усмехаться, Мари, — *tu manques de logique*: «Мы не виноваты, что встретились, что полюбили, и в то же время воры и преступники!» — как понимать это?.. Нет, что-нибудь одно: или мы правы, или неправы... Я полагаю, что мы правы... Конечно, если б я знала, что встречу с тобою, то не стала бы выходить замуж за герцога; но ведь я не знала этого, и при том, как я уже тебе говорила,

он сам меня нисколько не стесняет — следовательно, я права, а потому и не могу мучиться теми вопросами, которые так тебя мучают. Советую я тебе бросить твою философию, и без философии жизнь теперь стала такой страшной!.. Есть одна только возможность забыться и среди всяких ужасов найти счастье, а ты все отравляешь своей философией!.. Брось это, мой друг, пользуйся тем, что дает жизнь...

Ее усмешка вдруг исчезла — новое выражение, в котором Сергей мог бы подметить, если бы пристально смотрел на нее, нечто злобное и мрачное, мелькнуло в ее глазах.

— Или, может быть, — проговорила она, — ты оттого философствовать стал, что тебе уже надоели эти часы? Тебе скучно со мною!.. Так скажи мне это прямо... Так будет гораздо лучше!..

— Мари, ты с ума сходишь! — крикнул изумленный, негодующий Сергей. — Какое право ты имеешь так говорить?! У тебя не должно и не может быть подобных мыслей... Если бы эта любовь не была неизбежной, если бы в ней не заключалась судьба моя, если

бы я не чувствовал, что жить и не любить тебя — для меня невысказано, поверь, я бы сумел совладать с собою и уйти от тебя вовремя. Ты не знаешь какую борьбу пришлось мне вынести! Но именно потому, что я люблю тебя, не могу быть без тебя, потому, что я верю (что было бы со мной, если бы я не верил этому!) что и ты останешься ко мне неизменной, — я и думаю о том, что нам необходимо вырваться на свободу, выйти из этого позорного положения... Я хочу любить тебя открыто, не таюсь, не прячусь, не скрывая от всех посторонних глаз мое сокровище. Я не хочу быть воров — пойми ты это!

Она тихо качала головою, сжимая его руки, глядела на него горячими глазами и вдруг привлекла его к себе и стала целовать.

— О, я верю, что ты меня любишь, — говорила она, — так позабудь же все мрачное, тяжелое, раздражающее! Жизнь так коротка, может быть, даже гораздо короче, чем мы думаем... Разве мы можем знать, какая судьба нас ожидает?! Вот сегодня мы здесь, вдвоем с тобою, а завтра что будет? Завтра? Кто нам ответит на это? Так будем же счастливы, пока

это возможно!..

Но Сергею было мало этого счастья, которое она ему предлагала. Для него это было не счастье, а опьянение, и он уже начинал отрезвляться. Она не разогнала своими ласками, своими поцелуями тоски его.

Он говорил ей:

— Постой, подумаем, неужели нет выхода, неужели всю жизнь такое мученье ради твоей невольной ошибки?.. Мари, дорогая моя, ты должна развестись со своим мужем — он не может иметь ничего против этого, он должен сам помочь тебе. Я знаю, что это трудно, но с большими связями, с большими средствами все это можно устроить... Мари, подумай только, ты будешь свободна, я по праву назову тебя своей женой!.. Если захочешь — я увезу тебя в Россию, ты найдешь там новую родину, найдешь друзей. Если же ты не захочешь этого, останемся здесь или уедем хоть на край света... Скажи слово — и я всюду пойду за тобой, я покончу со всем и со всеми, я порву все связи, я буду жить только одной тобой!..

— О! Как ты фантазируешь! — прервала

его горячую речь герцогиня. — Может быть, все это и было бы очень хорошо, но я еще никогда об этом не думала и, мне кажется, все это невозможно. Да знаешь ли ты, что?.. Нет, нет, это, пожалуй, было бы хуже...

— Как хуже, что ты говоришь? Я тебя не понимаю!..

— А вот послушай: право, я теперь спокойнее, я увереннее в любви твоей, чем если бы исполнилось то, о чем ты мечтаешь. Ты так еще молод... Если бы я была твоей женой, твоей неотъемлемой собственностью, я, пожалуй бы скоро тебе надоела — ты знал бы, что я никуда не уйду от тебя... Если ты философствуешь, позволь и мне последовать твоему примеру, только моя философия основана на знании жизни, на опыте. Поверь, любовь только тогда и заключает в себе поэзию и счастье, когда она окружена тайной, когда в ней борьба. Нет, я не променяю этих наших часов в обществе нимф и амуров моего будуара, этих встреч во дворце, когда мы передаем друг другу наши чувства только быстрыми взглядами, только тайным, мгновенным пожатием руки, я не променяю этого на то, что ты мне

предлагаешь!..

Сергей слушал ее в испуге и в волнении, тоска давила его все больше и больше.

— Ты сама не знаешь, что говоришь, — шептал он, — ты на себя клеветешь. Неужели ты хочешь уверить меня, что ты так меня любишь?! Ведь, значит, что же? Предполагая, что я разлюбил бы тебя, если бы ты была моей женою, ты заставляешь и меня предполагать, что ты сама бы так поступила... Что ты была бы способна изменить мне, Мари! Что же это такое — неужели так?!

Она звонко рассмеялась.

— Может быть, и так, не знаю... Право, не знаю! Я знаю только, что теперь-то я люблю тебя — и пожалуйста, оставим этот разговор, мы ни до чего веселого не договоримся... Пойди лучше сюда, открой крышку клавесина... Дай мне вот эти ноты — я спою тебе хорошенькую песню.

Он исполнил ее приказание. Она взяла несколько аккордов и запела своим небольшим, но чистым и приятным голосом.

Это был средневековый романс, в котором говорилось о пламенной и чистой любви ры-

царя к своей даме, о любви, остающейся неизменной среди всех испытаний и переходящей даже за переделы могилы.

Сергей уныло слушал. Тихие, мелодичные звуки, в которые герцогиня умела вложить душу и чувство, западали ему в сердце невольным упреком. Ему вдруг вспомнилась Таня. Ведь он еще так недавно считал себя ее рыцарем, он ушел от нее и обещал ей, что его чистая любовь останется неизменной посреди всевозможных испытаний.

Таня! Бедная Таня! Что теперь с нею? Предчувствует ли она, что он изменил ей, что он обманул ее и забыл все свои обещания?

Его сердце сильно и тревожно забилося, ему почудилось, что он не переставал любить Таню...

Но звуки средневекового романса замолкли, герцогиня начала новую песню. В ней опять говорилось о любви, но уже не было ни рыцаря, ни его далекой дамы. В песне этой кипело веселье, жажда наслаждения и жизни. Игривые звуки требовали забвения всех тревог и забот. Солнце светит, небо безоблачно, вся природа ликует — будем же любить и

наслаждаться, пока не найдут тучи, пока не грянет гром и не заблестит молния. Пусть приходит гроза в свое время, и чем она ближе, тем с большей жадностью нужно ловить светлый миг — в этом вся задача.

Но Сергей уже не мог больше слушать. Безумные, страстные звуки увлекли его, затуманили. Он видел только прелестное лицо Мари, длинные ресницы ее полуопущенных глаз, ее почти детские, тонкие руки, ее нежные полупрозрачные пальцы, быстро бегавшие по клавишам...

Жизнь зовет... Гроза близка, нужно ловить последние светлые мгновения! — Боже мой, да ведь, может быть, она права — ведь это жизнь, это мука, и в этой муке столько блаженства!..

Он склонился к Мари, засматривал ей в глаза.

— Оставь, не пой, я с ума схожу от твоего пения! Ты сирена... Ты волшебница!..

— Говорят!.. — с грациозной и кокетливой минкой ответила она, прерывая свою песню и беря последние аккорды. — Говорят, что сирена... Только разве это дурно? Разве ты хотел

бы, чтобы я была иная?..

— Нет, нет, я ничего не хочу... Будь сиреной, будь вакханкой, будь кем хочешь — только люби меня!..

XVI. ГРАФ МОНТЕЛУПО

Таким образом, страсть Сергея, начавшись для него мучением, потом давши ему несколько дней безумного счастья, скоро опять превратилась в муку. Он снова проводил бессонные ночи, искал выхода из своего невыносимого положения, томился тем, что Мари будто не хочет понять его.

«Да, нет же, нет, — успокаивал он себя, — конечно, она хорошо все это понимает и чувствует, только то решение вопроса, которое я нахожу возможным, ей почему-то — по крайней мере, теперь — представляется трудным, и она просто жалея себя и меня, старается забытья... Но ведь так не будет же продолжаться, придет время — и она сама увидит, что надо со всем этим кончить!..»

Он успокаивал себя такими рассуждениями, а между тем тоска его не проходила. Он чувствовал, не отдавая себе даже сознательного отчета, что в Мари есть что-то странное,

что-то такое, чего он не хотел бы в ней видеть.

Но каким бы несчастным он почел себя, если бы мог хоть на миг один заглянуть в ее душу! Он все же верил в любовь ее, верил, что они сошлись не случайно и не временно...

А между тем она уже начинала с каждым днем сильнее и сильнее чувствовать, что встреча их именно временная, одна из тех встреч, какие у нее уже были. Ее обращение с Сергеем не изменилось, она была так же нежна и ласкова, но эти тихие вечера уже не доставляли ей такого счастья, как в первое время. Если бы он мог быть наблюдательнее, он бы подметил в ней иногда не то усталость, не то скуку. Среди живого разговора, среди нежных слов и, в особенности, в то время, когда он развивал перед нею свои мечты, свои планы, свои надежды, в которых она, конечно, играла первую роль, она вдруг иногда умолкала и сидела неподвижно, опустив руки. Живые краски сбегали с лица ее, огонь ее глаз потухал, и вся ее красота, заключавшаяся, главным образом, в этом оживлении, в веселости, остроумии, почти испарялась. Она де-

лалась так бледна, апатична, она вдруг как будто старела...

Ей становилось просто скучно, а скука была первым врагом ее, от которого она бежала, как от чумы, которого прогнать она всегда была готова всякими средствами, всякими даже жертвами...

И как же ей было не скучать! Ведь это все одно и то же: Сергей остается неизменным, он только с каждым днем сильнее и сильнее ее любит, он с каждым днем сильнее тоскует и мучается... Он все уверяет ее в любви своей... Боже мой, да она сама видит, слишком даже видит, что он ее чрезмерно любит, только пусть бы уж лучше любил поменьше, да сумел бы прогнать ее скуку!..

Только очень чистые женщины, стоящие на большой нравственной высоте, способны как следует оценить любовь человека и сильно любить за то, что их сильно любят. Большинство же женщин, и в особенности таких женщин, какою была герцогиня, не нуждаются в истинном и сильном чувстве. Чтобы заставить таких женщин любить себя, чтобы приковать их к себе на долгое время, человек

должен отдавать им как можно меньше своего сердца, получить над ними власть и пользоваться ею деспотически.

Сергей мог заинтересовать и увлечь герцогиню своей красотой, своей молодостью и свежестью, приятными сторонами своего ума и характера. Он являлся перед нею совсем новым человеком, он так не похож был на тех молодых людей, с которыми она до сих пор встречалась в Париже и в Версале. Он увлек ее сильнее, чем кто-либо, но удержать ее было не в его силах. Он слишком ей поддавался, слишком был послушен. Угодать ей, исполнять все ее желания и капризы было для него потребностью, а собственных желаний и капризов перед нею у него не было.

Потом он строил планы. Он вот хочет заставить ее развестись с мужем, наделать бездну глупостей. Он, пожалуй, вздумает оторвать ее от всего, что ей близко, с чем она сроднилась, без чего жить не может... О, конечно, он считает ее своею собственностью, думает, что вся ее жизнь, как есть вся жизнь, должна теперь сосредоточиться в нем одном. Как он ни нежен, ни послушен, ни мягок —

он, конечно, самый смешной ревнивец! Она еще не успела убедиться в этом, до сих пор она не подавала ему повода к ревности, но она не может ошибиться — он так по-детски, так глупо любит... и потом, эти вечные нежные элегические признания.

Она любила их в пятнадцать лет, когда жила еще в стенах монастыря, признания эти понравились ей и в нем, напомнили ей то старое время ее девической наивной жизни.

Но что было хорошо в первые дни их любви, то ведь, наконец, становится и скучным!..

Конечно, он мил иногда, он такой славный мальчик, совсем ребенок... Мило в нем и то, что он не знает жизни, что он еще не устал, не пресытился жизнью, как все его сверстники. Да ведь она-то устала, она пресытилась, ей необходимо разнообразие — а то она умрет от скуки!

Бедный Сергей! Ему стоило только затеять маленькую игру, стоило начать опаздывать на свидания с нею, раз-другой совсем не явиться, завести какую-нибудь легкую, мимолетную интригу, о которой стали бы говорить, о которой бы и она узнала, тогда она пе-

рестала бы скучать, в ней все же было настолько к нему чувства, чтобы взволноваться этим. И если бы в объяснении с нею он выдержал характер, если бы он успел доказать ей, что она может легко его лишиться — она ни за что бы его не выпустила, и в чем больше бы он стал пренебрегать ею, тем больше бы у него было над нею власти.

Но на подобную игру Сергей не был способен. Если бы какой-нибудь опытный друг посоветовал ему все это, он почел бы этого друга врагом, а благоразумные советы — святотатством.

Он начал, наконец, замечать в Мари какую-то странную перемену — она уже положительно скучала и не могла скрывать этого.

— Ты бледна, ты грустишь?! — с тоскою говорил он, вглядываясь в ее потухающие глаза. — Мари, что с тобою, скажи мне ради Бога!

— Ровно ничего, — ответила она, — мне просто скучно.

Скучно!!! Он совсем не понимал этого. Могло быть тяжело, грустно, страшно — но только не скучно! Он старался вывести ее из этого странного настроения — удваивал к ней свою

нежность, свои ласки, всячески доказывал ей любовь свою. Но этим он только вредил делу — Мари становилась все страннее и страннее...

Однажды, подъезжая в обычный час к отелю д'Ориньи, Сергей еще с улицы заметил свет в некоторых окнах.

«Что бы это такое могло значить? — с беспокойством подумал он. — Неужели герцог вернулся?!»

Его сердце болезненно забилося. Он решительно не в состоянии был встретиться с этим человеком, которого знал очень мало, который всегда оказывал ему самую изысканную любезность. Ненависть охватила его.

«Что же такое, что она его не любит! Ведь он ее муж, он имеет самые страшные права на нее!..»

Но он все же, может быть, как-нибудь справился бы со своей ненавистью, он не мог справиться с другим чувством — с сознанием своего унижительного положения перед этим человеком. Ведь он должен лгать перед ним, бессовестно лгать, выказывать ему почти-тельную любезность...

«Нет, я не могу с ним встретиться! — решил Сергей. — Я не выдержу, у нас сегодня же плохо кончится... а между тем ради Мари, ради ее спокойствия это невозможно!»

Он уже хотел ехать обратно; но мысль, что, может быть, герцог не возвращался, что свет в окнах имеет какое-нибудь другое объяснение, остановила его. Привратник объяснил ему, что у герцогини гости. Большая тяжесть спала с души его, и ее заменило изумление.

«Гости! Ведь она почти никого не принимала все это время и в этот час всегда ждала его, всегда бывала одна...»

С неопределенным, мрачным предчувствием, с тоскою прошел он ряд освещенных комнат и вошел уже не в будуар, а в одну из парадных гостиных. Мари встретила его и сразу поразила: бледности, апатии и скуки последних дней в ней не было и следа. Она снова сияла красотой и оживлением, она была мила и весела, как в то время, когда он только что узнал ее.

Общество, собравшееся в ее гостиной, было ему знакомо. Почти со всеми этими лицами он уже встречался в Версале. Это был ин-

тимный, родственный кружок герцогини: два-три дяди ее, еще недавно занимавшие важные места и теперь не знавшие на что решиться: последовать ли примеру графа де Марси и спешить вон из Парижа, или остаться в ежедневно редееющем кружке Тюильри. Были тут две тетки-старушки, кузина, потом неизменный член великосветской гостиной — изящный аббат с вкрадчивыми манерами и тихим голосом, с быстрыми глазами, умеющими проникать всюду и подмечать даже и то, чего никто не видел.

Но среди этого небольшого кружка оказалось и новое лицо, которое сразу остановило на себе внимание Сергея. Это был человек уже не молодой, но далеко еще не старый, хорошо сохранившийся, крепко сложенный. Он одет был с изящной простотой весь в черное — и этот черный костюм еще более выделял красоту его смуглого лица с резкими чертами, с огненными глубокими глазами, которые не то тревожно, не то пытливо глядели из-под густых, почти сросшихся бровей. Это лицо неприятно поразило Сергея, он заметил в нем что-то отталкивающее, что-то фальши-

вое. Еще у порога гостиной, где встретила его хозяйка, он спросил ее:

— Кто это?

— Это очень интересный человек, — ответила Мари, — меня им сильно заинтересовала моя тетка, маркиза. Его зовут граф Монтелупо, он итальянец, известный путешественник, ученый, доктор, обладающий многими важными медицинскими секретами, добытыми им на Востоке...

— Я никогда не слышал о нем, — проговорил Сергей.

Герцогиня даже как будто обиделась на это его замечание.

— Мало ли о ком вы не слышали, но это не мешает ему быть тем, что он есть — а именно, очень интересным человеком.

В это время к ним подошла старуха-маркиза.

— Ah, monsieur Gorbatoff, очень рада вас видеть, и этим удовольствием я обязана графу Монтелупо — ведь вы не имеете обычая навещать таких скучных старух, как я. А я все время была очень больна — не могла шевельнуться и, если бы не граф, который самым чу-

десным способом спас меня, я вряд ли когда-либо была бы в состоянии появиться в гостиной моей племянницы... Однако, что же мы стоим? Пойдемте... Мари, познакомь скорее monsieur Горбатова!..

Сергей и граф Монтелупо вежливо раскланялись друг перед другом. Старуха маркиза опять заговорила, обращаясь к Сергею:

— Да, вот, вот мой спаситель! Не будь его, да я, может быть, и месяца не прожила бы.

— Чем же вы были больны, маркиза? — почел своим долгом осведомиться Сергей.

— Ах, лучше и не спрашивайте меня! Страшно и подумать... я не знаю названия моей болезни; но дело не в названии. У меня вдруг отнялась нога... и при этом боли... боли! Ни днем, ни ночью не имела покоя... Вдруг приезжает в Париж граф; у него было рекомендательное письмо ко мне от одной моей приятельницы. Недвижимая на своей постели, я не решилась принять его... тогда он мне написал, рассказал все симптомы моей болезни и уверял, что меня вылечит... Признаюсь, к большому стыду своему, что я сильно сомневалась. Но вот граф явился, сделал ка-

кую-то смесь, обмакнул в эту смесь кисточку, нарисовал на моей несчастной ноге какой-то знак, произнес при этом таинственные слова — и, как видите, я здорова, я хожу, все мои боли, все мои мучения прошли, как сон...

Сергей взглянул на итальянца — тот сидел полуопустив глаза, на лице его выразалось спокойствие и чувство собственного достоинства.

— Болезнь маркизы, — произнес он на ломаном французском языке, — хотя и казалась здешним докторам непонятной и опасной, но для меня она была совершенный пустяк. Мне удавалось в один день излечивать самые страшные болезни, признанные всеми медицинскими знаменитостями за неизлечимые.

— В таком случае вы обладаете самыми могущественными средствами! — едва скрывая невольную улыбку, заметил Сергей. — Но, скажите, пожалуйста, причем же тут таинственные слова, о которых упомянула маркиза?

Итальянец поднял на Сергея свои черные, пронзительные глаза и с едва заметной усмешкой ответил:

— Главная сила моих средств и заключается в этих словах; ту смесь, которую я делаю, можно анализировать, ее может приготовить всякий, но без знания необходимых моих слов она не произведет никакого действия.

— Мне до сих пор не приходилось встречаться с подобными чудесами, — сказал Сергей, — и я не полагал, чтобы какое-нибудь слово могло иметь исцеляющую силу; но перед вашим свидетельством, я, конечно, должен смолкнуть.

Он учтиво и сухо поклонился и отошел от графа Монтелупо.

«Да ведь это или сумасшедший, или самый наглый обманщик! — подумал он. — Что выжившая из ума старушка-маркиза поддалась всему этому — немудрено; но каким образом Мари может им интересоваться?»

А между тем он видел, что и Мари, и все присутствующие смотрят на этого итальянца как на какое-то особенное существо, засыпают его любезностями, ловят каждое его слово. Только на губах изящного аббата по временам мелькала саркастическая усмешка, которую он, однако, тотчас же и прятал, стараясь

представиться таким же заинтересованным и восхищенным, как и все остальные.

Граф Монтелупо возобновил свой рассказ, прерванный появлением Сергея. Он отвратительно говорил по-французски, но очень бойко, и обладал даром слова. К тому же он рассказывал самые невероятные вещи и увлекал не формой рассказа, а его содержанием. По его словам, он недавно вернулся из Азии, где прожил несколько лет, преимущественно в Тибете.

— Чему же изумляться, — говорил он, — если я могу своими средствами восстановить расстроенную функцию какого-нибудь органа! Мои познания могут удивлять в Европе; но для Азии они слишком ничтожны. Я только ученик великих учителей...

— Но если ученик производит такие чудеса, — с благоговением произнесла старушка-маркиза, — то что могут сделать учителя?!

— Все, что угодно! — торжественно и спокойно ответил граф Монтелупо. — Для них нет ничего невозможного. В Тибете я сам был свидетелем, как Далай-Лама при огромном стечении народа кинжалом распорол себе

живот, собственными руками вынул все свои внутренности, положил их в большой таз с водою, вымыл, затем опять вложил на место, замазал громадный, зияющий разрез одному ему известным составом — и через несколько минут не осталось никакого видимого следа от этой страшной операции. Только Далай-Лама оказался гораздо бодрее. Народ ликовал; вода, в которой Далай-Лама вымыл свои внутренности, получила целительную силу, и каждая ее капля ценилась на вес золота...

— И вы сами, своими глазами все это видели! — с волнением в голосе произнесла Мари.

— Конечно! Иначе я бы не стал и рассказывать, герцогиня! Я находился в двух шагах от Далай-Ламы и видел такие подробности происшедшего... Но и это еще не все — восточные мудрецы способны на большее. Опять-таки у меня на глазах один из них оживил мертвеца, пролежавшего около полугода в замурованном склепе, в герметически закупоренном гробу...

— Это непостижимо! Это поразительно! — повторяли все и слушали с открытыми ртами, жадно впиваясь глазами в рассказчика,

не смея дышать, боясь проронить одно его слово.

И Сергей с изумлением видел, что более всех поражена, более всех возбуждена Мари. Глаза ее сверкали и искрились, на щеках то и дело вспыхивал румянец. Она подсела ближе к графу Монтелупо, она глядела на него почти с обожанием.

Сергей не мог выносить этого. Его не так возмущал самый рассказ графа — он всегда с удовольствием слушал интересные сказки и даже, в известном настроении, был готов почесть самую причудливую сказку за действительность. Его возмущала не сказка, а сказочник, его тон, его манера, в которых он все яснее и яснее подмечал что-то фальшивое и наглое. Ему еще не случалось встречаться с шарлатанами-авантюристами, которых было так много в течение XVIII столетия и которые очень ловко пользовались доверчивостью общества и отлично устраивали свои дела в столицах Европы, но он много слышал о подобных людях, и, взглядываясь в этого итальянца, не сомневался, что он принадлежит к числу их.

Но ведь Мари не раз при нем зло и остроумно смеялась над такими шарлатанами, над этими делателями философского камня и открывателями универсальных целебных средств. Так что же это с нею? Чем этот сказочник так увлек ее, куда девались ее апломб, ее остроумие, ее живой и насмешливый ум? Она как глупая девочка слушает эти рассказы и принимает их как откровение.

Да и полно — что это за граф Монтелупо?! Тот ли он еще, за кого выдает себя? Кто его знает? В его манере, в его обращении столько деланного, он так не похож на человека, привыкшего к хорошему обществу...

Сергею стало тяжело и скучно, рассказы итальянца его не увлекали. Он поднялся и, отговариваясь делами, стал прощаться.

Мари его не удерживала и рассеянно протянула ему руку. Их взгляды встретились; но в первый раз он не прочел в ее глазах ничего, к чему привык, воспоминанием о чем всегда жил от минуты разлуки до нового свидания с нею.

Она его будто совсем не видела.

XVII. НЕЖДАННАЯ РАДОСТЬ МОСЬКИ

Красивый и обширный отель у церкви Магдалины был окутан вечерними сумерками. Стояла свежая и ясная зимняя погода. Бесчисленные звезды высыпали на темное небо. А внизу, кругом отеля, на бульварах шла обычная городская жизнь. Пестрая толпа менялась то и дело, мигали ряды зажженных фонарей, огни в лавочках, магазинах и кофейнях. Всюду слышался оживленный говор, иногда доносились звуки удалой, возбуждающей песни...

Стоило немного прислушаться и приглядеться — и легко можно было по тому, что делалось и говорилось, в полчаса каких-нибудь, в час уяснить себе настроение умов и положение дел в Париже. Несмотря даже на зимнее время и на этот, хоть и ясный, но довольно холодный вечер, все-таки вся парижская жизнь была на улице. По домам оставались только дети, да престарелые люди, которым было не до жизни. И сразу становилось ясным, что этот Париж, вышедший на улицу не из богатых палат, а по большей части из каморок и чердаков, находится в самом веселом, возбужденном настроении духа, что он

чувствует себя хозяином и не боится никаких стеснений. Но опять-таки в этой свободе, в этом веселии чувствовалось что-то худшее даже самой неволи — среди видимой безопасности была самая страшная опасность, опасность беспорядка, безначалия, каприза дикой черни, всех этих бесцеремонных, грубых мужчин и женщин, при встречах величавших друг друга «citoyen» и «citoyenne» и в то же время не имевших ни малейшего понятия о своих гражданских правах и обязанностях.

В этой атмосфере мог себя хорошо чувствовать только человек ни над чем не задумавшийся, не имевший за душой ничего близкого, ничего дорогого и святого...

Толпа сновала взад и вперед. Иные останавливались и бесцеремонно усаживались на ступенях подъезда отеля, в котором жил Сергей Горбатов. Несколько человек прислуги, вышедших из отеля, вступали в беседу с проходящими и отдохавшими на подъезде; только в числе этой прислуги, конечно, не было ни одного русского человека. Все люди, привезенные Сергеем из Петербурга, а их можно было насчитать около дюжины, выходили на

улицу только в крайнем случае. Если хозяина не было дома, они обыкновенно собирались в кухне и толковали о своем горестном положении, о том, скоро ли придется вернуться на родину.

Так было и теперь. Хозяин уехал — он в это время в гостиной герцогини с тоскою и изумлением слушал рассказы графа Монтелупо, — и его ожидали домой во всяком случае не раньше полуночи. Только в кухне да в сенях виднелся свет. Обширные и роскошные покои стояли почти в полном мраке, слабо озаряемые едва мелькающим отблеском уличных фонарей. Впрочем, в отеле была одна небольшая комната, вблизи от спальни Сергея, в которой был зажжен огонь — эту комнату занимал карлик Моська.

Грустно проводив Сергея — он, конечно, хорошо знал, куда отправляется «дите» каждый вечер, — Моська прошел в свою комнату и улегся на свою маленькую кроватку. Сон составлял теперь его единственное утешение, но он редко мог пользоваться этим утешением — совсем плохо стал спать. Вон и теперь, как ни старался он, а все же никак не мог за-

снуть, только поворачивался с боку на бок, старался найти какое-нибудь самое удобное положение — то нога, то рука помешает, то уху почему-то совсем неловко и даже больно.

— Нет, не заснешь! Нечего валяться! — прошептал Моська и слез с кровати.

— А и стужа в комнате! — продолжал он свой шепот — думать вслух была его старая привычка. — А и стужа же, оно немудрено, как там ни говори, все ж таки хоть и французская, а ведь зима!.. Даром, что снег пойдет и в ту же минуту растает... а утренники порядочные стали... Ну, а в доме вон и зимних рам нету — от окошек, как из пропасти, дует.

Он сел на кроватку и оглядел комнату. Комната его была небольшая, но уютная, с двумя светлыми, широкими окнами, с мягкой, низенькой мебелью, с камином. Когда Сергей Горбатов въехал в отель и решено было, что карлик займет эту комнату, она ничем не отличалась от подобных же помещений в богатых парижских домах. Но не прошло и недели, как внешность ее совсем изменилась. Остался только лепной, высокий потолок да камин с широким зеркалом в золоченой раме

и двумя прекрасными севрскими вазами.

Моська устроил себе детскую кроватку с высоко взбитыми пуховыми неринами и целым десятком подушек, мал-мала меньше, возвышавшихся пирамидой у изголовья. Кровать была покрыта ватным одеялом, состоявшим из разноцветных треугольников и квадратиков всевозможных материй, очень красиво подобранных и сшитых. Это одеяльце было сшито в Горбатовском по приказанию Марьи Никитишны, даже под ее личным руководством, и подарено ею Моське в день его ангела.

В правом углу комнаты помещался киотик с образами, перед которыми горела неугасимая лампадка. Тут же была воткнута и верба, и тоненькая восковая свечка с наклепленными на нее двенадцатью восковыми катышками. Эту свечку Моська хранил от последнего Великого Четверга, от «двенадцати Евангелий». В киотике же помещалось, вместе с образами красное пасхальное яичко, два пузырька, заткнутых воском и заключавших в себе один — святое масло, другой — святую воду. Тут также лежали и ватка от «Ивер-

ской», и колечко от святой великомученицы Варвары.

Самое видное место в киоте занимал образ преподобного Сергия, с висевшим на нем тоненьким шелковым пояском. На этом пояске была выткана молитва угоднику и три раза покоился этот поясок на мощах преподобного.

Моська сам привез его от «Сергия-Троицы» в последний раз, как был там. Он хотел, было, как в прежнее время, опоясать им Сереженьку, да тут же и раздумал.

«Бросит дите неразумное, не станет носить святыню... француз проклятый надругается только!..»

Но никому не подарил Моська этого пояса и вот теперь аккуратно каждый вечер вынимал его из киота и незаметно клал под подушку Сергею.

По стенам Моськиной комнаты были развешаны, гвоздочками приколотенные, плохие гравюры библейского содержания и лубочные картинки, по большей части изображавшие «адские мучения». Карлик чрезвычайно любил подобные картинки или «ли-

сты», как он называл их. Особенно же нравились ему «мучения грешников», и чем такая лубочная картина была безобразнее, тем более находил в ней прелести Моська. Иногда, в свободные минуты, он останавливался перед «адскими мучениями» и смотрел на них долго, не отрываясь. Воображение его, прицепившись к какой-нибудь отвратительной фигуре черта с хвостом и бычачьими рогами или поджигаемого грешника, похожего на что угодно, только не на человека — рисовало ему грандиозную и страшную картину, и Моська трепетал от ужаса.

Он собирал эти листы всю свою жизнь и никогда не расставался с ними. Уезжая куда-нибудь, он снимал их со стены своей комнаты в Горбатовском, сдувал с них пыль, свертывал их в трубочку и тотчас же по приезде в Петербург или в Москву, или вот теперь в Париж прибывал их к стенам своего нового помещения. Картинки были отрепаны, запылены, засижены мухами, но по-прежнему милы и дороги Моське.

У окошка на столике стоял поднос, кувшин с квасом и опрокинутый стаканчик. Моська

не мог жить без квасу и первым делом позаботился о том, чтобы в числе штата, взятого из Петербурга за границу, находился и один из Горбатовских поваров, специальность которого была приготовление самого вкусного и почти даже целебного кваса. Рецепт этого кваса в числе многих других, приятных и полезных для домашнего обихода секретов принесла с собою Марья Никитишна в горбатовское хозяйство.

Посреди комнаты стоял другой, довольно большой стол на коротеньких ножках и перед ним маленькое, покойное креслице. На столе лежало несколько книг, чернильница, перья, бумага. Это был письменный стол карлика; тут он работал по несколько часов в день, сочиняя письма для прислуги, для поваров и лакеев, привезенных из Петербурга. Они истомились тоской по родине и находили единственную отраду посредством Моськи беседовать со своими присными о «всяких здешних басурманских мерзостях».

Дверь в Моськину комнату всегда стояла на запоре. Он не любил, чтобы кто-нибудь без него входил в его помещение. Он вставал все-

гда чем свет и сам убирал и выметал свою комнату, а выходя, запирали ее и ключи клал в кармашек камзола. Поэтому-то в целые дни запертой Моськиной комнате, как в Горбатовском, в Петербурге, так и здесь стоял особенный запах лампадного масла, мятного квасу и еще чего-то неуловимого, но ничуть не противного, а приятного даже, одним словом, запах монастырской кельи.

Сергей с детства знал и любил этот запах. У него всегда как-то спокойно и тихо становилось на душе, как только он его заслышит и поэтому нередко он заглядывал в Моськину келью. Заглядывал он в нее и теперь, в это последнее время, только уж Моськин воздух не производил на него прежнего умиротворяющего действия. Слишком шумная и тревожная гроза бушевала в его сердце...

Моська несколько минут просидел на своей кровати, но холод начал проникать его. Из окон, действительно, сильно дуло.

— Растопить камин, — подумал Моська, — а то того и жди лихоманку схватишь!

Он подошел к камину, растопил его и следил, как пламя перебегает с одного полешка

на другое и вот охватило их все и засверкало, и заструилось, и помчалось вверх, пропадая в темном каминном устье. Дерево весело трещало, корчась и пламенея. Красный отблеск обдавал крохотную фигуру Моськи, его сморщенное грустное и значительно похудевшее в последнее время личико. Он стоял, повертываясь то одним боком, то другим к огню и становя то одну, то другую ногу на каминную решетку. Вот он и совсем согрелся, даже чересчур жарко стало.

— Ну, что в нем толку, в этом камине-то, — зашептал он, — согреешься, накалишься, а отошел, — и опять холод... и потому ведь никакого тепла не держит. И это, говорят, умный народ! Нечего сказать — умный! До печки не додумался. Что такое зимние рамы — не знают... дрожат, мерзнут, плачутся, а как пособить горю — им и невдомек, а уж чего бы, кажись, легче!.. Эх, кабы тут да лежаночку!

Ему так ясно-ясно вспоминалась его каморка в Горбатовском с вечно горячей лежанкой, на которой он так любил подремать, свернувшись клубочком.

— Эх! Кабы тут моя лежаночка! — грустно повторил он, отошел от камина и присел в креслице перед своим письменным столиком.

Он зажег все свечи в низеньких шандалах и принялся за работу: открыл на замеченных бумажками страницах три книги: первая книга была Евангелие на славянском языке, старинная, засаленная, в толстом кожаном переплете, с большими медными застежками. Вторая — новенькое Евангелие на французском языке. Третья — французско-русский словарь.

Моська с первого дня, как увидал француза Рено, догадался, а потом и убедился, что это безбожник, совсем безбожник, даже хуже идолопоклонника. Но он не раз слышал, и Сергей ему доказывал, что французы хотя и не православные, но все же христиане. Несмотря, однако, на все доказательства, этот факт оставался не совсем ясным для карлика. А по приезде в Париж и навидавшись здесь всяких ужасов, он наотрез отказался ему верить.

— Какой же христианин, — говорил он, —

не может того быть. Кабы христиане были, разве так бы жили, разве бы такое творили?! Как это Сереженька говорит, что у нас одно Евангелие — не могу поверить. Наверно, в ихнем Евангелии то, да не то написано...

И вот он добыл французское Евангелие и в свободные минуты принялся сличать его со славянским. Какого слова не поймет — сейчас в словаре справится, а если же сомнение осталось, то пометит и на бумажку запишет, а потом при случае и спросит Сереженьку. К величайшему его изумлению до сих пор во французском Евангелии ошибок не находилось; но он все же не изменил своего убеждения и каждый раз, присаживаясь к работе, ждал, что вот-вот сейчас и нападет на что-нибудь совсем неподходящее и еретическое...

Как не удалось Моське заснуть, так не удалось ему и углубиться в любимую работу. Проверив несколько строк и записав на бумажке не совсем понятное ему слово, карлик отложил в сторону книги и сидел, подперев голову своими крохотными ручонками и тяжело вздыхая. Он опять начинал громко говорить сам с собою:

«И ведь кажинный-то вечер! Господи, и долго ли же это так будет, и чем оно кончится?! Ведь совсем, как есть, на себя не похож сделался... Ведь Марья Никитишна кабы увидала, так руками бы всплеснула, меня корить бы стала: „не доглядел!..“ А мне что же?.. Что я тут поделаю, как за ним доглядеть?!»

Моська развел руками и опустил голову.

«Нешто он меня послушает!.. Ведь вон намедни завел было стороною разговор о Горбатовском, о матушке, о княжне нашей — так он вид делает ровно не слышит, а потом осерчал — „уходи, говорит, Степаныч, не время мне, дел много, надо работать“ — а какие там дела, какая работа! Чай, и работы да дела все свои кинул!.. Ровно она его околдовала, ведьма эта французская! Ведь узнавал, ведь узнавал — всю подноготную про герцогиню эту выведал!.. Совсем, как есть, непутевая эта бабенка! Он, может, думает, что она золото, а того не знает, что не он у нее первый, не он последний... Много ее же люди бают — много у нее перебивало...»

«А ведь как свертела его, сердечного! — да же стыда всякого лишился... и это он-то, он,

наш голубок белоснежный, Сереженька!.. Давно ли же на нем ни пятнышка не было, ни зазоринки!.. Думал я — так его в чистоте и к венцу представлю, княжне нашей раскрасавице из рук в руки передам: „на, мол, бери свое сокровище, уберег он себя от всякого греха и соблазна!..“ Так ведь и думал, на то и надеялся. Мало ли что в Питере могло случиться, а ведь не случилось же... а эта, эта! На глаза лишь попалась — и все прахом пошло!..»

«Да, Господи ты мой милосердный, где же, говорю, глаза-то у людей? Ну что он в ней нашел? — Ведь дохленькая — кости да кожа, в лице ни кровинки, а рот-то как раскроет, так ровно съесть хочет — и всего-то меня, и с головою, и с руками, и с ногами проглотить может... Ну, уж ротик, нечего сказать — красавица! И это после Танечки-то, после княжны-то!.. Тьфу ты, прости Господи! Заворожила, как есть заворожила!..»

Моська встал и маленькими, но скорыми шагами начал ходить по комнате из угла в угол.

«Одно спасенье, одно спасенье — скорее вон отсюда, да так, чтобы никоим манером

нельзя было остаться! По приказу государыни!.. А проживем здесь еще месяц, другой, так он уж тогда не разделается, пропадет, ни за что пропадет ребенок. Да что же это за муки такие?.. Чего они все молчат, ровно перемерли — не дай Господи! Ведь писал я Льву Александрычу, писал Татьяне Владимировне, кажись, писал как следует. Перед Львом-то Александрычем не стал запираяться, всю как есть подноготную выложил: спаси, мол, племянника, коли дружбу старую Бориса Григорьяича помнишь!.. Ну, да и княжне тоже хоть прямо и ничего не сказал, а поймет она, сердечная, что женишка спасать надо. Так что же они?! Чего молчат?! О, Господи!..»

Крохотные руки карлика поднялись, и он стал загибать пальчик за пальчиком, считая дни и числа...

«Давным-давно те письма получены, давным-давно ответ бы мог быть, а ни слуху ни духу, пропасть не могли, об этом и думать нечего. Так что же они? Ведь так нельзя, нельзя дитю оставлять без защиты. И ведь где ж таки видано, чтоб этакое делалось — услали без вины в ад крошечный и думать поза-

были! Пропадай, мол... да что он им такое сделал, в чем провинился? И разве можно добро-го, православного человека держать в этом проклятом Париже?! Ну, вот они присмирели теперь, изверги, да надолго ли? Ведь они те-перь всякого, как есть всякого страху лиши-лись, над ними никакого начальства нету... Они своего короля в грош медный не ставят. Он на потеху дался им, играют они с ним, как кошка с мышью: а повернись, дескать, напра-во, а пробегись влево, делай, что мы приказываем! А он-то исполняет, того не ведая, что чем больше их слушается, тем большего с него требовать станут, а вволю натешившись им, вконец его погубят — да одного ли его? Это что за народ — это народ без Бога, без со-вести, без разума — как учнет крушить, так разбирать не станет, кто прав, кто виноват... лишь бы под руку подвернулся... и не остано-вится, пока сам не подохнет! Зверь, как есть зверь!.. И вот у этого-то зверя и мы ноне в ла-пах, да еще и другую гадину, пиявку поганую, при себе держим. И впрямь она пиявка, ба-бенка эта негодная, всю кровь из ребенка вы-сасывает!..»

Моська остановился, сморщенное его личико сморщилось еще больше, и он горько заплакал. Он был теперь ни дать ни взять малый ребенок, и жалкое, беззащитное и трогательное слышалось в его рыдании, виделось в его не то детском, не то старческом личике. Наконец, он удержал свои слезы, отер глаза маленьким платочком и безнадежно махнул рукой.

«Нет, лучше и не думать, — прошептал он, — думами и слезами не пособишь горю. Одна надежда на Бога осталась — неужто же он, Отец милосердный, захочет нашей гибели?»

Моська набожно взглянул на киот с образами, подошел к нему, упал на колени и долго, и жарко молился. Эта молитва укрепила его и успокоила. Он опять подошел к своему письменному столику и принялся за Евангелие. Внимательно работал он, но все же никак не находил ошибок во французском тексте.

Вдруг кто-то постучал у двери. Моська прислушался: стук повторился.

— Кто там? Кто стучит? — спросил он.

— Отворите, Моисей Степаныч, отворите скорее, это я — Петр.

Петр был молодой малый, любимый камердинер Сергея. Моська тоже благоволил к нему и обучал его грамоте.

— Что ты, Петр? Чего тебе?

— Да отворите же, Моисей Степаныч!

В голосе Петра слышалась не то тревога, не то что-то совсем необычное. Моська вздрогнул.

— Господи! али что случилось?!

Он вскочил, подбежал к двери и дрожащими ручонками ввернул ключ.

— Моисей Степаныч, пожалуйста, наши приехали! — проговорил Петр с радостным и взволнованным лицом.

— Что наши, кто такие наши?

— Деревенские — княгиня с княжной!..

Моська отступил шаг, схватился рукой за голову; но потом вдруг громко и с досадой плюнул.

— Тьфу, дурак! Это еще что? Озорничать вздумал со скуки! Что же я тебе посмешище, мальчишка дался, что ли?! Да как ты это со мною такие шутки выдумал? Нет, любезный,

я тебе этого так не спущу!.. Вот постой, ужо вернется Сергей Борисыч, пожалуйюсь я, как ты насмех меня поднимаешь, так он тебя за это не похвалит!

И совсем разобиженный и рассерженный Моська хотел запереть дверь, но Петр отвел его руку и вошел в комнату.

— Моисей Степаныч, да Бог же с вами, что это вы? — проговорил он, присаживаясь перед карликом на корточки, как всегда это делал, когда вступал с ним в беседу. — Да неужто же бы я так стал шутить — верно говорю, княгиня с княжной приехали!..

Моська взгляделся в лицо Петра и вдруг поверил.

— Не лжешь, не шутишь?! Взаправду приехали, Петруха?! — взвизгнул он, хватая его за плечи.

— Да взаправду же, Господи, ступайте — так сами увидите, зовут вас оне...

— Приехали! Боже мой, экое счастье! Слава тебе, Господи!..

Карлик быстро перекрестился по направлению к киоту, выскочил из комнаты и как кубарь помчался вдоль по коридору. Петр ед-

ва поспевал за ним, радостно ухмыляясь.

XVIII. ГОСТИ

Пока Моська катился на своих коротеньких ножках через коридор и ряд комнат до той залы, где по словам Петра, находились приезжие, он чуть с ума не сошел от волнения и сомнений.

По лицу Петра он должен был убедиться, что тот его не обманывает, по крайней мере не хочет обманывать. Но разве это возможно, чтобы княгиня Пересветова с дочерью очутились вдруг в Париже? В последние дни он ожидал чего угодно, он мечтал среди бессонной ночи, поворачиваясь с боку на бок на своей детской кровати, что вот-вот придет письмо от Нарышкина или Безбородки, и по приказу государыни Сереженька должен будет немедленно выехать из этого кромешного ада и ехать в Петербург с еще большей скоростью, чем они сюда приехали. Он мечтал, что, по возвращении, на несколько дней отпрачится в Горбатовское и убедит княжну Таню поспешить к Сергею.

«А явится она и все это колдовство пойдет прахом! Мигом позабудет дите неразумное

французскую ведьму...»

Таков был единственный исход, представившийся Моське. А тут вот письма никакого нет — а сама Таня в Париже!

«Ведь это же невозможно, ведь это ровно в сказке — такого на свете николи не бывает!» — повторял себе Моська.

— Петруха! — вдруг крикнул он, обращаясь назад к своему спутнику. — Да ты что?! Ты мне ответь, как перед Богом, — своими ли глазами видел княжну с княгиней?!

— Кабы не видал — сам бы не поверил! — отозвался Петр.

— И тебе не почудилось, не померещилось?!

— Эх, Моисей Степаныч!!

Петр махнул рукою и засмеялся.

Наконец, карлик добежал до залы. Несколько свечей, зажженных в канделябре, тускло освещали обширную высокую комнату, в глубине которой на диване виднелись две женские фигуры.

Едва Моська показался у дверей залы, как одна из этих фигур встала и кинулась к нему навстречу. Он бежал уже, задыхаясь, но она

оказалась проворнее его — мигом была рядом с ним, склонилась к нему, крепко обняла, его и поцеловала.

— Степаныч, Мосенька, голубчик, здравствуй! — ласково и взволнованно повторял над ним знакомый голос.

Он совсем ошалел, он стоял как истукан, неподвижно, с выпученными глазами, только сердце его шибко билось.

Наконец, он очнулся и радостно взвизгнул.

— Княжна! Княжна! Она и есть, золотая барышня! Вот счастье-то! Ох, голубка ты моя, ох, золотое ты наше сокровище!!

Слезы так и брызнули из глаз ее. Он ловил и целовал руки Тани, он хватал ее за платье, будто все же боясь еще, что это сон и что вот она сейчас исчезнет, испарится и ничего не останется от этой неожиданной радости.

— А вот и матушка, Степаныч, — проговорила Таня.

Карлик мгновенно опомнился, сдержал свое волнение, и, подойдя к дивану, на котором сидела княгиня, отвесил ей низкий поклон и бережно поцеловал протянутую ему руку.

Минута первого восторга прошла, теперь он снова владел собою. Он уже с изумлением вглядывался в неожиданных гостей, переводя глаза с княжны на княгиню и обратно. Наконец, он всплеснул руками.

— Матушка, ваше сиятельство! — пропищал он. — Да вы ли это, сударыня, ведь, почитай что, и узнать нельзя. Да и барышня-то, барышня как изменилась!!

— Да ну что же об этом! — с тихой и ласковой, совсем незнакомой Моське улыбкой проговорила княгиня. — А вот что, Моська, скажи ты нам, батюшка, как теперь нам быть, ведь мы ровно в лесу, как есть никого и ничего не знаем. Да и приехали-то в Париж на ночь глядя, как ни спешила, как ни упрашивала я добраться до свету, ничего не помогло — остановки, осматривают, все пожитки наши перерыли. Нет ли, к ишь ты, чего запретного. А что у меня такое запретное может быть?! Ничего, говорю, у меня нету, так ведь поди ж ты — не верят!.. Ну уж порядки, да и людишки-то здесь... грубые!.. Много страху дорогой натерпелись... Как нам здесь быть? Где устроиться — ничего я того не знаю. Вот привезла

дочка к Сереже, а захочет ли он нас — о том мы его и не спросили, и о приезде не предупредили его, как снег на голову...

Карлик замахал руками.

— Матушка, ваше сиятельство, да куда бы вам было, как не к нам во двор?! Ведь Сергею Борисычу кровная была бы обида, кабы его миновали. А что не известили заранее, то уже это барышнино дело — видно, знает она, зачем так сделала...

— Да меня-то, Татьяна Владимировна, — обратился он к Тане, — меня-то зачем словечком не известила? Ведь я тут как есть пропадом пропал, не получая от тебя весточки, а теперь вот чуть с ума не сошел от радости. Да не знаю, может, и впрямь я не в своем рассудке — верю и не верю, что вы передо мною!.. Эх, известила бы, сударыня, пожалела бы старика Моську...

Таня опять нагнулась к нему и крепко поцеловала в сморщенный лобик.

— Ну, Мосечка, прости, может, и впрямь мне тебя оповестить следовало, только у меня тут своя мысль была — дай время, все расскажу по порядку...

— Ох, матушка! — засуетился Моська. — И то правда — будет время, все узнаем, спасибо, золотая барышня, что надоумила — а я-то, старый дурак, ошалел совсем... Ваше сиятельство, где же люди? Где поклажа? Да и проголодались вы, я чаю, с дороги? Мигом, матушка, мигом все будет... да вот позвольте-ка...

Он вертелся как волчок, соображал, звал своим пронзительным, звонким голосом прислугу. Не прошло и пяти минут, как он уже все сообразил и всем распорядился.

Совсем запыхавшись, вернулся он в залу, где все на прежнем месте сидела княгиня с княжной.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, пожалуйста, боярышня, — восторженно пищал он, — пожалуйста в наши апартаменты, — у нас, слава те, Господи, места немало...

Княгиня и Таня последовали за Моськой.

Хоть княгиня и сказала Моське, что вот, мол, оне приехали незваные и непрошенные, прямо в дом к Сергею Борисычу, но слова эти не имели ровно никакого значения и были сказаны единственно ради соблюдения приличий. Эта фраза показывала только, что кня-

гине известны все тонкости светского обхождения. Моська так это и понял, и, конечно, ни ему, ни Сергею, ни самим приезжим не могло и в голову прийти, чтобы они могли поступить иначе. Где же бы княгине, очевидно, приехавшей на короткое время в Париж, и было остановиться, как не в доме ее родственника. Объехав его дом, она нанесла бы ему, как верно выразился Моська, кровную обиду. Странность заключалась только в том, что его не предупредила о приезде, — но это было уже дело Тани, и княгиня не хотела и не смела в это вмешиваться. Раз подчинившись дочери, она уж не выходила из ее власти, и эта власть была для нее счастьем. Следить за малейшим желанием Тани и исполнять его сделалось теперь целью жизни княгини.

А зачем Таня так поступает, зачем она выдумала эту почти невероятную поездку и так быстро ее осуществила — все это княгиня тогда же еще поняла вдруг проснувшимся своим материнским сердцем. Тане нечего было и объясняться с нею. Она только показала ей письмо Моськи, и княгиня, прочтя его, привлекла к себе Таню, нежно ее поцеловала и

сказала ей:

— Ну, что же, поедем, Танечка, поедем, мой ангел, навестим его, проведем. Я и сама страсть как по Сереже соскучилась. А что проветриться нам с тобой не мешает — это правда. Я вот почти до старости дожила, а много ли видела — хоть теперь-то посмотреть, какие такие чужие страны, как там живут люди.

Таня благодарно глядела на мать и целовала ее руки.

Марья Никитишна Горбатова, убедясь, что Таня не шутит, назвала ее огонь-девкой, и хотя изумлялась ей и в недоумении качала головой, но была очень рада. Она послала с ней Сереженьке письмо, посылала ему образок и успокоилась в уверенности, что теперь все пойдет лучше.

Поехали Пересветовы в Петербург, и тамошние доктора, начиная с самого Роджерсона — лейб-медика государыни — подтвердили, что большая поездка может принести только пользу княгине. Препятствий никаких не оказалось, а о том, что главная и единственная цель их поездки — Париж, Пересве-

това никому даже не говорила, да и кому могло прийти в голову, что они стремятся туда, откуда теперь все убегают...

Апартаменты, указанные Моськой, были, конечно, не только удобны, но даже роскошны.

Карлик велел растопить камин, поспешить с ужином, а княгиня объявила, что она все же чувствует себя немного утомленной и куда приляжет.

У нее в последнее время явился необыкновенный такт, тонкое чутье относительно того, что касалось дочери, и она видела теперь, что Тане очень хочется наедине побеседовать с Моськой и именно сейчас, безотлагательно, пока не вернулся Сергей.

Так оно и было. Едва княгиня прошла в спальню, как Таня бросилась к Моське, взяла его за ручонку, потащила в угол комнаты, усадила рядом с собою на диванчике и заговорила:

— Ну, что же, Степаныч, не томи, говори скорее, что у вас такое? Ведь ты такое письмо написал мне, ведь насмерть напугал!..

— Ты не путайся! — нежно прошептал

Моська, — не пугайся ты, золотое дитяtko, страшен сон, да милостив Бог, ох как милостив Он, наш Батюшка! Вот и ноне явил Он свою великую милость. Только скажи ты мне, объясни, ведь я одурел совсем, как вы здесь-то, как оно могло статься? Да знаешь ли, родная, ведь вот и радуюсь я, а и страх тоже берет. Ведь не то, что приезжать сюда, а бежать всем отсюда надобно, такое тут творится!..

— Не пугай меня, Степаныч, я не из трусливых!.. Сам говоришь о Божьей милости, оно и верно — коли чего Бог не попустит, того и не будет. А как мы сюда попали — что же тут такого. Как прочла я твое письмо да узнала, что государыня не желает возвращения Сережи в Петербург...

Моська вздрогнул и перебил ее:

— Как не желает! Да что же это? За что же? Чем он провинился?!

Таня грустно пожалала плечами.

— А уж этого я не могу сказать тебе, сама не понимаю. Ну, так вот, я говорю, как узнала, что ему нельзя вернуться, одно мне и оставалось — скорее сюда ехать. Упросила я матушку и приехала.

— Да княгиня-то, княгиня как согласилась?!

Таня положила руку на плечо карлика.

— Молчи, молчи, Мося, потом, все потом, а теперь, ради Бога, скажи, что тут у вас? Ведь не потому только писал мне, что здесь опасно, что в народе волнение. Ведь так... ведь правда, ведь я угадала?! Оно, конечно, и это все нехорошо, очень нехорошо, ведь я понимаю, — но нет, в твоём письме другое было, да, другое... Не мучь, говори скорее!

Моська опустил глаза, в сморщенном лице его мелькнуло жалкое и смущенное выражение.

— Ах, Танюша, ох дитяtko ты золотое, любил я тебя, крепко любил, а отныне и почитать буду. Великий разум дал тебе Господь, силу великую, и коли у тебя уж такой разум, да такая сила, так все мои страхи, о которых я писал тебе, теперь прошли и пропали. Здесь ты — ну и слава Богу!

Таня нетерпеливо пожала плечами.

— Вот ты всегда так, Степаныч, — досадливо проговорила она, — тебя Христом Богом просят поведать всю правду. Ведь душа исто-

милась, ведь чего-чего я не передумала, сюда еду, — а ты все тянешь и пугаешь еще больше. Степаныч, да коли ты так написал мне, так знаешь же, что мне такое Сережа?

— Знаю, дитятко, знаю, — восторженным голосом прошептал Моська, — и радуюсь, давно радуюсь и верю, что вы друг для друга самим Богом назначены...

— А если так, зачем же ты от меня скрываешь? Если ты хочешь моего счастья, если ты меня любишь, ты обязан сказать мне всю правду, — я чувствую, я знаю, и вот теперь по лицу твоему вижу, что это какая-нибудь страшная правда, но должна же я знать ее, Степаныч. Ничего, ничего не скрывай от меня.

— Да и не скрою, — ответил он, — а только что правда моя страшная, так это ты, боярышня, неверно сказала. Может, и была страшная, да говорю, коли ты здесь сама — ничего страшного уже больше нет. Не пугайся, успокойся и подожди Сереженьку — ведь он того и гляди вернется. Потолкуешь с ним, сама увидишь, каков он и что тебе скажет. А уже потом, коли не поймешь чего, и приди ко

мне, я тебе и объясню все как есть, всю нашу жизнь здешнюю перед тобою выложу — а пока больше ни о чем меня не спрашивай, нечего мне теперь сказать тебе, да и времени нету — еще многим распорядиться надо.

Карлик быстро соскочил с дивана и почти выбежал из комнаты. Таня было кинулась за ним вслед.

— Степаныч, что с тобой, да вернись, послушай!..

Но Степаныч ничего не слышал, он уже скрылся в незнакомых ей комнатах.

Она остановилась растерянная, не понимая, что все это может значить, следует ли ей тревожиться и ожидать чего-нибудь слишком страшного или можно теперь, успокоиться.

А Моська, убедясь, что она потеряла его из виду и теперь не нагонит, стал тихо пробираться к подъезду с тем, чтобы встретить там Сергея, когда он вернется.

«Да, думал Моська, вот оно дела-то какие!.. А что, коли я чересчур поспешил радоваться, что, коли французская ведьма свое возьмет?! Нет, нет, быть того не может. Ну, Сергей Борисыч, погляжу я, как-то ты встретишь невесту

свою, красавицу, что-то говорить ей станешь... Ах, Танечка, Танечка, вишь, скажи ей сразу все! Да нечто это можно?! Наперед нужно знать, что он-то ей скажет!..»

XIX. ВСЕ СКАЗАНО

Сергей возвращался домой совсем грустный и расстроенный. Он еще ни разу так рано не возвращался от герцогини, а потому, выйдя из отеля д'Ориньи, не нашел своего экипажа. Но он даже был рад этому — в том томлении, которое его охватило, ему хотелось движения, хотелось бежать куда-нибудь дальше.

На него дунуло темнотой и свежестью позднего вечера, и он быстрым шагом пошел по смолкавшим улицам Сен-Жерменского предместья. До церкви Магдалины конец ему предстоял значительный, но он шел машинально знакомой дорогой, почти никого и ничего не замечая.

Он очнулся только перед самым отелем; поднялся на крыльцо. Двери перед ним распахнулись — его, очевидно, ждали. Он сбросил с себя теплое платье и уже собирался пройти в свою спальню, как вдруг перед ним очутился Моська.

— Степаныч, я пешком пришел, не знаю, где мои лошади... Если кучер дома, так чтобы сказали ему, что я вернулся. Если же нет его, так нужно будет послать в Сен-Жерменское предместье, а то лошади там меня будут всю ночь дожидаться.

И, говоря это, он не замечал, что карлик сам не свой и глядит на него как-то совсем необыкновенно.

— Слушаю, батюшка!.. Эй ты, Петр, слышал, что барин приказывали — пойди, узнай скорее... А ты, сударь, Сергей Борисыч, пожалуйста сюда... дай, я проведу тебя...

Он взял его за руку и стал тянуть. Сергей совсем очнулся.

— Что такое? Куда ты меня тащишь?!

— Нужно, нужно, золотой мой, посмотри-ка что я покажу тебе.

— Ах, да оставь, пожалуйста! — раздражительно перебил его Сергей, отдергивая от него руку. — Право, мне не до твоих чудачеств, у меня голова болит, я спать хочу!..

Но карлик не унимался.

— Никаких моих чудачеств тут нет, Сергей Борисыч, а изволь-ка идти со мною; коли го-

ворю — значит, нужно; слышь ты, по большому делу тебя дожидаются...

— Кто там еще... Какое ночью дело?

Между тем карлик говорил так настоятельно и серьезно, что поневоле пришлось за ним последовать.

«Из посольства, что ли?» — в томлении думал Сергей, проходя через залу.

Он чувствовал, что тоска его душит все сильнее и сильнее. Все казалось ему таким ненужным, противным...

Между тем он прошел вслед за Моськой еще двести комнаты и вошел в маленькую, освещенную гостиную.

— Вот кто тебя дожидается! — торжественно произнес Моська, а затем отошел в сторонку и так и впился глазами в Сергея.

— Кто это? Женщина!.. Кто это, Боже мой?!

Она стремительно бросилась к нему.

— Сережа?!

— Таня, Таня!! — безумно повторял он, не понимая, что это такое — спит он или грезит?..

Он протянул руки, и через мгновение Таня была в его объятиях.

Моська не удержался, подпрыгнул и радостно хлопнул в ладоши.

— Ведь я знал, — умиленно шептал он, не сводя глаз с молодых людей, — ведь я знал, что оно так и будет! Стоит ей только показаться — и все колдовство как рукой снимет...

Но он тут же должен был убедиться, что радость его преждевременна.

Первое мгновение прошло.

Сергей начинал мало-помалу приходить в себя. Ведь он готов был к чему угодно, но только не к появлению Тани. Если бы его предупредили, что она здесь, что он сейчас ее увидит, он вряд ли даже в первую минуту решился бы подойти к ней. Но он увидел ее вдруг, без всяких приготовлений, и появление ее заключало в себе так много не только что неожиданного, но даже совсем почти невероятного, что он сразу забыл всю действительность, забыл себя, свое положение. Это был сон, как во сне он без размышлений отдался первому чувству своего сердца, а это чувство была радость.

Да, увидав Таню, он вдруг неудержимо ей обрадовался. На него пахнуло давно забытым

родным воздухом.

Вместе с ее милым образом перед ним снова воскресло все старое, милое и дорогое, все детство, юность, все, о чем в тяжелые свои минуты безотчетно и мучительно толковал он.

Да и она сама, эта Таня, которую он знал с детства, всегда почти с тех пор, как себя помнил, ведь он так давно, так привычно любил ее — и не мог не любить.

И вот теперь она — сестра, друг, добрая, милая Таня — здесь перед ним, в такие тревожные минуты, когда он нигде не находит себе покоя, когда он считает себя таким одиноким! Как же ему не радоваться ее появлению, как же не чувствовать, что он любит ее всем сердцем.

Но только в этой любви нет ничего такого, что волновало его когда-то в голубой беседке.

— Таня, Таня!! — повторил он, покрывая поцелуями ее руки.

И в то же время сознание действительности просыпалось в нем.

Это не сон, Таня приехала, Таня здесь, не сестра, не друг, а Таня — невеста, которой он

покаялся в любви, которую так обманывал в последних своих письмах, не смея, не решаясь сказать ей правду. Таня здесь! Она поборола все препятствия, она сделала почти невозможное, чтобы свидеться с ним, с любимым и любящим ее человеком, ее женихом, ее будущим мужем!..

И то, что за минуту казалось ему сладким сном, что вызвало в нем такую горячую радость, теперь, при первом же сознании действительности, явилось новым ужасом, тяжким испытанием:

«Таня здесь! Боже мой, что же это будет?!»

Он чувствовал, как останавливается его сердце, как холод пробегает по его жилам.

Последняя краска пропала со щек его, он невольно отшатнулся от Тани и глядел на нее диким, растерянным взглядом.

Это его движение, выражение его лица, его бледность не ускользнули от Моськи.

«Вот тебе раз! — тревожно подумал он. — Как же так? Ведь это неладно что-то... Видно, совесть заговорила. Оно и точно — чему и быть другому... Как он ей теперь в глаза смотреть станет, ведь, может, меньше часу как с

тою, с ведьмой-то своею, обнимался — так оно и зазорно?! Ну, что же, батюшка, и казись — сам виноват... поделом вору и мука. Да только боязно мне — напугает он Татьяну Владимировну, она и невесть что подумает. Ведь как ни умна, а все же еще дите малое...»

И карлик, подвинувшись ближе и встав на цыпочки, тревожно вглядывался то в Сергея, то в Таню.

Ему было от чего тревожиться.

Молодые люди после первых восклицаний еще не сказали друг другу ни одного слова, а все ж таки между ними уже велся мучительный, безмолвный разговор.

Таня еще раньше Моськи подметила перемену, мгновенно происшедшую в Сергее, его смущение; его бледность и дикий взгляд. Да она только это и видела — ей некогда было заметить ту радость, которая озарила его в первое мгновение, потому что она сама вместе с ним испытывала радость еще сильнейшую: ведь ей до самой этой минуты все казалось, что она его не увидит, что не доживет до такого счастья.

«И вот это он, он живой, с нею!»

Она все позабыла, она вне себя целовала его и обнимала. И если бы он даже не отвечал ей на ее поцелуи, она не обратила бы на это внимания. Но вот она очнулась, и что же: он бледный, почти неузнаваемый смотрит на нее безумным, непонятым взглядом.

Боже, как он изменился! Он ли это? Отчего ей вдруг показалось, что он какой-то чужой, другой совсем, не прежний Сережа?! Да ведь и он смотрит на нее как на чужую, и он не узнает ее!

Таня слабо вскрикнула и, все продолжая, не отрываясь, глядеть на него, схватилась за голову. Ей казалось, что случилось что-то страшное, невыносимое. У нее упало сердце, тоска стала душить ее. Она ничего не знает, не понимает, только чувствует, что все страхи, тревоги теперь кончены; но они разрешились не успокоением, не радостью, не счастьем, а тяжким горем. Какое это горе, что все это значит, она уже не спрашивала себя об этом, она только чувствовала всю тяжесть этого непонятого, но уже разразившегося горя.

«Но ведь он должен же сейчас, сию минуту

сказать всю правду! Зачем он молчит, зачем он меня так терзает?» — думала Таня.

Между тем ей не суждено было так скоро узнать решение своей участи — в гостиную вошла княгиня, задремавшая было, но проснувшаяся, услышав голос Сергея. Впрочем, ее появление принесло пользу молодым людям: они совсем пришли в себя и поневоле должны были сдержаться и хоть несколько отойти от своих мучительных ощущений.

Сергей, по крайней мере при взгляде на княгиню, позабыл весь ужас своего положения — так поразила его перемена, происшедшая в этой женщине; он почти не узнавал ее, и совсем не потому, что она постарела: она глядела совсем иначе, совсем иначе говорила...

Сергей и в Петербурге, и даже здесь, в Париже, в первое время немало думал о «деле Тани», о намеках на это дело, встречавшихся в письмах. Он знал, какое это «дело» и теперь понял, что Таня привела его к благополучному окончанию, что она вернула себе мать свою. Но, конечно, он никогда не был в состоянии и представить себе, чтобы с человеком

могла произойти такая перемена, какую он с каждой минутой, с каждым новым словом видел теперь в княгине...

И потом — как же, наконец, они приехали, как могло случиться все это?! Сергей с бессознательной радостью ухватился за расспросы, как преступник, который хотя и понимает неизбежность казни, но хватается за каждый предлог, чтобы отдалить минуту ее исполнения...

Но вот все объяснено, на все вопросы получены ответы. Княгиня начинает рассказывать о своих путевых впечатлениях, о приключениях, бывших с ними в дороге.

Таня сидит грустная и бледная, изредка и рассеянно вставляя свое слово.

И опять тоска охватывает Сергея. Теперь ему все ясно, да, впрочем, ведь и с первой же минуты он почти понимал, как и зачем они приехали.

«Что же теперь я буду делать?! — отчаянно думал он. — И что я наделал?.. Ведь никакого оправдания для меня нет... О, позорное малодушие! Зачем я давно и прямо не написал ей, а теперь!.. Ведь это мало того, что жестокость,

ведь я должен нанести ей здесь, в своем доме, самое страшное и незамолимое оскорбление, и ей, ей — этой Тане!.. Нет, я не должен, я не смею этого сделать!..»

Он уже почти решался скрыть от Тани свою любовь, свои отношения к герцогине, решался отказаться от этой любви.

«Пусть она ничего не знает, пусть мое счастье, моя жизнь будут разбиты — ведь они все равно и так уже разбиты, если я чувствую себя почти убийцей... Да, я уйду от Мари, я никогда больше не увижусь с ней... пускай берет меня Таня! Я стану ее обманывать — по крайней мере, она будет счастлива...»

И вот, когда ему казалось, что он уже решил все это и что решение его неизменно, перед ним вставал образ герцогини, и представлялась она ему не такою, какой была в этот вечер, а любящей, доверчивой, полной нежности и страстной, горячей ласки. «Я твоя! — вспоминал он ее замирающий голос, — о, как люблю я тебя!..» Жгучее, мучительное и сладкое чувство наполняло его, и он понимал, что не может уйти от нее, не может расстаться с нею...

Он слушал и не слышал того, что рассказывала ему княгиня, он отвечал невпопад на ее вопросы.

Моська, незаметно скрывшийся из гостиной, снова появился и прошептал, что готов ужин. Какой это был печальный ужин! Одна только княгиня, давно проголодавшаяся, кушала с аппетитом. Но вот и ужин убрали со стола. Время далеко уже за полночь. Княгиня простилась с Сергеем и прошла в спальню. Пошла за нею и Таня, да тотчас же и вернулась — она не в силах была больше себя сдерживать.

Она быстро огляделась — в комнате никого не было, только Сергей стоял неподвижно, с опущенной головой на том самом месте, где за минуту перед тем они с ним простились.

— Сережа! — проговорила Таня, кладя ему на плечо руку.

Он вздрогнул и печально, растерянно взглянул на нее.

— Сережа, — повторила она, едва выговаривая слова, — скажи мне, не томи, скажи, что такое случилось?!

— О чем ты, Таня? Ничего не случилось...

постояй... успокойся, отдохни — завтра успеем поговорить, — дрожа как в лихорадке отвечал он.

— Завтра! Да разве я могу... я с ума сойду... ради Бога, пожалей же меня — говори!..

Но он не находил слов, он молчал.

— Так я сама тебе скажу, что случилось, — вдруг произнесла она и так и впилась в него страстно и мучительно засверкавшими глазами. — Я скажу тебе — ты меня не любишь, ты любишь другую...

Он вздрогнул и все же ничего не мог ей ответить.

— Да? Правда? Я угадала? Это правда?

Она схватилась за сердце. Он взглянул на нее и как безумный бросился из комнаты.

Она угадала, она по имени назвала свое горе; но все это совершилось внезапно, потому что до самой последней минуты она еще сомневалась и отгоняла от себя ненавистную мысль, что у нее есть соперница; но теперь уже не может быть сомнения — своим страшным молчанием, своим видом он сказал ей все, он во всем ей признался...

Так вот что значили эти странные письма!

Вот о какой беде извещал ее карлик, вот зачем она приехала в Париж — для того, чтобы узнать о своей участи, для того, чтобы узнать, что она ему чужая, что ему тяжело и неприятно ее появление!.. Зачем он не написал ей прямо, зачем он должен был подвергнуть ее этому унижительному положению?! О, как это жестоко!!! Бежать, бежать скорее отсюда!..

Она бы не медлила ни минуты, но ведь она не одна, она с матерью, которую эгоистично заставила следовать за собою, которая хоть и здорова в последнее время, но все же сильно утомилась от этой поездки. И как она ей скажет, что она жестоко ошиблась, что она подвергла и ее и себя незаслуженному оскорблению?

Но все эти мысли едва мелькнули и тотчас же пропали, уступая место жгучему горю, тоске невыносимой.

Ведь она любила его, ведь она в него верила, так долго и терпеливо ждала его. Она привыкла полагать в нем счастье всей своей жизни, без него она и представить себе не могла жизнь эту — и вот он уходит, уходит навсегда, уже ушел, его нет!..

«Он любит другую! Кто же она, кто? Кто у меня его отнял?..»

В сердце ее всесильно поднялись, уничтожая все остальное, два чувства: любовь к нему и ненависть к неизвестной сопернице. И Таня уже не роптала на него, ни в чем его не винила. Она только чувствовала, с какой силой его любит, как невыносима для нее мысль об этой новой и уже вечной разлуке.

«Где же она? Кто она? По какому праву разбила она мое счастье?!» — почти громко воскликнула Таня, и загорелись глаза ее гневом и страстью. Прилив никогда не испытанной злобы охватил ее. Она готова была бежать и искать эту ненавистную женщину и уничтожить ее, не боясь греха, чувствуя себя правой. Но это было лишь мгновение. Таня очнулась, в ней заговорил другой голос:

«Да чем же она виновата, ведь она меня не знает, верно, не знает даже о моем существовании... И потом, разве кто-нибудь мог бы его отнять у меня, если бы он любил меня? Боже мой, да ведь приди весь свет, соберись все самые умные, самые красивые люди в мире, чтобы заставить меня разлюбить его, изме-

нить ему — ведь никто же ничего со мною не сделает! Ведь вот и теперь, когда он так жестоко поступил со мною, а когда он от меня уходит — ведь я же не в силах разлюбить его, ведь я люблю его еще больше, еще больше... Ах, я несчастная!..»

Бедная Таня упала в кресло и залилась слезами. И эти горячие обильные слезы производили самое благотворное действие — эти слезы были ее спасением. В Тане было слишком много молодости, силы и здоровья, горе не могло подломить ее, и глядя на нее, незачем было приходиться в отчаяние.

Так думал и Моська, незаметно пробравшийся опять в гостиную и подошедший к креслу Тани. Он глядел на нее растроганный и печальный.

— Плачь, дитяtko, плачь, выплачешься — легче будет! — шептал он, как старая няня, глядя Таню по головке, — дай волю слезкам, а как выльются они, мы и потолкуем с тобою!..

И Таня все плакала, склонившись к карлику. Его тихий, детский голосок, прикосновение его крохотной руки подействовали на нее успокоительно — жгучая боль сердца и тоска

несколько стихли. Она отерла глаза, подняла свое заплаканное, бледное лицо и вдруг бодрым голосом, какого он даже и не ожидал от нее, сказала карлику:

— Да, Степаныч, потолкуем. Вот ты ничего не хотел сказать мне, теперь я все знаю.

— Что знаешь? Откуда? Неужто он сказал тебе?! Что же он сказал такое?

— Все знаю, сама догадалась, а он не мог притвориться. Как же это, кто она? Ведь ты обещал сказать мне правду!

— Да я скажу, голубка моя, уж коли так, коли сам он не посовестился, бесстыдник этойкой, так скрывать тут нечего. Попался наш Сергей Борисыч, по глупости своей да по Божьему попущению, в лапы ведьмы одной здешней, французской...

Моська рассказал все, что знал про герцогиню. Таня слушала его внимательно, едва переводя дыхание. Снова ненависть и негодование закипали в ее сердце.

— Замужняя женщина! — шептала она. — Но как же он может ей верить? Ведь если одного обманула, так обманет и другого, и его обманет...

— Так, так, золотая!.. — говорил, одобрительно кивая головою, Моська, — вот и я думаю то же самое.

— Да ведь от этого не легче! — отчаянно перебила его она. — Ну что же, ну обманет она его, будет он несчастный, а мне от этого легче, что ли, станет? Ведь еще тяжелее. Я не хочу его несчастья, Бог с ним! Уж коли он принес мне такое горе, так сам-то, сам-то хоть пусть будет счастлив...

— Нет, ты не жалеяй его, матушка! — вдруг строго произнес карлик и даже погрозился кулачком, — не стоит он того, чтобы ты его жалела, да и сама не убивайся, все перемелется — мука будет!

— Ах, Степаныч, не утешай ты меня, а посоветуй лучше как мне так сделать, чтобы скорее, как можно скорее уехать отсюда и не очень встревожить матушку. У меня в голове мыслей нету, сама ничего не могу придумать...

— Уехать? Зачем тебе уезжать?! Боже сохрани тебя и помилуй... Нет, золотая моя, коли уж приехала, так дело надо сделать. Жалеть ты его не жалеяй — говорю, не стоит он

этого, а простить — прости, ежели хорошенько прощения попросит.

Таня в изумлении взглянула на Моську, она не понимала, что такое говорит он. Но он внушительно продолжал:

— Верно говорю, недолго этой ведьме теперь тешиться. Ей ли устоять перед тобою!.. Только не уезжай, и будет на нашей улице праздник. Бросит он ее, бросит, либо он, либо она его. Разве это что? Разве из этого может что-нибудь выйти?! Грех один только. А ты вот и избавь его от греха-то. Уезжать! Что ты, что ты, окстись, золотая боярышня! Уедешь, ну тогда точно карачун ему, тогда и Бог от него отступится...

— Так чего же ты хочешь?! — отчаянно и изумленно произнесла Таня, — как мне здесь оставаться? Ведь я не иначе себя понимала, как его невестой, а теперь, после этого горя, после этой обиды, мне здесь оставаться — ведь я только для него одного и приехала. Нет, Бог с ним, я не стану мешать ему, и не мое теперь дело... Мне стыдно и страшно!..

Она в волнении поднялась и снова заплакала. Моська суетился вокруг нее, не зная как

и чем ее успокоить.

«Эх, Сергей Борисыч, — шептал он, — хороших делов ты понаделал! И точно что стыдно и зазорно нашей белой голубке в такие дела мешаться. Эх, Сергей Борисыч, стоишь ты того, чтобы взять тебя да бросить!..»

— А как тут бросишь! — вдруг забывая свои угрозы и свое негодование, — взвизгнул карлик, — спасать дитю надо, а то и впрямь пропадет пропадом. Успокойся, золотая, — обратился он к Тане, — пойди приляг, усни. Помнишь, сказки-то я сказывал: «Утро вечера мудренее...» — до утра надумаешься, и потолкуем. А об этом, чтобы ехать, — лучше и не думай, никак нельзя тебе уехать и нас так бросить, не затем ты приехала!..

— Не затем приехала! — бессознательно повторила Таня слова карлика и, удерживая слезы, тихо прошла в спальню.

Моська потушил лампу и стал пробираться впотьмах.

«Нет, не выпущу я ее, ни за что не выпущу, — думал он, — а коли с ней не полажу, делать нечего, потолкую с княгиней... Княгиня-то, вишь, равно совсем другая стала — мо-

жет и выслушает Моську...»

XX. СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Прошло несколько дней. Моська сделал свое дело — он убедил Таню отказаться от мысли о немедленном отъезде. Он представил любовь Сергея к герцогине просто дьявольским наваждением, избавиться от которого может только Таня.

Он говорил так убедительно, с такою уверенностью, что несчастная девушка, у которой, действительно, мысли путались от неожиданного горя, мало-помалу поддалась и ухватилась за эту соломинку.

Достигнув с одной стороны желаемого результата, карлик обратился в другую сторону, то есть к самому Сергею. Теперь он уже не боялся, что его заставят молчать и станут отговариваться делами. Он видел, что неразумное «дите» совеем растерялось и само ищет опоры.

Сергей был слишком молод, и в таком тяжелом положении ему, действительно, необходим был человек, с которым можно было бы сказать откровенное слово. Такой человек был у него прежде, человек, знавший его ха-

рактиер, понимавший малейшее движение души его и всегда умевший подать вовремя добрый совет; но этого человека теперь уже не существовало.

Где Рено? Что с ним? Сергей не знал.

Рено затерялся в бездне волновавшегося Парижа и не подавал о себе вести. Да ведь все равно и без этого, после последнего свидания и разговора Сергей почувствовал, что прежнего Рено нет, он похоронил его и оплакивал его гибель. Оставался один верный, испытанный человек — карлик Моська, и он не мог обойтись без него в эти дни, когда сознавал себя таким незащищенным.

Но Моська не в силах был его успокоить, хоть сразу, как только Сергей заговорил с ним о Тане, он представил ему самую определенную и ясную программу действий.

— А ты бы, сударь, прежде об этом подумал, — строго и грустно начал карлик, — и уж не ждал, не ждал я от тебя такого. Ну там, коли грех попутал — оно хоть и неладно, а все ж таки Бог простит, и был молодцу не укор. Да как это ты барышню-то, княжну в такое дело впутал — стыдно, батюшка, очень стыдно!

Скрыть тебе от нее все следовало, не след ей про такие дела знать. А кабы ты сам не бухнул — я, что ли, бы проболтался?! — она бы и не знала.

— Совсем ты ничего не понимаешь! — отчаянно перебил его Сергей.

— Это я-то не понимаю? Нет, сударь мой, все хорошо понимаю. И коли ты сам об этом со мною речь завел, так послушайся ты меня, старика — худому учить не стану. Брось ты всю эту дурь, ни ногой теперь туда, слышь, ни ногой, будто тебя там никогда и не было. Твое место не там, а здесь, около княжны. Она добрая, сердечко у нее золотое, коли хочешь, заслужишь у нее прощение. Слышь — к ней иди, она простит, да и помолись тоже усерднее, чтобы Господь был милостив — ну все и будет ладно.

Сергей безнадежно заломил руки.

— Ах, Степаныч, ведь я и сам так думал, да нет, сил моих не хватает — ведь я люблю ее, понимаешь, ту люблю, я не могу ее бросить, я не могу жить без нее!

Моська выпучил глаза, лицо его вспыхнуло, он весь даже задрожал. Он окончательно

забыл даже о том почтении, которое, несмотря на свою фамильярность, он соблюдал всегда в разговорах с Сергеем, и громко отплюнулся.

— Тьфу, не тебе бы говорить, не мне слушать! Тьфу, срам какой!.. Да Бога ты побойся, Сергей Борисыч! И как это язык у тебя повернулся сказать слова такие. Ее любишь, без нее жить не можешь... — а боярышня-то наша что же? На нее наплевать, что ли? Ее бросить?.. Да кто же ты после этого, ведь это самый последний, самый как есть последний человек не делает так-то, Сергей Борисыч!.. Не ты это сказал мне, не слышал я ничего и впредь не услышу и слушать не стану... Очнись, одумайся!..

Моська зажал уши и выбежал из комнаты, оставив Сергея в крайнем смущении и отчаянии.

Но этот разговор не прошел бесследно. Ведь карлик не сказал ничего нового, ведь все это не раз Сергей сам повторял себе. Конечно, низко, позорно бросить Таню, но ведь все это уже сделано — и бесповоротно. Он, может быть, нашел бы в себе силы скрыть от Тани и

затем поступить так, как советовал Моська, но она сама догадалась, она сама вырвала у него невольное, молчаливое признание — теперь все от нее зависит, как она решит, так и будет. Она сама его не захочет, зная, что он любит другую.

И в то же время он невольно следовал совету Моськи — в течение четырех дней не видал он герцогини. Приходил вечер, и он отказывался от привычного свидания к величайшей радости Моськи; он играл тяжелую, мучительную роль, обманывал себя и Таню, представлялся любезным и внимательным хозяином, показывая Париж своим гостям и в то же время чувствовал, что нельзя же так долго тянуть, что должно же это чем-нибудь разрешиться и разрешиться скоро. Он ждал, что вот-вот заговорит Таня — но Таня молчала.

И странное дело — молчала не одна она, молчала и герцогиня. Ему случалось и прежде раза два, за спешными делами, не явиться на свидание в отель д'Ориньи, но тогда рано утром его уже будила записка Мари. Она с тревогою спрашивала, что с ним такое,

здоров ли он, отчего он не был?

А вот теперь прошло четыре дня, а герцогиня не присылает.

Сергей задыхался, он едва дожил до пятого вечера и, не сказавшись Тане, как преступник, тихомолком выбежал из своего дома, сел в первую попавшуюся извозчичью карету и велел кучеру ехать в Сен-Жерменское предместье.

Остановившись у отеля д'Ориньи, он, по своему обыкновению, вошел не с главного подъезда, а через маленькую дверь во дворе, которая вела прямо в отделение герцогини. Здесь его встречали или старый слуга, или любимая камер-юнгфера герцогини, Сильвия. Сильвия и теперь попаласть ему навстречу в коридоре. Это была молоденькая и очень хорошенькая итальянка, привезенная герцогиней из ее последнего путешествия в Италию. Сильвия была не последнее лицо в доме. Ее родные принадлежали к порядочному обществу в Болонье, но в какой-то неудачной спекуляции обеднели, и Сильвия предложила свои услуги герцогине. Всегда веселая, кокетливая, остроумная, быстро выучившаяся хо-

рошо говорить по-французски, она понравилась Мари и пользовалась ее милостями, мало-помалу устраивая свои денежные дела и помышляя года через два-три вернуться на родину с порядочным приданым. Сам герцог даже обратил свое благосклонное внимание на Сильвию. Но та покуда ухитрялась держать его на почтительном расстоянии и в то же время никогда не отказывалась от его щедрых подарков.

С появлением Сергея ее дела пошли было еще лучше. Нимф и амуров будуара оказалось недостаточно — необходимо было посвятить в тайну живое существо, которое бы охраняло спокойствие влюбленных. Такой поверенной явилась Сильвия, но неожиданно для себя самой молодая девушка скоро стала тяготиться этой ролью — она сама влюбилась в Сергея и страшно ревновала его к герцогине. Она готова была на все, чтобы обратить на себя внимание молодого русского вельможи и в то же время отлично сознавала, что это для нее невозможно, что он, несмотря на свою доброту и любезность, относится к ней как к существу, бесконечно ниже его стоящему. Он вы-

казывает ей благодарность за ее услуги и в то же время, конечно, презирует ее, полагая, что она служит ради денег...

Эта мысль очень мучила бедную Сильвию, и она ухватилась за единственное средство возвысить себя в глазах Сергея — перестала принимать его подарки. Он очень изумлялся этому, но в конце концов цель Сильвии была достигнута — он начал больше обращать на нее внимания, смотрел на нее не просто как на горничную, которой платят деньги, а почти как на друга.

Иногда, явившись слишком рано и поджидая герцогиню, Сергей охотно беседовал и шутил с Сильвией и, конечно, не подозревал, какое счастье и какое мученье заключалось для нее в этих минутах. Если бы он не был так страстно увлечен герцогиней, ему нетрудно было бы заметить красноречивые взгляды девушки, краску, вспыхивавшую на ее щеках от всякого его ласкового слова, он заметил бы, может быть, и красоту ее. Теперь он ничего этого не видел, всецело был поглощен своею любовью к ее госпоже...

— Дома герцогиня? — спросил он Силь-

вию, здороваясь с нею.

Сильвия, как и всегда, вдруг вспыхнула, потом побледнела и с изумлением и тревогой стала вглядываться в лицо его.

— Дома, дома, — проговорила она, — и я сейчас проведу вас к ней, только прежде мне нужно кое-что сказать вам...

— Что такое? Я вас слушаю, милая Сильвия.

— Но прежде... нет, скажите вы мне, сударь, что такое с вами? Вы такой бледный, вы, верно, больны? Вот уже пять дней как мы вас не видели — я очень тревожилась...

— Да, я нездоров, но дело не в этом, это пустое. Что такое вы хотели сказать мне?

— К сожалению, в моих словах будет очень мало для вас приятного, но я не должна молчать. Вот вас пять дней не было, и вы ничего не знаете... А между тем вам следует знать, что все эти вечера у нас проводит какой-то граф Монтелупо...

Сергей вздрогнул.

— Что же он здесь делает? Ведь это шарлатан.

— Да, шарлатан, — перебила его Силь-

вия, — и, может быть, даже гораздо хуже. Дело в том, как я его увидела, так сейчас и поняла, что тут неладно. И начать с того, что я почти головою могу ручаться, что он вовсе не граф Монтелупо... Лет пять тому назад я встречала в Болонье одного синьора Бринчини, который как две капли воды был похож на него. Этот Бринчини пользовался самой дурной репутацией, он несколько раз попался в каких-то неприличных историях и был уличен в плутовстве за картами... Кончилось тем, что он бежал из Болоньи. Конечно, иногда встречаются люди очень похожие друг на друга, но такого сходства я никогда еще не видала, да и вряд ли оно может быть, только этот господин постарел немного и научился лучшим манерам... Но этого мало, в Италии никто никогда не слыхал имени графа Монтелупо, а недалеко от Болоньи, по дороге во Флоренцию, есть только гора, которая носит это название...

— Все, что вы говорите, Сильвия, очень важно, — в волнении произнес Сергей. — Я как только увидел этого человека, заметил в нем много фальшивого, я сам думал, что это

самозванец; но ведь у меня, кроме моего впечатления, не было никаких данных, чтобы утверждать это, а вот у вас есть и данные. Вы должны были тотчас же рассказать все это герцогине.

— Я так и сделала, — отвечала Сильвия.

— Ну и что же? Что она?

— Она на меня рассердилась и приказала мне молчать. О, я никогда еще не видала герцогиню такой сердитой, она даже топнула ногой: «Как вам не стыдно, — говорит, — клеветать на человека, вы и сходство это, и свою гору Монтелупо во сне видели! Графа все знают за самого почтенного и интересного человека — это великий ученый».

Сергей слушал, грустно опустив голову. Сильвия продолжала:

— Может быть, и правда, что он великий ученый и колдун, потому что сразу заколдовал герцогиню — она только о нем и говорит эти дни, только им и бредит. И знаете ли, вчера сама повезла его в Тюильри представить королеве, вернулась такая радостная, а к вечеру он опять явился.

Сергей не знал, куда деваться от тоски и са-

мых мрачных предчувствий.

«Так вот отчего она в эти пять дней не поинтересовалась узнать, что с ним такое, вот почему не писала ему ни строчки — ей некогда было думать о нем, так она занята своим новым знакомым!»

— Может быть, и теперь он там? — спросил Сергей Сильвию.

— Пока его еще нет, пожалуйста, но я не могу поручиться, что он не явится вслед за вами.

Сергей прошел в будуар и очутился перед герцогиней. Она даже не заметила его появления, она была погружена в чтение какой-то книги.

— Мари! — прошептал Сергей.

Она подняла голову и взглянула на него равнодушными, холодными глазами. Таким взглядом она простилась с ним в последний раз и таким взглядом теперь его встречала.

— А, Serge, это вы, наконец. А я думала, что вас уже нет в Париже...

— Но вы не интересовались узнать, что со мною?

— Я каждую минуту ждала, что вы сами меня известите об этом.

— Мари, что это такое? — с мучением произнес Сергей. — Что за тон — я не узнаю тебя, разве когда-нибудь прежде ты меня так встречала? Ты не знаешь, что было со мной в эти дни, да и знать не хочешь. Что же это такое? И если ты на меня за что-нибудь сердишься, скажи прямо.

— Я ни на что не сержусь, — равнодушно проговорила герцогиня, стараясь улыбнуться. Но ее улыбка вышла такой бледной...

— В таком случае, как мне понимать все это? Сейчас, сейчас говори, отчего ты такая?

Она пожала плечами.

— Я такая же, как и всегда, а если ты для того приехал, чтобы вести такие неприятные разговоры и делать сцены, то, право, и приезжать не стоило. Я сказала, что не сержусь... Нет, я солгала, я сержусь на тебя, да и как же мне не сердиться, ведь это, наконец, Бог знает что такое — ты начинаешь преследовать меня упреками, ты вечно недоволен, все во мне тебе не нравится с некоторого времени. Это нужно оставить, мой милый.

Сергей многое мог бы ей ответить, но удержался, он решился прямо приступить к делу.

— Правда ли, что у тебя постоянно этот граф Монтелупо? Правда ли, что ты вчера представила его королеве?

— Конечно, правда, но что же из этого? А, ты вздумал ревновать!

— Я надеюсь, что покуда не имею никаких для этого оснований, — по-видимому, спокойным голосом произнес Сергей, — я слишком тебя уважаю и считаю благородной женщиной, а потому и не осмелюсь ревновать тебя к неизвестному человеку, которого ты совсем не знаешь, которого увидела пять дней тому назад. Но если я спрашиваю тебя об этом человеке, то для того, чтобы подать тебе совет.

— Совет? Любопытно, какой совет, я слушаю.

— А вот что, — бледнея и едва сдерживая накипавшую злобу сказал Сергей, — это обманщик, это самозванец, и я советую тебе, я прошу тебя перестать принимать его.

Герцогиня вспыхнула и нервно поднялась с дивана, на котором сидела.

— Что такое?! Давно ли ты считаешь себя вправе вмешиваться в мои дела? Я должна оскорбить человека, достойного всякого ува-

жения, только потому, что он не имеет чести тебе нравиться! И ты еще говоришь, что ты не ревнуешь! Что же это такое, как не самая глупая ревность? Но в таком случае лучше раз и навсегда объяснимся, чтобы впредь не было никаких недоразумений между нами. Ты меня не первый день знаешь, и ты должен знать, что я не настолько бесхарактерна, не настолько ребенок, чтобы без рассуждений исполнять чужие капризы. Или приди в себя и будь как следует, не мучь меня упреками, мрачными предчувствиями, прописной моралью, одним словом, не разыгрывай в этом бу-дуаре драму, не мешайся в мои дела, предоставь мне принимать кого я хочу и интересоваться кем мне угодно — или лучше разойдемся. Я не намерена выносить подобного деспотизма, и никакая любовь не устоит против всех этих неприятностей...

Он слушал ее, не веря ушам своим. Она стояла перед ним негодующая, холодная. Как ни всматривался он в нее, не мог подметить в ней ничего прежнего.

— Ты меня не любишь?! — отчаянно и с ужасом крикнул он.

— Ах, опять драма, опять трагедия! Боже, как все это скучно!

Она отошла от него и взялась за книгу. Он постоял еще несколько минут, не говоря ни слова и не спуская с нее изумленного взгляда.

— Прощай! — наконец, прошептал он не своим голосом и, шатаясь, вышел из комнаты.

Она взглянула ему вслед, но не тронулась с места и продолжала свое чтение.

XXI. НА УЛИЦЕ

Достигнув конца красивой, широкой галереи, увешанной картинами, заставленной китайскими вазами, озаренной мягким светом матовых ламп, Сергей невольно остановился. Здесь, у этой двери, он, обыкновенно, прощался с герцогиней, она доводила его сюда и, расставаясь, нежно шептала ему:

«Так завтра же?! Завтра! — и помни, что, если назначенное время приходит и тебя еще нет, мне каждая минута кажется веком, мне все чудится, что с тобою что-нибудь случилось, и я мучаюсь, я чувствую себя совсем несчастной... Помни же это и не опоздай ни минуты!..»

И он, конечно, всегда обещал не опоздать и долго не мог расстаться с нею, покрывая ее руки поцелуями.

Вот и теперь ему смутно казалось, что сейчас, сейчас дверь ее будуара отворится и она поспешит за ним, и вернет его, и все будет забыто...

Но в галерее было тихо. Прошли две-три минуты, вдруг недалеко где-то скрипнула, приотворяясь, дверь.

Сергей вздрогнул, оглянулся — это она?!

Но нет, не дверь будуара отворилась, а другая — и на пороге показалась Сильвия. Она заметила Сергея и в изумлении к нему подбежала.

— Вы уже уходите? Что это значит? Боже мой, как вы глядите!.. Пойдите, куда вы?!

— Прощайте, Сильвия, — проговорил он, протягивая ей руку, — прощайте, мы вряд ли еще с вами встретимся!

Она вздрогнула от прикосновения руки его и тихо улыбнулась.

— Ах, что такое вы говорите, послушать вас, так, право, станет страшно!.. Я надеюсь, что мы встретимся завтра же, потому что я

буду дожидаться вас вечер и встречу в этой галерее...

— Нет, Сильвия, я не вернусь сюда!

— Да перестаньте же, monsieur Serge! — иногда она позволяла себе так называть его, видя, что он никогда за это не сердится, — перестаньте, теперь я понимаю, что вы поссорились с герцогиней, но эта ссора не надолго... Ну, если не завтра, так через два дня, а все же не утерпите и придете, будете просить прощения, и вас простят, конечно!..

Сергей все крепче и крепче сжимал ее руку.

— Нет... слышите... как тихо!.. Она не зовет меня! — шептал он прерывающимся голосом, — ей до меня нет дела!.. Она могла, она должна была вернуть меня — и не сделала этого. Сильвия, вы добрая девушка, пойдите, пойдите к ней... Я подожду здесь, вы сами мне скажете тогда, навсегда ли я ухожу отсюда!

Он почти упал на табуретку, стоявшую около двери, а Сильвия своей неслышной, легкой походкой поспешила в будуар герцогини.

Недолго пришлось ждать Сергею. Вот

Сильвия показала себя опять в галерее и медленно подошла к нему. Ее лицо было задумчиво, а глаза блестели. Он схватил ее за руки и едва слышно шептал:

— Ну что? Только, ради Бога, ничего от меня не скрывайте!.. Вы понимаете, что мне нужно слышать правду, одну правду — какая бы она ни была.

— О, я ничего от вас не скрою, — ответила Сильвия, и в ее голосе послышалась резкая и решительная нота, — я застала герцогиню за чтением. Эта какая-то итальянская книга, кажется, медицинская, ее вчера принес Монтелупо. Герцогиня читала очень внимательно. Увидев меня, она видимо, рассердилась, сказала, чтобы я ей не мешала и прибавила: «Распорядитесь, чтобы никого не было, слышите, никого ко мне не пускайте... меня нет дома, я сейчас уехала... я дома только для графа Монтелупо».

Сергей поднялся в страшном негодовании, которое мгновенно заглушило в нем все другие чувства.

— Она сказала это? Так и сказала? Кто бы ни приехал, никого не принимать?.. «Сейчас

уехала!» — ведь это она боится, что я вернусь!.. Ну, так скажите же ей, Сильвия, что я никогда, никогда не вернусь к ней, что я ее презираю так же, как и того шарлатана, для которого она теперь дома!..

Сильвия опустила голову, но в ее лице мелькнуло что-то неуловимое, как будто даже радость. Да, она была довольна, и она передаст герцогине слова его, передаст, что он ее презирает!

— Прощайте, Сильвия, будьте счастливы!

Радость девушки мгновенно пропала.

Ведь он прощается, и правда теперь, что он прощается навсегда! О, он горд, она уже замечала это, он не вернется; так что же ей в том, если даже и кончено все между ним и герцогиней?! Ведь было одно счастье — мельком увидеть его, услышать его голос, а теперь и это счастье... Ах, зачем она ему сказала... он, может быть, и вернулся бы...

Она схватила его руку, она хотела хоть на минуту еще удержать его. Но он резким движением отстранился от нее и вышел из галереи.

Сильвия опустилась на скамейку, на кото-

рой за минуту перед тем сидел он, и горько заплакала...

И вот снова, как и пять дней тому назад, Сергей на улицах Парижа пешком, в неурочный для него час. И опять он не замечает темного вечернего неба, огней людного города, толпы, снующей взад и вперед по тротуарам. Но тогда он шел в неясной тоске, неясные мысли бродили в голове его и, как ни тяжело ему было, все же представлялась ему возможность выхода из этого невыносимого положения, из этого окутавшего его тумана. Теперь туман рассеялся, неясные тоскливые опасения превратились в действительность.

Все кончено! Она его не любит, она изменяет ему самым недостойным образом!.. Он бы убил того человека, который сказал бы ему, что она способна на это! И вот все это свершилось — и он уничтожен, раздавлен... В нем нет уже тоски, в нем жгучая, острая боль разбитого, опозоренного чувства, и негодование, и ужас.

Сергей остановился и громко засмеялся как сумасшедший. Он вспомнил Таню.

«Зачем я пеняю, зачем я негодую, зачем

считаю Мари преступной? Ведь я первый поступил так, как она, и не мне возмущаться!..»

Он с какой-то мучительной радостью схватился за эту мысль. Он так высоко ценил герцогиню, он так верил в любовь ее!.. Но разве Таня меньше ему доверяла, разве она не была в нем уверена, как в самой себе? Ведь она доказала это своим приездом!.. Нет, он бесконечно преступнее — он скрывал, он тянул, он поставил любящую его девушку в невыносимое положение, а от него, по крайней мере, не скрывали, не тянули, его заставили сразу догадаться.

«Вот и наказание! — бешено думал он. — Кто это сказал, где я это читал, что всякий дурной поступок человека, всякое преступление в самом себе носит свою кару, что избегающий людского правосудия не может убежать от другого, непонятного правосудия, действующего во внутренней жизни человека?! Вот и наказание, и иначе и быть не могло, и я должен был знать это!.. Да ведь я и знал, ведь наказание мое началось не сегодня!.. Разве не наказание было это время, эти муки, эта тоска, эта невыносимая жизнь?! Ну

и пусть я до конца все это вынесу, пусть меня все бросят — я сам оттолкнул одну, другая меня оттолкнула!..»

Жизнь показалась ему такой отвратительной, такой бессмысленной, что ему безумно захотелось разом покончить с нею.

«Миг один, — подумал он, — и все конечно!.. Зачем не убили меня тогда, на ступенях версальской лестницы?! О, какое бы это было счастье! — тогда и она погоревала бы о моей смерти, тогда она еще любила... да и Таня ведь... ведь я не был бы преступным, недостойным в глазах ее, я не нанес бы ей этого ужасного оскорбления... Убить себя, уничтожить! — ведь я имею на это право... Матушка! — но она может никогда и не узнать о причине моей смерти, она перенесет это горе — станет молиться и успокоится... Я никому не нужен, и никто мне не нужен, и ничего нет у меня впереди...»

Мысль о самоубийстве, внезапно блеснувшая в голове Сергея, с каждой минутой казалась ему все заманчивее. Старые уроки Рено, отнявшие у него Бога, теперь приносили плоды свои. И если он все же отошел от своего

безумного решения, то единственно потому, что ему тяжело было сознаться в своей трусости и слабости.

«Пусть я преступник, — думал он, — и теперь лучшее, что я могу сделать — это покончить с ненавистною жизнью... мне легко решиться — смерть для меня высшее благо... Но ведь тогда я буду не только преступником, а и жалким трусом, который испугался заслуженного наказания... Нет, я должен жить, я должен вынести все эти муки, весь этот позор... вот я вернусь домой, меня встретит Таня — я не знаю, что она станет говорить, она все молчит, невыносимо молчит, но здесь заговорит же! И я не знаю, что буду отвечать ей... Это пытка — и я должен ее выдержать до конца...»

Он шел дальше и дальше, не замечая дороги, не замечая, что идет совсем не в ту сторону, не к церкви Магдалины. Иногда казалось ему, что все это неправда, что ничего этого не было и не будет — разве возможно это! Разве мыслимо, что он никогда больше не увидит Мари?.. Но последняя сцена приходила ему на память во всех мельчайших подробностях; он

видел это бледное, холодное лицо, безучастный взгляд, презрительную усмешку... И потом, слова ее, сказанные Сильвии: «Я сейчас уехала!..» Он старался придать словам этим другое значение, он Бог знает что дал бы за возможность найти им хоть какое-нибудь объяснение... Но это было невозможно, ее слова говорили ясно, беспощадно ясно, и Сильвия не могла солгать. О, если б она солгала, он почувствовал бы это, но она не солгала, он знает, мучительно знает, что не солгала!

«Так вот кто! Монтелупо, или как там его... шулер, шарлатан, видимый обманщик, негодяй, плохо притворяющийся порядочно воспитанным человеком!.. Да как она могла им плениться, как она, при ее уме и знании света, не догадалась сразу с кем имеет дело. Чем он ослепил ее? Что это такое? Или он в самом деле колдун и приворожил ее колдовскими чарами?..»

И Сергей, потерявший веру в живого Бога, которому когда-то горячо молился, Сергей, не сумевший прилепиться и к новому богу своих любимых философов, потому что этот новый бог всегда казался ему таким далеким и хо-

лодным, готов был поверить старой Моськиной сказке о силе приворотного зелья. Как Моська верил, что «французская ведьма приворожила дитю», так и это привороженное дите, этот ученик философов-энциклопедистов жадно хватался за соломинку, чтобы как-нибудь объяснить слишком оскорбительный для него поступок женщины, которая была его божеством, его сокровищем.

Но соломинка пропадала, мысли останавливались, Сергей не рассуждал больше и оставался только со своими тяжкими ощущениями. Ненависть закипала в нем.

«Я найду его, — бешено шептал он, — я заставлю его снять маску и убью, как собаку!.. Убью!.. А она... Ведь я не вернусь к ней... Я потерял ее навеки!»..

Страсть охватывала его. Он испытывал снова все обаяние этой женщины, первой женщины, с которой он сошелся, которая любила его не робкой девической любовью, а заставляла его пережить все безумие горячее, ничем не сдерживаемой страсти. Он вспомнил живо, живо, до мельчайших подробностей тихие, таинственные часы в кокетливом

будуаре, когда действительность уходила так далеко, когда время не то останавливалось, не то мчалось с невероятной быстротою, когда полуслова, вздохи и улыбки составляли их единственную, многозначительную и красноречивую беседу.

Он вспоминал это милое, дорогое лицо, но не то, которое показалось ему совсем новым и незнакомым, а прежнее дорогое лицо, в котором для него гармонически сливались вся красота земли и неба.

Вот они — эти глубокие черные глаза. О, как они глядели, каким счастьем наполняли его! Вот эти сверкающие зубы, которые так ослепительно блестели при каждой улыбке, эти хрупкие детские руки, холодившие от прилива страсти и обвивавшие его так крепко, что разлука казалась немислимой, невозможной.

И ничего этого теперь нет, и ничего этого он никогда больше не увидит!..

«Да разве это возможно? О, пусть она порочна, — отчаянно думал он, хватаясь за голову, — пусть она изменяет мне, только бы мне еще ее увидеть, только бы обнять ее и почув-

ствовать ее поцелуи, услышать ее голос...»

Он припоминал многие их разговоры, наводившие на него тоску, так его мучившие. Какие мысли она высказывала, как обо всем судила! То, что было для него важно, в чем он видел самые страшные, насущные вопросы, то казалось ей таким пустым, легким...

«Да, она испорчена, она видела столько дурных примеров! И почему знать, ах, Боже мой, почему знать, может быть, он не первый, с кем она изменяла своему мужу. Да, он почти уверен теперь в этом, теперь он понимает некоторые слова ее, которые прежде пропускал без внимания. Но что же из этого?! Ведь она все та же, она так же прелестна и обольстительна!..»

Он кончил тем, что совсем примирился с ее порочностью, он готов был простить ей все, даже графа Монтелупо. Он любил ее такую, какова она есть, он, сам не замечая этого, решился, несмотря на все: на оскорбление, им перенесенное, на ее пренебрежение — бежать к ней и молить ее о прощении, целовать ее ноги.

Он шел в лихорадке, с горящей головой, не

замечая, что какой-то человек, попавшийся ему навстречу, пристально оглядел его и вдруг повернул, пошел за ним, и вот уже несколько минут идет рядом и заглядывает в лицо его.

Наконец этот пристальный, странный взгляд заставил себя почувствовать. Сергей очнулся и сам стал с изумлением всматриваться в идущего рядом с ним человека.

Было довольно темно, но через несколько шагов свет фонаря достаточно озарил их лица.

— Рено! — изумленно крикнул Сергей, останавливаясь и хватая за руку своего бывшего воспитателя. — Рено, друг мой, вы ли это?

И он с невольной и быстро охватившей его радостью так и прильнул к Рено и не выпускал его, будто боясь, что он вырвется и исчезнет. Но Рено, очевидно, не намерен был исчезнуть: он старым, привычным движением, как, бывало, в Горбатовском, взял Сергея под руку и пошел с ним в ногу, все продолжая изумленно и грустно глядеть на него.

— Serge, Serge! — говорил он прежним лас-

КОВЫМ ГОЛОСОМ, — что такое с вами, я почти не узнал вас — вы так изменились!.. Ведь вы ничего не видите! Я столько времени шел рядом с вами... Знаете ли, вы даже почти громко говорили, но я только не мог разобрать слов ваших... Serge, дорогой мой, дитя мое, друг мой, вы напугали меня, я чувствую, что с вами случилось что-нибудь тяжелое, какое-нибудь горе...

— Да, горе, может быть, хуже, чем горе, — проговорил Сергей, — но разве вам нужно знать его?! Ведь вы ушли от меня, Рено, и сами говорили, что разошлись наши дороги...

— Это правда, но я тоже говорил вам, что вы навсегда будете мне дороги, что если я когда-нибудь и чем-нибудь могу помочь вам, то сделаю все, что только в моих силах.

— О, вы ничем не можете помочь мне!..

Но в то же время Сергей чувствовал, что Рено помогает ему уже одним своим присутствием. Он забыл все, что оттолкнуло его от этого человека, забыл свое негодование на него и то тяжелое чувство, с которым он признавался себе, что Рено не прежний уже человек, имевший над ним такое влияние, казав-

шийся ему таким высоким. Теперь он забыл все это, он помнил только далекие годы, когда он душа в душу жил с ним, он чувствовал, что, несмотря на все, по-прежнему это верный друг его, который его любит. А ему так нужно было такого человека!

И Рено, в свою очередь, позабыл многое, и он перенесся душою в прежнюю жизнь, не замечал новой жизни, всецело охватившей его в последнее время, не замечал этого шумного, родного ему Парижа. Ему казалось, что они снова в Горбатовском и «дорогой мальчик» нуждается в его помощи. Он думал теперь только об этом «дорогом мальчике».

«Что с ним такое, что с ним? Как мог, как смел я его выпустить! Да, я безобразно, гадко виноват перед ним... Вот я ушел, а с ним и случилось несчастье! Но какое?..»

— Serge, не томите меня, скажите мне всю правду!

В этих словах прозвучало так много чувства, что Сергей, прижавшись к Рено и сжимая ему руку, отрывисто, горячо, едва справляясь со своим волнением, рассказал ему все: и про герцогиню, и про Таню.

— Княжна здесь?! Ma petite fee!.. Где она, где?.. Хоть на минуту взглянуть на нее! — крикнул Рено почти с детской радостью, но тут и замолк, грустно опустив голову. Не до радости было — рассказ Сергея сильно его опечалил и встревожил.

— Мне очень тяжело вас слушать, Serge, — говорил он, — и я больше чем кто-либо могу понять положение, мне так вот и кажется, что снова вернулась моя молодость, и я опять переживаю свое старое горе... Да, это мука, и от такой муки разрывается сердце; но, другой, не надо приходить в отчаяние, нужно бороться с силами, нужно быть бодрым — и время все залечит... Вы так молоды, ведь вся жизнь впереди, все, что кажется теперь таким страшным и роковым, забудется, вы еще будете счастливы — я вам ручаюсь в этом...

— Ах, Рено, ведь это слова, только слова, и от них мало утешения, — перебил его Сергей, — я знаю, что вы пережили то, что я переживаю; но вот вы сулите мне счастье, и я не могу вам верить уже потому, что сами-то вы разве были счастливы после своего горя?! Не вы ли говорили мне, что ваша жизнь разбита

и что старое никогда не забывается... А между тем ваше горе было меньше моего; у вас не оставалось упрека совести, если вас обманули и оскорбили, если ваше сердце разбили, то вы-то не разбили ничьего сердца... А я!.. Подумайте о Тане!..

Рено совсем оживился — он вдруг почувствовал под собою почву.

— Я и думаю о ней, — горячо заговорил он, — и потому то и предсказываю вам счастье! Когда я был обманут, когда недостойная женщина жестоко надругалась над моим чувством, я остался один на всем свете, оплеванный, без веры, без надежды, я никому не был нужен, никто не любил меня, я был одиноким в полном смысле этого слова — и вот в чем заключалось мое несчастье и вот что разбило мою жизнь... Я все, все силы, всего себя отдал той, которая меня обманула и надругалась надо мною, у меня ничего не осталось. Если б вы находились теперь в таком же положении, мне было бы трудно утешать вас, я не посмел бы говорить вам о счастье; но вы совсем другое дело — у вас столько друзей, родных, близких, искренне вас любящих... Да тут совсем и

не они... у вас Таня! Вот вся ваша будущность, ваше счастье и спасенье!..

— Но между нами все кончено... она все знает! И как мог я вернуться к ней, когда, несмотря на все ее достоинства, я уже не люблю ее по-прежнему, когда я безумно люблю другую?!

— Пустое! Маленькая фея вас излечит, недаром же она фея... О, я ее знаю, я в нее верю!.. Это сама судьба прислала ее сюда для вашего спасения!

Но Сергей грустно, почти безнадежно качал головою.

— Вы ошибаетесь, Рено, — повторял он.

— Не ошибаюсь, не могу ошибиться, только вы не падайте духом, будьте мужчиной и, поверьте, все устроится как нельзя лучше. Вы так молоды, у вас любящее сердце. А княжна! Да это лучшее существо, какое только встретилось мне в жизни, — так ей ли не излечить вас?! Она еще раз победит вас, и уже окончательно, навсегда; иначе мне пришлось бы сознаться, что я вас не знаю и не знал, что я в вас жестоко ошибался... Ободритесь же, мой друг, ободритесь!..

Он сам, говоря это, был так жив и бодр, так вдруг переродился, что его оживление сообщилось и Сергею, с которого вдруг будто скатилась давящая тяжесть. Он мог теперь, хоть на короткое время, хоть на несколько мгновений, оторваться от мучительной, раздражающей мысли о Мари, хоть ненадолго отогнать ее образ. Перед ним уже не мелькала ее обольстительная улыбка, не горели ее глаза, не звучал ее голос. Он видел теперь все, что его окружало. Близость Рено, этого старого, вновь найденного друга, наполнила его сердце новым и теплым чувством.

Ему вдруг тяжело стало думать о разлуке с этим другим. Вот сейчас уйдет он — и с ним вместе исчезнет этот проблеск, это оживление, этот луч невольной, неясной еще, но отрадной надежды.

— Ну что же, Рено?! — сказал он тоном упрека. — Вот мы случайно встретились, благодаря тому, что я, не замечая дороги, заблудился на парижских улицах, а теперь вы меня опять оставите?! — Вы, верно, спешите куда-нибудь, к вашим новым друзьям.

— Да, я спешу, — задумчиво ответил Ре-

но, — но только теперь я вас не оставлю... Послушайте — вам необходимо какое-нибудь развлечение, какое-нибудь волнение — все равно какое, — лишь бы оно отвлекло вас от вредных мыслей... Я ручаюсь за вас как за себя самого, и я решаюсь предложить вам провести вас туда, куда спешу... Там вы увидите много интересного.

Сергей и сам чувствовал потребность забыться.

— Я пойду за вами, — сказал он, — только куда это?

— В место, против которого вы, вероятно, уже предубеждены — и не без основания... Слышите — не без основания! — это я говорю вам... Я введу вас под своей ответственностью туда, куда проникнуть довольно трудно — в наш клуб.

— Ваш клуб?! Какой, Рено? Пойдите... Неужели вы — член якобинского клуба? Неужели вы туда меня ведете?

— Да, вы угадали.

Сергей задумался.

— Идемте! — наконец, проговорил он. — Это, во всяком случае, интересно!

XXII. ЯКОБИНЦЫ

Рено взял Сергея под руку и они пошли по направлению к улице Saint-Honore.

Рено решился употребить все усилия, чтобы так или иначе заставить своего бывшего воспитанника хоть несколько забыться. Это оказалось легче, чем он думал, потому что, несмотря на все свое горе, Сергей не мог вполне равнодушно относиться к вопросам, которые они затронули.

— Да, — проговорил он, — я с большим интересом посмотрю, что делается у вас в клубе, но прежде всего познакомьте меня с его деятельностью, скажите вы мне, что это такое? Потому что я слышал самые разноречивые толки о якобинцах: одни считают это общество ничтожным и бессильным, но большинство боится вас и рассказывает про вас всякие ужасы. Вы, конечно, можете быть уверены, что я не злоупотреблю вашим доверием и не пожелаю нанести вам какой-нибудь вред; но мое обязательство может относиться только к Парижу, и я предупреждаю вас, что, очень может быть, сочту своим долгом немедленно же рассказать все мною виденное и слышанное в

письме в Петербург — это моя прямая обязанность... Если вы против этого что-нибудь имеете, то лучше оставьте меня, и я не пойду с вами.

Рено задумался, но потом с какой-то странной улыбкой обернулся к Сергею.

— Пишите, кому хотите! Не только письмом в Петербург, но даже и вашими рассказами здесь, в Париже, вы не можете повредить якобинскому клубу... Вы можете повредить разве только лично мне — но это уже ваше дело... А что такое наш клуб, что такое якобинцы — это я вам сейчас объясню. Люди, считающие якобинцев ничтожными и бессильными, очень ошибаются, те же, кто их боится, совершенно правы, потому что это новая сила, у которой скоро все очутится в руках, к несчастью! Да, мой милый друг, с тех пор как мы не видались, я прошел через многое, я по-прежнему враг старого порядка и в этом отношении не могу измениться, но становлюсь также и врагом нового порядка, который теперь вырабатывается, почти уже выработался, и который создают, главным образом, якобинцы.

— Я очень рад это от вас слышать, Рено, — сказал Сергей, — если бы вы знали, как мне тяжело было видеть вас исполненным только злобы и ненависти! Но я не должен был отчаиваться, я должен был понимать — зная вас, — что рано или поздно вы отречетесь от всех крайностей.

— Да, да, — задумчиво говорил Рено, — негодование наше законно, слишком много накопилось... Так не может продолжаться, но, к несчастью, видно, правдивости не ужиться на этом свете! Я вижу теперь ясно, как из одной неправды мы попадаем в другую. На моих глазах произошла никак нежданная мною и страшная метаморфоза... Вы спрашиваете, что такое якобинцы и наш клуб? Он учрежден на самом разумном основании. Сначала это было просто собрание нескольких депутатов, главным образом, из Бретани, которые, для того, чтобы им было удобнее толковать о делах, наняли для своих заседаний залу в якобинском монастыре, в лице Saint-Nonore. На эти совещания решено было принимать только почтенных и известных всем людей: писателей, артистов, ораторов. Члена-

ми были: Кондорсе, Лагарп, Шенье, Шамфор, Давид, Тальма. Я считал за особую честь, когда и меня допустили и записали в члены клуба. Но вот много ли с тех пор прошло времени, — и все изменилось. Сначала мы толковали, действительно, о самых насущных делах; после переезда королевского семейства из Версаля в Париж, мы убедились, что со стороны короля не может быть никаких затруднений, следовательно, нужно было серьезно разобраться в настоящем положении Франции, уяснить себе все ее нужды, определить все ее болезни и общими силами найти для них лекарство. Этому мы и решили посвятить себя — и что же?! Прошел какой-нибудь месяц, другой — и наш клуб превратился в громадное сборище никому неизвестных крикунов, подстрекателей толпы, всяких двусмысленных, темных людей, цель которых — торжество произвола. Основатели клуба почти все исчезли, превратились из хозяев или в простых гостей, или даже в изгнанников. Мы не успели оглянуться, как к нам ворвался весь Пале-Рояль, так называемые патриотические общества Пале-Рояля...

— Пале-Рояль, — перебил Сергей, — да не вы ли же сами находили, что тамошние деятели правы? Вспомните нашу встречу! Теперь вы, слава Богу, согласны со мною...

— Да, это были первые минуты, — горячо продолжал Рено, — и я, признаюсь, жестоко заблуждался, но теперь-то мне все ясно: Пале-Рояль погубил Францию...

— Как же могли вы допустить этих людей и общества в ваш клуб? Мне кажется, вы сами виноваты.

— Вероятно, но, знаете, есть одна сила, перед которой ничто не может устоять, которая, если не возьмет своего открыто, то всегда сумеет найти окольные пути. Эта сила — деньги. Среди порядочных людей, первых якобинцев, нашлись все же и такие, которые польстились на золото, выходящее из сундуков Филиппа Орлеанского, другие были просто одурачены — и таким образом клуб наполнился новыми членами, которые в скором времени стали огромным большинством, и как подавляющее большинство завладели клубом... Я уже решил теперь, что мне надо искать нового убежища, каждое заседание до-

казывает мне, что при таком обороте носить название якобинца становится позорным. Я вовсе не желаю возбуждать к себе ужас в порядочных людях. Нужно постараться противопоставить якобинцам новую и серьезную организацию... Только вряд ли это удастся... О, как мало настоящих людей! Если вы и встречаете честного человека, то почти всегда окажется, что у него не хватает гражданского мужества... Все теперь по норам прячутся, боятся нос высунуть на воздух, потому что в воздухе гроза! Да ведь когда же и работать, когда же и жертвовать собою, как не теперь!.. Конечно, я сделаю все, что могу... Я собрал несколько одномыслящих людей, мы задумали попробовать устроить общество, цель которого была бы — противодействие всякой несправедливости, всякой неправде, из какого бы лагеря она ни выходила. У меня и сегодня дело в клубе: я намерен, наконец, потребовать отчета — по какому праву патристические общества Пале-Рояля, забыв о заявленных ими целях, позволяют себе именем народа возмутительные бесчинства? У меня в руках факт такого бесчинства, совершившегося

на днях, — и я заставлю себя выслушать. Я вижу настроение большинства якобинцев — по крайней мере, положение окончательно выяснится. Будьте и вы свидетелем того, что произойдет, только прошу вас не вмешиваться в прения и быть молчаливым слушателем... Обещаете ли вы мне это, Serge?

— Обещаю, — машинально ответил Сергей.

Его возбуждение уже прошло, и он снова чувствовал свою сердечную муку.

Между тем в это время они были уже на улице Saint-Honore и подходили к мрачному зданию старого монастыря. Рено, очевидно, хорошо знал все входы и выходы. Он взял Сергея за руку и стал вести его почти в совершенной темноте. Сначала они шли по длинному коридору, где глухо раздавались их шаги, где пахло сыростью старых, заплесневевших камней.

Но вот блеснул свет фонаря — они поднялись по каменной лестнице и вступили в ряд сводчатых комнат, освещенных лампами, наполненных густой толпой народа.

Вокруг стен стояли скамьи; перед скамья-

ми маленькие столики, массивные кожаные стулья с высокими спинками. На этих скамьях и стульях разместились, непринужденно разговаривая и перебивая друг друга, люди разных возрастов и, судя по разнообразию костюмов, различных общественных положений. Кому не доставало места на скамьях и стульях, те собирались группами и то медленно прохаживались, то останавливались, по большей части жарко споря и жестикулируя.

Кое-где мелькали одинокие фигуры. Все это были очень молодые люди с бледными, изнуренными лицами, небрежно, иногда даже бедно одетые, с фанатическим и в то же время тупым выражением в лице. Глаза их лихорадочно горели; они то мрачно сдвигали брови, то как-то зло усмехались, а некоторые из них так даже шептали сами с собою, измеряя комнаты большими, неровными шагами.

Рено указал Сергею на двух-трех таких молодых людей.

— Вот, смотрите, — сказал он, — вот они, эти герои, вот новые якобинцы!.. Это маньяки, больные изверги — и ничего больше... И пожалейте меня! — ведь я еще в России меч-

тал об этой молодежи, об этих новых, непочатых силах, которым суждено спасти Францию от всех бед... Как жестоко я обманут, как я одурачен! Теперь я хорошо познакомился с этим типом. Их много, они явились из всех углов Франции... Они не вожаки, но первые исполнители бесчинства... Они рассуждать не умеют, неспособны... Они глухи и слепы! Но кричать могут и кричать отчаянно. Их отравили красивыми фразами и, заучив эти фазы, они только и мечтают стать палачами!

— Однако, — прибавил он, — поспешим ввиду заседания; вот вам входной билет — я чуть было не забыл, что без билета вас бы не пропустили. По счастью, у меня два в кармане.

Он незаметно передал Сергею карточку.

Пройдя две комнаты, Рено и Сергей остановились перед запертой дверью. У этой двери расхаживали два человека, на плечах которых красовались трехцветные кокарды.

Взглянув на одного из них, Сергей не мог подавить в себе изумления. Это был изящный юноша, резко выделявшийся среди разнообразного и смешанного общества своей внешностью и манерами. Сергей узнал в нем моло-

дого герцога Шартрского — сына Филиппа Орлеанского. Сергей не был представлен герцогу, но несколько раз встречался с ним в Париже.

— Вот как, — шепнул Рено, — этого еще не доставало! Если герцог может вас узнать, то, мне кажется, вам уже лучше сейчас же удалиться... А могут быть мне большие неприятности, и я, пожалуй, лишусь возможности сказать с трибуны то, что непременно должен сказать сегодня же... Я, право, никак не ожидал, хотя, конечно, удивляться нечему...

— Нет, он меня не знает, не тревожьтесь, — так же тихо отвечал Сергей.

В это время молодой герцог был уже возле них.

— Citoyenss, vos cartes d'entrée, s'il vous plait! — с легким полупоклоном и любезной улыбкой проговорил он, обращаясь сначала к Рено, а потом к Сергею.

Они передали ему билеты и прошли в залу.

Это была обширная, высокая и даже величественная комната — монастырская библио-

тека. По стенам стояли шкафы со старинными фолиантами, озаренные висящими лампами, возвышалась трибуна, рядами шли скамьи, почти все занятые слушателями. Рено, подав знак Сергею следовать за ним, стал пробираться между скамьями к трибуне.

Им удалось найти два свободных места. Рено усадил Сергея, но сам не сел — он увидел, что трибуна пуста. Кругом раздавались громкие голоса, споры, почти крики, очевидно, вызванные речью только что говорившего оратора. Рено поспешил к трибуне, желая воспользоваться минутой. Ему удалось раньше других взобраться на ступеньки и занять ораторское место.

Он обвел блиставшими глазами всю залу, увидел десятки, сотни знакомых лиц — всех обычных посетителей клуба, но еще более было лиц совсем ему неизвестных, которых он видел в первый раз. Он нередко говорил с этой трибуны, говорил всегда красноречиво, увлекательно и до сих пор пользовался значительной популярностью. Его появление было и теперь встречено довольно дружными рукоплесканиями, раздавшимися во многих

местах залы, и он знал, что стоит ему заговорить, как говорил он прежде — горячими, красивыми фразами, пышными общими местами, — и эти рукоплескания только усилятся.

Но в последнее время в нем произошла большая перемена, он очнулся от своего опьянения, отрешился от своих мечтаний, он уже не верил в ту новую эру, которая мерещилась ему еще так недавно. Революция, представлявшаяся ему грозной и великой Немезидой, с каждым днем выставляла перед ним свои отвратительные стороны, и он был слишком честным человеком, чтобы продолжать служить тому, во что перестал верить. Он мог быть увлеченным, обманутым, но не мог быть сознательным обманщиком. Он стыдился теперь тех фраз, тех красивых, но, в сущности, ничего не значащих восклицаний, которые он расточал с этой трибуны. В нем явилась неодолимая потребность снова говорить; но говорить совсем иначе и высказать прямо и открыто все, что накипело в нем.

— Граждане! — начал он дрогнувшим, но решительным голосом. — Я прошу вашего

внимания и позволения поставить несколько вопросов.

Крики и споры умолкли. Вся зала стала внимательно слушать.

— Граждане! — продолжал Рено, — скажите мне, действительно мы, все здесь собравшиеся, стоим под одним знаменем, на котором начертаны великие слова: «свобода и равенство?» Вот первый вопрос, и я жду на него ответ.

Движение прошло по зале.

— Да, да! Конечно!.. Какое же может быть в этом сомнение?! Что вы хотите сказать этим вопросом, гражданин Рено?.. Объяснитесь, мы слушаем!.. — раздались отовсюду голоса.

— Вы ответили утвердительно, — заговорил Рено, — значит, каждый из вас свободен и равен один другому, но эта свобода, это равенство составляют ли только нашу привилегию, или это признаваемое нами право всех без исключения граждан Франции? Вот второй вопрос мой.

Он остановился и пристально вглядывался в своих слушателей.

По зале снова пронесся гул. Но если в первый раз в ответе слушателей слышались только недоумение и любопытство, то теперь в отрывистых словах: «Конечно!.. К чему же говорить об этом?.. Что за праздные вопросы?!» — начинало слышаться уже раздражение. В двух-трех местах раздалось, хоть и тотчас же смолкнувшее, шиканье.

— Праздные вопросы! — резко крикнул Рено, выпрямляясь и вдруг как бы вырастая на трибуне. — Нет, это не праздные вопросы, потому что люди, служащие известному принципу, должны быть последовательны и справедливы, иначе они плохие бойцы и не защитят принципа, которому желают служить... Несколько дней тому назад совершился факт, разъяснение которого на мой взгляд совершенно необходимо. К редактору распространенной и уважаемой газеты, гражданину Мало, явилась депутация от нашего клуба...

— Ну так что же из этого? Мы принадлежали к этой депутации, — крикнули, поднимаясь, несколько человек, — мы как следует поговорили с этим журналистом, и можно надеяться, что он нас понял и впредь не будет себе

позволять того, что до сей поры позволял!..

— Что же он себе позволял? — в негодовании крикнул Рено. — Всем здравомыслящим людям Мало известен как независимый, честный писатель, всегда искренне высказывающий свои убеждения, стоящий на почве законности, защищающий свободу и общественный порядок.

— А, так вы заодно с Мало, гражданин Рено? Сколько он заплатил вам за вашу адвокатскую защиту? — раздался насмешливый голос.

Но Рено решился оставить эту насмешку без внимания.

— Мы можем быть несогласны с некоторыми взглядами Мало, — говорил он, — но каждый искренний и честный человек достоин уважения. — И вот депутация якобинцев врывается в кабинет такого человека и требует от него, чтобы он изменил свои убеждения и говорил только то, что приятно клубу и патристическим обществам Пале-Рояля. Если же он этого не исполнит, то ему объявляют, что он будет подвергнут всевозможным насилиям. Скажите мне, правда ли это? Верно ли это

мне передано?

— Конечно, правда, как же иначе и говорить с подобными господами?

— Я надеялся услышать опровержение, но теперь вижу, что переданный мне рассказ верен. Мало отвечал, что он признает только авторитет закона, который должен быть авторитетом и для якобинцев, и для всех граждан Франции. Не признавать авторитета закона — значит, служить плохую службу родине, изменять ей... И что же вы ему отвечали? Вы отвечали, что вы — представители народа и выражаете приказание нации, которого он должен слушаться...

— Да, конечно, и если он не исполнит нашего требования, то с ним будет поступлено как с изменником, как с ослушником воли народа!

Фигура Рено вовсе не была так создана, чтобы обращать на него всеобщее внимание, он не мог ею импонировать. Очень небольшого роста, сутуловатый и хотя подвижный, но довольно неловкий в своих движениях, он с первого взгляда производил даже почти комичное впечатление. Его нос был чересчур

длинен, рот как-то странно и нервно кривился; только глаза его и прекрасный открытый лоб скрашивали это неправильное, угловатое лицо и заставляли забывать его некрасивость.

На высокой кафедре он в первую минуту показался очень смешным. При этом еще у него был довольно слабый голос, и, желая говорить громко, так, чтобы слова его слышны были по всем углам залы, он невольно доходил до резких, крикливых нот, что тоже, конечно, не могло способствовать благоприятному впечатлению.

Внешность оратора, звук его голоса, его манера говорить — великое дело, и самые пустые слова, самые неудачные парадоксы, высказанные с кафедры человеком, обладающим красивой и симпатичной наружностью и звучным голосом, часто наэлектризовывают слушателей несравненно сильнее, чем великие истины, глубокие мысли, выкрикнутые некрасивым человеком. Трибуна и кафедра — во всяком случае, та же сцена, и нужно, прежде всего, быть искусным актером, для того чтобы действовать на аудиторию и вызы-

вать ее рукоплескания.

Рено вовсе не думал об этом, но, сам того не замечая, он преображался с каждой минутой. Страстная искренность, с которой говорил он, горячее возмущенное чувство, наполнявшее его, наложили отпечаток на его лицо. Глаза его горели и искрились, вся невзрачная фигура вдруг выросла и приняла выражение смелости и гордой решимости. Он не трепетал перед этой тысячной аудиторией, не ждал ее одобрения, не боялся ее свистков. Он решился принять на себя все последствия смелой речи и говорил, потому что ему уже давно необходимо было высказаться, потому что он верил в истину каждого своего слова.

«Ваше требование, — говорил он, — и воля народа!» — Я понимаю, что вы можете требовать, чего вам угодно; но причем тут воля народа — этого я не понимаю! Докажите мне, что вы уполномочены народом, что вы, действительно, воплощаете в себе выражение его желаний, его воли — и тогда если я буду спорить, то уже с народом, а не с вами... Но дело в том, что народ вовсе никогда не думал уполномочивать вас и не может уполномо-

читать на тот способ действий, какой вы избрали теперь!..

«Вы давно позабыли о народе, да, вероятно, никогда о нем и не думали, вам он не нужен, вам нужно только его имя как благовидный предлог, как ширма, за которою вы прячетесь, когда вам нечего ответить, нечем оправдать сделанную вами несправедливость! „Воля народа! Такова воля народа!“ — кричите вы и думаете этим зажать всем рты и одурачить. Но ведь вы сами же хорошо понимаете, что только клеветаете на народ и что он хочет вовсе не того, чего вы хотите и добиваетесь!.. Прикрываясь волей нации, вы творите только свою волю!..

Проклиная прежнюю и теперь уже бесильную тиранию, вы создаете тиранию новую, деспотизм неслыханный, которому подобного еще никогда не бывало. Ваша цель — заставить всех следовать за вами, но не в силу убеждений, не в силу правоты вашей, а просто из страха перед вами — вы хотите запугать всех, навести на всех ужас... Позвольте же сказать вам, что правое дело во всяком случае не нуждается в таких средствах!..

Крича о свободе и равенстве, вы требуете свободы только для себя и для тех, кто поддается вам во всем, что бы вы ни говорили и ни делали. Всякого же человека, осмелившегося иметь свое собственное мнение, как бы искренне и как бы даже справедливо оно ни было, вы немедленно же лишаете человеческого достоинства, вы тотчас же хотите закабалить его, превратить в вашего раба — и вы называете это свободой и равенством?! Нет, у вас другой девиз, другое знамя: „трепещи, умирай или думай, как я!“ — вот слова, начертанные на вашем знамени! Вы считаете себя обновителями, спасителями Франции — жестокое заблуждение! — не вы ее спасете, вы можете только удесятерить ее беды, только погубить ее!..»

Рено почти задыхался от волнения. Он замолчал, отер дрожащей рукой холодный пот, выступивший на лбу, и обвел залу сверкающим, негодующим взглядом.

Его слова были так неожиданны, они были произнесены так вдохновенно, с такой силой, наконец, в них было столько правды, невольно сознаваемой каждым из слушателей, что

вся зала будто замерла. Все эти люди, для большинства которых не существовало никаких приличий, которых самым любимым их ораторам не удавалось заставить себя выслушивать до конца спокойно и в молчании, теперь сидели будто окаменев, с изумлением и почти со страхом глядя на смелого и вдохновенного Рено.

Но он замолчал — и обаяние его горячей речи исчезло.

Вся зала точно вдруг проснулась. Со всех сторон поднялось волнение.

XXIII. В КЛУБЕ

Заняв место на скамье недалеко от трибуны, Сергей машинально оглядывал залу и скоро стал изумляться, зачем это он пришел сюда. Он чувствовал, что ему нет равно никакого дела до того, что здесь происходит. Он безучастно всматривался в окружавшие его лица, ловил раздававшиеся кругом фразы, и в то же время сердце его безумно ныло, хотелось ему бежать куда-нибудь дальше, все равно куда, только бы как-нибудь скрыться от настигавших и томивших его мучительных мыслей. Но он хорошо знал, что ему идти некуда,

что нигде не будет лучше — и впадал в какое-то тихое отчаянье и сидел неподвижно.

Заметя, как Рено стремительно пробирается к трибуне, он изумился, глядя на его взволнованное и озабоченное лицо.

— Ну, чего он, зачем? — подумалось ему. Что он будет говорить такое? Неужели он может интересоваться этим?! Ведь все равно, что бы он ни сказал, он ничем не поможет — глупость и подлость останутся неизменны...

Но едва Рено заговорил, как Сергей вышел из своего равнодушия.

Если нежданная, горячая речь Рено производила сильное впечатление на всех слушателей, то на Сергея она произвела еще сильнейшее впечатление. Внезапно позабыв себя, он всем сердцем отозвался на слова своего воспитателя; он радостно ловил их. Ему так тяжело было лишиться Рено — и вот Рено опять найден, опять вернулся, неизменный, такой же точно, какого Сергей знал, любил и уважал.

Снова пахнуло на него обаяние старых дней, горячих, задушевных разговоров, во время которых Рено воодушевлялся так же,

как и теперь, и весь кипел возмущенным чувством, благородным негодованием. Он умел тогда передать это чувство, это негодование воспитаннику, и Сергей сам проникался ими. То же самое случилось и теперь.

Когда Рено замолчал и прошла первая минута,

Сергей прежде всех крикнул ему «браво!» и громко захлопал в ладоши. Такие же крики поднялись и в разных местах залы, но скоро они были заглушены дружным шиканьем огромного большинства.

Началась всеобщая сумятица. Несколько десятков людей, толкаясь и перескакивая через скамьи, устремились к трибуне, на которой еще виднелась фигура Рено, очевидно, утомленного волнением и растерянного.

Едва наступило мгновение сравнительной тишины, как снова прорывались рукоплескания и тотчас же их заглушали неистовые свистки и шиканье.

Рено пробовал сойти с кафедры, но это оказалось невозможно — толпа обступила его со всех сторон и не пропускала.

— Браво, гражданин Рено! — раздавалось

то там, то здесь.

— Рено, прочь с кафедры! Нам не нужно проповедников! Не нужно изменников! — тотчас же подхватывали десятки голосов.

— Рено, спасибо! — горячо пожимая руки, шептали пробравшиеся к нему друзья и единомышленники. — Пора было давно все это им высказать, к тому же, если эти средства, которые теперь практикуются, были мыслимы в виде ожидавшегося сопротивления и насилий с той стороны, то теперь, когда сопротивления ниоткуда не предвидится, когда все соединяется и возможна дружная и честная работа, такие средства — только подлость и ничего больше!

— Вы правы — это не сторонники и не представители народа, это первые и смертельные враги его!..

Так шептали друзья Рено, но их шепот был слышен только ему одному, не нашлось ни одного человека, который решился бы громко повторить только что им сказанное.

Между тем волнение в зале все усиливалось. Несколько крикунов, не скупившихся давать Рено наименования «изменника» и

«отступника», подзадоривали более спокойных. Теперь уже ясно слышались угрозы.

— Кто не с нами, тот против нас! Что он такое толкует о мягких средствах, об убеждениях — не время воспитывать людей, убеждать, уговаривать и упрашивать! Если человек не понимает, тем хуже для него, с дураками какие разговоры... Их бить надо, и будем бить всех, кто станет говорить и действовать против нас!.. Да о чем толковать, чего ждать? Вот уже в нашем клубе появляется измена. Этого Рено нужно наказать, пусть его пример послужит и для других уроком.

— Да, проучим его хорошенько, авось тогда перестанет хвастаться и смущать своей болтовней. Смотрите, не упускайте его из виду!..

Ни Рено, ни Сергей не слышали, однако, этих угроз. Рено, наконец, удалось сойти с кафедры, и он поместился рядом с Сергеем, который в волнении жал его руки.

Они решились уйти из клуба, но пока для этого не представлялось никакой возможности — такая была давка. К тому же на кафедру взошел уже новый оратор, один из растрепан-

ных и разгоряченных молодых людей, на которых Рено раньше еще указывал Сергею.

Появление такого оратора где-нибудь на улице, среди пьяной бессмысленной черни было еще понятно. Чернь могла аплодировать пьяному голосу, дерзкой брани, энергичному жесту. Но в этой обширной монастырской библиотеке собралась все же не чернь, а люди, считавшие себя способными руководить общественным мнением. И странно было видеть, что пьяный оратор, несмотря даже на волнение, вызванное речью Рено, успел собрать вокруг кафедры достаточное число слушателей, прерывавших его знаками одобрения и восторженным «браво».

А между тем что такое говорил он?! Выкатив глаза, то и дело стуча кулаками о пюпитр, он раздражался одними лишь отрывистыми фразами, в которых заключались только ругательства и ничего больше. Это был какой-то безумный призыв ко всеобщему разрушению, за которым должен был последовать безобразнейший хаос.

Если полупьяная, раздраженная толпа черни, кинувшаяся в Версаль, производила на

Сергея впечатление звериного стада, то теперь ему казалось, что он находится в доме умалишенных. И он ясно видел, что умалишенные эти безнадежны, что нет никакой силы, способной заставить их очнуться.

Но помешанных в этой зале было, во всяком случае, несравненно меньше, чем людей, пользующихся их помешательством для достижения ясно поставленных целей.

Недалеко от трибуны, у стены, почти совсем скрытый за книжными шкафами сидел неподвижно, не обращая на себя ничего внимания, скромно, но прилично одетый человек средних лет. Он был, по-видимому, довольно равнодушным зрителем и слушателем. Когда после речи Рено вся зала волновалась, аплодировала и шикала, он оставался все таким же безучастным и даже почти ни разу не изменил позы. Но взглядевшись в его сухое лицо с резкими чертами и быстрым острым взглядом, легко было догадаться, что это спокойствие и равнодушие — только маска. Спокойный и как будто даже уставший, человек этот не проронил ни одного слова из того, что говорилось, он отлично заметил всех, кто

отнесся сочувственно к речи Рено. Теперь он сидел так же неподвижно, время от времени закрывая глаза, и с едва заметной, презрительной усмешкой слушал безумные фразы, раздававшиеся с кафедры.

Вдруг он заметил, что у входной двери, остававшейся запертой во все время заседания, показался новый посетитель. Человек этот не снял своей шляпы, как, впрочем, и большинство находившихся в зале, при этом он был закутан плащом, который скрывал всю нижнюю часть лица его. Таким образом, различить можно было только его глаза, и он смело мог встретиться со знакомыми с ним людьми и не быть ими узнанным, если бы только захотел этого. Но неподвижно сидевший за книжными шкафами человек, очевидно, все же узнал его. Он с некоторой досадой покачал головой и прошептал:

«Ну зачем он является сюда, да еще в таком виде? Недостаёт только, чтобы он надел маску и этим еще больше обратил на себя внимание... Хорошо ведь знает, что и без него все будет сделано, так нет, не терпится... Интересно... Порисоваться нужно!.. И он сам се-

бя уверяет, что без него никто ничего не сумеет сделать, что он — все... Ну, да, впрочем, пускай себе забавляется, как придет время, и ему будет указано его настоящее место!..»

Между тем закутанный человек был уже близко. Он, в свою очередь, заметил узнавшего его и, сделав ему легкий знак рукой, стал к нему пробираться. Тот встал, уступив ему свое место, и они заговорили.

Закутанный человек был владелец Пале-Рояля, герцог Филипп Орлеанский, а молчаливый наблюдатель со спокойным лицом и быстрыми глазами — его доверенный, его фактотум Лакло.

Кто не знал близко Лакло, а близко знали его очень немногие, тому и в голову не могло прийти, каким могуществом обладает этот человек, какая сила сосредоточивается в руках его. По-видимому, он играл очень незначительную роль и не обладал качествами, с помощью которых люди пробиваются вперед и занимают видные места. Он держал себя всегда очень скромно, не отличался красноречием и всегда молчал, когда говорили другие. Единственный видимый талант его был кра-

сивый почерк, и вот этот-то почерк дал ему первые занятия при герцоге Орлеанском.

Прошло немного времени, и Лакло самым незаметным образом вкрался в доверие герцога и мало-помалу сделался нужным для него человеком, без которого он не мог уже ступить шагу.

Оставаясь все тем же скромным и молчаливым переписчиком, Лакло забрал в руки и герцога и весь Пале-Рояль. Он вставал рано и поздно ложился, весь день был на ногах; молчаливый, постоянно стушевываясь, являлся то там, то здесь, во всех углах Парижа и неустанно работал. Над чем? Над всякой интригой, какова бы ни была она. Интрига была его стихией, и в этом деле он оказывался истинным, даже великим артистом. Он ненавидел всех и все и ко всему роду человеческого относился с величайшим презрением. Способствовать несчастью как можно большего числа людей, вызывать всюду борьбу, сеять раздор, доставлять торжество одному, с тем чтобы вслед за этим и его одурачить, ставить людей то в смешное, то в трагическое положение, а самому оставаться в стороне и любо-

ваться делом рук своих — такова была цель его жизни.

В прежние годы, до революционного движения, он был неизменным пособником Филиппа Орлеанского в разнообразных его любовных похождениях. Но, ценя его услуги и щедро их награждая, герцог не подозревал, что он обязан Лакло далеко не одними удовольствиями, а также и всевозможными неприятностями и часто большими затруднениями, в которых он оказывался. Теперь, в последние годы, когда властолюбие герцога и все его дурные инстинкты увлекли его в революционную деятельность, Лакло опять оказался его ближайшим пособником. Но и тут он работал вовсе не ради выгод своего доверителя — он готовил ему неизбежную гибель и, между прочим, вел его к быстрому разорению. В его руках оказались все денежные средства Филиппа Орлеанского, и, уже не говоря о том, что Лакло прежде всего обогащал себя самого, он расточал деньги герцога часто именно тем людям, которые были и оставались его врагами. Одну только услугу оказал Лакло своему герцогу: скрываясь за ним и вы-

ставляя его имя во главе целого ряда хитро-сплетенных интриг и всевозможных махинаций, он поставил его на некий пьедестал, и образ Филиппа «Egalite» долгое время являлся окруженным каким-то мрачным и таинственным ореолом, ореолом злого гения Франции в революционную эпоху. Но туман все больше и больше рассеивался, и «Egalite» начинает представляться довольно жалкой фигурой легкомысленного и одураченного честолюбца, заплатившего дорогой ценою, ценою тревожной, лихорадочно мучительной жизни и позорной смерти за свои пороки и легкомыслие. Из-за выставленной напоказ статуи ясно выглядывают живые люди, приводившие ее в движение, и на первом месте между ними является Лакло, которому бесспорно должна принадлежать печальная известность одного из самых деятельных и способных воротил французской революции...

— Что за шум такой сегодня? — вполголоса спрашивал герцог Орлеанский, усаживаясь и картинно драпируясь своим плащом, — я вообще замечаю, что здешние собрания становятся все более и более шумными. Сначала

все было так согласно... Неужели являются серьезные разногласия?

— Никаких разногласий нет и быть не может, ваше королевское высочество, — отвечал Лакло, — все как нельзя лучше: наши агенты вербуют достаточное количество подходящих людей, наши денежные средства дают нам возможность раскинуть якобинскую сеть по всей Франции, и недалеко то время, когда вся рыба попадет в наши руки. А шум... это хорошо, видите ли, один из прежних членов, Рено, вздумал читать мораль и объявлять действия наших произволом и насилием... Ну вот и поднялся крик!..

— И что же, у этого Рено много оказалось сторонников? — озабоченно спросил Орлеанский.

— Почти никого, но все же я некоторых отметил и готов принести гражданину Рено мою сердечную благодарность. Поистине мы ему очень обязаны; если б он молчал, ему, пожалуй, бы дали какое-нибудь поручение, отправили бы в провинцию, и там он, хоть и не особенно, конечно, но все же мог бы повредить делу. Теперь же никакой ошибки быть

не может.

— Но мне помнится, этот Рено имел некоторое влияние, он хорошо говорит, а главное, он много знает и может, пожалуй, повредить делу — подумали ли вы об этом, Лакло?

— Насчет этого не беспокойтесь — немедленно же будут сделаны необходимые распоряжения, и как он, так и все те, кто показал сочувствие словам его, окажутся запертыми. Я поручу надежным людям следить за каждым их шагом, и в случае чего, пусть уж себя винят, мы так или иначе обрежем им когти.

— Да, конечно, — раздумчиво проговорил Орлеанский, — с такими людьми нечего церемониться, только все же нужно действовать осторожнее в подобных случаях. Знаете ли, Лакло, что в Париже уже начинают поговаривать об исчезающих людях? Не далее еще как сегодня я слышал подобную историю о каком-то Дешане, который будто бы исчез при очень странных обстоятельствах... Я прежде никогда не слышал этого имени. Не знаете ли вы чего об этом деле?

— Немного знаю, — спокойно, с легкой улыбкой проговорил Лакло. — Дешан был по-

опаснее Рено, и от него необходимо было как можно скорее избавиться... Впрочем, это самая обыкновенная история, в которой нет ровно ничего таинственного: он, кажется, встретился поздно ночью за городом, на берегу Сены, с каким-то человеком, с которым крупно поспорил. Кончилось дракой. Дешан ведь мог сам поколотить этого человека: но, оказалось, что он был хоть и ловкий парень, а тут-то сплеховал — и выкупался в Сене с камнем на шее... Вольно же гулять поздно ночью...

— Однако ведь я чуть было его не выпустил, — оживленно прибавил он, заметив, что Рено, в сопровождении Сергея, быстро пробирается к выходу из залы.

Лакло в свою очередь, оставив герцога, устремился по тому же направлению и, подойдя к одному, а потом к другому из своих агентов, шепнул им, чтобы они следили за Рено.

— Не выпускайте из виду также и спутника, вот этого красивого молодого человека, — сказал он. — Я не знаю, кто он, я вижу его в первый раз — он никогда прежде здесь не бы-

вал. Узнайте о нем все подробнее и завтра же мне сообщите.

Распорядившись таким образом, Лакло спокойно вернулся на свое прежнее место.

Рено с Сергеем быстро выходили из якобинского монастыря. Был уже глухой час ночи, и хотя фонари, расставленные довольно редко в этой части города, горели тускло, но взошедшая полная луна обливала все предметы ярким светом.

— До свиданья, мой друг, — сказал Рено, крепко сжимая руку Сергею, — не унывайте, не падайте духом. Теперь уже поздно, поспешите домой — маленькая фея, верно, не спит и дожидается вас, и тревожится. Завтра утром я буду у вас непременно... и, не знаю, об этом нужно хорошенько подумать... быть может, я так устрою со своими делами, что совсем, по-старому, переселюсь к вам. Я и теперь бы отправился вместе с вами, да никак нельзя — хоть и поздно, но мне необходимо видеть одного человека.

— Так смотрите же, завтра я жду вас! — проговорил Сергей, но таким странным, глухим голосом, что Рено тревожно всмотрелся в

лицо его.

Они расстались. Каждый пошел своей дорогой, и ни тот, ни другой не заметили, что следом за каждым из них, в нескольких шагах, прячась в тени, движется по темной фигуре.

XXIV. ВЫЗОВ

Расставшись с Рено, Сергей направился домой. Временное оживление, которое он испытал было в яacobинском клубе, теперь исчезло. Он вдруг позабыл все, что видел сейчас и слышал, позабыл Рено и снова стал думать о своей герцогине, и снова тоска и отчаянье наполнили его.

«Рено говорит, что вся жизнь впереди, что время все излечит! Он видит даже благополучие для меня в моем несчастье... Да ведь так всегда успокаивают люди, но разве когда-нибудь этим можно успокоить? Пусть вся жизнь впереди, пусть излечит время, да ведь сегодня-то, сейчас... все это не сон, все это наяву случилось!.. Ведь это она говорила, ведь это она так невыносимо глядела на меня!.. Она ждала итальянца и, может быть, теперь он с нею!..»

При этой мысли вся кровь бросилась в голову Сергея. Он остановился, огляделся во все стороны, все же не замечая следовавшего за ним человека, который, увидя его движение, тоже остановился и притаился в тени у крыльца высокого дома.

«Домой, теперь домой идти?! — подумал Сергей, — разве это возможно?.. Что я там буду делать?!»

Он сообразил дорогу и быстрым шагом направился к отелю д'Ориньи. Темная фигура последовала за ним, не приближаясь, но и не отставая.

Во все время довольно долгого пути до Сен-Жерменского предместья Сергей находился в состоянии, близком к помешательству. Он уже бессильно поддавался охватившему его чувству жгучей ревности. Ему так невыносимо было сознание, что герцогиня его уже не любит, что она ему изменила, ему было так страшно признать ее совсем не такой, какою она ему до сих пор представлялась, — он невольно ухватился за итальянца и на него одного взвалил вину случившегося, и его одного ненавидел.

Теперь он должен был добыть его во что бы то ни стало, сорвать с него маску и уничтожить его или быть им уничтоженным. Это был единственный выход из того невыносимого состояния, в котором он находился.

И он спешил к отелю герцогини в тяжелом предчувствии, говорившем ему, что там, у этих знакомых стен, он будет ближе к этому ненавистному итальянцу, чем где-либо.

Вот и отель д'Ориньи. На улице ни звука, ни души. Луна освещает громады мрачных и величественных зданий. Сергей внимательно оглядел весь фасад, все окна, но ничего подозрительного не мог заметить, нигде не было видно света — казалось, все спят в отеле.

— Он здесь, он здесь!.. — чуть громко не крикнул Сергей. — Я чувствую, что он здесь!..

Но ему не хотелось идти к привратнику и стараться у него выведать, был ли кто-нибудь после него у герцогини. Конечно, этот привратник должен все знать, мимо него невозможно проникнуть в отель. Привратник — хитрый, жадный старик. Сергей немало переплатил ему денег и своей щедростью, по-видимому, заслужил его расположение — он,

конечно, от него ничего не скроет.

Было даже мгновение, когда Сергей уже направился к воротам, но тотчас же и отошел — ему стало неловко, стыдно, невыносимо.

— Все же я не уйду отсюда, — безумно шептал он, — и ведь в таком случае он меня, наверное, увидит — так светло...

Однако привратник, вероятно, только хватался ревностным исполнением своей должности, он преспокойно спал в каморке у ворот во дворе, и Сергей мог быть на этот счет спокоен.

— Но ведь я могу войти в отель, привратник меня впустит, а там я знаю все ходы — мне никого не нужно... я могу легко проникнуть до галереи, до комнат Мари... и если только...

Ему представилась возможность застигнуть итальянца в самом отеле и уничтожить его без всяких рассуждений.

Но, по счастью, он недолго останавливался на этой мысли, в нем заговорило чувство оскорбленного достоинства.

— Я не переступлю больше порога этого до-

ма, если не смогу убедиться, что его здесь нет.

Ни над чем больше не задумываясь, он остановился на противоположной стороне улицы, против отеля, увидел широкие ступени крыльца и, поднявшись по этим ступеням, сел на камни, не замечая сырости и холода. Здесь он был в тени, и весь отель д'Ориньи, освещенный луной, был перед ним как на ладони. Если кто-нибудь выйдет оттуда, то, откуда бы он ни вышел, Сергей тотчас же заметит.

И сидя на холодных каменных ступенях старинного широкого крыльца, Сергей весь превратился в слух и зрение, боясь пропустить малейший шорох.

Но так как все его внимание было сосредоточено на отеле д'Ориньи, то он и не мог заметить, что всякое движение его повторяется, будто в зеркале, другим человеком... Теперь этот человек, точно так же как и он, сидел на ступенях крыльца одного из соседних домов, и, не спуская глаз, глядел на Сергея.

— Тут что-то странное! — думал он. — Ну что ему здесь надо и неужто он проторчит так всю ночь? Ведь так, пожалуй, он меня со-

всем заморозит! Да делать-то нечего, если уж взялся выследить, то и выслежу наверное!

Прошло около часа, а Сергей все сидел неподвижно. И так же неподвижно сидел следящий за ним человек, положение которого в настоящем случае было, пожалуй, еще хуже, чем положение Сергея. Тот, в своем волнении, по крайней мере, не замечал ни времени, ни холода, а этот оставался спокойным, считал каждую минуту, продрог совершенно и проклинал Сергея на чем свет стоит.

— Ну, уж, любезнейший, удружу же я тебе за это — будешь другой раз людей морозить! — думал он, начиная серьезно ненавидеть Сергея и искренне считать его причиной своих страданий.

Однако именно в ту минуту, когда терпение его начинало окончательно истощаться, небольшая калитка у отеля д'Ориньи приотворилась и пропустила мужскую фигуру. Сергей внимательно всмотрелся и чуть не крикнул от муки, бешенства и отчаянья. Никаких сомнений не оставалось — это был он, итальянец, граф Монтелупо. Он выходил из отеля в поздний час ночи, почти под утро!..

— Я знал, что он там... Я знал! — стуча зубами, подумал Сергей.

Но нет, видно, несмотря на всю свою уверенность, у него оставалась надежда, он все же считал возможным обмануться, потому что теперь появление Монтелупо поразило его как громовой удар, и он несколько мгновений не мог собраться с силами.

Наконец он очнулся, тихо сошел с крыльца и направился следом за Монтелупо.

И опять его движение было в точности повторено следившим за ним человеком, лицо которого выражало теперь большое изумление.

Три фигуры, в некотором расстоянии друг от друга, двигались по улице Сен-Жерменского предместья. Монтелупо шел бодро и даже начал насвистывать какую-то песню, не ожидая ничего для себя неприятного и не рассчитывая ни на какую встречу.

А между тем Сергей был уже в нескольких шагах от него.

— Убить его? — бешено думал он. — Он стоит того, чтобы его убить как собаку!

Но, несмотря на все свое бешенство и отча-

ьяне, Сергей, конечно, не был способен привести в исполнение подобную угрозу. Он решил не выпустить этого ненавистного ему человека, но прежде всего необходимо было сорвать с него маску, убедиться, что Сильвия не ошиблась, что он действительно тот самый негодяй и шулер, которого он знал в Болонье. Сергей нашел в себе силу сдержать свои чувства, и, подойдя близко к итальянцу, он почти спокойным голосом крикнул:

— Синьор Бринчини!

Этот возглас был до такой степени неожиданный, что тот мгновенно остановился и, обернувшись, с изумлением воскликнул:

— А? Что такое? Кто зовет меня?

Но это было только одно мгновение. Луна все еще светила, и он узнал Сергея.

— Что вам угодно, милостивый государь? — спросил он, быстро оправляясь от своего смущения, — и зачем обратились вы ко мне, называя меня не моим именем? Если не ошибаюсь, я имел удовольствие встретиться с вами в салоне герцогини д'Ориньи, и нас познакомили. Меня зовут граф Монтелупо.

— Вас зовут Бринчини, — глухим голосом

перебил его Сергей, — и вы сами признались в этом, спросив кто вас окликнул. Но если бы вы и не отозвались на действительное ваше имя, это было бы решительно все равно — как видите, я вас знаю, и предо мною вам нечего играть комедию.

Итальянец опять смутился, но полумрак все же скрывал яркую краску, выступившую на его лице, и к тому же он, очевидно, привык уже к разным неприятным приключениям и не терял присутствия духа.

— Вы меня не знаете, — становясь перед Сергеем в вызывающую позу сказал он, — конечно, вы принимаете меня за другого, и я буду просить вас скорее объясниться.

— Я принимаю вас именно за того, кто вы есть! — уже теряя всякое спокойствие, крикнул Сергей. — Вы Бринчини из Болоньи!!

— Повторяю: вы обмануты каким-нибудь ложным свидетелем. Но слова ваши, во всяком случае, крайне оскорбительны, и я вовсе не намерен пропустить их мимо ушей.

— Да это было бы для вас довольно трудно. Я повторяю вам, что знаю вас — вы самозванец и шарлатан... Слышите ли? Вы употреб-

ляете самые низкие способы, чтобы одурачить людей и втереться в такое общество, которое может быть вам полезно. Вы обманываете легкомысленных женщин и старых дураков, но напрасно вы думаете, что не найдете людей, которые легко поймут ваше шарлатанство и ваш наглый обман...

По мере того как Сергей все больше и больше терял власть над собой, итальянец, наоборот, делался все смелее и смелее. При последних словах Сергея он уже стал улыбаться и самым вызывающим тоном проговорил:

— Ах, теперь я вас понимаю, вы придираетесь ко мне и оскорбляете меня из зависти к моим успехам в том обществе, в котором, вероятно, до моего появления вас лучше принимали. Ну что ж, это очень понятно, молодой человек, и, делать нечего, мне придется переговорить с вами... Я бы с большим удовольствием исполнил это теперь же, не сходя с места, но только видите — при мне нет оружия. Приходится пожалеть о старой моде, при которой человеку дана была возможность когда угодно отвечать на оскорбления. К тому же, вероятно, вы пожелаете обставить поединок

всякой торжественностью, секундантами...

— Да, я буду драться с вами! — задыхаясь проговорил Сергей. — Вот мой адрес, и завтра я пришлю вам моего секунданта. Я вам делаю эту честь, хотя вы ее не стоите...

— Вы бы хорошо сделали, милостивый государь, если бы удержались от дальнейших оскорблений, — внушительно перебил его итальянец. — Вы должны знать, что раз поединок решен, противники обязаны вежливо относиться один к другому. Я, как видите, не отступаю от этого правила... Вот мой адрес, я до полудня буду ждать вашего секунданта.

Он учтиво поклонился, и так как они находились на перекрестке двух улиц, повернул в одну из них и пошел скорым шагом.

Сергей оставался совсем измученный, растерянный и обессиленный. Он горячо желал такого исхода, желал или убить этого человека, или быть убитым. Но в то же время ко всем его терзаниям примешивалось еще какое-то противное чувство неловкости, большого недовольства самим собою. Только, конечно, он не стал отдавать себе отчета в этом чувстве и, увидев проезжавшую извозчицью

коляску, сел в нее и поехал к церкви Магдалины.

Положение якобинского агента, следившего за ним до последней минуты, по-видимому, становилось теперь затруднительным — он поневоле должен был потерять его из виду, так как другого экипажа на улице не оказалось. Но агент нисколько не смутился, он оставил Сергея в покое и устремился вслед за итальянцем. Догнав его, он без церемонии хлопнул его по плечу и назвал именем Бринчини.

Итальянец оглянулся, всмотрелся и совсем успокоился.

— А, это вы, Ранси? — сказал он. — Каким образом вы сюда попали?

— А вот по поручению наших, выслеживаю того молодчика, с которым вы сейчас говорили. Право, я очень рад, что попал на вас. Он чуть меня не заморозил, так, видно, судьба, наконец, сжалилась надо мною... Ну, что если бы не вы? Надеюсь, вы его хорошо знаете и можете сообщить о нем достаточно сведений, и если мне не хотите рассказать, так все равно, сами наведаетесь к гражданину

Лакло — он будет вам очень благодарен за доставленные вами подробности...

— Так он нашим нужен! — проговорил итальянец. — Я знаю его очень мало, но все, что о нем знаю, вы сейчас узнаете — мне вовсе нет необходимости от вас скрывать. Это богач, русский князь, которого я встретил в том доме, откуда теперь иду.

— Чей же это дом?

— Помилуйте, вы еще спрашиваете! — весь Париж знает, что это отель герцога д'Ориньи.

— Так вы теперь от герцога?

— Нет, не от герцога — я с ним еще не знаком, а от герцогини, — хвастливо ответил итальянец.

— Вот как! Впрочем, я ведь и позабыл, что вы теперь с разными герцогинями и маркизами дела обдeldываете... Молодец!.. Ну, да большому кораблю большое и плавание — нам за вами не угнаться... Так как же насчет молодчика?

— А насчет молодчика, это завтра решено будет... Если вы следили за ним, то должны были слышать разговор наш...

— То-то и есть, что не расслышал: близко подойти я боялся — я мог помешать вам.

— Я завтра буду с ним драться и, если желаете, можете быть моим секундантом.

— Дуэль! — проговорил Ранси, — еще бы! Ну, совсем вы, значит, в аристократы записались!.. Что ж, пожалуй, буду вашим секундантом, только не знаю вот, как это нашим понравится. Ведь Лакло нужно пока только узнать о нем, а если он иностранец, да еще и богач в придачу, так он, пожалуй, мог бы и пригодиться, сами знаете — от иностранцев, от этих богатых дураков, немало денег нам перепадает...

— Нет, это вряд ли... Не из таких, кажется... От него не наживешься. Мои маркизы и герцогини в этом отношении гораздо полезнее, а секунданта, такого как вы, мне очень надо... Ведь кто его знает, как он справляется со шпагой?! Не пропадать же в самом деле из-за него! Если б можно было это устроить здесь, на улице, с глазу на глаз, тогда мне не нужно было бы никакого свидетеля, а завтра... Вы ловкий человек, Ранси, и сами понимаете, может ведь и я пригожусь вам!.. Так уж потруди-

тесь занять его секунданта, чтобы он не путался, да не очень пристально следил за мною. И не бойтесь взять грех на душу, я вообще не намерен убивать его — хорошая царапина, в другой раз будет осмотрительнее, а там... если он может вам на что-нибудь пригодиться, тем лучше.

— В таком случае я охотно соглашаюсь, — сказал Ранси, — а так как теперь уже поздно, то не позволите ли мне пойти с вами... До дому-то еще очень далеко, а у вас, верно, найдется местечко, где бы я мог прикорнуть. Тогда, как бы рано он ни прислал к вам своего секунданта, я буду к вашим услугам.

— Прекрасно, любезный друг, идемте!

Итальянец пожал ему руку, и они скрылись во мгле пустой улицы.

XXV. ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

Сергей вернулся домой на себя не похожий, Си Моська, который с тоской и волнением дожидался его, взглянув на него, не мог даже и слова вымолвить. Он провел его в спальню и суетился, помогая ему раздеваться. Сергей как бы совсем даже не замечал его присутствия, но в то же время казался ему как-то

особенно кротким и жалким.

Наконец, Моська не выдержал.

— Батюшка, — сказал он, — али беда какая случилась — на тебе лица нету!.. Не томи, родимый, силушки не хватает глядеть на тебя, такого!

Услышав этот ласковый, знакомый голос, Сергей как бы очнулся, но ему уже не надо было теперь Моськи, ему никого не было нужно.

— Не спрашивай, Степаныч, — если есть горе, то ему ты не поможешь! Устал я очень, потуши свечи и уходи.

— Да как я тебя оставлю?! Болен ты, что ли? — так скажи, не таись!

— Говорю тебе, что устал, — досадливо перебил его Сергей, — я здоров и ничего не случилось... Ну, и оставь меня — дай заснуть!

Но у Моськи слишком накипело сердце за весь этот вечер, за всю эту ночь.

— Да убей ты меня, — завизжал он, — право, лучше будет, вот возьми и убей — и вся недолга. — А такого видеть я, воля твоя, не могу! Ну, где это ты, сударь мой, был, где пропал? Ведь пойми ты, Сергей Борисыч, не я

тебя спрашиваю, я-то, коли сам мне ты не скажешь, спросить тебя не посмею. Так тут не я — а княжна Татьяна Владимировна, с нею-то ты что делаешь?! Ведь ты вот ушел — и нет тебя, а я-то, чай, тут остался и нагляделся на нее, сердечную... Хорошо так, что ли? Хоть бы сказался!..

Недоставало еще этого! Конечно, Моське трудно было понять душевное состояние Сергея, иначе он не стал бы говорить с ним теперь в таком тоне.

— Моська, убирайся вон! — вдруг раздражительно крикнул Сергей. — Давно ли я не имею право сделать шагу?

— А! Коли так, то, конечно, уберусь! — проворчал карлик и с глубоким вздохом вышел из комнаты.

Сергей бросился на кровать. Его мысли путались, усталость, слабость какая-то охватила его, и он вдруг заснул тяжелым сном, во время которого ему грезились самые невероятные, самые ужасные сновидения.

Но он все же спал и этим сном хоть несколько освежил свои потрясенные силы. Уснул и карлик, всплакнув и помолясь Богу.

Не спала одна Таня. Заметив, что Сергей скрылся из дому и долго не возвращается, и видя при этом смущение и озабоченное выражение в лице Моськи, она поняла в чем дело. Проходили часы — Сергей не возвращался, ждать его не оставалось никакой возможности, она и так уже поджидала его далеко за полночь. Она прошла к себе в спальню, разделась, легла и стала думать.

«Конечно, он там... С той!.. Напрасно уверял Степаныч, что с моим приездом все это будет кончено!.. Да и как я могла поддаться словам его?! Я должна была знать, что в таком деле возврата нет... Зачем были эти дни? Что я здесь делаю? Как смею оставаться в его доме?! Ведь теперь он имеет полное право презирать меня; он достаточно показал мне, что между нами все кончено... Он знает, что я все поняла — и вот я осталась у него, стесняю его, ради приличий он должен оказывать мне внимание... А сам между тем рвется туда, к той женщине, которую любит! И вот вырвался! Не сказался, не простился, исчез тихомолком!.. А я все здесь!.. Пора же, наконец, кончать с этим; нельзя ждать ни дня, ни часу...

Завтра же утром, а он пусть будет счастлив!..»

Она тихонько заплакала.

«Милый, милый!» — шептала она, вспоминая прежнее время, те дни, когда она жила уверенностью в любви его и знала, что он будет принадлежать ей на всю жизнь.

«Милый, милый!» Она не винила его, она все ему прощала точно так же, как и он не винил и прощал герцогиню. Но все же в их чувствах была большая разница. Сергей, вспоминая свою любовь с Мари, доходил до безумия, он забывал все и неудержимо, страстно желал только снова ее ласки, обладания ею. Таня плакала и тосковала, вспоминая «милого»; но, если бы он сейчас явился перед нею, она твердо сказала бы ему, что между ними все кончено, что прошлое не вернется, что ей нужна только прежняя любовь его, которую он дать ей уже не может. Малейшая же ласка его была бы для нее теперь оскорблением; окончательно убедясь в его любви к другой, она могла только думать о том, чтобы скорее бежать дальше и оставить его на свободе.

Эта разница в их чувствах была понятна — в Сергее говорила страсть, переживавшая

свою знойную пору, говорила уже изведенная жажда блаженства и муки, влекшая его к соблазнительной женщине; Таня не знала еще ничего подобного: она горячо любила Сергея, но все же мечтательной, девической любовью, и потому-то, несмотря на всю горечь тяжелого сознания, на тоску и чувство обиды, могла рассуждать и принимать твердые решения.

И она решила во что бы то ни стало завтра же выехать если не из Парижа, то, по крайней мере, из дома Сергея. Ей предстояло мучительное и горькое объяснение с матерью; но она не думала об этом объяснении — она хоронила свои девичьи грезы и обливала их горячими слезами.

Наконец наступило утро — такое печальное и бледное. Таня измученная бессонной ночью, забылась легким сном и не знала, что в это время под одной кровлей с нею был человек, который искренне любил ее и страстно желал ее видеть. Рено исполнил обещание, данное Сергею, и спозаранку постучался в двери его спальни.

Сергей отпер ему уже одетый и, по-види-

мому, готовый выйти из дому.

Рено взглянул на него — при свете дня его изможденное, бледное лицо производило еще более тяжелое впечатление.

— Как это хорошо, что вы пришли так рано, мой друг, — проговорил Сергей глухим голосом, — еще несколько минут — и вы бы меня не застали... А вы мне нужны теперь более, чем когда-либо!.. Вы не сказали мне, где живете, и я не мог рассчитывать, что найду вас... Рено, с тех пор как мы с вами расстались, ночью сегодня, случилось новое обстоятельство, при котором вы можете очень помочь мне.

— Что такое, Serge'y? Говорите скорее!..

— У меня сегодня поединок... До полудня мой противник ждет моего секунданта, а теперь уже восемь часов. Как только я решил драться, я подумал о вас; я знаю, уверен, что вы мне не откажете; но я не знал, наверное, придете ли вы, когда придете, боялся, что какое-нибудь дело, какая-нибудь случайность задержат вас. И вот, чтобы не пропустить времени, решил обратиться к одному моему знакомому молодому человеку, на внимание и благородство которого я могу рассчитывать.

Я собрался теперь к нему, а вам хотел оставить вот эту записку. Но вы здесь — и это лучшее, что могло случиться... Ведь да? Ведь правда? Вы не откажете мне, будете моим секундантом?!

Рено стоял грустный и серьезный. Известие, сообщенное Сергеем, произвело на него самое тяжелое впечатление.

«Еще этого недоставало! — думал он, — дуэль... Он будет убит, пожалуй! Наверное, это из-за той, из-за его герцогини... И, конечно, предотвратить эту дуэль вряд ли возможно, с ним, по крайней мере, об этом нечего и заговаривать!.. Все дело теперь в том, какой человек его противник — может быть, с той стороны можно будет что-нибудь сделать...»

— С кем же вы деретесь? — спросил он.

— С человеком, которого ненавижу всеми силами! — мрачно проговорил Сергей и в волнении стал ходить по комнате, вдруг даже совсем забыв о присутствии Рено и только прислушиваясь к буре, клокотавшей в его сердце.

Рено выждал несколько мгновений.

— Однако, ведь это не ответ, Serge! Я уверен, что вы не можете любить вашего против-

ника и должны его ненавидеть теперь, за несколько часов перед поединком, но мне нужно знать его имя.

— Его имя?! — рассеянно отозвался Сергей. — Он называет себя графом Монтелупо.

— Я никогда не слыхал о нем.

— Немудрено, потому что никакого графа Монтелупо и нет на свете — это подложное имя, а в действительности этого человека зовут Бринчини.

— Что такое? Как вы сказали? Бринчини, итальянец Бринчини?.. Красивый брюнет средних лет? И он выдает себя за графа Монтелупо... И вы наверное знаете, что его зовут Бринчини?!

— Да, потому что он сам отозвался на это имя.

Рено оживился.

— Serge, пожалуйста, опишите мне его подробнее... Расскажите, где и как вы с ним встретились...

Сергей исполнил его желание.

— Да, теперь я почти не сомневаюсь, что это он! — проговорил Рено. — Теперь многое становится ясным.

— Так и вы его знаете — тем лучше... Вот его адрес, не будем терять ни минуты, мой экипаж уже готов — поедете, я подожду вас в карете... Вы только назначите ему удобное место в Булонском лесу и попросите его не запоздать, а мы поедем туда прямо...

— Пойдите, Serge, времени довольно — все успеем еще сделать, вы позвольте прежде всего сказать вам, что этот граф Монтелупо, этот шарлатан, обдeldывающий свои дела в великосветских салонах и ухаживающий за герцогинями и маркизами, в то же время член якобинского клуба.

— Право?! — изумленно воскликнул Сергей. — В таком случае мы уличаем его еще в новом шарлатанстве!

— Да, это ловкий мальчик, — перебил Рено, — он мне сразу показался подозрительным, и я теперь ясно вижу, что он шпион. Ему, наверное, поручено выведать в придворном кругу все, что только можно, и ваши дамы не только позволяли себя одурачить, но и впустили к себе опасного врага.

— Это ужасно, Рено! Но как мне ни отвратительно пачкать руки об эту гадину, я все же

не раскаиваюсь, что вызвал его, — его нужно уничтожить!

Рено печально улыбнулся.

— Прежде всего, — сказал он, — вы должны мне доказать, что не утратили своей ловкости. Где ваши рапиры?

— Благодарю, мой друг, что напомнили, — живо ответил ему Сергей, — как это я сам об этом не подумал? Пойдемте, я сейчас достану рапиры... Вот здесь нам будет удобно.

Рено превосходно владел шпагой, хотя это и было трудно представить себе, глядя на его угловатую фигуру. Он передал Сергею свое искусство в совершенстве, и в течение нескольких лет рапиры были их любимым занятием. Под конец ученик превзошел учителя. Но вот уже более двух лет как поединки их окончились, и Сергей не брал шпагу в руки.

Они надели маски и встали друг перед другом.

Рено скоро убедился, что Сергей так же ловок и изворотлив, как прежде.

— Прекрасно, — сказал он, — теперь все дело в твердости и хладнокровии, и я уверен, что в нужные минуты они вас не покинут.

Только помните, что с подобными людьми нужно быть очень осторожным; конечно, я буду, не спуская глаз, следить за вами и при малейшем отступлении от правил вмешаюсь в дело... Ну, насколько возможно, вы меня успокоили, теперь едем — я посмотрю как-то встретит меня тот самозванный граф — наверное, уж он не ожидает, что я явлюсь вашим секундантом...

Рено совсем оживился. Он говорил бодро, почти даже весело. Но вся эта бодрость, веселость были, конечно, только напускными. Он понимал, что в настоящих обстоятельствах, самое важное — поддержать Сергея, не дать ему упасть духом, возбуждать его насколько возможно. Но, начиная разыгрывать роль деятельного и бодрого секунданта, Рено в глубине своего сердца был далеко не спокоен.

«Что такое искусство и ловкость, когда все дело в случае, в мгновении, в едва заметном повороте, в невольном движении руки, и так далее!.. И при этом еще противник, на честность которого нельзя положиться!» Рено и так уже в последнее время видел все в черном цвете. Ему просто начинало казаться, что

ничего хорошего, счастливого и быть не может. Вот и теперь, неотвязно, как предчувствие какое-то, которому он не хотел поддаться, которое старался отогнать — и не мог, у него явилась мысль, что сегодняшней день должен плохо кончиться.

«Что это такое будет? Что с княжною? La petite fee... Она, верно, спит еще и не подозревает ничего!.. Хоть бы взглянуть на нее! Но нет, теперь уже пора, нечего мешкать».

— Едем, едем, мой друг! — крикнул он.

Они поспешно вышли из спальни.

Но только что шаги их успели замолкнуть в соседней комнате, как тяжелая портьера шевельнулась, и на пороге спальни показалась фигурка карлика. Проснувшись и выйдя из своей кельи, он узнал о том, что в доме Рено и что он прошел прямо к Сергею Борисычу.

— Когда же он? Давно ли? Зачем же мне сейчас не сказали? — взволнованно спрашивал карлик.

— Недавно, всего несколько минут будет как пригнел, — отвечали ему.

Он успокоился и поспешил по направлению к спальне барина.

Но его подгоняла не радость свидания с французом, он готов был Бог знает что дать, чтобы только никогда с ним не встречаться, он спешил в известный ему уголок, откуда можно было слышать каждое слово, произносившееся в спальне.

«Ну, теперь авось узнаю в чем дело, — думал Моська, — ох, боюсь, неладно что-нибудь и неожиданное стряслось над ним! Тут уж не одна эта ведьма, тут, пожалуй, что-нибудь другое — недаром трещотка поганая, Реношка, затесался, опять объявился... Видно, и он тут руку прикладывает».

Карлик добился своего, он не проронил почти ни одного слова из разговора Сергея с Рено и все понял. Выйти из своей засады и явиться перед Сергеем он не посмел. Он верно сообразил, что помешать ничему не может, что только раздражит Сергея и ничего больше. Он пришел в отчаянье и ужас, зубы его стучали, ножонки тряслись. Выйдя из-за портьеры, он подбежал к окну, вскарабкался на него и стал глядеть на улицу. Вот к крыльцу подъехала карета, Сергей и Рено сели в нее, дверцы захлопнулись, лошади тронулись,

еще несколько мгновений — и карета мелькает уже далеко, и ее не воротишь.

— Да разве это возможно?! — отчаянно крикнул карлик, — Господи Боже мой! Да ведь это что же такое?! Дитя будет драться не на живот, а на смерть?! Дитя искалечат, убьют, пожалуй! Да как же это?! Да чего же начальство-то смотрит — али в этом басурманском городе убивать людей можно без запрета?!

Почти всегда благоразумный и рассудительный, Моська теперь совсем потерял голову. Возможность искалечения и смерти Сергея Борисыча представились ему с такой ясностью, что он чувствовал один ужас и ничего более.

Как теперь быть, что делать — он не знал. Бежать, звать на помощь... Надо вовремя остановить их! Но куда бежать? Кого звать? — Кто это скажет?

И он как сумасшедший побежал на половину дома, занятую княгиней и Таней.

Княгиня была еще не одета и не выходила, но Таня уже вышла в гостиную совсем готовая. Она хотела именно велеть позвать Мось-

ку и через него передать Сергею, что ей необходимо переговорить с ним и что она ждет его в гостиной. Она решилась просить его сегодня же отыскать им приличное помещение до их отъезда из Парижа. Видя испуганное, заплаканное лицо Моськи, она остановилась, растерянная, и едва успела выговорить:

— Что такое?

— Ах, матушка Татьяна Владимировна, беда пришла, беда! — запищал карлик, — Сергей-то Борисыч!..

Таня вскрикнула и пошатнулась.

— Что с ним? Что? Где он? Боже мой, как ты смотришь! Ведь он жив?! Ведь он не умер?!

— Да говори же скорее!

— Жив еще, матушка, да что в том проку-то, когда может через час, через два в живых не будет. Сейчас уехал с французом... С Рено... Драться, вишь, будут на шпагах, на смерть...

Таня ничего не понимала.

— Как драться? С Рено драться? Разве они поссорились?.. Да нет, этого быть не может! Рено не станет с ним драться!..

— Матушка, да не Рено, Рено-то с ним только вместе поехал, а драться Сергей Борисыч с другим будет, с итальянцем, слышь ты, каким-то... Как, бишь, они его называли... Шарта... ном...

— Где же дуэль будет? — хватаясь за голову, проговорила Таня.

— В Булонском лесу.

— Ты знаешь, где он?..

— Еще бы не знать... Я, матушка, тут все знаю.

— Ну так, Степаныч, слушай — беги скорее, как можно скорее за экипажем, останови первую наемную карету — у вас тут долго будут закладывать — а я вслед за тобою... По-едем... Вези ты меня в Булонский лес... Только скорее, голубчик, ради Бота, скорее!..

— Ладно, золотая, ладно... Вот это так... Я мигом... Выходи на крыльцо — карета уже будет.

Он исчез. Таня поспешно оделась и, не успев даже сказать матери, пробежала длинный ряд комнат и спустилась с широкой лестницы на подъезд.

Моська уже дожидался ее с каретой.

XXVI. К ЛУЧШЕМУ

Свежее ясное утро стояло над Булонским лесом. Деревья были еще голы, но уже кое-где показывались первые признаки приближавшейся весны. Местами из черной, сырой земли, покрытой сгнившей прошлогодней листвой, робко выглядывала свежая, бледно-зеленая трава. По временам в вышине древесных веток слышалось птичье щебетанье. Кругом все было тихо и пустынно — Булонский лес, и в то время любимый парижским людом, все же был совсем не то, что теперь, когда в нем трудно найти уединение, когда он весь расчищен и насквозь прорезан широкими аллеями. Тогда в этом лесу можно еще было встретить густую чащу — аллей было немного.

В значительном расстоянии от опушки, на малоезженной дороге, мелькала наемная карета, кучер то и дело стегал лошадей. Из окна кареты ежеминутно выглядывал Бринчини.

— Стой! — наконец закричал он кучеру. Карета остановилась. Итальянец вышел в сопровождении Ранси и огляделся.

— Должно быть, здесь! — сказал он своему

спутнику. — Да, конечно, здесь, я это место хорошо знаю... Вон и его экипаж!.. Тут, за этими деревьями, сейчас и лужайка, про которую говорил этот проклятый Рено... Кучер, ты будешь стоять здесь, через полчаса мы вернемся, только смотри, чтобы мы застали тебя на этом же месте!..

— Будьте покойны, куда я поеду? Да и лошадей так загнали, что они, коли уж раз остановились, так теперь ни с места... Хоть целый год гуляйте, пускай себе отдохнут...

Кучер слез с козел и тотчас же вошел в карету, собираясь подремать на досуге. Итальянец и Ранси двинулись в сторону, пробираясь между деревьями и кустами.

— Черт возьми, — говорил Бринчини, — проснулся я совсем спокойным, а вот теперь и берет сомнение — благополучно ли у нас кончится?.. Ну мог ли я ожидать, что секундантом его окажется этот Рено?!

— Признаюсь, вы меня даже изумили, гражданин Бринчини, — перебил его Ранси, — вы так смутились при появлении Рено, что вас трудно было и узнать, а я вас считал таким молодцом, который не в состоянии

смутиться даже при встрече с чертом.

— Черта-то я не испугаюсь; но иногда бывают такие скверные встречи!.. Поймите вы, что если мы теперь не отделаемся от этих господ, то могут быть большие неприятности не только мне, может пострадать даже и наше дело... Рено знает мою деятельность в клубе, русский знает мою деятельность в салонах... Ну, одним словом, я попал в скверную историю... Вы вот вышли из комнаты, когда я объяснился с Рено, и я не знаю, где пропадали, ведь я едва вас дозвался!.. Вы не слышали, как этот сумасшедший меня отделявал... Я едва удержался, чтобы тут же, не говоря худого слова, не угомонить его...

— Хорошо сделали, что удержались, потому что сами знаете: нам пуще всего нужно избегать огласки: А если я замешкался, выйдя из вашей комнаты, то это потому, что у вас в передней меня встретил человек, передавший мне вот эту записку... Вот, прочтите!.. Я нарочно отложил до последней минуты, чтобы вас порадовать...

— Кто это? Знакомый почерк... А, наш общий приятель Пти!.. «Не выпускать Рено и из-

бавиться от него тем или другим способом...» Что же вы мне сейчас же не сказали?! Впрочем, тут нет ничего нового — эта записка только подтверждает то, что я сейчас говорил вам.

— Так, так, — с какой-то отвратительной улыбкой перебил его Ранси, — да для меня-то она очень важна — она мне развязывает руки... Вы постарайтесь управиться с одним, а я не упущу другого...

Они замолчали и быстро направились к засветившейся из-за деревьев лужайке.

Между тем Сергей и Рено давно и с нетерпением поджидали их в этом условном месте. Великолепные лошади Сергея примчали их сюда уже около часу. Дорогой Рено передал своему воспитаннику подробности переговоров с мнимым графом Монтелупо. Горячий француз, окончательно взбешенный и взволнованный, едва мот удерживать свое негодование.

— Мне тяжело, Serge, — говорил он, — что вы связались с этим мошенником, он заслуживает наказания, но не в честном поединке с порядочным человеком, а наказания по за-

кону, самого позорного наказания... Да, но где же теперь закон, теперь все перепуталось во Франции, теперь торжество темной силы более, чем когда-либо!.. Когда вы назвали мне его имя, мне трудно было сомневаться, я сразу был почти уверен, что это он, но все же у меня оставалась хоть некоторая доля сомнения. Ведь, знаете ли, еще недавно, когда я еще находился в моем несчастном, детском, смешном заблуждении, когда я на все глядел глазами моего воображения, моих страстных желаний и не видел печальной действительности, я считал этого человека, этого Бринчини-Монтелупо искренним и горячим демократом! Если бы вы знали, какие пламенные речи произносил он в клубе! Но я не в нем одном обманулся, не один он провел меня — меня провели все, как последнего дурака. Мне страшно, стыдно в этом сознаться... Я сам себе жалок... Однако простите меня, вам, конечно, теперь не до моих признаний. Скажите мне, мой друг, откровенно: достаточно ли вы спокойны и тверды?!

— Сам себе удивляюсь, Рено, — отвечал ему Сергей, — вчера я чувствовал себя самым

несчастливым человеком в мире, я был так измучен, так слаб, что, конечно, изобразил бы очень печальную фигуру на поединке. Но сегодня, с самого утра, со мною произошла странная перемена — я спокоен и ничего не чувствую, ни о чем не думаю, я будто окаменел...

Рено тревожно глядел на него.

— Да, но это нехорошо! Это апатия, которой не должно быть в нашем положении.

— Апатия! Пожалуй, — отвечал Сергей, — только не беспокойтесь, я вовсе не желаю, чтобы этот самозванец, этот негодяй убил меня; я намерен защищаться изо всех сил и чувствую, что как только его увижу, во мне исчезнет моя апатия. Уже при одной мысли о нем, вот теперь, поднимается настоящее бешенство!.. О, дайте мне его скорее! — почти проскрежетал он, и глаза его засверкали, — уничтожить его, умертвить, надругаться над его трупом!.. Я на все способен... Это, может быть, отвратительно, недостойно человека, но я не могу иначе — никогда со мной не бывало ничего подобного и не будет, если я останусь в живых, но теперь я сам себя не пони-

маю. Вот, я говорю вам, за минуту я был спокоен, а теперь целый ад во мне!..

Рено всеми силами старался его успокоить. Они вышли из кареты, достигли назначенной лужайки и стали дожидаться Бринчини. Они медленно бродили, взявшись под руку, как бывало в Горбатовском, и каждый думал свои думы.

Лицо Сергея опять приняло не то спокойное, не то какое-то застывшее и ко всему безучастное выражение.

Что касается Рено, то он никак не мог подавить в себе тоски, наполнявшей его с каждой минутой больше и больше. Глядя на Сергея, он вспоминал прежнее время, их деревенскую жизнь, эти тихие, спокойные годы, которые теперь он поневоле должен был считать чуть ли не самыми лучшими годами своей жизни. Как он любил тогда этого юношу, развивавшегося под его влиянием и которого он так тщательно вылепливал в свою любимую форму. О какой светлой, чудной будущности мечтал он тогда для этого юноши!..

Конечно, эта будущность и теперь возможна, для него все открыто, все ему доступно, но

что-то будет сегодня?

«Чем кончится это несчастное дело? Ведь вот я его успокаиваю, — думал Рено, — ему толкую о хладнокровии и твердости, а сам-то, нечего сказать, хорош! Да вздор, пустое, что за малодушие!»

Он подбодрял себя, но ничего не выходило — тоска не покидала его. И когда захрустели вблизи ветки и сквозь деревья мелькнули две мужские фигуры, он вздрогнул и взглянул на Сергея грустно и испуганно.

А в это время в глубине одной из аллей Булонского леса показались две бегущие фигуры: это была Таня, за которою едва поспевал на своих коретеньких ножках карлик.

Когда они выехали из дома, Моська ее несколько успокоил, он рассказал ей все, что Сергей с Рено отправились не прямо на место поединка, а должны еще заехать к тому человеку, с которым Сергей будет драться.

— Степаныч, мы приедем раньше них! — почти радостно крикнула она, — надо только будет нам остановиться на таком месте, где они должны будут непременно проехать. Знаешь ли ты такое место?

— А вот постой, матушка-боярышня, — отвечал все еще трясшийся как в лихорадке Моська, — вот я сейчас переговорю с кучером. В лес-то этот мы не раз с Сергеем Борисычем ездили, дорогу я знаю, да вот порасспрошу хорошенько...

Он высунулся из окошка и стал на своем ломаном французском языке объясняться с кучером.

Тот уверил его, что дорога одна и что они никого не пропустят.

— Хорошо, ситойен, — сказал Моська на уверения кучера, — ты останешься доволен, заплатим, как еще никто не платил тебе... только, Бога ради, скорее! Vite, vite!..

Кучер утвердительно кивнул головой; карлик закрыл окошко, спустил ноги с каретной подушки, на которую вскарабкался для переговоров, и начал глядеть на Таню.

Но у нее было такое страдальческое лицо, что он не мог долго выдержать. Слезы то и дело застилали глаза его. Он отвернулся и начал смотреть в окошко, Таня хлядела в другое — таким образом, им трудно было пропустить кого-нибудь.

Они почти уже выехали из города, когда мимо них промчалась карета.

Моська всплеснул руками.

— Голубушка, да ведь это он, Сергей Борисыч!.. Карета-то наша... и лошадки!

— Не ошибся, Степаныч? Верно это?

— Верно, верно говорю! Точно я знаю — любимые воронье Сергея Борисыча, сущие черти!.. Раз поехал с ним, так они чуть вдребезги не разбили... И нужно же было ему нынче на них выехать — ну где нам теперь угнаться на эдаких клячах!..

— Так как же мы? Ради Бога, Степаныч... что же это будет! — в отчаянии говорила Таня.

Она мгновенным движением открыла окошко и крикнула кучеру, чтобы он догнал эту карету, не выпускал ее из виду, что он получит пять, десять луидоров, если догонит.

Кучер стал изо всех сил хлестать лошадей, а сам думал:

«Ну где же там догнать! Десять луидоров не шутка, да не догонишь, а лошадей только зарежешь — так тут и дорожке десяти луидоров обойдется...»

Однако все же мысль о такой крупной по­лучке была слишком соблазнительна, и он пустил своих лошадей во всю прыть.

Между тем дорога делалась все хуже и хуже. Начались выбоины. Старую карету качало из стороны в сторону, и по временам даже раздавался подозрительный треск; но ни Таня, ни Моська в своем волнении ничего не замечали. Они оба, высунувшись из окошек, смотрели вперед за мелькавшей вдали каретой Сергея.

Вот и Булонский лес начался. Вокруг давно уже смолкло людское движение — ни души живой.

— Скорее, скорее! — кричит Таня.

Кучер погоняет — и вдруг раздался треск... карета пошатнулась на бок. Кучер едва сдержал лошадей.

— Боже мой, что такое?

Таня распахнула дверцу, выскочила, за нею выкарабкался Моська. Карета на боку, ось сломана, дальше ехать нет никакой возможности.

Таня стояла бледная, отчаянно заломив руки и бессмысленно глядя перед собой. Карета

Сергея уже скрылась из виду, кругом лесная тишь. Кучер уныло осматривает свой экипаж и повторяет:

— Вот и догнал! Что я теперь буду делать?

Таня бросила ему несколько золотых монет и как сумасшедшая кинулась бежать по дороге. Моська за нею.

Вот перекресток, дороги идут по всем направлениям. И ничего не слышно. Запыхавшийся карлик остановился, стал оглядывать колеи, следы лошадиных копыт.

— И направо будто свежие следы, и налево! Куда они проехали, Бог их знает!

— Да что же мы стоим? Боже мой! — говорила Таня, — бежим, бежим, ради Бога!..

— Куда же, матушка, бежать-то? — отчаянно вопил Моська. — Куда? Я почему знаю?

— Господи, помоги нам!!!

И она опять побежала прямо перед собою, хватаясь руками за сердце, которое будто хотело выскочить из груди ее. Моська долго не отставал от нее, наконец, начал выбиваться из сил. К тому же время шло, они пробежали довольно значительное расстояние, никого не встречая, останавливаясь, прислушиваясь

и ничего не слыша.

Больше часу прошло в этом невыносимом положении. Таня не чувствовала усталости, но карлик едва волочил ноги. Наконец, он споткнулся, упал и горько заплакал. Таня должна была остановиться, помочь ему подняться.

— Оставь меня, Степаныч, пусти одну...

Но он не мог этого. Он собрал последние силы и опять побежал за нею.

— Родная моя! — едва ворочая сухим языком, вдруг взвизгнул карлик. — Глянь-ка сюда! Там вон... видишь, на повороте... видишь, карета наша... лошади наши... бежим скорее!!

Она пустилась как стрела и скоро была у кареты. Моська не отставал от нее, цепляясь за ее платье.

Он еще издали исступленным голосом кричал кучеру, спрашивая, где Сергей Борисыч, с какой стороны искать его.

Кучер молча указал по направлению к лужайке.

Таня бежала, не видя под собой земли, натываясь на кусты, раздвигая их руками, проныкая в лесную чащу. Острые, сухие сучья за-

цепляли ее за платье, рвали его, но она ничего не видела.

Ей казалось, что она летит, а навстречу ей мчатся, удерживая ее полет, целые полки черных великанов, сонмище лесных духов, высланных злобною, неведомой силой, чтобы помешать ей найти человека.

И эти черные, косматые привидения хлестали ее по лицу, царапали ее своими когтями. Но она не обращала на них внимания, она рвалась вперед, вперед, всматриваясь зоркими глазами, нет ли где просвета, ловя чутким, напряженным ухом малейший шорох.

Вот ей что-то послышалось — будто человеческие голоса, потом какой-то другой звук — то лязг стали! Да, она уже не сомневалась в этом. Она сделала последнее усилие и вырвалась из частого кустарника на лужайку.

Но тут вдруг ее оставили последние силы, ноги подкашивались, дыхание сдавило — она ухватилась за древесный ствол и несколько мгновений стояла, будто окаменевшая, с широко раскрытыми глазами, не в силах сделать малейшее движение.

Она видела: на противоположной стороне довольно обширной лужайки — Сергей и Рено и два неизвестных ей человека. Сергей бьется со своим противником... блещут их шпаги... И вдруг, миг один... страшная, отчаянная боль схватила ее за сердце. Сергей опустил свою шпагу, пошатнулся... шпага выпала из рук его... Он ухватился за грудь и медленно, как-то странно присел на землю... Рено бросился к нему...

Таня, наконец, крикнула не своим голосом, силы вернулись к ней, она побежала через лужайку... но тут на ее глазах произошло что-то совсем непонятное: один из двух неизвестных людей, но не тот, который бился с Сергеем, быстро подбежал к склонившемуся Рено и замахнулся на него каким-то блеснувшим оружием...

Рено выпрямился, отскочил и уже готов был броситься на этого человека... но в это самое мгновение перед ним с отчаянным криком появилась Таня; за нею, жалобно плача, поспевал карлик.

Два неизвестных человека, смущенные этим неожиданным появлением, несколько вре-

мени стояли неподвижно, потом, будто сговорившись, быстро повернулись и скрылись за кустами.

— Сережа, Сережа! — шептала Таня, дрожа всем телом и падая на колени перед раненым. — Кровь, кровь!.. Сережа! Он не слышит... да нет, не может быть этого... неужели они его убили?!

Она трепещущими руками силилась растегнуть на его груди пуговицы и никак не могла этого, она заглядывала в его бледное лицо, прислушиваясь к его дыханию. Моська рыдал громко рядом с нею.

Первый пришел в себя Рено. Он быстро и твердой рукою сделал то, чего не в силах была сделать Таня: он осмотрел рану Сергея и вздохнул свободнее.

— Княжна, дорогая моя, успокойтесь! — произнес он, и в выражении его голоса было что-то такое, что заставило Таню очнуться. — Успокойтесь, он жив, и я даже надеюсь, что рана не чересчур опасна. Он в обмороке, но это пройдет скоро, и прежде всего помогите мне перевязать рану...

Таня преобразилась, как это всегда бывает

с любящей женщиной в подобных обстоятельствах; Рено нашел в ней искусную помощницу. Скоро Сергей открыл глаза, изумленно и слабо улыбнулся Тане. Кое-как им удалось довести или, вернее, донести его до кареты. В ней оказалось достаточно места для Рено и Тани. Моська, задыхаясь от рыданий, взобрался на козлы...

Не пришлось Тане уехать из Парижа, и она благодарила судьбу за то, что промедлила несколько дней окончательным решением под влиянием какого-то предчувствия. Значит, все так и надо было, значит, недаром она сюда приехала. Теперь она забыла оскорбление, нанесенное ей Сергеем, забыла все горе обманутой любви и всецело отдалась своим новым обязанностям сиделки у постели любимого человека.

Когда Сергея привезли почти бесчувственного домой, княгиня Пересветова так перепугалась, что сама чуть не разболелась; но на другой же день, придя в себя и видя Таню, все поглощенную хлопотами, она горячо поцеловала ее и сквозь слезы проговорила:

— Ах ты, мое бедное дитяtko, опять в си-

делках!

Таня не удержалась — зарыдала.

— Матушка! — шептала она. — Знаешь ли, что доктора сказали? Ведь это опасно, и не рано тут... рану обещают вылечить скоро, а за голову, за разум его опасаются — все-то он бредит... неладно с ним... Боже мой, Господи! Неужели не выздоровеет он?!

— Успокойся, Танюша, — своим новым, ласковым голосом перебила ее княгиня, — выздоровеет он, верно говорю тебе... уж коли ты у него в сиделках, так выздоровеет!

Княгиня, действительно, была уверена, что так оно и будет; но Тане она не могла передать этой уверенности, и много дней прошло в тревоге, много ночей протянулось между страхом и надеждой.

В первые дни положение Сергея возбуждало серьезные опасения: лечение раны шло успешно, а между тем он почти не приходил в себя, он то и дело бредил, борясь в этом бреде с призраками. Таня не покидала его почти ни на минуту; не покидал его и Рено, снова переселившийся в дом и бросивший все свои дела, по-видимому, забывший всю ту тревож-

ную жизнь, которая в последние месяцы увлекла его от любимого воспитанника, увлекла в бурное море политических страстей и борьбы. Его порывистая натура переживала новый кризис. Он убедился в своих ошибках, печальных заблуждениях, и вдруг ему отвратительно, невыносимо стало все, что еще недавно его увлекало.

Теперь у него было одно только чувство — любовь к Сергею, страх за его жизнь, надежда на его выздоровление. Он не мог оторваться от больного, не мог оторваться и от Тани, которую любил почти так же, как и Сергея. Он приносил ей большую пользу — он поддерживал ее в эти тревожные дни, возбуждал ее упавший дух, искусно скрывая перед нею свою тоску и сомнения.

Долгие часы у кровати Сергея сблизили их окончательно, они передали друг другу все, что могли передать, между ними не было тайны, не было недомолвок. И вот, когда опасность, наконец, миновала, когда доктора объявили, что ручаются не только за жизнь, но и за рассудок больного, Рено заметил, что к радости Тани стало примешиваться новое, му-

чительное чувство. Один раз она даже проговори-
лась.

— Слава Богу, — сказала она, выйдя с Рено из спальни Сергея и усаживаясь в маленькой гостиной, в уютном уголке, который теперь они оба полюбили, — слава Богу, я сама начинаю видеть, что он поправляется. Еще неделя, другая — и он будет здоров. Мои услуги ему будут не нужны... Тогда скорей, скорей, бежать отсюда!

— Да, бежать! — грустно повторил Рено. — Мне кажется, и я убегу вместе со всеми вами... Нет, я не убегу! — вспыхивая, крикнул он. — Как ни тяжела будет разлука с вами, я все же должен здесь остаться... Здесь ад, здесь отравы; но все равно, уйдя отсюда, я через месяц какой-нибудь повешусь! Я француз и был бы изменником, был бы недостойн называться французом, если бы в такое время убежал из Парижа!.. А вы спешите дальше, в вашу тихую Россию... Благодарите судьбу, что все это для вас чужое, а главное — будьте счастливы друг с другом!

— Друг с другом... — тихо, тихо выговорила Таня. — Нет, Рено, я уеду одна и постараюсь

никогда не встречаться с ним в жизни... В ту минуту, как его болезнь пройдет совсем, моя обязанность будет исполнена, и я прощусь с ним...

Рено оживился. Добрая улыбка мелькнула на губах его.

— Как вы заблуждаетесь, дорогая княжна! — сказал он. — Неужели вы не верите, что теперь, именно теперь вы с ним не расстанетесь, он вас не отпустит, он дня одного не проживет без вас... и вы, конечно, не будете так жестоки, чтобы его бросить. Думая обо всем, что случилось, я, право, начинаю верить в какой-то рок, в какую-то добрую судьбу, которая дала вам смелость и решимость сюда приехать... Не будь вас здесь — что бы такое было! Да и не с одним Serge'ем, а и со мною — ведь я обязан вам жизнью! Не подоспей вы в ту минуту — эти негодяи зарезали бы меня, я в этом не сомневаюсь. Serge был в забвении — он не мог быть свидетелем... его нашли бы раненым, меня — убитым. Они, конечно, позаботились бы убить меня таким образом, чтобы не возбудить ничьих подозрений. Что бы ни говорил Serge, его прежде всех стали бы

считать моим убийцей. Но еще вопрос — выздоровел ли бы он, если б мы с вами не перевязали вовремя его рану, если б не привезли его немедленно домой и не сдали бы на попечение лучших докторов?!

— Я благодарю Бога за мое присутствие в Париже, — сказала Таня. — Может быть, все, что вы говорите, и верно, в таком случае я счастлива, и это сознание на всю жизнь останется лучшим моим сокровищем... Но что же из этого, Рено?! Или вы хотите навязать меня Serge'у из благодарности? Это будет чересчур большая плата за мою случайную услугу, и уж во всяком случае я не приму такой платы...

— О, как мы самолюбивы и мнительны! — с улыбкой перебил ее Рено, беря и поднося к губам ее нежную и в то же время крепкую руку. — О, как мы самолюбивы и мнительны! — повторил он. — Какая тут плата, какая благодарность! Подождите несколько дней, дайте ему встать на ноги, и вы увидите, каким он встанет! Конечно, не я буду говорить за него — он сам вас уверит, что любит вас истинно, страстно и на всю жизнь, и вы ему по-

верите, потому что он будет говорить правду... Поймите, княжна, поймите!.. Хотя вы еще чересчур молоды, хотя вы и не знаете жизни, но вы так умны, вы должны понять: ведь все это был только сон, тяжелый кошмар, неизбежная гроза, которая из юноши должна превратить его в зрелого человека. Если бы всего, что случилось, не было, я бы еще усомнился, пожалуй, в вашем семейном счастье — теперь я в нем не сомневаюсь! Я давно знаю, что вы созданы друг для друга; судьба привела вас сюда, с вашей помощью он избавился от душившего кошмара, он просыпается... а когда проснется совсем, вы возьмете его как свою законную собственность!..

Таня сидела в видимом возбуждении. Глаза ее блестели, на щеках играл яркий румянец.

— Какой вы мечтатель, Рено, какой мечтатель! — шептала она.

— Мечтатель! Нисколько. Я только прожил на свете больше вашего, я только хорошо знаю Serge'a... и потом, теперь, вот в эти последние три дня, я за ним наблюдаю, шпионю, глаз с него не спускаю... ну, и я хорошо

вижу, как он глядит на вас, и знаю, что он думает — я привык читать мысли на лице его...

— Оставьте меня, Рено! — сказала Таня, опуская глаза. — Мне с вами страшно — вы искуситель! То, что вы говорите, так заманчиво, что я боюсь... я вам поверю, пожалуй, а я не должна этому верить...

Рено все улыбался. Он видел, что цель его достигнута — искушение оказалось чересчур сильным, и с этой минуты он стал подмечать, что за Сергеем шпионит уже не он один, а может быть, ещё больше него шпионит за ним Таня.

Только слабость, последний остаток нервной болезни, перенесенной Сергеем, заставляла его, по предписанию докторов, оставаться несколько дней в кровати. Не будь этой слабости, он чувствовал бы себя совсем здоровым, а главное — к нему вернулось спокойствие, не было прежней тоски, прежней сердечной муки. Он радостно смотрел на жизнь, он чувствовал, что живет, что впереди еще много жизни — и радовался этому.

Наконец ему позволено одеться и выйти из спальни. Он лежит на диване в своем рабо-

чем кабинете. Рено неслышными шагами ходит по мягкому ковру, княгиня у окошка что-то вышивает на пальцах. У самого дивана, грациозно откинувшись на спинку кресла, сидит Таня и громко читает только что принесенные газеты.

Сергей смотрит на нее не отрываясь.

Да разве Таня — эта высокая, стройная девушка с темно-голубыми задумчивыми глазами, строгим профилем, с таким спокойным и в то же время грустным выражением в лице? Разве Таня — эта чудная красавица, созданная для того, чтоб останавливать на себе всеобщее внимание, чтобы возбуждать восторг мужчин и зависть женщин?! Таня, прежняя Таня, эта круглая, румяная вострушка, эта милая девочка с доверчивой и наивной улыбкой — где она, куда она девалась?..

Но вот она читает, и Сергей вслушивается в ее голос: да, это она, прежняя милая Таня! Так же точно, бывало, в Горбатовском читала она вслух... та же манера, то же выражение, так же мило не выговаривает она букву «р» — и эта милая манера чтения, эта буква «р» воскресила вдруг перед Сергеем прежнюю Таню,

и он продолжал смотреть на нее не отрываясь, не подозревая, что с каждой новой секундой глаза его начинают светиться все ласковее и счастливее.

Таня остановилась и взглянула на него. Быстро-быстро вспыхнула она румянцем и опустила глаза, опустила голову и несколько минут не могла приняться снова за чтение — так шибко стучало ее сердце, такой прилив счастья охватил ее.

Рено продолжал тихо расхаживать по ковру, по временам взглядывая на них и ласково улыбаясь.

Скрипнула дверь кабинета, шевельнулась портьера — показалась фигурка Моськи. Он бережно нес большой пакет и передал его Сергею.

— Сергей Борисыч, из посольства прислали!

Сергей распечатал пакет, проглядел бумаги. В их числе была записка к нему от Симолина, который осведомлялся о его здоровье и извещал его, что в самом непродолжительном времени русское посольство будет отозвано из Парижа.

Сергей передал это известие присутствовавшим.

— Слава тебе, Господи, — крикнул карлик и перекрестился. — Давно пора! Да и у нас все готово к отъезду... я-то, признаться, уж с неделю как стал помаленьку собираться...

— Да кто же это велел тебе? Почему ты знал, что я уезжаю?

— А то как же?! Вот ведь моя же правда вышла, али и теперь мы, батюшка Сергей Борисыч, все еще тут сидеть будем? Все добрые люди из этого тартара вырвутся, а мы останемся?!

Сергей улыбнулся.

— Успокойся, Степаныч, — сказал он, — коли посольство государыня отзывает, так и я волей-неволей должен ехать...

И при этом он взглянул на Таню так ласково, с такой любовью, что она не могла усомниться в значении этого взгляда. Она снова зарделась румянцем, и даже счастливые, благодарные слезы сверкнули в глазах ее.

Моська хорошо подметил все это.

«Ведь вот же и на нашей улице праздник! — радостно думал он. — Ведь я говорил,

что сам бог надоумил боярышню нашу в этот омут проклятый приехать... Только за что же муки-то столько мы все натерпелись?! За что дитя-то чуть в гроб не уложили?»

«Эх, болтун пучеглазый! — чуть громко не крикнул он, исподлобья посматривая на Рено. — Много ты начудесил!.. По твоей милости все вышло... ты тянул к этим разбойникам... ты отвратил дитя от Господа, ты натолкнул его на грех тяжкий!.. Ну, чего шагаешь... ишь ведь... чай, опять за нами потащишься!..»

Он подошел к Рено и заискивающим, ехидным голосом спросил его:

— Мусье Рено, а как же вы, разве не будете скучать у нас по вашем Париже?

— Я здесь останусь, я не еду с вами... *je vous fais se plaisir, mon très cher Stepanitch!* — ответил француз с печальной улыбкой.

— Рено, что вы? Неужели не шутите? Неужели мы должны расстаться? — тревожно спрашивал Сергей.

— Да, мой друг, я остаюсь, и не будем больше говорить об этом... Эта разлука мне тяжелее, чем вам... я остаюсь один на свете... я

остаюсь не на радость. Но я не смею и не могу отсюда теперь уехать... я почти уже не верю ни во что светлое, у меня мало надежды... Наше наказание начинается, да наказание, потому что мы хоть не совсем вольные, а все же преступники. Желая блага, мы оказались пособниками зла!.. Мечтатели, фантазеры, незнакомые с народом, мы начали наше дело во имя народа — и губим этот народ, пробудив к жизни его дикость, дав силу только плесени, только отребью человеческого общества... Мы, как легкомысленный заклинатель, вызвали адского духа — и не в силах с ним справиться, и он готовится растерзать нас... И нам остается только честно погибнуть в борьбе с нами же вызванным адским духом...

Рено замолчал. Глубокое страдание пробежало по лицу его.

Сергей и Таня грустно глядели на него; но им нечего было возразить ему и нечем было успокоить...

Волтерьянец. Часть первая

I. ДОМА

С некоторого времени проходившие и проезжавшие по набережной Мойки, недалеко от Невского проспекта, замечали признаки особенного оживления в одном из роскошных домов, который петербургские жители привыкли в течение восьми лет видеть всегда мрачным и заколоченным.

Дом этот был построен еще в царствование императрицы Елизаветы Петровны. В нем когда-то жилось шумно и весело, потом он был покинут, заперт и стоял так многие годы. Затем, и именно восемь лет тому назад, он снова оживился, был отделан заново, к его парадному широкому подъезду то и дело подкатывали богатые экипажи... Но эта жизнь длилась самое короткое время, всего несколько месяцев, — и опять старый дом погрузился в тишину и печально глядел своими темными каменными стенами, своими огромными заколоченными окнами.

Петербуржцы знали, что дом этот принадлежит представителю одной из богатейших и знатнейших русских фамилий. Слыхали они, что владелец его, молодой вельможа, живет где-то в чужих краях и уже восемь лет не возвращается на родину. Смутно рассказывалось, если речь заходила о барском закованном доме на Мойке, будто владелец его пользовался большими милостями императрицы Екатерины, да, видно, сумел нажить себе врагов сильных, и в чужих краях остается он не вольною волею, — и хотел бы, мол, на родину, да возвращаться не приказано. Сначала об этом шли по городу толки, интересовались молодым вельможею. Но промчался год, другой, третий — говор стихал и теперь, через восемь лет, никому не было дела до этого далекого человека — его совсем позабыли. Старый закованный дом стоял как надгробный памятник, с которого совсем уже стерлась эпитафия, — он не возбуждал ничьего любопытства...

И вдруг в этом доме движение, вдруг закованные окна открыты настежь, и лучи солнца, пробираясь внутрь обширных поко-

ев, скользят по лепным потолкам, по золоченым рамам картин, по вазам, статуям и богатым штофным драпировкам. Прохожие останавливаются и дивятся на эту выглядывающую роскошь барских чертогов. А по вечерам, когда темень спустится на город и с Мойки поднимется туман, сквозь который едва мигают кое-где расставленные фонари набережной, еще изумительнее становится зрелище: место, всегда казавшееся каким-то провалом среди веселых огней соседних домов, теперь озаряется то меркнувшим, то вновь появляющимся светом, огни то показываются, то исчезают в доме по всем покоям, очевидно, ходят со свечами...

— Горбатовский дом отперли! — говорят в городе. — Продан он, что ли? Кто в нем жить будет?..

Старым позабытым мертвецом опять начинают интересоваться и узнают, что дом не продан, что его приготавливают к приезду владельца, который на этих днях должен возвратиться из чужих краев.

И вот вспоминают петербуржцы старый рассказ о том, «как молодой вельможа поль-

зовался милостями государыни, да, видно, сумел себе нажить врагов сильных и восемь лет пробыл где-то далеко, не имея возможности возвратиться на родину»...

Проходит еще несколько дней. Парадный подъезд стоит настезь. Внушительного вида швейцар с огромной булавой то и дело показывается у высоких дверей, карниз которых украшен старым гербом рода Горбатовых. Владелец возвратился.

Ненастное петербургское утро озаряет своим бледным светом обширную комнату. Частый окладной сентябрьский дождик стучит в окна.

В комнате, устланной мягким ковром, заставленной массивной мебелью, — большой беспорядок. По самой середине, на ковре, стоит несколько дорожных ящичков. Они распакованы, и из них выглядывают корешки французских и английских книг, старинные кожаные переплеты редких изданий. По комнате взад и вперед, медленным шагом, бродит человек небольшого роста, стройный и крепко сложенный, одетый в черное траур-

ное платье английского покроя. Он еще молод, самое большее ему тридцать лет. Бледное, тонко очерченное лицо его чрезвычайно красиво. На этом лице лежит постоянно тень не то тоски, не то скуки и придает ему утомленное, рассеянное выражение. Этот молодой человек и есть возвратившийся на родину изгнанник — Сергей Борисович Горбатов.

Он приехал поздно вечером и, утомленный долгим путем, едва раздевшись, заснул как убитый. Несколько часов крепкого сна как рукой сняли его усталость. Он велел принести свой утренний завтрак в рабочую комнату, приказал никого не впускать к себе и вот уже больше часа бродит между распакованными книгами, не замечая времени. Завтрак давно простыл на столе, но он совсем и позабыл о нем.

Он опять здесь, в своем петербургском доме, и кажется ему, что все это было так недавно, когда он перед своим отъездом в Париж вошел в последний раз в эту комнату и запер на ключ бюро. Вот этот ключ, он не забыл его, привез с собою. Он отпер бюро. Все бумаги на месте, будто вчера уложил он их, — а ведь это

было летом 1789 года. Он уезжал торопливо, радуясь своей неожиданной поездке, о которой давно мечтал, и в то же время смущаясь некоторыми обстоятельствами, вызвавшими эту поездку. Он уезжал розовым красавцем юношей, едва окунувшимся в водоворот столичной жизни, едва испытавшим и первые успехи, и первые разочарования.

Он невольно переносился теперь мысленно к тому времени, вспоминал свои занятия в иностранной коллегии у графа Безбородки, веселости блестящей петербургской молодежи, тщетно старавшейся совратить его и с досады называвшей его «монахом». Вспоминал он оживленные вечера Эрмитажа, неизменное внимание и милости государыни к нему, юному дипломату. Вспоминал аллеи и дорожки царскосельского сада, бледное и печальное лицо графа Мамонова, свою кратковременную дружбу с ним; встречу с императрицей у царскосельского озера в тот жаркий летний вечер, когда он мечтал о своей невесте, княжне Тане Пересветовой, которая все звала его в деревню...

А вот и последняя неожиданная аудиенция у

государыни. Он как теперь слышит тихий, спокойный голос Екатерины:

«Я намерена возложить на вас такое поручение, какое могу дать только человеку, в способностях коего, скромности и разумности вполне уверена. Я получила очень серьезные депеши и письма от Симолина, и мой ответ должен заключать в себе подробную программу дальнейшего способа наших действий относительно Франции. Мне нужен верный человек, который передал бы Симолину письмо и некоторые документы и который бы, кроме того, зная мои взгляды, мог быть ему полезным помощником в такое трудное, шаткое время. Готовы ли вы служить мне?..»

Она давала ему только один день на приготовление к отъезду. Он не имел возможности заехать в деревню проститься со старухой матерью, проститься с невестой. Он успел только съездить в Гатчину, к цесаревичу. Цесаревич считал эту поездку очень полезной для молодого человека, очень своевременной — и благословил его в путь.

Еще одно последнее посещение царско-сельского дворца, прощание с императрицей:

«С богом — и доброго пути, мой друг!..»

Ее полушутливые, полусерьезные наставления... ее грустный и ласковый взгляд... А у двери кабинета нахальное, женственное лицо молоденького дежурного офицера — Платона Зубова. Он как теперь его видит, этого мальчика, так заискивавшего перед ним, казавшегося таким пустым, ничтожным, взявшего у него деньги, чтобы кинуть их к ногам певицы цыганки, от которой с детским ужасом бежал он, Горбатов...

И вдруг этот мальчик в один день, в один час стал неузнаваем.

— Позвольте пожелать вам счастливого пути, Сергей Борисович! А должок-то забыли? Вот-с, получите при великой моей благодарности!..

— Вы ничего не должны мне, господин Зубов, и денег от вас я не приму...

Все это в мельчайших подробностях припоминается Сергею Горбатову. Но он не может вспомнить, с какою злобою посмотрел ему вслед Платон Зубов, с каким бешенством прошептал он:

— Этого я тебе, голубчик, не забуду!

Он уехал со своим воспитателем, французом Рено, со старым преданным другом — карликом Моськой. Он рад был забыть весь этот шум, все эти волнения, которые после тихой деревенской жизни сразу нахлынули на него и отуманили. Он рад был окунуться в другую жизнь, о которой с детства восторженно толковал ему воспитатель, он трепетал от восторга, помышляя о том, что заветная мечта осуществляется, что он увидит Париж, эту обетованную землю мыслящего человечества!

Наконец, он в Париже, в последние дни версальского двора, в страшные дни разразившейся революции. Воспитатель покидает его, охваченный революционным потоком. Карлик Моська чувствует себя в самом центре ада и с ужасом ждет гибели своего дорогого Сергея Борисыча. Но какое дело Сергею Борисычу до этих мучений старого пестуна! Он живет новой жизнью, первая страсть безумно и мучительно охватила его; позабыто все прежнее, будто никогда его и не бывало. Позабыта далекая Таня!.. Он не видит еще и не предчувствует, что его Мари, эта блестя-

щая герцогиня д'Ориньи, одна из любимых придворных дам Марии Антуанеты, уже натешилась его пылом, уже скучает его страстной и требовательной любовью, уже замышляет измену.

И вот все разом, со всех сторон, внезапно надвинулись тучи... Гроза разразилась... Революция бушует... Он свидетель версальских ужасов... Версаль не существует более. Каждый день приносит печальную новость. И вместе с этой громадной общественной драмой в сердце Горбатова разыгрывается другая драма — его вера в любимую женщину поколеблена, его любовь опозорена, он уж не может сомневаться в своем несчастье.

А карлик Моська торжествует. Его загадочное письмо подействовало — княжна Таня Пересветова, этот вчерашний ребенок, превратившийся под влиянием любви и опасности, грозящей этой любви, в сильную, решительную женщину, в Париже со своей матерью. Она спасет его, своего дорогого гибнущего друга. Но спасти его трудно. Он околдован иными чарами, и эти чары не могут сразу поддаться чистому и мечтательному чувству

княжны Тани.

Вспоминается ему теперь его дуэль с шарлатаном итальянцем, оказавшимся его соперником в сердце развращенной, жаждавшей и искавшей только разнообразия женщины. Он ранен. Он тяжело болен. Таня ухаживает за ним и дни, и ночи... Наступает выздоровление. Тишина и спокойствие нисходят в сердце Сергея. Он должен покинуть Париж, императрица решила прекратить дипломатические сношения с Францией. Отъезд на родину, отъезд вместе с нею, Таней, и спокойная семейная жизнь вдали от шума столицы и двора, в уединении родного Горбатовского — все это решено, все это должно осуществиться в самом скором времени.

Карлик Моська торжествует, его молитва услышана, «дите» спасено, и вдобавок еще проклятый француз Рено остается в этом дьявольском Париже...

Сергей Горбатов присел к отпертому бюро и склонился над бумагами, оставленными им в нем восемь лет назад, в день отъезда. Его рука дрогнула, когда он прикоснулся к синему золотообрезному листку, исписанному

твердым, крупным почерком — письму Тани. Это она тогда еще писала ему, звала его, ждала его приезда. Он прочел это письмо, и ему уже перестало казаться, что это было так недавно. Теперь ему представилось, что не восемь лет прошло с тех пор, а прошла целая вечность. Какой доверчивой любовью дышали эти строки, как высказывалась в них чистая душа девушки-ребенка, еще совсем не знакомой с жизнью, но уже умеющей любить и испытывавшей и тяжелые мысли, и глубокое нравственное страдание.

Сергей положил письмо, несколько минут сидел неподвижно, и на бледном лице его все яснее и яснее выступало выражение тоски и скуки.

«Зачем она ушла? — думал он. — Я был бы счастлив с нею! Ее только одну и любил я в жизни!»

II. ЧТО БЫЛО

Но она ушла, и именно тогда, когда он думал, что уже больше не разлучится с нею. Как произошло это?

Он никогда не забудет этого дня! Он уже почти совсем оправился после своей болезни. Доктор объявил ему, что через несколько дней он будет в состоянии выходить из дому. Он делал последние распоряжения, уверенный, что не может быть никаких препятствий к его отъезду из Парижа на родину вместе с посольством, вместе с княгиней Пересветовой и Таней.

О герцогине д'Ориньи он не думал, она для него не существовала, он считал ее навсегда для себя умершей. Успокоительное, ободряющее присутствие Тани и все, что он вынес за последнее время, по-видимому, совсем вырвали из него эту безумную страсть, чуть было не стоившую ему жизни.

А между тем герцогиня, так зло над ним насмеявшаяся, так цинично его оттолкнувшая, вдруг о нем вспомнила. История его дуэли не могла остаться для нее тайной. Она ста-

ла о нем разузнавать и узнала, что он был при смерти болен, что он выздоравливает, что при нем молодая девушка, приехавшая из России, кто говорит — его родственница, кто говорит — невеста. Сергей Горбатов становился снова интересен для герцогини. Она захотела во что бы то ни стало его увидеть и увидеть эту приехавшую девушку. Кто она и какие между ними отношения? Если она его невеста, если она думает вырвать ее, герцогиню, из его сердца, то надо показать ей, что она жестоко ошибается.

«Разве он не моя собственность? — думала герцогиня. — Стоит только поманить его, и он вернется!»

Она послала ему коротенькую записку, осведомляясь об его здоровье, выражая свое сожаление по поводу случившегося и заключая тем, что если он настолько еще не поправился, чтобы приехать к ней, то она сама придет навестить его. Записка эта попала в руки Моськи, который, недолго думая и без всяких угрызений совести, распечатал ее, прочел не без затруднений, понял, снес в свою комнату, заперся, сжег записку в камине, а потом тща-

тельно вымыл себе руки, как после прикосновения к чему-нибудь отвратительному и ядовитому.

— Ну, уж не бывать этому! — ворчал он сам с собою. — Оно, конечно, Сергей Борисыч и сам бы сжег, да нечего ему и в ручки давать такое поганство... Жди, матушка, жди ответа!

Карлик шептал это решительным и уверенным голосом и не замечал, что все же, видно, у него есть какое-нибудь сомнение, если он так тщательно скрывает факт получения записки. Поганство оно — это так, в этом спору нет, да ведь вот — вымыл он руки, и ничего не пристало; не опоганился бы и Сергей Борисыч. Напротив, было бы приятно видеть спокойное презрение, с которым бы он отнесся к посланию герцогини, — нет, видно, тут не одна боязнь опоганить «дитю», а что-нибудь другое.

Если бы Моське кто сказал, что он сомневается в «дате», он накинулся бы на такого человека и стал бы просто кусаться. А между тем он все же там где-то, в глубине своего сознания, сомневался. Он молчал про записку, про свой поступок и целых три дня бродил по

дому, высматривая и прислушиваясь, не будет ли другого посланца, другой записки. Наконец, он себя успокоил.

«Ожглась, гриб съела... в другой раз, видно, не полезет!»

А герцогиня все ждала ответа. Прошло несколько дней — о Горбатове ни слуху, ни духу. И вот, как нарочно, в то время, как карлик отлучился из дому, карета остановилась у их подъезда. Герцогиня д'Ориньи взошла на широкие ступени крыльца, сбросила закутывавший ее плащ на руки засуетившейся прислуги и, ни слова не говоря, своей неслышной, легкой и грациозной походкой пошла через анфиладу зал, в кабинет Сергея. Устройство дома ей было известно. Она знала, в какой комнате найти хозяина.

Сергей полулежал в длинном удобном кресле, придвинутом к камину, огонь которого озарял его бледное, похудевшее и сильно изменившееся лицо. Однако на этом лице, несмотря на все следы недавних страданий, уже начинали показываться первые признаки возвратившейся жизни, здоровья и спокойствия. Сергей был еще довольно слаб, но

глаза его светились по-прежнему и временами с тихой лаской останавливались на прелестном лице Тани, сидевшей неподалеку от него за маленьким круглым столом и читавшей ему только что полученные газеты.

Дверь едва слышно скрипнула, приотворилась, и на пороге комнаты показалась стройная женская фигура в черном платье, в скромной прическе, заменившей уже недавние башни и корабли на головах парижских светских женщин.

Прошло несколько мгновений, прежде чем Сергей и Таня ее заметили. Она имела время сделать свои наблюдения. По едва уловимым, но ясным для нее признакам она подметила, что эта красавица девушка, такая юная и свежая, с таким энергичным и в то же время нежным выражением в лице, не сестра, не сиделка. Эта девушка может быть ей соперницей опасной.

«Я пришла вовремя», — подумала герцогиня.

Она сделала несколько шагов по мягкому ковру. Таня обернулась, едва слышно вскрикнула и глядела на нее, не отрываясь, — изум-

ление незаметно переходило в страх, ужас.

— Кто это? — почти бессознательно спросила она

Сергея и в то же время хорошо понимала, «кто» эта женщина и сколько страшного в ее появлении.

Сергей вскочил на ноги и тотчас же пошатнулся, ухватился за спинку кресла. Он не мог произнести ни слова, он, как и Таня, глядел, будто околдованный, на герцогиню.

Она приближалась к нему с протянутыми руками.

— Serge! — произнесла она.

Одно только это слово и проговорила — но она вложила в него все чары, с помощью которых так еще недавно владела этим человеком.

Она улыбнулась ему. Он был еще слаб, он мог ожидать чего угодно, только не этого появления. Он не мог сообразить, что это такое, где он и кто с ним. Он только слышал голос, сразу поднявший в нем все счастье и муки недавнего прошлого. Он только видел улыбку, всегда сводившую его с ума.

И это, совсем было позабытое, невыноси-

мое видение все ближе, ближе... Она сжала его холодную, трепетавшую руку.

Он на мгновение отстранился, будто хотел защититься, он озирался испуганно и беспомощно, будто ища то существо, которое одно только и могло спасти его. Но он уже не видел, не замечал Тани, он ничего не видел. И вдруг с криком страсти кинулся к герцогине и упал у ног ее, теряя сознание...

Что потом было — он не помнил. Когда он совсем очнулся, он лежал в своей спальне — не было ни Тани, ни герцогини, только Моська за ним ухаживал. Потом появился доктор. Моська был мрачен. На все вопросы Сергея он упорно молчал, только сморщенное, крошечное старое лицо его как-то передергивалось, и на глазах то и дело наворачивались слезы, которые он смаргивал или втихомолку вытирал дрожащим кулачком. Прошло несколько часов. Сергей снова чувствовал себя сильнее. Он с ужасом вспомнил появление герцогини; но не понимал, что с ним такое было. Этот демон появился так неожиданно, этот демон мог опять очаровать его на мгновение, но прежней силы уже не имеет над ним. Нет, все

кончено, возврата нет больше, он не любит ее — она ему ужасна... отвратительна...

— Где Таня!.. Таня!..

И он увидел Таню. Но Таня была не вчерашняя, не сегодняшняя... Таня была новая.

Он просил у нее прощения за свою невольную вину перед нею.

— Если бы я только мог думать, — говорил он, — что эта ужасная женщина решится сюда явиться, я бы приказал ее не впускать; но мог ли я об этом думать? Я был в таком ужасе...

Он пробовал защититься, он пробовал объяснить свой обморок неожиданностью и негодованием. Но Таня только тихо качала головою и глядела на него какими-то сухими, странными, но в то же время спокойными глазами.

— Зачем, Сергей Борисыч, не надо... Тебе вовсе нечего извиняться передо мною!..

А между тем он все же чувствовал, что виноват и что вряд ли получит прощение.

Он робко стал говорить об их отъезде. Таня тоже говорила об отъезде. Но из слов ее так выходило, что они, достигнув России, разъ-

едутся в разные стороны.

— Таня, как же это? — едва слышно, едва ворочая языком, шептал Сергей. — Я думал, что мы уж никогда не расстанемся с тобою. Таня, зачем ты хочешь меня оставить, ведь это невозможно!.. Или ты совсем разлюбила меня? Ты меня презираешь?

Она подняла на него тихие глаза и сказала:

— Презирать? Боже мой, да за что же? Я все та же, и такие же мои чувства: Но того, о чем ты думаешь, Сергей Борисыч, никогда не может стать. Ты не меня любишь... и я скорее умру, чем стану твоею женою...

Что он мог возразить ей? Разве она не провела здесь все это последнее время, разве мало оскорблений нанес он ее чувству? Да и сам он не понимал себя: вместо вчерашнего спокойствия в нем был опять хаос. Он сознавал, что недавнее прошлое еще не забылось, не стерлось окончательно.

— Это твое последнее слово, Таня? — уныло проговорил он.

— Да, последнее слово, и довольно об этом. Знай, что я навсегда останусь твоей сестрой, твоим другом, но мы уже не жених и невеста.

ста... давно не жених и невеста. Это была ошибка, детская фантазия. Забудем же... и поскорее... и навсегда, так, чтобы мысль о ней, об этой нашей ошибке, не стояла между нами и не портила нашей дружбы... Вот и все... и хорошо, что так кончилось... и будем навсегда друзьями!

Она протянула ему руку, она улыбалась ему, казалась такой спокойной.

Он сидел совершенно растерянный, ненавидя себя и презирая.

Таня еще раз ему ободрительно улыбнулась и вышла от него своей твердой походкой. Она медленно прошла ряд комнат, дошла до своей спальни, заперла дверь на ключ и несколько мгновений стояла неподвижно. Она была на себя не похожа — таким отчаянным, таким страшным казалось лицо ее. Наконец, из широко раскрытых, почти остановившихся глаз брызнули слезы, и полились они неудержимо — тихие, неслышные, горькие...

Старая поговорка — что беда не приходит одна, а приводит с собою и другую — в этот день оправдалась на Сергее. У него оставалась

одна надежда, одно утешение — время сделает свое дело, пройдет несколько месяцев, ну, хоть целый год, и Таня, наконец, должна будет забыть нанесенную ей обиду, должна будет убедиться, что он действительно ее любит и что ей не зазорно стать его женою. Все же они вместе поедут... и потом, в России, он не оставит ее. Зачем ему Петербург, зачем служба? Он уедет в деревню, в Горбатовское, чтобы быть как можно чаще с Таней... Ведь не могут же не отпустить его, не могут силой держать в Петербурге!..

Но в тот же вечер ему доложили о приезде старика Симолина. Он изумился. Посланник в последнее время никуда не выезжал. Верно, что-нибудь особенно важное. Что было нечто важное — в этом он должен был убедиться при первом же взгляде на своего гостя. Добродушный и любезный старик держал себя как-то странно, ему, очевидно, было неловко. Наконец, он вынул из кармана и подал Сергею какую-то бумагу.

— Прочтите, — сказал он, — только, ради Бога, не волнуйтесь, отнеситесь как можно спокойнее к этому делу, — это единственное,

что можно сделать в подобных обстоятельствах.

Сергей схватил бумагу, быстро пробежал ее, и она выпала у него из рук. Он хотел говорить, но несколько мгновений не мог произнести ни звука.

— Что же это? — наконец, прошептал он, совсем бледный и едва подавляя злобу, внезапно подступившую к его сердцу и начинавшую душить его. — Ведь это уж не немилость, это изгнание!.. Я должен вернуться в Россию! Я хотел тотчас же по приезде подать в отставку и удалиться в деревню...

— Как видите, теперь нельзя об этом и думать, — спокойно и ласково возразил ему Симолин. — Обождите. О немилости пока и говорить нечего — вы видите, как обставлено дело. Для вас нет никакого понижения по службе, напротив, скорее повышение. Я передам вам в Лондон очень важные бумаги, ваше положение в лондонском посольстве будет прекрасно.

— Боже мой, я не могу, я не могу ехать в Лондон, я должен вернуться в Россию непременно. За что же так?..

— Будьте благоразумны! — все так же спокойно и ласково настаивал Симолин. — Приехав в Петербург, я все разузнаю и напишу вам. Будьте уверены, что все это только временно и ненадолго. Вероятно, уже получено известие о вашей дуэли. Конечно, кто-нибудь повредил вам, сообщил неверные сведения. Но я сам буду говорить с императрицей, я постараюсь вас выгородить — положитесь на меня, Сергей Борисыч.

Горбатов благодарил старого дипломата, но в то же время мало рассчитывал на его помощь. Для него было ясно, что тут вовсе не история его дуэли и что если поднимут эту историю, то она будет только предлогом. Он уже догадывался, кто истинный враг его и кто теперь окончательно портит его жизнь, разрушает его планы. Это он, тот ничтожный мальчик, который, как слышно, стал теперь всемогущим человеком, — это Платон Зубов.

Не прошло недели — и опустел отель у церкви Магдалины. Сергей Горбатов с депешами и письмами выехал из Парижа в Лондон; княгиня и княжна Пересветовы отправились в Россию в сопровождении карлика

Моськи, без которого ни за что не хотел отпустить их Сергей. Карлик должен был проводить их и затем вернуться к своему господину в Лондон, в этот новый, неведомый ему ад, где опять, верно, придется ему скорбеть и дрожать со страху и оберегать «дитю» от новых погибелей и козней вражеских, которые вот теперь осилили и разрушили его благополучие. А в это благополучие так верил и так страстно ждал его бедный карлик.

Симолин сдержал слово, он прислал Сергею письмо из России, но ничего приятного не заключалось в письме этом. Отставки его не желают, возвращение его в Петербург считают несвоевременным и вместе с этим о дипломатической его карьере заботятся. Упрочивают его положение при лондонском посольстве, шлют ему знаки отличия.

Горбатов так и ожидал — он изгнанник. Но он еще не хотел примириться с этой мыслью — какие-то вести привезет карлик Моська?

И карлик вернулся с двумя письмами, одно из них было от Тани. Но лучше бы она и не писала. Она ли это? Такой сдержанностью,

спокойствием и холодом веяло от ее строчек. Он не смел жаловаться, не смел обвинять ее.

Другое письмо, и совсем уже неожиданное, было от цесаревича. Павел Петрович писал, что ему грустно было узнать о некоторых обстоятельствах, о легкомысленном и недостойном серьезного человека поведении, которого он никак не ожидал от Сергея.

«Очень нехорошо, — писал он, — но на сей раз извинить еще можно по молодости и свойственному юным годам легкомыслию. Однако пора одуматься и стать человеком. Тебя не пускают в Россию, и ты, я чаю, немало на это сетуешь. Ничего, урок нужен, одумайся хорошенько и не заставляй меня изменять навсегда доброе о тебе мнение. Жена на тебя тоже очень сердита».

Письмо было строгое; но уж одно то, что цесаревич все же собственноручно написал, показало Сергею, что он по-прежнему расположен к нему и заботится о судьбе его. Но ведь теперь он ничего не может для него сделать, он не в силах помочь ему вернуться в Россию, а вернуться необходимо.

Сергей стал отчаянно тосковать по родине,

ничто его не занимало. Он сделал последнюю попытку — он написал государыне, он страстно просил ее позволить ему вернуться. Писал, что чувствует себя дурно, что лондонский климат после болезни вредно на него действует. В ответ на это письмо он получил разрешение отправиться в отпуск для излечения болезни на целебные минеральные воды в Германии. Приходилось покориться. Сергей махнул на все рукой, никуда не поехал, остался в Лондоне и впал в долгую апатию. О Тане нет никакого слуха. Она не в деревне, вероятно, в Петербурге, может быть, при дворе блистает, окружена толпой поклонников. Она так красива, молода, богата... женихи... может быть, и избрала уже кого-нибудь, забыла его. Ведь она имеет на это полное право. Первая детская любовь пройдет сном, и ничего от нее не останется. Старуха мать пишет из деревни печальные письма. Она уже помирилась с мыслью жить в разлуке, по целым годам не видеть сына. Она занята дочерью-невестой, сложным деревенским хозяйством. Она по-прежнему каждую свободную минуту проводит на тихой могиле мужа, доживает свой од-

нообразный век. И горячо хочется Сергею прильнуть к ней, к этой нежной, простодушной матери, своим рано уставшим сердцем. И он пишет ей нежные письма, утешает, обещает скорое свидание. Но он не может ей поверить свою тоску, рассказать ей свою душу — ей трудно было бы понять его, да и жаль мучить бедную старуху.

Друг и воспитатель Рено был бы теперь самым нужным, самым дорогим человеком, но он остался в Париже и что с ним — Сергей не знает. Он опять пропал в бушующем море революции. Жив ли он, этот пламенный демагог-оратор, с ужасом отшатнувшийся от дел рук своих и так же страстно кинувшийся защищать то, что недавно проклинал?

Кто же остается? Один карлик Моська. И этот единственный, неизменный друг слышит не раз прорывающиеся жалобы Сергея и утешает его по-своему, но плохое от него утешение. Он находит, что «дите» чересчур провинилось, чересчур нагрешило, и Бог послал справедливое наказание, а следовательно, надо раскаиваться и молиться, и ждать Божьего милосердия.

Между тем время идет, и хоть на душе и тоскливо, и мрачно, а все же оно идет быстро. Время тревожное, страшное, историческое, события разыгрываются одно за другим...

Мало-помалу Сергей примиряется со своим положением, уже не просится в Россию, он привык к изгнанию, — ко всему можно привыкнуть. Он все более и более интересуется делами посольства, начинает показываться в высшем лондонском обществе, где ему, как и в Париже, всюду широко открыты двери. Он красив, богат, знатен, на нем останавливаются взгляды молодых, изящных женщин. Он ищет рассеяния, ищет забвения, с его именем уже связаны две-три романтические интриги; но он далеко не страстный любовник: женщины скоро ему надоедают, он отрывается от них для книг. И часто в то время, как его ждут в светском салоне, — сидит он у письменного стола и читает.

Опять на сцене старые друзья, философы-энциклопедисты. Теперь он уже яснее понимает их, чем в те иные годы, когда Рено страстно комментировал ему каждую фразу. Теперь уже старик Вольтер не возбуждает в

нем прежнего поклонения, он уже способен критически к нему относиться. Но все же этот смелый, блестящий и циничный ум имеет на него влияние, все же софизмы и облитые тонким ядом насмешки фернейского отшельника иной раз так гармонируют с раздражительным настроением Сергея.

Однако и книги надоедают. Скучно, скучно! В жизни нет цели, нет захватывающего интереса. Юность горячая, восторженная, полная надежд и грез, исчезла. Давно ли так во все верилось, давно ли было столько любви к человечеству, так страстно думалось о судьбах его, об его прогрессе? Теперь все это мертво. Снова жизнь дает отрезвляющие уроки. Человечество безумствует и, провозглашая, что добивается счастья, свободы и равенства, творит только неправду, только насилие. Нет правды, нет счастья на свете — одна вечная и ужасная борьба за существование! Какому же делу служить, чего добиваться? Вся эта работа политиков и дипломатов только игра, в значение и результаты которой, по большей части, не верят сами игроки.

Скучно, скучно!..

Проходят годы, как тяжелый сон, и все то же, только скука и скептическое отношение ко всему и ко всем становятся хроническими и неизлечимыми...

Наконец, после восьмилетнего отсутствия, он снова на родине.

Он получил известие о кончине своей матери и вместе с этим известием разрешение вернуться в Россию. Он не стал медлить ни минуты и поехал, тоскуя о своей утрате, вызывая перед собою образ доброй старушки, с которой не удалось ему даже проститься, которая так и не дождалась любимого сына.

Но несмотря на тоску и горе, он все же чувствовал, что сердце его как-то горячо и живо бьется, на него пахнуло свежим воздухом.

И вот теперь, в тишине рабочей комнаты своего петербургского дома, он очнулся как бы от спячки.

«Да, это был сон, долгий и страшный сон!» — подумал он.

Ему захотелось жизни, движения. Он сознавал, наконец, что все еще молод, что еще не все кончено, что впереди для него что-нибудь может быть такое, о чем он уже разучил-

ся думать. Ему вспомнилось, что он приехал не на веселье, не на радость, а на борьбу, на целый ряд неприятностей.

«Но что же такое? Тем лучше, тем лучше! — думал он. — Все же это жизнь, а до сих пор не было никакой жизни. А главное — я дома!»

III. ПЕРВЫЕ ВЕСТИ

Ручка запертой двери зашевелилась, а потом послышалось несколько легких ударов.

— Кто тут? — очнувшись, спросил Сергей.

— Это я, батюшка, с ответом... — расслышал он визгливый знакомый голос.

Он отпер двери, и в рабочей комнате появилась крохотная фигурка Моисея Степаныча — карлика Моськи.

Полный еще своих мыслей и воспоминаний о пережитом времени, Сергей любовно взглянул на своего старого пестуна.

— А ведь ты все тот же! Ты совсем не постарел, Степаныч! — тихо проговорил он, будто после долгой разлуки всматриваясь в сморщенное детское лицо карлика. — Помнишь,

как мы выбирались отсюда? Восемь лет прошло, и где эти годы? Ты вот не изменился, а я — хоть и быстро промелькнуло время — что случилось со мною?

Карлик вздохнул и, в свою очередь, внимательно и грустно поглядел на господина.

— Оно и впрямь, Сергей Борисыч, — шепнул он, — сколько воды утекло, а вот мы опять тут, и словно не выезжали. Маменьки только больно жалко, не ждал я, и в помышлениях не было! Все мне так и представлялось: приедем в Горбатовское... свидимся... Маменьки-то вот жалко, Сергей Борисыч!

Голос его задрожал, лицо совсем сморщилось. Он сделал усилие, чтобы удержаться от слез, но не мог и всхлипнул, утирая глаза кулачком. Сергей стоял, опустив голову, забыв свою руку на плече карлика. Он стиснул зубы и смаргивал набегавшие слезы.

— Да что уж, такова, видно, Господня воля, слезами-то мы не поможем! — оправляясь, заговорил карлик. — Вот, батюшка, побывал я по твоему приказу у Льва Александровича, и писулька к тебе от его милости. Дома он, ждет тебя...

Сергей быстро развернул и прочел записку. Нарышкин писал ему:

«Любезный племянник, по счастливой и редкой случайности — легкому моему нездоровью, — сижу я ныне весь день дома. Поспеш. Сердечно радуюсь свидеться с тобою, и хорошо, коли до меня никого не увидишь».

— Степаныч, вели скорее подать карету! — оживляясь, приказал Сергей.

Он быстро прошел в уборную, закончил свой туалет и отправился к Нарышкину. В сильном возбуждении, даже с легким румянцем, то появлявшимся, то исчезающим на его бледных щеках, он поднимался по широким ступеням лестницы, по-прежнему всею Петербургу знакомого дома знаменитого «Левушки». Он прошел вслед за указывавшим ему дорогу камердинером целый ряд зал. И невольно припоминались ему веселые вечера, которые он когда-то проводил здесь, тот блестящий маскарад, когда он впервые увидел цесаревича, где мелькало перед ним столько разных лиц, из которых многие уже кончили свое земное странствие, завершив так или иначе блестящую карьеру.

Но вот он в уютной комнате, где произошел его первый знаменательный разговор с цесаревичем. Перед ним хозяин. После родственного и радостного приветствия они разглядывали друг друга.

— Дядюшка, как мало вы изменились! — невольно сказал Сергей.

Нездоровье Льва Александровича, очевидно, было очень несерьезное: добродушное, плутоватое лицо его все так и смеялось. За эти восемь лет он только немного подался в ширину, да, может быть, появились две, три лишние морщины. Но от него все же дышало веселостью и здоровьем, в нем не замечалось еще никаких признаков подошедшей старости.

— Мало изменился, любезный друг, да с чего же мне много-то и меняться? А все ж таки хоть и мало, да изменился — вот в этом-то и штука. Ну, а вот ты, я вижу, сильно изменился. Постой, погляди — молокососом уже называть не стану, и красив же ты!., еще лучше стал, пожалуй! Да это пустое... Рад, дружок, что вижу тебя, сердечно рад, потолкуем, благо досуг есть. Скажи, положи руку на сердце,

ведь, я чаю, сердисься ты на меня?

— За что же, дядюшка, мне на вас сердиться?

— Ведь, я чаю, ты думаешь, что я за тебя не хлопотал, не старался?

— Я ничего такого не думаю, я уверен, что если бы от вас зависело, если бы вы могли что-нибудь, то я давно был бы в России.

— Так, так! — с видимым удовольствием и в то же время очень серьезно повторял Нарышкин. — Видит Бог, все сделал и ничего не мог добиться... и думал о тебе часто — ведь восемь лет, шутка ли?

— С матерью не мог проститься! — невольно вырвалось у Сергея.

— Да, и вот, как и в первый раз, я вижу тебя после такой потери — тогда отца схоронил, теперь мать!

— Но я был при кончине отца! Да уж что говорить об этом, я не жаловаться хочу вам, я хочу, чтобы вы мне глаза открыли на то, что здесь делается, чего мне ожидать, ведь я как в лесу — что я знаю! Помните, тогда мальчиком приехал, ничего не понимал тоже, а теперь и того меньше. Насколько мог сообразить отту-

да, издалека, теперь все иное — научите!

— Веселого от меня услышишь мало, — сказал Нарышкин, — а объяснить тебе не только могу, но и должен. Ты вот сказал, что я мало изменился — это может быть, а другие нет — другие сильно постарели. Вот тебе и вся разгадка. Уже несколько лет как я зачустую от самой слышу: «стара я стала!» И мы уж к этому привыкли, — с самой смерти Потемкина постарела.

Сергей печально усмехнулся.

— Да, но знаете, ведь я нахожусь в самом невыносимом положении. Вы вот говорите, что давно ко всему привыкли, оно понятно, время действует. Перемены, происходящие изо дня в день у вас же на глазах, не так поражают, а я был совсем от всего оторван, я не в силах примириться с некоторыми обстоятельствами, не могу смотреть на многое вашими глазами. Конечно, я прежде всего буду говорить о Зубове. Знаете ли, что он такое для меня? Ничтожный офицерик, несостоятельный мальчик, обуреваемый желанием жить на широкую ногу, вкусить от всех удовольствий, а потому подлизывающийся к богатой

молодежи, льнущий ко всем, кто может быть так или иначе ему полезен, увертливый, низкопоклонный, нахальный, когда это не может повредить ему, одним словом, сущая ничтожность и ничтожность противная. Таким я его оставил восемь лет тому назад, в день моего отъезда из Петербурга. До этого дня он был совсем незаметен, и если я его заметил, то единственно потому, что он случайно попался на моей дороге. Он всячески ухаживал за мною, взял у меня деньги и потом, вдруг преобразившись, почувствовав под собою почву, поняв, что я ему не нужен и не помеха, он с самым непристойным, циничным нахальством хотел мне вернуть эти деньги. Я сказал, что не приму их от него — и после того мы не видались. Я знаю, что я ему, и одному ему, обязан тем, что до сих пор не мог выбраться в Россию. Но все же, когда мне приходилось поневоле о нем думать, слушая почти невероятные рассказы о полученном им значении, я представлял и представляю его себе до сей минуты таким, каким он был тогда, — он не мог измениться. И вот этот человек, как мне говорят, управляет всеми делами и, наконец,

ведь он мое высшее начальство! Безбородко уступил ему звание президента коллегии иностранных дел! Послушайте, это сказка, это что-то совсем невозможное!

Нарышкин добродушно улыбался и тихонько кивал головою.

А Сергей между тем разгорячался больше и больше.

— Да, мне пришлось подумать об этом ничтожном человеке. Он мелочный и мстительный, как всякое ничтожество, как все выскочки. Он знал, что я не могу стать ему поперек дороги, я просил только свободы, просил позволения вернуться в деревню, я бы жил там безвыездно — и я не мог этого добиться. Ему, очевидно, нужно держать меня в своей власти, доказать мне, что он мой тюремщик. Он доказал мне это — но и того ему мало. Я все ждал, что ему наконец надоест и он меня оставит в покое. Нет, я вижу, теперь ему нужно еще моего унижения. Получив известие о кончине матушки, я опять просил отставки и опять получил отказ. Я должен был прямо из Лондона явиться сюда. Я должен завтра же, послезавтра, одним словом, на этих днях,

представиться господину президенту иностранной коллегии. Каково положение! Какова роль!

Нарышкин как-то полузакрыв глаза, стиснул зубы, даже покраснел, пальцы его усиленно играли кистью халата. Волнение Сергея, очевидно, сообщалось и ему, невозмутимому «Левушке». Но он все же молчал и только внимательно слушал.

Сергей продолжал:

— Знаете ли, дядюшка, в первую минуту я уже было решился не ехать в Россию. Что же мне — я опоздал, мать похоронена, денежные мои дела, заботы по имениям в надежных руках. Я чувствовал себя неспособным на эти встречи, на эти сцены, на эту невозможную, жалкую роль. А между тем это была только минута; я выехал в тот же день, и с радостью, и с наслаждением. Я русский, я люблю Россию. Я будто проснулся, будто помолодел с тех пор, как дышу родным воздухом. Но скажите мне, неужели нет никакой возможности избавиться от этого унижения, неужели я не могу сейчас же, немедленно получить отставку и уехать в Горбатовское? Ведь ваше положение

ние не изменилось, ведь вы по-прежнему близки, по-прежнему друг государыни. Прощу вас, если не ради меня, то хоть ради памяти отца сделать для меня это... Избавьте меня от унижения!

Он замолчал и с сильно бьющимся сердцем глядел на Нарышкина и ждал, что тот ему ответит.

— Милый мой, — тихо и серьезно проговорил Лев Александрович, — я ждал этого твоего ко мне обращения и обо всем подумал. Не всегда же я дурачусь, и, поверь, твои чувства мне понятны, я сам возмущен, глубоко возмущен. Слушай, что я скажу тебе. Отставки тебе не дадут, то есть, может быть, и дадут, но не сейчас. Ты должен показаться... но постой, не торопись, не волнуйся, твое положение вовсе не так дурно, как тебе оно может казаться. Известного господина ты описал верно. Да, он ничтожный и мстительный, и весьма вероятно, что он помышляет о твоём унижении; но поверь мне, я знаю, что говорю — не он отказал тебе в отставке, государыня мне говорила, что хочет тебя видеть, и не дальше, как дня три тому назад о тебе спрашивала. Ведь я ее

знаю и понимаю так же хорошо, как и самого себя, и я тебе говорю: тебе нечего бояться встречи с нею. Не знаю, как она к тебе относилась и что о тебе думала прежде, но теперь, именно теперь она не желает тебе дурного — напротив. Успокойся же — и потом знай, что хотя мы все, твои друзья и родные, и обессилены, но настолько же у нас есть сил, чтобы защитить тебя. Пусть Зубов желает тебя унижить; но ведь ты не из тех, кого можно легко унижить, — он торжествовать не будет! Конечно, тебе придется пережить неприятный час; но ведь мне не учить тебя, сам выйдешь из тяжелого положения, будь только хладнокровен, не теряй головы, думай о каждом шаге, о каждом слове. Ты ничего не ищешь, тебе никто не нужен, для тебя вон величайшим благополучием представляется отставка, возможность уехать и запереться в деревне, то есть именно то, что всем здешним людям представляется величайшим несчастьем. Так чего же тебе — никто тебя не унижит. В таком случае твое положение прекрасно, оно бесконечно лучше положения самого этого господина. Нет, дружок, напрасно только взволно-

вался — это еще остаток юности. Подумай-ка, ведь я прав?

Он ласково положил руку на колени Сергея и заглянул ему в глаза.

Сергей несколько мгновений сидел задумчиво, насупив брови, разбираясь в быстро нахлынувших мыслях и ощущениях.

— Да, пожалуй, вы правы, — проговорил он наконец, — спасибо вам. Я так был возбужден и взволнован это время, и немудрено, что глядел односторонне. Вы указали мне по крайней мере соломинку, за которую я могу ухватиться...

— Я укажу тебе еще нечто другое, — перебил его Нарышкин. — Есть обстоятельство, которое должно тебя успокоить и заставить снисходительнее смотреть на многое. Скажи мне, изменились ли твои чувства относительно того человека, с которым, помнишь, ты беседовал здесь, вот в этой самой комнате, во время маскарада?

Лицо Сергея внезапно оживилось.

— Я почитаю и люблю этого человека по-прежнему, — быстро проговорил он, — и если я до сих пор не сказал вам о нем ни слова, то

это вовсе не потому, что я о нем не думаю. Если бы вы знали, с каким нетерпением я жду возможности его видеть!

— Вот я в этом и был уверен, — сказал Нарышкин, — этот человек тоже ждет тебя, желает тебя видеть. «Я люблю его», — это он сказал мне про тебя несколько дней тому назад. Ну, друг любезный, надеюсь, ты теперь не станешь доходить до отчаяния — вот тебе выход. И если станет очень тяжело, если ты увидишь пустоту и ничтожество глумящихся над тобою, вспомни только об этом человеке, — и ты непременно должен будешь успокоиться. Он подвергается тому же, чему ты боишься быть подвергнутым, он воистину подает всем нам великий пример долготерпения и христианского смирения, и если этого не хотят видеть, тем хуже только для тех, кто не видит.

— Так, так, — горячо проговорил Сергей. — Но скажите мне, неужели все идет совсем по-прежнему — так, как было тогда?

— По-прежнему! — воскликнул Нарышкин. — Нет, не по-прежнему, а во сто раз хуже. Тогда он кому уступал? Человеку больших

и чудных дарований, человеку, работавшему для славы России, возведшему ее на высокую степень могущества и влияния. Светлейший был часто несправедлив к нему, но он никогда не был мелочным и злым человеком, во всяком случае, он соблюдал приличия. Теперь же о приличиях не думают, теперь раздуваясь тля унижает, и сносить это — большой подвиг. Мы все возмущены, но что должен он был чувствовать, что чувствует он теперь? Ты вот говорил о ничтожном мальчишке! Когда этот ничтожный мальчишка пошел в гору, все полагали, что дело ограничится только внешним почетом, что он, как человек необразованный и невоспитанный, не получит никакого влияния на дела; к тому же был еще жив Потемкин. Но всеобщие расчеты оказались пустыми. Мальчишка сразу задрал голову и вообразил себя государственным мужем. Его недостатков, его неспособности не видели. Потемкина не было в Петербурге. И знаю, что ему письменно рекомендовали полюбить господина Зубова и брата его Валериана. «Милые дети!» — для них не было другого названия. Не прошло и нескольких месяцев, как

перед милыми детьми все преклонялись и ползали, а они задирали голову выше и выше. Мне на своем веку не раз приходилось быть свидетелем, как слепая фортуна невпопад сыпала дары свои на чью-нибудь подвернувшуюся случайно голову; но подобного зрелища я никогда еще не видывал! Рог изобилия внезапно высыпался до дна на голову господина Зубова, и удивляться надо, как он не задохся под навалившейся на него грудой благополучия!.. Но он не задохся, а хотел еще большего. Потемкин все же стоял ему поперек дороги. И вот ничтожный мальчишка, льстя, ухаживая, изыскивая только способы быть приятным и не перечить, в то же время копал яму великану — и великан рухнул в эту яму, выкопанную столь ничтожными руками. Светлейший умер потому, что ему нельзя было больше жить. Умер оттого, что сознавал это, оттого, что мог примириться со всем, но не с забвением своих истинных заслуг, не с неблагодарностью. О нем плакали, даже заболели от печали, но это продолжалось недолго. «Как я буду жить без Потемкина, кто мне его заменит?» — так говорили. А между тем заме-

ститель был налицо: едва Потемкин скончался, господин Платон Зубов был объявлен государственным мужем и забрал в свои руки верховное управление всеми делами государства. Мне что, я никогда в это не вмешивался и не терял ничего, но и стоя в стороне, и вчуже, было обидно смотреть. А уж что испытывали наши дельцы — сам можешь легко себе представить. Но любимцу фортуны всего было мало — он хотел управлять Россией — ему было это дано. Он хотел управлять внешними сношениями — и Безбородко, сам Безбородко, положение которого казалось твердым и упроченным, дарования которого всем были явны, — должен был уступить ему свое место. Не каждый год, а каждый почти месяц приносил нам известие о новой милости, полученной счастливым юношей. Его грудь украшена всеми знаками отличия, ведь еще с 91 года он носил Александра Невского, Анну, Белого Орла и Станислава. Три года тому назад его отец, хищник и взяточник, о котором никто не мог никогда обмолвиться добрым словом, был возведен со своими сыновьями в графское достоинство Римской империи. Платону

был тогда же пожалован Андрей Первозванный. Он носит теперь все титулы и все звания, занимает более тридцати различных должностей самых разнородных. Наконец, ему пожалован портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Кажется, желать больше нечего, но и на этом он не мог остановиться. Его мелкую душонку мучило, что он носит один общий титул с братьями. И вот, после долгих хлопот, удалось наконец исполнить его желание — он светлейший князь Римской империи! Да, любезный друг, это сказка, но никому от этого ведь не легче!..

— Скажите по крайней мере, дядюшка, одно, — проговорил Сергей, — есть ли хоть что-нибудь порядочное в его светлости, умеет ли он, по крайности, обращаться с людьми? Я слышал, что он невыносимо дерзок?

— И тебя не обманули. Высокомерию его нет предела, он крайне невоспитан, он держит себя совершенно как глупый лакей, которого называли барином...

— И все это выносят?

— Да, все без исключения. Ведь иначе что же и делать, выносить приходится поневоле,

и, наконец, люди с истинным достоинством не могут себя считать оскорбленными. Оскорбить тебя может только равный тебе, а он никому не равен. Кого ни возьми — он или бесконечно выше этого человека, или бесконечно ниже.

— Дядюшка, я полагаю, однако, что это всеобщее долготерпение не имеет ничего общего с долготерпением цесаревича. Оно указывает на всеобщее бессилие, на нравственное ничтожество. Если цесаревич одинок и в таком невозможном положении — это вина всех тех, кто преклоняется перед господином Зубовым. Извините меня, я говорю прямо, но положение этой новоявленной светлости указывает на то, что все, перед ним преклоняющиеся, ничего иного не достойны.

Нарышкин усмехнулся.

— Не в бровь, а прямо в глаз! Ну, что же, мой любезный, я и тут не стану с тобой спорить, может, ты и прав. Очень, очень может быть, что мы никуда не годны, и нас ничем не исправишь — мы пасуем перед силой, каково бы ни было ее происхождение. Мы помышляем только о самих себе, о наших соб-

ственных делишках и животишках. И ради того, чтобы получить какую-нибудь выгоду, чтобы добиться какой-нибудь удачи, ради того, чтобы нам кинули какую-нибудь подачку, — мы будем ползать и пресмыкаться перед кем угодно. И все мы таковы, все без исключения, мы таковы с малолетства, так уже нас воспитали, а добрых примеров откуда нам взять? Вон поэты воспевают на своих лирах всякие добродетели, клеймят порок, смеются над лезтью — а посмотри на них! Возьмем хоть нашего поэта, Гаврилу Державина, — и он пресмыкается перед всемогущей светлостью, и он воспекает его мнимые доблести в звучных одах.

— Я никогда не видал Державина, — сказал Сергей, — но я знаю и люблю его творения, в них виден смелый ум и редкое дарование. То, что вы говорите о нем, очень грустно. Да, если такие люди способны пресмыкаться перед случайно возвеличенным ничтожеством, то чего же ждать от других?

Сергей улыбнулся своей тихой усталой улыбкой.

— Восемь лет тому назад, если бы вы рас-

сказали мне это про Державина, я бы почувствовал себя просто несчастным, а теперь, в сущности, вы не сказали мне ничего нового, я ко всему привык и всего навидался. Но все же, чтобы нам покончить с господином Зубовым, вы должны же мне указать на что-нибудь в нем доброе. Будьте беспристрастны, дядюшка, найдите в нем это доброе — ну, хоть что-нибудь, самую малость.

— Доброе! Если бы я целый день об этом продумал, то я все же ничего бы не выдумал, ничего бы не мог найти, — отвечал Нарышкин. — Этот господин воистину не имеет никаких достоинств и только одни пороки. За все эти восемь лет его могущества я не знаю ни одного доброго дела, которому бы он помог. Он ни разу еще не заступился за правого и обиженного. Он способен только заступиться за неправоное дело, сулящее ему выгоды. Он портит все, к чему прикасается. Вот ты хорошо знаком с внешней политикой и можешь сам посудить, сколько найдено ошибок и как ослаблено влияние России за эти восемь лет. Внутри государства царят несправедливость, хищение, распущенность. Он пожелал, между

прочим, распорядиться и войском — и что он сделал с ним? Наше еще недавно столь победоносное воинство теперь в самом жалком виде. Посмотри, что случилось с гвардией! Посмотри на офицеров, ведь они о своем деле не имеют понятия. Дисциплина уничтожена, офицеры расхаживают в партикулярном платье, занимаются кутежами и всякими дебошами. Вот еще недавно мне верный человек рассказывал, что часто за офицера, который спит непробудно, учить солдат выходит его жена, переодевшаяся в мужнино платье.

— Дядюшка, вы мне рассказываете такие вещи, которым бы я не поверил, если бы услышал их от другого. Я был приготовлен услышать многое, но все же такого не ждал. И теперь мне ясно, что такое положение не может продолжаться, скоро должен настать этому конец.

— Какой конец? — спросил Нарышкин.

— А я почему знаю, но, так или иначе, все это должно измениться. Долго жить в таком положении государство не может. Что же касается до меня, вы мне оказали большую услугу, вы ободрили меня, и теперь мне уже

не страшно подумать о представлении его светлости.

— А ведь только это и нужно было, друг любезный! — весело сказал Нарышкин.

Сергей простился с «Левушкой» и уехал к себе, разбираясь в мыслях, вызванных этим разговором.

IV. «ДНЕЙ ГРАЖДАНИН ЗОЛОТЫХ»

После целой недели ненастья петербургское сентябрьское небо наконец прояснилось. Солнечное утро заглянуло в полуспущенные занавеси одной из комнат Зимнего дворца.

Это была обширная комната, которой трудно было дать определенно наименование. Ее бы следовало назвать спальней, но можно было назвать и уборной, и кабинетом, и приемной, и всем, чем угодно. Самая разнообразная мебель и мало подходящие друг к другу предметы наполняли ее. В глубине, под дорогим штофным балдахином, виднелась золоченая кровать, неподалеку от нее стоял туалетный стол с большим венецианским зеркалом, уставленный всякими скляночками и баноч-

ками, гребешками и щетками, одним словом, вещами, необходимыми скорее для женского, чем для мужского туалета. По стенам висело несколько больших и малых картин с самыми разнообразными сюжетами; и между ними, на самых видных местах, превосходные портреты императрицы Екатерины. На всех этих портретах она была похожа и в то же время необыкновенно красива и моложава.

Ближе к окнам стоял письменный стол, заваленный бумагами; возле него этажерка с книгами. На другом столе лежали, очевидно, небрежно брошенные орденские звезды и другие знаки отличия. На нескольких стульях виднелись различные принадлежности мужского костюма. Рядом с ночным столиком, приставленным к кровати, был придвинут еще другой, тяжелый, вычурный столик мозаичной работы, и на нем стояла перламутровая открытая шкатулка.

Шкатулка вся была полна драгоценными украшениями, по преимуществу табакерками и перстнями. И все это сверкало огромными бриллиантами чистейшей воды, превосходными рубинами, изумрудами и яхонтами.

Но несмотря на роскошные, драгоценные вещи, разбросанные повсюду, несмотря на золото, шелк и бархат, эта комната поражала своим беспорядком, своей неряшливостью.

У ног кровати, на табуретке, прикрытой пушистым одеялом, спала, свернувшись, маленькая обезьяна. Она иногда вздрагивала, приподнимала свою безобразную и смешную мордочку, мигала большими черными глазами, нюхала воздух, зевала во весь огромный рот и чесала за ухом с ужимками и манерами уже проснувшегося, но желающего еще полежаться и понежиться человека. Почесавшись, поморгав и позевав, обезьянка повертывала мордочку по направлению к кровати, заглядывала под занавеску балдахина, прислушивалась и затем опять свертывалась в клубочек и засыпала.

Все было тихо в комнате. Только из-за запертой двери доносился едва слышный шепот, прерывавшийся иногда таким же тихим возгласом:

«Ш-ш!»

Но вот под балдахином кто-то зевнул раз, другой. Небольшая мужская рука, с длинными

ми розовыми ногтями, сдернула занавес, на пышных подушках обрисовался тонкий профиль молодого красивого лица.

Обезьянка проснулась, прислушалась, взвизгнула и в один прыжок очутилась на кровати.

— Пошла! Пошла! — крикнул еще несколько охрипшим спросонья голосом молодой человек, отстраняя от себя обрадованное и назойливое животное.

Обезьянка стала лизать ему руку; но тут же была схвачена за шиворот и, смешно перекувырнувшись в воздухе, полетела на ковер.

Она поджала хвост, подползла под кровать и ежеминутно выглядывала оттуда, гримасничая самым уморительным образом.

Молодой человек потянулся, еще раз зевнул и спустил ноги с кровати. Теперь можно было хорошо рассмотреть всю его фигуру.

Он далеко уже не был юношей. Ему казалось на вид лет тридцать, а может, и больше; невысокого роста, сухощавый, с нежным, почти женским сложением, он казался бессильным и хрупким, он был бледен — матовой, несколько желтоватой бледностью. На его ли-

це с правильными и тонкими чертами, с большими темными глазами, еще не успели показаться морщины, кожа была нежная и тонкая. Но это бесспорно замечательно красивое лицо поражало только в первую минуту, а затем уже представлялось совсем незначительным — ничтожным. Он уже пережил тот возраст, когда его можно было принять за краснеющую девушку и когда это сходство говорило в его пользу. Теперь он был зрелым мужчиной, а между тем ничего твердого, мужского не было заметно в нежном, несколько выцветшем и увядшем лице его.

Он потянулся к колокольчику и позвонил.

В то же самое мгновение маленькая дверца за кроватью отворилась, появилась, неслышно ступая по паркету, фигура благообразного, вымуштрованного камердинера. Камердинер поставил на столик поднос с маленьким серебряным умывальником и полотенцем. Потом ловко обул молодого человека, подал ему легкий восточный халат и так же неслышно удалился.

Молодой человек, засучив рукава, вылил содержимое умывальника в маленькую ло-

ханку — это были густые сливки. Он несколько раз окунул в них лицо, крепко зажмуривая глаза. Затем в них же вымыл руки и осторожно утерся полотенцем. Затем, пока оставшиеся жирные и влажные частицы высыхали на лице, он опять прилег на кровать, свистнул обезьянку и, играя с нею, забавляясь ее гримасами и легкими прыжками, погрузился в тихое раздумье. Минуты проходили за минутами. Вокруг было все также тихо, только по-прежнему за затворенной дверью едва слышно раздавался не то шорох, не то шепот.

Мысли молодого человека перелетали от одного предмета на другой. Но, собственно говоря, о чем бы он ни думал — он думал только о себе самом. Однако вот он остановился, очевидно, на чем-то очень для него важном, даже брови у него сдвинулись, даже глаза блеснули как-то особенно.

Он опять схватил за шиворот обезьянку и отшвырнул ее.

«Гений, гений! государственный ум, великие люди! — думал он. — Вон Потемкина в великие люди записали, а чем же я хуже его?.. Я был неопытен, я был почти ребенок, а все же

сумел с ним справиться, осилил его. Великий человек! Он думал удивить весь мир своим греческим проектом, и что же вышло из его мечтаний, из его проекта? Ничего, все разлетелось, как дым, потому что все это был вздор. Нет, я докажу им, что я поумнее и подальновиднее Потемкина. Мне надоело наконец все это, зачем мне им глаза колют! Сколько раз она мне повторяла: „второго Потемкина не будет“... Я докажу ей, я докажу всему миру. Разве мои мысли неосуществимы?.. Ведь вон даже этот дерзкий сумасброд, этот кривляка Суворов ничего не мог мне возразить! Да, не пройдет и года, все будет сделано. Брат Валериан займет все важные торговые пункты от Персии до Тибета, оставит там наши гарнизоны, установит таким образом прямое сообщение России с Индией. Потом направится с русской армией к Анатолии, возьмет Анапу и сразу пресечет все сношения с Константинополем. Между тем Суворов в то же время двинется к Константинополю через Балканы и Андринополь. Я же с императрицей, находясь лично на флоте, осадим Константинополь с моря... На долю брата Валериана вы-

падет большая слава, опять он будет считать себя героем и опять получит знатные награды. Какой же он герой? С детства был трусишкой и ногу-то потерял единственно по глупости, а уж никак не по героизму. А ведь думает-то о себе сколько! Я уверен, что он себя умнее меня почитает — избаловали, осыпали милостями, надавали всяких отличий и даже меня не спрашивались. Не стоит он совсем этого, ну, да уж Бог с ним, все равно нужно будет сунуть его в это дело, все лучше, чем кому-нибудь другому. Чего бы он теперь ни наделал и как бы его ни хвалили — все равно уж не может быть для меня опасен. Суворов!.. Но без Суворова никак обойтись невозможно. Да он теперь одумался, слушается, молчит, понял, наконец, глупый старик, что не со мною ему тягаться. Что же они мне возразить могут, ведь все это так исполнимо, и все это непременно будет. Конечно, дорого обойдется — пускай высчитывают. Да, мало, откуда взять? Нашли, чем пугать. Я им прямо сказал ведь, что есть предприятия, для которых не может быть недостачи в деньгах, нужно добыть — и добудут. Налоги — отягощение на-

рода! Да мне-то какое дело? Раз, что такая гениальная мысль пришла в голову — необходимо тотчас же осуществить ее во что бы то ни стало. Эта идея, которая, конечно, будет исполнена, навеки меня прославит, обессмертит. Какую оду в честь мою напишет этот подлипала Державин!.. Как это он теперь сказал про меня:

*Кто сей любитель согласья?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злых?
Дней гражданин золотых,
Истый любимец Астреи!*

Как же теперь-то он назовет меня? В божеское возведет достоинство, наречет громовержцем Зевесом. Вся Европа ахнет, вся как есть! Все свои скверные языки прикусят, пусть лопаются с досады и зависти, пусть все видят, что меня поднял не случай, а мои таланты и... и уж она не решится говорить мне, что второго Потемкина не будет!»

И вдруг он вспомнил что-то такое, что вдруг заставило его вскочить с кровати и даже нервно пройти по комнате. Он усмех-

нулся злой и самодовольной улыбкой и прошептал:

— Я докажу ему, что он червяк передо мною и что мне стоит только так вот приподнять ногу, а потом опустить, и от него ничего не останется!...

Кто же так мог взволновать этого человека, находящегося на верху земных почестей и, как он полагал, на верху земной славы? О ком мог вспомнить этот государственный муж, только что помышлявший о своем грандиозном и гениальном, как он был твердо уверен, проекте? Был ли это политический враг, какая-нибудь владетельная особа, какой-нибудь знаменитый министр иностранной державы, с которым ему приходилось бороться?

Нет, светлейший князь Платон Зубов вдруг вспомнил, что он приказал в это утро явиться к себе только что прибывшему из Лондона дипломату Сергею Горбатову, который, вероятно, и дожидается его там, в приемной.

Зубов вспомнил далекое время, красивого любезного юношу, богатого и знатного, только что появившегося в петербургском свете,

и которому сулили блестящую карьеру. Он вспомнил, как он, Платон Зубов, ничтожный офицерик, всегда нуждавшийся в деньгах, потому что скупой отец редко высылал их из деревни, как он стремился познакомиться с этим блестящим молодым человеком, как он втерся к нему в дом, обратил на себя внимание услужливостью. Вспомнил вечер у цыганки, кошелек с деньгами, выпрошенный им у Горбатова, и потом... сцену в Царском Селе, перед запертыми дверями покоев императрицы, где он стоял дежурным.

«Я хотел возвратить ему эти деньги, а он наотрез от них отказался и не взглянул! Каким тоном говорил со мною! Он готов был съесть меня от зависти и злобы, он должен был понять, что наши роли изменились. Но как же смел он так говорить со мною, как смел оскорблять меня? Такие вещи не забываются. Может быть, он и хотел позабыть, да я-то ему забыть не дам, я уже доказал, кажется, ему, что нельзя безнаказанно обижать Платона Зубова! Восемь лет прошло! Ну, что же с ним случилось за это время? Я знаю, как ему хотелось вернуться. Я помню, как все за

него просили, но все же я настоял на своем. Он не был для меня опасен даже и в первое время. Если бы ему желалось остаться за границей, я бы заставил его вернуться сюда, но он хотел непременно вернуться — и поэтому должен был там оставаться. Что он получил в это время, какую карьеру сделал? Его расхваливал и Симолин, и Воронцов, хлопотали о повышениях, но он получил всего-навсего две-три ничтожные награды по службе, он почти в том же положении, как и уехал отсюда. Он знает, конечно, знает, кому обязан этим. Он хорошо знает — что такое теперь Платон Зубов, но пусть увидит своими глазами. Мне приятно будет взглянуть на него, на одного из мелких, затертых мною чиновников... Как-то он станет теперь передо мною хорохориться? «Господин Зубов, я не приму от вас денег!» Господин Зубов! Нет, теперь — «ваша светлость»!..

И он совсем позабыл о своем знаменитом проекте, о многих государственных делах, ждавших его решения. Забыл обо всем и думал только о совсем чуждом ему, никогда и ничем не повредившем ему человеку, которо-

му он испортил восемь лет жизни и которого хотел довести до крайнего унижения. Но ведь он никогда ни о ком не думал и не заботился! Если ему встречались люди, которые, как казалось ему, могут в чем-нибудь помешать, могут встать поперек дороги, — он отстранял их легко и внезапно, без всякого труда со своей стороны. Ему достаточно было навести разговор, приготовить подходящую фразу, пустить в ход наизусть заученные и всегда с одинаковым успехом действующие уловки. Неудобный человек был устранен, и затем ему не было до него никакого дела, он относился к нему равнодушно. Он привык теперь уже считать себя бесконечно выше всех, и все казались ему такими ничтожными, мелкими. Государственные люди, люди знаменитые в разных сферах деятельности, преклонялись перед ним, ловили его улыбку, его милостивый взгляд, кланялись, ползали перед ним. Так как же ему было не считать себя великаном, а всех этих людей пигмеями?

Но в таком случае стоило ли обращать внимание на незначительного человека, на неудавшегося дипломата, стоило ли о нем ду-

мать, мстить ему за какую-то давнюю обиду? Видно, стоило.

Платон Зубов во все эти восемь лет нет, нет, да вспоминал о Сергее Горбатове и каждый раз волновался при этих воспоминаниях. Было что-то в этом почти уничтоженном им человеке, что выводило его из себя, бесило. Он как-то не похож был на остальных людей, на всех этих заслуженных сановников, увешанных звездами и лентами, которых светлейший князь считал мелкими мошками и о которых не было ему ни охоты, ни досуга думать.

Наконец, Зубов взглянул на часы, позвонил камердинеру и с его помощью начал умываться. Вместе с камердинером в спальню вошел молодой человек, тоже лет около тридцати. Господин этот держал под мышкой портфель. Он с видимыми знаками глубочайшего почтения, но в то же время не без некоторой фамильярности раскланялся с Зубовым. Тот довольно приветливо кивнул ему головой и продолжал умываться.

Господин с портфелем был Грибовский, один из очень немногих любимцев Зубова,

его секретарь и секретарь государыни.

— Виделся нынче с Морковым? — спросил, тщательно вытирая себе лицо и глядясь в зеркало, Зубов.

— Виделся, ваша светлость! — ответил Грибовский.

— Ну, и что же? Говорил он с королем, успел его урезонить?

— Да как вам сказать, ваша светлость, король хоть и мальчик еще совсем, а все-таки упрям изрядно, стоит на своем. Но, конечно, в конце концов вы его уговорите. Граф Морков кое-что придумал и сказал мне, что сегодня изложит вашей светлости свой план.

— Хорошо, я поговорю с ним. Скажи, пожалуйста, много сегодня там собралось народу у меня в приемной?

— По обычаю, ваша светлость, битком набито.

— А не заметил ты, там ли приехавший из Лондона Горбатов, которому я вчера вечером послал приказание явиться?

— Там, ваша светлость!

— Пойди скажи, что я проснулся и выхожу, да скажи Горбатову, что он тоже может вой-

ти.

Грибовский с изумлением взглянул на Зубова.

В комнату рядом со спальней впускались только самые высокопоставленные и близкие князю лица — и вдруг он разрешает входить в это святилище малочинному, бывшему так долго в удалении человеку — что значит эта необычная милость? Но он, конечно, не выразил своего изумления.

Зубов вытер руки, накинул халат.

— Дай мне твои бумаги, — сказал он Грибовскому.

Тот вынул бумаги из портфеля.

— Да скажи цирюльнику, чтобы шел меня причесывать... Отвори дверь!

Грибовский кинулся вперед, распахнул двери, и князь, одной рукой придерживая полы халата, другой держа взятые у секретаря бумаги, вышел в соседнюю комнату. Обезьяна выскочила из-под кровати и, прыгая и кривляясь, последовала за своим господином.

V. ПРИЕМ

Комната, в которую вошел Зубов, была так же обширна, как и его спальня, так же роскошна и только несколько менее беспорядочно убрана.

Зубов развалился в покойном кресле, придвинул столик, положил на него бумаги, часть их взял в руки и сделал вид, что углублен в чтение. Дверь отворилась, и в комнату начали входить один за другим важные сановники, люди пожилые и заслуженные, увешанные знаками отличия, почти все представители старинных русских фамилий. Они были в полной форме. Входя в комнату, все отвешивали глубокий поклон хозяину и останавливались в ожидательной и почтительной позе, не доходя несколько шагов до его кресла. Он продолжал глядеть в бумаги, не замечая поклонов, не поднимая глаз. Наконец, когда Грибовский пропустил всех, кто имел право входа в эту комнату, когда дверь затворилась, он положил бумаги на колени и обвел глазами присутствовавших. Все отвесили ему поклон вторично. Не приподнимаясь с крес-

ла, не изменяя своей позы, он только слегка кивнул головою и рассеянно проговорил:

— Здравствуйте!

В то же время красивые глаза его, в которых блеснуло теперь какое-то непривычное выражение, остановились на лице человека, стоявшего в отдалении от всех.

«О! как он изменился! — подумал Зубов. — Какой бледный, видно, жилось не особенно весело! А красив по-прежнему, еще красивее!..»

Но при этом он вспомнил про свою собственную красоту, о которой так много трубили ему со всех сторон, — и успокоился. Он еще раз взглянул на этого стоявшего поодаль человека, на Сергея Горбатова.

Тот тоже прямо и спокойно смотрел на него, не опустил глаз от его взгляда. Горделивая и презрительная усмешка блуждала на губах его. Он стоял среди всех перед хозяином, развалившимся в кресле и едва кинувшим своим гостям небрежное «здравствуйте», но стоял в такой непринужденной горделивой позе, что Зубова всего перевернуло, злоба подступила к груди его, щеки вспыхнули.

«А, так-то! Все такой же! — думал он. — Ну, стой, я смирю твою гордость, а пока посмотри, полюбуйся — что я теперь такое!» Он отвел от него глаза. Кто-то из сановников почтительно склонился перед ним, говорил ему, докладывал ему что-то. Он сделал вид, что слушает, раза два одобрительно кивнул головою, промолвил:

— Так, так!

А потом, когда говоривший замолчал и отошел несколько в сторону, он будто бы что-то вспомнил и позвал Грибовского.

— Пойди, пожалуйста, в спальню, на кругленьком столике увидишь маленький футляр — принеси!..

Грибовский вышел из комнаты и вернулся с футляром.

— Господин Милессино! — протянул Зубов.

Старый заслуженный генерал, с почтенным, благообразным лицом и военной выправкой, отделился от кучки сановников и приблизился к креслу светлейшего князя.

— Что угодно, ваша светлость? — заискивающим тоном проговорил он.

— Генерал, я поздравляю вас с милостью

государыни, она поручила мне передать вам вот это.

Он протянул генералу принесенный Грибовским футляр.

Тот принял футляр дрожащей рукою, открыл его — в нем оказались орденские знаки Владимира первой степени.

Увидав красные и черные полосы ленты, о которой он так долго мечтал, генерал совершенно растерялся от восторга. В лице его что-то дрогнуло, на глаза набежали слезы и в порыве благодарности он кинулся к Зубову, склонился перед ним своим тучным, старческим, но все еще крепко перетянутым телом и — звонко чмокнул у него руку.

— Я не нахожу слов для благодарности, — запинаясь, говорил он, — ваша светлость... благодетель!..

Зубов, ничуть не смущенный тем, что старый генерал поцеловал у него руку, отвечал ему милостиво и величаво:

— Что же, вы заслужили эту награду и вполне достойны этой милости. Ах да, между прочим, мы и теперь на вас рассчитываем — вы большой мастер устраивать фейерверки и

маневры. Теперь нужно будет блеснуть этим перед нашим гостем, молодым шведским королем, или нет, графом Гагою, ибо мы так должны называть его. Мы на вас рассчитываем, и я надеюсь, что вы сделаете все возможное для доставления удовольствия государыне!

— Ваша светлость, постараюсь, все, что в силах! — лепетал старик, весь красный от счастья, то и дело поглядывая на широкую темно-красную, с черными полосами, ленту, бывшую в руках у него.

Вся эта сцена, очевидно, не поразила никого из присутствовавших. Все обступили генерала, поздравляли его, жали ему руку. На некоторых лицах изображалась зависть, только один Сергей Горбатов стоял, не веря глазам своим.

Он слышал многое, ожидал многого, но все же не того, чего ему пришлось быть свидетелем.

А между тем в приемной комнате светлейшего князя Зубова все шло своим чередом. Появился цирюльник, стал причесывать князя. Тот, подставив ему свою голову, опять

взялся за бумаги и делал вид, что читает. Вельможи переговаривались между собою, иногда то тот, то другой подходил к хозяину и сообщал ему какое-нибудь интересное известие или замечание, которое считалось достойным быть сообщенным его светлости.

Эти сообщения начинались обыкновенно такую фразу:

«Ваша светлость, позвольте мне иметь счастье сообщить вам...» «Покорнейше прошу вашу светлость соблаговолить обратить внимание...» — и все в этом роде.

— А? что такое? — надменно произносил Зубов, отрываясь от бумаг, небрежно выслушивал то, что ему говорили, цедил в ответ несколько слов и затем опять принимался за свои бумаги.

В комнате было много кресел, стульев, но никто не смел сесть, и Зубов никого не приглашал садиться.

Сергей вспомнил вечера в Эрмитаже, простоту и ласковость державной хозяйки, ту непринужденность, которую чувствовали ее гости.

«Что же это такое? — изумленно спраши-

вал он себя. — Или я брежу?»

Но он не бредил. Цирюльник сделал свое дело и с глубоким поклоном, не удостоившимся никакого внимания со стороны Зубова, удалился. Зубов положил на стол свои бумаги, еще более развалился в кресле, взял в рот зубочистку, свистнул обезьянку и начал играть с нею. Обезьянка совсем расшалилась — завертелась, запрыгала, загримасничала, а потом вдруг стала метаться из стороны в сторону, прыгать то на того, то на другого.

Вот она вскочила на спину к пожилому господину, весьма почтенного и важного вида, и, во мгновение ока, сдернула с него парик. Зубов засмеялся — стали улыбаться и все остальные.

Бедный старик, представлявший теперь очень смешную фигуру, в пышном мундире и с совершенно голой головой, старался высвободить парик из лап обезьянки, но она не давала. Она помчалась с его париком в противоположный угол комнаты. Она волочила парик по ковру.

— Не беда, — рассеянно улыбаясь, прогово-

рил Зубов. — Грибовский, кликни цирюльница, он, верно, еще не ушел. Он сейчас приведет парик в порядок!

Сергей Горбатов не мог больше вынести, в нем клокотали негодование, злоба и презрение. Оставаться в этой комнате, быть свидетелем этих невероятных сцен, стоять перед этим развалившимся господином — он решительно не мог этого. Он круто повернулся, вышел и запер за собою дверь. Зубов тотчас же заметил это. Он даже приподнялся с кресла и стиснул кулаки, но тут же опять развалился и подумал:

«А! не нравится? Но за эту дерзость тебе придется ответить».

VI. ФИЛОСОФ-ПРАКТИК

Первая приемная была битком набита напролом. И здесь попадались важные фигуры в генеральских мундирах, крупных орденах, но рядом с ними можно было увидеть и нечиновного человека.

В эту первую приемную разрешено было входить каждому, кто мог иметь дело до князя. Но, несмотря на это разрешение, все же для того, чтобы добраться сюда, нужно было предварительно пройти через разные мытарства, необходимо было задобрить несколько человек камердинеров, которые ежеминутно заглядывали и миновать которых не представлялось никакой возможности.

Опытные люди хорошо знали это и, отправляясь в апартаменты светлейшего князя, заранее раскладывали себе по карманам деньги, для того чтобы совать их в руки всемогущим лакеям.

Лакей, получив подачку, в одно мгновение, очень ловко и привычно, даже не взглянув, оценивал ее достоинство. Если подачка оказывалась достаточной, он с покровитель-

ственным видом кивал головою и пропускал посетителя дальше, сдавая его с рук на руки следовавшему за ним и уже внимательно поглядывавшему на посетительский карман товарищу.

Если же подачка казалась лакею недостаточной, то он без всякого смущения, презрительно и надменно качал головою и останавливал посетителя:

— Обождите! Да вы по какому делу? Его светлость и так жалуется, что в приемной продохнуть нельзя, столько народу шляется, и невесть зачем. Нынче там больно много набралось — другой раз пожалуйте!

Приходилось опять раскошелиться, покуда алчность княжеских служителей не удовлетворялась.

Только люди, уже очень хорошо известные или получившие, так сказать, именной приказ явиться к князю, невозбранно проходили мимо фаланги всегда готовых на приступ аргусов. Но и эти люди, если только они обладали благоразумием, добивались лакейских милостей и, наперерыв друг перед другом, старались убедить их в своей щедрости. Они хоро-

шо знали, что в руках этих лакеев многое, и что если всеми мерами нужно добиться благорасположения господина Грибовского или иного близкого к князю человека, то не следует пренебрегать и этими сравнительно маленькими людьми.

Бывали примеры больших неприятностей для посетителей, не успевших снискать милости лакея. Случалось, в первой приемной князя, что лакеи просто придирались невесть к чему и сами, заводя шум, выталкивали иных посетителей взашей, и выталкиваемые княжескими лакеями люди были вовсе не какие-нибудь попрошайки. Одним словом, существовала целая наука, основательное изучение которой оказывалось неизбежным, если человек желал чего-нибудь добиться в приемной Зубова.

Людей, изучавших эту науку, было всегда многое множество, потому что никому не удавалось обойти эти приемные. Если у кого-нибудь и не было дела лично до князя, то ведь в приемных его собирались все сановники, все правительственные лица. Здесь устраивались знакомства, здесь подавались проше-

ния, подвигались и решались всевозможные дела, достигались очень важные результаты. Иногда все это обделывалось очень быстро, нужно было только не скупиться хорошенько потряхнуть мошною.

В безнадежном положении здесь оказывались одни бедняки; но бедняки никогда не заглядывали в чертоги Зубова, они хорошо знали, что искать у него правды невозможно, что он не сделал еще ни одного доброго дела, не выручил ни одного невинно обвиненного.

При Орлове и Потемкине не то бывало — в те времена человек, которого несправедливо засудили, у которого кляузным образом оттягали имение, человек, впавший не по своей вине в разорение и нужду, стремился в Петербург и помышлял только о том, как бы ему добраться до всесильного вельможи, стоявшего у самого кормила правления. Часто он представлял это себе почти невозможным и немало изумлялся, когда оказывалось, что доступ к всесильному вельможе был вовсе не так труден.

А добьется, бывало, бедный, обиженный человек свидания с «самим», изложит ему

свое дело, представит доказательства правоты своей, и не пройдет и нескольких дней, как его дело строго-настрого пересматривается, деяния хищников и неправедных судей выплывают наружу. Их ожидает заслуженная кара, а неправильно обвиненный человек оправдывается, ему возвращается его собственность, с честного, загрязненного клеветой имени снимается бесчестие. Одним словом, торжествует справедливость, и человек, искавший у всемогущего вельможи правды и нашедший ее, уже невольно считает этого вельможу светильником всех человеческих добродетелей и всеобщим благодетелем.

«Да, — рассуждает он, — велики милости и щедроты, им получаемые, громадны пожалованные ему богатства, почести, ему воздаваемые, но ведь он заслуживает все это своими добродетелями — он истинный сын России, истинный слуга возвеличившей его государыни».

Так рассуждает сыскавший свою правду у всемогущего вельможи человек и подтверждает свои рассуждения непреложными свидетельствами.

«Сам видел! На себе испытал! Вот что слышал в бытность свою у его светлости!...»

И начинаются описания образа жизни могучего вельможи, его привычек, особенностей, иногда странностей, передаются анекдоты, где образ вельможи является в ореоле могущества и в то же время душевной доброты, простоты и ласковости. Эти рассказы, анекдоты, наконец, легенды растут с каждым днем, распространяются дальше и дальше, заносятся в самые темные уголки — и репутация, популярность возвеличенного человека упрочены! У него много врагов и завистников, но эти враги и завистники теряются в общей массе народа всех сословий, которая относится к нему отнюдь не враждебно и не с завистью, а напротив, с почтением, считая его достойным выпавшего ему на долю исключительного положения.

Так было с Григорием Орловым, так было с Григорием Потемкиным, но не так было с Платоном Зубовым.

Восемь лет продолжалось его могущество, и в эти восемь лет окончательно создалась и упрочилась его репутация. В темных и дале-

ких уголках России жива была память о богатыре Орлове, о великане Потемкине, но там не знали о существовании пигмея Зубова. О нем знали в других слоях общества, в других сферах — и здесь заслужил, он общую ненависть, общее презрение. На него смотрели всюду, как на неизбежное зло, с которым нельзя бороться, как на зло противное, отталкивающее. Никому и в голову не приходило искать у него защиты, пытаться через его посредство довести до всегда справедливой и любящей правду государыни какое-нибудь вопиющее дело.

Если он говорил ей о ком-либо, то единственно для того, чтобы оклеветать человека, лишить его милости государыни, подставить ему ногу. И он был не один. Он возвеличил вместе с собою всю семью, начиная со старика отца, пользовавшегося своим положением и влиянием сына только для того, чтобы нажиться самым возмутительным образом. Старик Зубов прославился как кляузник, как хищник и грабитель чужих поместий. Не одну семью пустил он по миру. Добиться чего-нибудь через посредство Зубовых можно

было только угождениями, подарками, грубой лестью, пресмыканием.

Так было в то жалкое время, по сказаниям всех современников, как русских, так и иностранцев. И в этих многочисленных сказаниях не встречается разногласия.

Что же должен был чувствовать очутившийся в приемных Зубова Сергей Горбатов, в котором кипела гордая кровь благородных предков, бывших в течение веков истинными слугами престола и отечества? Сергей почти задыхался от негодования, приглядываясь к окружающим его лицам, прислушиваясь к отрывочным разговорам, раздававшимся вокруг него, к этому боязливому шепоту. Все здесь как-то съеживалось, поджималось. Горланы и краснобаи, храбрецы и хвастуны у себя дома или в подходящем кругу, здесь превращались в трусливых зайцев и вздрагивали при каждом звуке, доносившемся из соседней комнаты, при малейшем скрипе двери. Люди, помыкавшие десятками собственных лакеев, располагавшие сотнями и тысячами крепостных душ, подобострастно заглядывали в надутые спесью физиономии княжеских

лакеев.

Среди этих людей было несколько лиц, знавших Сергея Горбатова восемь лет тому назад. Они узнали его и теперь, но пока он со всеми дожидался в первой приемной пробуждения и выхода светлейшего князя, все эти люди делали вид, что не узнают его.

На каком основании он сюда явился? Каковы его шансы? Соображали разные обстоятельства, относившиеся до его долгого пребывания за границей, и единодушно, будто стоворившись, решили, что еще раненько узнать его. Надо сначала посмотреть — каков прием будет ему оказан князем?

И вот он вместе со знатными сановниками приглашен во вторую приемную.

Едва он показался из двери, как старые знакомцы кинулись к нему с распростертыми объятиями. Только почтение к этим стенам и присутствие в соседней комнате светлейшего князя мешали их восторженным восклицаниям. Все говорили полусшепотом, завладевая рукою Сергея.

— Сергей Борисыч, батюшка, вы ли это? А мы смотрим, смотрим, знакомое лицо, а при-

знать не можем. Наконец-то к нам пожаловали, привел Господь Бог свидеться... Все ли в добром здравье?

Сергей не знал, кому отвечать.

— Ну, что, Сергей Борисыч, милостив был князь? Как он сегодня? — продолжался таинственный шепот.

— Не знаю, каким он бывает, когда милостив и когда не милостив, я с ним не беседовал, — рассеянно проговорил Сергей.

— Как же вы вышли оттуда? Как так?

— А вышел оттого, что там чересчур весело — обезьяна на людей кидается, парики стаскивает. Так я и не стал ждать, чтобы она и на меня прыгнула... Подобная забава мне не по вкусу.

Он тут же и раскаялся в том, что сказал это: «К чему я говорю и кому, разве стоит!»

Он чувствовал себя утомленным и опустился в первое попавшееся кресло.

Но действие, произведенное его словами, было замечательно. Все эти старые знакомые, обступившие было его и хватавшие его руку, вдруг отступили от него, как от зачумленного.

«Что он, сумасшедший, что ли? Какова смелость, какова дерзость. И во всяком случае, он человек опасный, от него надо подальше, не то еще наживешь себе беды..!»

В толпе, обступившей было Сергея и потом мгновенно от него отхлынувшей, находился один человек, который, очевидно, не признавал его зачумленным и опасным, напротив, он все внимательнее, серьезнее и ласковее смотрел на него.

На вид этому человеку казалось лет около пятидесяти, но он был еще очень бодр и крепок; красотою не отличался: неправильны черты, большой толстый нос, крупный рот, небольшие, но зоркие и приятные глаза, на щеке бородавка. Одет он был скромно и держал себя просто и непринужденно. На кафтане его виднелась звезда, указывавшая на довольно видное, во всяком случае, служебное его положение. Нельзя было сказать, чтобы он производил своей фигурой, своим лицом особенно привлекательное впечатление, но, во всяком случае, лицо это было из тех, на которые нельзя не обратить внимания. Несмотря на некрасивость, оно поражало чем-то осо-

бенным, оно решительно выделялось среди окружающих его лиц — но чем, это трудно было определить сразу.

Человек этот вошел в приемную как раз в то время, когда Сергей почти выбежал из заветных дверей, сквозь которые пропускались только избранные. Он услышал имя Горбатова, не проронил ни одного слова из расспросов, к нему обращенных, и из даваемых им ответов.

И теперь, когда Сергей сидел одиноко в своем кресле, ни на кого не глядя, с презрительной усмешкой, то появлявшейся, то исчезающей на губах его, когда он, пораженный всем виденным и слышанным, уже начинал себе задавать вопросы: «Да что же я тут делаю? Чего жду? Просто уйти без всяких объяснений!.. Ведь не сошлют же меня за это на каторгу!» — этот внимательно глядевший на него господин тихонько подошел к нему и уселся рядом с ним на стуле.

— Вы, верно, только что изволили прибыть в Петербург и еще незнакомы со здешними порядками? — проговорил пожилой человек, обращаясь к Сергею.

Тот поднял глаза и изумленно взглянул на него. Лицо незнакомое, но голос такой мягкий, и в нем звучит участие. Вот и улыбка искривила несколько бледные, крупные губы — такая тонкая, саркастическая улыбка.

— Да, я только что приехал и не знаю здешних порядков, — ответил Сергей, внимательно разглядывая нежданного своего собеседника.

— Оно и видно, — продолжал тот, понижая голос.

Но предосторожность эта была лишняя — их все равно никто не слышал: они были вдвоем в опустевшем углу обширной комнаты.

— Оно и видно, — повторил он, — вот ведь как вы всех этих господ напугали... Мы совсем не привыкли к подобным событиям, а это — событие!.. Быть допущенным во вторую приемную его светлости и уйти оттуда потому, что княжеская обезьяна не понравилась!.. Ах, Бог мой, да ведь мы счастливыми себя считаем, если обезьяна на нас кинется и пошалит с нами — это обратит внимание его светлости — он нас заметит.

Сергей глядел вопросительно и изумленно.
«Чего ему от меня нужно»?

Незнакомец, очевидно, понял его мысль.

— Вас изумляет, что я подсел к вам и заговорил с вами, — сказал он. — Я сейчас объясню вам, почему я это сделал. Вот уже восемь лет как частенько бываю я в этих апартаментах и имею даже честь быть допускаем туда, откуда вы вышли. И поверите ли, во все это время я ни разу не встречал человека, который бы бежал от обезьяны, который бы говорил, как вы, и глядел, как вы.

Лицо его оживилось, глаза блеснули.

— Я не могу удержаться, чтобы не выразить вам своего удивления и уважения, хотя, конечно, что вам в уважении незнакомого человека!

— Своим изумлением вы изумляете меня, в свою очередь, — ответил Сергей. — И за что же вам уважать меня? За то, что я показался вам, может быть, не совсем лакеем. Да, это правда, я не лакей, но что же в том достойного уважения? Я родился не лакеем и не могу им быть.

— О, господин Горбатов (я слышал, как вас

называли), вы принадлежите к знаменитому роду, предки ваши не раз записывали свои имена на страницах русской истории; но взгляните, государь мой, и там (он указал на запертые двери), и здесь вот вы найдете представителей родов столь же славных, как и ваш, а между тем...

Он усмехнулся.

— Тем хуже для них, — проговорил Сергей. — И если вам угодно знать мое мнение, я скажу вам, что не считаю их потомками их славных предков. Благородство не в имени их, свое родовое благородство можно продать, растоптать, смешать с грязью. Благороден только тот, кто умеет сберечь полученное от предков достояние, то есть их прославленное имя!

— Да, так, так! Но здесь, высказывая подобные мнения, вы будете пророком в пустыне. Здесь, попав в нашу среду, вы с каждым днем будете убеждаться в величайшей испорченности нравов, здесь унижение не сознается. Взгляните — все чувствуют себя правыми, туман какой-то стоит у всех перед глазами.

— Однако, если вы согласны со мною, —

перебил Сергей, — значит, перед вами нет этого тумана, значит, вы сознаете окружающее, значит, вы не можете иметь ничего общего с этими людьми! Вы сказали мне, что восемь лет бываете в этих апартаментах, вероятно же, по обязанностям, по необходимости, и, конечно, не станете целовать руку у Зубова, как сейчас при мне поцеловал генерал Милессино.

— А он поцеловал у него руку? — с живостью и любопытством переспросил незнакомец.

— Да, поцеловал за Владимирскую ленту и даже прослезился.

— Ну, вот, видите ли — это порыв, это увлечение!

— Ах, что вы говорите, это просто лакейство, дошедшее до последней степени. И вот вы же, я спрашиваю, не станете у него целовать руку?

— Да, руки целовать не стану, но тоже не убегу, как вы убежали, и, пожалуй, поиграю с обезьянкой... Приходилось играть.

Сергей пожал плечами.

— И все же я не дал вам право презирать

меня, — продолжал незнакомец. — Когда я отвлекаюсь от действительности, когда я уйду в область мысли и чувства, я возвышаюсь душою, преклоняюсь перед великим и прекрасным, ненавижу зло, презираю лесть. Все земное кажется мне ничтожным, я созерцаю величие Божие, сияние вечной правды. Но жизнь зовет меня, у жизни есть требования, у человека есть обязанности, связанные с той средой, в которой он действует. Я чувствую, например, себя не совсем бесполезным человеком, не совсем бессильным. Я обязан употребить все меры, чтобы расширить круг моей деятельности, потому что чем шире этот круг, тем могу быть нужнее, тем больше могу принести пользы тем, кто во мне нуждается. Я иду прямо, где могу пройти, наклоняю голову и прохожу бочком, если иначе пройти невозможно. Я не могу бороться со светлейшим князем, если я стану пренебрегать им: одно его слово — и все мои труды, все долгие годы моей службы, вся польза, которую я обязан принести, все это пойдет прахом. Светлейший князь для меня не человек — это случай, это обстоятельство, на которое я должен

обратить внимание. Если на меня налетит гроза, я прячусь в укромное место, если меня жжет слишком солнце, я надеваю шляпу. Не спрячься я от грозы — меня убьет молнией, не накройся от солнца — я получу солнечный удар. Тут тоже стихийная сила, от которой я должен защищаться, я неизбежно обязан сделать над собою усилие, промолчать, когда нужно, улыбнуться, когда этого желают. Иногда трудненько, иногда я не справляюсь с собою и потом жестоко пеняю на себя, сделаю ошибку, а потом должен поправлять ее. Вот и теперь ошибка — что беседую с вами, не знаю, как принята ваша выходка. Ведь непременно доложат его светлости о нашей беседе, но я не могу не доставить себе этого удовольствия.

— Вы странный человек, — заметил Сергей, — и, простите меня, мне кажется, вы совершенно не правы; но у вас по крайней мере все же есть какое-нибудь оправдание.

— Да, оправдание, — твердо проговорил незнакомец, — и если бы вам была известна моя деятельность, если бы вы знали, сколько я воюю, как бываю лют в правде, вы бы меня,

пожалуй, и не обвинили. Не почитайте меня за хвастуна, Бог даст, еще придется встречаться с вами, еще побеседуем, еще поспорим, а пока дозвольте рекомендовать себя в ваше благорасположение и надеяться, что вы не откажете мне в вашем знакомстве. До сердца вы меня тронули, государь мой!..

— Очень рад познакомиться с вами, — улыбаясь, сказал Сергей, — но вы вот знаете, с кем говорите, а я вашего имени не знаю.

— Ах, ведь и то, я позабыл совсем, прошу любить да жаловать — Гавриил Державин!

Но Сергей даже не успел выразить своего изумления. Дверь распахнулась, и на пороге показался князь Зубов.

VII. ЕГО СВЕТЛОСТЬ В ДУХЕ

Зубов уже не был в халате. Он успел переодеться в богатый мундир, зашитый золотом и увешанный осыпанными бриллиантами звездами, среди которых выделялся портрет императрицы, так и сверкавший крупнейшими солитерами.

Теперь, в этом блестящем мундире, плотно облегавшем его тонкий стан, он казался еще меньше ростом, еще худощавее. Он старался придать себе величественный вид, но этого никак ему не удавалось, он по-прежнему ходил на «петиметра». В нем оставалась прежняя суетливая, нервная манера, с которой он, бывало, восемь лет тому назад перебегал от одного к другому, стараясь всем понравиться, всем подслужиться.

За ним показалась вся его важная свита, то есть все те сановники, которые находились во второй приемной и присутствовали при его туалете и его государственных занятиях, заключающихся в перелистывании бумаг из портфеля Грибовского. Недоставало только обезьянки — она осталась во второй прием-

ной.

Увидев Зубова и заметив, что все находившиеся в комнате вытянулись в струнку, образовав собою шпалеру, Сергей сообразил, что ему легко будет пробраться незамеченным к выходу. Он уже и хотел было исполнить это, но затем подумал:

«С какой стати! Ведь я здесь не по своей воле, а по обязанностям службы, я в приемной моего высшего начальника, президента иностранной коллегии, и пока мне не дана отставка, я не имею никакого даже права уйти отсюда. Из той комнаты я мог, ибо, как оказывается, туда попадают вследствие особой милости и только очень важные сановники; я же, по своему служебному положению, не имею права входа туда. Я понимаю, зачем он велел позвать меня, он желал показаться мне во всем своем блеске. Он не забыл меня. Ну, вот и показался он мне, сделал молчаливый вопрос, и я ему ответил тем, что отказался от чести, мне предложенной. Он, конечно, заметил это, и мы хорошо поняли друг друга. Но тут я в качестве прибывшего из лондонского посольства дипломатического чиновника.

Тут я представляюсь ему, как будто никогда не видал его прежде. Вот если он вздумает лично оскорбить меня, тогда другое дело, но я уверен, что он на это не решится».

Он огляделся. Его странного и неожиданного собеседника уже не было возле него.

Гавриил Романович Державин протеснился вперед и стал на виду у Зубова, рядом с другими. Но все же он не смешивался с вытянувшейся в струнку и подобравшейся толпой. Выражение лица его не изменилось, он бойко посматривал своими блестящими маленькими глазами, и тонкая, приятная улыбка то и дело кривила его губы. Очевидно, он не чувствовал никакого смущения, был в себе уверен. А соседи его так и просились в карикатуру. Все лица, и старые, и не старые, и толстые, и худые, со своими разнородными очертаниями, теперь удивительно походили друг на друга. Все они выражали благоговейный трепет, все глаза глядели на одну точку, и эта точка была сверкавшая бриллиантами фигурка Зубова, или, вернее, рот его, от которого ждали первого слова.

Зубов находился, очевидно, в хорошем на-

строении духа. Он довольно благосклонно кивнул всем головою и затем стал медленно подвигаться вперед, останавливаясь на каждом шагу, удостоивая то того, то другого какой-нибудь незначащей фразой и выслушивал многочисленные приветствия. Но никого не удостоил он пожатием руки. Все эти люди были для него безразличны, а сам он стоял так неизмеримо выше их. Среди этой толпы были и совсем незнакомые ему лица: молодые чиновники, получившие награды и всеми правдами и неправдами добившиеся счастья представиться его светлости и лично поблагодарить его. Затем следовали люди неслужащие, закупившие княжеских лакеев, явившиеся сюда со своими просьбами.

Заметив подобного человека, Зубов спрашивал:

— Вы кто такой?

И расслышав ничего не разъясняющую ему фамилию, подозрительно оглядывал трепетно стоявшего перед ним просителя и цедил сквозь зубы:

— Что же вам от меня надо?

Проситель, запинаясь и заикаясь, излагал

свое дело. Зубов иногда прерывал его одним словом:

— Короче... яснее...

У него был навык, он сразу соображал, какое дело следует выслушать и какое оставить без внимания. В первом случае он говорил:

— К нему обратитесь! — и кивал на следовавшего за ним по пятам Грибовского.

Грибовский тут же протягивал руку и принимал прошения. В противном же случае, то есть когда его светлость находил дело нестоящим, хотя часто оно именно стоило, чтобы обратить на него внимание, он даже не дослушивал до конца, даже ничего не отвечал, а просто проходил мимо.

Наконец, он дошел до Державина; тот раскланялся почтительно, но без благоговейного трепета, и не прекращая своей улыбки.

Зубов оказался необыкновенно благоклонным к поэту.

— А, Гаврила Романыч! — выговорил он. — Давно не наведывался, мудрите, видно, опять?

— Как мудрю, ваша светлость, что такое?

— Не знаю что, а жалобы все на вас, госуда-

рыня опять говорила: «с Державиным сладу нету!»

Гавриил Романович смутился.

Но лицо Зубова не выражало гнева, а напротив, на нем виднелись некоторые признаки благорасположения. Проницательные глаза Державина тотчас заметили это, и он успокоился.

— Да, господин поэт, это нехорошо! Извольте-ка успокоиться и собраться с духом, мы ждем вашего вдохновения и рассчитываем на прекрасную оду в честь радостного события, которое должно совершиться.

— Моя муза готова воспеть сие событие со всем жаром, на какой еще способна, ибо сердце ей поможет своей искренней радостью! — несколько напыщенным тоном и уже окончательно успокоившись, отвечал Державин. Он видел, что он еще нужен, что его задабривают, ласкают. Видели это и окружающие и с тайной завистью смотрели на знаменитого человека, значение которого для многих было еще далеко не ясным.

Едва Зубов кивнул ему головою и отошел от него, как к нему стали протискиваться,

чтобы шепнуть какую-нибудь любезность.

А Зубов в это время заметил Сергея Горбатова.

«Он все же тут, — подумал он, — негодная чванная фигура! Того и жди, новую дерзость сделает, от него всего ждать можно. Но нет, он ошибается, я не дам ему возможности сделать мне дерзость, я его доконаю, так или иначе. А пока буду злить».

И он вдруг почувствовал наслаждение кота, начинающего заигрывать с пойманной мышью.

Дойдя до Сергея, он остановился и окинул его с головы до ног. Он даже принял величественную и серьезную позу государственного мужа. Но поза не удалась, и Сергей заставил его изменить ее, раздражив своим холодным и спокойным взглядом, своим официальным, полным достоинства поклоном.

— Господин Горбатов из Лондона?.. Мы ведь, кажется, встречались прежде?

— Встречались... — Сергей запнулся, но сделал над собою усилие и прибавил: — Ваша светлость!

Он вложил в эти слова что-то неуловимое,

чего не могли даже подметить окружающие, но что отлично понял Зубов, потому что губы его дрогнули, и легкая краска мгновенно покрыла щеки.

— Долго в России не были... Много перемен найдете, — продолжал отрывисто Зубов. — Бумаги ваши передайте в канцелярию... Если понадобится личное объяснение, я позову вас. А засим завтра извольте явиться на выход после обедни.

Сергей был очень счастлив, что ему не приходилось даже отвечать. Он опять ограничился одним официальным поклоном.

Зубов был уже у дверей, он отправлялся к государыне. Едва скрылся он, в приемной все оживилось. Собравшиеся люди, за несколько минут поражавшие таким удивительным сходством между собою, мало-помалу начинали возвращаться к своим личным особенностям, и даже, напротив, теперь стало проявляться большое разнообразие в выражениях лиц. Некоторые были очень довольны: его светлость обратили на них внимание. Другие казались озабоченными, смущенными: на них или совсем не было обращено внимания,

или очень мало. Иные стояли, как в воду опущенные, — это были просители, которых Зубов не дослушал, которые уже понимали, что ждать им больше нечего и надеяться не на что. Другие просители, более счастливые, обступили Грибовского и увивались вокруг него. Большая группа образовалась тоже около Державина, который что-то горячо и весело, чересчур громко рассказывал. Старые знакомцы Сергея снова решились подойти к нему. Если после такой выходки его все же удостоили разговором, если завтра ему приказано явиться на выход, значит, дела его недурны и потому не следует пренебрегать им.

Но Сергей спешил скорее вон, он слишком устал, он чувствовал себя чересчур раздраженным, да и наблюдать было уже нечего. Все стало ему совсем ясно и понятно.

VIII. СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ

Следующий день был — воскресенье. Около одиннадцати часов утра Сергей, в полном мундире, вышел на подъезд своего дома и, сядя в карету, велел ехать во дворец.

Едва он завернул на Невский проспект, как заметил огромное движение, всевозможные экипажи, перегоняя друг друга, стремились в одном и том же направлении. Блестящие, вычурные кареты новомодного фасона, старинные, огромные рыдваны, запряженные шестериками, с форейторами и гайдуками, открытые коляски и, наконец, одноконные дрожки, блестящие мундиры придворных и разноцветные наряды дам, помещавшихся в экипажах, толпа глазевшего люда на панелях — все это представляло такую пеструю и оригинальную картину, от которой Сергей давно уже отвык. Он прожил несколько лет в самых людных городах Европы, видел народные сборища и всевозможные процессии на улицах Парижа и Лондона, но все это было совсем другое и производило иное впечатление. Здесь бросалась в глаза совершенно свое-

образная пестрота и роскошь — смесь Европы с Азией.

Площадь перед дворцом была буквально запружена экипажами. К дворцовому подъезду приходилось уже продвигаться крайне медленно. Но вот карета остановилась, лакей распахнул дверцы, Сергей очутился на знакомой лестнице. Когда-то, полный надежд, смущения и любопытства, он всходил по этим ступеням — теперь ни надежд, ни любопытства, ни смущения в нем не было, была одна скука, одно тоскливое чувство. На лестнице, в сенях и в первых комнатах происходила страшная толкотня, и гудел несмолкаемый, глухой говор. Ливрейные лакеи стояли шпалерами с верхним платьем своих господ; перед зеркалами теснились дамы, поправляя прическу; всюду сновали расшитые мундиры кавалеров, всюду сверкали ордена, звезды и ленты.

С большим трудом удалось Сергею пройти в дверь, но, кое-как преодолев препятствие, он наконец очутился в большой зале, уже почти битком набитой народом. Эта зала была рядом с придворной церковью; двери туда

стояли настезь, и ощущался запах душистого ладана, доносились церковное пение и возгласы священнослужителей. Оказалось, что Сергей несколько опоздал, обедня уже началась. Государыня с членами императорской фамилии и свитой уже находилась в церкви. Сергей попытался было протискаться вперед, поближе к широким дверям, так чтобы можно было разглядеть что-нибудь. Ему вдруг захотелось издали взглянуть на императрицу и на цесаревича, но он должен был отказаться от своего намерения: всем не попавшим в церковь хотелось того же, чего и ему — и поэтому у дверей нельзя было упасть и яблоку, поневоле приходилось остаться и удовольствоваться теми наблюдениями, которые представляла окружающая толпа.

Сергей стал отыскивать знакомые лица и скоро заметил их среди блестящих мундиров и пышных дамских туалетов. Он наблюдал изменения, произведенные временем на этих лицах, вдруг пришедших ему на память так ясно, в таких подробностях, как будто он вчера еще только расстался с ними. Но времени прошло много — восемь лет не шутка. Люди,

бывшие тогда во цвете лет, теперь уже начинали стариться, красивые молодые женщины поблекли, а главное — все это как-то выцветло, как-то приняло общий бледный, однообразный оттенок, краски жизни потускнели. И показалось Сергею, как и вчера в приемной Зубова, что все эти кавалеры и дамы, старцы и молодые — похожи друг на друга, у всех у них было общее, привычное, застывшее выражение. Но рядом со знакомыми, постаревшими и выцветшими лицами, которых было очень немного, он увидел новых людей. Этих новых людей было несравненно больше. Все это появилось, все это устроилось после него, во время его отсутствия. Да, много прошло с тех пор, много воды утекло...

Кругом шел тихий говор на всевозможных языках, и это смешение языков производило тоже очень странное впечатление, от которого так отвык Сергей. С каждой минутой ему становилось все скучнее, и все больше и больше казалось ему, что он здесь совсем чужой, совсем оторванный, не имеющий ничего общего с этой толпой, живущей непонятными ему интересами.

Но вот разноязычный шепот сменяется иными звуками: громче и громче доносится из церкви пение двух хоров, и в этом звучном, могучем, за душу хватающем пении слышится Сергею что-то родное, совсем было забытое. Давно не слышал он этого пения, совсем он отвык от него, ему вспоминается детство, вспоминается горбатовская церковь, воскресная обедня: грузная, большая фигура отца с его орлиным профилем, благоговейно полузакрытыми глазами... красноватая рука размашисто кладет крестное знамение... Рядом с отцом стоит мать, с выражением доброты и не то робости, не то ласки... и она тоже горячо молится, ежеминутно опускаясь на колени... А вот и маленькая сестра, вот и Таня, которая изредка, украдкой, бросает на него взгляды и улыбается ему своими живыми горящими глазами. Куда девалось все это, и что от этого всего осталось? Вот уже и матери нет на свете, сестра — она замужем, она еще недавно известила о рождении второго ребенка, но вряд ли она и узнает брата при встрече. Он покинул ее девочкой — теперь она женщина, какая? Что из нее вышло — он

совсем не знает.

А Таня? Где Таня? За границей он ничего не мог узнать о ней, а теперь еще и некогда было навести справки. Сестра, будто нарочно, в своих редких письмах ничего никогда о ней не сказала, да он и не спрашивал. Таня, уезжая, обещала ему дружбу, но не сдержала этого обещания. Она только известила его тогда же, лет семь тому назад, что, вероятно, навсегда уезжает с матерью из деревни, что, вероятно, поселится в Москве. Так, должно быть, она и теперь в Москве, может быть, вышла замуж: хоть бы взглянуть на нее, хоть бы услышать ее голос, чего бы ни стоило это свидание, какую бы тоску ни принесло оно!..

«Нет, скорей, скорей отсюда на свободу! умолю государыню отпустить меня, — думал Сергей. — Неужели она мне откажет! Я должен спешить в деревню, я должен быть через несколько дней в Москве. Я отыщу Таню!..»

Обедня кончилась. Будто электрическая искра пробежала по зале, поднялось всеобщее движение. Напирая друг на друга, все теснились вперед; у дверей появился гофмаршал и объявил, что государыня выходит из церкви.

Мгновенно замолк разноязычный говор, все будто застыли, и только по временам слышалось однозвучное покашливание. Все лица были обращены к выходу из церкви, все шеи вытянулись, люди малого роста становились на цыпочки, выглядывали из-за счастливцев, которым удалось поместиться в первом ряду. Из дверей церкви появляются новые лица и становятся тоже рядами — это послы, министры и уполномоченные иностранных дворов, представители всевозможных наций. Проходит еще две, три минуты, и из дверей попарно показываются камер-юнкеры и камергеры, за ними следуют министры. Сергей глядит на них и замечает прибавившиеся морщины, признаки старости и утомления на их лицах. Вот и знакомое ему, хитрое и веселое лицо графа Безбородки, которому он еще не имел времени представиться. Но и Безбородко уже постарел, и в нем заметно что-то новое.

Когда министры прошли, появился в своем сверкающем мундире, со своими бриллиантами — Зубов. Зала дрогнула. Зубов подвигался своей обычной неровной и нервной поход-

кой, изредка кивая то направо, то налево головой.

— Ну, все обстоит благополучно — его светлость, кажется, в духе! — расслышал Сергей чей-то шепот.

Действительно, лицо у Зубова было довольное, улыбающееся, но Сергей сейчас же и отвел от него глаза: на пороге показалась императрица.

Что-то шевельнулось в сердце Сергея, какое-то позабытое чувство... Он вспомнил эту дивную и привлекательную женщину, вспомнил свои долгие беседы с нею и последнее свидание, вспомнил то благоговейно восторженное чувство, которое испытывал к ней в годы юности. Теперь к остаткам этого чувства примешивалась жалость. Он заметил, что она изменилась более других, он увидел, что перед ним не прежняя Екатерина. Она сильно пополнила, так что даже на ходу несколько качалась из стороны в сторону. На ней был парадный старинный русский костюм, состоявший из шелкового бледно-голубого сарафана, обшитого золотым кружевом; поверх него была надета темно-синяя бархатная широкая

безрукавка. Пышные кисейные рукава, собранные в мелкие складочки у кисти, скрывали ее тучные руки, поражавшие прежде своей красотой. На голове помещалась высокая диадема, сверкавшая множеством драгоценных камней, на шее колье, отливавшее всеми цветами радуги. Грудь императрицы была украшена двумя лентами и двумя бриллиантовыми звездами: андреевской и георгиевской. Лицо ее еще несколько удлинилось, а подбородок еще более выступил вперед, так что рот углубился и придавал лицу старческое выражение, несмотря на все искусство, с которым она была набелена и подрумянена. Но глаза ее оставались все еще прекрасными, все так же ясно и ласково блестели, и по-прежнему она улыбалась своей привычной, величественной и благосклонной улыбкой.

Выйдя из церкви, императрица остановилась на мгновение, а потом стала подходить то к одному, то к другому, разговаривая и милостиво протягивая свою руку, которую целовали те, к кому она обращалась с приветствием. Но Сергей уже не мог следовать за нею и вслушиваться в слова ее: он видел другое ли-

цо, появление которого заставило дрогнуть его сердце, — у дверей появился цесаревич.

Боже мой, он ли это! Как он постарел, как изменился! Он казался таким мрачным, таким раздраженным. Презрительное выражение его оригинального некрасивого лица делало его совсем недоступным и объясняло новому человеку его отчужденность. Но ведь Сергей не был новым человеком: он все знал и все понимал, и теперь он пытался проникнуть выше этой презрительной улыбки, этих расширенных раздражением ноздрей, ему нужно было видеть глаза цесаревича, полузакрытые, усталые глаза, в которых он всегда целиком выражался и которые только и могли ответить на все обращенные к нему вопросы. И вот, наконец, поднялись эти синие глаза, и Сергей понял, что цесаревич все тот же, что он только еще больше утомлен и измучен тяжелой жизнью и трудной, неустанной борьбой.

Сергей едва удержался, чтобы не броситься вперед, ему навстречу, едва осилил свое волнение.

Рядом с цесаревичем шла великая княги-

ня; вот она так почти не изменилась. Все так же молода и красива, и такой же добротой и лаской сияет нежное, прелестное лицо ее. А за нею кто же это — два стройных юноши, из которых один совершенный красавец. Другой далеко не так красив, но Сергею дорого это живое, поминутно изменяющее свое выражение лицо, этот вздернутый нос с тонкими ноздрями. Дорого ему это лицо большим сходством с лицом цесаревича.

Они давно уже не дети, совсем взрослые люди, даже оба уже и женаты. Что-то случилось с ними? Что из них вышло? И эти молодые, цветущие лица ответили ему, что дурного ничего не вышло.

За великими князьями шли их сестры, одна другой красивее, и среди них старшая, счастливая невеста юного шведского короля, воспевать бракосочетание которой приготавлилась лира Державина.

Но Сергей опять должен был оторваться от своих наблюдений: императрица была в двух шагах от него, и вдруг он встретился со взглядом ее голубых глаз.

— Господин Горбатов! — проговорила она с

ласковой улыбкой, и рука ее приподнялась по направлению к нему.

Мгновенно все, что было вокруг, что теснилось и давило друг друга, отступило, пропуская Сергея вперед. Он почтительно, чувствуя невольный трепет и что-то странное, что подступило к груди его, поцеловал руку императрицы и взглянул на нее еще раз.

— Давно, давно не видались, — сказала она. — Я рада вас видеть и надеюсь, что немало интересного от вас услышу.

Он кланялся, ища слов; но слов было не нужно — государыня уже прошла дальше.

Великая княгиня, отойдя от мужа, появлялась то здесь, то там, для всех находила улыбку и приветствие.

Цесаревич подвигался медленно, редко кого удостоивал разговором и вообще казался очень рассеянным.

Сергей пробрался вперед и очутился перед ним.

— А! — сказал цесаревич, крепко стискивая ему руку. — Пройди туда, ко мне...

Сергей двинулся через залу, вслед за толпой...

IX. ЗАГАДКА

В зале великого князя происходило опять то же самое, то есть все теснились вперед, все старались попасть на глаза хозяину. Однако здесь чувствовали себя, очевидно, не так стесненными, разговаривали несколько громче.

Павел Петрович подходил почти к каждому; не отставая от него, следовала великая княгиня и своею любезностью сглаживала впечатление, производимое мрачным видом и односложными фразами великого князя.

Молодые великие князья держали себя очень сдержанно. Они были прекрасно воспитаны и уже умели, в особенности старший, Александр, придавать значение каждому своему слову, каждому движению и улыбке.

Гофмаршал представил им Сергея Горбатова. Они оба любезно сказали ему, что не забыли его, и даже напомнили несколько эпизодов из прежнего времени.

Обойдя всех, великий князь вышел на середину залы и наклоением головы отпустил присутствовавших. Толпа начала расходиться, зала опустела, но Сергей медлил. Он чув-

ствовал, что уходить ему еще не время, и он был прав.

Когда уже почти никого не осталось в зале, великий князь подошел к нему и положил, как бывало, ему на плечо руку.

— Вот и ты здесь, Сергей Борисыч, — сказал он. — Ну, что, сударь, покажись-ка! Нехорошо... бледен... видно, не красно жилось...

— Не красно, ваше высочество, да что толковать об этом. Сегодня я счастлив — я вижу вас и все ваше августейшее семейство. Я изумляюсь и радуюсь, глядя на великих князей и княжен.

— Да, выросли, меня переросли. Ну, а жена, как ее находишь?

В это время подошла великая княгиня и, как всегда, мило и просто заговорила с Сергеем, вспоминая прежнее время.

— Ваше высочество, имею ли я право поздравить вас с семейною радостью? Я знаю, что это еще не объявлено...

Великий князь нахмурился.

— Благодарю тебя, — проговорил он. — Да, конечно, это может быть и радостью, но, к сожалению, я не так доверчив, как другие. Я со-

всем почти не знаю жениха моей дочери, и вопрос о том, будет ли. она счастлива — для меня остается вопросом пока без решения. Значит — радоваться еще рано... Он почти еще совсем ребенок, что из него выйдет?.. Я всего три раза его видел, но хочу надеяться, что он человек хороший, все его хвалят...

Великая княгиня улыбнулась своей милой и несколько печальной улыбкой.

— А я знаю одно, — сказала она, — если мне так же затруднительно будет выдавать замуж всех моих дочерей, как эту дочь, — я умру по дороге. Я почти каждый день приезжаю сюда из Гатчины, чтобы видеть их. Я должна же постараться узнать его, его характер, убедиться в искренности его чувства, иначе как же я отпущу ее — у меня и дня спокойного не будет; вот и езжу каждый день почти. Впрочем, я к этим поездкам привыкла...

Великий князь нервно повел плечами и нахмурился еще больше.

Сергей стоял, печально опустив глаза, и думал: «Все то же самое! Все неизменно! Да, дядя Лев Александрович прав — у них нужно учиться терпению».

— Теперь о тебе поговорим, сударь, — сказал Павел Петрович. — Как видишь, мы тебя не забыли, но стоишь ли ты этого — я еще не знаю. Надеюсь, однако, что образумился и сделался серьезным мужем, пора ведь, уж годы немалые.

— Я не знаю ваших обвинений, ваше высочество, и потому не могу защищаться, да и, во всяком случае, я защищаться не стал бы, скажу только одно, что теперь, кажется, от меня — каким я был восемь лет назад — ничего уж больше не осталось.

Павел улыбнулся.

— Если ничего, так это плохо — напротив, многое должно было остаться, и если я увижу, что прежнего совсем нет больше, то тебя и знать не захочу. Ну, и скажи мне прежде всего, помнишь ли ты, что я говорил тебе перед твоим отъездом о том аду, в который ты должен был попасть и в который ты, кажется, хорошо окунулся? Прав я был или нет? Хороши оказались результаты этих общественных движений, как вы их называли?

— Результаты ужасны, ваше высочество, и отвратительны, но, может быть, эта гроза

очистила воздух и послужит знаменательным уроком для будущего. Человечество не может, не должно забывать подобных уроков.

— Пустое, все забывается, и никакого очищения воздуха я не вижу — напротив, воздух заражен, и следует принимать все меры, чтобы очищать его. А у нас только говорят об этих мерах и ничего не делают. Если всеобщая распущенность была отвратительна восемь лет тому назад, то теперь она еще отвратительнее. Я удивляюсь, как мы все еще не задохнулись в этой атмосфере. Обо всем этом мы еще поговорим с тобою в Гатчине. Постарайся найти возможность заглянуть ко мне, мне нужно порасспросить тебя о многом, ведь недаром же ты там прожил столько времени, ведь, я чаю, многого навидался, так интересно будет послушать твоих рассказов. А теперь скажи мне, что же ты намерен делать? Зачем сюда пожаловал?

— Вы знаете, ваше высочество, что в течение восьми лет моей мечтой было вернуться в Россию, и если только теперь я мог осуществить эту мечту, то не моя в том вина. Вы, может быть, слышали, что я лишился мате-

ри...

— Да, слышал и подумал о тебе...

— Так вот, ваше высочество, нужно было бы мне съездить в деревню, многим распорядиться, окончательно разделиться с сестрою. Я хочу проситься в отставку.

— Я думаю, выпустят, — заметил Павел, — только повремени немного, обожди... Не надумал ли жениться? Может быть, сыскал себе невесту? Или здесь поискать намерен?

— Нет, ваше высочество, я о женитьбе не думаю.

Павел опять положил руку на плечо Сергею, а другой рукой взял его за пуговицу. Это была его привычка, и он делал так, когда бывал особенно чем-нибудь заинтересован или взволнован и когда собирался сообщить собеседнику что-нибудь очень важное.

— Послушай, ведь насколько я помню, тогда еще у тебя была невеста, ты сам однажды мне про нее говорил.

— Была, — смущенно ответил Сергей.

— Где же она? Что случилось с нею? Каким образом расстроилось это дело?

— Зачем вы меня спрашиваете, ваше высо-

чество? Мне кажется, что вы и так все знаете.

— Ну, хорошо... да, знаю... Но скажи ты мне, сударь, как ты полагаешь, кто был причиной того, что твой брак не состоялся, — ты или твоя невеста?

— Конечно, я.

— Значит, ты признаешь себя виноватым перед нею?

— Признаю, и эта мысль до сих пор отравляет многие минуты моей жизни.

— Значит, ты сожалеешь — говори правду.

— Глубоко сожалею, ваше высочество.

— И никто потом не заменил для тебя ее? Ты ни к кому не привязался? Ты был бы, пожалуй, счастлив, если бы снова встретился с нею, если бы все прежнее забылось и вы могли бы сойтись на всю жизнь?..

— О, это было бы большое счастье, но я о нем и не мечтаю, я не знаю даже, где она находится в настоящую минуту, свободна ли она? Может быть, она уже замужем. Я еще часу тому назад думал о том, что прежде всего должен разузнать про нее. Полагаю, что она в Москве.

— Ты все это говоришь серьезно?

— Разве я когда-нибудь иначе говорил с вами, ваше высочество?

— Да Бог же тебя знает, ведь сам же сейчас объявил, что ничего прежнего в тебе не осталось, а тут и оказывается все прежнее! — улыбнувшись, сказал Павел. — Так, значит, правда, значит, не позабыл ты княжну Пересветову, Татьяну Владимировну, — видишь, я хорошо помню ее имя. Но ты слушай: узнавать о ней тебе нечего — я имею о ней самые верные сведения и сообщу их тебе, когда приедешь ко мне в Гатчину... и, пожалуйста, поспеши — мне о многом нужно переговорить с тобою. У меня даже есть для тебя подарок — но прежде его заслужить нужно, и я должен убедиться, достоин ли ты этого подарка. Теперь же некогда, прощай, до свидания! Поди, простись с женою...

Цесаревич опять стиснул ему руку и уже с иным выражением в лице, не мрачным, не раздраженным, а довольным, вышел из залы.

Х. ОЖИДАНИЕ

Свидание с цесаревичем подействовало самым неожиданным и благотворным образом на Сергея, сразу осветило внутренний мир его, разогнало его тоску и скуку. Столько лет ему было как-то холодно и неприветливо в жизни, и эта жизнь, с виду такая блестящая, представлялась ему тяжелым и неизбежным бременем. И вдруг неожиданно и негаданно — тепло, вдруг пахнуло чем-то родным, дорогим...

У Сергея друзей не было, и почти единственным близким себе человеком считал он своего карлика Моську; но, конечно, этот друг не мог удовлетворять его.

С отсутствием горячих привязанностей могут уживаться только очень холодные, себялюбивые и самодовольные люди, да и тем подчас становится невыносимо душевное одиночество, а Сергей вовсе не был ни холоден, ни себялюбив. Он нуждался в сердечной привязанности, но судьба отнеслась к нему жестоко, оторвала его на долгое время от всего, что было ему близко, от всех, кого любил

он в годы юности.

Его чувство к цесаревичу восемь лет тому назад было восторженным молодым чувством. В долгой разлуке оно не исчезло, но, естественно, должно было ослабнуть. Оно таилось где-то там, глубоко в сердце, и вспыхивало только тогда, когда подливалось в него масло, когда какое-нибудь очень редкое обстоятельство напоминало ему в далеком Лондоне о цесаревиче. И во всяком случае, Павел Петрович превращался для него мало-помалу в воспоминание, уходил в прошедшее. В настоящем его не было, а о будущем Сергей старался не думать.

Но вот он здесь! Он снова его увидел и с первых же слов его убедился, что прежняя связь не порвана, что цесаревич, несмотря на долгую разлуку, на тревоги и заботы своей нерадостной жизни, не забыл его и относился к нему с прежней, пока еще ничем не заслуженной им, добротой.

Теперь в Сергее уже не было восторженно-го ребяческого чувства, оно видоизменилось, оно осмыслялось. Он сознавал, что глубоко предан этому человеку, что готов пойти за

него и в огонь, и в воду, потому что он стоит этого, но было и другое... Сергей полуинстинктивно, полусознательно чувствовал, что так относиться к цесаревичу — его долг, его священная обязанность. Это было что-то традиционное, что-то родовое, наследованное от отца. Сергей так думал и чувствовал потому, что он был сыном Бориса Горбатова. Как отец любил Петра III и служил ему, так и сын теперь любил и готов был служить сыну Петра III.

Взгляды старика Горбатова, из-за которых он заперся на всю жизнь в деревне, теперь вдруг передались сыну. Восемь лет тому назад он не думал об этом, но теперь все сложилось, все выяснилось, и он смотрел на Павла не только как на человека, достойного привязанности, не только как на великого князя, который выказывает ему особенные знаки милости, он глядел на него как на своего законного государя.

Да, тут было что-то традиционное, родовое. Там, в Гатчине, его настоящее место; ведь он еще перед отъездом за границу просил цесаревича принять его к себе на службу. Тот от-

казал ему, любя его и думая об его выгодах. Восемь лет прошло! Долгие, печальные восемь лет! Но теперь нужно наверстать потерянное, нужно наконец оказаться при своих законных обязанностях.

От мысли о цесаревиче Сергей переходил к другим мыслям. Он не мог не заметить особенного выражения в лице Павла, когда тот спрашивал его про Таню... Он сообразил и еще одно обстоятельство:

«Ведь про нее тогда никакого разговора не было... Он совсем не знал, что я был женихом, а теперь сказал, что ему это было через меня известно. Он хочет сообщить мне про Таню, — значит, он заинтересован ею... Но откуда же он все знает?..»

И вспомнилось ему, что ведь Моська, провозжавший Пересветовых в Петербург, был тогда с его письмом в Гатчине. Моська, вернувшись в Лондон, ничего ему не рассказывал, но старик ведь хитрый, наверное, он все тогда рассказал великому князю.

И вот, вернувшись домой из дворца, он позвал карлика и прямо спросил его: откуда цесаревич знает Таню?

У Моськи глаза заблестели, сморщенное личико сделалось таким счастливым, таким плутоватым. Но он упорно молчал и только усиленно сморкался, что обыкновенно делал в минуты смущения.

— Что же ты молчишь, Степаныч? Разве не слышишь, о чем я тебя спрашиваю? Говори мне правду, без всякой утайки, наверно, всю мою подноготную цесаревичу выболтал, когда с моим письмом являлся в Гатчину?

— Эку старину вспомнил, батюшка Сергей Борисыч! — наконец проговорил Моська, и в то же время глаза его бегали с предмета на предмет и никак не могли остановиться на Сергее. — Эку старину!.. — повторял он и все сморкался, и все краснел, очевидно, еще не находя выхода из своего затруднительного положения.

— Не вертись, Степаныч, не серди меня даром. Коли спрашиваю — значит, надо, и ты должен отвечать мне. Ведь я тогда от тебя путного слова не мог добиться!.. Ну, да время было такое, не до расспросов. Сказал ты мне, я помню, что цесаревич сам тебе свое ответное письмо вынес, что пошутил с тобою. А боль-

ше я ничего не помню, больше ты мне ничего не рассказывал...

— Да и я тоже ничего не помню, золотой мой!

— Не вертись!.. Был разговор обо мне и о княжне Татьяне Владимировне?

Карлик почесал за ухом.

— А дай-ка вспомню! Было что-то такое, точно, было...

— Ты жаловался на меня, конечно?

— Жаловался, батюшка, это помню теперь, сильно жаловался его высочеству.

— Ну, и что же он?

— А вестимо что — не стал хвалить твою милость, даже словом нехорошим обозвал.

— Каким словом?

— Словом-то каким! Ну, уж коли так тебе любопытно, я тебе скажу, каким: дураком он тебя обозвал, вот что!

— Дальше!

— Дальше? Пожалел он нашу княжну, сказал, что ты ее недостоин и что он ей лучшего жениха, чем ты, найдет... Ну, вестимо — обидно мне это было слушать, а слушал, потому что его высочество правду говорить изво-

лил... И сам я с ними был во всем согласен.

— Степаныч, о твоих согласиях я вовсе не спрашиваю.

— А уж спрашиваешь, нет ли, а велел все припоминать, и я припоминаю.

«Лучшего жениха сыщет!.. Не узнавать о ней, не побывав в Гатчине!.. Подарок мне приготовил, да хочет знать, стою ли я его!..» — быстро мелькнуло в голове Сергея.

И вдруг радостное предчувствие поднялось в его сердце.

— Степаныч, а не говорил он тебе, что княжну хочет видеть?

Карлик опять начал сморкаться, и опять глаза его забегали во все стороны. Наконец, он оставил в покое свой нос и с отчаянной решимостью развел руками.

— Этого, батюшка Сергей Борисыч, хоть убей — не помню!

А потом, совсем переменяв тон и заглядывая в глаза Сергея с кошачьей ужимкой, он пропищал ему:

— А что, золотой мой, видел ты нынче царевича?

— Видел.

— Ну, и что же, он, наш милостивец, в добром ли здоровье?

— Ни на что не жаловался.

— А ну, как он с тобою-то? Как всегда, что ли? Хорош был?

— Хорош.

— В Гатчину поедешь?

— Поеду, Степаныч, и даже вот когда — завтра рано утром поеду. Завтрашний день еще урвать можно, а то боюсь, как бы разные дела не стали задерживать.

— А меня-то сударь, возьмешь с собой?

— Зачем?

— Да уж возьми, сделай Божескую милость!

— Могу взять, только ведь в Гатчине порядки строгие — пожалуй, меня с тобой не пропустят — что ты тогда будешь делать?

— Пропустят, батюшка, меня и не заметят совсем, а коли заметят и станут спрашивать — я прямо скажу, что его высочество приказал мне явиться... И не солгу, не солгу, как перед Богом, пускай их самих спросят — они припомнят! Так и сказали: «ежели когда будешь в Петербурге, навести меня», — это их

слова доподлинные...

— В таком случае поедем. Распорядись с вечера.

Моська оживился и радостно вышел от своего господина. Он был, очевидно, в каком-то особенном, возбужденном состоянии, он будто помолодел, так и вертелся, чуть не прыгал. Диву даже далась, глядя на него, многочисленная горбатовская прислуга.

Сергей весь день никуда не выезжал. Приводил в порядок свои бумаги, разбирался. А мысли его становились все радостнее и радостнее, доброе предчувствие усилилось. Ему казалось, что он снова начинает жить, и эта новая жизнь сулила что-то хорошее, что-то счастливое.

XI. РАЗГАДКА

На следующее утро, ранним-рано, выехал Сергей с карликом в Гатчину. Та же пустынная, однообразная дорога, те же впечатления. Те же впечатления и при въезде в Гатчину: пропасть караульных, вытянутых в струнку, всюду только фигуры солдат, чинность и порядок. Здесь время будто остановилось.

Бедный карлик застрял в дворцовых сенях — дальше его не пустили. Но он шепнул Сергею:

— Пройду... такое слово знаю, дойду до самого цесаревича, вот увидишь, батюшка.

Дежурные пригласили Сергея в приемную. Те же самые маленькие, просто, почти бедно обставленные комнаты с низенькими потолками, та же монастырская печальная пустота.

Сергею пришлось дожидаться довольно долго, великий князь был занят где-то вне дворца, да и из приближенных его никого, вероятно, не было. Сергей поместился на жестком стуле, и невольно ему взгрустнулось.

Разве так должен жить цесаревич? Разве

так должна проходить его жизнь? По тому, что он успел уже увидеть, ему начинала все яснее и яснее представляться ненормальность этой уединенной, странной жизни: дисциплина маленького войска, доведенная до необыкновенного совершенства, эти маленькие смотры, маневры, учения... и так годы, десятки лет — игра в солдат, которая не приносит никаких результатов, до сих пор от этой игры не видно никакой пользы. Гатчинцы вымуштрованы, но над ними только смеются, а петербургская гвардия, и вообще все русское войско становится все более и более распущенным. В этом маленьком, отдельном мире чувствуется что-то душное и в то же время фантастическое, даже нездоровое. Да, вредно жить в подобной атмосфере, можно отвыкнуть от действительной жизни!

Но скоро Сергей от этих мыслей перешел к другим — к мыслям радостным, к ожиданию, которое не покидало его со вчерашнего дня и заставило так спешить сюда. Однако минуты проходили, он все был один, и тихо было кругом него, только раздавался стук старого маятника. Неужели так-таки никого и нет?

Он вышел из приемной, и, увидав дежурного офицера, стал спрашивать о своих здешних знакомых, о том — скоро ли вернется цесаревич? Но офицер не знал, где цесаревич, да и вообще не смел разговаривать. Сергей должен был отойти от него и опять вернуться в приемную. Однако скучать ему не пришлось — скоро к нему вышел старый знакомец, Кутайсов; они встретились приятелями. Кутайсов, очевидно, теперь чувствовал себя еще лучше, чем восемь лет тому назад. Он раздобыл несколько, но мало состарился, и в его приемах и манерах оказывалось необыкновенное чувство собственного достоинства и в то же время благодушная снисходительность. Глядя на него, никак уже нельзя было сказать, что это бывший пленный турчонк-цирюльник: он держал себя если не хозяином, то, во всяком случае, близким другом и, как друг дома, счел своею обязанностью обласкать Сергея. Он сказал, что цесаревич будет здесь с минуты на минуту, болтал, переходя с предмета на предмет, занимал гостя своим разговором.

— Вот-с, как видите, Сергей Борисыч, — го-

ворил он, — у нас все то же, мы не двигаемся, да оно и хорошо — сами посудите: где движение, где перемены в предметах, там перемены и в людях, а у нас все на своем месте и люди все те же, и уже кто раз попал к нам, кого мы полюбили — так и остаемся... мы не изменчивы. Сколько времени вот с вами не видались, а увидите: все вам обрадуются... Ну, а там-то, чай, ведь не так — там забывчивы.

— Да, это истина, — ответил ему Сергей, — только что же вы как будто оправдываетесь? Я ведь с вами не спорил и ни в чем не порицал здешних порядков.

— Не сказали, так подумали! — приятно улыбаясь своими сочными губами и показывая два ряда белых зубов, проговорил Кутайсов. — Петербуржцы все смеются над нами, замороженными нас называют... Живем-с, как можем, не по своей воле... Только вот-с беда, скажу вам откровенно, цесаревич-то... ох, как меня тревожит!..

— А что? Разве нездоров он?

— Не то-с, нездоровья не видно, хотя ведь он, собственно говоря-с, крепким здоровьем никогда не отличался, но он такую жизнь ве-

дет, что поддерживает себя: как один день, так и другой — никаких излишеств, по-прежнему, чем свет на ногах, в движении, закалил себя... А другое тут, грустить стал часто. Мрачен иногда так бывает, что ничем и не развлечешь его, пуще прежнего раздражителен стал. Доброту его вы знаете — добрее я человека не видывал, и терпение тоже великое у него. Не будь терпения, разве такую жизнь можно выносить?.. Но в мелочах-то... в мелочах все и сказывается. Ведь уже сколько, лет я думал об этом и так решал всегда, что следовало бы ему на чистый воздух вырваться, освежиться, проехаться... Осмеливался даже и докладывать об этом... и что же бы вы думали? Слышать не хочет! Ну-с, а дело в том, что все идет хуже и хуже, и коли еще так долго будет, так я уж и не знаю...

Но Кутайсов не договорил, дверь отворилась, и в приемную своей твердой военной походкой в высоких ботфортах, с большой треугольной шляпой под мышкой вошел Павел.

— А, Горбатов!.. Спасибо, сударь, что ждать не заставил. Не чаял я, что ты сегодня будешь,

спасибо, это хорошо!

Он взглянул на часы.

— Уже и полдень скоро. Кутайсов, великий прибор к обеду поставить... проголодался, чай, да и я тоже.

Кутайсов, уловив какую-то мину на лице Павла, вышел из комнаты.

Сергей остался вдвоем с цесаревичем. Тот положил ему на плечо руку.

— Никого со вчерашнего дня не видел? Ничего интересного не узнал?

— Ничего, ваше высочество, — ведь вы же приказали мне не разузнавать и не делать никакого шага, не побывав у вас.

— Так поэтому-то ты и явился так скоро, не терпелось!.. Обещал сообщить тебе интересное и до твоего предмета касающееся — и исполню обещанное, потерпи немного... Это после обеда. Когда голоден, я не люблю рассказывать... Только, сударь, ты не жди тут у меня веселья — один я, жены нету, опять в Петербург уехала.

— А Екатерина Ивановна? — спросил Сергей.

— Екатерина Ивановна! — тихо повторил

Павел, и вдруг его ноздри раздражительно раздулись, в глазах что-то вспыхнуло, но тут же и потухло. — И ее нету... А ты и не знал о том, что уже несколько лет, как ее нет в Гатчине?

— Где же она? Надеюсь, она здорова, ваше высочество?

— Здорова... Она в Смольном. Довели до того, что отпросилась и уехала. Она навещает нас... не слишком часто... Приедет — так все же становится как-то веселее, как-то тише... Да, во всю жизнь у нас не было лучше друга... ну, и, конечно, нужно было нас лишить этого друга.

— Кто же мог это сделать? Кому это было нужно? И зачем она согласилась уехать? — невольно выговорил Сергей, но тут же и спохватился. — Извините, ради Бога, ваше высочество, — сказал он, — я никакого права не имею спрашивать и даже говорить о таких делах, но я так изумлен... так мне странно и так тяжело, что нет с вами Екатерины Ивановны. Я именно рассчитывал видеть ее сегодня. Хоть я и мало знал ее, но она произвела на меня такое впечатление, которое не забы-

вается. Мне она до сих пор представляется исключительной, святой женщиной.

— Такая она и есть, мой друг, — сказал Павел, — и тебе не в чем извиняться — если ты искренне расположен ко мне, то должен интересоваться моими делами, и я скажу тебе прямо и просто: эта история — старая история. Нелидова была лучшим нашим другом и, надеюсь, навсегда им останется. Пока она жила с нами, мне было хорошо — в ней действительно есть что-то особенное, что на меня действует успокоительным образом. Она всегда была моим врачом, я ей многим... многим обязан. И вот наши дружеские, близкие отношения стали мозолить глаза людям, которые не понимают подобных отношений; ее начали чернить, оклеветали... испробовали все средства, чтобы из-за нее поссорить меня с женой. Это не удалось, потому что жена ценит ее и любит так же, как и я, и потому что она была равно как мне, так и ей полезна и необходима. Мы выносили, пока могли, но клевета выросла до такой степени, что я почувствовал себя не вправе держать дольше Нелидову в Гатчине — мне нечем было огра-

дить ее от этих змеиных жал. Нам оставалось одно — расстаться, но, конечно, не вследствие ссоры, доказать, что наши отношения не изменились, что о ссоре тут не может быть и речи. И вот Екатерина Ивановна в Смольном.

— А она часто здесь бывает?

— Не очень часто... нет — это затруднительно, да и здоровье ее не крепкое, устает очень всегда, хоть путешествие и не Бог весть какое...

Сергей начал возмущаться, но в то же время в нем шевелилось уже новое чувство, рождался протест против этого терпения цесаревича — терпения, которое граничило со слабостью. Но, конечно, он не высказал вслух своих мыслей.

Появился Кутайсов и доложил, что обед подан.

Павел взглянул на него, сделал ему опять быстрый знак, тот отвечал подобным же знаком. Улыбка мелькнула на лице Павла.

— Пойдем, Сергей Борисыч. Не думай все же, что я тебя совсем скучать заставлю, может, найдется у нас и дамское общество: одна из фрейлин моей жены заменит за обедом хо-

зайку, я тебя познакомлю, прекрасная и премилая девушка. Пойдем.

Сердце так и заходило, так и забилося в груди Сергея.

Она или не она? А вдруг все это пустое... одна только фантазия? Вдруг войдут они в столовую — и там... какое-нибудь незнакомое лицо, ненужное, неинтересное...

Он не помнил, как они дошли до столовой, у него рябило перед глазами.

Вот накрытый, просто сервированный стол, вот женская фигура, высокая, стройная... Она приподнялась навстречу входившим.

Сергей чуть не вскрикнул — перед ним была Таня, а за нею стояла улыбающаяся, сияющая блаженством крошечная фигурка Моськи.

И Таня была приготовлена к этой встрече, и Сергей почти наверное ожидал ее, но все же сюрприз, устроенный цесаревичем, оказался совершенно удачным, и он стоял, потирая от удовольствия руки и улыбаясь, глядел попеременно, то на Сергея, то на Таню. В лице его не было и помине мрачного, презрительного

и насмешливого выражения, а глаза так и сияли, так и искрились. Никто в эту минуту не назвал бы его некрасивым.

— Ну, сударь, — проговорил он наконец, насладившись смущением молодых людей, — представлять ли тебя княжне, или вы уже и так хорошо знакомы?

Таня протянула руку Сергею, и он чувствовал, как рука ее дрогнула, он видел, как яркая краска вспыхнула на щеках ее. Он ничего не мог сказать, хотел говорить, но язык не слушался, он только изумлялся тому, совсем позабытому счастью, которое вдруг охватило его.

Где же все это было, и что такое были эти семь лет?

XII. ОПЯТЬ ИЗ ПРОШЛОГО

Так вот отчего Сергею пришлось так долго дожидаться в приемной: карлик Моська сказал «свое слово» и был тотчас же проведен к цесаревичу. Моська был совершенно уверен, что слово его отворит ему двери, хотя вот уже семь лет тому назад, перед его отъездом в Лондон, Павел приказал ему, когда бы он ни приехал обратно в Россию со своим господином, явиться тотчас же. Карлик не смутился тем, что прошло с тех пор столько времени, не боялся, что цесаревич, поглощенный своими заботами и хлопотами, позабыл о нем — и он был прав: цесаревич ничего не забывал, и время здесь остановилось. Тут все прошло не так, как везде, тут приготавливалась развязка волшебной сказки, о которой столько лет мечтал Моська и которую добрый и странный гатчинский волшебник решил устроить.

Моська молчал о своем посещении Гатчины по крепкому наказу цесаревича, и Сергею не могло прийти в голову, что в течение семи лет между его старым Степанычем и Гатчиною не порывается связь, что карлик знает

нечто такое, чего не знает он, Сергей, и что знать так ему всегда хотелось...

Приехав тогда в Петербург с княгиней Пересветовой и Таней, карлик сообразил, что прежде всего ему непременно надо побывать в Гатчине, повидаться с цесаревичем и рассказать ему обстоятельно обо всех приключениях «дитяти», поведать ему свое горькое горе и искать у него защиты и покровительства.

«На кого же теперь и надежду иметь, как не на его высочество? Кто его защитит, кто его пожурит, как не он?»

Моська свято хранил в себе родовые горбатовские традиции и даже не стал задумываться относительно возможности дурного приема со стороны цесаревича. Он являлся в Гатчину; его не пропускали, ему прямо объявили, что великий князь его не примет, но он не унывал. Он пустил в ход всю свою хитрость, все свои кошачьи ужимки, не испугался страшных солдат, и гатчинские стражники мало-помалу перешли на его сторону, на сторону забавного, потешного человечка. Таким образом Моська хоть медленно, но все ближе

и ближе подвигался к своей цели. Вот уж он объясняется с офицерами, и офицеры решаются, наконец, ему способствовать.

— Да как же доложить о тебе?

— Какое такое дело может быть у тебя?

— Коли письмо есть у тебя какое или прошение — передай, оно тотчас же будет доставлено цесаревичу.

— Не могу я этого, — твердо и решительно отвечал карлик, — говорю: сам должен видеть его высочество, и говорю вам, государи мои, что его высочество тотчас же меня и примет, как будет ему обо мне доложено. Так и скажите, карлик, мол, от Сергея Борисыча Горбатова, из чужих краев. Неужто трудно?.. Чай, ведь язык не отвалится!

— Эх, глупая ты птица! — заметили ему. — Иной раз и легкое дело трудным кажется — в какую минуту попадешь, нынче его высочество сердитует с утра, его осердили. Разве вот что, пойдем к большому человеку, к господину Кутайсову.

— Давно бы так-то! Пойдемте, — радостно запищал Моська.

Теперь он чувствовал, что добился своего и

что скоро очутится у желанной цели.

Кутайсов, как услышал, в чем дело, тотчас же и сказал ему:

— Доложить о тебе — я доложу и думаю так, что тебя примут, но только ты смотри — не наболтай глупостей, держи ухо востро.

Карлик закивал головою: «Ладно, мол, не учите — сам знаю».

Кутайсов пошел докладывать.

В этот день Павел Петрович действительно был очень не в духе, но умный Кутайсов, зная его характер, рассудил, что, пожалуй, такой нежданный, странный визит произведет хорошее впечатление.

Так оно и вышло.

Цесаревич сидел за своим письменным столом, окруженный книгами, ландкартами, планами. Он чертил что-то, делал какие-то вычисления, был углублен в мечтания относительно того, «что должно быть и чего нету, но что когда-нибудь, пожалуй, и сбудется, коли будет на то милость Божия». За отсутствием действительной, живой деятельности он ушел в деятельность фантастическую: это была бесплодная мучительная работа, напол-

нявшая многие часы унылых дней его.

Увидав перед собой Кутайсова, Павел оторвался от работы и сердито, крикливо спросил его:

— Еще что?.. Чего тебе надо?.. Как смеешь ты являться, когда я занят?..

Кутайсов не смутился, он уже давным-давно привык к характеру своего благодетеля и к его вспышкам.

— Ваше высочество, карлик просит позволения явиться...

— Карлик?

— Да.

— Ты с ума сошел. Какой там карлик? Что ты, смеешься, что ли, надо мною?

— Карлик из чужих краев, от господина Горбатова.

Павел встал и прошелся несколько раз по комнате.

— Зови этого карлика, — проговорил он.

Кутайсов увидел, что бури не будет, что наступает затишье.

«Вишь ведь как он любит этого Горбатова, — подумал он. — Ну, да что же, отчего и не любить хорошего человека!»

Он торопливо ввел Моську в кабинет цесаревича, а сам вышел и запер двери.

Карлик стал быстро раскланиваться со всеми приемами старого царедворца, усвоенными им еще при дворе государыни Елизаветы Петровны, но вдруг почувствовал прилив душевного волнения и, забывая свои приемы, просто, по-русски, пал ниц перед великим князем и заплакал.

Комическая фигурка карлика, смешная манера, с которой вошел он, и потом этот внезапно явившийся порыв произвели на Павла самое лучшее впечатление: недавнего его раздражения как не бывало, напротив того, что часто с ним случалось, он теперь вдруг сделался спокоен и ласков.

— Встань, крошка, — сказал он мягким голосом.

Моська вскочил, поднял на него свое заплаканное, растроганное лицо и зашептал дрожащими губами:

— Батюшка ты наш... красное наше солнышко!.. Привелось моим старым глазам тебя видеть!..

Павел улыбнулся и протянул ему руку.

Карлик стал целовать ее, моча своими слезами.

Павел все улыбался не то грустно, не то радостно. Он дорожил такими искренними проявлениями чувства к нему: не часто приходилось ему их видеть.

— По какому делу? — наконец, спросил он.

— А вот, государь батюшка, вот ваше императорское высочество, о Сергее Борисыче доложить нужно вашей милости...

— Так говори, что с ним такое случилось?..

Цесаревич сел к столу и приготовился слушать карлика. Тому только этого и было нужно: как маленький, дребезжащий колокольчик полился поток его речи. Он выложил перед цесаревичем всю свою душу, передал ему все свои страхи и ужасы, рассказал о мерзостях содома, Парижем именуемого, о грехе и гибели «дитяти», о княжне Татьяне Владимировне. Он говорил, как старая нянька, явившаяся перед отцом порученного ей ребенка, который наделал много бед и должен был предстать перед судом родительским. Он и обвинял, и оправдывал «дитю», просил пожурить его хорошенько, наказать даже, но за-

тем и помиловать, ибо «дите» неразумное попало в когти дьяволу и больше не своей вольной волею, а наваждением грех взяло на душу и провинилося.

После этой беседы Павел почувствовал, что полюбил этого смешного карлика, будто знал его долгие годы, почувствовал он также, что любит и «дитю». Пуще всего заинтересовался он судьбою княжны Татьяны Пересветовой, образ которой выступил во всей своей чистоте и прелести из довольно беспорядочных, горячих речей карлика.

Он сидел задумавшись, опершись о руку головою, и не замечал, что карлик давно уже молчит и смотрит на него вопросительно, с волнением и трепетом ожидая от него решения, приговора.

Наконец, Моська не вытерпел:

— Как же, ваше императорское высочество? — проговорил он, заглядывая в глаза цесаревичу. — Как же теперь быть нам в таких горьких бедах?

Павел очнулся.

— Так вот что, — сказал он, — не полагал я, что за твоим господином такие дела водятся,

не ждал я от него этого, думал, он умнее. А коли таков он, так я и знать его не хочу, мне таких не надобно.

Карлик так весь и встрепенулся и замахал ручонками.

— И, что вы, что вы, милостивый государь! Ради Создателя, не гневайтесь! Божескую милость сделайте — простите! Оно точно, неладно все это Сергей Борисыч сделал, да Бог даст, исправится, и вот, как перед Истинным говорю, уж теперь-то он не таков, уж потерпел наказание... Ведь жалко на него глядеть было, как прощался с княжною... Осталась бы она — и все было бы ладно, да с ней тоже ничего не поделаешь, тоже вдруг это гордость взялась у нее... уговаривал я ее — нет, и слушать не хочет!.. А чтобы за его вину да ваше императорское высочество от него отступились, нет, это... это неладно!.. Это и вам грех будет! — вдруг крикнул карлик вне себя. — Нет, того быть не может! Кабы знали вы, государь, как он любит вас, какой он слуга верный вам был и будет до скончания дней своих!.. Да нет, это вы так, вы изволили только попугать меня... не могу тому веры дать, не отступитесь вы от

него.

Павел глядел на карлика и опять улыбался.

— Если не веришь, так и Бог с тобой, не верь — оно и точно, отступиться от него я не отступлюсь, только Боже тебя сохрани и избави ему заикнуться о нашем разговоре. Я отпишу ему и пошлю письмо с тобою, а куда слушай: я хочу видеть княжну, хочу познакомиться с нею.

— Вот это самое лучшее! — обрадованно крикнул карлик. — Когда же прикажете?.. Что прикажете сказать им?

Цесаревич задумался.

— Это я без тебя решу и устрою, только, как они сюда ко мне поедут, и ты будь с ними.

— Слушаю-с, ваше императорское высочество, да наградит вас Бог за доброту вашу. Камень тяжелый сняли вы с меня, теперь не так уж мне тошно будет возвращаться к басурманам — знать буду, что сердечное дело наше вы под свое покровительство взять изволили. Теперь уж дурного ничего быть не может!..

— Надеюсь и желаю, — проговорил Павел. — Добра им желаю и буду рад, ежели

устрою их соединение. Прощай, любезный, вскоре еще увижусь с тобой, к тому времени и письмо твоему господину приготовлю.

Опять цесаревич милостиво допустил к руке своей карлика и ласково кивнул ему головою, когда тот выходил от него.

XIII. ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК

Моська торжествовал и тотчас же, окрыленный новой надеждой, поспешил к Тане. Тайнственно и под великим секретом сообщил он ей о своем посещении Гатчины, о разговоре с цесаревичем и объявил, какое приглашение ее ожидает.

Таня все это время была так грустна и задумчива, что жаль было глядеть на нее. Она твердо исполнила то, что считала себя обязанной исполнить, она, несмотря на всю жалость, наполнявшую ее, на всю свою любовь, оторвалась от Сергея, уехала от него; но теперь, когда трудное дело ее было сделано, ей незачем было крепиться — ведь уже никто не уговорит ее вернуться туда, к нему. Она тосковала и грустила по своей едва расцветшей и уже погубленной юности, по честной люб-

ви, которая должна была теперь так безвозвратно погибнуть.

Она была уверена, что уже ничто и никогда не соединит ее с Сергеем, она думала, что навсегда порваны связывавшие их нити, и в то же время она знала, что радости ее жизни покончены, что никого она не полюбит больше и что никогда не разлюбит она его, хотя он и недостойным оказался любви ее.

Дорогою о многом и многом она передумала, помышляла даже и о монастыре — какая девушка ее лет, при подобных обстоятельствах, о нем не помышляет?.. Но мысль уйти от мира недолго ее останавливала на себе. В ней было чересчур много жизни, и, бессознательно для нее, эта жизнь заявляла свои права. Во всяком случае, не теперь еще решать с собою — теперь она еще нужна матери и не уйдет от нее. А княгиня именно в это время вдруг почувствовала себя снова не совсем здоровой. Поездка, вопреки предсказаниям медиков, вовсе не имела на нее хорошего действия, вовсе не укрепила ее, а напротив — расстроила. При этом она мучилась мыслью о судьбе Тани, она страшно негодовала на Сер-

гея, негодовала отчасти и на Таню, потому что видела, что могло все иначе кончиться, что стоило только Тане немного сдержаться, позабыть свою гордость, свое оскорбленное чувство, простить ему — и он был бы самым лучшим мужем и старался бы загладить все прежние свои проступки. Влиять на Таню она, конечно, не могла и, сознавая это, не решалась даже уговаривать ее, просить. Она считала своею обязанностью подчиняться во всем решениям дочери, и вот теперь, утомленная и недовольная, она только спрашивала ее:

— Что же мы будем делать? Куда мы отправимся? Здесь жить, что ли, останемся, в Петербурге? Или в Москву? Или в деревню — как ты решила это, Таня?

— Никак не решила, матушка. Отдохни, родная, с врачами еще нужно о тебе посоветоваться — что они скажут? Ты все нездорова.

— Ах, да не думай ты о моем нездоровье, — перебила ее княгиня. — Вот как увижу тебя счастливой — и сама буду здорова, мое здоровье в твоем счастье.

Тане становилось еще тоскливее.

Но каково бы ни было ее душевное состояние, она не могла равнодушно отнестись к известию, принесенному Моськой. Навсегда расставшись с Сергеем, она все же еще не вышла из-под его влияния относительно некоторых предметов. Она знала про чувство, которое он питал к цесаревичу, и уже по одному этому сама любила его, хотя никогда не видела. Она обрадовалась тому, что он пожелал увидеть их, что он позовет их в Гатчину...

Дня через два княгине доложили, что ее спрашивает неизвестная дама.

— Кто бы это мог быть? Сейчас выйду.

Ее дожидалась маленькая, тоненькая фигурка с какими-то особенными грациозными, воздушными движениями, с нежным, будто созданным из фарфора, лицом, с глубокими лучистыми глазами. Эта нежданная посетительница далеко не могла назваться красавицей, но вся она сияла такой необычайной духовной красотой, что княгиня с волнением и изумлением на нее взглянула.

Оказалось, что это была Екатерина Ивановна Нелидова, фрейлина великой княгини Марии Федоровны.

Княгиня не успела и сообразить — как, что и почему, и уже узнала, что завтра утром их ждут в Гатчине. Нелидова, кажется, и не объяснила причины, по которой цесаревич с супругою пожелали их представления, она так ловко и мило обошла эту причину, она только совершенно обворожила княгиню. А когда вошла Таня, то, взглянув друг на друга, они сразу и полюбили друг друга, как будто были старыми, давнишними друзьями — так бывает иногда при встрече двух очень хороших женщин, в особенности, если одна из них обладает такой «гениальностью сердца», какою обладала Нелидова.

На следующий день, в назначенное время, они были в Гатчинском дворце. Там их встретил самый ласковый прием, какого даже они никогда не могли ожидать. И мать, и дочь были очарованы простотой и добротой красавицы великой княгини. Мария Федоровна с умением опытной хозяйки успела занять княгиню, которая, в сущности, конечно, была для нее довольно скучной гостьей.

Павел Петрович сосредоточил свое внимание на княжне и с первой же минуты пленил-

ся ею.

Несмотря на свою непривычку к обществу, Таня держала себя с таким чувством собственного достоинства, с таким спокойствием и умением, что нужно было только удивляться, глядя на нее — откуда все это взялось в семнадцать лет, после деревенской замкнутой жизни?.. Или это душевная горе всему научило? Иногда так бывает.

После обеда Павел шепнул великой княгине:

— Мой друг, был ли я прав, или нет? Стоит ли позаботиться о судьбе ее?

— Конечно, да, — отвечала великая княгиня, — это прелестная девушка, и было бы очень горько, если бы она сделалась несчастной.

— *Alors vous me donnez carte blanche?* [1]

— *Certainement, mon ami* [2].

Тогда цесаревич устроил таким образом, что остался вдвоем с Таней.

В первую минуту он даже испугал ее — так резко приступил к объяснению с нею.

— Княжна, — сказал он, — я полюбил одного человека, но он оказался недостойным мое-

го внимания, я намерен доказать ему это... Вы понимаете, что я говорю к Сергею Горбатову...

Таня вся вспыхнула.

— Ваше высочество, чем же это?.. Чем он так провинился перед вами? Я хорошо его знаю и... поверьте мне... я ручаюсь вам, что он не мог заслужить такой немилости... он так сердечно вам предан...

— А, и вы тоже! — напуская на себя сердитый вид, воскликнул Павел. — Вот этот глупый карлик тоже толкует о его ко мне привязанности! Хороша привязанность! Чем он ее может доказать мне?.. Единственно тем, что должен быть честным, благородным человеком, — а как он поступил с вами?.. Я знать его не хочу после этого.

Таня опустила глаза.

«Зачем проговорился Степаныч? Вот ее тайна, тяжелая тайна, прикосновение к которой каждый раз так больно отзывается в ее сердце, теперь в руках цесаревича — еще, пожалуй, она будет причиной неприятности для Сергея — зачем это? Как это ужасно! И что теперь делать?»

— Ваше высочество, — проговорила она,

стараясь совладать со своим волнением, — вы все знаете... Я не умею благодарить вас за участие, которое вы во мне приняли, но дозволейте мне сказать вам, что в моем деле вы не можете быть судьей. Я одна только имею право судить Сергея Борисыча — и я его давно оправдала.

— Vous êtes un ange de bonté, mais tant pis pour lui [3]! — с чувством сказал Павел. — Вы победили меня и даете мне хороший урок. Да, вы правы — это ваше дело, и вы в нем судья, но я буду просить вас все же не считать меня совершенно посторонним человеком в вашем деле. Видите ли, я имею глупую слабость к нему, к этому недостойному вас Сергею... а познакомиться с вами — и не полюбить вас, я тоже не мог; ну, и понятно, что мне больно подумать о том, как этот глупый человек нанес вам обиду и сам убежал от своего счастья. Я не могу успокоиться на этом, я должен вернуть вас друг другу, да, я ставлю это себе задачей. Я до тех пор не успокоюсь... слышите — не успокоюсь, пока вас не повенчаю.

— Ах, как вы добры, ваше высочество, — с намернувшимися слезами прошептала Та-

ня, — но то, что вы говорите, невозможно, никогда этого не будет...

— Будет, не сердите меня, будет непременно, я вам за это ручаюсь, хотя, конечно, не сейчас, не скоро... Нет, его проучить надо. Нужно, чтобы он прошел хорошую школу, чтобы он хорошенько, как следует, наконец, понял всю гнусность вины своей перед вами, чтобы он переродился и перерожденным, истинно раскаявшимся грешником явился перед вами, да и тогда еще вы его испытаете, и тогда еще не сразу покажете ему возможность счастья, пусть он его заслужит хорошенько. Когда он вернется сюда — я не знаю, может быть, пройдет год, другой, третий, все возможно, но знаете, какое-то предчувствие говорит мне, что он вернется именно таким, каким я желаю его видеть. Он не может забыть вас, он не может найти кого-нибудь другого на ваше место — таких, как вы, не забывают. Пусть он помучается хорошенько, а все же к вам вернется. Пока же у меня до вас большая просьба: мы с женой сразу, с первой минуты полюбили вас как родную, как будто бы вы были нашей дочерью; видите, я говорю

прямо и просто — я не умею иначе, когда мне сердце подсказывает слова — оставайтесь у нас, не покидайте нас и ждите здесь с нами вместе возвращения вашего Сергея. На этих днях вы будете, вероятно, назначены фрейлиной великой княгини. Согласны?

Таня поднялась растерянная, растроганная, она уже не могла сдерживать благодарных слез и невольным движением протянула руки к великому князю.

— Как вы добры, — шептала она сквозь слезы. — Сергей много говорил мне о доброте вашей, но то, что я вижу и слышу...

Она не могла договорить. Павел крепко сжал ее руки.

— Успокойтесь, дитя мое! — сказал он ласково нежным голосом.

Когда Таня несколько успокоилась, первая мысль, пришедшая ей в голову, была о том, что все же ей невозможно воспользоваться добротой и милостями цесаревича и его супруги — а как же мать? Она не имеет никакого права ее покинуть, да если бы и имела, она по чувству своему никогда не решится на это.

Она прямо и выразила все это цесаревичу.

— А вы полагаете, что об этом не подумали и не поняли, — ответил он. — Конечно, и княгиня должна тоже здесь остаться и не разлучаться с вами, и вот, может быть, теперь, в эту минуту жена и говорит ей об этом.

Возражений никаких не оставалось: дальнейшая судьба Пересветовых была решена — они оказались жительницами Гатчины.

Карлик был отправлен со всякими инструкциями, с письмом от цесаревича к Сергею и со строжайшим наказом, чуть что не под страхом смерти, молчать обо всем, чему он был свидетелем. Он должен был извещать княжну время от времени о себе и о своем господине, ему обещано было, что и его не оставят без вестей, но Сергей должен был оставаться в полном неведении относительно того, что Таня находится в Гатчине.

Добрый волшебник взялся все устроить ко всеобщему благополучию и употребил все способы для того, чтобы все совершилось именно так, как он задумал. Когда должна была наступить развязка — через год, через два, через три — это был самый дальний срок, какой только мог представляться действующим

лицам, а между тем время шло, не принося ничего нового; прошло целых семь лет. Вот уже три года, как умерла княгиня Пересветова, вот уже три года, как Таня совсем одинока, но не чувствует себя сиротою в семье цесаревича — к ней все так привыкли, ее все так любят, время от времени Павел Петрович напоминает ей об обещанной развязке. Великая княгиня, напротив, давно уже предлагает ей разных женихов, давно уже заботится о том, чтобы устроить судьбу ее — княжна Таня богатая, знатная невеста, — но усилия великой княгини не приводят ни к чему: в Гатчине мало женихов, но главное дело и не в женихах — Таня никого знать не хочет, она верна далекому человеку, не имеющему о ней, благодаря распоряжению цесаревича, никаких известий, но о котором сама она через старого друга Моську знает все, что ей знать нужно. Таня ждет, и каждый раз, когда добрый волшебник напоминает ей, что цель непременно будет достигнута, что счастливая развязка наступит, она снова ободряется и снова верит доброму волшебнику.

И ни она, ни этот добрый волшебник не за-

мечают, что время идет, хотя медленно, однообразно, но идет своей чередой, унося год за годом, унося жизнь и молодость. Не замечают они этого — ведь время остановилось в Гатчине...

XIV. СБУДЕТСЯ ЛИ?

Добрый волшебник был прав. Вернувшись в воскресенье из Петербурга, он тотчас же отправился в помещение, которое занимала княжна Таня.

Она сидела за чтением — своим любимым и главнейшим занятием среди тишины и однообразия гатчинского существования.

Павел Петрович почти никогда не заглядывал в ее комнату, и потому она очень изумилась его появлению. Но взглянув на него, она сейчас же догадалась, что случилось что-нибудь важное и хорошее. Она давно уже научилась читать в лице цесаревича, знала все его приемы, все мины. Встречаясь с ним, она тотчас же видела, в каком он настроении, хорошо ли у него на душе, или дурно. Если он рассержен, если что-нибудь томит его, мучает — тогда не видно его глаз, они будто чем-то

подернуты, тогда он дурен. Если хорошо, если какое-нибудь доброе чувство, какая-нибудь надежда трепещут в его сердце — глаза сияют, искрятся и освещают собою все это некрасивое странное лицо; он неузнаваем, будто другой человек, смотришь на него и не понимаешь — как это можно считать его некрасивым.

Вот и теперь взглянула Таня, он хорош — значит, пришел с хорошей вестью.

— А вы за книжкой, дитя мое, — проговорил цесаревич, подсаживаясь к ней и пожимая ее руку. — Мне кажется, вы слишком много читаете, слишком много пишете, глаза себе только испортите. И что вы такое пишете?

— Извлечение из каждой книги, которую я прочла и которая меня заинтересовала, ваше высочество.

— Ну, и потом?

— Мои рассуждения по поводу этой книги.

— Вот как! Вы у нас ученой девицей стали, философом, пожалуй, а я не знал об этом. А эти тетрадки ваши, эти рассуждения, вы мне дадите их на просмотр, на цензуру?

— С большим удовольствием, ваше высочество, если это может интересовать вас.

— Очень даже интересуется, только не теперь, не сейчас — теперь я другим занят. Я пришел к вам с доброй вестью.

— Это я тотчас же увидела. Я жду вашей вести, но сама не посмела вас спрашивать.

— И мысленно бранили меня за то, что я медлю?

— Еще бы не бранить, я просто обвиняю вас в жестокости — ведь уж не первый раз я замечаю, что вы любите томить человека.

— Полно, полно, я не хочу с вами ссориться и браниться; вот вам добрая весть: сегодня я видел одного знакомого вам человека.

— Какого человека?

— Сами догадайтесь.

Таня вспыхнула.

— Неужели он наконец вернулся? Неужели он здесь? — прошептала она.

— Да, он вернулся. Ведь нужно же было когда-нибудь ему вернуться; ведь и так мы с вами чересчур долго ждали, друг мой.

Таня опустила голову и глубоко задумалась.

— Что же вы как будто печальны? Неужели я не обрадовал вас моей вестью?.. Да, понимаю — того, что я сказал вам, мало... Но успокойтесь же — весть моя добрая не потому только, что он вернулся, а потому, что вернулся именно таким, каким мы с вами его ждали. Я успел кое о чем расспросить его и доволен им. Он намерен вас разыскивать и никакого понятия не имеет о том, что вы здесь: карлик не проговорился.

— Я в этом не могла и сомневаться.

— На этих же днях он здесь будет, сами увидите, каков он. Я и хотел предупредить вас и при этом дать вам совет, как его встретить.

— Как его встретить, ваше высочество... Как же иначе могу я его встретить, если не как старого друга?

— Да, конечно, но, поверьте мне, о дружбе не будет и речи, он потребует от вас другого, и вот тут-то вы должны быть осторожны, слышите ли, сразу сдать и не думайте — я вам это запрещаю! Вы должны будете не на словах только, а на деле убедиться в его раскаянии; пусть он хорошенько заслужит свое про-

щение, иначе он вас не получит, мы вас не отдадим ему.

Таня слабо улыбнулась.

— А ведь вы меня еще, видно, мало знаете, ваше высочество. Мне не нужно вашего запрета и вашего предупреждения. Тогда я была совсем ребенком, а все же ведь справилась с собою. Теперь же... неужели вы полагаете, что я сделаю решительный шаг, решительный, бесповоротный, не получив твердой уверенности, что новой ошибки не будет? И нечего нам больше говорить об этом. Только скажите мне, ваше высочество, как вы его нашли? Здоров ли он... изменился... каков стал он теперь?

— Да, он изменился, уже далеко не мальчик... Впрочем, вам, сударыня, верно, не того надобно, — с улыбкой прибавил Павел, — верно, желаете знать, не подурнел ли ваш Сергей Борисыч? Успокойтесь, и в этом не хуже стал, чем был, на мой взгляд, даже лучше.

— Я о красоте его вовсе не думала, — серьезно ответила Таня, — но вот вы заговорили о красоте и наводите меня на новую мысль. Я-то с тех пор изменилась, мне ведь

уже двадцать пять лет — для девушки это года большие. Вы должны знать, ваше высочество, что я не много думаю о своей наружности — даже великая княгиня не раз меня бранила за это, — но я все же хорошо знакома с зеркалом, и зеркало говорит мне, что я очень изменилась и уже, конечно, не в свою пользу.

Павел Петрович откинулся в кресле и смерил Таню быстрым, внимательным взглядом.

— Да, вы изменились, — проговорил он после минутного молчания, — но только не смейте клеветать на себя — вы стали несравненно лучше, чем когда я узнал вас. Если бы я был моложе и считал это для себя дозволительным, я насказал бы вам много комплиментов, но моих комплиментов вам не надо, и я не люблю их. Я гляжу на вас, как старый друг, почти как отец...

Таня доверчиво, благодарно протянула руки к цесаревичу и посмотрела на него, в свою очередь, с искренним, дочерним чувством.

— Вот поэтому-то, что вы меня немножко любите, — с милой улыбкой произнесла она, — я вам, может быть, и кажусь лучше, чем в действительности, и вы не хотите ви-

деть тех перемен, которые оставило на мне время; к тому же вы привыкли к ним. Вам трудно и замечать их — я всегда на глазах у вас, но человек, не видевший меня семь лет, не то скажет. Он сразу увидит все эти перемены, неизбежные, фатальные перемены.

— Лжете, лжете! — почти уже начиная сердиться, перебил ее Павел Петрович. — Да, очень может быть, если бы эти семь лет вы иначе прожили... в другом месте, если бы вы жили в Петербурге, тамошней вредной жизнью, в тамошнем вредном воздухе, если бы превращали день в ночь, а ночь в день, утомлялись на разных глупых празднествах, очень может быть, даже наверное, вы бы изменились и постарели, а здесь не то... Гатчинский воздух не чета петербургскому — здесь деревня, никакой болотной сырости... Здесь вы ведете правильную жизнь, рано встаете, рано ложитесь, во всем меру знаете, никаких излишеств. Я смею думать, что мы сберегли вас, и Сергей должен нам сказать большое спасибо. Да и, наконец, о каких пустяках мы с вами толкуем... Пусть бы вы даже изменились наружно, пусть бы вы подурнели — хо-

рош он будет, если обратит на это внимание! Если он любит не вас, а только вашу свежесть и молодость — нам его не надо, не так ли?

— Так, ваше высочество, так, — ответила Таня, но все оставалась задумчивой.

Несмотря на всю свою серьезность и благо-разумие, на полное отсутствие кокетства и желания нравиться, она все же была женщиной, и больно было ей думать о том, что, может быть, человек, которого она столько любила, которого забыть не была в силах, который оставался ее первой и, конечно, уже последней любовью, при встрече найдет ее по-дурневшей, постаревшей.

И не замечала она в своей задумчивости, что цесаревич продолжает глядеть на нее и любоваться ею, не понимала, что для него ясно решение этого вопроса и что про себя он шепчет:

«Останется благодарен, что берегли ее... Нужно глаз не иметь, чтобы не плениться такой красавицей... Конечно, она стала еще лучше, чем была прежде!»

Он был прав. Тане рано было стариться, и здоровая, крепкая натура при скучной и одно-

образной, но правильной жизни, сделала ее именно теперь, в двадцать пять лет, самой прелестной, самой роскошной женщиной, какую только можно себе представить. С детства живое и выразительное лицо ее теперь совсем осмыслилось; с него бежали излишние юношеские краски, на нем лежала прелесть чистой, разумно пережитой юности. Таня поражала всякого своей красотой, и об этой красоте говорили все, кто хоть раз ее видел. Но она не знала этого, она никогда не подмечала изумленных и восторженных взглядов...

И вот, когда после радостного свидания с Моськой, ободренная цесаревичем, она вышла в столовую, где должна была встретиться с Сергеем, она трепетно ждала этой первой минуты.

Она позабыла свои страхи, не думала о своей наружности. И Сергей в первую минуту не заметил лица ее, он ощущал только ее присутствие, ее близость, он почувствовал только пожатие руки ее, заметил невольную дрожь, пробежавшую по ее руке. Этого с него было довольно, он был счастлив, он не смел

даже поднять глаз на нее. Но первые минуты прошли, он решился, он взглянул и был ослеплен ее красотой.

— Боже, как вы изменились, княжна! — невольно выговорил он, растерянно и счастливо ее разглядывая.

Она испугалась, она все силы употребила, чтобы скрыть свое волнение, сердце ее больно застучало.

«Ну, вот, я изменилась, я так изменилась, что он сейчас же и сказал мне это!»

— Подурнела, конечно? — с насмешливой улыбкой спросил цесаревич.

— Как подурнела?

Сергей даже ничего не понял, совсем растерялся.

— Я помню вас другою... я так привык к детства к вашему лицу, и я никогда не знал, что вы такая красавица... Простите мне — я сам не знаю, что говорю...

Цесаревич смеялся.

— На сегодня должны тебе проститься все твои глупости. Ну, а теперь скажи мне, сударь, как же ты с отставкой, — будешь хлопотать, что ли? Намерен уезжать в деревню?

Сергей оглянулся. Добрый волшебник обо всем подумал: за столом, кроме них, никого не было. Только карлик Моська приткнулся к спинке Таниного кресла и радостно на всех поглядывал.

— Да, ваше высочество, — сказал Сергей. — Я буду хлопотать об отставке, но не с тем, чтобы ехать в деревню... Я решаюсь опять, после восьми лет, обратиться к вам с просьбой: возьмите меня, ради Бога, к себе, дозвоьте мне служить вам здесь, в Гатчине, найдите мне какое-нибудь занятие — все равно какое — может, в чем и пригожусь вам.

— Об этом подумаем, — серьезно отвечал цесаревич. — Теперь, пожалуй, как-нибудь это еще возможно устроить — терять там тебе нечего, только послушай, сударь, я ненадежных людей не принимаю, а ты уж записан в ненадежные. Знаешь ли, вчера я про тебя слышал... тебя называют вольтерьянцем.

— Вольтерьянцем? — изумленно переспросил Сергей. — Кто меня так называет?

— Да как сказать тебе?.. Не пройдет и недели — все так величать станут. Слово это произнесено князем Зубовым, а он считается ве-

ликим знатоком людей и поставляет свою задачу изгонять дух вольтерьянства.

— Я должен был ожидать этого, — заметил Сергей, — но в таком случае мне легче будет получить отставку. А вы, ваше высочество... вы не сочтете меня вольтерьянцем за то, что я в юности зачитывался этим философом и своими глазами видел все ужасное зло, происшедшее от того, что мечты писателей насильно вздумали проводить в жизнь, не справившись о том, подготовлена ли почва, могут ли созреть и принести добрые плоды эти мечтания?

— Но все же Вольтер, по-твоему, великий писатель?.. — перебил Павел.

— Конечно, ваше высочество, и его творения, смотря по тому, кто и как ими пользуется, могут принести и огромную пользу, и вред огромный. Не знаю, удачно ли будет мое сравнение, но я скажу, вспомнив недавний мой разговор с одним знаменитым английским медиком, который делает наблюдения над ядовитыми веществами: мышьяк — страшный и могучий яд, но все зависит от того, в чьих он руках и как им пользуются. Мышьяк

может сразу убить человека, заставить его умереть в страшных мучениях и в то же время, судя по наблюдениям и опытам медика, о котором я говорю, этот же мышьяк, принятый в известных дозах и надлежащим образом, излечивает многие болезни.

Цесаревич задумался.

— Да, пожалуй, ты прав, и если ты действительно умеешь обращаться с господином Вольтером, то это еще грех небольшой. Но все же тебе от этого не легче; раз убедят, кого следует, что ты вольтерьянец, — ты пропал. Отставят тебя от службы — это, конечно, и без всяких просьб твоих и хлопот отставят, но при этом тебя не пустят ни в Гатчину, ни даже в деревню, пожалуй, а попросят поселиться в каком-нибудь ином месте, для тебя совсем неудобном.

Таня невольно побледнела. Некоторое беспокойство выразилось и на лице Сергея.

— Зачем вы меня пугаете, ваше высочество? — сказал он. — Я надеюсь на защиту друзей моих, которые не дадут меня в обиду. Я твердо рассчитываю на справедливость государыни, я докажу ей, что я вовсе не вольте-

рьянец в том смысле, какой может считаться предосудительным.

— Только будь осторожен, — заметил цесаревич, — и о твоих делах нужно хорошенько теперь подумать. Я соображу кое-что, и потолкуем.

Скоро в разговорах, расспросах и Сергей, и Таня, да и сам цесаревич забыли об опасных предзнаменованиях, вызванных пущенным мстительным Зубовым словом «вольтерьянец».

Только Моська, продолжавший неподвижно стоять за креслом Тани, не забыл об этом. С его лица сошло вдруг блаженное выражение, он снова сморщился, нахмурился и что-то шептал про себя.

Наконец, улучив удобную минуту, он подкрался к Сергею и пропищал ему на ухо:

— Вот, батюшка, еще в Горбатовском толковал я, никакого прока от вашего Вольтера не будет, так ты меня с французом взашей гнал! Ан, и правду говорил я тогда, напакостит тебе, господин Вольтер — что мы тогда сделаем?

— О чем это он шепчется? — спросил цеса-

ревич, заметив карлика.

— О том же, ваше высочество, о Вольтере... тоже пугает.

— Так и ты, любезный, знаком с этим господином? — с улыбкой обратился Павел к Моське.

— А то как же, ваше императорское высочество, — запищал карлик, — я книжки-то его, сочинения эти, сам от доски до доски раз десять перечитывал, только многого понять не мог, потому глупости, сущие пустяки там написаны... Пустой это человек, господин Вольтер, доложу я вашему императорскому высочеству, уж поверьте, совсем пустяшный — француз, одно слово!..

Цесаревич подозвал к себе Моську и с видимым удовольствием начал его расспрашивать.

Сергей и Таня были предоставлены самим себе, но разговор их все как-то не вязался — они не могли еще сладить со своим волнением и радостью.

XV. ИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Возвращение Сергея Горбатова из-за границы на родину совпало с самым шумным и веселым для Петербурга временем.

Уже несколько лет петербургские жители не видали таких празднеств, такого веселья. Первою причиною этих празднеств было взятие Дербента, затем рождение великого князя Николая Павловича и, наконец, близившееся осуществление горячего желания императрицы, а именно, сватовство молодого шведского короля за старшую дочь цесаревича, Александру Павловну.

Императрица давно уже мечтала об этом, но так как встречались некоторые затруднения, то дело все как-то затягивалось.

Князь Зубов, однако, поставил себе целью непременно довести его до благополучного окончания и этим обрадовать государыню. Деятельным ему помощником явился граф Морков — дипломат новой школы, соперник Безбородко, успевший снискать расположение Зубова и усиленно выдвигаемый им на первый план. 3 августа в городе узнали о при-

езде давно ожидаемых дорогих гостей. Восемнадцатилетний шведский король Густав Адольф IV в сопровождении своего дяди регента, Карла Зюдерманландского, и некоторых приближенных к нему лиц, поселился в доме своего посланника Штединга. Король принял, так как считали необходимым поддерживать инкогнито, имя графа Гага; регент назывался графом Вазой. Императрица именно в ожидании этого посещения очень рано переселилась из Царского Села в Таврический дворец, а теперь даже в Эрмитаж, дабы иметь возможность встретить юного короля с достоподобным почетом и давать в честь его самые блестящие празднества.

Что же это были за люди, и почему императрица так дорожила дружескими отношениями с ними, так желала с ними породниться?

Екатерина, несмотря на многие перемены, происшедшие с нею, на наступавшую старость, усталость и признаки неизбежного при этом ослабления нравственных и умственных сил, все еще оставалась тонким политиком, все еще крепко и твердо стояла на стра-

же интересов России. При тогдашних политических обстоятельствах Европы прочный и постоянный союз со Швецией представлялся ей необходимым.

Победительница Густава III, осыпавшая его насмешками и стрелами своего остроумия, она вдруг изменила свои отношения к побежденному врагу. Причиной такого внезапного перехода была все та же французская революция. Пускай Швеция во вражде с Россией, но она еще в большей вражде с Францией, и потому нужно всеми мерами постараться помириться со Швецией, привлечь ее на свою сторону, тесно сплотиться с нею для борьбы с общим врагом. Через год после заключения позорного для Швеции мира, результата успехов русского оружия, Екатерина подписала новый трактат, который обеспечивал Густаву III большую денежную помощь петербургского кабинета, под условием, чтобы эта помощь была употреблена для решительных действий против французской революции.

Густав действительно намеревался раздать «революционную гидру», решил при-

нять самые энергичные меры, но не сообразовался со своими силами, он не замечал, что эта гидра разрастается с каждым часом, что ее разветвления проникают уже в Швецию и его самого опутывают.

Густав неожиданно умер, смертельно раненный во время маскарада.

По его завещанию шведский престол достался его малолетнему сыну, Густаву Адольфу; регентом он назначил брата своего, герцога Карла. Если Густав III не отличался дарованиями, то брат его Карл в этом отношении был еще безнадежнее его; однако, несмотря на бездарность, регент обладал большой хитростью. Он сознавал, что с петербургским двором надо ладить и поэтому послал к императрице генерала Клингскорра с вестью о кончине короля и с полномочием намекнуть императрице о желании покойного породниться с русским царствующим домом посредством брака Густава Адольфа со старшей внучкой императрицы.

Императрица несказанно обрадовалась. Сама она из понятного самолюбия никогда бы не заикнулась об этом деле, теперь же, раз

возник разговор не по ее инициативе, она ухватилась за этот план обеими руками. Она оживилась, окружавшие давно не видели ее такой веселой, такой счастливой.

Родственный союз со Швецией! Да ведь это уничтожение влияния Турции в Стокгольме, владычество русского флота на Балтийском море. Это крепкий союз против Франции! Положим, жениху четырнадцать лет, а невесте девять, но время так быстро идет и, наконец, надо только окончательно и бесповоротно решить вопрос так, чтобы уже не могло быть ни с той, ни с другой стороны отступления — и тогда все равно: совершится уже брак или нет еще.

Несмотря, однако, на все желание императрицы, интересовавший ее вопрос подвигался весьма медленно и в течение четырех лет не был еще решен окончательно. Виною тому оказался регент: сам заговорив о браке племянника и хорошо сознавая его выгоды, он тем не менее начал хитрить и лукавить, играть в двойную игру. Тотчас после смерти брата он вызвал изгнанного барона Рейтергольма, фантазера, мистика, ярого привер-

женца Франции. Рейтергольм всячески вооружал его против союза с Россией и, напротив, склонял его к союзу с Турцией и даже с конвентом. Регент писал Екатерине любезные, изысканные письма, уверял ее в своей преданности и в то же время не делал ни одного шага к действительному сближению с Россией.

Императрица, при своей проницательности, конечно, тотчас же заметила его игру. Она поручила русскому посланнику в Стокгольме, графу Стакельбергу, осторожно выразить регенту ее неудовольствие. Он принужден был задуматься; он увидел, что любезными письмами трудно провести императрицу, он понял, что его игра грозит отказом в субсидиях, получаемых из России, бывших крайне необходимыми для истощенной шведской казны. Он опять начал толковать и хлопотать о браке племянника и в то же время оттягивал и выигрывал время, склоняя Порту к разрыву с Россией. Он послал в Петербург для переговоров о сватовстве барона Виталья, еврея, который не был даже членом дипломатического корпуса.

Императрица сама не приняла этого еврея и поручила объясниться с ним князю Зубову. Регент опять делал свои предложения, так сказать, частным, келейным образом. Императрица ответила на них официально, выразив свое удовольствие.

Регент должен был понять, что шутить с ней невозможно, что она отлично проникла во все его замыслы. И в то же время Стакельберг сделал, по приказанию государыни, представление шведскому кабинету о двусмысленных действиях Швеции относительно России.

Стакельберг выразился довольно резко. Регент обиделся и просил у императрицы отозвания посла.

Екатерина тотчас же это исполнила, но вместе с тем прекратила выдачу субсидий Швеции. Она мотивировала это, указывая на действия Швеции в Константинополе и на дружеские ее отношения к Франции. Многие ждали окончательного разрыва и войны, но войны не последовало. Екатерина была слишком благоразумна, а регент слишком труслив. Несколько времени между Швецией и Росси-

ей не существовало никаких отношений. Пост русского посланника в Стокгольме остался вакантным, но вот по случаю женитьбы великого князя Александра Павловича явился в Петербург с поздравлением от регента граф Штенбок и снова возобновил прерванные переговоры о браке шведского короля.

Теперь Зубов взялся окончательно за это дело. Он требовал от имени императрицы, чтобы регент и король приехали в Петербург. Штенбок отвечал, что это невозможно, что это противно шведским законам. Зубов объявил, что великая княжна не может переменить религию. Прямого ответа на это заявление не последовало, однако Штенбок уверил Зубова, что вряд ли тут встретятся какие-либо препятствия. Пока на этом и остановились переговоры; очевидно, не было еще ничего решенного, но в Петербурге уже все толковали о помолвке великой княжны.

Екатерина назначила посланником в Швецию графа Сергея Румянцева.

Дружественные сношения восстановились, но судьба как будто противилась пла-

нам Екатерины. Дело, которое с первого взгляда казалось очень легким, о котором равно должны были заботиться обе стороны, и в особенности Швеция, получавшая немалые выгоды, решительно не ладилось: на каждом шагу вставали неожиданные препятствия.

Барон Армфельдт, бывший в очень близких, дружеских отношениях с покойным Густавом III, явился во главе большого заговора, имевшего целью ниспровержение регента. Армфельдт был давно известен императрице, вел даже с ней переписку, отличался искренней преданностью к России. Заговор его был открыт, он бежал и перебрался в Россию. Императрица приняла его, оказала ему много знаков внимания, назначила ему большую пенсию и разрешила поселиться в Калуге.

Регент вознегодовал. Армфельдт, государственный преступник, имение его конфисковано, имя его прибито к позорному столбу — и вдруг императрица его так принимает!

Регент написал Екатерине письмо, в котором обвинял ее в нарушении международных прав. Снова окончательный разрыв казался

неизбежным; но ближайший, неизменный советник регента, Рейтергольм, объяснил ему все невыгоды подобного разрыва, и вопрос о браке шведского короля с русской великой княжной вступил в новый фазис. Вести это дело было поручено шведскому посланнику в Петербурге, Штедингу.

Швеция ставила три пункта: первый — о приданом невесты; второй — о переходе ее в лютеранство; третий — о выдаче Армфельдта.

На первый и второй пункты Екатерина пока ничего не отвечала, на третий — ответила категорическим отказом; но не успела она еще хорошенько обдумать этих важных вопросов, как вдруг получила известие о том, что в Стокгольме объявлено официально о помолвке короля с принцессою Мекленбург-Шверинскою. 1 ноября 1795 года состоялось обручение, и во всех стокгольмских церквях служились молебны о здравии будущей королевы. Но вслед за этим неожиданным и странным известием пришло другое. Оказалось, что регент действовал, не спросившись юного короля, и вот король объявил ему, что вовсе не желает жениться на прин-

цессе Мекленбург-Шверинской, что не чувствует к ней никакого влечения, что она кажется ему непривлекательной в высшей степени.

Екатерина успокоилась. Из Петербурга в Стокгольм был послан Будберг, который так успешно повел дело, что наконец Петербург увидел давножданного гостя и хитрого регента.

Поладив со шведскими законами, они явились лично просить руки великой княжны. Императрица наконец торжествовала: ведь она с самого начала добивалась именно личного свидания.

Невесте всего тринадцать лет, но она уже достаточно развита физически и имеет вид совершенно взрослой девушки. Она хороша как ангел, добра, приветлива, умна — это самая любимая внучка императрицы. Стоит только юноше-королю взглянуть на нее, и он неизбежно должен будет страстно полюбить ее, — чего не могли до сих пор устроить дипломаты и государственные люди, то легко устроит «наша малютка», как всегда называла любимую свою внучку императрица.

XVI. СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ

Граф Гага, граф Ваза и их приближенные, как уже было сказано, остановились в доме шведского посланника Штединга.

Юноша-король, конечно, имел самые превратные понятия о России, но в то же время он очень хорошо знал о могуществе императрицы, о необычайном богатстве и роскоши ее двора и очень желал породниться с этим богатым, могущественным домом. Имел они миниатюрный портрет великой княжны, своей будущей невесты, на котором она была изображена самым прелестным ребенком, но он не особенно заглядывался на этот портрет, полагая, что в нем заключается больше рвения художника, чем сходства с оригиналом.

Вообще он мало еще пока думал о невесте и о своих будущих обязанностях, хотя дорогою дядя-регент и толковал ему о том, как он должен вести себя, как должен стараться всем понравиться, не выказывать дурных сторон своего характера. Король пропускал мимо ушей эти наставления, которые ему давно уже сильно надоели, и успокаивал себя

тем, что скоро уже, очень скоро, он будет избавлен от всех этих наставлений и скучной опеки, ибо наступает наконец его совершеннолетие.

Густав Адольф в это время уже превратился из ребенка в юношу, он был высок и строен, очень красив собою. Сразу он должен был произвести приятное впечатление; но наблюдатель скоро замечал, что внешние физические достоинства юного короля вовсе не отвечают внутренним.

Густав Адольф был одним из тех несчастных юношей, которым судьба дала высокое назначение и не позаботилась их к нему приготовить. Но начать с того, что, в сущности, он даже не имел права занимать шведский престол: ни для кого не было тайной, что преемник Густава III не был его сыном; отцом его считали графа Монка. При шведском дворе того времени, равно как и в высшем шведском обществе, господствовали легкомысленные нравы, проникнувшие туда вместе с модами из Версаля. Король Густав III, большой поклонник веселья и женщин, был плохим мужем. Пример его заразил и королеву; она

стала подражать ему тем с большей легкостью, что, как человек своего времени, он не считал себя вправе следить за ее поведением. Он пользовался сам полной свободой и предоставлял такую же свободу и королеве. Когда у нее родился сын, он даже очень обрадовался этому, не задумываясь, признал его своим сыном, нежно к нему относился, восхищался его красотой, его удивительными способностями, которые ему чудились с первых дней жизни ребенка, и всех окружающих заставлял им восхищаться...

Мальчик подрастал в этой атмосфере всеобщего поклонения, притворных похвал и лести. Он искренне считал себя существом особенным, почти сверхъестественным по красоте, уму и всевозможным дарованиям, он привык с первых лет своей жизни чувствовать себя на недосягаемом пьедестале и с того пьедестала относиться ко всем людям, как к ничтожному стаду, которое должно себя чувствовать счастливым от одного позволения лицезреть его совершенства. Придворные каждый день видели самые красноречивые доказательства высокомерия и своенравия

этого возвеличенного ребенка. Семи лет от роду Густав Адольф получил звание почетного члена Упсальского университета. Почтенные ученые являлись к нему на поклон и не хуже царедворцев трубили ему в уши о его достоинствах.

После трагической кончины отца своего король-ребенок оказался куклой в руках дяди-регента. Для того чтобы с успехом пользоваться этой куклой и заставлять ее двигаться по своему желанию, хитрый регент понял, что нужно постоянно действовать на самолюбие племянника, этим он держал его постоянно в своей власти, избегал всяких неприятных для себя столкновений, творил свою волю во всем. За все время регентства только один раз король взбунтовался против дяди; это было по случаю помолвки его на принцессе Мекленбург-Шверинской.

Но и этот единственный случай доказывал только, что расчеты регента действовать на самолюбие юноши были совершенно верны; здесь хитрый правитель забыл свое правило и потерпел поражение: брак с внучкой имперарицы русской льстил юному самолюбию

короля, вдобавок принцесса Мекленбург-Шверинская была нехороша собой и произвела на маленького полубога неприятное впечатление.

Но раз уж ошибка была сделана, ее трудно было поправить.

Король вдруг стал противоречить на каждом шагу регенту, объясняться с ним раздраженным и даже повелительным тоном. Тот, изумленный, не привыкший к подобному обращению со стороны племянника, наконец заметил ему:

— Друг мой, вы, верно, забываете, с кем говорите!

— Совсем не забываю, я хорошо знаю, что вы мне дядя и регент, но помните и вы, что через несколько месяцев я буду королем! — ничуть не смущаясь, ответил юноша.

Этим не кончилось. В один прекрасный день юный полубог объявил регенту:

— Прикажите сделать необходимые приготовления, и поедемте в Петербург.

— Как, в Петербург? — всполошился регент. — Это невозможно, это противно исконным обычаям нашей страны, вы не можете

ехать сами просить руки иностранной принцессы: для этого существует дипломатический корпус, уполномоченные.

— Мы с вами поедem в Петербург, и я буду просить у императрицы руку ее внучки! — решительно повторил король.

На следующий день он спросил, сделаны ли необходимые приготовления, и, узнав, что к ним еще не приступали, стал рвать и метать. Объяснять ему, уговаривать было бесполезно. Регент понял это, и таким образом была неожиданно решена поездка в Россию.

— Но по крайней мере при этом дворе вы держите себя, как подобает вашему положению, ни на минуту не забываете о своем достоинстве, — упрашивал регент.

Король с презрительной усмешкой взглыдывал на дядю и даже не удостоивал его никаким ответом.

«Учить меня хочет, — думал он, — сам может с меня пример брать, я покажу им, этим русским, каков должен быть настоящий король!»

И больше он не задумывался об этом предмете. Он был совершенно уверен в том, что

очарует всех. Познакомившись несколько с историей, он пленился Карлом XII и пожелал взять его себе за образец. Он старательно изучил все подробности его жизни, узнал все его привычки, манеры; он перестал смеяться, редко позволял себе доходить до раздражительности, потерял всякую искренность в обращении, от него веяло холодом, к нему нельзя было подступиться, он окончательно уверовал, что в близком будущем его ожидает великая слава, подвиги завоевателя, и весь род людской представлялся ему еще ничтожнее, еще презреннее.

«О, я покажу им, этим русским, какие бывают настоящие короли!» — несколько раз повторял он себе, подъезжая к Петербургу, и действительно начал с того, что обворожил своею внешностью всех, начиная с императрицы.

Екатерина, внушавшая при первом свидании невольный трепет государственным людям и опытным европейским царедворцам и дипломатам, нисколько не смутила напыщенного юношу.

Он увидел в ней только полную, красивую

старушку, с которой нужно быть любезным, которой нужно понравиться. С несколько размахистыми военными ухватками подошел он к руке ее, когда был представлен ей под именем графа Гага.

Императрица, ласково оглядывая красивого юношу, отстранила свою руку и, тонко улыбаясь, проговорила:

— Нет, я вижу, что не в состоянии позабыть о том, что граф Гага — король.

Граф Гага улыбнулся, в свою очередь, и отвечал:

— Если ваше величество не желаете позволить мне поцеловать вашу руку как императрица, то по крайней мере дозвоьте как дама, которой я обязан почтением и удивлением.

После первого непродолжительного свидания императрица осталась в полном восхищении от своего гостя. Она была так весела, так радостна и поспешно передавала всем окружавшим близким ей людям свои впечатления:

— Я думала, что он польщен на портретах, — говорила она. — Нисколько. Никакой

художник не в силах передать его прелести. Красота его заключается не в одних внешних чертах, в его лице сияет его ум, его душевные качества. Ах, как он умен, как он находчив, как он умеет держать себя! Я уверена, что его сердце должно быть прекрасно, малютка будет с ним счастлива, я ручаюсь за это. Ах, какой прелестный юноша, я сама просто влюблена в него!..

И великая Екатерина, мудрый знаток человеческого сердца, окончательно превратилась в добрую бабушку. Она так хотела счастья своей любимой внучке, и в то же время этот брак так давно составлял любимую мечту ее — и вот она уже не задумывалась и не размышляла. Она видела только то, что хотела видеть, и спешила уверить близких людей, что лучше молодого короля шведского не может и быть никого на свете, спешила уверить, будто боясь, что кто-нибудь станет разубеждать ее, что кто-нибудь попытается разрушить ее мечты. Но никто, конечно, не имел подобного намерения: ей поддакивали.

Императрица пленилась графом Гагой, и весь двор тотчас же им пленился, и рассказы

о его достоинствах, о его необыкновенных качествах, уме, талантах, красоте быстро стали разноситься по городу. Все радовались, ликовали, собирались веселиться, ждали необыкновенных празднеств. Предлог для всего этого был найден, о чем же задумываться? Нужно пользоваться этим предлогом. Но оставался один важный вопрос: как встретятся жених с невестой, какое впечатление произведут они друг на друга?

Если король не успел еще подумать о невесте, если, когда регент или кто-нибудь говорил ему о ней, ограничивался только одной фразой: «я уверен, что она, во всяком случае, гораздо красивее и милее принцессы Мекленбург-Шверинской», — то сама невеста, великая княжна Александра Павловна, прелестный тринадцатилетний ребенок, живое воплощение самой грациозной, самой чистой мечты художника, давно уже думала и мечтала о своем суженом. Она хорошо знала, что добрая бабушка задумывается о ее судьбе и готовит ей в женихи короля шведского.

Уже несколько месяцев тому назад Екатерина подарила ей медальон с его портретом;

она подолгу и почасту засматривалась на портрет этот, на котором он был изображен истым Адонисом.

Великая княжна имела живой и пытливый ум, развивалась быстро, всем интересовалась, училась с большою охотою и очень много знала для своих лет; в ее отличной памяти хранился уже большой запас самых разнообразных сведений, но вот в последнее время она, сама не замечая этого, сделалась рассеянной, училась уже не с такой охотою. Ее иногда можно было заметить с забытою в руке книгой, с горящим, неведомо куда устремленным взором, с лихорадочным румянцем на щеках. Императрица не раз заставляла ее в таком положении, она нежно называла ее по имени, но великая княжна не слышала. Бабушка тихонько подходила, целовала ее.

— Деточка, что с тобой? Ты не слышишь, что я зову тебя!.. Или ты нездорова?

Великая княжна вздрагивала, смущенно глядела на бабушку и кидалась обнимать ее.

— Нет, бабушка, милая, дорогая бабушка, я совсем здорова.

Екатерина улыбалась, отходила от нее, а

сама думала:

«Ах, как она хорошеет, с каждым днем хорошеет! Какая будет красавица!»

Но не останавливалась бабушка на той мысли, что не рано ли так хорошеть, так мечтать любимой внучке, не старалась проникнуть в тайну ее первых мечтаний. А причиной этих мечтаний, этого румянца, этого блеска глаз был портрет, подаренный бабушкой, были доносившиеся до чуткой девочки толки о молодом короле шведском, о его красоте, его достоинствах, о том, что лучшего жениха для великой княжны и найти невозможно. Она делала вид, что не слышит этих толков, не принимала никакого участия в этих разговорах, даже будто уходила, будто занята была совсем другим делом, а между тем ни одно слово от нее не ускользало, и потом, оставаясь одна, она долго, долго разбиралась в каждом слышанном слове, и каждое слово являлось для нее материалом, на основании которого она рисовала себе широкую, прелестную картину. И вот этот предмет первых полудетских, полуженских мечтаний, наконец, въявь предстал перед нею...

Бабушка пришла в комнаты внучки, сама своим зорким, привычным глазом оглядела наряд ее, поправила своей маленькой пухлой рукой выбившийся локон и шепнула ей:

— Allons, ma petite, je veux te présenter à quelqu'un [4].

Великая княжна побледнела, она наверное не знала, но уже догадывалась. Она пошла за бабушкой, робко прижимаясь к ней, испуганно и недоумевающе заглядывая в светлые, блестящие глаза ее, в которых ей хотелось прочесть ответ на свой вопрос, не смевший сорваться с языка.

Но глаза бабушки ласково сияли — и только.

Она не видела, куда ведут ее, не видела никого и очнулась тогда лишь, когда голос бабушки произнес имя графа Гага.

Она взглянула — перед нею высокий, стройный юноша, красавец юноша, польщенный, но все же несколько похожий портрет которого и теперь спрятан от всех взоров за корсажем ее платья, у шибко, вдруг шибко так забившегося сердечка. Она чуть не вскрикнула от какой-то сладкой боли.

Красавец юноша в изысканных, напыщенных выражениях ее приветствовал, она грациозно ему поклонилась, протянула руку, проговорила обычную фразу. Ее рука несколько мгновений трепетала в руке его, и это первое пожатие решило ее судьбу: она полюбила графа Гага той фантастической, волшебной, первой любовью, в которой мало земного, но в которой отражаются лучи небесного блаженства...

XVII. ЯСНЫЕ ДНИ

Граф Гага чувствовал себя совершенно довольным и счастливым, он никогда так весело не проводил времени, как в Петербурге. У себя в Стокгольме он сам должен был придумывать себе развлечения и забавы, и они в конце концов отличались однообразием и ему уже приелись! Все одно и то же, те же лица, та же обстановка, один день, как другой! Он часто скучал; лесть и поклонение придворных принимались как должное, с детства привычное. Здесь же совсем иное. Здесь он не должен был придумывать, как веселее провести день, просыпался утром и знал, что каж-

дый новый час будет приносить ему что-нибудь неожиданное, любопытное и веселое. Здесь что ни час, новые лица и та же лесть, то же всеобщее поклонение, но ведь это совсем не то, что поклонение его придворных.

В Стокгольме никто не мог относиться к нему иначе: если бы и хотели — так не смели; здесь же он не властелин, здесь он гость. Чужой, блестящий, могущественный двор, великая, прославленная императрица, толпа важных сановников... Сама императрица и все члены ее семейства, и все эти сановники преклоняются перед ним, восхищаются им, объявляют его самым безукоризненным, самым умным и прелестным существом в мире. Значит, таков он и есть на самом деле! Не будь он таков, не стали бы так и принимать его. Ведь вот же дядя-регент не раз убеждал его быть осмотрительным, обдумывать каждое слово, каждый свой шаг, именно для того, чтобы произвести хорошее впечатление и, конечно, боясь, что впечатление может быть и не особенно хорошим.

Но ему вовсе не пришлось делать над собой усилий, обдумывать свои поступки, — он

просто с первой минуты своего появления в Петербурге встретил ото всех самый лучший прием.

Его сразу захвалили, залюбовались им, и поэтому он оказался в хорошем настроении духа. Он был весел, доволен, снисходителен, любезен со всеми, и его мнение о себе с каждым днем возрастало больше и больше. Когда он ехал сюда, в нем все время нет-нет — да и мелькнет почти бессознательная мысль:

«А что, если я от кого-нибудь получу обиду? Что, если кто-нибудь косо на меня взглянет?»

И когда подобная мысль приходила ему в голову, он также почти бессознательно решал, что в таком случае покажет себя, плюнет на все и на всех, все бросит и вернется обратно в Стокгольм. Но возвращаться не приходилось: все шло как по маслу, да, наконец, явилось и нежданное благополучие — невеста произвела на него очень сильное впечатление. Он никогда еще не видал такого прелестного создания и в то же время, конечно, сразу понял, что и она, в свою очередь, пленена им. Его юное самолюбие было удовлетво-

рено как никогда, и немудрено, что он был сам добрее и лучше, чем обыкновенно.

Приближенные его, с ним приехавшие, изумлялись, на него глядя.

Он даже стал менее пренебрежителен и с ними, даже иногда шутил и почти ласково улыбался, чего прежде никогда не бывало, даже позабыл играть свою всегдашнюю роль, подражать Карлу XII. Он вставал рано, раньше, чем в Стокгольме, и тотчас начинал будить дядю-регента.

— Вставайте, вставайте! — говорил он. — Здесь не время спать, оденемся, позавтракаем и отправимся осматривать Петербург; я уже приказал экипаж заложить. Право, я никогда не думал, чтобы этот город был так интересен!..

Регент беспрекословно слушался племянника, торопился одеться и отправлялся с ним на осмотр разных достопримечательностей Петербурга и его окрестностей. И петербуржцы со всех сторон сбегались смотреть на дорогих гостей.

Высокого, красивого юношу и маленького, сухого, пожилого человека всюду встречали

восторженно, несмотря на их инкогнито.

Богатейшие сановники: Строганов, Остерман, Безбородко, Самойлов, Нарышкин, на своих загородных дачах давали в их честь великолепнейшие праздники, желая сделать угодное императрице, тратили баснословные суммы. Такой роскоши, такого великолепия граф Гага никогда в жизни своей не видывал. Даже петербургский климат будто улыбался желанному гостю.

Был конец августа, но погода по большей части стояла чудесная, и загородные, вечерние праздники удавались как нельзя лучше. На Неве и на островах сжигались гигантские фейерверки. Загородные дворцы вельмож, окруженные густыми, прекрасными садами, являли великолепное зрелище: придет вечер — и все горит, залитое огнями иллюминаций, раздаются несмолкаемые звуки музыки.

Граф Гага после интересно, разнообразно проведенного дня вступает под покров темной осенней ночи, будто в какой-то сказочный мир, и в этом мире волшебных огней, музыки и великолепия он не случайный пришелец, он самый дорогой гость: весь этот мир со-

здан для него, его на руках носят, перед ним рассыпаются в самых изысканных любезностях, все стараются уловить довольный взгляд его, каждое небрежно брошенное им слово принимается с восторгом, повторяется, мгновенно обегает весь город, изменяется, дополняется, украшается и является перлом остроумия и находчивости.

Самолюбие юноши бьет радостную тревогу; и вместе с этим самодовольным чувством растет другое чувство. Среди этого волшебного мира, рядом с ним маленькая прелестная фея. Ее светлые глаза глядят на него с детски откровенным восторгом, ее нежные щеки вспыхивают от каждого его взгляда, и радостный, счастливый, в сознании своего величия и превосходства, среди шумной, блестящей толпы, под несмолкаемые звуки оркестра, он тихонько пожимает маленькую ручку и шепчет на ухо своей прелестной невесте нежные слова, которыми до сих пор еще никого не достаивал.

Так проходит неделя, другая, но вот граф уже насытился всем этим блеском, всеми этими праздниками, уже привык к всеобщему

восторгу, вызванному его особой, ему уже начинает недоставать чего-то.

«Одно и то же! Одно и то же! — думает он. — Я танцую с нею, прогуливаюсь с ней под руку по освещенным залам и аллеям, но ведь нам нет возможности и поговорить как следует. Начнешь фразу — не кончишь, спросишь — она станет отвечать и не имеет возможности договорить ответа. То тот подойдет, то другой, следят за каждым шагом, ловят каждое слово — это скучно!»

Ему хотелось бы остаться вдвоем с нею, хотелось бы, не смущаясь ничьим присутствием, высказать ей всю нежность, на какую он способен, и услышать от нее такие слова, которых она не могла ему прошептать при посторонних...

Во время бала, данного императрицей во дворце 3 сентября, все вдруг заметили, что граф Гага не совсем весел и любезен, в его лице заметили что-то новое, признаки тоски и скуки. И прежде всех заметила это императрица. Она зорко стала следить за ним и, уловив удобную минуту, когда танец был окончен и граф Гага отошел от своей дамы, она

приблизилась к нему, взяла его под руку.

— Пройдемтесь немного, мой друг, — сказала она, — я недолго задержу вас, недолго заставлю скучать с такой неинтересной дамой.

— Ах, ваше величество, помилуйте, я всегда так счастлив быть с вами! — наклоняясь к ней и как-то бережно ведя ее, проговорил юноша.

— Я хочу о чем-то спросить вас, — ласково глядя на него, продолжала императрица. — Я уж старуха, и глаза мои начинают плохо видеть, но все же я еще не совсем ослепла и без очков заметила в вас сегодня некоторую перемену. Скажите же мне откровенно, скажите как бабушке, которая успела от всего сердца полюбить вас, что с вами? Мне было бы очень грустно думать, что произошло что-нибудь неприятное.

— Ничего неприятного, ваше величество, — ответил он, — а только если вы заметили во мне перемену, то я должен откровенно сказать вам: да, мне сегодня грустно.

— Отчего же? Кто тому причиной? Надеюсь, не наша малютка? Или вы с ней поспорили во время танцев?

— Нет, мы не поспорили, но вы угадали, ваше величество, великая княжна причиною моей грусти — ведь она моя невеста, я жених ее и надеюсь, что уже теперь ничто не расстроит нашего брака. Я ехал сюда и не знал еще, чем все это кончится, но она победила меня навеки.

Императрица сжала его руку.

— И я надеюсь, что она доставит вам прочное, истинное счастье. Так в чем же дело?

— А в том, ваше величество, что я должен поближе узнать ее — ведь нам о многом переговорить нужно друг с другом. А разве здесь это возможно? До сих пор я встречаю ее только среди толпы, мы едва успеваем обменяться двумя-тремя словами. Ваше величество, я покорнейше прошу вас позволить мне иначе видеться с нею. Мне хотелось бы, и я полагаю, что имею на это право, быть с нею запросто, видеть ее среди домашней обстановки.

Екатерина задумалась, потом улыбнулась.

— О, вы нетерпеливы, и вижу я, вы действительно влюбленным сделались. Ну, что ж, если это единственная причина вашей грусти, то я считаю своей обязанностью помочь

вам, и хоть я старуха, но вас понимаю. У меня хорошая память, и я помню свою молодость, я знаю требования молодости. Успокойтесь же, забудьте вашу грусть — к вам так идет, когда вы веселы и довольны. Не портите нашего общего веселья, и я вам обещаю, что на этих днях вам дан будет случай несколько часов провести с великой княжной не среди публики, а именно как вы желаете — в семейной обстановке. Я устрою это, даю вам слово. А теперь благодарю, что провели меня, скорей возвращайтесь в танцевальный зал — там уже, наверное, ждут вас...

Граф Гага рассыпался в любезностях и поспешил к великой княжне. Екатерина раза два прошлась по комнате и все добродушнее улыбалась и покачивала головою.

— Милые дети! — наконец прошептала она и, заметив одного из придворных кавалеров, который проходил через комнату, приказала позвать к себе графа Салтыкова.

Салтыков явился тотчас же.

— Что приказать изволите, ваше величество! — спросил он, привычным движением склоняя голову перед императрицей.

— А вот что, любезный граф, — сказала ему Екатерина, — дело касается деток. Видите ли, жених наш загрустил, что не может хорошенько наглядеться на невесту и поговорить с ней — вы все, господа, ему мешаете. Ну, так вот что: пожалуйста, сегодня напишите цесаревичу, напишите именно то, что я вам сейчас сказала, и прибавьте, что я нахожу подобное свидание между королем и моей внучкой, — в настоящее время, когда дело можно уже считать окончательно улаженным, — вполне пристойным, но, конечно, в том только случае, если таковое свидание произойдет в присутствии родителей великой княжны. Просите цесаревича от моего имени быть здесь непременно в пятницу вместе с великой княгиней... Да, постойте, я вспомнила, цесаревич говорил мне, что до понедельника здесь не будет... Все равно попросите, может быть, и заблагорассудит исполнить сию мою просьбу. Если же не пожелает приехать, то делать нечего, обойдемся и без него, только чтобы великая княгиня была непременно и пораньше. Будем обедать у великого князя Александра Павловича, а после обеда великая кня-

гиня всех пригласит в свои покои, также и короля с регентом, и до бала жених и невеста будут иметь возможность беседовать запросто без всякого стеснения. Пожалуйста, напишите.

— Не премину исполнить, ваше величество, — отвечал Салтыков, — завтра пошлю нарочного в Гатчину.

Императрица кивнула головою и вышла в зал взглянуть на танцующих.

XVIII. ПЕРВОЕ ОБЛАКО

На другой день, получив письмо Салтыкова и прочтя его, цесаревич прошел в покои великой княгини. Он застал ее с княжной Пересветовой и другой фрейлиною. Взглянув на него, великая княгиня по сумрачному лицу его сразу заметила, что он не в хорошем расположении духа и имеет что-то сообщить ей. Она сделала знак фрейлинам удалиться и обратилась к нему.

— Что такое, мой друг? Какое-нибудь неприятное известие?

— Нисколько, — отвечал цесаревич, подходя к ней, здороваясь с нею и нежно ее це-

луя. — Я вот сейчас получил письмо от Салтыкова, прочти, пожалуйста.

Она прочла и подняла на него свои светлые, голубые глаза, молча и не зная, что сказать. Она вовсе не хотела раздражать его еще больше, потому что видела, что он уже раздражен. Она замечала, что в этом сватовстве, которого так все желали, которого и она, в свою очередь, желала, ему что-то не нравится.

— Что же ты молчишь, Маша? — наконец спросил цесаревич, садясь рядом с нею и закусывая губу.

— Мы поедем?! — ответила она не то вопросительно, не то утвердительно.

— Мы поедем, — повторил он, упирая на слово «мы», — да, ты опять поедешь, ты будешь ездить до тех пор, пока не заболеешь от этих поездок.

Он положил свою руку на ее руку.

— Но я, Маша... не поеду — и без меня обойдется. Что ж я-то? — Я сторона в этом деле.

— Как сторона? — печально выговорила великая княгиня. — Разве отец может быть

стороною?

— К сожалению, может. Не я начал это дело, и я хочу снять с себя всякую ответственность!

— Да ведь ты, надеюсь, ничего не имеешь против брака малютки?

— Ничего не имею. Рано или поздно мы должны будем расстаться со всеми нашими дочерьми, к тому же ведь мы и всегда почти в разлуке с ними. Я ничего не имею против этого брака, но я не знаю жениха и не имею возможности узнать его. Он был здесь раз, но по одному разу я не мог составить себе о нем должного понятия.

— Поэтому-то мне, друг мой, и кажется, что тебе следует ехать, следует пользоваться всякой возможностью поближе разглядеть и узнать его.

Павел усмехнулся.

— Ведь это все устраивается для того, чтобы им быть вместе, чтобы им узнавать друг друга, чтобы им никто не мешал; так что же — я поеду для того именно, чтобы мешать им? Нет, никаких наблюдений завтра я не буду иметь возможности сделать, да и потом,

каковы бы ни были мои наблюдения, ведь из этого ничего не выйдет. Ну, представь, что он мне не понравится, что я замечу в нем такие свойства, каких не желал бы видеть в своем зяте... ведь придется только мучиться за дочь... Нет, оставь меня, я не поеду, я говорю тебе...

И голос его уже дрогнул, и он начал с каждой секундой все больше и больше раздражаться.

— Я говорю тебе, не я затеял это дело и не я буду ответствен в последствиях. Если нашу дочь сделают несчастной, на моей совести по крайней мере греха не будет. Я ничему не могу помешать... Делайте, как знаете... оставьте меня в покое!

Великая княгиня печально вздохнула.

— Ты меня, право, пугаешь, — сказала она. — Вечно эти дурные предчувствия. Конечно, своей судьбы заранее узнать невозможно; иногда семейная жизнь, начавшаяся при самых счастливых предзнаменованиях, оканчивается ужасно, но ведь тут никто виноват быть не может. А я поистине не могу ничего иметь против желания императрицы,

против этого жениха. Я — мать, и ты знаешь, как вопрос этот меня тревожит и волнует. Поверь, я наблюдаю и, кроме хорошего, ничего не заметила в короле... и к тому же наша малютка совершенно пленена им.

Цесаревич поднялся с места и своим нервным шагом несколько раз прошелся по комнате.

— Пленена... и ты говоришь это, Маша! Но ведь она совсем ребенок, чересчур рано ей пленяться!.. Все это вредно и нехорошо. Ей вскружили голову, ее заставили думать о таких вещах, о которых она еще не должна думать. Это отравка!

— Но ведь иначе нельзя, — робко перебила его великая княгиня. — Конечно, ей слишком рано думать о замужестве, но что же делать, когда так складываются обстоятельства?

— Что делать! Что делать! — повторял он, возвышая голос. — Очень часто мы сами складываем обстоятельства и объявляем, что ни при чем, что обстоятельства сами собою складываются. Не поеду я завтра!.. А ты поезжай и подробно сообщи мне все, что там произойдет.

— Матушка будет сердиться, — ты обидишь ее своим отказом присутствовать при этом свидании.

— Обижу... я ее обижу? Я никогда в жизни не обижал ее. Мне очень трудно добиться того, чтобы она была мною довольна, и я уже отказался стараться об этом... Маша, не раздражай меня! Ведь у меня уж почти вылезли и давно седеют волосы, пора же наконец мне иметь свои взгляды и хоть в чем-нибудь поступать так, как я сам считаю лучшим... А жених ваш... я полагаю, что ему следовало бы еще побывать в Гатчине!..

Проговорив это, он вышел из комнаты великой княгини, и она слышала издали его раздраженный голос. Она долго сидела задумавшись, перечитывая оставленное цесаревичем письмо Салтыкова. Она думала о дочери, об этом женихе, который успел очаровать и ее вслед за другими.

«Неужели не будет счастлива моя девочка? Нет, она должна быть счастлива! Он так молод, он сам почти еще ребенок, они так подходят друг к другу. Зачем же смущать, зачем все видеть в мрачном свете, зачем только и себя,

и других мучить?»

А между тем неясные предчувствия цесаревича уже и на нее действовали. В последние дни она не раз чувствовала припадок какой-то тоски, каких-то неведомо откуда бравшихся опасений. Вот и теперь ей сделалось так тяжело, так грустно, она даже заплакала. Но плакать, грустить, предаваться своим разнообразным мыслям ей не пришлось долго — ей доложили о том, что в Гатчину приехали граф Гага и граф Ваза.

Она оживилась.

«Вот это хорошо, — подумала она, — авось, теперь он несколько успокоится. Хорошо, что именно сегодня они приехали...»

Цесаревич принял юного короля с той изысканной любезностью, на которую он был способен и которую умел выказывать даже и в те дни, когда чувствовал себя особенно раздраженным. Маленький регент зорко поглядывал своими хитрыми глазками, все силы употребляя, чтобы занять великую княгиню.

Цесаревич вступил в продолжительную беседу с юношей, навел разговор на самые разнообразные предметы, очевидно, разгля-

дывал его, выведывал его познания и образ мыслей.

Добрый час продолжалась эта беседа. И хотя цесаревич по-прежнему выказывал ему все внешние знаки глубокого почтения, но посторонний наблюдатель мог бы легко заметить по их лицам, что они далеко не были довольны друг другом.

«Пустой мальчик! — думал цесаревич. — Плохо его учили, плохо воспитывали, мало знает, много о себе думает, ко всему легко относится. Молод еще очень — мог бы исправиться, мог бы наверстать потерянное время, да уж если до сих пор некому было об этом позаботиться, так теперь и того меньше. Добр ли он? Есть ли у него сердце? Хороший ли муж будет? Как узнать это? Может быть, в руках разумной женщины и вышел бы из него прок, а ребенок что с ним сделает!.. Политика, политические виды!.. Чует, чует мое сердце, что девочка будет несчастна!»

Он навел разговор на свою дочь, на положение будущей шведской королевы и прямо высказал:

— Мне было бы крайне тяжело, если бы

дочь моя встретила религиозную нетерпимость. Она родилась православной, воспитана в православии, и, на мой взгляд, который разделяет и весь русский народ, она никоим образом не может переменить свою религию.

Юный король поморщился.

— Уже не в первый раз, ваше высочество, мне говорят об этом, к этому вопросу то и дело возвращаются, но мне кажется, что его нужно оставить. Конечно, я не стану ничем стеснять великую княжну.

— Так вы мне обещаете серьезно, что не будет никаких стеснений в этом отношении?

— Обещаю, с удовольствием обещаю.

— Вы меня успокаиваете, — проговорил цесаревич и предложил королю пройтись по парку.

Король с удовольствием согласился, ему надоела эта беседа, в которой он чувствовал себя каким-то учеником, которого выспрашивают и экзаменуют. Ему неприятно было под зорким, испытующим взглядом своего будущего тестя. Он не хотел сегодня ехать в Гатчину и только согласился после усиленных, настоятельных убеждений регента. Здесь так

скучно, так мрачно, так мало общего с блестящей, ежеминутно изменяющейся, сверкающей и шумной петербургской жизнью.

Во время прогулки юный король очутился в обществе великой княгини и двух красивых, сопровождавших ее фрейлин. Он оживился, был любезен, притворно восхищался старым гатчинским парком, описывал Стокгольм, свой дворец, королевские забавы и уверял великую княгиню, что когда ее дочь сделается шведской королевой, то скучать не будет.

А цесаревич в это время беседовал с регентом. Слова короля, что он не станет принуждать Александру Павловну к перемене религии, его мало успокоили. Он хотел выпросить на этот счет регента, но тот отвечал ему в таком же роде, как и племянник, тоже уверял, что великую княжну никто принуждать не станет, но в то же время Павел Петрович видел, что хитрый граф Ваза не все договаривает, обходит вопрос и отвечает на него не прямо.

«Не бывать моей дочери шведской королевой! — быстро решил он сам собою. — Как все

они уверены в том, что это дело решенное, так я теперь вижу, что решенного еще очень мало. Ведь не могут же они обходить такого вопроса, ведь должны же они будут решить все подробности и все оформить. На такую уступку матушка не пойдет — это было бы уже слишком!..»

XIX. ЗА СЛЕПКАМИ КАМЕЙ

Несмотря на все просьбы Марии Федоровны, цесаревич все же не поехал на следующее утро в Петербург.

— Если я имею почему-нибудь серьезный резон поступить так, то надо меня оставить в покое, — мрачно проговорил он.

— Что же мне сказать императрице?

— Скажи правду — я нездоров и притом считаю себя лишним в этом деле, не я его задумал, не я начал, пусть без меня оно и окончится.

Мария Федоровна не стала больше возражать и поспешно собралась в привычный ей путь. Все обошлось благополучно, императрица не выразила никакого неудовольствия по поводу отсутствия сына, подробно расспра-

шивала о его здоровье и вообще показала великой княгине очень ласково настроенной. Великую княгиню в ней поразило только одно: вид какой-то чрезмерной усталости, которой до сих пор она не замечала, но, несмотря на эту усталость, ее лицо все же скоро оживилось, глаза опять блистали, когда она говорила о том, что дело идет на лад, о том, что «малютка» непременно будет счастлива, потому что очень любит своего жениха, и он достоин этой любви.

День прошел наилучшим образом. Юный король достиг своей цели: он имел возможность в течение долгих часов беседовать с невестой среди интимной обстановки Зимнего дворца.

Три раза в этот день великая княгиня отрывалась от гостей своих и принималась писать подробные отчеты о всем происшедшем цесаревичу в Гатчину. Таким образом между главными действующими лицами установились постоянные сношения.

Цесаревич в Гатчине несколько раз в день получал присылаемые с курьерами письма великой княгини. Императрица, остававшая-

ся в своем Таврическом дворце, также получала от нее записки и сама писала ей.

Великой княгине пришлось остаться в Петербурге и на следующий день, и еще на один день. Екатерина торопилась, она ждала слишком долго и теперь не хотела терять ни одной минуты.

Возбужден был вопрос об обручении, об обмене колец женихом и невестой. Раз это будет сделано, тогда уже нечего опасаться, тогда пусть король уезжает и готовится в Стокгольме встречу своей нареченной. Но как устроить это обручение — в церкви или комнате? Екатерина забыла все дела и только и думала об этом. Она нашла в истории пример, что обещания могут быть даны уполномоченными: дочь деда Ивана Васильевича была обручена при посредстве уполномоченного с Александром, великим князем литовским.

Обряд обручения нужно обставить как можно торжественнее, в нем должны принять участие митрополит и архиереи, но, во всяком случае, еще раз следует серьезно переговорить с молодым королем. Екатерина сама не хотела уже лично объясняться с ним и по-

ручила это великой княгине, взяв с нее обещание, что она тотчас же известит ее письменно о результатах этого разговора.

В воскресенье, 7 сентября, король почти целый день провел в Зимнем дворце, в покоях великой княгини. Марии Федоровне долго не удавалось так устроить, чтобы иметь возможность переговорить с ним без помехи, но вот, наконец, она достигла своей цели. Все посторонние лица были удалены, она очутилась наедине с женихом и невестой. Молодые люди сидели в небольшой уютной комнате у окошка и, тихонько переговариваясь между собою, делали из воска слепки камей. Великая княгиня подошла к ним, посмотрела их работу, придвинула стул и села рядом с дочерью.

— Я очень недовольна вами обоими, — заговорила она своим ласковым голосом, — у вас такие печальные лица, между тем этого никак не должно быть.

Лица у молодых людей были действительно печальны, и в особенности у великой княжны.

— Чем же мы виноваты? Если у нас пе-

чальные лица, значит, есть тому причина, — тихо, едва слышно прошептала «малютка».

— Твою печаль я понимаю, — сказала великая княгиня, — ты грустишь, потому что он не весел, значит, главный виновник вы, monsieur Gustave!.. За что вы заставляете ее грустить, отчего не хотите ее успокоить? Сделайте ее веселой, — вы развеселитесь, и она развеселится вслед за вами.

— Я уже просил ее успокоиться, — ответил король. — Я сказал ей, чтобы она не обращала внимания на мою грусть — в ней нет ничего серьезного и опасного.

— Это плохое успокоение. Очень недостаточно сказать — успокойтесь, нужно объяснить причину, нужно быть откровенным, вот в чем дело, и я прошу вас, monsieur Gustave, говорить со мной откровенно, как с другом. Поведайте нам действительную, настоящую причину вашей грусти, ведь еще несколько дней тому вы были совсем другой.

— Когда она будет у меня в Стокгольме, настанет конец всем моим печалям, — ответил король, указывая глазами на великую княжну. — Видите, я совсем откровенен с вами, и

видите теперь, что причина моей грусти естественна, что иначе и быть не может и что, следовательно, я не виновен. Я недавно узнал ее, а между тем мне кажется, что я всю жизнь ее знал, я так к ней привязался, я не могу себе представить, как буду жить без нее. Знаете ли, ваше высочество, мне кажется, что теперь только я живу по-настоящему, и все это — благодаря вам, вашей доброте... а главное, вам, вам!..

Он через стол протянул руку великой княжне и склонился, чтобы поцеловать ее маленькую, затрепетавшую руку.

— Я будто родился снова, и как же мне не грустить, думая о том, что через несколько дней я с вами расстанусь? Мне невыносима мысль эта, я хотел бы быть веселым, я хотел бы улыбаться, смеяться, шутить, я не могу, — чем я виноват?

На лице великой княгини мелькнула едва заметная улыбка.

«Я поймаю его на слове», — подумала она.

— Да, в таком случае вы правы, и я очень рада слышать, что вы так говорите, и я вам верю, но что же делать? Надо быть благора-

зумным, ведь вы еще долго не будете видеться. Вы взаимно любите друг друга, и, конечно, я предвижу, что вы станете тосковать по ней, а она по вас, вы будете тревожиться друг о друге. Послушайте, сосчитаем, сколько месяцев проведете вы в разлуке.

— Ах, Боже мой! — вскричал король. — Вы и представить себе не можете, какая это будет невыносимая, долгая разлука, как много разных дел неизбежных! Так много нужно будет мне устроить, и прежде всего я должен дожидаться своего совершеннолетия. Я уже не раз считал и пересчитывал и вижу, что раньше восьми месяцев не может быть наша свадьба.

Его голос дрогнул, и на глаза его набежали слезы.

— Это очень долго, — тихонько проговорила великая княгиня.

Малютка сидела, опустив глаза, и то и дело из-под длинных ресниц ее капали одна за другой блестящие слезы.

— Долго, долго, бесконечно долго! — почти крикнул король.

— В таком случае хорошенько обдумаем это дело, — сказала великая княгиня. — Вы го-

ворите, что все ваши печали окончатся, когда она будет с вами в Стокгольме, — постарайтесь же ускорить эту минуту, не ссылайтесь на препятствия, устранить которые, может быть, от вас зависит.

— Если бы я мог что-нибудь сделать, я бы, конечно, сделал, но, к несчастью, это невозможно. Мы можем отпраздновать свадьбу только осенью или весною — зимою нельзя!

— Теперь осень, кто вам мешает жениться теперь, не медля?

— Но мой двор не в полном сборе и апартаменты не готовы.

— Если только в этом все затруднения, — серьезно заметила великая княгиня, — то я удивляюсь вам: что касается двора — его собрать недолго, а если кто кого любит, то не обращает внимания на апартаменты. Женитесь здесь, «малютка» поедет с вами, и дело с концом, и вы не будете мучить друг друга вашей печалью.

— Но как же мы поедем? Море опасно теперь, а я скорей умру, чем подвергну ее опасности!

Великая княжна Александра подняла на

него свои большие грустные глаза, и в них мгновенно засветилась восторженная решимость.

— С вами, — прошептала она, — я буду везде считать себя в безопасности.

Он схватил ее руки, покрыл их поцелуями и с обожанием глядел на ее — в ее глазах стояли слезы.

— Доверьтесь мне, monsieur Gustave, — сказала великая княгиня. — Вы говорите, что желали бы поскорей видеть окончание дела?

— Очень бы этого желал, но пока все еще зависит от герцога-регента.

— В таком случае, если желаете, я поговорю с императрицей, я возьму все на себя.

— О, благодарю вас, но, пожалуйста, сделайте так, чтобы я был в стороне. Пусть императрица предложит регенту не от меня, а от себя.

— Непременно. Так вот, значит, мы и договорились, значит, теперь не о чем вам и печалиться; развеселитесь и развеселите «малютку». Видите, что нужно было начать с откровенности.

— Да, вы правы, благодарю, благодарю

вас, — говорил король, целуя ее руку. — Но только, пожалуйста, чтобы никто не знал о нашем этом разговоре, и я буду молчать, постарайтесь все устроить — вы сделаете меня самым счастливым человеком!

В это время в комнату вошла княгиня Ливен, воспитательница великой княжны. Разговор пресекся. Молодые люди снова занялись лепкой камей. Мария Федоровна отошла от них, присела к другому столику и взяла свое вышивание. Время от времени, разговаривая с княгиней Ливен, она зорко взглядывала на жениха и невесту и мало-помалу успокаивалась. Теперь они уже не были грустны. Он что-то оживленно говорил ей, она улыбалась. Вот раздался и его веселый смех, он встал, что-то показывал жестами. Он рассказывал ей о своих охотах, о приключениях, с ним бывших, где, конечно, он играл роль героя и выказывал чудеса храбрости.

И «малютка» с обожанием глядела на героя, и не было границ ее счастью. А между тем герой только что именно и выказывал свою трусость и свое ребячество. Он не мог даже скрыть от великой княгини своего стра-

ха перед герцогом-регентом. Откуда же взялся этот страх? Да он и сам не знал.

Регент, сговорившись с посланником Штедингом, решил, что молодой король чересчур увлекся и что теперь он, того и жди, поступит неосторожно. Слишком поспешит и ради своей внезапной любви к великой княжне сделает такие уступки, каких нельзя допустить. Вот уже три дня, как оба они, и регент, и Штединг, пользовались каждой свободной минутой, чтобы внушить ему быть сдержаннее и осторожнее.

— Вы не можете быть судьей в этом деле, вы не можете сами теперь решить, потому что будете пристрастны. Поручите это нам; поверьте, мы все сделаем именно так, как следует, потому что отнесемся к делу спокойно. Подумайте, что дело чересчур важно, что от такого или иного решения этого дела зависит ваше будущее, интересы Швеции. Вы знаете, что государь не имеет никакого права забывать об интересах своего государства ради собственных личных интересов, что подобный образ действий является преступным перед государством и может повлечь за собою

страшные последствия.

Густав сначала едва слушал их доводы, но и регент, и Штединг, стоворившись, сумели наконец заставить себя слушать, сумели даже запугать юношу. И сам не сознавая этого, он вдруг почувствовал себя будто чем-то связанным, будто в зависимости от кого-то и от чего-то. Чтобы окончательно отвлечь опасность какого-нибудь необдуманного поступка влюбленного юноши, регент затронул, наконец, самую слабую струну его, подействовал, как всегда это делал в важных случаях, на его самолюбие.

— Невеста ваша — существо прелестное, — сказал он ему, — и я очень понимаю ваше увлечение, но дело тут не в ней, — всем известно, до какой степени умна и какой тонкий дипломат императрица Екатерина. Она очаровала вас своею ласковостью и любезностью и в то же время желает забрать вас в руки, сделать вас простым орудием для достижения своих политических целей. Вы слишком молоды, вы об этом не думали, но ведь вот достигните вы вашего совершеннолетия, еще немного дней, и я сложу с себя мое зва-

ние регента, вы будете самостоятельным государем — так пора же вам об этом подумать. Любите вашу невесту, но не заблуждайтесь насчет ее родных, не поддавайтесь им, мне кажется, они и так считают вас слишком большим простачком, и я вовсе не хочу, чтобы над вами смеялись.

Услышав эти слова, король вскочил с места, нахмурил брови и несколько раз нервно прошелся по комнате.

— Я желал бы посмотреть, как это кто-нибудь будет смеяться надо мною! Императрица, конечно, очень умна и знаменита, но напрасно они считают меня дурачком — я ей не поддамся.

И он, горделиво подняв голову, вышел из комнаты. Регент с удовольствием потер руки. Цель была достигнута.

Теперь король искренне говорил с великой княгиней, был очень растроган, очень влюблен в свою невесту, очень желал как можно скорее навеки соединиться с нею, но в то же время он и побаивался регента, то есть, собственно, не его побаивался, а того, чтобы он не счел его слабым и обманутым.

Не доверял он уже и императрице; ласковая манера и прелестное лицо великой княгини на него действовали, но через полчаса после разговора с нею он невольно задавал себе вопрос:

«А вдруг это она только притворяется такой доброй и искренней, вдруг она тоже хочет обмануть меня?..»

Брови его сдвигались, на щеках вспыхивал румянец, он задумывался и сердился. Но вот опять слышал он почти у самого своего уха укоризненный, нежный голос, он взглядывал на невесту, забывал все и шептал ей:

— Нет, нет, мне весело, я счастлив и не буду больше хмуриться.

XX. ОБВИНИТЕЛЬ

Внимание государыни было поглощено исключительно одним делом; этим же делом были заняты все члены ее семейства и все близкие ей люди. В последние дни будто и не существовало ничего иного, кроме предполагаемой свадьбы великой княжны с королем шведским: все остальное отошло на второй план, почти даже забылось. Князь Платон Зубов то и дело был призываем к императрице, имел с нею совещания, возвращаясь к себе, призывал Моркова, писал митрополиту, любезничал с регентом и Штедингом, успокаивал Екатерину, постоянно повторяя ей одну и ту же фразу: «Ручаюсь, что не встретится никаких препятствий, я все обдумал, пускай регент хитрит как ему угодно — мы перехитрим его».

И Екатерина успокаивалась до какой-нибудь новой тревожной мысли.

Все, что соприкасалось с придворною сферой, толковало о том же. *La grande question du jour* [5] был у всех в мыслях и на устах. От благополучного решения этого вопроса почти

для каждого что-нибудь зависело: радость государыни, исполнение ее желания должны были отразиться в щедрых милостях и наградах. Удовольствие Зубова, пожелавшего играть роль главного деятеля при решении вопроса, должно было сделать его более ласковым, более способным на подачки.

Может быть, во всем Петербурге один только человек, имевший внешнее соприкосновение с этим волновавшимся придворным миром, не думал и не толковал о «la grande question du jour» и даже не замечал того, что «question» раньше, чем кому-либо, ему уже принес пользу — «question» заставил забыть о нем государыню, а главное, Платона Зубова. Человек этот был Сергей Горбатов. В течение целой недели его никто не трогал, не вызывал, в течение целой недели он не видался ни с Зубовым, ни с государыней, которой, по ее же словам, интересно было с ним побеседовать.

Сергей радовался тому, что о нем забыли, и желал только одного, чтобы это забвение продолжалось еще и еще — чем дольше, чем лучше. В течение этой недели он четыре раза

успел побывать в Гатчине и провести там по несколько часов с Таней. Обстановка была самая благоприятная: великая княгиня в Петербурге, следовательно, Таня свободна. Цесаревич все время поглощен своими обычными занятиями, а в свободные часы бродит один по парку или опять запирается в своей рабочей комнате. Он мрачен, чем-то недоволен, но сдерживает свое раздражение, только избегает встреч с людьми.

Сергею он сказал:

— Когда можешь, приезжай хоть каждый день, только ты не ко мне теперь приезжай, а к княжне, и поэтому, собственно, от нее зависит разрешить тебе это — ее и спрашивай. А о делах мы с тобою потолковать успеем, теперь мне некогда, некогда...

Конечно, Сергей не стал надоедать цесаревичу и не искал встреч с ним и разговоров. Таня его принимала, говорила ему «до свиданья», и он возвращался при первой возможности. Но все же он не мог сказать себе после этих четырех посещений Гатчины, чтобы дела его находились в блестящем положении: до сих пор между ним и Таней не было еще

решительного объяснения — она не допускала его до такого объяснения.

Но он не очень страдал от этого. Пока ему было достаточно и того, что ему давалось. Он видел Таню, слышал ее голос, она глядела на него своими прежними глазами, она относилась к нему так доверчиво, с такой дружбой. Им было чем наполнить эти часы свиданий. Они сами не знали, как это сделалось, а между тем они, будто подчиняясь известной программе, переживали сызнова всю жизнь свою, начиная еще с самого отдаленного времени, они вспоминали в мельчайших подробностях детство, первые дни юности, они шли постоянно вперед. И Сергей уже перестал выказывать нетерпение, он не делал уже быстрых переходов, быстрых скачков; они просто не касались еще того времени, подойдя к которому нужно было покончить объяснением.

Но все же, наконец, они подошли к этому времени. Сергей видел по быстрому румянцу, то вспыхивавшему, то пропадавшему на щеках Тани, какое волнение он возбудил в ней двумя-тремя фразами об обстоятельствах их парижской встречи. Она уже не перебивала

его, не отводила его в другую сторону, она, несмотря на все свое волнение, прямо спросила про Рено.

— К несчастью, я ничего не могу вам сказать о нем, — ответил Сергей, — как это ни странно, но я совсем потерял его из виду. Я получил от него в Лондоне в первые три года несколько писем. Эти письма со мною, если хотите, я когда-нибудь принесу вам их. Он много страдал и душою и телом; вы помните, что он говорил нам тогда, помните, как он разочаровался в своей революции, помните, как он объяснял, что его обязанность по возможности исправить то зло, которому он легкомысленно способствовал. Конечно, его усилия были каплей в море, но как бы то ни было он исполнил свою обязанность. Он работал сколько сил хватило и всюду вносил свою живость, свое увлечение. Он подвергался большим опасностям и хотя писал мне всегда наскоро, как-то впопыхах, ничего не рассказывая, а только намекая, но, должно быть, его жизнь в эти страшные годы была полна самых разнообразных приключений. Я удивлялся, что он тогда остался жив, что его не из-

вели, — а потом вдруг он пропал.

— И неужели вы ничего, как есть ничего не могли узнать о нем?

— Ничего. Я наводил постоянно справки... пропал... как в воду канул... Жив ли?.. Вероятнее всего, что умер, может быть, убит... казнен... я не знаю, что с ним. Это меня сильно огорчало, но время... я уже привык к мысли, что Рено нет. А иной раз вдруг и придет в голову: «А может быть, он еще вернется! Может быть, еще придется с ним увидеться — жив он...»

— Бедный Рено! — со вздохом проговорила Таня. — Я тоже хочу думать и буду думать, что он еще жив и что мы еще его увидим. Я не могу забыть, разлюбить его, я ему стольким обязана!

— Да, мы действительно ему многим обязаны, — сказал Сергей, — хоть он совсем не такой человек, каким мы его считали в наши юные годы. Я, да ведь и вы тоже, Таня, мы чуть не молились на него, мы считали его светильником разума — в этом мы ошибались. Тех достоинств, какие мы в нем видели, в нем вовсе нет; но перестав преклоняться пе-

ред ним, мне кажется, я полюбил его еще сильнее. Со всеми своими слабостями, ошибками, заблуждениями наш Рено был хорошим человеком, честным и искренним, без всякого лукавства.

— И он любил нас, — добавила Таня.

— Да, он любил нас, — повторил Сергей, — и вы знаете, что последнее желание его перед разлукой с нами было, чтобы окончилось наше недоразумение.

Таня вспыхнула.

— Вот мы о нем вспомнили, — продолжал Сергей, и глаза его заблестали, — мы о нем вспомнили и будем же, в память нашего милого учителя, так же искренни, так же прямы, как он бывал всегда, не будем тянуть, не будем хитрить, подойдем прямо к нашему вопросу и так или иначе решим его. Таня, отвечайте мне — случайно ли теперь сошлись мы с вами? Должны ли опять разойтись навсегда? Или эта новая встреча после стольких лет не случайная, но неизбежная и уже разойтись нам не придется?

Таня сидела совсем побледневшая и молчала.

— Таня, да взгляните же на меня, взгляните прямо, отвечайте...

Но она не поднимала на него глаз. Прошло несколько мгновений, тяжелых, показавшихся Сергею необычайно длинными. Он заговорил снова:

— Да, конечно, вы имеете право не отвечать мне... конечно, я кругом виноват перед вами и не смею по-настоящему требовать от вас ответа, не смею возвращаться к прошлому...

Вдруг что-то дрогнуло в лице Тани, и по этому побледневшему, будто застывшему лицу мелькнула тень тоски и страдания.

— Зачем же в таком случае вы требуете моего ответа, — проговорила она, — зачем вы возвращаетесь к тому, что должны были считать поконченным?

— Потому что я не могу иначе, — страстно ответил Сергей, — потому что, несмотря на все сознание моей вины перед вами, я считаю эту вину искупленной долгими годами невыносимой жизни, даже и не жизни, потому что я не жил все это время. Поверьте, я не преувеличиваю и не фантазирую, я серьезно говорю

вам, что все эти годы — это было что-то странное, отвратительное, это было какое-то чистилище и вдобавок без надежды на рай. Но теперь у меня явилась эта надежда, я вас вижу, и я не могу не спросить вас: достаточно ли было мое искупление, заслужил ли я наконец то, что потерял по собственной вине, но уже искупленной?

— Я вас не понимаю, — проговорила Таня, — о каком чистилище вы говорите? Неужели действительно во все эти годы, что мы не видались, вы не были довольны вашей жизнью? Неужели вы захотите уверять меня, что все это время вы думали обо мне и желали, чтобы я к вам вернулась?

— Да, да, я именно это хочу сказать вам.

— Значит, вы не были счастливы?

Сергей печально, даже как-то зло усмехнулся.

— Ни одного мгновения.

— Но считали ли вы, что между нами действительно все и навсегда кончено?

— Да, считал. На что же мне было надеяться? После ваших окончательных решений я находился в безвыходном положении. Вы

знаете, что я был пленником, изгнанником, вы знаете, что никакие вести о вас до меня не доходили, я столько же знал о вас, как теперь знаю о Рено. Живы вы или нет, замужем вы или свободны, я ничего не знал. Сначала я спрашивал, мне никто не давал ответа, я не понимаю, как вы все это устроили.

Она не отвечала. Он продолжал.

— Так как же я мог надеяться на встречу с вами? Я находился в положении человека, потерявшего, похоронившего вас. Вы были для меня только воспоминанием. Но от этого воспоминания я не мог оторваться, я не мог начать новой жизни. Меня все это время неизменно и с равной силой тянуло к вашей могиле. А вы живы, вы свободны, я говорю с вами, вы воскресли, так как же мне не спрашивать, как же не ждать от вас ответа, действительно ли вы для меня воскресли?

Глаза Тани блеснули, застывшее было лицо оживилось снова, невольным движением она подалась вперед, будто хотела протянуть ему руки, но ее руки упали, и она тихим, глухим голосом прошептала:

— А о моей жизни за это время вы не спра-

шиваете?

— О чем же я и спрашиваю? — вскричал Сергей. — Скажите мне, как вы жили, это и будет ответом на вопрос мой.

— Как я жила? Обстоятельства этой моей жизни вам известны. Вы знаете, что, потеряв мать, я осталась одна, как есть одна на всем свете. Меня приютили... Я должна была в течение этих лет убедиться в истинной доброте цесаревича и великой княгини, в доброте, которую знают очень немногие. Я предана им всей душой, я готова за них в огонь и в воду, и это не пустые слова, но вы понимаете, что все же они мне не отец и не мать и что, несмотря на все их ласки, на всю их доброту, я все же одинока. Мои воспоминания — вот все, чем я могла жить и чем жила. К чему мне было подерживать сношения с вами? Если вы меня похоронили, то ведь и я вас тоже похоронила. Может быть, и я часто приходила к вашей могиле, но это не давало счастья. Я узнаю из слов ваших, что вы провели тяжелые годы, я верю вам, конечно, но в то же время изумляюсь. Я никаким образом не могла подумать, чтобы так было — хоть и изгнанник, хоть и

пленник, как вы говорите, но все же ведь вы жили среди общества, у вас были постоянно серьезные занятия, вы могли найти себе цель, интерес... У меня же в этом замкнутом круге, в этом уединении монастырском всего было так мало, один день как другой, тоска приходит, справляйся с ней, как знаешь, наполняй время, чем умеешь.

— Что же вы делали, Таня?

— Что делала? Я училась, читала много, вот и все, но жизни все же не было. И в этом у нас оказалась общая доля, для меня тоже было чистилище без надежды на рай. Но вот вы сами сознаетесь, что вы виноваты были и должны были выкупить вину свою — я не сказала, чтобы вы были передо мной виноваты, вы сами считаете себя виновным. То есть, может быть, были минуты, давно, тогда, когда я была ребенком почти, может быть, тогда я и находила в вас вину, но эти минуты были так давно, я совсем их позабыла, но все же вы сами считали себя виновным и хоть в этом-то могли найти некоторую долю успокоения. У меня же этого не было.

Сергей сидел, опустив голову, внимательно-

но, всем существом своим вслушиваясь в слова Тани. Но вот он перебил ее.

— О, как вы горды, Таня! — сказал он. — В этом-то и вина ваша. Вы испортили себе жизнь вашей гордостью.

Она взглянула на него изумленно и вопросительно.

— Гордостью? В чем же моя гордость?

— Разве не от гордости вы меня тогда оставили? Разве я не говорил вам, не умолял вас? Вы не видели истины слов моих и моих уверений, что та женщина, о которой я без ужаса не могу и теперь вспомнить, была сном, кошмаром, дьявольским наваждением, что вам нечего было ее бояться. Вашей обязанностью было не покидать меня, спасти меня от этого наваждения. Вы это и хотели сделать, да вы и спасли меня от нее, а потом будто сами испугались своего доброго дела и покинули меня и испортили и мне, и себе жизнь. Вот до чего мы договорились. Я начал с искренним сознанием вины моей, но теперь в первый раз в течение этих долгих лет вижу, что ошибался, что клепал на себя. Вот вы меня до чего довели! — повторял он, волнуясь все больше и

больше. — Нет, я не виноват перед вами, а вы передо мной виновны! Виновна ваша ужасная гордость! Вы говорите, в монастырском уединении жили, учились, читали, думали. Чему же вы учились? Что читали? О чем думали? Ну, тогда, оставив меня в самые ужасные минуты, удовлетворив вашу гордость, как потом-то... потом вы не победили ее? Ведь вы знали, вы должны были знать, что вам стоит меня кликнуть, и, несмотря на все, я разорву мои цепи и буду у ног ваших; но гордость вам мешала. Ваша гордость не исчезла с годами, а росла в этом уединении, вот вы предпочли и мне, и себе испортить жизнь. Таня, мы договорились: вы никогда не любили меня, потому что где есть любовь, там не может быть гордости.

Таня схватилась руками за голову и как-то странно, недоумевающе, изумленно, отчаянно повторила:

— Я... не любила вас...

Она хотела сказать еще что-то, но вдруг замолчала, и Сергей услышал горькое, вырвавшееся рыдание. Она плакала, закрыв лицо руками.

— Что с вами? Зачем вы плачете, Таня? Ради Бога успокойтесь! Разве я оскорбил вас? Клянусь, я не хотел этого!

Он бросился перед ней на колени, старался оторвать от лица ее руки. Но она все плакала, неудержимо плакала, сквозь рыдания повторяя:

— Оставьте... это пройдет... я сейчас успокоюсь... Я сама не знаю, что со мною.

Он грустно отошел от нее и ждал. Она действительно скоро совладала с собой, отерла глаза, прошлась несколько раз по комнате, остановилась перед ним и положила свою руку на плечо его.

— Serge, — сказала она тихим, совсем прежним голосом, который так и отдался у него в сердце, — оставьте меня теперь, умоляю вас. Уезжайте и вернитесь только тогда, когда я сама позову вас. Вы явились моим обвинителем, и ваши обвинения тяжки... Я должна одуматься, должна разобраться в самой себе, чтобы отвечать на эти обвинения. Подождите, дайте мне успокоиться, дайте мне самой решить много вопросов, и тогда будем говорить. До свиданья, Serge. Ждите, я скоро

позову вас.

Он глядел на нее, старался прочесть в ее лице то, чего она не договаривала. Но ее прелестное лицо, хранившее следы недавних слез, было особенно непроницаемо. Он мог в нем заметить только одно, что она приняла какое-то решение, одно из своих неизменных решений, против которых нельзя было спорить. К тому же он сам ясно видел, что теперь действительно говорить не о чем, нужно успокоиться.

Он не думал, что сегодняшнее свидание их так кончится, он не думал, что станет обвинять ее, а между тем теперь он не намерен был взять назад ни одного слова. Он был совершенно, как и всегда, искренен с нею.

Да, пусть успокоится!

И быстро простясь с Таней, он уехал из Гатчины.

XXI. ТЯЖЕЛЫЕ ВОПРОСЫ

По отъезде Сергея Таня осталась крайне взволнованная и пораженная. Она предчувствовала уже в этот день, что между ними произойдет, наконец, решительное объяснение, ждала этого объяснения с невольным восторгом и нетерпением. Она знала, что ненадолго хватит ее решимости и сдержанности, рекомендованных ей цесаревичем, знала, что томить дольше Сергея не будет в силах и прямо наконец скажет ему истину, скажет, что им только жила, его только и ждала в течение долгих лет и что теперь уже не отпустит его от себя.

А между тем вот ведь ничего этого не случилось; объяснение произошло, и результат его был совсем неожиданный: из обвиняемого и прощаемого Сергей внезапно превратился в обвинителя. И какие тяжкие обвинения!..

Она сама виновата во всем, она испортила жизнь и себе, и ему, отравила и его, и свою молодость, во всех этих бесплодных, мучительных годах она, и только она одна, была виновата...

Счастливая, полная жизнь возможна была давно, и она уничтожила эту возможность, отказалась от этой жизни. Однообразное уединение, существование среди бестелесных туманных мечтаний, вечное ожидание апофеоза волшебной сказки, в который часто поневоле не верилось... всему этому она причиной — и, мало того, Сергей пошел дальше, он произнес странные, непонятные, дикие слова, он ей сказал, что она поступала так, потому что не любила его... Она его не любила! Что же лишило ее тепла и света в самые лучшие, юные годы, что бесследно и бесплодно унесло ее первую молодость, что чуть не с детства сделалось ее сутью, преобладающим ее чувством, как не эта любовь? И он говорит, что она его не любила!

О, какая неблагодарность! Какая клевета!

Зачем же она прямо не сказала ему, что он клеветник и неблагодарный? Зачем она не заставила его ужаснуться его собственных слов, отказаться от них, просить за них прощения?

Она не сделала этого потому, что он поразил ее как громом, потому что в его словах, в этом обвинении, ей вдруг послышалось что-

то совсем особенное и тем более ужасное, что это что-то вовсе не походило на неблагодарность и клевету. Но ведь не могло же в таком обвинении заключаться правды!

Ее сердце ныло, ее мысли путались, она чувствовала себя пораженной, ослабевшей, она должна была прийти в себя, очнуться, понять, что такое случилось, что значили эти странные слова его, что такое в них заключается, кроме клеветы и неблагодарности.

Она уже не могла сказать ему теперь того, что сказать собиралась, она не могла, как еще недавно мечтала, на груди его, у его сердца выплакать все свои слезы, рассказать ему всю тоску этих долгих лет, все ожидания, — она могла только попросить его удалиться...

Его нет — она одна.

Что же такое все это?

Долго не могла Таня успокоиться, собраться с мыслями, она рада была, что в этот день, за отсутствием великой княгини, у нее мало домашних дел, что она может сколько угодно оставаться в своих комнатах, запереться, никого не видеть.

Она так и сделала, она бродила из угла в

угол по комнатам, потом принималась за книгу, бросала ее и опять начинала бродить. Потом, наконец, легла в постель, закрыла глаза, но не спала, а долго лежала в полузабытьи, в бездумьи, с ощущением большого, давно уже незнакомого ей утомления. Ей тяжело было подняться, тяжело было пошевелиться, тяжело было думать.

Мало-помалу это полузабытье перешло в сон. Таня спала, как спит человек после чрезмерной работы, чрезмерной усталости. Этот сон укрепил ее, восстановил нарушенное равновесие ее телесного и духовного организма. Когда она проснулась, были уже сумерки. Она не слыхала в своем крепком сне, как к ней стучали, как ее звали к обеду, потом опять приходили и звали ее, и изумлялись, что такое с нею.

Она поднялась с постели и сразу почувствовала, что сон освежил ее, что теперь она может думать, может решить все вставшие перед нею вопросы. Но действительность на этот раз отвлекла ее, она должна была говорить с людьми, объяснить им, почему заперлась. Она получила записку от великой кня-

гини, поручавшей ей сделать кое-какие распоряжения.

Она аккуратно, как и всегда, исполнила все, что от нее требовалось, казалась даже совсем спокойной и бодрой.

Так прошел вечер, и она рада была, когда снова могла запереться в своей спальне, снова остаться одна и в долгую, бессонную ночь поговорить сама с собой. И она приступила к этой решительной беседе, понимая, что подобная беседа несравненно важнее того объяснения с Сергеем, которого она ожидала так трепетно...

Чем окончится эта беседа? Во всяком случае, от нее зависит теперь окончание волшебной сказки. Среди ночной тишины и молчания, нарушаемых только редкими, далекими окликающими часами, Таня вспоминала и переживала каждый день своей жизни с той самой минуты, когда она встретила Сергея в беседке деревенского парка. Она сходила в самые сокровенные тайники своего сердца, твердо решила подвергнуть строгому, беспристрастному допросу свое чувство и на каждый вопрос свой, на каждое воспомина-

ние отвечала: «всегда любила и люблю его!»

Он был первый человек, первый мужчина, заставивший ее убедиться, что на свете есть нечто, о существовании чего она прежде не знала и никогда не думала, что среди любви к близким, окружающим ее людям, которой много она с детства в себе чувствовала, есть особенная привязанность, не имеющая ничего общего с остальными привязанностями, несравненно их сильнейшая. В этой привязанности все ново и особенно в ней мало спокойствия, много тревоги, волнений, сладости и боли. И это-то самое чувство, которое с неожиданной, внезапно прорвавшейся силою испытала она тогда, в беседке, когда руки Сергея сжимали ее руки, когда она в первый раз почувствовала его новый, не братский поцелуй на губах своих, это самое чувство она испытывала в течение всей своей жизни каждый раз, когда сходилась с Сергеем, когда о нем думала. Это самое чувство внезапно возникало в ней и заслоняло собою все другие чувства и помышления, неудержимо влекло к тому же Сергею и тогда, когда он был далеко, когда она даже думала, что он уж больше

к ней не вернется, что он навеки для нее потерян.

Однообразна была жизнь ее, но все же она встречалась с другими мужчинами и сознавала, что производит на них сильное впечатление своей красотой, она сознавала и видела, что некоторые из этих мужчин готовы будут при первом малейшем намеке с ее стороны, при первом ее ласковом взгляде и слове искать сближения с нею, искать ее любви. Великая княгиня даже указывала ей на некоторых как на женихов. Но каждый раз она возмущалась, и каждый раз, когда она видела, что человек, который мог бы быть женихом для нее, заглядывается на нее, начинает за ней ухаживать, она уходила сама в себя, она, всегда одинаково простая и ласковая, превращалась в неприступную, становилась горделива и отталкивала от себя холодностью человека, против которого до сих пор ничего не имела, который ей даже нравился, был приятен. Она вдруг даже ожесточалась, и в то же время в ней поднималось снова знакомое, томительное и сладкое чувство, и опять рисовался ей образ далекого, быть может, навсегда для нее

потерянного Сергея, и она со слезами прости-
рала руки к этому неосязаемому образу, звала
его.

В ее здоровой и сильной природе было
много огня и страсти, внутренний огонь же-
е, потушить его было невозможно, а заста-
вить гореть ровным и благотворным светом
мог только один человек — и человек этот
был Сергей... Только теперь Таня увидела то,
к чему до сих пор относилась бессознательно,
существования чего не замечала, — она уви-
дела всю ненормальность своей монашеской
жизни, своего гатчинского затворничества.
Ей вспомнились эти горячие бессонные ночи,
когда она в огне, почти в бреде, призывала да-
лекого Сергея и шептала ему страстные речи,
и обнимала мечту, таявшую в ее объятиях. И
часто возвращалась к этому призраку, вызы-
вала его и так, наконец, сжилась с ним, что
уже почти позабывала о существовании ве-
щественного, живого Сергея. Что же, может
быть, она любила только призрак?..

Но вот предсказания волшебника испол-
нились, живой Сергей явился перед нею, и
все, что было в ней страсти, проснулось с но-

вой силою, она едва владела собой, она готова была боготворить этого человека. Она находила его неизмеримо выше, дороже ей, милее и роднее прежнего Сергея, о котором осталось одно только воспоминание, а также и Сергея ее мечтаний, знакомого ей призрака. Решив вопрос, что она всегда любила только его, она решила вместе с тем и другой вопрос, что теперь она любит его горячее и больше, чем когда-либо, что теперь она уже не выпустит его, не отдаст его, готова за него бороться до смерти.

Итак, одно из страшных обвинений Сергея было устранено.

Таня успокоилась. Но оставалось другое, не менее страшное — обвинение в гордости, из-за которой она будто бы сама создала себе неестественную для нее, монашескую жизнь, и испортила жизнь дорогого и теперь обожаемого ею человека. Таня вернулась мыслями к своей поездке в Париж, к своему твердо принятому решению покинуть Сергея в ту самую минуту, когда вечное соединение их должно было совершиться. Она хорошо помнила, какое подавляющее впечатление произвела эта

ее решимость тогда не только на Сергея, но и на всех близких, окружавших ее людей, на покойницу мать, Рено и карлика.

Каждый по-своему старался всячески упростить ее переменить гнев на милость, простить Сергея, не оставлять его. Мать даже плакала и все повторяла:

— Я чувствую, что с ним может быть твое счастье; выйдешь за него — и я умру спокойно, буду знать, что ты в хорошую семью попала, где тебя не обидят... А что молодой человек глупостей наделал — так мало ли что, ведь он тебя любит, посмотри ты на него... ты его несчастным делаешь...

Карлик, в полном отчаянии, считал Сергея особенно виноватым, был возмущен против него, но в то же время убеждал Таню только поуготать, задать острастку, а потом простить:

— Не то что же это такое будет, золотая моя, — говорил он плаксивым голосом, — ведь ты, матушка, всем чертям его отдаешь! Спаси ты его душеньку!

Рено говорил многословно и красноречиво; Рено что-то говорил ей о гордости (и он тоже о гордости!), но она не вслушивалась в

слова его, она была поглощена своим горем, своим решением, никто теперь не мог иметь на нее влияния.

А сам Сергей? Он молчал, он уж под конец ни о чем и не просил ее, он был уничтожен, подавлен и, как преступник, ждал решения своей участи. И она, чуть не крича от страдания, задыхаясь от душивших ее слез, все же осталась непреклонной, простилась с ним холодно, обещала ему свою неизменную дружбу, обращалась с ним милостиво, с полным сознанием своей высоты и его падения — и покинула его. Она думала, думала до последнего времени, что ее поступок был чуть ли не самым лучшим, высоким поступком в ее жизни, она считала себя героиней, гордилась собой, своей решимостью, своим страданием, считала Сергея виноватым и наслаждалась мечтами о том, как она простит его, как она будет всегда велика перед ним, как он будет чувствовать все ее великодушие и всю свою вину перед нею.

«Ведь ты сам пришел ко мне и обещал мне вечную любовь, потом изменил мне для женщины недостойной; я спасла тебя, я тебя про-

стила и поверила тебе снова, и вдруг явилась эта фурия, этот демон, и ты при мне, спасшей тебя, любившей тебя, простившей, при мне, на глазах моих, кинулся к ней, простирая к ней руки, ты оскорбил меня так, как только можно оскорбить женщину; я не имела права унижаться более, я ушла — и что же я сделала? Вместо того, чтобы забыть тебя, вместо того, чтобы полюбить другого и счастливо устроить свою жизнь с человеком, который бы лучше, быть может, оценил меня, — я думала о тебе, непрестанно любила тебя все так же, ждала тебя, отдала этому ожиданию свою молодость, лучшие свои годы, и, когда ты пришел снова, не имея уже на меня ни тени права, я опять и опять прощаю тебя и люблю тебя, и соглашаюсь быть твоею!»

Вот что мечтала она сказать ему, и невольно представлялось ей, как он упадет перед ней на колени в сознании ее безграничного великодушия, ее святости. А он пришел и говорит ей, что она виновата во всем, что она взяла на себя чуть ли не убийство и самоубийство, он не говорит ей о великодушии и святости, о ее беспримерном героизме, он об-

виняет ее в тяжком грехе, в гордости... Неблагодарный клеветник! Хоть бы другой кто, а то кто же... он ее в этом обвиняет!.. Неблагодарный клеветник!

Но ведь вот же она не посмела сказать ему этого, она только смутилась, ужаснулась, расплакалась и просила его удалиться, чтобы дать ей время очнуться. Эта клевета и неблагодарность сразили ее, но не оскорблением, а просто ужасом, и в этом ужасе с первой минуты было сознание его правоты и своей греховности. Потому-то она так и мучилась, так и томилась после его отъезда. Но теперь, придя в себя, она ясно видит, ясно чувствует и понимает, что он был прав, что нет в ней ни великодушия, ни святости, нет подвига и героизма, а есть страшная гордость, что действительно этой гордостью испортила она лучшие годы и его и своей жизни. Она видит теперь, сколько невозвратного времени потеряла в ложных мечтаниях, видит, как она уходила все дальше и дальше от действительности, как эта действительность искажалась перед нею.

Но теперь она наконец все понимает. Далее

кие тяжкие события являются перед нею уже в новой окраске, и видит она, как с каждой минутой умалается и умалается вина перед нею Сергея, как с каждой минутой яснее и яснее выступает необдуманность ее тогдашнего поступка и грех ее дальнейшей гордости...

Хоть и однообразная, хоть и мечтательная, уединенная жизнь началась для нее после того времени, но все же эта жизнь прошла недаром; размышления, рассуждения и серьезное чтение заставили ее понимать многое такое, чего она прежде, будучи еще почти ребенком, не понимала — и видит она теперь, что этот демон, эта страшная женщина, никогда не могла стать навсегда между ней и Сергеем; и видит она, что правы были и ее покойная мать, и карлик, и Рено. Должна она была их послушаться, их, ее лучших друзей, более ее опытных, более ее знавших жизнь. Да и не то, не их она должна была послушаться, должна она была послушаться своего сердца, которое страдало тогда и немолчно кричало ей, что она любит Сергея, что она не может спокойно и счастливо жить без него и потому не должна уходить от него.

Вот он сказал ей, что она могла, когда хотела, вернуться к нему, и не только вернуться, а просто кликнуть его, что она знала, с каким счастьем, с каким восторгом он откликнется на этот зов. Знала ли она это? Да, конечно, она иногда это чувствовала, надеялась на это — ведь этим и жила она; наконец, у нее всегда была возможность убедиться: она обещала Сергею свою дружбу и ни разу не написала ему, скрывала тщательно от него свою судьбу. Она вступила в заговор против него, она слушает советов своего нового друга, цесаревича — это он виноват во всем, он утверждал ее в гордости, он толковал ей о том, что все придет в свое время, что Сергея следует подвергнуть испытанию, он повторял ей:

— Держитесь, не падайте духом, будьте сильны, и сказка окончится благополучно.

Он во всем виноват! Но нет, зачем она станет винить его? Он сам горячий мечтатель; как она в эти последние годы, так и он всю жизнь жил в области, созданной его воображением; он желал ей добра, но он не мог понять чужого ему дела, дела ее сердца. Зачем она слушалась его больше, чем своего сердца,

зачем она верила чужим людям, когда должна верить только своему чувству, говорившему ей всегда правду?..

Ей уже некого было обвинять.

«Да, всему виною моя гордость, — наконец прошептала она, окончательно сдаваясь. — О, как я несчастна! О, как я преступна! В каком я была ослеплении!»

Она схватилась за голову и долго, не шевелясь, сидела на своей кровати, не мигая, смотря в одну точку и ничего не видя среди полумрака, окутавшего ее скромную девическую комнату и едва озаряемого слабым светом лампы, зажженной перед иконами.

«О! Как я виновата!» — отчаянно повторила она.

И вдруг неудержимые слезы полились из глаз ее, и долго она плакала, и многое она оплакивала. Она оплакивала каждый день этой сумрачной, бесполезно, как ей теперь казалось, прожитой ею жизни, проведенной в этих тихих стенах, оплакивала каждый день, уносивший ее юность, ее свежесть. Чего не дала бы она теперь, чтоб только воротить потерянное, загубленное время, — но его не во-

ротишь! Как нужно теперь торопить счастье, пришедшее так поздно... Но пришло ли оно?..

Этот новый, неожиданный вопрос заставил болезненно забиться ее сердце.

«Пришло ли, стою ли я этого счастья? Не наступает ли теперь наказание за мою гордость? Вернулся ли он ко мне? Увижу ли я его? Быть может, он вернулся только затем, чтобы открыть мне глаза, чтобы показать мне всю мою вину и затем уйти от меня навсегда, оставить меня для нового тяжелого наказания?.. Но ведь я уже наказана и так, всеми эти годами я наказана... А то, что я заставила его перенести?..»

Таня вздрогнула. Она молила Бога, молила судьбу сжалиться над нею, она клялась всю жизнь свою посвятить на то, чтобы заставить его забыть это тяжелое время. Ее отчаяние мало-помалу улеглось, снова явились бодрость, надежда.

«Нет, он мой теперь, я не отдам его, я сделаю его счастливым, я заставлю его забыть все, я ворочу потерянное время!..»

XXII. У ПОРОГА

Если слова, так неожиданно и внезапно вырвавшиеся у Сергея, поразили Таню, заставили ее очнуться и понять свою ошибку, понять то, чего она так долго не понимала, то на самого Сергея они не произвели никакого впечатления, — он высказал то, что ясно представилось ему в минуту, когда он говорил; он увидел впечатление, произведенное на Таню, понял его, и, когда она попросила его удалиться, дать ей время одуматься, он исполнил это беспрекословно, потому что нашел, что так и надо, иначе быть не может, и что все идет самым лучшим для него образом.

Он возвращался из Гатчины в Петербург в самом счастливом настроении духа, все его сомнения, все опасения теперь разлетелись; он знал, что Таня непременно скоро позовет его и сама уже скажет ему, чтобы он не покидал ее теперь никогда.

Он обвинял ее в гордости, сказал ей, что она его не любила, но по впечатлению, произведенному на нее его словами, да и, наконец, по каждой минуте их свиданий, с самой

встречи, он убедился, что теперь-то уж она его любит. Если бы не любила, не такова была бы их встреча, не таковы были бы их свидания... этих свиданий совсем бы не было. Она его любит, она теперь плачет и мучится... Пускай поплачет, пускай помучится и поймет, как нехорошо было томить его и себя в течение этих бесконечных лет. Но теперь-то уж ненадолго слезы и мучения, теперь все кончено, старое прошло невозвратно, оно забудется очень скоро, и не придется даже вспоминать о нем. Старое прошло — началось новое, и в этом сознании для Сергея заключалось столько счастья, что он не способен был оглядываться, вспоминать, упрекать и терзаться... Увидев Таню после многолетней разлуки, услышав ее голос и почувствовав пожатие руки, он понял, просто и ясно, до какой степени она нужна для счастья его жизни, и если сама она любит его, в чем он теперь уже не сомневается, то о чем думать, зачем копать в старых ранах?

Теперь они навсегда закрылись...

Да, он снова живет, он весел и доволен, чувствует такой прилив силы и радости, так

все кругом него прекрасно и мило, так он все любит, так всем наслаждается... Чего еще больше? Бывало, целые дни проходили в тупой тоске, в отвращении к жизни, все было противно и казалось ненужным, надоедливым — теперь все нужно, все дорого. Вот он едет по знакомой дороге, и каждая минута приносит ему новые наслаждения: он любит и свою удобную, новую карету, в которой так уютно ему сидеть, рессоры которой так нежно и приятно его подбрасывают; он любит и своего кучера на козлах, и этот четверик кровных лошадей; он интересуется каждым встречным человеком, каждым деревом и камнем, попадающим по дороге. Все это так весело, так хорошо, — так интересно.

«О, как славно жить на свете!» — думается ему, а ведь уже давно этого не думалось, напротив — постоянно думалось другое: «как невыносимо, как тяжело жить на свете!»

И это радостное настроение не проходило, а все увеличивалось по мере того, как Сергей подъезжал к Петербургу. Вернувшись к себе домой, он так и сиял. Он позвал карлика.

Тот, как взглянул на него, так и понял, что

случилось что-нибудь хорошее; а что это хорошее, он отлично знал, он знал, зачем Сергей Борисыч, почитай, каждый день ездит в Гатчину, кого он там видит.

«Слава тебе, Господи, — мысленно повторял карлик. — Наконец-то дождались, окончились наши мытарства! Слава тебе, Господи милосердый, что довел меня дожить до такой радости!»

— Что прикажешь, батюшка Сергей Борисыч? — пропищал Моська, лукаво поглядывая на своего господина.

— А вот что, Степаныч, ведь я за хлопотами своими до сего дня и дома-то нашего не обошел как следует, все в этих вот комнатах толкался; пойдём-ка посмотрим — все ли на месте, сохранно ли?

— Что же, пойдём, коли твоей милости угодно, — изумленно ответил карлик. — Да я и так могу доложить тебе, что все в исправности, я-то ведь уж каждую вещь осмотрел, все на своем месте, как перед отъездом нашим было, так и осталось; да, батюшка, как же иначе ему и быть — ведь не чужих, а своих людей оставили, так они за барским доб-

ром должны были наблюдать. Да и что это ты, погляжу я на тебя, Сергей Борисыч, просто ныне не узнать тебя! Где это видано, что тебе до твоего добра дело есть? Вот сколько лет живу с тобою, знаю ведь уж тебя — ну, скажи, сударь-батюшка, как перед Богом скажи правду: я так полагаю, что ты, к примеру вот, до сей поры не ведаешь, сколько у нас там в Лондоне комнат было, какие вещи. Что мы привезли с собой, что оставили... Так я полагаю, что обобрали бы, обворовали дочиста, так ты как есть ничего не заметил бы!..

Сергей улыбнулся.

— Правда, Степаныч, правда, ничего не помню, убей Бог, не могу себе представить моего лондонского дома!.. Кабинет вот помню, залу, гостиную, желтую гостиную, еще помню спальню мою, ну, а что там дальше... да я там и не бывал никогда. Сколько там у нас было комнат?

— Сорок покоев, сударь, у нас было. Да я это к тому, что теперь-то как это тебе вздумалось?

— А так, Степаныч, там все чужое было, в чужом месте, а этот дом мой, мой собствен-

ный, отцовский, все мое, от дедов и прадедов доставшееся, вот и хочу осмотреть... Дома я, Степаныч, вот что!

— Вестимо, теперича мы дома, — радостно повторил карлик. — Пойдем, батюшка, по всем уголкам проведу тебя...

И весь день, до самого вечера, Сергей занимался осмотром своего дома, в первый раз в жизни находя в этом занятии интерес и прелесть. Петербургский дом Горбатова был полною чашею, много в нем было собрано дорогих родовых вещей, и теперь каждый предмет получил для Сергея интерес и значение, он любовался каждой вещью, вспоминал ее, старался догадаться о ее происхождении. Теперь он в первый раз понял значение своей родной, родовой обстановки своего гнезда и невольно урывками мечтал о том, как хорошо будет устроить это богатое, теплое гнездо, где наконец начнется его семейная жизнь с дорогой хозяйкой. Карлик, хотя и ни о чем его не спрашивал, отлично понимал его мысли и ощущения.

«Пришло наше время, — думал он, — оперился Сергей Борисыч, вить гнездышко соби-

рается!..»

XXIII. ЛОВУШКА

Хотя в эти последние дни императрица и была занята исключительно своими семейными делами, но ведь в основе этих дел лежала политика, международные отношения, а потому она, естественно, отрываясь от переписки с великой княгиней, от мыслей о судьбе «малютки», обращалась к дипломатическим сношениям с западноевропейскими дворами. Она внимательно выслушивала доклады президента иностранной коллегии, князя Зубова, доклады, составлявшиеся графом Морковым и по большей части плохо подготовленные Зубовым. Императрица давно уже привыкла к легкомыслию, а подчас и полной бестолковости созданного ею государственного человека. Она и не замечала этого легкомыслия и бестолковости, потому что сама все сразу схватывала на лету, усваивала; таким образом, весьма нередко не Зубов был ее докладчиком, а она сама докладывала ему дело и объясняла.

Во время одного из подобных докладов, ко-

гда вопрос коснулся Англии, Екатерина вспомнила о приезде Горбатова.

— Ах, Боже мой, — сказала она, — как я становлюсь рассеянна и беспамятна! Я совсем было запамятовала, что хотела принять Горбатова и поговорить с ним. Пожалуйста, извести его, что я его жду к себе завтра утром, часов в десять, думаю, что это будет для меня самое удобное время!

Зубов поморщился. Он сумел заставить императрицу быть невольной пособницей его мелочного мщения; сумел представить ей в самых черных красках поведение Горбатова за границей, его дуэль, которая, по его уверениям, оказывалась чуть ли не государственным преступлением. Он сумел в течение восьми лет не пускать его в Россию и был совершенно уже уверен, что от прежнего благорасположения к нему не осталось и следа, что императрица отнесется к нему теперь безразлично и холодно, как к человеку не нужному и ничтожному, с которым нет и не может быть ничего общего.

А между тем он видел, вот уже третий раз, что она чересчур внимательно относится к

этому человеку. Он уж окрестил Сергея многозначительным в то время именем «вольтерьянца» и теперь решился своевременно и раз навсегда уничтожить его в глазах императрицы.

— Мне трудно понять, — сказал он, вызывая презрительную усмешку на губах своих, — какой интерес, ваше величество, можете извлечь из разговора с этим человеком?

Екатерина с изумлением подняла на него глаза.

— Как, какой интерес? Горбатов не глуп, он столько времени прожил в Англии, вращался постоянно там в самых влиятельных сферах и, конечно, сообщит мне такие подробности, каких недостает в получаемых нами официальных донесениях, — живой человек всегда лучше бумаги.

— Далеко не всегда, смотря по тому, каков человек и какова бумага. Я позволю себе заметить, что ваше величество, как мне кажется, ошибаетесь в этом человеке.

— Я... ошибаюсь?.. Но почему же?.. Да и, наконец, мой друг, я даже своего мнения о нем еще не высказала вполне. Что он не глуп, это

говорят все, кто его знают, об этом свидетельствуют и его начальники. Я знаю, что вы его недолюбливаете, между вами когда-то давно была какая-то ссора, но оба вы тогда были почти дети, пора забыть это... И, пожалуйста, не огорчайте меня — при вашей доброте и благородстве вашего характера вы должны стоять выше каких-нибудь мелочных счетов.

На щеках Зубова вспыхнул легкий румянец.

— У меня нет никаких счетов с господином Горбатовым! — проговорил он. — Да если бы и были — я о себе не думаю; но я обязан постоянно и неизменно помышлять о том, чтобы вы, государыня, по излишней доброте вашего сердца и доверчивости не были обмануты недостойными людьми; от этого ведь могут иногда пострадать даже государственные интересы.

Он произнес слова эти с напыщенной важностью. Екатерина усмехнулась.

— Государственные интересы! — повторила она. — Я что-то не понимаю этого. Да и вообще излишней доброты и излишней доверчивости во мне нет; но вы начинаете гово-

рить так загадочно, что я прошу вас объяснить. Разве вы узнали что-нибудь особенное про Горбатова? Наверно, какая-нибудь сплетня!

— Вовсе не сплетня! Дело в том, что если я решился взять на себя какую-нибудь обязанность, то считаю своим первым долгом заботиться о том, чтобы исполнить ее как следует. Я президент иностранной коллегии, а потому имею точные сведения о всех дипломатических чиновниках, слежу за их деятельностью. Члены каждого из наших посольств мне более или менее известны. Я стараюсь не утруждать ваше величество всякими мелкими делами и потому, конечно, не сообщаю многого, что может быть легко улажено. Поэтому до сей поры не сообщил я вам и того, что господин Горбатов, хотя и не занимая особенно важного места в лондонском нашем посольстве, но имея большие средства, завел связи в лондонском обществе. Тут, конечно, нет еще ничего предосудительного и, напротив, для наших интересов могла быть и выгода; но он пользовался своими связями никак не в нашу пользу, а, напротив, во вред нам.

Потому-то я и был доволен его возвращением в Россию.

— Горбатов старался нам вредить? — изумленно проговорила Екатерина. — Да чем же? И, право, это на него не похоже, я его хорошо знала восемь лет тому назад — он был таким благородным молодым человеком.

— Восемь лет — много времени! В восемь лет человек может измениться! Я не знаю, под влиянием каких людей находился он по выезде из России, но как бы то ни было, это опасный мечтатель, проповедник разрушений... вольтерьянец!

— Горбатов — вольтерьянец?

— К несчастью, да! Мои сведения идут из верного источника. И согласитесь, ваше величество, что подобные люди не к месту на русской службе.

— Вы не обманываетесь? В вас говорит не раздражение?

— Во всяком случае, это раздражение заговорило только с той минуты, когда я окончательно убедился в недостойном и вредном направлении этого господина. Вот почему я и нахожу, что ничего интересного ваше величе-

ство не извлечет из разговора с ним.

— Да, если так, — раздумчиво проговорила Екатерина, — это очень, очень жаль! Горбатов — вольтерьянец! Не ожидала я... и, во всяком случае, это надо еще проверить. Может быть, у него есть враги, которые его оклеветали перед вами. Я полагала, что увлечения его юности прошли, полагала, что он, как человек способный, будет нам теперь полезен... Да нет же, право, мне трудно поверить, нужно расспросить хорошенько людей, которые ближе, чем мы с вами, знают его.

— Кого же спрашивать? Его родственников? Льва Александровича Нарышкина? Родственники выдавать его не станут, да и наконец он так долго отсутствовал, что его здесь не знают; он, вероятно, осторожен и не станет проговариваться в Петербурге даже и перед родственниками. Я доставлю вашему величеству самые убедительные доказательства истины слов моих, доставлю в скором времени, а пока прошу вас, государыня, быть с этим человеком осторожнее.

Екатерина сделала нетерпеливое движение.

— Я сама знаю, как мне нужно быть с ним, и теперь вижу, что мне необходимо скорее с ним увидеться и разглядеть его. Передайте же ему, что я его жду завтра в десять часов.

Екатерина перешла к другому разговору и, по-видимому, совершенно забыла о Горбатове. Но по уходе Зубова она несколько минут сидела в задумчивости. Ей вспоминался юноша, поразивший ее своей детской чистотой и в то же время возвышенностью мыслей, своею образованностью и серьезностью, которые она так редко встречала среди светской молодежи. И этот человек поддался вредным влияниям, этот человек, если верить Зубову (а она так привыкла ему верить), питает враждебные замыслы!.. Но кто же виноват в этом, однако?..

Она не стала останавливаться на этом вопросе, ее ждали другие дела, другие заботы — и она отдалась им.

XXIV. НЕОЖИДАННОСТЬ

К вечеру того же дня Сергей получил по-вестку, извещавшую, что государыня примет его в десять часов на следующее утро. Со-вершенно поглощенный мыслями о своем но-вом благополучии, в близком осуществлении которого для него не оставалось никакого со-мнения, он собирался на эту аудиенцию хлад-нокровно, глядел на нее только как на неиз-бежную формальность.

А между тем, уже входя в покои, которые занимала императрица в Таврическом двор-це, он почувствовал некоторое волнение. Он отошел от своей внутренней сердечной жиз-ни, и на него снова нахлынули те разнообра-зные ощущения, которые он испытывал в са-мые первые дни своего возвращения в Петер-бург, во время разговора с Нарышкиным, в приемных Зубова и во время воскресного вы-хода во дворце.

Екатерина приняла его в своей небольшой рабочей комнате безо всяких формальностей. Она была одна, и когда он вошел в комнату, то увидел ее сидевшей в кресле у письменно-

го столика; на ней был неизменный утренний капот, в руке она вертела табакерку, памятную ему табакерку, с портретом Петра Великого. Яркий свет, падавший из окна, вблизи которого помещался письменный столик, озарял лицо Екатерины. Сергей невольно вздрогнул, разглядев лицо это. Уж и на выходе она показалась ему очень постаревшей и изменившейся, теперь же перемена оказывалась гораздо еще более значительной. Это было совсем увядшее, старое лицо; даже светлые глаза, после ночи, проведенной почти без сна, в беспокойных мыслях, казались потухшими. Она сидела несколько сторбившись, с выражением не то усталости, не то сильного нездоровья.

— Здравствуйте! — проговорила она и протянула Сергею для поцелуя руку.

Он бережно взял эту руку и приложился к ней почти с тем ощущением, с каким прикладывался к руке покойника, — в этом чувстве было и благоговение, и жалость, и нечто тяжелое...

— Садитесь, — сказала Екатерина тихим голосом, указывая ему на стул, — побеседуем.

Я давно собиралась повидаться с вами, да столько дел... не могла вот все удосужиться.

Она пристально взглянула на него, и вот в ее утомленных глазах вдруг мелькнула прежняя живость и прежняя пронизательность. Она тоже поразилась переменой, происшедшей в Сергее. Она опять, как и вчера после разговора с Зубовым, вспомнила свежего, ежеминутно красневшего юношу, на руку которого когда-то опиралась, возвращаясь в тихий вечер с прогулки по замолкнувшим аллеям царскосельского сада. Теперь от этого юноши ничего не осталось; перед нею был окончательно сложившийся человек, и бледное, красивое лицо его с двумя-тремя преждевременными морщинами на высоком лбу говорило ей о невесело проведенной молодости. Но на этом красивом, тонком лице, сохранявшем родовые черты длинного ряда предков, почти всегда являвшихся среди различных событий русской истории, с признаками благородного и горделивого характера, Екатерина напрасно искала того, что думала найти в нем после разговора с Зубовым. Ее пронизательный взгляд решительно не мог в нем

подметить никакой враждебности, никакого смущения, никакой фальши. Екатерина чувствовала, как в ней воскресают прежняя симпатия и прежнее доверие к этому человеку. Она бессознательно улыбнулась ему тихой старческой улыбкой и потом, оживившись, стала его расспрашивать о том, что ее интересовало и на что он мог ей ответить как живой свидетель.

Сергей мгновенно позабыл эту поразившую его в ней перемену. Он видел перед собою умную и тонкую женщину, не ограничивавшуюся расспросами, но вставлявшую то и дело свои замечания, в которых всегда сквозило большое понимание предмета, критический ум, ясность мысли и блестящее остроумие. Скоро он сам оживился, всякое смущение и неловкость были позабыты, он говорил много, он рисовал ей смелыми красками жизнь английского двора и высшего общества, представлял характеристики интересовавших ее политических деятелей. Она слушала все с возрастающим вниманием, по-видимому, совершенно довольная своим собеседником, и оба они не замечали, как шло

время.

Но вот предмет беседы начал истощаться, оживление государыни проходило. Сергей видел в ней уже не просто умную собеседницу, а свою государыню: он сдерживался и обдумывал каждое слово.

— Благодарю вас, — сказала Екатерина, — вы сообщили мне много интересного, и я очень рада, что многие мои предположения оправдываются или по крайней мере подтверждаются вашими личными наблюдениями.

И в то же время она подумала:

«Он умен, наблюдателен... и тот же, прежний, благородный образ мыслей!.. Неужели он лукавит?.. Ведь ни разу не проговорился!..»

Она, и увлекшись разговором, следила за ним, за его тоном, за малейшими оттенками, какие он придавал словам своим, — и ровно ничего не указывало ей на то, что перед нею вольтерьянец, человек с вредным образом мыслей, человек, враждебный интересам России, как она их понимала.

— Теперь скажите вы мне о себе, — продолжала она, — каковы ваши личные планы?

Желаете вы вернуться в Англию или остаться в России?

Грустная и несколько насмешливая усмешка невольно скользнула по губам Сергея.

— Ваше величество, — сказал он, — в течение семи лет моей заветной мечтою было вернуться в Россию и уж никак не для того, чтобы ее снова покинуть...

Екатерина заметила эту усмешку и немного поморщилась. Незачем было возвращаться назад, это повело бы только к ненужным длинным объяснениям, он мог сам хорошо понять это...

— Если вы желаете остаться в России, — проговорила она, — то, я полагаю, к этому не может предвидеться никаких затруднений; дело вам и здесь найдется, мне нужны способные люди. Или, может быть, вы желаете переменить службу? Скажите мне прямо, мы это обсудим.

— Ваше величество, — отвечал Сергей, — относительно службы у меня нет никаких желаний. Я вовсе не высокого мнения о своих способностях и ни на что не рассчитываю. В

ответ на милостивые слова ваши я в настоящее время могу только просить вас дозволить мне хоть временно освободиться от каких бы то ни было служебных обязанностей. Мне необходимо подумать о своих личных делах, оглядеться...

— Что же, разве вы хотите совсем выйти в отставку? Зачем же это? Я понимаю, что у вас могут быть по возвращении в Россию после столь долгого отсутствия различные семейные дела и тому подобное. Пожалуйста, устраивайте их; вам будет дан отпуск на какое хотите время.

И вдруг она что-то вспомнила, сообразила и снова внимательно взглянула на него, а на губах ее появилась улыбка, тонкая, привлекательная улыбка прежнего времени.

— Я не спросила вас еще об одном: ведь вы единственный представитель вашего рода, вам пора подумать о том, чтобы род этот не угас, пора думать о женитьбе.

Сергей смутился, он никак не ожидал подобного вопроса. Во время разговора Екатерина несколько раз, несмотря на всю свою внимательность к нему и милостивое обраще-

ние, придавала своим словам некоторый оттенок холодности. А в этом вопросе и в тоне, каким он был сделан, уже не было холодности, напротив, сказывалось такое отношение к нему императрицы, на которое он никак не рассчитывал. Она же, со своей стороны, сделала этот вопрос совсем неожиданно для себя, она была так занята сама все это время брачным вопросом... Все это вышло невольно, просто и естественно. Во всяком случае, следовало отвечать.

— До сих пор мне не было никакой возможности жениться, — проговорил Сергей. — Теперь же, ваше величество, придется подумать об этом.

— Да, подумайте, вам пора жениться.

Но тут она окончательно позабыла разговор с Зубовым, все сомнения, родившиеся в ней относительно Сергея. Она все вспоминала прежнее, совсем было позабытое ею время. И эти воспоминания заставили ее принять с Сергеем совсем уже новый, милый тон, при котором окончательно забывалась величественная императрица и оставалась только женщина. С каждой секундой она все более и

более отдалялась от настоящего и уходила в прошлое. Вот вспомнилась ей во всех мельчайших подробностях ее прогулка под руку с Сергеем по береговой дорожке царскосельского озера, вспоминалась тогдашняя ее тоска, сердечная тревога и молодое мечтательное лицо ее спутника. Понимал ли он в тот вечер ее мысли и чувства? Ее что-то кольнуло в сердце, ей захотелось в чем-то оправдаться — не то перед ним, не то перед самой собою.

— А ведь давно-таки мы не видались! — сказала она тем задушевным голосом, который в ее устах был памятен Сергею и когда-то возбуждал в нем к ней чувство благоговейного юного обожания. — Давно не видались, я вот совсем состарилась, да и вы теперь уже далеко не юноша. Опять повторяю: пора вам жениться. И знаете, что я вспомнила? Одну из последних бесед наших восемь лет тому назад. Да, так... Это восемь лет тому назад было! Помните, я была нездорова и вышла пройтись вечером в сад, думала освежиться; думала, что никто не помешает моей прогулке... и вдруг столкнулась с вами; но вы мне нисколько не помешали, напротив, я так утомилась,

вы мне помогли тогда дойти. Право, вы были совсем ребенком, вы мечтали под соловьиные песни, и я заставила вас проговориться. Видите, я клеплю на себя — у меня все еще хорошая память! Я узнала от вас, что вы влюблены, что у вас где-то там, в деревне, невеста. Может быть, это очень нескромно с моей стороны, но я старуха — старость, как и юность, бывает любопытна. Однако я не из простого любопытства спрашиваю, а из участия к вам... Куда делась эта ваша невеста и ваша любовь к ней?

Сергей был изумлен. Он мог ожидать чего угодно, только не этого. Екатерина заметила его изумление. Однако он должен был отвечать, а правду ему отвечать не хотелось.

— Ваше величество, — наконец проговорил он, — меня глубоко трогают слова ваши, и надеяться не смел на такое с вашей стороны милостивое участие. Но мне трудно отвечать на вопрос ваш, с тех пор столько прошло жизни...

Он не знал, как кончить начатую фразу. Екатерина сама помогла ему.

— Столько прошло жизни, — перебила она

его, — столько встречалось женщин, что та юная любовь давно забыта... Конечно, я должна была сама догадаться об этом... Теперь вы встретите здесь прекрасных девушек, — они без вас выросли. Вам будет из кого выбрать, и когда выберете которую-нибудь, скажите мне: я буду вашей посаженной матерью. Как старая бабушка, я очень люблю свадьбы!

— Я не нахожу слов благодарить ваше величество, — пробормотал Сергей, все продолжая изумляться.

— До свиданья же! — сказала Екатерина, протягивая ему руку.

Выходя, он думал: «Как она изменилась! И зачем она так говорила со мною?»

Ему было тяжело. Этот тон, это милостивое внимание возвращали его к прежнему времени. А между тем он не мог забыть восемь лет безрадостной жизни вдали от родины, не мог забыть и Гатчины, где его ждали, может быть, в настоящую минуту.

В соседней комнате Сергей чуть не столкнулся с Зубовым, но тот шел быстрыми шагами, опустив голову и глядя себе под ноги. Он сделал вид, что совсем не замечает Сергея. Он

боялся, что если тот и поклонится ему, то, во всяком случае, не таким поклоном, к каким он уже давно привык. И дал Сергею возможность совсем не поклониться.

Только что Зубов вошел к императрице, она живо заговорила:

— Вот вы и оказались неправы, я долго беседовала с Горбатовым, и сама убедилась, что вы неправы. Теперь для меня не может быть сомнения, что ваши известия ложны и выдуманы его врагами. Он сообщил мне много интересного и, уверяю вас, он порядочный человек, неспособный на измену — вольнодумства в нем тоже никакого не заметила.

Лицо Зубова перекосилось. Неужели ему приходится бороться с этим Горбатовым, как с равным себе?..

— А он не сообщал вашему величеству, — проговорил Зубов, делая ударение на каждом слове, — не сообщал он о том, как весело проводит теперь время в Гатчине?

— В Гатчине?

— Да, каждый день с раннего утра туда ездит.

— Что ему делать в Гатчине?.. Что общего?

— Не знаю, но, вероятно, общего много. И уж эти-то мои сведения, я надеюсь, вы не заподозрите в неверности... Это-то ведь уже легко проверить.

— Да, конечно, легко, я спрошу великую княгиню...

Какая-то тень мелькнула по лицу Екатерины. Она поморщилась и резко спросила его:

— Есть ли у вас какие-нибудь новости по нашему делу? Видели вы вчера вечером короля?

— Видел.

— Расскажите, пожалуйста!

XXV. ТОНКИЙ ДИПЛОМАТ

Герцог Карл Зюдерманландский с очевидными признаками волнения ходил взад и вперед по своему кабинету в доме шведского посольства.

Если петербургские жители, восторженно встречавшие дорогих гостей, бывали поражены ничуть не величественным, а скорее ничтожным видом герцога, то теперь, взглянув на него, вряд ли бы кто мог удержаться от улыбки. Чувствуя устремленные на себя взгляды толпы, герцог все же придавал себе некоторую важность, под пышным нарядом старался скрыть недостатки своей фигуры. Теперь же у себя, наедине с самим собою, ему нечего было заботиться о внешности. Домашний костюм без всяких знаков отличия представлял всю угловатость этого маленького, более чем некрасивого человека. К тому же теперь на подвижном лице его, которому он в обществе умел по желанию придавать всевозможные выражения, отпечатывались волновавшие его мысли и чувства. Он то как бы в недоумении моргал глазами и приподнимал

плечи, то потирал себе лоб указательным пальцем и вертел перед собою рукою, то очень комично сжимал губы, то хитро улыбался, то пригорюнивался. Он походил на обезьяну, на хитрую обезьяну, поставленную в затруднительное положение и искавшую из него выхода.

Он действительно был поставлен в затруднительное положение и должен был все осмотрительно обдумать, чтобы выпутаться из неприятных для него обстоятельств и уяснить себе свои дальнейшие ходы. Для него наступило такое время, когда нужно было держать ухо очень остро, чтобы не очутиться на мели, чтобы не потерять всего, что было им приобретено отчасти случаем, отчасти мелкой, дешевой хитростью. Пройдет несколько недель, и своенравный мальчик потребует от него уступки всех прав, всего значения, какими он до сих пор пользовался. И он знал заранее, что этот своенравный и холодный мальчик не выразит ему благодарности за годы его регентства, что он просто-напросто спихнет его с занимаемого им места и затем, если и не будет стараться вредить ему,

то, во всяком случае, никогда не позаботится об его интересах...

— Да нет, конечно, и вредить будет! А по какому праву? — вдруг разводя руками, выпрямляясь и чуть не становясь на цыпочки, прошептал герцог. — По какому праву он столкнет меня и сядет на трон шведский? Этот трон моя законная собственность, а не его, потому что он не сын моего брата!.. И вот я должен уступить Швецию этому бесправному ребенку только потому, что брату угодно было, неизвестно по каким соображениям, признать его своим сыном. Да, я вижу хорошо теперь, что следовало выяснить истину тотчас же после кончины брата, а теперь это уж трудно, неловко, чересчур рискованно!

Он предался поздним сожалениям. Дело было в том, что мысль о разоблачении истины уже не в первый раз приходила ему в голову; напротив, она приходила именно тогда, когда, как он решил сейчас, было самое время поднять вопрос о законности происхождения Густава IV, то есть немедленно после трагической смерти короля. Он тогда в первую минуту готов уже был решиться на это; но затем

тотчас же одумался. Его остановили не уважение к королеве, не любовь к мальчику, остановила его трусость. Густав III был изменнически убит во время маскарада. Герцог Карл боялся королевского титула, ему показалось безопаснее прикрыться за малолетним королем — менее ответственности, а власти столько же. К тому же этот мальчик был мягким воском в руках его, и ему казалось, что он мог вылепить его в какую угодно форму и не бояться даже времени его совершеннолетия, оно ни в чем не должно было изменить их отношений. Но теперь он ясно видел, что сильно ошибся в этих расчетах. Мальчик вышел совсем не таким, каким он желал его видеть, — мальчик становился ему поперек дороги.

Что же предпринять? На чем же остановиться, чтобы обезопасить свое будущее, для того чтобы в один прекрасный день по капризу взбалмошного ребенка не оказаться в безвыходном положении?

В течение своего регентства герцог достиг одного — он обеспечил себя материальными средствами, успел скопить очень даже значи-

тельную сумму. Он был неразборчив, не щекотлив и, как рассказывали тогда люди, которым не доверять не было основания, принял, например, четыре миллиона от французской директории. Он во все время своего регентства только и думал о том, как бы дороже, как бы выгоднее продать свои ненадежные услуги. Этими расчетами объяснялся и его странный образ действий с Екатериной по поводу сватовства племянника. Но все его хитрости все же завершились тем, что он, помимо своей воли, по капризу племянника, очутился в Петербурге и теперь должен был окончательно решить вопрос о браке короля с великой княжной.

И он видел, что нечего ему было восставать против этого брака, вооружать против себя императрицу, напротив, хорошо, что дело так повернулось, — племянник, не подозревая этого, оказал ему важную услугу. Екатерина, по-видимому, позабыла все прежние недоразумения, она убеждена, что все зависит от него, герцога, поэтому его так и ласкают. Он может воспользоваться обстоятельствами, приготовить себе здесь отступление в

случае невзгоды. Он может заручиться благодарностью русского двора.

«Да, нужно женить их непременно, это будет самое лучшее, — решил наконец герцог. — Мальчик, кажется, влюблен, но на его страсть нельзя полагаться. Теперь я внушил ему, чтобы он не поддавался на ласки, чтобы он не делал больших уступок — и вот уже он начинает ломаться, привередничать. Это хорошо! Извлечем как можно больше выгод из этого брака, благо, что его здесь так желают. Дело поставлено так, что нас не могут выпустить, следовательно, надо воспользоваться этим. Пусть Штединг с компанией требуют как можно больше для Швеции. А... я буду требовать как можно больше для себя. Но этот брак необходим, в этом не может быть сомнения!»

И только что герцог решил это, как в дверь его кабинета тихонько постучали. Он отпер — ему доложили о приезде князя Зубова.

— Просить, просить! — оживленно, крикливым голосом приказал герцог.

Вошел Зубов во всем блеске своей красоты и расшитого мундира. Он стал извиняться в

том, что потревожил герцога, но объяснял свой визит необходимостью окончательно установить некоторые пункты в деле, которое их так занимает. Герцог рассыпался в любезностях и принял на себя добродушный вид.

— Ах, Боже мой, — говорил он, — да неужели вы до сих пор не видите, что этот брак составляет мою мечту, мое самое горячее желание. Если у меня прежде и могли быть какие-нибудь сомнения, то теперь этих сомнений не может быть с тех пор, как я здесь, с тех пор, как я имел удовольствие, имел счастье лично познакомиться с императрицей и другими членами ее августейшего семейства. Да и, наконец, помимо моих человеческих чувств я хорошо знаю, что родственный союз с Россией нужен для Швеции. Мне кажется, я уже ясно высказал все это как императрице, так и вам, князь, и повторяю еще раз только потому, что мне кажется, будто вы не вполне доверяете моей искренности.

— О, ваше высочество, я вполне доверяю ей, иначе и быть не может. Но согласитесь, несмотря на всеобщее наше желание устроить как можно скорее это дело, мы до сих пор

еще не решили его окончательно. А между тем пора — вы сами знаете, что пора. Ее величество не любит проволочек, она, как вам, конечно, и самим известно, воплощение решительности, энергии. Она так все ясно видит и, раз решив вопрос в своем уме, любит тотчас же и приступить к исполнению его на деле. Вы могли убедиться в искренности ее чувств и в ее твердом желании способствовать всеми мерами к тому, чтобы Швеция считала себя совершенно удовлетворенной. До сих пор ее величество не отказала вам ни в одном вашем требовании, она согласна принять на себя все обязательства, которые вы выставили. Таким образом, остается только один вопрос, по-видимому незначительный, но которому вы, однако, придаете первостепенное значение. Я говорю опять о том же, о чем говорил с вашим высочеством в последний раз, — о вероисповедании великой княжны, и теперь мы должны окончательно решить этот вопрос. С нашей стороны тут не может быть уступки, этому не было примера, великая княжна не может и не должна отказаться от вероисповедания, в котором родилась и в ко-

торое крещена. В течение этой недели необходимо назначить обручение; но ведь вы хорошо знаете, что обручение может быть только тогда, когда этот вопрос будет решен в окончательной форме. Итак, ваше высочество, я жду вашего прямого ответа для того, чтобы передать его моей государыне!

Глаза герцога так и забегали. Он пожевал губами, поморгал глазами и, наконец, ответил;

— Вы сейчас сказали, князь, что вопрос незначительный и что это я его выставляю на первый план. Мне кажется, вы немного ошибаетесь. Если его кто выставляет на первый план, то это не я, а вы — на мой взгляд, он не более как второстепенность. Вы хотите вписать этот вопрос огненными буквами в брачный контракт, и в этом-то заключается, как мне кажется, ошибка. Если его нельзя обойти, то не следовало бы выставлять его на первый план, тогда все обошлось бы безо всякой помехи. Никто в Стокгольме и не стал бы упрекать великую княжну за то, что она молится по обрядам своего вероисповедания; от нее имели бы только право требовать, чтобы она

не относилась с пренебрежением к нашим религиозным обрядам и обычаям. Конечно, она не стала бы этого делать и никаких недоразумений не могло бы произойти. Но вы непременно желаете, чтобы прежде всего на вероисповедание невесты — будущей королевы Швеции — было исключительно обращено внимание как вашего, так и нашего народа. Таким образом мы сталкиваемся с народными воззрениями...

— Иначе и быть не может, — перебил его Зубов, — если бы вы больше знали Россию, как из ваших же слов оказывается, и шведский народ вовсе не индифферентен в этом отношении. Одним словом, ваше высочество, рассуждать и спорить нам тут нечего, нужно решить — да или нет!

Герцог развел руками.

— Все, что в нашей власти, будет исполнено.

— А в вашей власти — все! — сказал Зубов. — Это дело зависит от короля, а вы, его уважаемый дядя и регент, имеете на него такое влияние!..

— О! Вы в этом очень и очень ошибаете-

тесъ, — крикнул регент, — прежде, может быть, я и имел на него влияние, когда он был ребенком, теперь же он совсем от рук отбился. И мне даже очень грустно, если императрица находится в таком заблуждении относительно моих отношений к племяннику. Если бы я имел больше на него влияния, то нам теперь не о чем было бы рассуждать, все было бы исполнено по желанию ее величества. А в этом-то и дело, что тут не я, а он, и от меня не все зависит, как вы говорите.

— Так постарайтесь, ваше высочество, и главное, не теряйте времени, потому что в нашем распоряжении дня два, три — не больше. Неужели это дело, которое теперь так далеко уже подвинуто и в необходимости которого мы все так уверены, не состоится?

— О, это было бы ужасно! — с пафосом воскликнул герцог.

— Да, это было бы ужасно! — повторил Зубов. — Поэтому вы должны решительно повлиять на вашего племянника, если до сих пор не сделали этого. Вот вы говорили мне, ваше высочество, о том впечатлении, которое произвела на вас императрица и ее семей-

ство, я со своей стороны могу вам засвидетельствовать, что впечатление это взаимно, что вы можете рассчитывать на искреннюю дружбу государыни, и она никогда не откажется доказать вам ее самым очевидным образом. Вам известно, что я пользуюсь доверием государыни, она часто откровенно беседует со мной, и то, что я теперь говорю вам не фразы, а вещь очень серьезная. Но позвольте мне, ваше высочество, на мгновение отойти от интересующего нас вопроса, позвольте мне не в качестве лица официального, а в качестве частного человека, искренне вам преданного, высказать некоторые мои соображения?

— Ах, князь, я так рад буду выслушать все, что вы мне скажете!.. Поверьте, я так ценю и уважаю вас! — любезно говорил герцог Карл, пожимая Зубову руки.

Зубов едва сдерживал презрительную усмешку, почти даже брезгливо отвечал на рукопожатие герцога и заговорил довольно неумело, делая ударения на некоторых словах, но, очевидно, проникнутый сознанием своей тонкости, своих дипломатических спо-

собностей.

— Я возьму на себя смелость указать вашему высочеству, что настоящий ваш приезд в Петербург может и для вас лично доставить немало выгод в виде тех отношений, установившихся между вами и государыней и которые, надеюсь, не будут нарушены. Мы живем в тревожное время, и вы знаете это лучше, чем мы, потому что только Россия гарантирована от смут, происходящих почти во всей Европе. Швеция уже отчасти попала в водоворот, вы испытали следствия этого. Чувствуете ли вы, уверены ли вы, что и впредь не может повториться то, что было? Да и, наконец, я уже не стану говорить о политической безопасности, о политических неприятностях, которым вы можете подвергнуться. Уверены ли вы, что у вас не может быть неприятностей другого рода, каких-нибудь столкновений с вашим племянником?

Герцог широко раскрыл глаза, но тотчас же почти совсем закрыл их и приготовился жадно ловить каждое слово Зубова. Между тем Зубов остановился на несколько мгновений — он припоминал урок, данный ему Ека-

териной, припоминал все, что он должен был сказать герцогу, чтобы окончательно заморозить его.

— Вот вы изволили упомянуть о том, что молодой король начал выходить из-под вашего благотворного влияния... — вспомнив, начал он.

— Да, это правда, — прошептал герцог.

— Следовательно, необходимо нам быть вполне обеспеченными от разного рода случайностей, от разных недоразумений. Брак великой княжны с королем представляет в этом отношении уже значительные гарантии, ибо ее влияние на супруга всегда будет в вашу пользу. Она, подобно своей августейшей бабке и своим родителям, окажется вам самой преданной родственницей. Наконец, я позволю себе говорить совсем откровенно, в случае каких-нибудь временных недоразумений вы всегда найдете здесь, в России, в Петербурге, в лице государыни и ее семейства, самых преданных друзей. Затем вы можете сблизиться с Россией еще больше!

Зубов остановился и наблюдал за впечатлением, которое произвели его последние

слова. Герцог слушал его очень внимательно, наклонившись вперед и то и дело моргая глазами, а при последнем слове даже привскочил на своем кресле.

— Каким образом? — невольно проговорил он.

— Мне кажется, конечно, это только мое мнение, — протянул Зубов, — мне кажется, что титул вашего высочества несколько не будет унижен, если к нему будет прибавлен титул великого герцога Курляндского?

Герцог Карл вторично привскочил на своем кресле. Об этом он еще не думал, этого он не ожидал, Зубов открывал ему новые горизонты. Конечно, он говорил неспроста. Так вот та награда, которая его ожидает. Благоприятные обстоятельства сами идут ему навстречу. Ведь вот только что перед приездом Зубова он сам все решил, а теперь оказывается, что он прав, более чем прав. Да разве он когда-нибудь ошибается? Он так хитер, дальновиден, так умен! Да, нужно устроить этот брак непременно. Да, он уедет из России вполне успокоенный насчет будущего.

— Ну, мой дорогой князь, — проговорил,

он, принимая равнодушный тон, — то, что вы сейчас сказали — это фантазия, я об этом никогда не думал. Перейдемте же к нашему делу. Передайте ее величеству, что я не имею минуты покойной, пока все благополучно не кончится. Я сегодня же переговорю с племянником и все меры употреблю, чтобы заставить его на все согласиться. Сегодня вечером или, самое позднее, завтра утром я напишу вам. Да, в течение этой недели необходимо обручить их. Будьте спокойны, я уверен, что никаких новых осложнений и недоразумений уже не будет.

Он говорил теперь таким уверенным, решительным тоном. И даже не подозревал этот хитрый, дальновидный человек, что с головою выдает себя Зубову.

В начале разговора оказывалось, что он ничего не может, что все зависит от короля, а король вышел из-под его влияния, теперь же он уверял, что никаких недоразумений больше не будет.

Если бы Зубов был поумнее и повнимательнее, он бы потом мог вспомнить эту внезапную перемену, все подробности этого раз-

говора; но он ни о чем не задумывался, он спешил только теперь известить государыню, что дело улажено, что магические слова возымели свое действие. Он простился с герцогом и помчался в Таврический дворец, где с нетерпением ждала его Екатерина.

XXVI. ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК

Зубов так спешил, что даже не заметил, отъезжая, как с ним повстречалась карета, из которой на него выглянуло хорошо знакомое ему лицо и тотчас же скрылось, очевидно, не желая быть им замеченным. Карета остановилась у подъезда шведского посольства, и через минуту герцогу Карлу докладывали об английском посланнике Чарльзе Витворте. Герцог поморщился.

«Чего ему от меня нужно? Почти каждый день стал являться... и главное, мне-то он уж совсем теперь не нужен... Все решено, и отступить от решенного было бы глупо».

А между тем не принять лорда было неловко. Витворт пользовался в Петербурге большим почетом. Он был принят при дворе самым лучшим образом, успел обворожить всю

петербургскую знать, находился с Зубовым в дружеских отношениях, угождал ему, когда было нужно. У него была давно установившаяся репутация очень ловкого дипломата, и до сих пор он всегда отлично устраивал свои дела.

По приезде молодого шведского короля и регента в Петербург он, еще прежде знавший герцога Карла, тотчас же явился, успел оказать шведам несколько приятных услуг, да и сам герцог Карл счел необходимым обласкать его, так как с Англией все же необходимо было поддерживать добрые отношения, в особенности в случае неприятного оборота дела с Россией. Теперь герцог Карл полагал, что обстоятельства изменились, но, несмотря на свое нерасположение, он все же счел необходимым немедленно принять посланника. Он встретил англичанина совсем не в таком настроении духа, в каком встречал перед тем Зубова. Теперь маленький герцог был оживлен, сиял удовольствием, глазки его то и дело самодовольно и лукаво щурились.

— Очень рад, любезный лорд, видеть вас. Что нового?.. Не сообщите ли мне какое-ни-

будь интересное известие? Садитесь, пожалуйста... вот сюда, тут вам будет удобнее.

Он указал ему на покойное кресло.

Лорд Витворт был человек еще далеко не старый, прекрасно сохранившийся, имевший всегда такой вид, как будто бы он только что вышел из холодной ванны. От него дышало свежестью, здоровьем. Сухое, малоподвижное лицо его было всегда розового цвета, светлые глаза ясно и холодно блестели, губы были сложены в неопределенную улыбку. Движения его были плавны, медленны, и только иногда казалось, что он чувствует как будто некоторое затруднение сгибать руки и ноги и поворачивать туловище. Впрочем, в нем не было никакой угловатости и резкости, вообще он производил приятное впечатление и нравился многим женщинам. Лорд опустился в указанное ему кресло, подогнул одну ногу, принял свою обычную позу, которой никогда не изменял, и, откинув голову в сторону и с улыбкой глядя на герцога, проговорил несколько густым, хотя звучным голосом:

— О, ваше высочество, какие же у меня новости! Я к вам явился за новостями, так как

теперь все здешние новости сосредоточены в руках ваших. Не сообщите ли мне что-нибудь? Как идут дела, улаживаются ли недоразумения, о которых вы изволили говорить мне в последний раз?

Герцог решил, что скрывать ему особенно нечего, да и потом захотел посмотреть, какое впечатление произведут слова его на англичанина.

— Конечно, каждый день приближает нас к окончательной развязке, — сказал он.

— Благополучной? — процедил Витворт.

— Надеюсь. Ведь если мы сюда приехали, то, разумеется, не с целью уехать, не решив в утвердительном смысле того, за чем приехали. Эта поездка была сопряжена с большими затруднениями — мы их преодолели. Затруднения встретились и здесь — и их преодолеть необходимо... необходимо решиться на некоторые уступки... Какое же дело может устроиться без взаимных уступок!

— Но, судя по словам вашим, — заметил Витворт, — я полагал, что вопрос о вероисповедании будущей королевы шведской не такая уступка, на которую легко решиться. Это,

действительно, вопрос первой важности: такое или иное решение его может повести к значительным последствиям. Я полагал, что, во всяком случае, придется уступить императрице, а между тем не далее как вчера еще князь Зубов говорил мне, что в этом смысле с русской стороны уступок быть не может. Так неужели вы решились, ваше высочество?.. Это крайне важно и интересно.

— Приходится решиться, — сказал герцог, пожимая плечами.

— И Зубов уже получил ваш окончательный ответ? — на мгновение оживившись, но тотчас же снова и застывая, спросил англичанин.

— То есть... ведь это же не от меня одного зависит. Решить должен король... я обещал Зубову... я постараюсь... Тянуть с этим дольше нельзя, так как дня через три, четыре должно совершиться обручение.

И говоря это, герцог думал:

«А, любезный друг, тебя все это сильно затрагивает за живое! И понимаю я, как тебе должно быть это неприятно. Но все твоё красноречие пропадет даром — ведь из-за того,

что Швеция породнится с Россией, не может же Англия объявить нам войну!»

Витворт несколько мгновений сидел в задумчивости. Но вот глаза его засветились, на губах показалась и исчезла улыбка. Он успел в несколько свиданий и разговоров хорошо разглядеть герцога Карла, он видел, что с этим человеком нечего особенно церемониться. Он понял, что регент с удовольствием продаст и Швецию, и своего племянника тому, кто больше за это предложит. Он решился не церемониться и говорить прямо.

«С этим человеком незачем даже хитрить, с ним не нужно быть умным!» — презрительно подумал он, в то время как лицо его выражало добродушную любезность.

— Я от души желаю, — сказал он, — чтобы все ваши начинания увенчались полным успехом, чтобы важные уступки, на которые вы теперь решились, оказались действительно полезными, но, откровенно говоря, я не могу избавиться от чувства некоторого недоверия к тому, что эта уступка так неизбежна.

— Помилуйте, — отвечал герцог, — я сделал все, что мог, но теперь наконец вижу, что

уступить необходимо, потому что в противном случае брак не может состояться. А если мы уедем, не устроив этого дела, то нам грозит разрыв с Россией.

— Вряд ли! Императрица очень осмотрительна, и теперь ей крайне невыгодно начинать военные действия с кем бы то ни было из западных соседей — ее взоры устремлены на восток. Она упорно мечтает об Азии. Я понимаю, что лично вам, ваше высочество, не следует ссориться с здешним двором, но ведь вы не отвечаете за короля — он накануне совершеннолетия. Вы сами сейчас сказали, что можете только просить его, а дело от него зависит, — представьте себе такой случай, что, несмотря на все ваши увещания, король не согласится на уступку, и дело расстроится.

— Нет, я не могу допустить этого, — даже с некоторым испугом проговорил герцог. — Если бы так случилось, меня во всем бы обвинили и все обрушилось бы на меня. Мое положение вообще очень затруднительно, мое будущее не обеспечено, и прямо говорю вам, я должен заручиться дружбой императрицы, к которой со своей стороны питаю большое

уважение.

— Благодарю вас, что вы так откровенно говорите со мною, — сказал англичанин, — благодарю вас за доверие — оно и мне дает возможность прямо высказать мои мысли.

Витворт, истый дипломат, следовал по пути Зубова. Человек дальнзоркий и человек легкомысленный — оба увидели, что к герцогу Карлу нет другого пути...

— Я понимаю, — говорил Витворт, — что положение вашего высочества заставляет вас думать о будущем, но какие же гарантии может вам представить Россия?

Какие гарантии! Он отлично знал — какие, потому что не далее, как вчера вечером, в дружеской беседе, Зубов проговорился ему, что намерен пленить регента обещанием великого герцогства Курляндского. Он отлично понял, что об этом именно был перед этим разговор между регентом и Зубовым, а сияющее лицо Зубова, спешившего из шведского посольства в Таврический дворец, сказало ему, что обещание произвело надлежащее действие.

— Какие гарантии? — повторил он. — О,

ваше высочество, я знаю здешних людей лучше, чем вы, я к ним присмотрелся. Здесь имеют обычай обещать что угодно, но очень скоро забывают свои обещания, поверьте — надежно только то, что в руках. Разберемте дело: я надеюсь, что вам никогда не придется лично для себя прибегнуть к помощи России, но если бы такое несчастье случилось, что вы здесь найдете? Я говорю прямо — вы очутитесь в фальшивом положении и слишком поздно убедитесь, что значат здешние обещания. Да и, наконец, хоть императрица и крепка еще, но все-таки годы ее немалые, мало ли что может случиться; вдруг ее не станет — что тогда?.. Уж тогда ничего не останется от ее обещаний.

Слова англичанина начинали действовать на герцога Карла. Он почувствовал некоторое беспокойство.

«А ведь он прав! Только то верно, что в руках, и гарантировать себя будет очень трудно!»

Мысль о возможности скорой кончины императрицы до сих пор не приходила герцогу в голову; теперь Витворт навел его на эту

мысль, и перед ним предстал образ Павла. Павел предупредителен с ним и любезен; он, по видимому, ничего не имеет против этого брака. Великая княгиня, не менее императрицы, желает этого брака, но ведь Павел — как говорят все здесь — изменчив, очень трудно предугадать заранее, как поступит он в том или в другом случае... Только ведь другого пути все же нет... Если не уверенность, то здесь по крайней мере все же остается надежда... а больше надежды, больше уверенности ведь не даст никто... не даст и этот Витворт.

Между тем англичанин понял его мысль и отвечал:

— Поверьте, ваше высочество, что не один русский двор искренне расположен к вам лично, не один русский двор желает представить вам доказательство этого. Я могу вам сказать одно: рассчитывайте на Англию. Если, несмотря на ваше желание и на ваши усилия, король вдруг оказался бы неуступчивым и дело о браке расстроилось бы, вы можете рассчитывать, что Англия не останется безучастной. Ввиду возможного недоразумения между Россией и Швецией, ввиду личного за-

труднения вашего высочества вы можете тотчас же получить от нас поддержку.

— Поддержку! Какую же? — наивно спросил герцог.

— Англия может поддерживать своих друзей только деньгами. Видите, я говорю прямо, если, паче чаяния, брачный контракт не будет заключен и обручение короля с великой княжной не состоится, в тот же час ваше высочество можете получить через меня значительную сумму, которая находится в моем распоряжении. Размер ее вы сами определите — слава Богу, наши фонды в исправности, и за лишний миллион мы не постоим, чтобы доказать вам наше истинное расположение и участие, чтоб облегчить вам затруднения, которые могли бы возникнуть у вас с Россией.

Герцог Карл сидел совсем растерянный, в нем заговорила вся его природная жадность. Он не ожидал этого предложения: оно было чересчур соблазнительно. То, что за час до этого, во время разговора с Зубовым, казалось ему величайшим для него благополучием, то теперь уже являлось в несколько ином свете. Там обещания, положим, и заманчивые, но

только обещания, а здесь — прямо деньги в руки, и большие! Деньги ему очень нужны. Он собрал их достаточно, но ведь вот представляется возможность, может быть, почти удвоить свой капитал. Ведь это успокоение от всех забот и тревог! Пусть совершится самое худшее, пусть он совсем разойдется с племянником и должен будет покинуть Швецию — деньги в кармане. Европа велика, где угодно найдется прекрасный уголок... можно будет прожить в свое удовольствие. Но все же картина мирной жизни его не удовлетворяла, у него была другая еще страсть — честолюбие. Он уже привык к власти, к значению. Англия ничего этого не может дать ему.

— Ваше доброе, дружеское предложение меня сердечно трогает, — проговорил он. — Я всегда питал и питаю глубокие симпатии к вашему королю и правительству. Но разрыв с Россией!.. Мысль о том, что мои личные отношения к императрице и ее семейству будут навсегда испорчены, тяжела мне.

«Рассчитал и взвесил, — подумал Витворт, — и обещания Зубова все же перетягивают!»

— Я решительно не могу понять, — сказал он, — чего вы опасаетесь, ваше высочество. Я понимаю, что ваши личные отношения к здешнему двору могли бы испортиться, если бы вы высказались против брака, если бы вы убеждали вашего племянника быть неуступчивым — но ведь тут совсем наоборот, вы желаете этого брака, вы его уговариваете, вы делаете все, что от вас зависит, и если ваши советы, убеждения, настояния не действуют на молодого короля, кто же может вас обвинять в этом?

— А между тем обвинят, обвинят непременно!

— Да, обвинят, если заподозрят неискренность с вашей стороны, но ведь от вас зависит, чтобы этого не заподозрили. Молодой король произвел в Петербурге сразу сильное впечатление. С первого же дня я всюду слышал неисчерпаемые похвалы ему. Начиная с императрицы, он представлялся всем без исключения чудом совершенства человеческого — теперь в эти последние дни его восхваляют все так же, но между тем среди этого восхваления я подмечаю новые ноты. Его совер-

шенства оказываются относительными, у него уже находят недостатки: он своенравен, упрям... «Своенравен и упрям», — это слова императрицы. Вчера Зубов прямо сказал мне, что он боится его своенравия и упрямства. Видите, они сами находят это, так чем же вы будете виноваты, если опасения их оправдаются?

Герцог Карл не мог усидеть на своем кресле. Он вскочил и несколько раз нервно прошелся по комнате. Витворт открыл ему новые горизонты. Ведь он умен, этот англичанин, и он опять прав, он понимает дело, нужно только осмотрительно действовать — и можно одновременно получить и английские деньги, и сохранить русское расположение. Да, обо всем этом надо хорошенько подумать. Герцог ощутил в себе вдруг большой прилив энергии; он не думал, что так сложатся обстоятельства. Он находился все время в удрученном состоянии духа, и вот в один час какой-нибудь все изменилось. Да, Витворт открывает новые горизонты!

— Тяжелые дни, — жалобно заговорил он, — просто страшно и подумать о том, как

придется вывернуться из всех этих затруднений. И вся ответственность на меня падает, а я, говорю откровенно, более чем когда-либо не уверен в племяннике. Уж если здесь эти слепые люди подметили в нем упрямство и своенравие, то что же мне-то сказать? Я знаю его со дня его рождения, я следил за ним. Вы думаете, мало усилий употребил я для того, чтобы воспитать его как следует, но есть натуры, с которыми никакое воспитание ничего не сделает. По дружбе скажу вам откровенно: мой племянник приводит меня в отчаяние, я ни в чем не могу на него положиться... И вот я говорил вам, что надеюсь на устройство нашего дела, а ведь, в сущности, я сам себя обманываю — я ни на что не надеюсь. Я буду хлопотать, но состоится ли обручение или нет — Бог знает, дня через три-четыре вы увидите это.

— Если не состоится, то я прошу только ваше высочество не забывать того, что я сказал вам. Мы горячо примем к сердцу эту вашу неприятность.

— Еще раз благодарю вас! — проговорил герцог, протягивая руку Витворту.

Тот встал, такой же свежий, розовый, с блестящими глазами, с неопределенной улыбкой, и, откланявшись герцогу, вышел из его кабинета своей мерной тихой походкой.

Оставшись наедине с самим собою, Карл Зюдерманландский опять превратился в обезьяну, как-то нелепо подпрыгнул, заметался неровными шагами по комнате, потирая себе руки. Глаза его моргали, рот кривился. Нет, это непременно нужно будет устроить, это неожиданный и лучший выход. И отчего же не устроить? «О, я проведу их всех, начиная с этой православной, мудрой императрицы! Меня никто не называет ни мудрым, ни великим, но дело не в названии... О, я оберну их всех вокруг пальца!»

И он опять с удовольствием потер себе руки. Он был очень доволен собою.

XXVII. РЕГЕНТ ДЕЙСТВУЕТ

Императрица успокоилась; ей казалось, что все затруднения наконец улажены. Из разговора великой княгини с Густавом она должна была убедиться, что молодой король, влюбленный и, естественно, желающий скорейшего соединения с предметом любви своей, не может выставить никаких препятствий, если не будет к тому вынужден настояниями своего дяди. Значит, нужно было поладить с регентом — и вот это исполнено.

Торжествующий и самодовольный Зубов объявил, что регент сдался, что он одержал над ним полную победу благодаря своему дипломатическому искусству.

Подтверждение этому не замедлило.

Шведский посланник Штединг просил особой аудиенции у императрицы и сделал формальное предложение, заявив при этом, что от великой княжны не потребуется отречение от ее вероисповедания. Императрица, едва скрывая свою радость, удовольствовалась этой фразой. Обручение было назначено на 11 сентября. Это было в понедельник, 8 сентября.

Во дворце был небольшой танцевальный вечер, на котором присутствовали все члены императорской семьи, за исключением цесаревича, уже несколько дней не приезжавшего из Гатчины. Вечер казался необыкновенно оживленным, на всех лицах выражалось удовольствие, чувствовалось, что тучи, начавшие было как будто собираться в последние дни, совсем рассеялись.

Молодой король почти не отходил от своей невесты, танцевал с нею беспрестанно, шутил и смеялся. Она сияла счастьем и детской ясной красотой. Императрица, чувствовавшая себя все время очень нехорошо, внезапно оживилась, казалась такой бодрой, несколько раз в течение вечера призывала «малютку», целовала ее, говорила ей, что не будет теперь уже видеть ее грустного личика. «Малютка» улыбалась, благодарила бабушку, ласкалась к ней и опять спешила к поджидавшему ее жениху. Не меньше дочери чувствовала себя счастливой и великая княгиня, все эти дни находившаяся в Петербурге и переживавшая большое волнение. Узнав о том, что обручение назначено через три дня, она поспешно

было собралась в Гатчину к цесаревичу, чтобы успокоить его и обрадовать этой новостью. Но императрица задержала ее, сказав, что она должна переночевать здесь, с тем чтобы на следующий день утром присутствовать на завтраке, к которому будет приглашен и молодой король для свидания с невестой в семейной обстановке.

Мария Федоровна подчинилась этому требованию, и, так как танцы кончились на этот раз рано и король уже уехал, простилась с императрицей и отправилась устраивать себе ночлег. Она уже привыкла к этой бивуачной жизни, — ей приходилось ночевать то здесь, то там. На этот раз она попросила великого князя Александра Павловича уступить ей свою комнату. Она чувствовала себя утомленной; но прежде чем уснуть, ей предстояло еще исполнить одно дело. Она не могла оставить цесаревича без известия. Она присела к письменному столу и принялась писать, с тем чтобы тотчас же отправить письмо свое, — таким образом оно застанет цесаревича при раннем его пробуждении. Вот что она писала:

«Добрый и дорогой друг мой, благословим Господа: обмен обещаний назначен в понедельник вечером в бриллиантовой комнате. Он будет происходить в присутствии нашем, при детях, при посланнике, будут еще Эссен, Рейтергольм, Остерман, Зубов, Салтыков и генеральша Ливен. Свидетелем обещаний будет митрополит. Все это решилось достаточное время спустя после ужина. Обручальные кольца будут золотые с их вензелями. После обручения назначен бал в тронной зале. Ее величество поручила мне все это вам передать, любезный друг, и прибавила, что затем обрученные могут прийти к нам ужинать. Она мне сказала: „Будет ли вам достаточно времени, чтобы приехать?“ Я отвечала, что, конечно, будет, так как нам надобно всего пять часов на переезд из Гатчины...»

Великая княгиня положила перо, откинулась на спинку кресла и закрыла свои утомленные глаза.

«Ничто так не раздражает его, как эти постоянные переезды, — думала она, — но теперь он не станет раздражаться; он больше всего боялся, что, несмотря на все эти хлопоты

ты и мучения, дело не уладится... он боялся унижений... Пусть же успокоится — с нашей стороны не было и быть не может никакого унижения, никаких излишних уступок... мы настояли на своем... О, он будет рад, будет счастлив так же, как и я...»

Она снова взялась за перо и продолжала письмо свое:

«Итак, благодаря Бога, первая половина дела сделана. Король нимало не затрудняется присутствием митрополита. Покончив с этим, императрица немного спустя подошла ко мне и приказала ночевать здесь, а завтра пригласить короля на завтрак, чтобы он мог увидаться с малюткой. Тотчас после завтрака я сяду в карету и отправлюсь прямо в Гатчину. Они явятся ко мне между 10 и 11 часами и останутся до часу. Я прикажу взять в карету холодной говядины, чтобы не останавливаться в дороге для обеда и поскорее свидеться с вами, мой дорогой друг. В час я, без сомнения, буду в карете, в пять — надеюсь быть уже в Гатчине. Король и регент в среду приедут к вам в Гатчину. Штединг все ждал вас, чтобы иметь честь вам это сообщить. Они выедут в

восемь часов утра и, вероятно, приедут около часа пополудни. Надеюсь, мой милый друг, все это доставит вам удовольствие; я очень рада, сообщая вам эти добрые вести...»

Ее глаза слипались, она едва водила пером. Эти постоянные тревоги, хлопоты, все, что она испытывала в последние дни, — все это довело ее до большого утомления. Вся жизнь вышла такая тревожная — не то, так другое. Всегда что-нибудь улаживать, стараться: примирить непримиримое, всегда куда-нибудь торопиться... Прекрасное здоровье, кроткий характер, доброе сердце спасали ее. Но все же время делало свое дело — видно, силы уже не те, что прежде! Давно не испытывала она такого утомления, такого желания отдохнуть, забыться, понежиться немного... Но какой уж теперь отдых! Четыре-пять часов сна, а потом опять за дело, — нужно быть бодрой, осмотрительной, наблюдательной, нужно взвешивать каждое свое слово, каждый шаг свой!..

«Конечно, мой дорогой друг, — писала дальше великая княгиня, — вы не будете против того, чтоб я здесь ночевала, так как это

приказание есть следствие счастливого устройства дела, о котором я говорила выше, за что нельзя достаточно возблагодарить Бога. Признаюсь вам по совести, что я очень устала сегодня вечером, чуть не заснула на балу. Знаете ли, любезный друг, что у меня здесь нет ничего. Александр уступил мне свою постель, генеральша (Ливен) дала ночной чепчик, и где-то нашлась для меня ночная кофта. Я приказала моим камер-юнкерам, которые все в Павловске, не приезжать сюда, а отправиться в Гатчину. Довольствуюсь Прасковьей, а за Бренной пошлю завтра утром»...

Нет, она решительно не в силах больше писать, хотя и хотелось бы еще поговорить с ним... Он там один... Всегда один! Он говорит, что так любит ее письма!.. Ей представилось мрачное и скорбное лицо мужа, этого человека, плохо понимаемого и ценимого, в котором почти все видели только недостатки и не хотели видеть добрых качеств. Но ведь она-то знала его, она умела глядеть на него совсем иначе. В ее сердце дрогнуло нежное и грустное чувство, слезы навернулись ей на глаза.

«Доброй ночи, любезный друг, — дописывала она, — спите хорошо; желала бы, чтоб уже настало завтрашнее утро для того, чтобы иметь известия о вас. Обнимаю вас от всего сердца и прошу вас хотя немного думать о вашей Маше».

В то время как великая княгиня писала это письмо, в доме шведского посольства тоже еще не спали. Молодой король и дядя-регент вели между собою беседу. Густав, еще в бальном костюме, которого он не успел снять по приезде из дворца, ходил большими шагами по комнате. Маленький герцог съежился в кресле и не спускал глаз с племянника.

— Итак, мой друг, вас наконец можно поздравить окончательно? — говорил он. — Вы счастливы, все ваши желания исполнены. У вас будет прелестная жена, в которую вы, кажется, влюблены без памяти, до самозабвения, до ослепления...

— Влюблен! — перебил юноша, вдруг высоко поднимая голову и принимая тот неестественный, напыщенный вид, который, по его мнению, делал его как две капли воды похо-

жим на Карла XII. — Влюблен! — повторил он. — Я не знаю, что значит это слово. Оно довольно глупо, и я полагаю, что на влюбленность я не способен. Великая княжна прелестна — думаю, вы согласны с этим? Конечно, более милой невесты мне не найти во всей Европе; но ее красота свести с ума меня не может. И вы меня оскорбляете, дядя, говоря, что я ослеплен.

Герцог лукаво усмехнулся.

— Оскорбляю! — зачем так играть словами, дорогой мой? Вы не хотите сознаться, вам неприятно слышать правду, а это нехорошо. Конечно, ослеплены, как и всякий молодой человек в ваших обстоятельствах, и я сейчас докажу это. Насколько мне помнится, вы уверяли меня, что не дадите себя одурачить, что не сделаете никаких уступок в ущерб вашему достоинству и достоинству вашего государства. А между тем, мой друг, эти уступки уже сделаны.

— Что за пустяки, какие уступки, что такое? — перебивая его, крикнул Густав.

— Вопрос о вероисповедании вашей невесты решен так, как желала императрица, а не

так, как вы желали и должны были желать. И вот как я предполагал, так и случилось, — мы пойманы, нас испугали тем, что если мы не уступим, то можем вернуться в Швецию без великой княжны. Но мы об этом и подумать не можем! Берите все, на все согласны, подавайте только нашу дорогую невесту! А что скажет вся Швеция — о том мы забываем, мы забываем нашу отечественную историю, которую, кажется, хорошо изучали; наши обычаи, освященные веками, укоренившиеся в народном понятии! Как взглянет народ на то, что на шведском престоле будет королева, исповедующая чуждую религию? До этого нет нам никакого дела. Пусть говорят все, что внучка российской императрицы снизошла до нас; но что она все же презирает страну, на трон которой восходит, не хочет быть шведкой, остается русской...

Яркая краска вспыхнула на щеках Густава. Он зашагал еще скорее.

— Какой вздор! Какой вздор! — почти кричал он. — Зачем вы это говорите? Ведь вы сами хорошо знаете, что это не так. Я желал бы посмотреть, как это нас презирают и снисхо-

дят до нас! Мы, кажется, видели противное, и вы сами очень хорошо знаете, что скорее мы снисходим, нас желают.

— Я ничего этого не знаю, — невозмутимым и твердым голосом сказал герцог. — Я знаю только, что мы уже нарушили все обычаи, приехавши сюда. Здесь для достижения нашей цели мы соглашаемся на все — и народ будет иметь полное право рассуждать так, как я говорил сейчас.

— Совсем нет. Народ не будет даже и знать, к какому вероисповеданию принадлежит она. Мы обойдем этот вопрос, вот и все. Она никогда не захочет, а если и захотела бы, то не посмеет выказать презрения к нашей религии. О, за это я вам отвечаю! И наконец, вы говорите о моем ослеплении, вы полагаете, что я способен унижаться, что я ни о чем не думаю, кроме как о красоте ее, — и вы жестоко ошибаетесь. Не далее еще как сегодня, во время бала, я имел с нею разговор относительно религии. Когда она будет моею женою, уверяю вас, что она переменит вероисповедание. Моя воля будет для нее законом.

— Вы фантазируете, мой друг, ее отпустят

именно с тем уговором, чтобы не принуждать к перемене религии, и если вы думаете это потом сделать, то возникнут большие неприятности, которых допустить невозможно.

— Это вы так думаете, дядя, а я думаю совсем иначе. Никаких неприятностей не будет, все обойдется тихо. Я сказал ей, что она во время коронации должна будет приобщиться вместе со мною.

— А, вы сказали ей это? Что же она вам ответила?

— Она ответила, что с удовольствием исполнит мое желание.

— В самом деле? Так и ответила?.. И ничего не прибавила при этом? — приподнимаясь со своего кресла и зорко глядя в глаза племянника, спросил герцог.

Густав несколько смутился.

— Ну, положим, она прибавила: «если бабушка на это согласится»...

Герцог, начинавший несколько смущаться, внезапно успокоился.

— Вот видите, а «бабушка» никогда на это не согласится...

— Да, но поймите же, ведь это теперь гово-

рится так потому, что она еще ребенок, потому что у нее не было до сих пор иного авторитета, кроме «бабушки».

— Я очень верю, что вы окажетесь скоро высшим для нее авторитетом, но дело не в том. Очень может быть, что она будет страстно хотеть исполнить ваше желание, но она будет связана обязательствами, и если вы станете заставлять ее нарушать эти обязательства и станете сами нарушать их, то вас обвинят в неблагородном образе действий, в обмане, и вы не будете иметь никакой возможности оправдаться.

Но Густав не смущался.

— Какие обязательства? Что вы мне все говорите об обязательствах! — повторял он. — Тут только слова... Слова — и ничего больше. Мы обойдем этот вопрос. И что мы обещаем? Обещаем, что не будет никакого насилия и никто не станет принуждать великую княжну — и так оно и будет. Принуждать ее я и не подумаю, конечно.

— А если в брачный контракт будет прямо включено это условие?

Густав остановился и сверкнул глазами.

— Они никогда этого не сделают, они должны хорошо понимать, что это невозможно.

— Им тут понимать нечего, с их стороны высказывается требование — мы на него соглашаемся. Пункт такого рода очень льстит самолюбию России и очень унижает Швецию! Конечно, они включают этот пункт в контракт — я почти не сомневаюсь в этом.

— Я бы им этого не посоветовал!

— А что же вы сделаете! Или унижение Швеции и ваше собственное унижение — или вам придется отказаться от невесты! Вот как поставлено теперь дело.

— Я и откажусь.

— Друг мой, как вы обманываетесь — это вам теперь, в разговоре со мною, кажется легким, а дойдет до дела — и вы пожертвуете всем, чтобы только не расстаться с великой княжной.

Юноша опять весь вспыхнул; но вдруг выпрямился во весь рост, закинул голову и проговорил обиженно:

— Я вижу, что вы меня мало знаете, дядя, а, кажется, могли бы знать; но теперь говорить

об этом нечего. Я очень устал, и мне спать хочется... Прощайте!

Он пожал руку герцогу и вышел из комнаты. Регент долго смотрел ему вслед с радостной улыбкой.

«Не знаю я тебя, еще бы; где же мне тебя знать! Это так трудно, а я так прост!.. Но по крайней мере я знаю теперь, что мне надо делать. Да, теперь все ясно, и ошибки, кажется, быть не может!..»

XXVIII. ГРЕЗЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Великая княжна проснулась рано, все еще полная ночных грез, волшебного тумана, среди которого она заснула после вечера, проведенного с женихом. Она подумала, что уже пора вставать, так как знала, что король и герцог приедут не позже, как к часам десяти, но сквозь спущенные занавесы едва пробивался свет, солнце еще не всходило. Великая княжна тихонько зажгла свечку, взглянула на часы, прислушалась — все было тихо. Она задула свечку и легла снова, но заснуть уж не могла. Какой тут сон! Сердце так шибко бьет-

ся, мысли одна за другой стучатся в голову. Есть о чем подумать, не до сна теперь.

Разом вставали и повторялись перед нею все эти дни, неожиданные, странные, мучительные и блаженные дни, в которые все так быстро изменилось в ней и вокруг нее. То, что было до этих дней, до приезда короля, казалось ей таким далеким, все это она едва помнила. Теперь она была совсем другая, жила новой жизнью, горячей лихорадочной жизнью, среди которой некогда было очнуться, некогда было спокойно подумать, уяснить себе свое положение. А между тем, несмотря на то, что великая княжна была почти еще ребенком, она уже умела думать и обдумывать, она чувствовала потребность в этом.

«Я невеста, — думала она, — теперь уже кончено, бабушка сама сказала: послезавтра обручение! Я невеста — какое счастье! Я скоро буду его женою, и уже никогда, никогда мы не разлучимся с ним — всегда вместе... вместе!.. Милый, какое счастье! О, не будет он уже хмуриться, а нахмурится — я его поцелую, и он улыбнется. Я ни в чем никогда не буду ему перечить, он будет доволен мною. Да

и разве могут у меня быть теперь какие-нибудь желания, кроме его желаний? Мне кажется, я скоро научусь угадывать все его мысли, я уж теперь очень часто знаю, только взглянув на него, о чем он думает, чего желает, — он сам мне еще вчера сказал это».

«Милый!..» — почти вслух пролепетала она, блаженно улыбнувшись и даже протягивая вперед свои тонкие, будто из мрамора выточенные руки. Ей казалось, что она видит его перед собою. И она манила его к себе, она мысленно прижимала его к груди своей, в которой горячо билось ее счастливое сердце.

«Милый, навсегда с тобою, там в новой, чудной стране... в твоей стране! О! Как должно быть все хорошо, как хочется мне скорее туда!..»

Но вдруг ее нежный шепот прервался, по прелестному лицу ее скользнула легкая тень.

«Я счастлива, — подумала она, — но вот мне и грустно! Неужели на свете нет полного счастья? Да, я должна грустить, я не смею быть такой счастливою, ведь я уезжаю надолго, быть может, навсегда, я расстаюсь со всеми!..»

Она начинала упрекать себя в холодности, в эгоизме. Ее все так любят, и родители, и бабушка, и сестры, и братья. Ее с тех пор, как она себя помнит, окружают ласки, все желания ее исполняются. Положим, она никогда не желала ничего неисполнимого, она всегда старалась быть доброй и ласковой со всеми, всех любила, всех жалела... Так что же это теперь с нею? Неужели она, полюбив одного, нового, едва появившегося перед нею человека, вдруг разлюбила всех, кого всегда знала, кто был ей всегда дорог, кто заботился о ней и ласкал ее. Неужели это правда, неужели у нее такое злое сердце?

«Нет, нет, неправда, я люблю их, я, верно, буду очень тосковать по ним. Это только так теперь... сама не знаю, что со мною! Верно, так всегда бывает!.. Нет, я люблю их, я не злая!..»

Но вдруг она позабыла опять всех, она опять только думала о нем одном. Ей начинала представляться ее будущая жизнь с ним, там, далеко, в иной земле, среди иной обстановки, среди иных людей, которых она не знала.

«Будут ли там любить меня? Что меня ожидает?»

Она серьезно задумалась, пристально глядя в полутьму своими большими светлыми глазами, будто старалась разглядеть таинственное будущее.

«Я знаю, о многом, о многом мне нужно подумать... Мне нужно постоянно думать о том, как жить и что делать... Я буду молиться Богу, горячо буду молиться, чтобы Он вразумил меня... чтобы я могла исполнять свои обязанности... а у меня много этих обязанностей...»

И вспомнились ей разговоры, которых часто она была свидетельницей в комнате бабушки, вспомнились ей бабушкины слова о том, что первую заботою правителей должно быть благо их подданных. Вот она станет королевой, значит, она должна будет хорошенько познакомиться с этой новой страной, которая сделается ее второй родиной. Она должна узнать все: как там живут люди, чем они занимаются, чего им надо, Она должна будет узнавать, не может ли помочь кому-нибудь. Ее щеки разгорелись, глаза блестели, грудь высоко поднималась.

«О, она, конечно, будет много работать, она все силы употребит для того, чтобы сделаться достойной всеобщей любви, она заставит любить себя, а главное, его, милого, дорогого Густава! Она сделает так, что вокруг них не будет горя, нужды и отчаяния. Никто не уйдет от нее без помощи, она будет все узнавать тихонько, осторожно; она придумает, как это устроить. Ее помощь будет приходить неожиданно, и бедные, добрые люди не узнают даже, откуда пришла эта помощь. И, конечно, он, ее милый Густав, во всем будет помогать ей. Как счастлива такая жизнь, и как она должна благодарить Бога за то, что Он дает ей возможность делать добро, много добра».

И она мечтала, не замечая времени, не замечая, как мало-помалу в комнату прорывался утренний свет, как уже начинали раздаваться дневные звуки. Она мечтала с блаженной улыбкой, и ей почти казалось, что у нее вырастают крылья и что на этих крыльях, незримая и счастливая, она летает всюду, где человеческая нужда, горе и слезы ждут ее. Она никогда не видала ни горя, ни слез, ни

нужды; но она хорошо знала, что они есть на свете, о них ей говорили. Говорила и бабушка, так хорошо, горячо говорила о нужде человеческой, как будто сама ее испытала.

«Да, счастливая будет жизнь, и будут меня любить люди, потому что я сама стану любить их, стану для них делать все, что только в моей власти. Нужно будет поговорить об этом с Густавом, мы еще об этом никогда не говорили. Он, наверное, думает так же, как и я, и, наверное, будет рад, что я так думаю».

— *Cher enfant, levez-vous, — il est bien temps!* [6] — раздался ласковый голос.

Великая княжна очнулась от своих мечтаний. Перед нею стояла ее воспитательница, госпожа Ливен.

И вот великая княжна, позабыв в миг все свои думы, все волновавшие ее ощущения, при звуках этого давно знакомого голоса, при виде несколько чопорной и строгой фигуры воспитательницы, которую она изрядно побаивалась в те минуты, когда чувствовала себя в чем-нибудь провинившеюся.

— *Pardon, pardon, je serai prête à l'instant* [7] — испуганно проговорила она и быстро нача-

ла одеваться с помощью подоспевшей камер-медхен.

Одевшись, она знаком удалила девушку и, оставшись одна, стала горячо молиться перед образами. На сердце у нее сделалось спокойно и ясно, на губах заиграла детская, счастливая улыбка, и, свежая и прелестная, она поспешила к матери. Великая княгиня уже была готова. Но на ее лице можно было различить признаки утомления. Ей немного пришлось поспать в эту ночь, да и сон был тревожный. Она то и дело просыпалась, принималась думать свои думы, а уж как придут они — от них трудно отделаться, забыться, и заснуть снова...

Король и регент не заставили себя ждать, минута в минуту явились к назначенному времени. Великая княжна так и впилась глазами в Густава, в то время как он, здороваясь с нею, целовал ее руку.

— Здоровы ли вы? — тревожно спросила она.

Ей показалось, что лицо его не совсем такое, каким было вчера вечером.

Великая княгиня подметила взгляд дочери

и тревожный тон ее вопроса.

— На этот раз вы можете не отвечать ей, Густав, — улыбаясь, проговорила она, — ваше лицо за вас отвечает! Разве с таким сияющим лицом можно быть нездоровым? — обратилась она к «малютке».

Но «малютка» глядела на жениха еще тревожнее и опять спрашивала:

— Здоровы ли вы, что с вами?

Несмотря на этот сияющий вид, она ясно замечала в молодом короле уже понятные ей и изученные ею признаки чего-то такого, что ее очень смущало и чего никак не должно было быть в нем сегодня, когда все заботы и недоразумения были окончены.

— Разумеется, я чувствую себя очень хорошо, — отвечал король, еще раз целуя ее руку. — Я только заспался и очень спешил, боялся опоздать.

Он говорил правду. Он спал как убитый после своего позднего разговора с дядей. Никакие мечтания не нарушали сна его, и не грезилась ему даже прелестный образ невесты. Ее красота, обаяние ее детской чистоты и кротости действовали на него, когда он был с нею;

но едва она исчезла, исчезало и ее обаяние, он погружался в восхищение самим собою, в самообожание.

Скоро все, кто должен был принять участие в этом семейном завтраке, оказались в сборе: братья и сестры невесты, некоторые из самых приближенных лиц. Все были довольны, веселы. Великая княгиня, со свойственной ей простотой и грацией, исполняла обязанности хозяйки. Велась оживленная, но не шумная беседа, время от времени прерываемая звонкими голосами и смехом младших членов царского семейства. Даже король, сидевший рядом с невестой и уже начинавший поддаваться ее обаянию, оживился и мало-помалу перешел к любимой теме своих разговоров — к своим охотничьим похождениям. Великая княгиня внимательно и с восхищением вслушивалась в каждое его слово; но, впрочем, он говорил теперь не для нее, ему хотелось главным образом поразить этими рассказами молодых великих князей, Александра и Константина, показать им, как они должны быть счастливы, приобретая в его лице такого родственника. Они должны прекло-

ниться перед его достоинствами и почувствовать его превосходство.

Великий князь Александр слушал его с любезным вниманием; но напрасно бы юный король стал искать на лице его признаков удивления и восторга — женственно-прекрасное и мечтательное лицо великого князя не выдавало его ощущений.

Рассказчик отвел глаза в другую сторону — и вдруг недоговоренное слово замерло на губах его, он вспыхнул и с недовольным взглядом резко оборвал рассказ, склонился к невесте и стал что-то невпопад у нее спрашивать. Дело в том, что его глаза встретились с другими глазами, в которых слишком ясно искрилась самая задирательная насмешка. Это были глаза великого князя Константина, который в начале завтрака сидел насупившись, почти не принимая участия в разговоре. Живой, порывистый, всегда придумывавший какую-нибудь новую шалость, иногда непослушный, чересчур резкий на словах, — великий князь Константин доставлял немало забот как бабушке, так и отцу с матерью.

Вот и теперь, после новой какой-то шало-

сти, им были недовольны, и, не далее еще, как вчера, он должен был объясняться с бабушкой и матерью. Он сознавал свою вину, искренне и со слезами обещал матери исправиться. Великая княгиня сказала ему одну фразу, которая его глубоко тронула:

«Хоть бы теперь ты пожалел меня! У меня столько забот, тревог, я так устала за это время, а ты еще меня мучаешь!.. Ты доказываешь этим, что совсем меня не любишь!..»

Но он любил ее, и эти слова глубоко отозвались в его сердце. Он чувствовал себя таким виноватым, униженным в собственных глазах; он провел плохую ночь и проснулся с угрызениями совести. Ему было теперь неловко и стыдно глядеть на мать. Поэтому он сидел хмурый и молчаливый.

Но вот молодой король начал свои хвастливые рассказы — и природная насмешливость поднялась в великом князе. Он не совсем доверял этой храбрости и мужеству, его возмущал этот напыщенный тон и оттенок какого-то даже пренебрежения, с которым жених сестры относился к нему и его брату.

В его голове уже складывались язвитель-

ные и насмешливые фразы, которыми он мог бы ответить сомнительному герою. В другое время он не стал бы стесняться, но теперь чувствовал, что должен сдерживать себя, должен молчать. И все, что рвалось у него с языка, он выражал в своем насмешливом взгляде, так смущавшем Густава.

«Ага, понял, любезный друг! — подумал он. — Понял, что не всех удастся морочить!.. Замолчал! Ну, и хорошо, только это и нужно...»

И он перенес свои насмешливые наблюдения на маленького регента, который рассыпался в любезностях перед великой княгиней. Регент в это утро играл роль счастливейшего из смертных, он шептал великой княгине, что это один из лучших дней его жизни, что, так как соединение молодых людей наконец решено бесповоротно, все горячие желания его исполнены. Великая княгиня ему верила, — теперь уже не в чем было сомневаться.

Завтрак был кончен. Всеобщее оживление усиливалось. Юная невеста оказалась в некотором отдалении, рядом с женихом. Ее тихий,

нежный голос нашептывал ему о тех мечтаниях, которым она предавалась рано утром. Она рисовала ему фантастическую картину блаженной жизни, исполненной добра и радости, она вся горела от волнения и восторга и в этом восторге не замечала даже, что он относится к ее мечтаниям вовсе не так, как бы должен был относиться, как она того желала.

Он глядел на нее, любуясь ее красотой, блеском ее глаз, ее доброй, счастливой улыбкой; но то, что она говорила, казалось ему неинтересным, и он пропускал мимо ушей слова ее, не придавая им значения. Все это были только грезы, воплощение которых почти невозможно в жизни; но это были грезы молодой, благородной души, стремившейся к добру и свету. Эти грезы наполняли ее, составляли весь ее нравственный образ. Но он конечно, не мог понять этого, они казались ему милой детской болтовней — и только. Его сердце на них не откликнулось. И хоть он был юноша, едва вступавший в жизнь, но в нем ничего не было юного, кроме самонадеянности, ему никогда не суждено было жить сердцем и понять счастье и муку такой жиз-

ни...

А великая княжна все говорила и только время от времени, прерывая поток своей восторженной речи и обдавая жениха ласкающим взглядом, спрашивала его:

— Ведь да? Ведь я права?.. Вы согласны со мною, Густав?

— Конечно, согласен, конечно, вы правы, всегда правы! — рассеянно отвечал он.

Он начинал уже скучать и был доволен, когда в комнате показалось новое лицо. Вошел князь Зубов, прямо от императрицы. К его манере и тону давно уже все привыкли, и никого не поражало, что он держит себя во все не так, как бы следовало; он вовсе не намерен был выказывать особую почтительность. Он развязно подошел к герцогу, взял его под руку и увел в соседнюю комнату.

— Вот все и улажено, — сказал он, — императрица очень довольна; она только что выразила мне чувства самого искреннего родственного расположения к вашему высочеству... Итак, послезавтра вечером обручение!

— А брачный договор? — спросил регент. — Вы его составляете?

— Да, императрица поручила составление его Моркову. Он будет готов завтра.

— Зачем же уж так торопиться! — сказал регент. — Лишь бы он поспел послезавтра к вечеру. Король может подписать его перед самым обручением! Только, пожалуйста, не забудьте чего-нибудь. Каждый пункт должен быть выражен подробно и ясно.

— Об этом не тревожьтесь, ваше высочество! — ответил Зубов. — Морков человек осмотрительный и прекрасно пишет.

«Увидим, много ли выйдет из его писания!» — подумал регент.

Они вернулись в комнату, где находилась великая княгиня.

XXIX. ГДЕ ТОНКО — ТАМ И РВЕТСЯ

Обручение должно было совершиться с необыкновенной торжественностью и пышностью. Все лица, имевшие проезд ко двору, получили приглашение. В числе этих лиц находился и Сергей Горбатов.

После своей аудиенции у императрицы он не выезжал из Петербурга, дожидаясь известия от Тани и, несмотря на все свое нетерпение, твердо решившись не показать малодушия, не явиться к ней без ее зова. Он так уже был уверен теперь в своем благополучии, он так хорошо знал, что пройдут еще дня два-три — и Таня непременно позовет его; он видел, что их роли переменились — и в нем заговорило какое-то любовное злорадство, какая-то любовная жестокость.

«Довольно ей мучить меня своей гордостью! — блаженно думал он. — Пускай сама теперь немного помучается, пускай переломит свою гордость! Ни за что не поеду, пока сама не позовет меня...»

И он, этот уставший, разочарованный человек, превращался в капризного ребенка,

ощущал в себе такой прилив молодости, какого, пожалуй, не было в нем и восемь лет тому назад, во время первого пребывания его в Петербурге.

Он за эти дни объездил всех своих родственников, всех своих старых знакомых. Будь он в ином настроении духа, ему пришлось бы многим возмущаться, на многое негодовать; но теперь он не был способен на негодование. Он наблюдал проявления людской пошлости, мелочности и дрянности совсем спокойно, с легкой, даже более добродушной, чем насмешливой улыбкой. Ему забавно было видеть, как многие из его знакомцев и родственников смущались при его появлении, не зная, как его встретить: с распростертыми ли объятиями, или сдержанно и холодно. Его положение, его шансы на успех или неуспех были пока еще для всех загадкой.

Императрица милостиво его встретила и потом к себе призывала — это отлично было известно всем и каждому; но, с другой стороны, было также известно враждебное к нему отношение всесильного Зубова.

И вот знакомцы и родственники начали играть очень трудную роль: в одно и то же время и простирали к нему свои объятия, и боялись его. Но, во всяком случае, он был слишком богат, носил слишком громкое имя, — и, покуда положение его не выяснилось окончательно, никто не решался пренебрегать им. Все поспешно, хоть и с большой опаской, возвратили ему визит. Сергей решил, что требование приличий с его стороны исполнено, и положил как можно реже показываться в обществе, ограничивая свое знакомство двумя-тремя домами, где ему был оказан действительно радушный прием. В числе этих домов был, конечно, дом Нарышкина.

Во дворец, на обручение, Сергей поехал с большим удовольствием. Ему предстояло увидеть там цесаревича, великую княгиню, быть может, от кого-нибудь из них услышать про Таню.

В седьмом часу вечера дворцовые залы уже наполнены разряженной толпой. Мужчины в парадных мундирах, дамы в роскошных туалетах, украшенные всеми драгоценностями

ми, какие только заключались в фамильных укладках и шкатулках. Оживленный гул ходил по залам. Все лица казались такими довольными, почти счастливыми. Все хорошо понимали значение этого дня, этого события, так долго ожидавшегося, после стольких колебаний долженствовавшего, наконец, совершиться.

Царское семейство не заставило себя ждать. Одновременно из внутренних покоев появились — императрица, цесаревич, великая княгиня и все их дети. Императрица была в самом роскошном своем наряде, в котором показывалась весьма редко. Она вся так и сияла бриллиантами.

«Игра сих драгоценных камней теряется от блеска ее глаз и ее улыбки!» — слова эти были сказаны Державиным и быстро облетели присутствовавших.

Певец Фелицы допустил, конечно, некоторое поэтическое преувеличение; но все же замечание его было верно — давно, давно никто не видал государыню с таким сияющим лучезарным лицом. Она будто помолодела, она забыла все недуги последнего времени,

все свои заботы и каждым своим движением, каждым взглядом выражала горячую, сердечную радость.

Она вышла к собравшимся придворным, ведя под руку юную невесту, такую же сияющую, как и она, прелестную более чем когда-либо, стыдящуюся своего счастья и этих со всех сторон устремленных на нее, восторженных взглядов.

Все были довольны, даже лицо цесаревича не хмурилось. Он ласково здоровался направо и налево, ища глазами людей более или менее ему симпатичных и обращался к ним с милостивыми словами.

Прошло минут десять, толковали о том, что вот сейчас должен приехать жених.

«Митрополит уже приехал; в бриллиантовой комнате все уже приготовлено... Сейчас, сейчас прибудет король!» — говорили в толпе.

Между тем, минуты шли за минутами. В зале, где находилась императрица, показался Зубов. Он остановился невдалеке от Сергея, и тот невольно был поражен, взглянув на лицо его.

«Что это с ним такое, он будто чем-то поражен, глядит как-то растерянно, смущенно?..»

Императрица, очевидно, искавшая его, подошла к нему. Сергей был от них так близко, что невольно, вовсе не желая быть нескромным, расслышал слова их разговора.

— Что это значит? — сказала она. — Ведь уж семь часов, даже больше, а его все еще нет?

— Я сам не понимаю, — отвечал Зубов. — Морков отправился к нему в половине шестого, как было условлено, для подписания контракта и статей брачного условия.

— Что же это значит? Не случилось ли чего-нибудь? — уже с тревогой в голосе спросила императрица.

— Ничего не может случиться, наверно, он сейчас будет.

Но говоря это, Зубов не мог скрыть своего волнения, и она отлично поняла, что он встревожен не менее ее.

— Сейчас же поезжайте, скорей... Я должна успокоиться!

Зубов даже ничего не ответил и быстро исчез из залы. Он почти выбежал на подъезд,

крикнул первую попавшуюся придворную карету, бросился в нее и приказал кучеру как можно скорее ехать в дом шведского посольства. Подъезжая, он увидел несколько дождавшихся там экипажей и в том числе экипаж короля.

Значит, он еще здесь, да и не мог он проглядеть его дорогой!

Войдя в первые комнаты, он уже заметил что-то странное; тревожное предчувствие тяготило его. Он быстрыми шагами шел дальше к комнатам, которые занимал король. Вот он перед дверью его кабинета. Дверь заперта, но до слуха его ясно донеслись громкие, резкие звуки раздраженного голоса. Он узнал голос Густава, и в то же время дверь отворилась — перед Зубовым очутился Морков.

Этот дипломат новой школы в последнее время, благодаря расположению к нему Зубова, почти заменивший Безбородку, поражал противоположностью со своим предшественником. Безбородко, толстый, неуклюжий, всегда неряшливо одетый, совсем не думавший о своих манерах и о впечатлении, которое он производил, был похож на медведя. Морков,

красивый, тонкий, изящный, изучавший каждый свой жест, каждое слово, представлял собою очень удачную копию с французского маркиза дореволюционного времени.

Но теперь, выйдя из кабинета короля, он, очевидно, позабыл всю свою изящность, всю свою заученную грацию, лицо его было красно, ноздри раздувались, он сердито отплюнулся.

— Черт возьми, что же теперь делать? — произнес он отчаянным голосом.

— Что такое, что случилось? — испуганно спросил его Зубов. — Контракт... статьи... подписаны?

— Вот контракт, вот статьи! — почти задыхаясь, говорил Морков, потрясая перед собою портфелем. — И ничего не подписано!

— Как не подписано? — крикнул Зубов.

— Не хочет подписывать, все убеждают... заупрямился — не подпишу, да и только!

— Господи, да ведь это невозможно! — заломив руки, простонал Зубов. — Понимаешь, ведь четверть восьмого, все в сборе, давно ждут — что же это такое?

— Я за вами хотел ехать, хорошо, что вы

здесь. Вот пойдите, может, уговорите!

Зубов кинулся в кабинет. Там у письменного стола, развалясь в кресле, с признаками сильнейшего раздражения, сидел молодой король, комкая в руках какую-то бумагу. Тут же был регент, Штединг, некоторые члены шведского посольства.

При входе Зубова регент подбежал к нему и отчаянным голосом прошептал:

— Это просто припадок какой-то — он не хочет подписывать!

— Ваше величество, что все это значит? — спросил Зубов, подходя к королю и кланяясь ему. — Меня прислала императрица, она очень тревожится, все готово для обручения... вас давно ждут... ради Бога, поспешите!

Король горделиво поднял голову и, смерив Зубова вызывающим взглядом, проговорил:

— Мне очень жаль, если я заставляю ждать, но не моя в этом вина — вина ваша, господа, — я не ожидал такого поступка!

— Какого поступка, ваше величество?

— Вы хотели воспользоваться обстоятельствами и в последнюю минуту заставить меня подписать такие обязательства, которых я

подписать не могу. Где контракт, где ваши статьи? Дайте мне, — обратился он к Моркову.

И когда тот подал бумаги, он быстро перелистал их.

— Вот смотрите, что это такое тут сказано? Что у шведской королевы в моем дворце должна быть особая часовня и особый причт. Кроме того, еще другое, совсем для меня новое, но достаточно и этого. Скажите, пожалуйста, разве я когда-нибудь договаривался с императрицей об этом, разве я обещал что-нибудь подобное?

— Ваше величество, — сказал Зубов, едва сдерживая себя, едва заставляя говорить себя спокойным голосом и в приличных выражениях, — да ведь именно в этом заключалось главное затруднение, и обручение было назначено только после того, как вы изволили обещать не стеснять совести великой княжны.

— Да, я сказал это и теперь не отступаю от слов своих. Конечно, я не намерен стеснять ее совести, конечно, она может исповедовать свою религию, но никогда я не обещал дозво-

лить ей иметь в моем дворце часовню и причт. Напротив, я говорил, что в публике и во всех церемониях она должна будет следовать нашим религиозным обрядам. Ничего другого я не мог говорить, и скажите мне наконец, от имени ли императрицы мне докладывают эти бумаги? Она ли требует моей подписи под ними?

— Конечно, — прошептал Зубов.

— В таком случае нужно передать ей, что она требует от меня невозможного, я ни за что не подпишу таких условий.

Зубов совсем растерялся. Он чувствовал, что почва под ним начинает колебаться, и тщетно искал, за что ухватиться. Ему все казалось легко, он был так уверен в своем уме, в своей ловкости, он был так избалован своими ничем не стоящими ему успехами, что еще за минуту, несмотря даже на невольное беспокойство и какое-то предчувствие, сжимавшее его сердце, никак не предполагал возможности такого поражения. Со свойственной ему самонадеянностью он постоянно уверял императрицу, что все обойдется, чтобы только она на него положилась... В эти по-

следние дни, после официального предложения, когда императрица сказала ему, что обещание, данное королем, во всяком случае, нужно оформить и включить в брачный контракт, — он ответил ей:

— Конечно, мы это сделаем!

Он даже ни минуты не задумался о том, что об этих статьях контракта, во всяком случае, надо обстоятельно и вовремя договориться с королем. Когда Морков принес ему составленный им проект статей и, прочтя их, заметил:

— А вдруг король, который, кажется, очень упрям и самолюбив, выставит новые затруднения в последнюю минуту?

Зубов горделиво поднял голову и, презрительно усмехаясь, проговорил:

— Очень может быть, от него это станется; но мне хотелось бы знать, что он сделает в последнюю минуту?.. Ты поднесешь ему контракт для подписания перед самым обручением, во дворце все будут уже в сборе, невеста будет уже ждать жениха!.. Ах, Боже мой, да в таких обстоятельствах он должен будет подписать все что угодно, каково бы ни было его

упрямство!.. Разве может он когда-нибудь осмелиться сделать такую неслыханную дерзость? Может быть, он станет просить об изменении того или другого; но мы объявим, что изменить невозможно ни одного слова, что для этого уже нет времени — и он волей-неволей подпишет... Что он рассердится на нас с тобою — это верно, но ведь мы не смутимся! Контракт будет подписан, их обручат — и только ведь этого и нужно...

Морков пожевал губами, потом сделал глубокомысленную мину, потом тонко усмехнулся.

— Да, — проговорил он, — это правда! Мы его запрем со всех сторон.

— То-то же! — самодовольно сказал Зубов.

Он заранее наслаждался делом рук своих, своей хитрой уловкой; заранее торжествовал победу. И вот все совершилось так, как он желал: невеста ждет жениха, король уже должен быть во дворце, контракт и статьи перед ним, и он не хочет их подписывать. Все, что можно было сказать, сказано, а он ничего не хочет слышать и твердит:

«Не подпишу!»

В его тоне чувствуется решимость.

«Что же это такое? Ведь это такой ужас, такой позор, о каком еще до сих пор не слышно! Ведь это настоящее несчастье!..»

И Зубов вдруг ослабел, вдруг ощутил в себе сознание полной беспомощности. Вся его самонадеянность, весь апломб исчезли. Он быстро, с побледневшим лицом и трясущимися губами, подошел к Моркову и шепнул ему:

— Скорей, как можно скорей привези Безбородку! Может быть, он уговорит, найдет зоны... Скорей, ради Бога, а я здесь останусь... Скорей, каждая минута дорога!..

В его голосе слышались мольба и отчаяние. Морков исчез из кабинета, а он снова подошел к королю. Он был на себя не похож, он почти не понимал, что такое говорит.

— Ваше величество, ради Бога, успокойтесь! — шептал он. — Не гневайтесь... войдите в наше положение, мы никак не могли предвидеть подобного недоразумения, мы основались на словах ваших, официально переданных императрице господином Штедингом...

— О чем это вы мне говорите, князь? — за-

пальчиво крикнул Густав. — Я очень хорошо знаю, что я обещал и что от моего имени было передано императрице. Повторять мне теперь все одно и то же нечего. Мне никто не заявлял до этой минуты, что я должен буду подписывать такие обязательства. Зачеркните эти статьи, и я с удовольствием подпишу все остальное и еду во дворец — вы видите, я совсем одет... совсем готов. Задержка происходит не от меня, а от вас!

— Но разве я могу изменить что-нибудь из того, что утверждено и решено императрицей? — отчаянно проговорил Зубов.

— Так доложите ей!

— Как же можно теперь докладывать, она уже в тронном зале, окруженная всем двором. Митрополит давно ждет... Уже около часу, как ваше величество должны быть там... Ваша невеста... подумайте же о ней, ваше величество!..

— Я о ней очень думаю, — нахмутив брови, сказал король, — но и для нее я не могу сделать невозможного.

— Да ведь это что же?.. Это разрыв... величайшее оскорбление, которое вы наносите

императрице, великой княжне, ее родителям, равно как и всей России!

Король сделался совсем мрачным и вдруг поднялся со своего места, выпрямился во весь рост, яркой краской заалели его щеки, и бешеным голосом он крикнул:

— Оскорбление! Что такое вы мне говорите? Это мне наносится величайшее оскорбление. Меня хотели поймать! Меня хотят силою принудить на унижительный для моего достоинства поступок, но я не поддамся вам, будьте в этом уверены, князь Зубов!.. Я докажу, что вы ошиблись в расчетах!

И он, оттолкнув от себя ногой кресло, гневно вышел из комнаты.

Зубов несколько мгновений стоял как окаменелый. Но вот он заметил регента, который совсем съежился в своем кресле и смущенно поглядывал по сторонам.

— Ваше высочество, — подбегая к нему, проговорил Зубов, — ведь вы же меня уверяли, вы мне обещали... я больше всего на вас рассчитывал... Да пойдите же, уговорите его!

Регент съежился еще больше.

— Что же я тут могу сделать? — глухо про-

говорил он, разводя руками. — Неужели вы думаете, что я его не уговаривал... Но вы сами видите, с ним нельзя сладить. Я могу просить, доказывать, убеждать; но если ничего не действует — я не могу силой его принудить.

— Так пойдите же... пойдите же, уговорите его! — отчаянно повторял Зубов, почти силою поднимая регента с кресла. — Пойдите, ведь вы понимаете положение... Ах, Боже мой, вы сами заинтересованы в этом, — прибавил он, понижая голос. — Ваше высочество, все что угодно, все ваши желания будут исполнены, только уговорите его!

— Я пойду, я буду просить, я постараюсь его успокоить, — грустным тоном проговорил регент и пошел к той двери, за которой скрылся племянник.

Зубов огляделся. В кабинете теперь находился только Штединг, который подошел к столу и мрачно разглядывал разложенные бумаги. Зубов хотел что-то сказать, но не сказал ничего, только раздраженно махнул рукою и принялся быстрыми шагами ходить по комнате.

«Господи, хоть бы скорее Безбородко!»

Он взглянул на часы — был уже давно девятый час. Холодный пот выступил на лбу его.

«Что там теперь? Что она думает? И если он не подпишет... если я не приведу его... О, нет, это невозможно!»

Безумное, бессильное бешенство запертого в клетке зверя охватило его, он сжимал кулаки, он уже совсем метался по комнате.

А минуты шли за минутами, и стрелка все ближе и ближе подвигалась к девяти.

XXX. БЕДА

Наконец в кабинете короля появилась неуклюжая фигура Безбородки. Он вошел, переваливаясь и запыхавшись. Пухлое, всегда веселое и беззаботное лицо его на этот раз было грустно.

— Граф, наконец-то вы! — кинувшись к нему, заговорил Зубов. — Ведь девять часов... поймите — девять часов, а он не подписывает!

— Если уж вы не сумели уговорить его, ваша светлость, — медленно произнес Безбородко, — то я тем более не уговорю. Я только сей-

час, дорогою сюда, узнал от него, — он указал на сопровождавшего его Моркова, — все подробности. На мой взгляд, дело безнадежно.

И, наклонясь к Зубову, он прошептал ему:

— Я полагаю, что это не случайность, не внезапный каприз, все это, наверно, подготовлено заранее.

— Вы думаете? — простонал Зубов, пораженный этой мыслью, еще не приходившей ему в голову. — Но кто же мог это сделать, кого вы подозреваете?

— Я еще ничего не знаю, потом можно расследовать, потом выяснится, а теперь что же...

— Но ведь нельзя же допустить такого несчастья... Постарайтесь, граф, ради Бога, вы всегда так спокойны, так красноречивы... Может, вам удастся... на вас только одна надежда!

И он, не любивший Безбородку, нанесший ему немало оскорблений, всеми мерами, хотя часто безуспешно, старавшийся стереть его с лица земли, выставивший ему соперником своего угодника Моркова, — он теперь заглядывал ему в глаза, готов был ему льстить.

Он говорил с ним таким тоном, каким до сих пор никогда еще не говорил.

— Ради Бога, граф, на вас одна надежда, — повторил он, — только ваш ум может нас выручить!

— Напрасно так просите, ваша светлость, — с легкой саркастической усмешкой проговорил Безбородко.

«Ваша светлость» его устах, при его мало-российском выговоре, звучало как-то особенно насмешливо.

— Напрасно просите, я для императрицы и России буду стараться, но ни на что не надеюсь. Я не причастен к этому делу, и если бы вы раньше захотели меня выслушать, то я никогда бы не посоветовал такого риска.

Он отошел от Зубова и обратился к Штедингу, прося доложить королю о том, что он просит дозволения переговорить с ним.

Штединг вышел, и через минуту Густав появился в кабинете. Он, очевидно, несколько успокоился, в нем уже незаметно было недавнего бешенства.

Зубов заметил это, у него явилась слабая надежда на то, что регент успел уговорить

племянника.

— Что вам угодно, граф? — обратился он к Безбородке. — Вы, верно, от императрицы? Если она согласна вычеркнуть известные статьи, я тотчас же подпишу и немедленно еду во дворец.

Но Безбородко не имел никаких полномочий, он даже не успел переговорить с государыней, Морков увлек его без всяких объяснений.

Безбородко мог только повторять королю то, что ему говорил Зубов, указывать на то, что теперь нет никакой возможности договариваться, что каждая минута промедления есть прямое оскорбление со стороны короля императрице и ее семейству.

— Подумайте о последствиях, ваше величество, — говорил Безбородко. — Может быть, действительно произошло недоразумение; но всякое недоразумение впоследствии легко выяснится в личном объяснении вашего величества с нашей государыней. Подумайте о последствиях!..

— Хорошо, — перебил его король, — если это недоразумение, которое, как вы говорите,

легко может быть объяснено и улажено, я готов сейчас же ехать во дворец, пусть нас обручат. Я поверю вашему торжественному удостоверению в том, что излишние статьи будут вычеркнуты, и завтра подпишу все, что могу подписать.

— Как? Обручение без подписи? Но ведь это совершенно невозможно! — невольно крикнул Зубов.

— А, вы это находите невозможным! — снова быстро багровея, проговорил король. — Вы непременно хотите моего унижения... Я не подпишу!

Он театральным жестом махнул рукою и стал быстро ходить по комнате.

Зубов умоляюще глядел на регента.

Герцог Карл подошел к племяннику и стал шепотом говорить ему:

— Мой друг, положим, вы правы, и я очень понимаю ваше негодование, но сообразите, уже два часа, как ждут вас, вы ставите всех в невероятное положение — подпишите!

И в то же время регент думал:

«Если бы я стал громко теперь доказывать, что подписать невозможно и что я, как ре-

гент, не могу допустить этого, — он бы подписал. Да мне стоит только указать ему на мое регентство, настаивать — и он подпишет. Но я прошу его подписать. Пусть все видят, что я прошу его, что я сам в отчаянии».

— Подпишите, друг мой, обстоятельства этого требуют, — умолял он.

— А шведский народ? А мои обязанности как государя — вы о них забываете? — повторил король недавние слова дяди. — Нет, нет, не хочу, не могу, не подпишу! — громко крикнул он.

Регент махнул рукою и отошел от него.

Между тем двери кабинета то и дело открывались, из дворца один за другим прибывали русские сановники, к ним присоединились члены шведского посольства и королевской свиты. Все друг перед другом упрашивали короля подписать. Часы показывали три четверти десятого. С каждой новой просьбой, с каждым новым доказательством кого-либо из присутствующих о невозможности такого поступка, такого неслыханного оскорбления, король раздражался все больше и больше.

— Это все то же, все ясно, нечего повто-

рять! — несколько раз проговорил он, продолжая мерить комнату большими шагами.

Вдруг он остановился, топнул ногою и крикнул:

— Наконец, это скучно! Что бы ни случилось, я не имею права нарушать основных законов моей страны и ничего не подпишу... Прощайте!

Он кивнул головою, вышел из комнаты и заперся в своей спальне. Регент упал в кресло со всеми признаками отчаяния. Безбородко стоял насупившись, опустив голову, тяжело переводя дыхание. Зубов, раздраженно махнув рукою, выбежал из кабинета. Он спешил во дворец. В виски его стучало, в голове путались мысли, он весь дрожал. Он понимал, что теперь все кончено — несчастье совершилось.

Между тем дворцовые залы, ярко освещенные бесчисленными лампами и кенкетами, пестревшие разряженной толпой, представляли все то же праздничное и торжественное зрелище. Но стоило только попристальнее взглядеться и вслушаться — и впечатление из-

менялось. Каждый из этой многолюдной толпы отлично сознавал, что совершается нечто неожиданное и крайне важное, что вот-вот разразится удар. Сначала каждый оставлял при себе свои замечания и предчувствия; но, наконец, уже перестали стесняться. По залам шел глухой говор — все перешептывались. Неизвестно, откуда пронеслась весть; все уже хорошо знали, в чем дело, знали, что Зубов поехал к королю, что туда отправились и Безбородко, и Салтыков, и другие.

«Король не хочет подписать контракта: оброчения не будет... Свадьба не состоится... Его все уговаривают; но он ничего не хочет и слышать... он идет на разрыв!.. Что это такое будет? Чем все разрешится?..»

«Да нет, не допустят! — рассуждали другие. — Как же это возможно? Он никогда не осмелится так оскорбить императрицу!.. Нет, уговорят, конечно... Поломается, а все же подпишет!..»

А между тем время шло. Все взоры искали государыню и членов ее семейства. Екатерина появлялась несколько раз, проходила по залам. Она крепилась сколько хватало силы,

она все так же величественно несла свою красивую, старческую голову: на ее губах по-прежнему блуждала благосклонная улыбка; она делала вид, что спокойна, бросала несколько слов то тому, то другому...

Но не трудно было заметить, как дрожат ее руки, не трудно было заметить, даже сквозь белила и румяна, покрывавшие ее щеки, как лицо ее то смертельно бледнеет, то делается вдруг багрового цвета.

Великой княгини и невесты не видно. Они удалились из зала и ожидают в маленькой гостиной, куда не смеют проникнуть посторонние. Великие князья показываются то там, то здесь, тоже стараются делать вид, что все благополучно, любезно разговаривают; но их молодые лица выдают смущение. Вот и цесаревич. Перед ним расступаются; он идет, очевидно, никого не видя, мрачный, как туча, с нахмуренными бровями. Его ноздри нервно раздуваются; глаза потемнели и только изредка вспыхивают зловещим блеском. На щеках выступили красные пятна. Он идет, судорожно сжимая одной рукой эфес своей шпаги, в то время другая бессознательно, нервно пе-

ребирает пуговицы камзола. Но вот он очнулся, огляделся кругом и прямо перед собою заметил Сергея Горбатова, заметил тревожный взгляд его.

Цесаревич подошел к нему, положил ему на плечо руку и порывисто проговорил:

— Здравствуй!

Они были несколько поодаль от толпы, у глубокой амбразуры окна, почти прикрытые от посторонних взоров широкими складками бархатной драпировки. Цесаревич еще раз взглянул на Сергея, грустно и презрительно усмехнулся. Он забыл свою руку на плече этого преданного, всегда так симпатичного ему человека. Он почувствовал сильную потребность облегчить душу, высказаться. Он заговорил:

— И ты здесь! Сейчас ты будешь свидетелем позора, которому мы подвергнемся... вот что мы себе приготовили! Мы получаем жесточайший урок от своенравного, бессердечного ребенка...

— Ваше высочество, — прошептал Сергей, — неужели вы думаете, что здесь что-нибудь, кроме недоразумения, которое должно

разъясниться?

— Недоразумение!.. Никакого недоразумения тут нет! Его хотели поймать, застать врасплох, заставить экспромтом принять все условия... Вздумали хитрить, затеяли скверную игру — и кто же? Зубов! Этот безнравственный дурак, считающий себя гением!

Он огляделся — никто не мог его слышать.

Он продолжал:

— Она не привыкла к этому, никогда никто не осмелился бы так поступить с ней... Ты видел ее... она на себя не похожа... как она перенесет это? Но кто же виноват!.. Я предчувствовал заранее... Он сразу не понравился мне, этот мальчик... и сразу перед ним стали унижаться... На меня сердились за то, что я держался в стороне, за то, что я не восхищался, как все восхищались... Я говорю — у меня было предчувствие, я не хотел брать на себя ответственности... Теперь видно, кто прав — я или они...

Едва он успел договорить это, как мимо них, почти шатаясь, прошел Зубов. Вся его фигура выражала какое-то неестественное утомление, не то отчаяние, его бледное, иска-

женное лицо было слишком красноречиво.

— Вот, — проговорил цесаревич, смертельно бледнея, — вот он — вестник нашего позора!

Он сделал несколько шагов вперед, за ним последовал и Сергей.

Навстречу Зубову шла императрица.

— Что? — расслышал он ее слабый голос.

— Ничего нельзя сделать, — заикаясь, почти шепотом проговорил Зубов. — Все уговаривали... он не хочет подписать... заперся и никого не впускает... Надежды нет никакой...

Екатерина не произнесла ни слова. Несколько мгновений она стояла неподвижно, с остановившимися глазами, недоумение выражалось на лице ее.

Но вдруг она вся вздрогнула.

— Позор... оскорбление! — прошептали ее побелевшие губы.

Еще мгновение — все лицо ее сделалось багровым, глаза закатились, она покачнулась... Цесаревич и Сергей кинулись к ней, подхватили ее под руки и кое-как довели до первого попавшегося кресла.

Ужас изображался на всех лицах. Все

невольны стали пятиться, не зная, что делать.

Зубов совсем растерялся. Цесаревич выхватил у него из рук пузырек со спиртом.

— Матушка! — прошептал он, поднося к ее лицу пузырек.

Она открыла глаза, вдохнула спирт и потом через несколько мгновений провела рукой по лицу, тяжело вздохнула и приподнялась с кресла. Она сделала над собой страшное усилие, прошла несколько шагов вперед и дрожащим голосом проговорила, обращаясь к толпе перепуганных и смущенных гостей:

— Король заболел внезапно и, несмотря на все свое желание, прибыть не может.

Как ни тихо произнесла она слова эти, но в зале стояло такое гробовое молчание, что каждый их расслышал. Она обернулась, оперлась на руку цесаревича и, едва передвигая ноги, вышла с ним из зала. Зубов поспешил за нею. Она кое-как дошла до гостиной, где находилась великая княгиня, безуспешно старавшаяся в течение целого часа успокоить свою дочь. Едва императрица показалась у порога, как великая княжна кинулась к ней

навстречу и вдруг, взглянув на лицо бабушки, она отшатнулась и всплеснула руками.

— Бабушка, дорогая, что случилось? Ради Бога, скажите! Что такое случилось? — крикнула она, задрожав всем телом.

Но императрица не в силах была проговорить ни слова. Тяжело дыша, опустилась она в кресло.

Великая княжна, в своем наряде счастливой невесты, вся усыпанная бриллиантами и цветами, упала на колени перед креслом бабушки, сжимая ее холодные руки.

— Бабушка, да что же такое? Не мучьте меня, скажите... Не то я умру!..

— Дитя моя, успокойся! — прошептала наконец Екатерина. — Большие неприятности, но все поправится... Его нет, он не может приехать... Обручение не состоится сегодня... успокойся!..

Но великая княжна уже поняла.

«Если бы была только неприятность, если бы только обручение было отложено и должно было состояться не сегодня, а в другой день, если бы возможно было поправить то, что совершилось, разве бабушка была бы та-

кая?..»

— Он отказался от меня... он меня не любит! — простонала великая княжна.

Отчаянные рыдания вырвались из груди ее. Она упала головой на колени бабушки и рыдала... рыдала неудержимо.

«Он меня не любит! — повторялось в ее сердце. — Он ненавидит меня, если решился нанести мне такое оскорбление. Зачем же он не сказал мне этого прежде? Зачем не сказал прямо. Чем я заслужила такую жестокость... Что я ему сделала?! Зачем он так обманывал меня все это время?.. Зачем уверял, что меня любит?..»

Ей вспомнилась каждая минута из свиданий. Ей вспоминались пожатия его руки... горячие пожатия, его украдкой сорванные поцелуи, которые каждый раз сладостно и больно отдавались в ее сердце.

«За что Бог так наказал меня? Чем я провинилась?..»

Он, как живой, стоял перед нею. Она еще чувствовала его присутствие, этот горячий трепет, который каждый раз сообщался ей, когда она его видела и о нем думала.

«Он воплощение всех совершенств человеческих! Он ведь выше его, благороднее... честнее она никого никогда не знала — разве он мог поступить так?.. Разве он мог лгать... обманывать ее, когда она ни разу, ни одним словом, ни одной мыслью не обманула его. Что это такое?»

Она ничего не понимала.

«Ведь этого быть не может... Он не в состоянии поступить так!»

Она подняла голову, широко раскрыла заплаканные глаза. Сдерживая рыдания, она взглянула на лица бабушки, матери, отца. Эти три близких лица не сказали ей ничего утешительного.

«Что же это, сон, ужасный сон? Но нет, она не спит. Она не грезит — все это наяву. Это страшное несчастье действительно случилось с ней. Он обманул ее, он ее не любит!..»

Ей стало душно, ей казалось, что она сходит с ума. Она уже перестала совсем думать. Она чувствовала только, как замирает мучительной болью ее сердце. Тоска, страшная тоска ее охватила. И она опять уронила свою голову на колени бабушки и опять залилась

слезами.

Все было тихо. Императрица сидела неподвижно, с лицом, будто окаменевшим, только грудь ее высоко и нервно поднималась. Великая княгиня тихо и горько плакала, закрыв лицо руками. Цесаревич стоял за креслом матери — бледное, с трясущимися губами лицо его было страшно... Но вот он сделал над собою усилие, провел рукою по лбу, будто отгоняя тяжелые мысли. Он опустил глаза, склонил голову. Он нашел в себе силы для молитвы, которая всегда подкрепляла его в трудные минуты жизни...

XXXI. ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ

Не в характере Екатерины было поддаваться слабости. Она чувствовала себя совсем разбитой, больной, измученной; в ее сердце было много томительных ощущений, в голове много печальных и мучительных мыслей; но никто из посторонних не должен был знать того, что она чувствует, не должен был видеть, как она упала духом. Она и так не справилась с собою в первые минуты, чего с ней никогда не бывало; но довольно, впредь этого не будет!.. Все ее члены будто разбиты, она едва может двигаться, голова будто налита свинцом, тяжело дышать. Но она ласково поцеловала рыдавшую внучку и обратилась к великой княгине.

— Полноте, дочь моя, — сказала она ей, — успокойтесь и успокойте малютку, что отложено, то еще не потеряно!.. Я завтра же распутаю это дело, и все обойдется... А теперь прощайте! Я устала... поеду к себе.

— Je vous prie de m'accompagner, mon ami
[8] — обратилась она к цесаревичу.

Страдание выразилось на лице ее, когда

она поднималась с кресла, но она ни одним звуком себя не выдала, выпрямилась насколько могла и величественно вышла из комнаты, опираясь на руку сына.

Залы были еще полны народом. Бал не был отменен. Веселые звуки музыки неслись с эстрады, почти незримой за маскировавшими ее тропическими растениями и цветами. Любопытные, встревоженные и недоумевающие взоры встречали и провожали императрицу и цесаревича. Екатерина привычным жестом кивала направо и налево головой, она даже силилась улыбаться; но улыбка на этот раз ей не удавалась...

По выходе императрицы великая княгиня кинулась к дочери, но не нашла в себе сил ни самой успокоиться, ни ее успокоить. Она только крепко обняла ее, и так они долго вместе плакали.

«Малютка» хоронила свое внезапно пришедшее и еще внезапнее исчезнувшее счастье. Великая княгиня страдала страданиями дочери и в то же время жестоко себя упрекала.

«Он был прав, — думала она, вспоминая

слова цесаревича, — его предчувствия не обманули. Не нужно было доверяться этому бессердечному, ужасному мальчику, не нужно было допускать между ними короткости! Тогда разлука не была бы для нее так мучительна, а теперь она успела страстно к нему привязаться. Но можно ли было это предвидеть? Можно ли было ожидать с его стороны такого возмутительного поступка?..»

«Да нет, нет! Дело уладится!» — успокаивала она себя и никак не могла успокоить.

Она уже не верила ни во что хорошее... Бессонную ночь провела она, не отходя от постели великой княжны, которая совсем заболела: стонала и металась. Заснет на несколько минут, а потом вдруг вскочит, зарыдает, говорит несвязные фразы...

На следующий день было рождение великой княгини Анны Федоровны, супруги юного Константина Павловича. По этому случаю во дворце должен был состояться бал и отменить его не было возможности, так как это возбудило бы излишние толки.

Великая княжна не в силах была подняться с постели, и сама Мария Федоровна чув-

ствовала себя совсем больной.

Между тем из Таврического дворца, от императрицы, пришло известие, что на балу все непременно должны присутствовать, что сама она приедет и что шведский король также появится.

«Боже мой, да как же это возможно! — с отчаянием подумала Мария Федоровна. — Бедная девочка не выдержит. Они не должны встречаться. Да и я, хороша я буду на этом балу с таким лицом!..»

Она подошла к зеркалу и взглянула на свои опухшие от слез глаза.

«Нет, пусть сыновья с женами отправляются, а я с нею останусь».

И она поспешно отправила императрице такую записку:

«Признаюсь вам, дорогая матушка, что у меня глаза опухли и красны; все увидят, что я плакала, и станут глядеть на меня. При этом я кашляю. Если бы мне было позволено не выходить, то вы мне оказали бы большую милость».

Но посланный вернулся из Таврического дворца с клочком бумаги, на котором рукой

Екатерины было наскоро написано:

«О чем вы плачете? Что отложено, то еще не потеряно. Вытрите ваши глаза и уши льдом, примите бестужевских капель... Никакого разрыва нет... Я вчера была больна — и только. Вы досадуете на замедление, вот и все. Из-за этого ваша дочь больна; а впрочем, ваш супруг передаст вам, что я ему писала».

С этой запиской Мария Федоровна отправилась в покои цесаревича, который на этот день остался в Петербурге.

— Ты видишь, в каком я положении, — сказала она ему, — а Alexandrine!.. пойди, сам взгляни на нее! И матушка требует, чтобы мы присутствовали сегодня на балу! Вот прочтите!..

Цесаревич, нахмурившись, пробежал глазами записку императрицы.

— Да, она крепится, — сказал он, — хочет выдержать, все сгладить и поправить... сердится!.. Ну, что же, конечно, нужно не подавать виду, соблюсти приличия... Будьте на балу!

— А о чем же это матушка пишет, что вы должны сообщить мне? — спросила великая

княгиня.

Цесаревич пожал плечами.

— Она уверяет, что вся беда произошла от того, что в статье о вероисповедании сказано: «православная, апостольская, греческая!..» Будто они всего-навсего просили изменить так: «исповедание, в котором она родилась и воспитана». Будто в этом заключается все недоразумение и, следовательно, его легко разъяснить и уладить. Не понимаю, зачем надо себя обманывать? Ясное дело, что этой свадьбе не бывать, и нужно теперь только одно — чтобы он скорее уехал отсюда. Это такое испытание — встречаться с ним, быть с ним любезным!.. Я просто не могу их видеть, и главным образом не его, а этого герцога. Я уверен, что все это его рук дело. Так я и матушке сказал, и она, кажется, согласна со мною... Постарайтесь успокоиться, мой друг, все это тяжело и возмутительно, но, кто знает, может быть, и к лучшему. Малютка наша, наверно, была бы с ним несчастна, быть может, это Господне милосердие!.. До свиданья, мой друг, идите к ней, постарайтесь внушить ей мысль, что Бог устраивает все к нашему

благу, что часто думая, что теряем, мы только приобретаем.

Цесаревич поцеловал руку жены и ласковым кивком головы отпустил ее. Великая княгиня вышла от него несколько успокоенная. Она боялась большой бури с его стороны; она боялась, что он не в силах будет сдержать себя. Но вот он оказывается спокойнее всех, он даже почти доволен, что дело не состоялось.

«Опять предчувствие? Она кончит тем, что будет верить его предчувствиям безусловно — они так часто сбываются!..»

Однако успокоить малютку, внушить ей покорность воле Божией было нелегко. В ее годы, при первом пробуждении страстного чувства, о Боге думают мало, а если и думают, то в этой мысли не находят того утешения, которое является потом, в иные годы, после многих битв жизни...

Во всяком случае, и великой княгине, и «малютке» пришлось последовать совету императрицы: они вытерли себе глаза и уши льдом, приняли бестужевских капель и появились на балу.

Это был очень печальный бал: приглашен-

ных оказалось немного, оживления никакого. Танцы совсем не клеились. Вот приехал король, на него все глядели с негодованием; но он ни на кого не обращал внимания. На его тонком, холодном лице нельзя было прочесть никакого смущения. Он как ни в чем не бывало поздоровался с великой княгиней, подошел к великой княжне с приветственной фразой. И не заметил он даже, что при его приближении она смертельно побледнела и едва удержалась на ногах.

— Матап, мне дурно, — прошептала она великой княгине, — ради Бога, уведите меня.

Пришлось исполнить ее требование.

Появилась и императрица. Она уже за этот день окончательно справилась с собою, и даже внимательный наблюдатель не мог бы заметить в ней ничего особенного. Правда, она довольно холодно приветствовала короля, она мало кого удостоила своим разговором и уехала очень скоро, сказав перед отъездом великой княгине:

— Поговорите с ним, мне любопытно, что он вам скажет. Известите меня запиской.

По ее отъезде великая княгиня подошла к

Густаву.

— Объясните мне, — сказала она ему, — что все это значит? Как следует понимать ваш поступок с нами?.. Извините, я говорю прямо, я иначе не могу, — что вы сделали с моей дочерью? Если бы кто-нибудь мне сказал, что вы способны поступить так, я бы назвала такого человека клеветником. Неужели вы так бессердечны? Неужели вы ее совсем не любите? Но в таком случае зачем было заставить всех нас поверить?

— Ваше высочество, — отвечал король, несколько смущенный ее тоном, замечая ее волнение, слыша сдерживаемые слезы в ее голосе, — ваше высочество, упреки ваши несправедливы. Мне очень тяжело все это, но я не мог поступить иначе...

Он стал объяснять и оправдываться и закончил красивою фразою:

— Если мне предстоит разбить свое сердце, я разобью его, но только исполняя свои обязанности короля Швеции. Я не могу изменить этим обязанностям, хотя бы мне пришлось умереть; но я надеюсь, что дело еще уладится! Да, оно должно уладиться!

— Я бы хотела верить этому, — ответила великая княгиня, — уладить это дело необходимо для вашего счастья. Но скажите мне откровенно: действительно ли вы имеете какую-нибудь надежду?

— Я храню небольшой луч ее! — проговорил он, замолчал и стал угрюмо глядеть по сторонам.

Великая княгиня отошла от него и скрылась во внутренние покои. Король несколько раз прошелся по зале, особенно любезно раскланялся со всеми и уехал. Это было его последнее появление перед двором Екатерины...

Прошло несколько дней. Во дворце не было ни балов, ни приемов. После целого ряда блестящих празднеств наступило затишье. Со шведами шли переговоры, которые не вели ни к чему. Регент употреблял все усилия для того, чтобы убедить императрицу и великую княгиню в своей к ним преданности и своем отчаянии по поводу того, что случилось. Густав выказывал необыкновенное упорство. Он то и дело повторял:

— Что я сделал, то сделал, что сказал, то сказал, и никогда не изменю сделанного

мною и сказанного!

Наконец, решили на конференции, что ратификация короля последует через два месяца, то есть после его совершеннолетия. Императрица дала понять, что теперь делать больше нечего и что она не задерживает гостей своих в Петербурге. Отъезд их был назначен.

Так как прямого разрыва не было и все еще толковали о том, что дело может уладиться, то были соблюдены всякие любезности: обменялись богатыми подарками. Однако и тут Густав сделал непристойность. Он не только не поехал лично в Гатчину проститься с цесаревичем и великой княгиней, но даже не послал им прощального письма. Он только приказал секретарю шведского посольства Женнингсу съездить в Гатчину и словесно передать его прощальные приветствия. Ему ответили тоже словесно.

Но регент написал цесаревичу и великой княгине самые любезные, льстивые и даже трогательные письма. Цесаревичу он писал между прочим:

«Каковы бы ни были обстоятельства, я всегда пребуду вам предан и еще не отчаиваюсь

иметь счастье обнять вас как родственника, вдвойне дорогого и уважаемого».

В письме к великой княгине заключались такие фразы:

«Как ни печальна для меня эта минута, я, однако, не теряю надежды видеть вскоре осуществление моих желаний в счастливом союзе, который упрочит счастье двух наций; это будет предметом моих забот и целью всех моих желаний. Благоволите сохранить меня в вашей памяти. Эта драгоценная надежда будет единственной отрадой, которая одна может смягчить печаль, мною испытываемую в минуту удаления от вашей августейшей особы».

Ему ответили очень любезно, но несколько сдержанно.

Несмотря на все его уверения, его подозревали в неискренности решительно все, начиная с самой императрицы.

Наконец, шведы уехали. Великая княжна бродила как тень, на нее жалко было смотреть. Цесаревич замкнулся в Гатчине. Императрица чувствовала себя очень нехорошо и почти не выходила из своих комнат. Зубов

был взбешен до крайних пределов. К нему все это время никто не мог подступиться. Уже не говоря о том, что он ошибся в расчетах, так как на следующий день после обручения должен был получить звание фельдмаршала, он наедине с самим собою сознавал свою ошибку, чувствовал себя униженным этим неожиданным фиаско, которое потерпел его дипломатический гений. Он должен был во что бы то ни стало свалить свою вину на кого-нибудь. Должен был оправдать себя в глазах императрицы. И вот он вспомнил слова Безбородки о том, что это дело, наверно, было заранее подготовлено, — и занялся исследованиями. Он напал на следы сношений регента с Витвортом, и вдруг неожиданная для него мысль пришла ему в голову. Он вспомнил еще о чем-то или, вернее, о ком-то. Глаза его злобно блеснули. Он позвал Грибовского и дал ему какое-то таинственное поручение.

В тот же день Грибовский вернулся к нему со своими отметками.

Зубов быстро прочел их и усмехнулся.

— Ты ручаешься мне, что эти сведения верны? — спросил он Грибовского.

— Ручаюсь, ваша светлость.

— Так он три раза был у Витворта? И именно в эти дни и часы? А Витворт заезжал к нему прямо от регента, из шведского посольства?

— Точно так, ваша светлость.

— Хорошо.

Грибовский удалился, а Зубов отправился к императрице.

XXXII. БОГ НАКАЗАЛ

Наконец Сергей получил известие от Тани из Гатчины.

Это была маленькая записочка, заключающая в себе всего-навсего несколько слов.

«Serge, приезжайте завтра, я жду вас. Таня».

Больше ничего. Но разве какое-нибудь длинное и красноречивое послание могло быть более ясным, более красноречивым, чем эта лаконичная фраза?

Она зовет, она ждет, она подписалась просто «Таня»! Недоговоренного уже ничего не осталось.

Сергей ждал именно такой вести. Она не

сказала ему ничего нового. А между тем он как юноша, в первый раз в жизни получивший любовную записку, перечитал раз двадцать эти слова:

«Serge, приезжайте завтра, я жду вас. Таня».

На него нахлынул поток такого счастья, такого восторга... ему казалось, что у него вырастают крылья.

Это было вечером.

«Отчего же завтра, отчего она не прислала раньше, чтобы выехать тотчас же по получении записки? Ждать целую ночь; но делать нечего, нужно подчиниться необходимости!»

Он прошел в свою спальню и велел позвать к себе Моську. Карлик появился тотчас же, запер за собою дверь, мелкими шажками подошел к Сергею, заглянул в глаза ему. Он все эти дни, после последней поездки Сергея в Гатчину, находился в возбужденном состоянии. Он не понимал, что это значит:

«Сергей Борисыч весел, доволен, очевидно, дело совсем наладилось, а между тем он не едет в Гатчину и оттуда нет никакой присылки!»

Ему смертельно хотелось узнать, в чем дело, но расспрашивать Сергея Борисыча он не решался и только ждал — авось, сам призовет да скажет. Он знал теперь, что приехал из Гатчины посланец, привез конвертик. Вот и его позвали... наконец-то!

— Что прикажешь, батюшка? — пропищал он.

— Прочти, Степаныч! — тихо сказал Сергей, подавая ему записку Тани.

Карлик схватил записку, подбежал к столу, вскарабкался на кресло, поближе к лампе, прочел и несколько мгновений остался неподвижен.

Две тихие, радостные слезинки скатились по сморщенным щекам его.

— Слава тебе, Господи! — прошептал он наконец и перекрестился.

— Степаныч, понимаешь, что это значит? — спросил Сергей.

— Понимаю, батюшка, понимаю, золотой мой, дождались... Можно, значит, поздравить твою милость?

Он живо соскользнул с кресла и подбежал к Сергею. Сергей наклонился, обнял его. Кар-

лик целовал его руки и радостно всхлипывал.

— Господи, сколько-то лет дожидался я этого, — пицал он сквозь слезы. — Вот что значит — Бог!.. Уж как же я и молился, кажинный день молился!.. Маменька-то как желала этого, вот бы теперь порадовалась, сердечная!..

Сергей любовно вслушивался в слова карлика и все крепче обнимал его. Он понимал в эти тихие минуты, более чем когда-либо, как близко ему это крошечное, старое существо; какое преданное, любящее и золотое сердце бьется под галунами этого старомодного кафтанчика.

— Спасибо, Степаныч, — проговорил он, — спасибо, что радуешься моему счастью, Бог даст, заживем теперь. Пора, давно пора.

Он крепко поцеловал карлика и выпустил его. Моська мгновенно отер свои слезы. Лицо его вдруг стало серьезно и важно, он уселся на бархатную скамеечку перед креслом и заговорил совсем новым тоном, которого Сергей уж никак не ожидал.

— Да, правда твоя, сударь-батюшка, давно пора. Только вот скажи ты мне от души, как

перед Богом, приготовлен ли ты?

— К чему приготовлен? Как? — изумленно спросил Сергей.

— А вот приготовился ли, спрашиваю, к новой той жизни, которая, по милости Божьей, тебя ожидает, к супружеской жизни?

— Что за странный вопрос, Степаныч? — улыбаясь, сказал Сергей.

— Странный! Ничего тут нет странного, — даже обидевшись, пропищал Моська. — Дело первой важности... какая тут странность! Супруга давно тебе была приготовлена такая, что краше, добрее и милее ее на всем свете сыскать нельзя, и давно бы ты мог получить ее, кабы приготовлен был. Ну, а ты не был приготовлен — и час твой отдалился... Вот тогда-то, в Париже, и я, грешный человек, ее упрашивал, чтобы не отъезжала, чтобы не покидала тебя, а повенчалась с тобою... И не понимал я тогда, по глупости своей, что не она тут была причиной, не она тебя простить не хотела... И простила бы, так все же тогда ничего не вышло бы. Господь Бог не мог допустить, ибо ты не был приготовлен в чистоте сердечной вступить в жизнь супружескую.

Так вот и спрашиваю, теперь-то приготовлен ли, чисто ли твое сердце, твои помышления? Достоин ли ты повести к венцу княжну нашу непорочную, Богом тебе назначенную?

Это был совсем новый взгляд на дело, и Сергею хотелось рассмеяться. Но он все же удержался, боясь оскорбить карлика, который говорил таким убежденным, таким серьезным тоном.

— Кажется, приготовлен, Степаныч!

— А почему ты так полагаешь?

— Потому что никаких дурных мыслей во мне нет, и ничего, кроме любви к Тане, я не испытываю...

— И можешь поручиться, что будешь ей достойным супругом? Ни о ком во всю жизнь не помыслишь, пребудешь ей в неизменной верности до окончания дней своих?

Сергей едва удерживался от радостного смеха.

— Должно быть, «пребуду»! — проговорил он. — А поручиться все же не могу — вдруг, не ровен час, дьявол осилит, и такой соблазн выставит, что никак нельзя будет удержаться! Что тогда, Степаныч?

Карлик вскочил со своей скамеечки, как ужаленный, и замахал руками.

— Что ты? Что ты! Опомнись, безбожник! Я ему дело, а он шутить вздумал, нашел, чем шутить... нашел время... Смотри ты, Сергей Борисыч, — и он пригрозил ему своей ручонкой, — смотри, не шути так, не то опять накажет Господь!.. Ты думаешь, теперь уже все кончено — ан нет, ведь еще не повенчаны. Ты вот Богу помолись хорошенько, хоть теперь-то вспомни о Боге, а то что же это? Вот и киот с образами, и лампадку я каждый день зажигаю, а ты, я чаю, и не взглянул ни разу на образа, и лоб-то не перекрестил?.. Ты думаешь, я не замечаю? Все, батюшка, вижу, знаю, какой ты безбожник!.. В церкви-то, в церкви когда был? Ну-ка, скажи. А и был, так молился ли? Я вот кажинное утро, кажинный вечер дважды молюсь — за себя и за тебя. Потому — знаю, что ты встал и лег без молитвы. Смотри ты, Сергей Борисыч!.. А тут еще богопротивные шутки вздумал в такое время!..

Сергею становилось все веселее и веселее, глядя на карлика.

— Я вовсе не шучу, Степаныч, — сказал

он, — и ничего богопротивного в словах моих нет. А разбери сам, разве человек может за себя ручаться? Ну, вдруг дьявольское наваждение! Чай, знаешь — и угодники не выдерживали, а я грешный человек! Вдруг возьму, да и пленюсь какой-нибудь златокудрой или черноокой...

— Тьфу! Тьфу! Тьфу! — с азартом заплевался Моська. — Кабы знать, не пришел бы на зов твой. Этакий день, этакий час вконец испортил. Ну, сударь, не ждал я от тебя такой дурости. Право слово — беду накличешь!

Сергей совсем превратился в шаловливого ребенка и громко смеялся. Карлик пришел в окончательное негодование.

— В такой день, пред таким делом! — повторял он. — Господи, да что же это такое? Уйти поскорее... Прощай, сударь, засни, авось, сном эта дурь пройдет в тебе. Да Богу-то помолись, помолись хоть раз в жизни!..

Он снова погрозил Сергею ручонкой и направился к двери.

— Ну, прощай! — крикнул ему вслед Сергей. — Распорядись, чтобы пораньше карета была готова. Едешь со мною, что ли?

Карлик остановился у двери и грозно взглянул на Сергея.

— Смотри, сам-то еще поедешь ли! Вот как накажет тебя опять Бог, тогда и увидишь, как грохотать да шутить непотребно... Плохие это шутки!..

И бормоча что-то себе под нос, он вышел из спальни.

Сергей спал крепко и спокойно, как счастливый человек, уже успевший свыкнуться со своим, долгожданным и, наконец, пришедшим счастьем. Но он все же проснулся очень рано, со свежей головой, с ощущением полного довольства. Он не спешил вставать и одеваться, он знал, что еще может понежиться несколько времени, так как карлик непременно придет вовремя разбудить его. И он лежал, потягиваясь и приятно позевывая, мечтая о том, как в скором времени сложится его жизнь. Конечно, он не станет откладывать свадьбу в долгий ящик. Слава Богу, достаточное время пробыл женихом, больше восьми лет! И, конечно, она сама ничего не будет иметь против того, чтобы немного поторопиться. А если даже и заупрямится, он теперь

сумеет уговорить ее...

Он не оставлял мысли о том, чтобы поступить на службу к цесаревичу. Он во что бы то ни стало добьется этого; но поселиться окончательно в Гатчине вряд ли будет удобно. Да и, наконец, хотя этот год цесаревич и намерен долго прожить там, но все же зимой переедет в Петербург.

«Придется часто ездить в Гатчину, так что же, это не трудно, уж если вот великая княгиня чуть ли не каждый день совершает такие прогулки, так ему о чем же заботиться!.. Итак, значит, он поселится с Таней здесь, в своем доме. Необходимая меблировка нескольких комнат не потребует много времени — недели в две все можно будет сделать».

Он забылся на несколько мгновений в дремоте; но внезапно очнулся и опять продолжал мечтать об этой будущей, близкой жизни.

«Мы не станем жить открыто. Таня привыкла к уединению, она скучать не будет. Мы ограничимся небольшим кружком близких родных и знакомых, на расположение которых я могу еще кое-как положиться... Вот

нужно будет завести знакомство с Державиным, он заинтересовал меня. Он умен и оригинален... Он чуть ли не единственный живой человек, которого я заметил в здешнем обществе...»

«Как хорошо жить! — кончил Сергей своей любимой теперь фразой, которую мысленно повторял по многу раз в эти дни. — Что же, однако, не идет Моська?»

Но Моська был легок на помине. Только он вошел в комнату не на цыпочках, не осторожно, как всегда это делал, а вкатился кубарем. Подбежал прямо к кровати Сергея, быстро отдернул полог и завизжал, что было в нем голосу:

— Сергей Борисыч, вставай... беда приключилась. Беда, слышь ты... вставай, ради Бога!..

Испуг и тоска были в его голосе. Сергей вскочил и сам испуганный.

— Что такое? Пожар, что ли?.. Горим мы?

— Какой пожар, хуже... Одевайся-ка!

Зубы карлика стучали, и руки так и тряслись, когда он подавал Сергею одеваться.

— Ведь говорил я тебе: не искушай ты Господа Бога!.. Говорил, покарает Он тебя за твое

богохульство!.. Так оно и случилось... как пописаному... Говорил: неведомо еще — поедем ли мы в Гатчину?.. Ну, и что, батюшка... ну, и не поедем!..

«Что это за горе такое? Никак бедный Степаныч рехнулся?» — подумал Сергей, внимательно вглядываясь в перепуганную и дрожащую фигуру Моськи.

— Степаныч, голубчик, да приди ты в себя, опомнись!.. Что за вздор ты болтаешь? Или ты не выспался, наяву грезидь?

— Ах, кабы вздор-то был, сударь-батюшка! Ах, кабы грезил я али спьяна болтал!.. Да нет, правду говорю, не едем мы в Гатчину, а что дальше будет — ума не приложу!.. Творится такое, что никак понять невозможно... разум отшибло. Одевайся вот поскорее. Дай я тебе подам умыться... Вот сам посмотри, что у нас такое деется!..

Сергей рассердился.

— Да будешь ты наконец говорить по-человечески? — крикнул он, топнув ногой.

— Батюшка, как же мне говорить еще, тут и говорить-то нечего... Проснулся это я, оделся, умылся. Богу помолился... закладывать ве-

лел карету... Хотел на крыльцо выйти, посмотреть, какова погода — тепло али холодно... какой плащ велеть подать тебе... Схожу с лестницы... глядь... а в больших-то сенях у нас два солдата на карауле поставлены... Иванныча, швейцара, спрашиваю: что такое?.. А он с испуга и говорить не может... от лакеев уже добился: постучались... вошли солдаты с ружьями... во всей амуниции и встали на караул... С ними офицер... а то чуть ли не генерал... в приемной дожидается... и распоряжение отдал никого не выпускать из дома...

Сергей не мог прийти в себя от изумления. Он ничего не понимал.

— Что же ты, морочишь меня, что ли? Карлик всплеснул руками.

— Пойди, батюшка, посмотри, морочу ли я тебя!.. Этот самый офицер, не то генерал, разбудить тебя велел... Я с ним уже заговаривал... подошел и говорю: Сергей Борисыч, мол, почивают, а как встанут — тотчас же из дому выедут, и карету, мол, уже велело закладывать... Так что же он мне на это: «Ну, — говорит, — карету-то отложить придется, никуда твой барин не поедет, чучело ты гороховое!..»

Обругал ни за что, ни про что чучелой гороховым!..

Сомневаться в правдивости рассказа карлика не было более возможности. Сергей был вне себя от негодования.

«Что же это, арестовать его пришли, что ли? Конечно, в этом не может быть сомнения... И ведь он должен был давно уж приготовиться к этому. Государыня была с ним милостива, но Зубов не дремал. Цесаревич предупреждал его, чтоб он ожидал всяких неприятностей... Однако ведь есть же всему предел и мера! Должен быть предел и власти этого бессовестного человека. Он мог на него клеветать; но ведь для такого образа действия, для такого оскорбления, для ареста в его собственном доме нужно же иметь что-нибудь в руках, какие-нибудь доказательства. Какие же доказательства могут быть? Он вел себя осторожно, он ничем себя не скомпрометировал. Он во все это время не позволил себе лишнего слова, говорил откровенно и по душе только в первые два-три дня по своем приезде, когда еще не огляделся. Да и с кем говорил? С Нарышкиным. Ведь не станет же дядя

выдавать его, не такой человек!..»

Как бы то ни было, он поспешно оделся и вышел к ожидавшемуся его офицеру.

Ему навстречу поднялась толстая, высокая фигура. Лицо было ему незнакомо; но он сразу понял, что имеет дело с одним из высших представителей петербургской полиции.

— Что вам угодно? — спросил Сергей.

— Милостивый государь мой, — с легким поклоном отвечал незванный гость, — прежде всего я должен объявить вам, что вы арестованы и впредь до дальнейшего распоряжения обязаны не выходить и не выезжать из дома, никого не принимать, ни с кем не сноситься и не переписываться.

— Что такое? На каком основании? По чьему приказанию?

— По высочайшему повелению! — был ответ.

— Но в таком случае потрудитесь объявить мне мою вину.

— На это я не уполномочен. Я прошу вас провести меня в ваш кабинет и передать мне ваши бумаги.

Сергей побледнел от подступившей к его

сердцу злобы. Все это было так дико, возмутительно и неожиданно. Но несмотря на волновавшие его чувства, он все же нашел в себе силы остаться спокойным. Он сообразил, что рассуждать с этим господином ему не приходится, что для него даже унижительно вступать в какие бы то ни было объяснения. Следует подчиниться всему этому безобразию. Ну, что же, пускай роется в бумагах! Что же он найдет?

Он припоминал, что именно могло находиться в его бюро и письменном столе...

«Копии интересных дипломатических бумаг; но как чиновник иностранной коллегии я имею право держать их у себя. Затем что же?»

Он вспомнил вдруг, что между бумагами находится и его дневник, который по старой, с детства приобретенной стараниями Рено привычке он вел до сих пор, хотя и с большими перерывами.

«Что же, пусть читают, пусть читает негодяй Зубов!..»

Затем переписка: старые и милые письма Тани, два-три письма цесаревича, несколько

писем Нарышкина, Рено.

«Пусть все читают, увидят, какой я вольтерьянец, быть может найдут многое для моего обвинения... в какие руки попадет все это!..»

— Сделайте милость! — проговорил он, приглашая толстяка следовать за собою.

Войдя в кабинет, он отпер бюро, письменный стол, книжные шкафы.

— Распоряжайтесь! — сказал он.

И присев к камину, он стал тоскливо следить за тем, как этот неизвестный ему человек перебирает то, до чего еще не касалась посторонняя рука, все эти тетради и листочки, в которых хранились следы его протекшей внутренней жизни.

«Таня, — думал он, — вот как я к ней еду. Эх, кабы он убрался поскорее!.. Напишу ей, пошлю со Степанычем. Наверно, цесаревич поможет мне в беде этой!..»

Он совсем позабыл, что ему только что было объявлено о запрещении с кем бы то ни было пересылаться или переписываться.

Между тем посетитель выбрал из всех ящичков все письма, все рукописи и обратился к Сергею:

— Нет ли у вас такого портфеля или шка-
тулки, чтобы уложить все это?

— Вы так все и возьмете с собой?

— Конечно!

— Послушайте, ведь тут есть многое такое, например, некоторые письма... их отбирать у меня нет никакого основания, и мне очень бы хотелось, чтобы они были оставлены!

— Это невозможно, я должен взять все.

— В таком случае вот шкатулка, вот портфель, там вот еще другой — выбирайте что угодно.

Толстяк живо распорядился.

— Теперь я удаляюсь, — сказал он. — Так помните же, государь мой, все, что я объяснил вам. Я надеюсь, что вы не вздумаете нарушить предписание?

— Не тревожьтесь, пожалуйста, я никуда не тронусь до тех пор, пока это странное недо-
разумение не выяснится.

Толстяк как-то повел плечами и вышел из кабинета. По его уходе Сергей тотчас же при-
сел к столу и написал записку Тане. Он обер-
нулся, возле него уже стоял Моська.

— Вот, Степаныч, отвези княжне, да ско-

рей!

— Мигом, золотой мой, ни минутки медлить не стану.

Он тяжело вздохнул, сложив записку, сунул ее в кармашек камзола и вышел.

Минут через пять он, уже совсем одетый, спускался с лестницы во двор. Он хотел исчезнуть незаметно, не хотел, чтобы его видели солдаты, караулившие в парадных сенях. Он поедет на почтовых. Он уже спустился с лестницы и хотел отворить дверь, как вдруг чья-то крепкая рука схватила его.

Он поднял голову — перед ним рослая фигура солдата.

— Куда, обезьяна? Назад, никого выпускать не приказано.

Карлик взвизгнул от такой неожиданности. «И здесь поставлены! Весь дом оцеплен!»

— Пропусти, голубчик! Как это меня не выпускать приказано? Кто же такой приказ дал? Я, батюшка, по своему делу... я-то что же?

Он не знал, что и говорить, он совсем спутался.

— Назад, слышь ты, назад! Нечего тут болтать попусту. Не приказано никого выпускать.

кать, да и полно! Ну, направо кругом — марш!.. Поворачивайся!..

Карлик понял, что все пропало и что рассуждать с этим солдатом ему действительно нечего. Он побрел назад, тяжело поднимаясь по ступеням и в отчаянии думая:

«Так вот оно как! Вот какие порядки заведены! Чтобы такого большого боярина, да в собственном доме оцепить, как медведя в берлоге! Где же такое видано?.. У нехристей, у басурман поганых, в дьявольском ихнем Париже, всяких ужасов пришлось навидаться, так это им, окаянным, впору!.. Вот думал: „Когда бы домой? Когда бы домой добраться, у нас не то, у нас народ христианский“, — а тут это что же такое? А Танечка! Танечка ждет, сердечная! Господи, вот так подлинно наказал Ты! И чего же ждать теперь? Что делать, ничего не придумаешь... Одно и осталось, ложиться да и помирать... Одно и осталось!..»

1

Значит, вы предоставляете мне полную свободу действий?

[^^^]

2

Разумеется, друг мой (фр.).

[^^^]

3

Вы ангел доброты, но тем хуже для него (фр.).

[^^^]

4

Пошли, малышка, я хочу тебя кому-то представить (фр.).

[^^^]

5

«Важнейший вопрос дня» (фр.).

[^^^]

6

Вставляйте, дорогое дитя, давно пора (фр.).

[^^^]

Извините, извините, я буду готова через минутку (фр.).

[^^^]

8

Прошу вас проводить меня, друг мой (фр.).

[^^^]